Д.Н. МАМИН
СИБИРЯК

Собрание сочинений в десяти томах //Правда, Москва, 1958
FB2: “fb2design ”, 07 September 2011, version 2.2
FB2: “Psychedelic ”, 07 September 2011, version 2.2
UUID: 95147DCD-BB23-40DC-8810-88C2676CC759
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

Том 4. Уральские рассказы

(Д.Н.Мамин-Сибиряк. Собрание сочинений в десяти томах #4)

Мамин-Сибиряк — подлинно народный писатель. В своих произведениях он проникновенно и правдиво отразил дух русского народа, его вековую судьбу, национальные его особенности — мощь, размах, трудолюбие, любовь к жизни, жизнерадостность. Мамин-Сибиряк — один из самых оптимистических писателей своей эпохи.

В четвертый том вошли рассказы из цикла «Уральские рассказы».

Содержание

Бойцы. Очерки весеннего сплава по реке Чусовой {1} 0005
Золотуха. Очерки приисковой жизни 0285
Поправка доктора Осокина {2} 0450
Первые студенты {3} 0523
Из уральской старины {4} 0609
Родительская кровь {5} 0728
Лес. Психологический этюд {6} 0820
Озорник {7} 0865
Переводчица на приисках {8} 0928
Доброе старое время {9} 1040
Верный раб {10} 1159
Вольный человек Яшка 1307

Дмитрий Мамин-Сибиряк
Том 4. Уральские рассказы

Бойцы. Очерки весеннего сплава по реке Чусовой [1]

Ой, дубинушка, ухнем!

I

Мы приехали на пристань Каменку ночью. Утром, когда я проснулся, ласковое апрельское солнце весело глядело во все окна моей комнаты; где-то любовно ворковали голуби, задорно чирикали воробьи, и с улицы доносился тот неопределенный шум, какой врывается в комнату с первой выставленной рамой.

Весна, бесспорно, самое лучшее и самое поэтическое время года, о чем писано и переписано поэтами всех стран и народов; но едва ли где-нибудь весна так хороша, как на далеком, глухом севере, где она является поразительным контрастом сравнительно с суровой зимой. Притом южная весна наступает исподволь, а на севере она, наоборот, производит быстрый и стремительный переворот в жиз-

ни природы, точно какой невидимой могучей рукой разом зимние декорации переменяются на летние. С ясного голубого неба льются потоки животворящего света, земля торопливо выгоняет первую зелень, бледные северные цветочки смело пробиваются через тонкий слой тающего снега, — одним словом, в природе творится великая тайна обновления, и, кажется, самый воздух цветет и любовно дышит преисполняющими его силами.

Прибавьте к этому освеженную глянцевитую зелень северного леса, веселый птичий гам и трудовую возню, какими оглашаются и вода, и лес, и поля, и воздух. Это величайшее торжество и апофеоз той великой силы, которая неудержимо льется с голубого неба, каким-то чудом претворяясь в зелень, цветы, аромат, звуки птичьих песен, и все кругом наполняет удесятеренной, кипучей деятельностью. Я люблю этот великий момент в бедной красками и звуками жизни северной природы, когда смерть и немое оцепенение зимы сменяется кипучими радостями короткого северного лета. Именно такой весенний апрельский день смотрел в окна моей комнаты,

когда я проснулся на Каменке: весна гудела на улице, точно в воздухе катилось какое-то громадное колесо.

Распахнув окно, я долго любовался расстилавшейся перед моими глазами картиной бойкой пристани, залитой тысячеголосой волной собравшегося сюда народа; любовался Чусовой, которая сильно надулась и подняла свой синевато-грязный рыхлый лед, покрытый желтыми наледями и черными полыньями, точно он проржавел; любовался густым ельником, который сейчас за рекой поднимался могучей зеленой щеткой и выстилал загораживавшие к реке дорогу горы. В логах еще лежал снег, точно изъеденный червями; по проталинам зеленела первая весенняя травка, но березы были еще совсем голы и печально свесили свои припухшие красноватые ветви.

Каменка, одна из нижних чусовских пристаней, раскинула свои полтораста бревенчатых изб по крутому правому берегу в углу, который образовала с Чусовой бойкая горная речка Каменка. Моя комната была во втором этаже, и из окна открывался широкий вид на

реку и собственно на пристань, то есть гавань, где строились и грузились барки, на шлюз, через который барки выплывали в Чусовую, лесопильню, приютившуюся сейчас под угором, на котором стоял дом, где я остановился, и на красовавшуюся вдали двухэтажную караванную контору, построенную на самом юру, на стрелке между Каменкой и Чусовой. За рекой Каменкой, на низком, отлогом берегу, приткнулась маленькая деревушка, точно она сейчас вылезла из воды своими двумя десятками избушек и теперь сушилась на солнечном пригреве. Гавань устроена, вероятно, из островка или песчаной косы, которая образовалась в самом устье Каменки; нижняя часть этой косы была соединена с крутым берегом, на котором раскинулась пристань широкой плотиной. Берега гавани всплошную обставлены деревянными магазинами для склада металлов, строившимися и совсем готовыми барками; везде валялись бревна, сложенные в желтые квадраты, свежий тес, обломки сгнивших барок, кучи пакли, козла и платформы спущенных в гавань барок. Несколько огней, около которых вари-

ли смолу для барок, дополняли картину.

Весь берег был залит народом, который толпился главным образом около караванной конторы и магазинов, где торопливо шла нагрузка барок; тысячи четыре бурлаков, как живой муравейник, облепили все кругом, и в воздухе висел глухой гул человеческих голосов, резкий лязг нагружаемого железа, удары топора, рубившего дерево, визг пил я глухое постукивание рабочих, конопативших уже готовые барки, точно тысячи дятлов долбили сырое, крепкое дерево. И над всей этой картиной широкой волной катилась бесшабашная бурлацкая «Дубинушка», с самыми нецензурными запевами. Не успевал замереть в одном месте дружный окрик работавших бурлаков, как сейчас же с новой силой вставал в другом. Могучий вал самой пестрой смеси звуков гулким эхом отдавался на противоположном берегу и, как пенистая волна вешней полой воды, тянулся далеко вниз по реке, точно рокот живого человеческого моря.

Эта картина кипучей деятельности тысяч людей представляла неизмеримый контраст с тем глубоким мертвым сном, каким покоит-

ся пристань Каменка целый год, за исключением двух-трех недель весеннего сплава. Еще день или два, река взломает лед, и вместе с водой уплывет вся эта бешеная работа, неистовый шум и крик, и опять все будет тихо и мертво кругом вплоть до будущей весны.

— С весной, голубчик! С весной поздравляю! — кричал хриплым голосом хозяин моей квартиры, врываясь в комнату в высоких охотничьих сапогах и в коротком ваточном пиджаке.

— А скоро река тронется, Осип Иваныч?

— Э, голубчик, чего вы захотели... Да послушайте, милый человек, вы, кажется, еще не проснулись порядком: это бессовестно!.. Слышите: бессовестно... Я с четырех часов утра колочусь, как каторжный, а вы тут прохлаждаетесь. Вы посмотрите хоть на нашу пристань — ведь это целый ад, пекло какое-то... Ох, подлецы, подлецы!!!

— Кто это провинился так?

— Как кто? А бурлаки? Ведь их четыре тысячи, анафем, а у меня горло одно... Понимаете: одно! Сразу охрип... Ох, моченьки моей не стало с этими мошенниками!..

Осип Иваныч энергично вытер свое вспотевшее румяное лицо бумажным платком, поправил спутавшиеся на голове редкие русые кудри, закрывавшие на макушке порядочную лысину, и залпом опрокинул две рюмки водки из графина, который стоял на угловом столике. Приземистая широкоплечая фигура Осипа Иваныча с красным затылком и высокой грудью служила как бы олицетворением преисполнявшей его энергии; выкатившиеся карие глаза с опухшими красноватыми веками смотрели блуждающим, усталым взглядом, как у человека, который только что сейчас вырвался из жестокой свалки. Русая бородка и большие усы носили следы самого бесцеремонного обхождения: Осип Иваныч, когда начинал сердиться, немилосердно ерошил свою бороду и грыз усы, а так как сердиться ему решительно ничего не стоило, то бороде и усам доставалось порядком.

— Ох, подлецы! — ворчал Осип Иваныч сквозь зубы, с ожесточением прожевывая сухую корочку хлеба. — Аспиды!..

— Да чем они вас так обидели, Осип Иваныч?

— Как чем?.. Сегодня какой день... а? — грозно приступил он ко мне, размахивая руками. — Какой день?

— Кажется, двадцать третье апреля...

— Вот то-то и есть: «кажется»... Вы бы в моей коже посидели, тогда на носу себе зарубили бы этот денек... двадцать третьего апреля — Егория вешнего — поняли? Только ленивая соха в поле не выезжает после Егория... Ну, обыкновенно, сплав затянулся, а пришел Егорий — все мужичье и взбеленилось: подай им сплав, хоть роди. Давеча так меня обступили, так с ножом к горлу и лезут... А я разве виноват, что весна выпала нынче поздняя?..

Наругавшись всласть и пропустив еще две рюмки, Осип Иваныч совсем другим тоном проговорил:

— Пойдемте со мной, посмотрите, как мы в смоле кипим. Сначала надо завернуть в кабак...

— Зачем?

— Народ гнать на работу. Только отвернись — сейчас в кабак... Я вам говорю: разбойники и протоканальи! А всех хуже наши каменские... Заберут задатки и в кабак, а там

как хочешь и выворачивайся, хоть сам сталкивай барки в воду да грузи!..

В передней мы натолкнулись на мужика в разорванной красной рубахе; одной рукой он держался за стену, стараясь сохранить равновесие. По красному лицу и блуждающему взгляду мутных глаз можно было принять этого мужика за труднобольного, если бы от него не отдавало на целую версту специфическим ароматом перегорелой водки.

— Это ты, Савоська? — окликнул мужика Осип Иваныч.

— А то как же... я... я!..

— Чего тебе надо?

Мужик только что раскрыл рот для необходимых объяснений, как Осип Иваныч уже обрушился на него с необыкновенным азартом:

— Да ты где, каналья, шары-то[1] налил?.. а?! С какой радости... а?! Люди работают, надрываются, а он...

— Осип Иваныч... дай опохмелиться!

— Чего?

— Опохмел...

— Вот тебе опохмелиться, а вот закусить! — крикнул Осип Иваныч, схватывая Са-

воську за ворот и ловким подзатыльником выталкивая за дверь.

Мужик только загремел ногами по лестнице и кубарем выкатился на улицу, к удивлению толпившегося около дома народа.

— Гли, робя: Савоську опохмелили! — слышался из толпы чей-то веселый голос. — Ай да Осип Иваныч! уважил! Хороший стаканчик поднес!

— Видели? — спрашивал Осип Иваныч с улыбкой.

— Да...

— А между тем этот Савоська один из лучших сплавщиков у нас... Золото, а не мужик. Только вот проклятая зараза: как работа, так он без задних ног. Чистая беда с этими мерзавцами!

Когда мы вышли на улицу, Савоська писал мыслете[2] по самой середине улицы, сдвинув свою рваную шляпенку на одно ухо. Это был красивый мужик лет сорока с широким бородатым лицом и русыми кудрями, которые лезли из-под шляпенки во все стороны шелковыми кольцами. Он пробовал было затянуть песню, но выходило какое-то дикое

мычание, и Савоська принялся ругаться в пространство, неровно взмахивая руками. Оглянувшись, он заметил Осипа Иваныча, остановился, подпер руки фертом[3], и, пошатываясь, закричал:

— А я тебе... покажу, Оська!.. Подвяжу куфтой хвост-от... Веррно!..

— Ты у меня еще поразговаривай! — закричал Осип Иваныч.

— А мне плевать на тебя... Слышал?.. Плев...

Осип Иваныч ринулся вперед, но Савоська уже летел далеко впереди на всех рысях, потеряв свою шляпу.

— Прямо в кабак, шельмец, задул! — ругался Осип Иваныч, подбирая Савоськину шляпу.

II

Осип Иваныч служил на пристани приказчиком. Это был русский человек в полном смысле слова: бесхарактерный, добрый, вспыльчивый. Он обладал счастливой способностью с совершенно спокойной совестью ничего не делать по целым месяцам и просто лез на стену, когда наваливалась работа. Во время сплава он собственно был золотой че-

ловек, потому что лез из кожи в интересах транспортного общества «Нептун», которое отправляло металлы с Каменки, но, как часто бывает с такими людьми, от его работы выходило довольно мало толку. Осип Иваныч без всякого пути разносил в щепы совершенно невинных людей, также без пути снисходил к отъявленным плутам и завзятым мошенникам и в конце концов был глубоко убежден, что без него на пристани хоть пропадай.

— Я их всех насквозь вижу, разбойников, — уверял он, когда мы шли по широкой улице к кабаку. — Это варначье только меня и боится; у меня разговор короткий: раз-два и к черррту!! Они меня знают! Да вон посмотрите, как зашевелились у кабака: завидели грозу... Ха-ха!

Мы шли сначала по берегу Чусовой, миновали часовню, чей-то высокий деревянный дом с зеленой железной крышей и завернули за угол. Попадавшиеся на пути избы производили хорошее впечатление своими толстыми бревнами, крепкими воротами, крытыми наглухо, по-раскольничьи, дворами и белыми кирпичными трубами; известное довольство

сказывалось во всем, начиная с тесовых крепких крыш и кончая стекольчатыми окошками и расписными ставнями. На берегу и около домов — везде попадались кучки бурлаков, с котомками и без котомок, в рваных полушубках, в заплатанных азямах[4] и просто в лохмотьях, состав которых можно определить только химическим путем, а не при помощи глаза.

— Ишь молодцы, только что явились на сплав! — ругался Осип Иваныч, когда попадались бурлаки с котомками. — Ужо я вам покажу кузькину мать!..

— А что же вы им сделаете?

— Я?! У нас, голубчик, все это оформлено: просрочил явку на пристань — штраф; не явился на спишку[5] барок — штраф; не пришел на нагрузку — штраф...

Дорогу нам загородила артель бурлаков с котомками. Палки в руках и грязные лапти свидетельствовали о дальней дороге. Это был какой-то совсем серый народ, с испитыми лицами, понурым взглядом и неуклюжими, тяжелыми движениями. Видно, что пришли издалека, обносились и отощали в дороге. Впе-

ред выделился сгорбленный седой старик и, сняв с головы что-то вроде вороньего гнезда, нерешительно и умоляюще заговорил:

— Осип Иваныч! Мы уж к твоей милости...

— Откуда вы?

— Вятские мы, родимой мой, вятские...

— Ты не в первый раз на сплав пришел?

— Нет, не в первой... Раз с двадцать, может, уж сплыл.

— Ну, так чего тебе от меня нужно?

— Да вот запоздали мы, Осип Иваныч... Грех такой вышел; непогодье нас захватило, а дорога дальняя.

— Знать не хочу... Вздор!.. Что у тебя в контракте сказано... а?.. — заорал Осип Иваныч, выкатывая глаза. — Я, что ли, буду сталкивать да грузить барки за вас?.. Задатки любите получать?! а?!

— Да ведь задатки в волость пошли, за подушное... — как-то равнодушно оправдывался старик, совсем подавленный величием обступивших его нужд. — Подушное, Осип...

— А мне плевать на ваше подушное! Знать не хочу!! Просрочил трое суток — за трое суток и штраф по контракту...

— Осип Иваныч, родимой! Мы ведь тысячу верст с залишком брели сюды... изморились! А тут ростепель захватила...

— Вздор!.. Я не бог... понимаешь? Я не бог...

Старик только махнул рукой и пожевал сухими синими губами. Артель стояла как вкопанная; на изветрившихся лицах трудно было прочитать произведенное этой сценой впечатление. Старик, перебирая в руках свое воронье гнездо, что-то хотел еще сказать, но Осип Иваныч уже бежал к кабаку и с непечатной руганью врезался в толпу. Около кабака народ стоял стеной; звуки гармоники и треньканье балалаек перемешивались с пьяным говором, топотом отчаянной пляски и дикой пьяной песней, в которой ничего не разберешь. Эта толпа глухо колыхнулась и загудела, когда Осип Иваныч ворвался в самый центр и с неистовым криком принялся разгонять народ.

— Аспиды! Разбойники! Мошенники!! — ревел Осип Иваныч, как сумасшедший, не зная, на кого броситься; по пути он сыпал подзатыльниками и затрещинами.

Савоська выглянул из-за косяка кабацкой

двери и быстро спрятался; на его месте показалась согнутая фигура заводского мастерового с запеченным лицом и слезившимися глазами.

— Осип Иваныч! Ты неправильно нас обиждаешь, — говорил он, когда Осип Иваныч протолкался сквозь густую толпу до самых дверей. — Севодни наш день, а завтра — твой... Мы тебе отробим, все отробим, а ты нас не тронь...

— Ах ты...

Мастеровой вылетел из кабака от одного удара могучей десницы Осипа Иваныча, а за ним вслед, как вилок капусты, полетел Савоська и растянулся плашмя на земле.

Пока Осип Иваныч совершал свои подвиги, записные пьяницы успели попрятаться за углами ближайших изб, чтобы опять забраться в кабак, когда гроза пронесется. Другие делали вид, что идут к гавани, но, завернув за угол первой улицы, совершали обходное движение, чтобы попасть в кабак с противоположной стороны. В числе последних был и Савоська в компании с ругавшимся и запеченным мастеровым, захватив по пути каких-то

самых подозрительных девиц в коротких сарафанах и ярких платках на голове. В этой толпе женские лица попадались только в качестве исключений; домовитые хозяйки были завалены работой по горло, потому что нужно было прокормить чем-нибудь эту трехтысячную голодную толпу. Конечно, бурлацкое брюхо не отличается особенной прихотливостью, но и оно боится пустоты.

После долгого неистовства верного служаки музыка и песни смолкли, и толпа кабацких завсегдатаев медленно начала расходиться, потянувшись длинным хвостом к гавани.

— Вы посмотрите только, что это за народ! — кричал Осип Иваныч, выскакивая из кабака уже без шапки. — Мошенник на мошеннике... И все наши каменские, либо заводские! Уж только и нарродец...

Действительно, большинство бурлаков, собравшихся около кабака, были каменские бурлаки и заводские мастеровые. И тех и других отличишь сразу. Для них весенний сплав — разливное море, вечный праздник. Каменские славятся по всей Чусовой как лучшие бурлаки, но зато и отчаяннее этих Ка-

менских не найти по всей Чусовой. Даже заводские мастеровые, тоже разбитной народ, не отличающийся особенной скромностью, далеко уступают каменским. Каменского бурлака вы сразу узнаете, хоть будь это распоследний пропойца и забулдыга, у которого весь костюм состоит из одних заплат. Он так умеет надеть на себя свои заплаты и идет по улице с таким самодовольным видом, что сейчас видно птицу по полету. А если он раздобылся красной рубахой, дырявыми сапогами и мало-мальски приличным чекменем, он ходит по пристани гоголем и знать ничего и никого не хочет. Лихорадочная, каторжная работа на сплаву, бесконечная ленивая зима, когда бурлаку решительно нечего делать, затем водка при отвале каравана, водка на каждой хватке, водка на съемке обмелевших барок и самое кромешное, беспросыпное пьянство, когда караван привалит благополучно в Пермь, — все это взятое вместе создало совершенно особенный тип. Весенний сплав для Каменки — праздников праздник, и все одеваются в самое лучшее платье и ставят последний грош ребром.

Заводские мастеровые отличаются от каменских своими запеченными в огненной работе лицами, изможденным видом и тем особенным, неуловимым шиком, с каким умеет держать себя только настоящая заводская косточка. И чекмень на нем не так сидит, и шляпа сдвинута на ухо, и ходит черт-чертом. Впрочем, на сплав идут с заводов только самые оголтелые мастеровые, которым больше деваться некуда, а главное — нечем платить подати.

— Много у вас заводских? — спросил я Осипа Иваныча, когда он несколько отдышался после горячей сцены у кабака.

— Достаточно и этих подлецов... Никуда не годен человек, — ну и валяй на сплав! У нас все уйдет. Нам ведь с них не воду пить. Нынче по заводам, с печами Сименса[6] да разными машинами, все меньше и меньше народу нужно — вот и бредут к нам. Все же хоть из-за хлеба на воду заработает.

— А сколько вы платите бурлакам за сплав?

— Рублей восемь, десять, смотря по контрактам. У нас ведь круговая порука: артеля-

ми нанимаем. Один из артели не явился — вся артель в ответе.

— Да ведь таким образом при расчете на руки артели может ничего не достаться.

— Сплошь и рядом... В другой раз еще с артели следует получать, только взять-то с них нечего. А без артели — беда! Чуть запоздал сплав — все расползутся, как тараканы.

III

От кабака мы пошли к караванной конторе.

По пути нам попадались те же кучки бурлаков, которые росли и увеличивались с каждым шагом, пока не перешли в сплошную движущуюся массу. Эти лохмотья, изможденные лица, пасмурные взгляды и усталые движения совсем не гармонировали с ликующим солнечным светом и весенним теплом, которое гнало с гор веселые, говорливые ручьи.

— Осип Иваныч, ослобони! — взмолился было давешний седой старик, выступая из толпы.

— Нет, друг мой, не могу: у меня слово — закон! — отрезал неумолимый Осип Иваныч, торопливо шагая к караванной конторе.

Сейчас под угором, где начиналась плотина гавани, стояла пильня. Подавленный визг пил и какой-то особенный, хриплый звук разрезываемого сырого дерева мешался с всплесками и шумом вырывавшейся из-под водяного колеса воды. Пахло смолистым ароматом свежей сосны и елей, которые с хрипением умирающего вылезали из-под станка белыми правильными полосами досок. На плотине бурлаки смешались в сплошную массу, сквозь которую приходилось пробираться с большими усилиями, причем Осип Иваныч обратился опять к помощи самых отборнейших ругательств, выбор которых у него был замечательно разнообразен и приводил в изумление даже бурлаков.

— С этим народом иначе невозможно, — объяснял он, когда мы, наконец, продрались в караванную контору, где Осипа Иваныча уже дожидалось много народа. — Ох, смерть моя! — стонал он, не зная, кому отвечать. — У кабака с Каменскими да с мастеровыми горло дери, а здесь мужичье одолевает.

Толпа колыхалась и гудела, как пчелиный улей. Здесь действительно собрались все кре-

стьяне, пришедшие на пристань из Вятской, Казанской и Уфимской губерний. Кого-кого тут не было!.. Но на всех лицах в выражении глаз сказывалась одна общая печать: это были люди деревни, загнанные за сотни верст на сплав горькой, неотступной нуждой. Здесь не было и помину о той отчаянности, какой выделялись каменские бурлаки, не было и своеобразного шика заводских мастеровых: одна общая мысль, одна общая забота связывала эти тысячи бурлаков в один могучий стройный аккорд. Во всех взглядах можно прочитать одну мысль — мысль о земле, которая в такую горячую вешнюю пору сиротеет где-нибудь за тысячу верст. Общий интерес придавал этому оторванному от родной земли уголку крестьянского мира совершенно своеобразную физиономию: они принесли сюда свою великую крестьянскую заботу, от которой давно «ослобонились» мастеровые и разный другой сброд, какой набирается на сплав. Они подавляли молчаливым величием крикливые «качества» вырванных из земли с корнем людей, индивидуализированных в духе известной экономической школы.

Все время, пока мы шли до конторы, за нами по пятам пробирался небольшой взлохмаченный мужичонка в лаптях и в широком халате, какие носят только вятские. Он терпеливо и покорно выждал, пока Осип Иваныч ругался направо и налево, а потом как-то вяло проговорил:

— А я к твоей милости, Осип Иваныч!

Осип Иваныч быстро вскинул глазами на мужика и с каким-то отчаянием замахал руками.

— Да ты зарезать меня хочешь, мошенник! — завопил он, с бешенством накидываясь на несчастного мужика. — Ну чего тебе от меня нужно... а?.. Ну говори, говори, не тяни за душу!

— Вторую неделю проживаемся на пристани... — спокойно отвечал мужик, переминаясь. — Обносились, хлебушка нет... двое из артели-то в лежку лежат: огневица прихватила.

— Ну и пусть лежат, я-то чем виноват... а?.. Я разве бог?.. Мне-то какая радость держать вас на пристани?..

— А я к тому говорю, что кабы артель не выворотилась в деревню...

— Ах ббожже ммой!! А контракт? Что у тебя в контракте сказано: «Обязуюсь ждать сплава по первое число мая месяца, а свыше сего, ежели сплав затянется, назначается поденная плата в размере...»

— Оно тошно што, оно по кондракту, Осип Иваныч... и обязались мы ждать, и насчет поденной платы... Только вот севодни Егория, а через неделю Еремея-запрягальника. Сумлеваюсь насчет артели, Осип Иваныч, как бы со сплаву не выворотилась.

— Я вот вам, подлецам, такого запрягальника пропишу, что до будущего сплава будете меня помнить! — горячился Осип Иваныч, начиная жестикулировать самым решительным образом. — «Сумлеваюсь, как бы артель не выворотилась»!.. Мошенники!.. Ты первый зажигатель и бунтовщик... понимаешь? Сейчас позову казаков, руки к лопаткам и всю шкуру выворочу наизнанку...

— Река-то когда еще пройдет, а пашня не ждет, — точно вслух думал бунтовщик.

— А ты все свое долбишь! а? — грозно зарычал Осип Иваныч, бросаясь с кулаками на бунтовщика. — Если ты мне еще раз пока-

жешь свою рожу... да я... Ну купи, черт ты этакий, гармонику или балалайку и наигрывай, в кабак бы зашел от скуки... Разве я запрещаю?!

Мужик почесывался, переминался и опять начинал свою песню про Еремея-запрягальника, пашню и артель. Сцена кончилась тем, что Осип Иваныч, наконец, не вытерпел и выгнал бунтовщика из конторы в шею.

— Зачем вы его выгнали? — спросил я. — Ведь он совершенно верно говорил все...

— А я разве спорю, что не верно? Только он заключил контракт и должен его выполнить... А выгнал я его потому, что этот мужичонка-коновод расстраивает других. Таких молодцов на пристани до десятка наберется, всю душу вытянули. Да вон и другой лезет... Ах боже ммой!!

Каменская караванная контора представляла собой красивое двухэтажное здание с мезонином и широким железным балконом, выходившим прямо на реку. Во втором этаже была квартира караванного, Семена Семеныча, а в нижнем, в одной громадной комнате, помещалась собственно караванная конто-

ра, которая, как и все конторы, отличалась страшнейшим беспорядком, канцелярски-промозглым воздухом и специально деловой пылью и грязью. Двери, письменные столы, стулья, деревянная решетка, которой отгораживалось отделение для приходящих, — все было захватано сальными, потными руками, и в некоторых местах жирная грязь скопилась в толстые черные полосы. За двумя длинными столами помещались служащие, обложенные кипами бумаг; у самой решетки, за отдельным столиком, сидел кассир, старик лет под шестьдесят, с выбритым деревянным лицом и старинными очками в серебряной оправе на носу. Он методически, как заведенная машина, опускал правую руку в железный ящик, брал ассигнацию, большей частью рубль, и мельком взглянув на предъявленный бурлаком контракт и расчетную книжку, передавал ее в мозолистые, корявые руки. Бумажка завертывалась в какую-нибудь тряпицу или в пестрядевый кисет и затем исчезала за пазухой или за голенищем или просто уносилась из конторы в крепко сжатой руке. Перед кассиром дефилировал бесконечный ряд

бурлацких лиц и лохмотьев.

— Эти все штраф заплатят? — спрашивал, сидя на окне, жирный подрядчик с толстой шеей.

— Да, запоздали... — весело отвечал молодой служащий с румяным лицом и белокурой шевелюрой. — Рубль штрафу, за каждый просроченный день...

— А Осип-то Иваныч как поправляется с бурлачиной! — лениво протянул подрядчик, закуривая крючок из махорки. — Он у вас теперь вроде как главнокомандующий... Ишь так петухом и наступает, так и наступает!.. Только и пасть же уродил ему господь: труба трубой.

Служащие переглянулись и засмеялись. В углу на скамейке дремал оренбургский казак с нагайкой через плечо; фуражка с голубым околышем сбилась на одну сторону, по безусому молодому лицу бродило много мух. Два других казака, сидя рядом на подоконнике, играли в «хлюст». Это была стража при становом, который обязательно является на каждый сплав для устранения недоразумений. Когда Осип Иваныч, окруженный бурлаками,

начинал голосить особенно неистово и с отчаянием вздымал обе руки к небу, казаки вскакивали с подоконника и на минуту вытягивались в струнку.

— Тьфу!! Черт вас всех возьми... Провалитесь вы совсем! — ругался Осип Иваныч, задыхаясь от жары.

В конторе было страшно накурено, и сгущался тот специфический миазм, какой приносит с собой в комнату наш младший брат в лаптях. А в большие запыленные окна глядело весеннее солнышко, полосы голубого неба, край зеленого леса. Я поскорее вышел на крыльцо, чтобы дохнуть свежим воздухом.

Около конторы народ по-прежнему стоял стена стеной, и по-прежнему это был крестьянский люд. Выгнанный Осипом Иванычем бунтовщик был окружен целой толпой односельчан, с нетерпением ждавшей результатов ходатайства.

— Ну чего, дядя Силантий? — спросил белобрысый молодой парень с рябым лицом.

— По кондракту, говорит... — ответил дядя Силантий, почесывая за ухом.

— Выворотимся! — решил плечистый му-

жик в рваном зипуне.

— Надо обождать, — заметил Силантий. — Много ждали, маленько обождем.

Толпа загалдела. На ходока посыпались упреки и ругательства, но он только моргал глазами и отмахивался бессильным жестом рук. К этой артели присоединились другие, и в воздухе поднялся какой-то стон от взрыва общего негодования. Тут же толклись чердынцы, кунгуряки, соликамцы и тоже галдели и ругались, размахивая руками.

— Ну вас к богу совсем! — проговорил Силантий, усаживаясь на приступок крыльца. — Ступайте, коли хотите, а я останусь... Тебе, Митрей, видно, охота, чтобы шкуру спустили в волости, когда со сплаву прибежишь, — заметил он, вынимая из котомки берестяный бурак.

— И пусть спущают, — горячился белобрысый парень. — Я сам-сем в семье, а ежели пашню пропущу из-за вашего сплаву — все по миру пойдут... это как?..

— А так... Осип Иваныч сказывает: «Купи, говорит, гармонь али балалайку и наигрывай...» Ну, будет тебе, Митрей, вот садись, ужо

закусим хлебушка.

Митрий, олицетворенная черноземная сила, вдруг отмяк от одного ласкового слова дяди Силантия и присел на корточки около его таинственного бурака.

— Зачерпни-кось водицы, Митрей, бурачком-то!

Пока Митрий ходил с бураком за водой, Силантий неторопливо развязал небольшой мешок и достал оттуда пригоршню заплесневелых, сухих, как камень, корок черного хлеба.

— Что, плохи сухари-то? — спросил я Силантия.

— А какие есть, барин. И этих едва раздобылся: все приели бурлаки на пристани. Пристанские-то бабы денежку наживают около нашего брата. С лета начинают копить пищу про бурлаков, значит, к вешнему сплаву. Корочка хлебушка завалялась, заплесневела, огрызок ребятишки оставили — все копят бабы, потому бурлаки съедят все, только бы хлебушком пахло. Тоже вот которая редька тронется, продрябнет, кислы[7] испортятся, картошка почернеет — все берегут для нас, а мы

им за это деньги платим. Из дому не понесешь за тыщу-то верст...

Когда Митрий вернулся с водой, Силантий спустил в бурак свои сухари и долго их размешивал деревянной облизанной ложкой. Сухари, приготовленные из недопеченного, сырого хлеба, и не думали размокать, что очень огорчало обоих мужиков, пока они не стали есть свое импровизированное кушанье в его настоящем виде. Перед тем как взяться за ложки, они сняли шапки и набожно помолились в восточную сторону. Я уверен, что самая голодная крыса — и та отказалась бы есть окаменелые сухари из бурака Силантия.

— Вы издалека? — спросил я, когда бурлаки выхлебали из бурака остатки мутной воды с плававшей плесенью, мелкими крошками и опять помолились.

— Дальние будем; дальние, барин. Из-под Лаишева пришли... — отвечал Силантий, надевая шапку. — Ну, Митрей, на сёдни потрапезовали, а к завтрю тебе промышлять пропитал... Дойди до деревни, может, найдешь где еще корочек-то.

Молодой мужик переминался и не шел.

— Што не идешь? Видно, в кармане пусто… Эх ты, горе липовое! У меня тоже не густо денег-то: совсем прохарчились на этой трекляной пристане, штобы ей пусто было…

Дядя Силантий из глубины пазухи добыл пестрядевый мешочек, бережно его развязал и высыпал на ладонь несколько медяков.

— Все тут. На, сходи к бабам, поищи.

Конфузливо собрав деньги с ладони дяди Силантия, Митрий исчез в толпе.

— Зачем вы нанимаетесь на сплав? — спрашивал я Силантия.

— Нельзя, милый барин. Знамо, не по своей воле тащимся на сплав, а нужда гонит. Недород у нас… подати справляют… Ну, а где взять? А караванные приказчики уж пронюхают, где недород, и по зиме все деревни объедут. Приехали — сейчас в волость: кто подати не донес? А писарь и старшина уж ждут их, тоже свою спину берегут, и сейчас кондракт… За десять-то рублев ты и должон месить сперва на пристань тыщу верст, потом сплаву обжидать, а там на барке сбежать к Перме али дальше, как подрядился по кондракту.

— Ведь это для вас невыгодно?

— Какое выгодно! Нож вострой нам эти сплавы, вот што! Рассуди сам: сам теперь я из дому должон выйти на сплав за шесть недель, да сплаву прождешь другой раз все две недели, да на барке бежишь до Перми четыре дни, а дальше клади еще неделю. Сколь всего-то выйдет?

— Почти два с половиной месяца...

— Так, а другой раз и все три. А деньги-то, из десяти-то рублей, семь в подать пошли, рупь выдали, как пришли на сплав, а два рубли получим, когда караван привалит к Перме. На три-то месяца бурлаку рупь и приходится, а куды ты его повернешь? Теперь сколько одной лопотины[8] в дороге проносишь, сколько обуя[9], а пить-есть само собой... Вот Осип Иваныч-то даве говорит: купи гармонь али ступай в кабак, а того не думает, што у меня всю душеньку выворотило. Ночей не спишь, все про свое думаешь... За эти десять-то рублей я три месяца проболтаюсь да пашню опущу, — ну, а какой я мужик без пашни? Вон Митрей-то сам-сем: вот тебе и гармонь!

— Чем же вы живете эти три месяца? Неужели на один рубль?

— На рупь, барин, на него... Пока из дому бредем, так свойский, домашний хлебушко жуешь, а на пристане свой рупь и проживешь. На верхних пристанях дают бурлакам по пуду муки, а то и по два. Говядины тоже, сказывают, дают фунтов по пяти на брата...

— Все-таки рубль на три месяца...

— Это еще што! И рупь деньги! А ты вот посуди, какое дело: теперь мы бежим с караваном, а барка возьми да и убейся... Который потонул — того похоронят на бережку, а каково тем, кто жив-то останется? Расчету никакого, котомки потонули, а ты и ступай месить свою тысячу верст с пустым брюхом... Вот где нашему брату беда-бедовенная!

— А тебе случалось так уходить со сплаву?

— Нет, меня господь миловал, а другие много приходят домой чуть не под Петров день... Ей-богу! Ведь это мужику разор, всю семьишку измором сморишь!

— Чем же бурлаки питаются, когда бредут домой с разбитой барки?

— А бог?..

Последнее было сказано с такой глубокой верой, что не требовало дальнейших пояснений. Я долго смотрел на убежденное, спокойное выражение облупившегося под солнцем лица Силантия, на его песочную бороденку и крошечные слезившиеся глазки; от этого лица веяло такой несокрушимой силой, перед которой все препятствия должны отступить.

Наш разговор и мои размышления были прерваны появившейся ватагой пьяных бурлаков, которая валила к конторе с песнями и пляской, диким гиканьем и присвистом.

— Ишь как камешки да мастеровые разгулялись, — задумчиво проговорил Силантий. — Им што: сполагоря — весь тут. Получил задаток и гуляй... Самый бросовый народ, ежели разобрать. Никакой-то заботушки, окромя кабака... Ох-хо-хо!.. Мы каменских бурлаков камешками зовем, барин...

— Да и они тоже не от радости в кабак идут, Силантий.

— Может, и так, кто их знает, а я к тому вымолвил, што супротив наших деревенских очень уж безобразничают. Конечно, им на сплав рукой подать, и время они никакого не

знают...

IV

Я долго бродил по пристани, толкаясь между крестьянскими артелями и другим бурлацким людом. Шум и гам живого человеческого моря утомили слух, а эти испитые лица и однообразные лохмотья мозолили глаза. Картины и типы повторялись на одну тему; кипевшая сумятица начинала казаться самым обыкновенным делом. Сила привычки вступала в свои права, подавляя свежесть и ясность первого впечатления.

После обеда, когда я успел немного отдохнуть от вороха воспринятых ощущений, я опять отправился бродить по пристани, только на этот раз пошел не к караванной конторе, а в противоположную сторону, по нагорному берегу Чусовой, где виднелись сплавные избы и толпы бурлаков не были так густы. Между прочим, здесь мне кинулись в глаза несколько бурлацких групп, которые отличались от всех других тем, что среди них не слышалось шума и говора, не вырывалась песня или веселая прибаутка, а, напротив, какая-то мертвая тишина и неподвижность де-

лала их заметными среди других бурлаков. Кроме рваных овчинных полушубков, серых кафтанов и лаптей, здесь попадались белые войлочные шляпы с широкими полями, меховые треухи, оленьи круглые шапки с наушниками и просто невообразимая рвань, каким-то чудом державшаяся на голове. Обладатели этих треухов, белых шляп и оленьих шапок совсем не принимали никакого участия в общем шуме и гвалте, а боязливо держались поодаль от остальных бурлаков. По всему было заметно, что эти люди чувствовали себя совсем чужими в этом разгулявшемся море, а сознание своей отчужденности заставляло их сбиться в отдельные кучки.

— И уродит же господь-батюшко эку страсть! — богобоязливо и с заметным отвращением говорила какая-то старушонка, тащившая к гавани решетку с свежими калачами.

Несколько мальчишек образовали около молчаливых людей две-три весело смеявшихся шеренги; мальчишки посмелее пробовали заговорить с ними, но, не получая ответа, ограничивались тем, что громко хохотали и

указывали пальцами.

— Гли, робя, шапка-то как на ём! — резко выкрикивал босой мальчуган, вытирая нос рукавом рубахи. — Как мухомор... А глаза узенькие да чернящие! Страсть!

— А у другого-то, робя, ременный пояс и скобка прикована к поясу... Дядя, на что скобку приковал?

— Это бороться, надо полагать.

— Врешь. Они топоры в скобках носят... Гли-ко, огниво у каждого! Тоже вот нехристи, а огонь любят.

Эти странные, молчаливые люди — инородцы, которых на каждый сплав сбирается из разных мест Урала иногда несколько сот. Были тут башкиры из Уфимской губернии, пермяки из Чердынского уезда, вогулы из Верхотурского, зыряне из Вологодской губернии, татары из Кунгурского уезда и из-под Лаишева. Из-под белых войлочных шляп сверкали черные с косым разрезом глаза кровных степняков цветущей Башкирии; из-под оленьих шапок и треухов выглядывали прямые жесткие волосы с черным отливом, а приподнятые скулы точно сдавливали глаза в узкие

щели. Белобрысые пермяки с бесцветными, как пергамент, лицами, серыми глазами и неподвижно сложенными губами казались еще безжизненнее и серее рядом с пронырливыми и хитрыми зырянами. Основные типичные черты монгольского типа перемешались здесь с финскими, и, право, трудно было решить, кто из них был жалче. Русская бедность и нищета казались богатством по сравнению с этой степной голытьбой и жертвами медленного вымирания самых глухих лесных дебрей. Как ни беден русский бурлак, но у него есть еще впереди что-то вроде надежды, осталось сознание необходимости борьбы за свое существование, а здесь крайний север и степная Азия производили подавляющее впечатление своей мертвой апатией и полнейшей беспомощностью. Для этих людей не было будущего: они жили сегодняшним днем, чтобы медленно умереть завтра или послезавтра.

Живее других казались башкиры и татары, которые поэтому и сосредоточивали на себе особенное внимание мальчишек.

— Сплав гулял, вода ташшил, барка кун-

чал... — задорно поддразнивал какой-то белоголовый мальчуган.

Моя попытка разговориться с этими дикарями кончилась полной неудачей и вызвала только неумолкаемый смех маленькой веселой публики. При помощи трех слов: «гулял», «ташшил» и «кунчал» трудно было разговориться с незнакомыми людьми, а пермяки и этого не знали. Один, впрочем, как-то апатично произнес одно слово: «клэп», то есть хлеб.

— Нянь? — спросил я.

— Нянь, нянь... — ответил пермяк и даже не удивился, услыхав свое родное слово; по-пермяцки «нянь» значит хлеб.

Других пермяцких слов в моем лексиконе не оказалось, и я расстался с молчаливыми людьми, приговоренными историей к истреблению. Но эти лица и это единственное русское слово «клэп» все время не выходили у меня из головы. Какая сила выбила этих людей из их дремучих лесов и привольных степей и выкинула сюда, на берег далекой горной реки? Ответ, конечно, один: нужда, которая в лесу и степи еще страшнее и беспощаднее, чем по городам и селам. Как солнечная

теплота, заставляя таять зимний снег, собирает воду в известные водоемы, так и нужда стягивает живую человеческую силу в определенные боевые места, где не существует разницы племен и языков. Наблюдая этих позабытых историей людей, эту живую иллюстрацию железного закона вымирания слабейших цивилизаций под напором и давлением сильнейших, я испытывал самое тяжелое, гнетущее чувство, которое охватывало душу мертвящей тоской. Ведь вся история человечества создана на подобных жертвах, ведь под каждым благодеянием цивилизации таятся тысячи и миллионы безвременно погибших в непосильной борьбе существований, ведь каждый вершок земли, на котором мы живем, напоен кровью аборигенов, и каждый глоток воздуха, каждая наша радость отравлены мириадами безвестных страданий, о которых позабыла история, которым мы не приберем названия и которые каждый новый день хоронит мать-земля в своих недрах...

V

Вечер этого шумного дня мне привелось

провести в караванной конторе, где, в квартире поверенного от общества «Нептун», собралась веселая компания.

Квартира занимала второй этаж; светлая высокая гостиная была убрана с роскошью, хотя бы и не для Каменки. Мягкая мебель, драпировки на окнах, ковры, бронза — одним словом, все было убрано во вкусе той буржуазной роскоши, какую создает русский человек, когда чувствует за собой теплое и доходное местечко. Правда, поговаривали, что дела компании «Нептун» в очень незавидном положении, но у нас уж как-то так на Руси устроилось, что чем плоше дела какого-нибудь предприятия, тем вольготнее живут его учредители, члены, поверенные, контролеры, ревизоры и прочая братия, питающаяся от крох падающих. Специально о караванных конторах на Урале существует что-то вроде математической аксиомы: стоит только попасть поближе к каравану, и все блага сего грешного мира повалятся на такого мудреца. Если вы удивитесь, что такой-то ничего не имел несколько лет назад и был беден, как церковная мышь, а теперь ворочает десят-

ками тысяч собственного капитала, имеет несколько домов в Перми или в Екатеринбурге, вам совершенно серьезно ответят стереотипной фразой: «Да ведь он служил в караване...» Дальнейших пояснений не требуется все равно как для человека, побывавшего в Калифорнии, сопричисленного к интендантскому ведомству или ограбившего какой-нибудь банк. Для меня эти караванные метаморфозы всегда составляли неразрешимую задачу, и я упомянул о них только между прочим, потому что в экономической жизни Урала вообще встречается очень много самых непонятных феноменов.

— Шшш... — встретил меня многознаменательным шипением караванный поверенный, умоляюще воздевая руки кверху.

— Кто-нибудь болен, Семен Семеныч? — поспешил я осведомиться.

— О нет... Все, слава богу, здоровы; только в кабинете у меня сам отдыхает.

— Кто сам?

Поверенный назвал фамилию одного из членов-учредителей общества «Нептун», пользовавшегося между Нижним и Екатерин-

бургом громкой репутацией финансовой головы и великого промышленного дельца. Сам поверенный, которого я встречал на горных заводах, был одной из тех неопределенных и бесцветных личностей, которыми особенно богато наше время; они являются неизвестно откуда, по каким-то таинственнейшим протекциям занимают самые теплые местечки, наживают кругленькие капиталы и исчезают неизвестно куда. Каменский караванный принадлежал именно к этому сорту людей, и в крайнем случае о нем можно сказать только то, что одевался он совершенно безукоризненно, обладал счастливым аппетитом и любил угостить. Как известно, на угощение русский человек необыкновенно падок, и бесцветные люди отлично пользуются этой кровной чертой славянской натуры.

Мы на цыпочках прошли в следующую комнату, где сидели два заводских управителя, доктор, становой и еще несколько мелких служащих. На одном столе помещалась батарея бутылок всевозможного вина, а за другим шла игра в карты. Одним словом, по случаю сплава всем работы было по горло, о чем

красноречиво свидетельствовали раскрасневшиеся лица, блуждающие взгляды и не совсем связные разговоры. Из опасения разбудить «самого» говорили почтительным полушепотом.

— Слышите, что делается? — говорил поверенный, указывая мне движением головы на окно, откуда доносился глухой гул от собравшихся вокруг конторы бурлаков. — Чистая беда!

Вся обстановка и выражение лиц собравшейся компании как-то не вязались с этим отчаянием.

— Конечно, вам легко рассуждать, — вступился один из управителей, — ваше дело сторона, а вот посадить бы на наше место... Чей ход, господа?..

— Господа, нужно промочить горлышко, — суетился поверенный, разливая вино по рюмкам. — Авось Чусовая скорее пройдет...

Все, конечно, поспешили на помощь застоявшейся Чусовой. В углу сидел заводский доктор и, видимо, дремал; я присоединился к нему.

— Много больных на пристани? — спросил

я.

Доктор с недоумением посмотрел на меня, пожевал губами и с уверенной улыбкой проговорил:

— Вы лучше спросите, чем они живы, эти бурлаки... Помилуйте! Каждая лошадь лучше питается, чем весь этот народ. А работа? Да это чистейший ад... Тиф, лихорадка, — так и валятся десятками!

— Больница есть?

Доктор только махнул рукой и опять задремал.

Игра, несмотря на предупредительное шипение хозяина, разгоралась. Кучки денег на зеленом столе росли, а с ними росло и оживление игроков. Особенно типичны были управители, которые живут на Урале, как помещики. Это совершенно особенный тип, создавший кругом себя новое крепостное право, которое отличается от старого своими изящными, но более цепкими формами. С каждым годом заводскому населению приходится тяжелее, а параллельно с этим возвышается благосостояние управителей, управляющих, поверенных и целого сонма служащего люда.

Как это происходит — мы поговорим в другом месте, а теперь ограничимся только указанием на существующую аналогию плохого положения компании «Нептун», бурлаков и процветания администрации. Вероятно, это странное явление можно подвести под самый простой закон переливания жидкости из одного сосуда в другой: что убыло в одном, то прибыло в другом.

Один из управителей, еще молодой господин, с жирным лицом и каким-то остановившимся взглядом, выглядывал настоящим американским плантатором; другой, какой-то безыменный немец, весь красный, до ворота охотничьей куртки, с взъерошенными волосами и козлиной бородкой, смахивал на берейтора или фехтовального учителя и, кажется, ничего общего с заводской техникой не имел. Немец хлопал рюмку за рюмкой, но не пьянел, а только начинал горячиться, причем ломаные русские фразы так и сыпались у него из-под лихо закрученных рыжих усов.

— Пастаки!.. — постоянно повторял немец, когда у него убивали карту. — Сукина сына, туда твой дорог... Швинья — карт!

Служащие помельче сбились в самый дальний уголок и там потихоньку перешептывались о своих делах. К заветному столику с винами они подходили не иначе, как по приглашению хозяина.

— Егор Фомич изволят шевелиться… — змеиным сипом докладывал хозяину какой-то господин, нечто среднее между служащим и лакеем.

— Шш… — зашипел опять хозяин, а потом, обратившись к «среднему», категорически объявил: — У меня смотреть в оба! И ежели где-нибудь что-нибудь пошевелится или застучит — ты в ответе… Понял?

«Среднее» исчезло, чтобы через пять минут опять появиться в дверях.

— Егор Фомич изволили проснуться…

Это известие всех заставило встряхнуться и принять надлежащий вид. Руки как-то сами собой застегивали пуговицы у сюртуков и визиток, поправляли галстуки, лезли в карман за носовыми платками, и соответственно этому слышались глубокие вздохи, осторожные покашливания, — словом, производились все необходимые действия, соответствующие ве-

личию Егора Фомича.

— Господа! Пожалуйте в залу! — пригласил всех хозяин. — Егор Фомич, вероятно, будут сейчас кушать чай.

В светлой зале за большим столом, на котором кипел самовар, ждали пробуждения Егора Фомича еще несколько человек. Все разместились вокруг стола и с напряженным вниманием посматривали на дверь в кабинет, где слышались мягкие шаги и легкое покашливание. Через четверть часа на пороге, наконец, показался и сам Егор Фомич, красивый высокий мужчина лет сорока; его свежее умное лицо было слегка помято недавним сном.

— Не помешали ли вам отдыхать, Егор Фомич? — суетился поверенный, забегая петушком перед «самим».

— Ах нет, прекрасно выспался, — небрежно ответил Егор Фомич, галантно здороваясь с гостями.

С особенным вниманием отнесся Егор Фомич к высокому седому старику раскольничьего склада. Это был управляющий ...ских заводов, с которых компания «Нептун» от-

правляла все металлы. Перед нужным человеком Егор Фомич рассыпался мелким бесом, хотя суровый старик был не из особенно податливых: он так и выглядел последышем тех грозных управителей, которые во времена крепостного права гнули в бараний рог десятки тысяч людей.

— Надеюсь, вы всё видели, все наши порядки? — лебезил перед стариком Егор Фомич, заискивающе улыбаясь.

— Да, видел-с... Народ распустили — безобразие! — коротко отвечал старик. — Порядку настоящего нет...

— Ах, Парфен Маркыч, Парфен Маркыч! — взмолился Егор Фомич, делая выразительный жест. — Не старые времена, не прежние порядки! Приходится покоряться и брать то, что есть под руками. Сознаю, вполне сознаю, глубокоуважаемый Парфен Маркыч, что многое выходит не так, как было бы желательно, но что делать, глаза выше лба не растут...

Говорить умел Егор Фомич необыкновенно душевно и вместе уверенно. Голос у него был богатый, с низкими грудными нотами; каждое слово сопровождалось соответствующим

жестом, улыбкой, игрой глаз, отражалось в позе. Одним словом, это был тертый калач, видавший виды. Семен Семеныч с благоговением заглядывал в рот своему божку и не смел моргнуть. Глядя на бесцветную вытянутую фигуру Семена Семеныча, так и казалось, что она одна, сама по себе, не имела решительно никакого значения и получала его только в присутствии Егора Фомича, являясь его естественным продолжением, как хвост у собаки или как в грамматике прямое дополнение при сказуемом. Бывают такие люди-дополнения, смысл существования которых выясняется только в присутствии их патронов: люди-дополнения, как планеты, в состоянии светить только заимствованным светом.

— Я рад, господа, видеть в вашем лице людей, которые являются носителями промышленных идей нашего великого века! — ораторствовал Егор Фомич, закругляя руку, чтобы принять стакан чая. — Мы живем в такое время, когда просто грешно не принимать участия в общей работе... Помните евангельского ленивого раба, который закопал свой талант в землю?[10] Да, наше время именно

время приумножения... Не так ли, Павел Петрович? — обратился он к становому.

— А... что?.. Так точно-с... — отозвался Павел Петрович, бурбон чистейшей воды.

— Надеюсь, вы не откажетесь в числе других принять участие в общем труде?

— Помилуйте-с, с большим удовольствием!

— И отлично. Значит, вы поступаете в число акционеров нашего «Нептуна»?

— Дда... то есть нет, пока... Вот мы с доктором пополам возьмем одну акцию.

— Я, право, еще не знаю, — отозвался доктор. — Да и денег свободных нет... Нужно подумать...

— Чего же тут думать? — вежливо удивлялся Егор Фомич. — Помилуйте!.. Дело ясно, как день: государственный банк платит за бессрочные вклады три процента, частные банки — пять — семь процентов, а от «Нептуна» вы получите пятнадцать — двадцать процентов...

Управитель-плантатор выразил сомнение относительно такой смелой пропорции, но «сам» не смутился возражением и заговорил

еще мягче и душевнее:

— Я понимаю, что вас, Алексей Самойлович, смутило. Именно, вы сомневаетесь в таком высоком дивиденде при начале предприятия, когда потребуются усиленные затраты, неизбежные во всяком новом деле. Не правда ли?

— Да... Мне кажется, что вы преувеличиваете, Егор Фомич, — возражал Алексей Самойлыч неуверенным тоном. — Когда предприятие окончательно окрепнет, тогда, я не спорю...

— Я то же думаю, — вставил свое слово Парфен Маркыч.

— Ах, господа... А если я ручаюсь вам головой за верность этих пятнадцати — двадцати процентов?

— Но ведь здесь может быть много побочных обстоятельств, — заметил доктор с своей стороны. — Один неудачный сплав, и вместо дивидендов получатся дефициты...

— Совершенно верно и справедливо... если мы будем иметь в виду только один год, — мягко возражал Егор Фомич, прихлебывая чай. — Но ведь в промышленных предприя-

тиях сметы приходится делать на известный срок, чтобы такие случайные убытки и прибыли уравновешивали друг друга. Возьмемте, например, десятилетний срок для нашего сплава: средняя цифра убитых барок вычислена почти за целое столетие, средним числом из тридцати барок бьется одна. Следовательно, здесь мы имеем дело с вполне верным расчетом, даже больше, потому что по мере необходимых улучшений в условиях сплава процент крушений постепенно будет понижаться, а вместе с этим будет расти и цифра дивиденда. Только взгляните на дело совершенно беспристрастно и на время позабудьте, что вы намереваетесь записаться в число наших акционеров.

Эта шутка рассмешила всех, даже сам Парфен Маркыч улыбнулся.

— Пастаки! — провозгласил за всех немец, выкатывая глаза. — Барка нэт умер.

Чай незаметно перешел на закуску, а затем в ужин. Будущие промышленные деятели обратили теперь особенное внимание на уху из живых харюзов, а Егор Фомич налег на вина. Шестирублевый шартрез привел станово-

го в умиление, и он даже расцеловал Семена Семеныча, на обязанности которого лежал самый бдительный надзор за рюмками гостей.

— А Чусовая все еще не прошла? — спрашивал Егор Фомич в середине ужина, не обращаясь собственно ни к кому.

— Никак нет-с, — почтительно отвечал Семен Семеныч.

— Гм... жаль! Но приходится помириться, как мы миримся с капризами всех хорошеньких женщин. Наша Чусовая самая капризная из красавиц... Не так ли, господа?

За ужином, конечно, все пили, как умеет пить только один русский человек, без толка и смысла, а так, потому что предлагают пить.

— Урал — золотое дно для России, — ораторствовал Егор Фомич, — но ахиллесова пятка его — пути сообщения... Не будь Чусовой, пришлось бы очень плохо всем заводчикам и крупным торговым фирмам. Пятьдесят горных заводов сплавляют по Чусовой пять миллионов пудов металлов, да купеческий караван поднимает миллиона три пудов. Получается очень почтенная цифра в восемь миллионов пудов груза... Для нас даже будущая же-

лезная дорога[11] не представляет ни малейшей опасности, потому что конкурировать с Чусовой — немыслимая вещь.

— О, совершенная пастаки! — подтвердил немец.

— То есть что пустяки: железная дорога или Чусовая?

— Дорог пастаки…

Егор Фомич долго распространялся о всех преимуществах, какие представляет сплав грузов по реке Чусовой сравнительно с отправкой по будущей железной дороге, и с уверенностью пророчил этой реке самое блестящее будущее, как «самой живой уральской артерии».

— Теперь большинство заводов и купечество отправляют грузы в одиночку, — говорил он, играя массивной золотой цепочкой. — Всем это обходится дорого, и все несут убытки только оттого, что не хотят соединиться воедино. Другими словами, стоит передать эксплуатацию всей Чусовой в руки одной какой-нибудь компании, и тогда разом все устроится само собой. Что невыгодно теперь, тогда будет давать дивиденды… Компа-

ния организует дело на самых рациональных основаниях, по самым последним указаниям науки и опыта, и все неблагоприятные условия сплава по Чусовой в настоящем его виде падут сами собой, а главное — мы избавимся от разъедающей нас язвы, то есть от необходимости каждый раз нанимать бурлаков из дальних местностей.

— Да, бурлаки — совершенная язва, — почтительно вторил Семен Семеныч.

— Но как же вы обойдетесь без рабочих? — спрашивал кто-то.

— Очень просто: мы заменим сплав на потесях сплавом на лотах, тогда рабочих потребуется в пять раз меньше, то есть как раз настолько, насколько могут дать рабочих чусовские пристани и отчасти заводы. Теперь какая-нибудь лишняя неделя — бурлаки бегут, и мы каждым раз должны переживать крайние затруднения, а тогда...

— Но ведь для сплава на лотах потребуется вдвое больше времени, — заметил доктор, — а вода спадает через неделю...

— Мы устроим в верховьях Чусовой громадный водоем и будем сплавлять караван

по паводку. На помощь главному водоему устроим несколько побочных... Одним словом, с технической стороны все предприятие не представляет особенных препятствий, а вся суть заключается в том, чтобы добиться согласия всех заводчиков — передать сплав грузов в одни руки, а затем привлечь к участию в предприятии общество. Теперь частные капиталы лежат непроизводительно, а тогда они будут давать двадцать — тридцать процентов дивиденда. Все выиграют...

Мы усердно пили шампанское за великую будущность Чусовой, за будущую компанию, за гениальный план Егора Фомича и за него самого.

— Деньги, деньги и деньги — вот где главная сила! — сладко закатывая глаза, говорил Егор Фомич на прощанье. — С деньгами мы устроим все: очистим Чусовую от подводных камней, взорвем на воздух все бойцы, уничтожим мели, срежем крутые мысы — словом, сделаем из Чусовой широкую дорогу, по которой можно будет сплавлять не восемь миллионов груза, а все двадцать пять.

Будущие сподвижники и осуществители

грандиозных планов Егора Фомича только почтительно мычали или издавали одобрительное кряхтенье, глупо хлопая осовелыми, помутившимися глазами. Становой несколько раз принимался ощупывать себе голову, точно сомневался, его ли это голова...

VI

— Вам куда? — спрашивал меня доктор, когда мы выходили из конторы.

— Я к Осипу Иванычу...

— У него остановились? Гм... Нам по пути. Мне еще нужно зайти кое к кому из пациентов.

Мы пошли по плотине к селению. Весенняя белая ночь стояла над горами, над лесом, над рекой. Такие ночи бывают только на Урале. Кто не переживал такой ночи, тому трудно понять ее чарующую прелесть. Тихо, тихо везде; прохваченный весенней изморозью воздух дремлет чутким сном. Далекие горы чуть повиты молочной дымкой. Дремлет темный лес на берегу, дремлет пристань с своими избушками на крутом угоре, дремлет все кругом под наплывом весенних грез. Ручейки, которые днем весело бороздили по всем

улицам, разъедая «череп»[12], тоже заснули, превратившись в грязно-бурые полосы и наплыви. Я люблю такие ночи, когда так легко и вольно дышится здоровому человеку. Чувствуешь, как сам оживаешь вместе с природой и как в душе накопляется что-то такое хорошее, бодрое, счастливое. Не хочется верить, что эти белые ночи уносят вместе с весенними ручейками столько человеческих жизней — эту неизбежную жертву всякой весны...

Мне доставляет удовольствие присутствие доктора, который шагает рядом со мной; он постоянно спотыкается по своей близорукости, размахивает руками и как-то забавно причмокивает губами. Время от времени он снимает свою баранью шапку и осторожно ощупывает голову, как давеча делал становой.

— Что, доктор? — спрашивал я, удерживаясь от желания пощупать свою голову.

— Это черт знает что такое!.. Мы-то с какой радости пили... а? Вы не акционер «Нептуна»?

— Нет...

— Я тоже... Этот Семен Семеныч подсунул за ужином какую-то такую монашескую специю...

— Шартрез?

— Нет, шартрез само собой: это еще милостиво.

Доктор засмеялся. Его добродушное старческое лицо покрылось розовыми пятнами, глаза блестели. Это был типичный представитель тех славных стариков докторов, которые сохранились только еще в провинции.

— Скажите, пожалуйста, доктор, что это за комедия сегодня разыгрывалась в конторе?

— Это вы насчет Егора Фомича?

— Да...

— Гм... Комедия самая обыкновенная: дела «Нептуна» не сегодня-завтра ликвидируются, — вот Егор Фомич и хватается за соломинку, чтобы выплыть. Акционеров вербует...

— Это-то понятно, только он едва ли чего-нибудь добьется. Никто ему не верит, и соглашаются с ним только из вежливости, то есть, вернее сказать, из-за угощения. Я уверен, что Егор Фомич не сбудет ни одной акции...

— Ну, это трудно сказать вперед. Конечно, ему не верят, даже смеются за глаза над ним, а, наверно, кончится дело тем, что все попадут в лапы к этому же самому Егору Фомичу. Такие превращения случаются сплошь и рядом. Меня собственно интересует манера Егора Фомича добывать акционеров: сначала оглушит проектами, а потом навалится с едой... Ведь глупости, кажется, а между тем действует, да еще как действует! Взять теперь хоть Парфена Маркыча — человек замечательно умный, насквозь видит Егора Фомича со всеми его проектами, а все-таки Егор Фомич слопает Парфена Маркыча... И ведь как просто: сегодня завтрак, завтра ужин, послезавтра обед — дело и сойдет, как по маслу. Подите вот вы с человеческой природой: против всего человек устоит, а едой его проймут.

— Вы шутите?

— Нет, говорю совершенно серьезно. Вот сами увидите, как Егор Фомич всех обделает: и Парфена Маркыча, и Алексея Самойлыча, и Павла Петровича, и, по всей вероятности, еще многих других. В природе ведь то же бывает: стоит какая-нибудь этакая скала; кажется, и

веку ей не будет, а между тем точит ее ручеек, точит-точит — глядишь, наша скала и рухнула. Так и с нашими акционерами: наживают деньги правдами и неправдами десятки лет, крепятся, скалдырничают, а тут подвернулся Егор Фомич — благоразумный раб и распоясался. Ведь сам не верит ни Егору Фомичу, ни его двадцати процентам, а все-таки идет в ловушку... Черт знает что за глупость!

Мы подошли к квартире Осипа Иваныча.

— Вы спать? — спрашивал доктор, останавливаясь.

— Да.

— В этакую-то ночь? Да побойтесь бога, батенька! Это, наконец, бессовестно... Лучше пройдемтесь по берегу, вы погуляете, а я навещу двоих тифозных. Совсем безнадежны... Идет?

— Пожалуй.

— Нет, в самом деле таких белых ночей не много выпадает на нашу долю.

Мы шли по берегу Чусовой, мимо крепких бревенчатых изб, где все покоилось мертвым сном. Где-где глухо брехнет спросонья собака, и опять мертвая тишина кругом; только мо-

лодой месяц обливает и лес, и реку, и деревню своим трепетным молочным светом. Теперь пристань походила на громадное поле убиенных, которые там и сям лежали кучками. Ближе эти кучки превращались в груды лохмотьев, из которых выставлялись руки, ноги и головы. Спавшие люди виднелись везде, под малейшим прикрытием: под навесами изб, на завалинках, за углами, а то и просто на бугорке, который солнце за день успело обсушить и прогреть. Ни дать ни взять — настоящее поле убиенных, на котором не успели даже хорошенько прибрать трупов, а просто, для порядку, стаскали их в несколько куч. Дальше, на самом берегу, красным глазом мелькал огонек, около которого можно было различить несколько неподвижных фигур.

— Где же ваши пациенты? — просил я доктора, когда мы подходили уже к концу деревни.

— А вот сейчас… предпоследняя изба.

У предпоследней избы не было ни ворот, ни крытого сплошь двора, ни хозяйственных пристроек; прямо с улицы по шатавшемуся крылечку ход был в темные сени с просвечи-

вавшей крышей. Огня нигде нет. Показалась поджарая собака, повиляла хвостом, точно извиняясь, что ей караулить нечего, и опять скрылась.

— Осторожнее, здесь нет ступеньки... — предупредил доктор, нащупывая рукой бревенчатую стену.

Он толкнул дверь, и она растворилась черным зияющим пятном, как пасть чудовища.

— Осторожнее, здесь люди... — шептал доктор, чиркая спичкой о двери.

Действительно, весь пол в сенях был занят спящими вповалку бурлаками. Даже из дверей избы выставлялись какие-то ноги в лаптях: значит, в избе не хватало места для всех. Слышался тяжелый храп, кто-то поднял голову, мгновение посмотрел на нас и опять бессильно опустил ее. Мы попали в самый разгар сна, когда все спали, как зарезанные.

Доктор зажег стеариновый огарок и, шагая через спавших людей, пошел в дальний угол, где на смятой соломе лежали две бессильно вытянутые фигуры. Наше появление разбудило одного из спавших бурлаков. Он с трудом поднял голову и, видимо, не мог по-

нять, что происходило кругом.

— Это ты, Силантий? — проговорил доктор.

— Я, ваше благородие... я... — отозвался старик, с тяжелым кряхтеньем поднимаясь с пола.

В этой сгорбленной старческой фигуре я сразу узнал давешнего бунтовщика Силантия, который трапезовал с Митрием заплесневелыми корочками.

— Ну, что больные? — спрашивал доктор.

— Да кто их знает, ваше благородие, лежат в лежку... Даве Степа-то испить попросил, а Кирило и головы не подымает.

— Да ведь ты спал и, наверно, ничего не слышал?

— Может, и не слышал... — равнодушно согласился Силантий, движением лопаток почесывая спину. — Уж как бог...

— А ты лекарство подавал?

— Подавать-то подавал...

Больные — Кирило, пожилой мужик с песочной бородой, и Степа, молодой, безусый парень с серым лицом, — лежали неподвижно, только можно было расслышать неров-

ное, тяжелое дыханье. Доктор взглянул на Кирилу и покачал головой. Запекшиеся губы, полуоткрытый рот, провалившиеся глубоко глаза — все это было красноречивее слов.

— Кончается? — спрашивал Силантий так же равнодушно.

— К утру будет готов...

— А Степа?

Доктор ничего не отвечал, а только припал головой к больному парню. Когда он взял его за руку, чтобы сосчитать пульс, больной с трудом открыл отяжелевшие веки, посмотрел на доктора мутным, бессмысленным взглядом и глухо прошептал всего одно слово:

— Сапоги...

— Какие сапоги он спрашивает? — шепотом осведомился доктор у Силантия.

— Он так это, ваше благородие... не от ума городит, — объяснял старик. — Ишь втемяшилось ему беспременно купить сапоги, как привалим в Пермь, вот он и поминает их... И что, подумаешь, далось человеку! Какие уж тут сапоги... Как на сплав-то шли, он и спал и видел эти самые сапоги и теперь все их поминает. Не нашивал парень сапогов-то отродясь,

так оно любопытно ему было...

Сапоги для мужика — самый соблазнительный предмет, как это уже было замечено многими наблюдателями. Никакая другая часть мужицкого костюма не пользуется такой симпатией, как именно сапоги. Происходит ли эта необъяснимая симпатия оттого, что сапоги являются роскошью для всероссийского лапотника, или это наша исключительно национальная особенность — трудно сказать.

— Так Кирило-то, говоришь, помрет? — спрашивал Силантий, провожая нас на крыльцо.

— Да... — коротко ответил доктор, задувая огарок.

— Ах ты, грех какой вышел... а?.. Чего делать-то будем?

— Похоронят как-нибудь...

— Известно, похоронят... Нет, дома-то у Кирилы семьища осталась — страсть! Сам-восьмой был, и все мал мала меньше... А средствия никакого не будет Кириле от вашего благородия?

— Нет, не будет...

— Ах, грех какой... И попа-то на этой треклятой пристани нет; пожалуй, без покаяния и отойдет. Вот бы еще денька два повременил, поп наедет к отвалу каравана, уж за попутьем бы и упокойничка похоронить.

Мы вышли молча. Силантий остался на крыльце, почесываясь лопатками и позевывая. Давешняя собака показалась опять из-за угла, присела задом и тихо завыла.

— Чует упокойничка... — проговорил Силантий.

— Вот вам жертва голодного тифа... — угрюмо проговорил доктор, чмокая губами.

— И много таких?

— Десятка полтора наберется.

Когда еще доктор осматривал больных, с улицы донесся какой-то подавленный стон. Немного погодя звук повторился и застыл в воздухе протяжным унылым воем. Без сомнения, это были волки.

— Доктор, слышите? — спрашивал я.

— Да...

Мы остановились и прислушались. Это были волки. Они перебежали через реку на наш берег и тянули убийственную ноту где-то тут,

совсем близко.

— Целая стая... — заметил я.

Доктор вдруг засмеялся.

— А ведь вы и меня на грех навели, — проговорил он. — Ха-ха... Нашли волков!.. Я и позабыл совсем, что сегодня у инородцев праздник. Аллах им послал веселую скотинку, вот они и поют! Огонек-то видите на берегу? — там идет пир горой.

Действительно, теперь можно было совершенно ясно определить, что звуки неслись именно от горевшего на берегу огонька.

— Я не понимаю, доктор, про какую веселую скотинку вы говорите?

— Неужели никогда не слыхали?.. Очень просто: у одного здешнего мужика сбесилась корова; по всей вероятности, ее укусила бешеная собака, ну-с, мужик и взвыл с своей коровой. Убыток убытком, да еще нужно ее зарезать, отвезти в лес и закопать поглубже в землю. А время самое горячее, до того ли тут... Пока мужик горевал, добрые люди и надоумили: отдать бешеную корову башкирам. А им это целый праздник; они взбесившийся скот зовут веселой скотинкой и едят его за настоя-

щий, здоровый. Вся пристань давеча сбежалась смотреть, как они будут расправляться с бедной коровой... Мигом оборудовали все дело: закололи корову, развели огонек на берегу и закутили. Именно закутили, потому что совсем отощали и пьянеют от еды. Я сам ходил смотреть на них: наестся человек и шатается, как пьяный; глаза блуждают, ну, одним словом, все признаки отравления алкоголем.

— Может быть, это происходит от отравления зараженным мясом?

— Сначала я и сам то же подумал, но дело в том, что такое опьянение происходит и от хлеба. Ест-ест, пока замертво не свалится, потом отдышится и опять ест. Страшно на них смотреть. Не хотите ли полюбопытствовать?

— Нет, благодарю... На этот день достаточно впечатлений. Я видел этих инородцев давеча...

— Да, да... Голод согнал сюда народ со всех сторон. И болезнь у всех одна: голодный тиф.

— Разве у вас нет какой-нибудь больнички на всякий случай? — спрашивал я.

— Какая тут больничка... Лекарств даже нет. Хинин стоит дорого, поэтому лечим алек-

сандрийским листом. Да и что может сделать медицина там, где все условия точно нарочно собраны для разрушения самого железного здоровья: голод, холод, каторжный труд...

Мы опять заговорили о проектах медоточивого Егора Фомича.

— Все это вздор, — отрезал доктор, безнадежно махнув рукой. — Жаль только, что все эти медовые речи отзываются все на той же бурлацкой спине.

— Именно?

— Откуда эти деньги у всех караванных, поверенных и прочей братии? Конечно, все с тех же бурлаков... Ведь их набирается на Чусовую тысяч двадцать пять, кладите по рублю с человека — и то получается порядочный куш, а тут еще нагрузка барок, опять новая статья дохода. Все наживаются около каравана, потому что не существует никакого контроля. Поставили на барку сорок человек, записали пятьдесят; за нагрузку заплатили сто рублей, а в книгу занесли триста. Кто их может проверить? Рука руку моет... Вы поплывете с караваном?

— Да.

— Ну, так досыта наглядитесь, чего стоят эти роскошные ужины, дорогие вина и тайные дивиденды караванной челяди. Живым мясом рвут все из-под той же бурлацкой спины... Вы только подумайте, чего стоит снять с мели одну барку в полую воду, когда по реке идет еще лед? Люди идут на верную смерть, а их даже не рассчитают порядком... В результате получается масса калек, увечных, больных.

— А их куда девают?

— Как куда? Не тащить же с собой — оставят на бережку, и вся недолга. Как негодный балласт, так и выбрасывают живых людей. Да еще больные туда-сюда: отлежался — твое счастье, умер — добрые люди похоронят, а вот куда деваться калекам да увечным?

— Может быть, им выдаются пособия?

— Какие там пособия! Обратите внимание на то, что главная масса увечных происходит благодаря все этим же безгрешным доходам караванных служащих; поставят людей в обрез, чтобы прописать в книгу побольше, снимают барки воротом, что запрещено законом. Да мало ли тут пакостей творится! Вот поплы-

вете, так своими глазами насмотритесь. Главное, совсем бессудная земля, и если является на сплав полиция, так она всецело действует только в интересах судоотправителей, то есть усмиряет крестьянские бунты, когда сплав затянется.

Я распрощался с доктором. Осип Иваныч спал мертвым сном, но я долго не мог заснуть. Мне «мерещилось» все виденное и слышанное за день: эти толпы бурлаков, пьяный Савоська, мастеровые, «камешки», ужин в караванной конторе и, наконец, больные бурлаки и этот импровизированный пир «веселой скотинкой». Целая масса несообразностей мучительно шевелилась в голове, вызывая ряды типичных лиц, сцен и мыслей. Как разобраться в таком хаосе впечатлений, как согласовать отдельные житейские штрихи, чтобы получить в результате необходимое целостное представление? Каждый раз, когда хотелось сосредоточиться на одной точке, мысли расползались в разные стороны, как живые раки из открытой корзины.

А в окна моей комнаты гляделся молодой месяц матовыми белыми полосами, которые

прихотливо выхватывали из ночного сумрака то угол чемодана с медной застежкой, то какую-то гравюру на стене с неизвестной нагой красавицей, то остатки ужина на столе, то взлохмаченную голову Осипа Иваныча, который и во сне несколько раз принимался ругаться с бурлаками. В ушах у меня все еще стоял страшный вой пировавших инородцев, и мне казалось, что я опять слышу эти тянущие душу ноты. Наконец я забылся тревожным сном. Но сегодня нам с Осипом Иванычем, видно, не суждено было спать, потому что в середине ночи под окнами послышался страшный стук, который заставил нас вскочить с постелей.

— Какой там черт ломится? — сердито закричал Осип Иваныч, подбегая к окну.

— От караванного, — слышался голос под окном.

— Черти полуношные!.. — ругался Осип Иваныч, отправляясь отворять дверь. — Умереть не дадут спокойно... Ну, какого черта понадобилось караванному, чтобы ему провалиться вместе с конторой? — спрашивал он в передней посланца.

— Вот писульку прислали, — почтительно докладывал неизвестный голос.

Осип Иваныч достал огня и торопливо пробежал записку караванного. Не дочитав до конца, он скомкал несчастную писульку и принялся неистово плеваться.

— Что случилось, Осип Иваныч? — спросил я, тронутый этим безмолвным горем.

— А вот извольте, полюбуйтесь!.. — сердито сунул мне под нос принесенную писульку Осип Иваныч и начал торопливо одеваться.

Я пробежал записку. Караванный просил Осипа Иваныча немедленно отправить нарочного в Тагил, чтобы купить там омаров и несколько страсбургских пирогов. В постскриптуме стояла лаконическая фраза, подчеркнутая карандашом: от этого все зависит...

— Подлецы! Аспиды! — неистовствовал Осип Иваныч, облекаясь в архалук. — Гнать нарочного за семьдесят верст за омарами... Тьфу! Это Егор Фомич придумал закормить управителей... Знает, шельмец, чем их пробрать: едой города берут, а наши управители помешались на обедах да на закусках. Дорого им эти закуски вскочат!

Через полчаса Осип Иваныч вернулся; нарочный был послан в ночь сейчас же. Но только что мы улеглись, как опять послышался стук в окно и прилетела вторая писулька от караванного: просит немедленно послать рабочих на какую-то речку за харюзами, которые должны быть готовы к обеду. У Осипа Иваныча руки затряслись со злости, и он должен был выпить три рюмки водки, чтобы успокоиться, снова одеться и отдать соответствующие приказания. Я не дождался, когда он вернется, но сквозь сон слышал новый стук в окно; это, вероятно, был новый заказ караванного на какое-нибудь мудреное яство.

VII

Каменка — название исторического происхождения.

Строгановы на реке Чусовой поставили Чусовской городок; а брат сибирского султана, Махметкул, на 20 июля 1573 года, «со многолюдством татар, остяков и с верхчусовскими вогуличами», нечаянно напал на него, многих российских подданных и ясачных (плативших царскую дань мехами — ясак) остяков побил, жен и детей разбежавшихся и по-

битых жителей полонил и в том числе забрал самого посланника государева, Третьяка Чубукова, вместе с его служилыми татарами, с которыми он был послан из Москвы «в казацкую орду». У Строгановых для обороны всегда была под рукой разная казацкая вольница, но они побоялись вступить в бой с Махметкулом и преследовать его, «опасаясь дальних случаев», то есть как бы этим не нанести «худых следствиев от сильной сибирской стороны» своим острожкам и пермским городкам. Так Махметкул и вернулся восвояси «с немалою добычею и пленом», а Строгановы послали в Москву просьбу, чтобы им позволили ходить войной на сибирцев; царь отписал Строгановым, чтобы они всех бунтовщиков и изменников воевали и под руку царскую приводили.

Воспользовавшись этой царской грамотой, Строгановы к своей казацкой вольнице присоединили разных охочих людей, недостатка в которых в то смутное время не было, и двинули эту орду вверх по реке Чусовой, чтобы в свою очередь учинить нападение на «недоброжелательных соседей», то есть на тех вогу-

личей и остяков, которые приходили с Махметкулом. Повторилась обратная история: недоброжелательные соседи избивались, их жилища превращались в пепел, а жены и дети забирались в полон. Таким образом строгановские казаки поднялись вверх по реке Чусовой верст на триста и остановились только при впадении в Чусовую реки Каменки. Идти дальше казаки не отваживались, опасаясь «многолюдства татарского и вогульского и сибирского владения». Чтобы закрепить за собой завоеванную сторону, Строгановы поселили на ней своих крестьян, причем селение, поставленное на усторожливом местечке, при впадении реки Каменки в Чусовую, сделалось крайним пунктом русской колонизации, смело выдвинутым в самую глубь сибирской украйны. Даже неутомимые и предприимчивые Строгановы не решились забираться дальше в сибирское владение, «понеже тогда, за сопротивлением сибирцев и вогулич, далее оной реки Каменки по Чусовой заселение иметь им, Строгановым, было опасно». Последовавшей затем царской грамотой вся завоеванная сторона отдана Строгановым

вплоть по реку Каменку.

Таким образом, основание Каменки предупредило на несколько лет знаменитый поход Ермака, и эта пристань долго еще служила Строгановым опорным пунктом в борьбе с соседями. Вообще бассейн реки Чусовой в течение несколько столетий служил кровавой ареной, на которой кипела самая ожесточенная борьба аборигенов с безвестными пришлецами. Нечаянные нападения, разрушения городков, одоление или полон чередовались здесь с переменным счастьем для враждовавших сторон. Для нас может показаться странным только одно: где Строгановы, частные люди, могли набрать столько народа не только для войны с сибирской стороной, но и для ее колонизации, разом на сотни верст? Такие крупные задачи, пожалуй, были не под силу и самой Москве, не то что частным предпринимателям. Дело объясняется очень просто, если мы взглянем на него с исторической точки зрения. Созидание Москвы и патриархальная неурядица московского уклада отзывались на худом народе крайне тяжело; под гнетом этой неурядицы создался неистощимый запас го-

лутвенных[13], обнищалых и до конца оскудевших худых людишек, которые с замечательной энергией тянули к излюбленным русским человеком украйнам, а в том числе и на восток, на Камень, как называли тогда Урал, где сибирская украйна представлялась еще со времен новгородских ушкуйников[14] самой лакомой приманкой. Истинными завоевателями и колонизаторами всей сибирской украйны были не Строгановы, не Ермак и сменившие его царские воеводы, а московская волокита, воеводы, подьячие, земские старосты, тяжелые подати и разбойные люди, которые заставляли «брести врознь» целые области.

Мы не станем вдаваться в подробности того, как голутвенные и обнищалые людишки грудью взяли и то, что лежало перед Камнем, и самый Камень, и перевалили за Камень, — эти кровавые страницы русской истории касаются нашей темы только с той стороны, поскольку они служили к образованию того оригинального населения, какое осело в бассейне Чусовой и послужило родоначальником нынешнего. После одоления сибирской

стороны тяга русских людишек на Камень постоянно увеличивалась, чему способствовали некоторые новые мотивы русской истории. Так, в течение последних двух веков на Камень со всех сторон бежали раскольники. Мы встречаем название Каменки уже не в царских грамотах, а в делах Преображенского приказа, когда князь Иван Федорович Ромодановский пытал за «государственные слова».

Именно, мы приведем коротенький эпизод о «государевых слове и деле», которые залетели даже на Каменку. Этот эпизод отлично характеризует порядки того времени и людей, из которых образовалось нынешнее уральское население.

Летом 1722 года на Каменку приходит неизвестного звания человек и останавливается в доме крестьянина Якова Солнышкина [15]. Странника приняли и обогрели, как своего человека, потому что незнаемый пришлец назвался приверженным к расколу. Собралась однажды вечерком вся семья Солнышкиных, и пошли те разговоры, какие перебегали по петровской Руси, как электрические искры. Первыми, конечно, затрещали бабы, же-

на Якова Солнышкина да его сноха. Они рассказали неизвестному человеку, что проходили через Каменку неизвестные гулящие люди и сказывали, что государь-де в Казани часовни ломает, и иконы из часовен выносит, и кресты с часовен сымает. И к тем словам разболтавшихся каменских баб сын Якова Солнышкина, тоже Яков, прибавил про императорское величество, что взял бы де его и в мелкие части разрезал и тело бы его растерзал. Неизвестный человек хорошо запомнил горячую выходку младшего Солнышкина, пожил в Каменке недели две, а затем отправился, как объяснил гостеприимным хозяевам, разыскивать медную руду, о которой наслышался раньше.

Из Каменки неизвестный человек прошел на Тагил-реку и там действительно отыскал медную руду и в то же время усмотрел в лесу две кельи, в которых жили три раскольничьих старицы: Платонида, Досифея и Варсонофия, и старец Варфоломей. Встретившись с раскольниками, неизвестный человек сам назвался раскольником и поселился на время у них. Повторилась старая история: неизвест-

ный человек вкрался в доверие пустынножителей, и опять пошли разговоры. Старицы обрадовались случаю поболтать с новым человеком, причем Платонида называла царя «обменным шведом», который не может «воздержать посту», затем говорила, что образа пишут с шведских персон, и так далее. Старицы-сестры, Варсонофия и Досифея, прибавили к этому, что государь-де сжился с царицей Екатериной Алексеевной прежде венца и что от царевича-де Алексея Петровича родился от шведки царевич мерою аршин с четвертью и с зубами, не прост человек. Старец Варфоломей читал неизвестному человеку какие-то божественные книги, называл попов еретиками и говорил про крещение, что еретическое крещение не есть крещение, а паче осквернение, и так далее, и так далее.

После этого мы видим неизвестного человека уже в Тобольске, где он объявляет «государевы слово и дело» и прямо указывает на «государственные слова», какие говорили старицы со старцем и Яков Солнышкин. Из Тобольска немедленно посылается надежный профос (солдат), который и забирает всех, на

кого донес неизвестный человек, а затем всех пятерых везет в Тобольск. Дорогой старица Платонида умирает, а старец Варфоломей убегает из-под стражи. Трое, оставшиеся в наличности, вместе с доносчиком отправляются в Москву и сдаются с рук на руки в Преображенский приказ[16], под крылышко князю Ромодановскому.

Кто же был этот неизвестный доносчик и что за цель была у него подводить людей, которые приютили его, обогрели и кормили?

Вот что показал на допросе доносчик: родом он казачий сын, из Сибирской губернии, города Тюмени, по имени Дорофей Веселков. Из Тюмени в 1721 году он поехал на Ирбитскую ярмарку с товаром, но дорогой воевода Нефедьев товары его побрал себе и его самого посадил под караул. Из-под караула Веселков вскоре бежал, несколько времени проживал в Уфимской губернии и на Уктусском заводе, а потом наслышался про медные руды в имениях Строгановых, куда и отправился. Чем кончился этот сыск медной руды, мы уже видели. Что касается цели, какой мог добиваться своим доносом Веселков, то мы, рассматри-

вая все дело, приходим к тому заключению, что единственной целью этого доносчика было освободиться самому из того неловкого положения, в какое он попал благодаря воеводе Нефедьеву. Другого мотива мы, к сожалению, не можем подыскать; Веселков поступил так, как в то смутное время поступали тысячи людей. Чтобы выгородить себя, жертвовали другими — и только.

Конец всего дела носит трагический характер. Якова Солнышкина и стариц, не довольствуясь их повинными, вздернули на дыбу и секли плетьми. Старице Варсонофии было около семидесяти лет, и после трех пыток она скончалась в «бедности» Преображенского приказа, то есть в тюрьме. Яков Солнышкин едва пережил ее двумя неделями, а старица Досифея пережила своих товарищей на полгода, и князь Ромодановский особенно крепко сыскивал с нее. Бедную старуху много раз поднимали на дыбу, били плетьми и жгли огнем, пока она не скончалась в той же «бедности».

Главный герой всего дела, Дорофей Веселков, получил за правый донос денежное воз-

награждение и был отпущен с миром восвояси.

Из сказанного выше видно, каким путем складывалось население далекого Урала и какие невзгоды налетали на его голову. Мы с сожалением смотрим в темную глубь истории, где перед нашим взором нескончаемыми вереницами тянутся голутвенные и обнищалые до конца людишки, выкинутые волной нашего исторического существования на далекую восточную окраину. Нам кажется, что история не повторяется... Но вымирали поколения, изменялись формы, в какие отливалась народная жизнь, а голутвенные людишки продолжают существовать по-прежнему и по-прежнему неизвестно творят русскую историю, как микроскопические ракушки и полипы образуют громадные рифы, мели, острова и целые скалы. Вглядываясь в кипевшую на Каменке сплавную сутолоку, я невольно припомнил исторических голутвенных людишек: они опять были налицо, живописуя и иллюстрируя настоящее. На одной Чусовой ежегодно набирается бурлаков до двадцати пяти тысяч, а сколько их бьется на других

горных речонках в это горячее время? Прогрессируя, наша историческая русская нужда пустила множество новых разветвлений и создала почти неуловимые формы. Возникли, развились и созрели такие злобы мужицкой жизни, о каких даже и не снилось бродившим врознь русским людишкам прошлых столетий. Приписные к заводам крестьяне, крепостное право — да мало ли цветов, выращенных неутомимым тружеником-временем! А впереди в форме капитализма уже встает нечто горшее, которое властно забирает все кругом...

В этом живом муравейнике, который кипит по чусовским пристаням весной под давлением одной силы, братски перемешались когда-то враждебные элементы: коренное чусовское население бассейна Чусовой с населявшими ее когда-то инородцами, староверы с приписными на заводе хохлами, представители крепкого своими коренными устоями крестьянского мира с вполне индивидуализированным заводским мастеровым, этой новой клеточкой, какой не знала московская Русь и которая растет не по дням, а по часам.

VIII

Чусовая — одна из самых капризных горных рек. Самые заурядные явления, повторяющиеся периодически, не поддаются наблюдению и каждый раз создают новые подробности, какие в таком рискованном деле, как сплав барок, имеют решающее значение. Это зависит от тех физических условий, какими обставлено течение Чусовой на всем ее протяжении. Начать с того, что падение Чусовой превосходит все сплавные русские реки: в своей горной части, на расстоянии четырехсот верст до того пункта, где ее пересекает Уральская железная дорога, она падает на восемьдесят сажен, что составит на каждую версту реки двадцать сотых сажени, а в самом гористом месте течения Чусовой это падение достигает двадцати двух сотых сажени на версту. Для сравнения этой величины достаточно указать на падение Камы, Волги и Северной Двины, которое равняется всего двум-трем сотым сажени. Затем, коренная вода на перекатах и переборах в межень стоит четыре вершка, а весной здесь же сплавной вал иногда достигает страшной высоты в семь ар-

шин.

Для сплава, конечно, самое важное, когда лед вскроется на реке. Но и здесь применить-ся к Чусовой очень трудно, может выйти даже так, что при малых снегах река сама не в состоянии взломать лед, и главный запас весенней воды, при помощи которого сплавляются караваны, уйдет подо льдом. Поэтому вопрос о вскрытии Чусовой для всех расположенных на ней пристаней в течение нескольких недель составляет самую горячую злобу дня, от него зависит все. Чтобы предупредить неожиданные сюрпризы капризной реки, обыкновенно взламывают лед на Чусовой, выпуская воду из Ревдинского пруда. А так как вода в каждом заводском пруде составляет живую двигающую силу, капитал, то такой выпуск из Ревдинского пруда обставлен множеством недоразумений и препятствий, самое главное из которых заключается в том, что судоотправители не могут никак прийти к соглашению, чтобы действовать заодно. Одним нужно раньше выпустить воду, другим позже, идут бесконечные препирательства, пока ревдинское заводоуправление в видах

отправления собственного каравана не сделает так, как ему угодно. Остальным пристаням приходится уже только ловить золотые минуты, потому что пропустил какой-нибудь час — и все дело можно испортить. Поэтому ожидание, когда Ревдинский пруд спустит воду, чтобы взломать на Чусовой лед, принимает самую напряженную форму; все разговоры ведутся на эту тему, одна мысль вертится у всех в голове.

Понятно то оживление, какое охватило всю Каменку, когда на улице пронесся крик:

— Вода пришла!.. Вода... Лед тронулся!..

Это был глубоко-торжественный момент.

Все, что было живо и не потеряло способности двигаться, высыпало на берег. В серой, однообразной толпе бурлаков, как мак, запестрели женские платки, яркие сарафаны, цветные шугаи[17]. Ребятишкам был настоящий праздник, и они метались по берегу, как стаи воробьев.

Выползли старые-старые старики и самые древние старушки, чтобы хоть одним глазом взглянуть, как нынче взыграла матушка Чусовая. Некоторые старики плохо видели, бы-

ли даже совсем слепые, но им было дорого хоть послушать, как идет лед по Чусовой и как галдит народ на берегу. Вероятно, многие из этих ветеранов чусовского сплава, вдоволь поработавших на своем веку на Чусовой, и пришли на берег с печальным предчувствием, что они, может быть, в последний раз любуются своей поилицей-кормилицей. Сюда же на берег выползли, приковыляли и были вытащены на руках до десятка разных калек, пострадавших на весенних сплавах: у одного ногу отдавило поносным, другому руку оторвало порвавшейся снастью, третий корчится и ползает от застарелых ревматизмов. Эти печальные диссонансы как-то совсем исчезали в общем веселье, какое охватило разом всю пристань. Это был настоящий праздник, нагонявший на все лица веселые улыбки.

— Вам, может быть, идет пенсия? — спросил я одного такого калеку.

— Кака пенсия? — переспросил он с удивлением.

— Из караванной конторы пенсия... пособие.

— Нет, у нас никаких пособиев не полага-

ется, барин.

— Да ведь тебе руку-то оторвало во время сплава, на караванной работе?

— Снастью отрезало… Я у огнива стоял, а снасть-то и оборвись.

— Ну, так караванная контора и должна была тебе назначить денежное пособие, рубля хоть три в месяц. Какой ты работник без руки?

— Уж это што говорить: калека — калека и есть, куды меня повернуть. Пока около сродственников прокармливаюсь, а там и по миру доведется идти. Так контора-то обязана, говоришь, насчет пособия?

— Конечно, обязана…

Мужик задумался: перспектива получить пособие смутила его, хотя он и не доверял моим словам. После минутного раздумья он махнул оставшейся рукой и проговорил:

— Нет, барин, это никак невозможно…

— Почему?

— А ты посчитай-ка, сколь у нас на одной Каменке калек, а тут мы все и приползем в контору насчет пособиев… Да это и денег недостанет! Которым сплавщикам увеч-

ным — это точно, пособие бывает, а штобы нашему брату, бурлаку… Вон он, Осип-то Иваныч, стоит, сунься-ко к нему, он те задаст такое пособие! Ишь как глазищами ворочает, вроде как осетёр…

Вид на реку с балкона караванной конторы был особенно хорош и даже заслужил одобрение самого Егора Фомича, который в числе других в течение нескольких минут любовался игравшей рекой.

— Немного диковато… — нерешительно заметил кто-то из собравшейся на балконе публики.

Нахлынувший вал поднял лед, как яичную скорлупу; громадные льдины с треском и шумом ломались на каждом шагу, громоздились одна на другую, образуя заторы, и, как живые, лезли на всякий мысок и отлогость, куда их прибивало сильной водяной струей. Недавно мертвая и неподвижная река теперь шевелилась на всем протяжении, как громадная змея, с шипением и свистом собирая свои ледяные кольца. Взломанный лед тянулся без конца, оставляя за собой холодную струю воздуха; вода продолжала прибывать, с пеной

катилась на берег и жадно сосала остатки лежавшего там и сям снега. Вместе с льдинами несло оторванные от берега молодые деревья, старые пни, какие-то доски и разный другой хлам; на одной льдине с жалобным визгом проплыла собачонка. Поджавши хвост, она долго смотрела на собравшийся на берегу народ, пробовала перескочить на проходившую недалеко льдину, но оступилась и черной точкой потерялась в бушевавшей воде. Вся картина как-то разом ожила, точно невидимая рука подняла занавес громадной сцены, и теперь дело остановилось только за актерами.

— Сплавщики пришли проздравлять! — доложило «среднее» в сюртуке.

В передней набралось человек пятнадцать сплавщиков; остальные толпились на лестнице и на крыльце. Осип Иваныч, конечно, был здесь же и с кем-то вполголоса ругался. Впереди других стояли меженные[18] сплавщики. Вот степенный высокий старик Лупан, с окладистой большой бородой и строгими глазами; он походит на раскольничьего начетчика, говорит не торопясь, с весом. Из-за

него выставляется на диво сколоченная фигура Кряжова, который, как говорится, сделан из цельного дерева; балагур и весельчак Окиня выставляет вперед свою бородку клином, причмокивает и подмигивает. Прижался в уголок в своем рваном азяме Пашка, тоже хороший сплавщик, который, к сожалению, только никак не может справиться с самим собой на сухом берегу. Мелькают бородатые и молодые лица, почтенная седина матерого сплавщика с безусой юностью «выученика». Общее впечатление от сплавщиков самое благоприятное, точно они явились откуда-то с того света, чтобы своими смышлеными лицами, приличным костюмом мужицкого покроя и общим довольным видом еще более оттенить ту рваную бедность, которая, как выкинутый водой сор, набралась теперь на берегу.

— Пришли проздравить Егора Фомича... — заявляет Лупан, когда в дверях показывается Семен Семеныч.

— Сейчас, сейчас выйдут! — торопливо шепчет караванный, оглядывая сплавщиков, точно в их фигурах или платье могло зата-

иться что-нибудь обидное для величия Егора Фомича.

— Ох, старый — не молоденький... А у меня, Осип Иваныч, еще ночесь брюхо болело: слышало вашу водку! — смеется Окиня, потряхивая своими русыми волосами. — У меня это завсегда... В том роде как часы...

— Ну, ну, будет тебе молоть-то!

Окиня показывает два ряда мелких белых зубов, какие бывают только у таких богатырей, и продолжает свою неудержимую болтовню.

— Шш!.. — шипит караванный, опять вбегая в переднюю. — Входите по одному... да не стучите ножищами. Кряжов! Пожалуйста, того... не изломай чего-нибудь... Лупан, ступай вперед!

Сплавщики одернули кафтаны, пригладили ладонями волосы на голове и гуськом потянулись в залу, где их ждал сам Егор Фомич.

— С вешней водой... со сплавом! — говорил Лупан, отвешивая степенный поклон.

— Спасибо, спасибо, братцы! — ласково ответил Егор Фомич, подавая Лупану стакан водки. — Уж постарайтесь, братцы. Теперь

время горячее, в три дня надо поспеть...

— Как завсегды... Егор Фомич, — говорит Лупан, вытирая после водки рот полой кафтана. — Переможемся... Вот как вода...

— А что вода?

— Надо полагать, что кабы над межею-то больно высоко не подняла. Снега ноне глубоки, да и весна выпала дружная: так солнышко варом и варит...

— Ну, бог не без милости, казак не без счастья!

— Обнаковенно, даст господь-батюшко, и сбежим, как ни на есть. Разве народ што...

— Это уж наше дело, Лупан; не ваша забота... А! Окиня! здравствуй! Ну-ко, попробуй, какова водка?

— Водка первый сорт, Егор Фомич, — не запинаясь, отвечает Окиня, — да стаканчик-то у тебя изъянный: глонул раз и шабаш — точно мимо на тройке проехали...

— С большого стаканчика у тебя голова заболит, а теперь нужно работать вплотную, — милостиво шутил Егор Фомич. — Как привалим в Пермь, тогда будет тебе и большой стаканчик.

— Не омманешь?

— Зачем же...

У Егора Фомича для всякого было наготове ласковое словцо; он половину сплавщиков знал в лицо и теперь балагурил с ними с барским добродушием. Глядя на эту патриархальную картину, завзятый скептик пролил бы слезы невольного умиления: делец и носитель великих промышленных планов братался с наивными детьми народа — чего же больше?

— Господская водка хороша, да мужицкая рука коротка, — говорил Окиня, проталкиваясь к выходу. — Видно, добавить придется из своих денежек. Старый — не молоденький.

— А когда караван отвалит? — спрашивал я Лупана.

— Да дня этак три сождем, барин. Паводка будем ревдинского дожидать. Вишь, ноне кака весна-то ударила, то-то гляди не подняло бы Чусовую-то...

Около конторы в собравшейся артели сплавщиков мелькали красные рубахи и шляпы с лентами франтов-косных. При каждой казенке, то есть барке, на которой плывет ка-

раванный, полагается десятка два самых отборных бурлаков, которые помогают снимать обмелевшие барки, служат вестовыми и так далее. Это и есть косные; самое название произошло от «косной» лодки, в которой они разъезжают. На всех пристанях они одеваются в цветные рубахи и щеголяют в шляпах с лентами. Собственно, косные не исправляют никакой особенной должности, а существуют по исстари заведенному порядку, как необходимая декоративная принадлежность каждого сплава.

Чусовские сплавщики — одно из самых интересных и в высшей степени типичных явлений своеобразной жизни чусовского побережья. Достаточно указать на то, что совсем безграмотные мужики дорабатываются до высших соображений математики и решают на практике такие вопросы техники плавания, какие неизвестны даже в теории. Чтобы быть заправским, настоящим сплавщиком, необходимо иметь колоссальную память, быстроту и энергию мысли и, что всего важнее, нужно обладать известными душевными качествами. Прежде всего сплавщик

должен до малейших подробностей изучить все течение Чусовой на расстоянии четырехсот — пятисот верст, где река на каждом шагу создает и громоздит тысячи новых препятствий; затем он должен основательно усвоить в высшей степени сложные представления о движении воды в реке при всевозможных уровнях, об образовании суводей[19], струй и водоворотов, а главное — досконально изучить законы движения барки по реке и те исключительные условия сочетания скоростей движения воды и барки, какие встречаются только на Чусовой. Нужно заметить еще то, что каждый вершок лишней воды в реке вносит с собой коренные изменения в условиях: при одной воде существуют такие-то опасности, при другой — другие. При малой воде выступают огрудки[20] и таши[21], а при высокой с баркой под бойцами невозможно никак справиться. Но одного знания, одной науки здесь мало: необходимо уметь практически приложить их в каждом данном случае, особенно в тех страшных боевых местах, где от одного движения руки зависит участь всего дела. Хладнокровие, выдержка, смелость —

самые необходимые качества для сплавщика: бывают такие случаи, что сплавщики, обладающие всеми необходимыми качествами, добровольно отказываются от своего ремесла, потому что в критические моменты у них «не хватает духу», то есть они теряются в случае опасности. Кроме всего этого, сплавщик с одного взгляда должен понять свою барку и внушить бурлакам полное доверие и уважение к себе. Но все сказанное вполне можно понять только тогда, когда видишь сплавщика в деле на утлом, сшитом на живую нитку суденышке, которое не только должно бороться с разбушевавшейся стихийной силой, но и выйти победителем из неравной борьбы.

Понятно, что тип чусовского сплавщика вырабатывался в течение многих поколений, путем самой упорной борьбы с бешеной горной рекой, причем ремесло сплавщика переходило вместе с кровью от отца к сыну. Обыкновенно выучка начинается с детства, так что будущий сплавщик органически срастается со всеми подробностями тех опасностей, с какими ему придется впоследствии бороться. Таким образом, бурная река, барка и

сплавщик являются только отдельными моментами одного живого целого, одной комбинации.

IX

В гавани работа кипела. Половина барок была совсем готова, а другая половина нагружалась. При нагрузке барок непременно присутствуют сплавщик и водолив; первый следит за тем, чтобы барка грузилась по всем правилам искусства, а второй принимает на свою ответственность металлы.

Я отыскал в гавани барку Савоськи. Он был «в лучшем виде», и только синяк под одним глазом свидетельствовал о недавнем разгуле. Теперь это был совсем другой человек, к которому все бурлаки относились с большим уважением.

— Пришли поглядеть, как барки грузятся? — спрашивал он меня.

— Да. А ты разве не ходил поздравлять с вешней водой? Я тебя что-то не видал в конторе.

Савоська только махнул рукой и стыдливо проговорил:

— Я уж проздравился... Три дни пировал

без просыпу, а теперь трёкнулся.

— Как ты сказал?

— Говорю: трёкнулся... Ну ее, эту водку, к чомору!

«Трёкнулся» — значит отрекся.

Как самому лучшему сплавщику, ему грузили штыковую медь. Начинающим сплавщикам обыкновенно сначала дают барки с чугуном, а потом доверяют железо и медь. Расчет очень простой: если барка убьется с чугуном — металл не много потерял от своего пребывания в воде, а железо и медь — наоборот. Медная штыка имеет форму узкого кирпича; такая штыка весит полпуда. Для удобства нагрузки штыки связываются лыковыми веревками в тюки, по шести штук. Потаскать в течение дня из магазина на барку трехпудовые тюки меди — работа самая тяжелая, и у непривычного человека после двух-трех часов такой работы отнимается поясница и спина теряет способность разгибаться.

— Много осталось грузиться? — спросил я Савоську.

— Четь[22] барки осталось...

Сначала скажем, как устроена чусовская

барка, чтобы впоследствии было вполне ясно, какие препятствия она преодолевает во время сплава, какие опасности ей грозят и какие задачи решаются на каждом шагу при ее плавании.

Начать с того, что барка в глазах бурлаков и особенно сплавщика — живое существо, которое имеет, кроме достоинств и недостатков, присущих всему живому, еще свои капризы, прихоти и шалости. Поэтому у бурлаков не принято говорить: «барка плывет» или «барка разбилась», а всегда говорят — «барка бежит», «барка убилась», «бежал на барке». По своей форме барка походит на громадную, восемнадцать саженей длины и четыре сажени ширины, деревянную черепаху, у которой с носа и кормы, как деревянные руки, свешиваются громадные весла-бревна. Эти весла называются потесями или поносными. Постройка такой барки носит самый первобытный характер. Где-нибудь на берегу, на ровном месте, вымащивают на деревянных козлах и клетках платформу, на которую и настилают из двухвершковых досок днище барки; она обрезывается в форме длинной котлеты, при-

чем боковые закругления получают названия плеч: два носовых плеча и два кормовых. В носовых плечах барка строится шире кормовых вершка на четыре, чтобы центр тяжести был ближе к носу, от чего зависит быстрота хода и его ровность.

— Ежели плечи сделать ровные на носу, как и на корме, — объяснял Савоська, — барка не станет разводить струю и будет вертеться на ходу.

Собственно, здесь применяется всем известный факт, что бревно по реке всегда плывет комлем вперед; полозья у саней расставляются в головке шире, тоже в видах легкости хода.

На совсем готовое днище в поперечном направлении настилают кокоры, то есть бревна с оставленным у комля корнем: кокора имеет форму ноги или деревянного глаголя[23]. Из этих глаголей образуются ребра барки, к которым и «пришиваются» борта. Когда кокоры положены и борта еще не пришиты, днище походит на громадную челюсть, усаженную по бокам острыми кривыми зубами. В носу и в корме укрепляется по короткому бревну —

это пыжи; сверху на борты накладывается три поперечных скрепления, озды, затем барка покрывается горбатой, на два ската, палубой — это конь. В носовой и кормовой части барки настилаются палубы для бурлаков, которые будут работать у поносных. Около пыжей укрепляются в днище два крепких березовых столба — это огнива, на которые наматывается снасть; пыжей и огнив — два, так что в случае необходимости барка может идти вперед и кормой. Средняя часть барки, где отливают набирающуюся в барку воду, называется льялом.

На каждую барку идет около трехсот бревен, так что она вместе с работой стоит рублей пятьсот. Главное достоинство барки — быстрота хода, что зависит от сухости леса, от правильности постройки и от нагрузки. Опытный сплавщик в несколько минут изучает свою барку во всех подробностях и на глазомер скажет, где пущено лишних полвершка. Чтобы спустить барку в воду, собирается больше сотни народа. От платформы, на которой стоит барка, проводятся к воде склизни, то есть бревна, намазанные смолой или

салом; по этим склизням барка и спускается в воду, причем от крика и ругательств стоит стоном стон. Спишка барок не идет за настоящую работу, как, например, нагрузка, хотя от бестолковой суеты можно подумать, что творится и бог весть какая работа. Самый трагический момент такой спишки наступает тогда, когда барку где-нибудь «заест», то есть встретится какое-нибудь препятствие для дальнейшего движения. При помощи толстых канатов (снасть) и чегеней (обыкновенные колья) барка при веселой «Дубинушке», наконец, всплывает на воду и переходит уже в ведение водолива, на прямой обязанности которого находится следить за исправностью судна все время каравана. Сплавщик обязан только сплавить барку в целости, а все остальное — дело водолива. Так что на барке настоящим хозяином является водолив, а сплавщик только командует бурлаками.

— А как вы грузите барку? — спрашивал я Савоську.

— Барку-то? А так и грузим... Льяло садим четвертей на пять, носовые плечи на два вершка глубже, а кормовые на два вершка

мельче. Носовой пыж грузим легче плеч, чтобы барка резала носом и не сваливалась на сторону. На верхних пристанях барки грузят на четверть мельче.

— А сколько барка поднимает всего?

— Да как тебе сказать: какая барка, какая вода. Приноравливаешься к воде больше. Ну, тыщев двенадцать пудов грузим, а то и все пятнадцать.

По сходням, брошенным с берега на барку, бесконечной вереницей тянулись бурлаки с тюками меди. Каменские и мастеровые, конечно, резко выделялись от остальной деревенщины и обращались с трехпудовыми ношами, как с игрушками. Для них это была привычная и легкая работа; притом у каждого на запасе были кожаные вачеги[24], что значительно облегчало работу: веревки не резали рук, и тюк со штыками точно сам собой летел на свое место. На бурлаков-крестьян было тяжело и смешно смотреть: возьмет он и тюк не так, как следует, и несет его, точно десятипудовую ношу, а бросит в барку — опять неладно. Водолив ругается, сплавщик заставляет переложить тюк на другое место.

— Едва поднял, — утирая пот рукавом грязной рубахи, говорит какой-то молодой здоровенный бурлак.

— Ах ты, пиканное брюхо![25] — передразнивает кто-то.

Тут же суетились башкиры и пермяки. Эти уж совсем надрывались над работой.

— Муторно на них глядеть-то, — заметил равнодушно сплавщик. — Нехристь, она нехристь и есть: в ём и силы-то, как в другой бабе... Куды супротив нашей каменской — в подметки не годится!

Между тюками меди бегал, как угорелый, водолив. Это был плотный, среднего роста мужик с окладистой бородой песочного цвета, бегающими беспокойно карими глазами и тонким фальцетом. Он все время ворчал и ругался, точно каждая новая штыка меди для него была кровной обидой. Особенно доставалось от него крестьянам и несчастным башкирам; несколько раз он схватывал кого-нибудь за шиворот, тащил к брошенному тюку и заставлял переложить его на другое место. Вся эта суета пересыпалась нескончаемой и какой-то бесхарактерной руганью, которая

даже никого и обидеть не могла; расходившиеся бабы владеют даром именно такой безобидной ругани, которая только зудит в ухе, как жужжание комара.

— Да будет тебе, Порша, собачиться-то! — заметил, наконец, Савоська, когда водолив начал серьезно мешать рабочим. — Ведь ладно кладут... Ну, чего еще тебе?

— Это ладно?! — как-то завизжал Порша, тыкая ногой ряды штык. — По-твоему, это ладно... а?

— Обнаковенно ладно... Маненько поразбились тюки, ну так дорогой еще успеешь поправить. Время терпит...

— Ну, уж нет, Савостьян Максимыч, я тебе не слуга, видно... Поищи другого водолива, получше меня!

— Да перестань ты кочевряжиться, купорос медный...

— Нет, шабаш! Порша тебе не слуга!..

Последние слова водолив проговорил каким-то меланхолическим тоном и, точно желая подтвердить свои слова, снял шапку, вачеги и с отчаянием бросил их на палубу.

— А вы на караване думаете сплыть? —

спрашивал меня сплавщик, не обращая никакого внимания на самые осязательные доказательства отказа Порши от своей «обязанности».

— Да.

— В Пермь?

— Да...

— На казенке поплывете?

— Не знаю еще...

— А то плывите со мной. Порша казенку наладит, тоже насчет чаю обварганит дело в лучшем виде.

— Да ведь Порша отказался от своей должности? — проговорил я.

Порша сидел на берегу без шапки и злыми маленькими глазами смотрел на сновавших мимо бурлаков; время от времени он начинал отплевываться и что-то тихонько голосил себе под нос.

— Порша-то? — проговорил сплавщик, не глядя на берег. — Нет, мы с Поршей завсегды вместе на барке ходим... А это у него уж карахтер такой несообразный: все быргает. Вот ужо уходится маненько, так сам придет на барку.

Осип Иваныч недаром хвалил Савоську: в этом мужике что-то было совершенно особенное, начиная с того, что он держал себя с тем неуловимо тонким тактом, с каким держат себя только настоящие умственные мужики. Если разобрать, так нигде нет такой массы самых тонких приличий и известных требований такта, как в крестьянской среде. Меня в этом отношении всегда особенно интересовали новички в крестьянском кругу; каждому задается такой строгий экзамен, какой выдерживают только счастливцы. Малейший промах со стороны новичка, лишнее, на ветер брошенное слово, робость, торопливое движение — и все пропало. Только исключения могут позволять себе некоторые вольности. Например, посмотрите, как мужик относится к пьяным: кажется, что если уж есть где-нибудь равенство между людьми, так оно именно и должно существовать между пьяными, а на деле выходит не так. Пирует Савоська или пирует другой сплавщик — кажется, все равно, а между тем получается чувствительная разница: над пьяным Савоськой посмеются; при случае, если уж сильно закарячится, дадут хо-

рошего подзатыльника, а затем, как проспался, из Савоськи вышел Савостьян Максимыч. Всякая слабость отражается на авторитете, а такая слабость, как пьянство, в особенности; зашибающие водкой сплавщики обыкновенно много теряют в глазах бурлаков; поэтому пример Савоськи очень меня заинтересовал, и я нарочно прислушивался, что о нем галдят бурлаки.

— Савоська обнаковенно пирует, — говорил рыжий пристанский мужик в кожаных вачегах, — а ты его погляди, когда он в работе... Супротив него, кажись, ни единому сплавщику не сплыть; чистенько плавает. И народ не томит напрасной работой, а ежели слово сказал — шабаш, как ножом отрезал. Под бойцами ни единой барки не убил... Другой и хороший сплавщик, а как к бойцу барка подходит — в ём уж духу и не стало. Как петух, кричит-кричит, руками махает, а, глядишь, барка блина и съела о боец.

— Што говорить! — соглашалась кучка слушателей. — Ежели по-настоящему, так Савоське цены нет...

Сплавщики с разных пристаней славятся

разными достоинствами: с одних пристаней не садятся на огрудки, с других ловко проводят барки под бойцами или на переборах. Но и у самых лучших сплавщиков есть известные, почти органические недостатки и роковые места; если раз сплавщик убьет барку под бойцом, в следующий раз он уже теряет присутствие духа под ним. Случается так, что сплавщик бьет барки всего только под одним бойцом. Это зависит, раз, от совершенно особенных условий, с которыми приходится бороться под каждым новым бойцом, а с другой стороны, оттого, что предыдущая неудача «отнимает дух».

X

Вода в Чусовой спала. Ждали второго вала, того паводка, по которому сплавляются все караваны. Обыкновенно его выпускают из Ревдинского пруда дня через три после первого вала. Эти три дня прошли. Барки почти все нагрузились. Приехал священник с ближайшего завода и остановился у Осипа Иваныча, то есть в одной комнате со мной.

— Святить караван, отец Николай?

— Да... Покойники есть, человека два, надо

будет их похоронить, исповедать и причастить больных, мало ли работы нашему брату на сплаву!

Я вспомнил про больных мужиков, которых навещал доктор: живы ли они, или уж больше ничего не требуют, кроме могилы?

— Ночью придет вода, а завтра — отвал... — заговорил Осип Иваныч. — А это кто с вами?

— Да так... псаломщик хочет сплыть на караване в Пермь, посвящаться во дьякона.

— Так-с... Что же, доброе дело, — согласился Осип Иваныч.

— Он думает записаться бурлаком, Осип Иваныч...

— И превосходно... Даром сплывет, да еще заработает рублей восемь. Глядишь, и пригодятся, как в консисторию пойдет...

Отец Николай сделал серьезное лицо и даже поправил полки своего подрясника из синего люстрина, точно хотел совсем закрыться от прозрачного намека Осипа Иваныча; будущий дьякон, рослый детина с черной гривой, только смиренно кашлянул в свою громаднейшую горсть и скромно передвинулся с од-

ного кончика стула на другой.

— Я ведь отлично знаю ваши порядки, — не унимался Осип Иваныч. — У меня есть знакомый один, рассказывал всякую процессию...

— А вы все воюете? — политично переменил батюшка неприятный разговор.

— Да... Что будете делать? Такая уж наша обязанность, отец Николай.

— Конечно... Вот и голос у вас будто немного того...

— Охрип, как пес! Летом поправлюсь... Сами знаете: одолели бурлачье.

Батюшка ничего не отвечал, а только вздохнул и покачал с участием головой. Отец Николай, как большинство заводских священников, держал себя с достоинством. Лицо у него было умное и красивое, карие глаза смотрели проницательно, говорил он не торопясь, с весом, улыбался редко — вообще выглядел человеком себе на уме. Псаломщик был из простецов и не знал, куда деваться с своими громадными руками и ногами. Дьякон из него, по всем признакам, должен был выйти хороший — и по фигуре и по голосу,

только вот как он сумеет пролезть через консисторские мытарства.

Мы спали, когда набежал паводок. Все на пристани зашевелилось и загудело, точно разбудили спавший улей. К свету всё и все были уже на ногах. День выдался пасмурный. Горы казались ниже, по серому небу низко ползли облака — не облака, а какая-то туманная мгла, бесформенная свинцовая масса. Чусовая играла на славу, как вырвавшийся из неволи зверь. С глухим ревом и стоном летел вниз пенистый вал, шипучей волной заливая низкие берега и с бешеным рокотом превращаясь на закруглениях береговой линии в гряды майданов, то есть громадных белых гребней. Картина для художника получалась самая интересная: в этом сочетании суровых тонов сказывалась могучая гармония разгулявшейся стихийной силы.

Барки в гавани были совсем готовы. Батюшка с псаломщиком с утра были в караванной конторе, где все с нетерпением дожидались желанного пробуждения великого человека. Доктор показался в конторе только на одну минуту; у него работы было по горло.

Между прочим он успел рассказать, что Кирило умер, а Степа, кажется, поправится, если переживет сегодняшний день. Во всяком случае и больной и мертвый остаются на пристани на волю божию: артель Силантия сегодня уплывает с караваном.

— Пора! — слышался сдержанный шепот. — А то вода уйдет или набежит сверху караван.

Семен Семеныч только разводил руками и вытягивал вперед шею: дескать, ничего не поделаешь, ежели они изволят почивать. Минуты тянулись страшно медленно, как при всяком напряженном ожидании. С улицы доносился глухой гул человеческих голосов, мешавшийся с шумом воды.

— Пять четвертей над меженью! — шепотом докладывал в передней какой-то сплавщик.

— И еще прибудет?

— Надо полагать, что прибудет.

К десяти часам Егор Фомич, наконец, изволили проснуться, а затем показались в зале. Как покорный сын церкви, Егор Фомич подошел под благословение батюшки и даже по-

целовал у него руку.

— Все готово? — обратился он к караванному.

— Все... Освятить караван и в путь.

— Гм... Время, кажется терпит, — заметил лениво Егор Фомич, взглянув на свой полухронометр. — Успеем позавтракать... Ведь так, Семен Семеныч?

— Совершенно верно-с, Егор Фомич, успеется! — подобострастно соглашался караванный, хотя трепетал за каждую минуту, потому что вот-вот налетит сверху караван и тогда заварится такая каша, что не приведи истинный Христос.

Завтрак походил на все предыдущие завтраки: так же было много пикантных яств, истребляли их с таким же аппетитом, а между отдельными кушаньями опять рассуждали о великом будущем, какое ждет Чусовую, о значении капитала и предприимчивости и так далее. Вино лилось рекой, управители сидели красные, немец выкатил глаза, а становой тяжело икал, напрасно стараясь подавить одолевавшую дремоту. Караванный и служащие сидели как на иголках; батюшка тоже

тревожно поглядывал все время на реку и несколько раз наводил чуткое ухо к передней, откуда доносился сдержанный ропот сплавщиков.

После нескольких тостов за великое будущее «главной артерии Урала» завтрак, наконец, кончился.

— Можно начинать? — осведомился батюшка.

— Пожалуйста, отец Николай! — с утонченной вежливостью отозвался Егор Фомич. — Как это в священном писании сказано: «Аще ли не созиждет... созиждет...»

Тысячи народа ждали освящения барок на плотине и вокруг гавани. Весь берег, как маком, был усыпан человеческими головами, вернее, — бурлацкими, потому что бабьи платки являлись только исключением, мелькая там и сям красной точкой. Молебствие было отслужено на плотине, а затем батюшка в сопровождении будущего дьякона и караванных служащих обошел по порядку все барки, кропя направо и налево. На каждой барке сплавщик и водолив встречали батюшку без шапок и откладывали широкие кресты.

— Вот и ваша каюта, — обратился батюшка ко мне, когда очередь дошла до казенки. — Отлично прокатитесь с Осипом Иванычем...

— Дай бог, дай бог! — отвечал за нас Егор Фомич. — В добрый час...

Сейчас после освящения толпы бурлаков серой волной хлынули на барки, таща за спиной котомки с необходимым харчем на дорогу.

— Ох, воду пропустили! — стонал наш водолив Порша. — Непременно набежит сверху караван...

— Успеем выйти в реку, а там пусть догоняют, — успокаивал сплавщик. — К поносным, ребятушки, к поносным! Пошевеливай, молодцы!..

Бурлаки живым роем копошились по палубам, всякий старался подальше спрятать свою котомку в трюме. Порша при таком благоприятном случае, конечно, свирепствовал, отплевывался, бросал свою шляпу на палубу, ругался, стонал.

Наконец народ разместился; убрали сходни, оставалось открыть шлюз, чтобы выпустить барки в реку. Осип Иваныч остался на

берегу и, как шар, катался по горбатому мосту, под которым должны были проходить барки.

— Разве он останется? — спросил я Савоську.

— Нет, зачем же... После на косной догонит. Наша казенка пойдет в последних.

— А почему не первой?

— На всякий случай: какая барка убьется или омелеет — мы сыматъ будем. Тоже вот с рабочими. Всяко бывает. Вон ноне вода-то как играет, как бы еще дождик не ударил, сохрани господи. Теперь на самой мере стоит вода — три с половиной аршина над меженью.

На балконе показался Егор Фомич в сопровождении своей свиты; можно было отчетливо рассмотреть синюю рясу батюшки и мундир станового. Вот кто-то на балконе махнул белым платком, на берегу грянул пушечный выстрел, и ворота шлюза растворились. Барка за баркой потянулись в реку; при выходе из шлюза нужно было сейчас же делать крутой поворот, чтобы струей, выпущенной из шлюза, не выкинуло барку на другой берег, — и пятьдесят человек бурлаков работали из по-

следних сил, побрасывая тяжелые потеси[26], как игрушку. Одна барка черпнула носом, другая чуть не омелела у противоположного берега, но вовремя успела отуриться, то есть пошла вперед кормой.

Наступила наша очередь. Савоська поднялся на свою скамеечку, поправил картуз на голове и заученным тоном скомандовал:

— Отдай снасть!..

Двое косных подобрали отвязанный на берегу канат к огниву, и барка тихо поплыла к горбатому мосту. Заметно было, что Савоська немного волнуется для первого раза. Да и было отчего: другие барки вышли в реку благополучно, а вдруг он осрамится на глазах у самого Егора Фомича, который вон стоит на балконе и приветливо помахивает белым платком. Вот и горбатый мост; вода в открытый шлюз льется сдавленной струей, точно в воронку; наша барка быстро врезывается в реку, и Савоська кричит отчаянным голосом:

— Нос направо, молодцы!! Сильно-гораздо, нос направо! Направо нос!.. Корму поддержи!!

Барка делает благополучно крутой поворот и с увеличивающейся скоростью плывет

вперед, оставляя берег, усыпанный народом. Кажется в первую минуту, что плывет не барка, а самые берега вместе с горами, лесом, пристанью, караванной конторой и этими людьми, которые с каждым мгновением делаются все меньше и меньше.

Вот в последний раз взмыл кверху белой шапкой клуб дыма, и гулко прокатился по реке рокот пушечного выстрела, а барка уже огибает песчаную узкую косу, и впереди стелется бесконечный лес, встают и надвигаются горы, которые сегодня под этим серым свинцовым небом кажутся выше и угрюмее.

Каменка быстро скрылась из вида. Мимо зеленой шпалерой бежит темный ельник, шальная вешняя волна с захватывающим стоном хлещет в крутой берег, и барка несется вперед все быстрее и быстрее.

— Похаживай, молодцы! — весело покрикивает Савоська, прищуренными глазами зорко вглядываясь на быстро бегущую нам навстречу синевато-серую даль.

XI

Барка быстро плыла в зеленых берегах, вернее, берега бежали мимо нас, развертыва-

ясь причудливой цепью бесконечных гор, крутых утесов и глубоких логов. Это было глухое царство настоящей северной ели, которая лепилась по самым крутым обрывам, цеплялась корнями по уступам скал и образовала сплошные массы по дну логов, точно там стояло стройными рядами целое войско могучих зеленых великанов.

Река неслась, как бешеный зверь. В излучинах и закруглениях водяная струя с шипением и сосущим свистом свивалась в один сплошной пенившийся клуб, который с ревом лез на камни и, отброшенный ими, развивался дальше широкой клокотавшей и бурлившей лентой. В этом бешеном разгуле могучей стихийной силы ключом била суровая поэзия глухого севера, поэзия титанической борьбы с первозданными препятствиями, борьбы, не знавшей меры и границ собственным силам. Это был апофеоз стихийной работы великого труженика, для которого тесно было в этих горах и который точил и рвал целые скалы, неудержимо прокладывая широкий и вольный путь к теплому, южному морю. Нужно видеть Чусовую весной, чтобы по-

нять те поэтические грезы, предания, саги и песни, какие вырастают около таких рек так же естественно и законно, как этот сказочный богатырь — лес.

Только когда нашу барку подхватило струей, как перышко, и понесло вперед с неудержимой бешеной быстротой, только тогда я понял и оценил, почему бурлаки относятся к барке, как к живому существу. Это нескладное суденышко, сшитое на живую нитку, действительно превратилось в одно живое целое, исторически сложившееся мужицким умом, управляемое мужицкой волей и преодолевающее на своем пути почти непреодолимые препятствия мужицкой силой, той силой, которая смело вступала в борьбу с самой бешеной стихией, чтобы победить ее.

Первое впечатление от этой живой бурлацкой массы, которая волной шевелилась на палубе, получалось самое смутное: отдельные фигуры исчезали, сливаясь в бесформенную кучу тряпья и рвани. Вы видите только, как два поносных с страшной силой распахивают воду, вздымают два пенящиеся вала и снова подымаются из воды. Только мало-помалу из

этой бесформенной шевелящейся массы начинают выступать отдельные фигуры и лица, и вы, наконец, разбираетесь в работе этого муравейника. Вот у поносных под губой — конец поносного с кочетом — стоят плечистые ребята: это подгубщики, которые выбираются из самых сильных и опытных бурлаков. У нас все четыре подгубщика были «камешки», самый отчаянный народ и замечательно ловко работавший. Не успевала команда сорваться у Савоськи с языка, как подгубщики уже бросали поносное в воду, налегая на губу всей грудью. На такую работу «одним сердцем» можно залюбоваться. На каждой палубе по два поносных. У левого поносного подгубщиком стоит рослый бурлак Гришка; он в одной пестрядевой рубахе, пестрядевые порты щеголевато забраны под новые онучи, забинтованные крест-накрест свежими веревочками новых лаптей. Из-под кожаной фуражки, которая сидит на голове Гришки, как блин, глядит узкими черными глазами корявое, изрытое оспой лицо с жидкой растительностью на подбородке. «Ошшо навались, робя!» — говорит он, всей грудью напирая на свою губу;

видно, как под рубахой напруживаются железные мускулы, лицо у Гришки наливается кровью, даже синеет от напряжения, но он счастлив и ворочает свое бревно, как шестигодовалый медведь. Через два кочета от Гришки виднеется женская фигура в заношенном коричневом платке; тщедушная бабенка жалко цепляется костлявыми руками за свой кочет и только другим мешает работать.

— По закону, кажется, нельзя ставить на барки женщин? — спрашиваю я у сплавщика.

— По закону-то оно точно что не дозволено... — ухмыляясь, отвечает Савоська. — Да уж оно так выходит, что на каждую барку беспременно эти самые бабенки попадут... И кто их знает, как они залезут. Отваливает барка, нарочно поглядишь — все мужики стоят, а как отвалила — бабы и объявятся, вроде как тараканы из щелей.

— А плата им какая?

— Ну, обнаковенно, бабе бабья и цена: мужику восемь рублей, а бабе четыре.

— Что больно дешево? Другая баба, может быть, сильнее мужика...

— Всякие и бабы бывают, только по нашему делу они несподручны. Теперь взять, омелела барка — ну, мужики с чегенями в воду, а бабу, куда ты ее повернешь, коли она этой воды, как кошка, боится до смерти.

— А много наберется на караване баб?

— Да штук двести, поди, наберется... Вон у Гришкинова поносного, третья с краю робит бабенка — это его жена. Как же... Как напьется — сейчас колотить ее, а все за собой по сплавам таскает. Маришкой ее звать... Гришка-то вон какой, Христос с ним, настоящий деревянный черт, за двоих ворочает, — ну, жена-то и идет на придачу.

Очевидно, присутствие женщин на караване, помимо всяких интимных соображений, имело великое «промышленное значение», потому что Семен Семеныч всех баб запишет бурлаками, а с миру и набежит ребятишкам на молочишко. Великое это дело — мир... По рублику, по двугривенному, по пятаку с рыла, а глядишь — в результате получается целый кус. Это один из величайших секретов нашей преуспевающей промышленности. Большинство женщин, которые плывут с

караваном, — бездомовный, самый жалкий сброд, который река сносит вниз, как несет гнилые щепы, хлам и разный никому не нужный сор. Роль таких женщин самая незавидная, и они попадают на барки вместе со своими любовниками или просто оттого, что некуда больше деваться. Мужние жены представляют некоторое исключение, с той разницей, что всегда щеголяют с фонарями на физиономии, редкий день не бывают биты и вообще испивают самую горькую чашу.

Под правым поносным стоял подгубщиком прожженный бурлак с карими большими глазами и черной бородкой; его звали Исачкой Бубновым. В своем рваном азяме и какой-то поповской шляпе Бубнов выглядел самым отчаянным проходимцем, каким и был в действительности. Достаточно было взглянуть на эту вечно улыбающуюся рожу, чтобы сразу разглядеть плута по призванию, с настоящей артистической жилкой. Бубнов не столько любил плоды своих замысловатых операций, сколько самый процесс хитро придуманной механики. Чистенько сделать самое пакостное дело было величайшей его сла-

бостью. Все это прикрывалось бесконечными шутками, раскатистым смехом и самым добродушным весельем, какого никогда не испытывают самые чистые сердцем. Наш водолив Порша стонал и сокрушался все время нагрузки, а когда завидел Исачку — только всплеснул руками.

— Что, обрадовался небось? — балагурил Исачка, пробираясь под палубу с какой-то сомнительной котомкой. — Больно я о тебе соскучился.

— Да в котомке-то у тебя что... а? — кричал Порша.

— Муниция.

— То-то, муниция... Знаем мы тебя.

— Меня Савоська в подгубщики звал, я с ним завсегда плаваю. Ничего, не бойся, Порша.

Но Порша никак не мог успокоиться и несколько раз нарочно вылезал из-под палубы, чтобы взглянуть на Бубнова, причем охал, вздыхал и начинал ругаться.

Под командой Бубнова у правого поносного работал и дядя Силантий с своей артелью. Я рассмотрел добродушное лицо Митрия и

еще несколько крестьянских физиономий. «Похаживай, пиканники! — покрикивал на них Бубнов. — Что брюхо-то распустили?» Мужики не умели «срывать поносного», как настоящие бурлаки, перепутывали команду и, видимо, трусили, когда около барки начинали хлестать пенистые волны. Тут же, среди сосредоточенных мужицких фигур, замешалась разбитная заводская бабенка в кумачном красном платке и с зелеными бусами на шее; она ухмылялась и скалила белые зубы каждый раз, как Бубнов отмачивал какое-нибудь новое коленце.

— Ты, умница, с кем плывешь? — спрашивал Бубнов, с убийственной любезностью поглядывая на бабенку.

— Одна... С кем мне плыть-то!

— Обнаковенно, живой человек — не полено! — объясняет Бубнов, к удовольствию остальной публики. — По весне-то и щепы парами плавают.

Бабенка сердито отплевывается и кокетливо опускает глаза. Кто-то ржет на задней палубе, где есть свой балагур в лице хохла Кравченки. Палубы начинают обмениваться вза-

имными остротами, пересыпая их крепкими словцами, без которых, как хлеб без соли, мужицкий разговор совсем не вяжется. Кравченко, худой сгорбленный субъект, в какой-то бабьей кацавейке и рваной шляпенке, смеется задорным рассыпчатым смехом, весело щурит большие глаза и не выпускает изо рта коротенькой деревянной трубочки. Он очень доволен своим положением, потому что попал между двумя щеголихами-девками, которые плывут с косными. Это настоящие дамы каменского полусвета и держат себя очень прилично, хотя заметно довольны веселым соседом, которому уже успели отпустить несколько полновесных затрещин, когда он нечаянно попадал руками куда не следует. Одна, постарше, с красивыми голубыми глазами, держалась особенно степенно, стараясь не глядеть на своего сожителя, молодого молчаливого парня в красной рубахе, который работал за подгубщика. Кравченко фамильярно называл ее Оксей (сокращенное от Аксиньи). Другая девка, молодая и вертлявая, постоянно закрывала свое курносое лицо рукавом ситцевой кофточки и хихикала, заки-

дывая голову назад.

— Ты, Даренка, чего зубы-то моешь? — спрашивал Кравченко, любезно толкая свою соседку локтем. — Мотри, как дьякон-то на тебя зенки выворачивает... Кабы грех какой не стрясся.

— Да ведь он женатый, — отзывается Даренка, поглядывая на бедного псаломщика, который попал на нашу барку.

Будущий дьякон конфузится и старается смотреть в другую сторону.

— Что что женатый... Женатому-то еще лучше, потому как его девки не опасятся: женатый, мол, чего его бояться! нехай поглядит, а он и доглядит.

Псаломщик чувствовал себя, кажется, очень неловко в этой разношерстной толпе; его выделяло из общей массы все, начиная с белых рук и кончая костюмом. Вероятно, бедняга не раз раскаялся, что польстился на даровщинку, и в душе давно проклинал неунимавшегося хохла. Скоро «эти девицы» вошли во вкус и начали преследовать псаломщика взглядами и импровизированными любезностями, пока Савоська не прикрикнул на них.

— Перестаньте вы, плехи, приставать к мужику!.. Точите зубы-то об себя.

Девки обиделись и замолчали.

— Сам с плехой плывешь! — огрызнулась немного погодя Окся, поглядывая на переднюю палубу.

Савоська промолчал, сделав вид, что не слышит.

На задней палубе толклось несколько башкир. Они держались особняком, не понимая остроумной русской речи. Это были те самые, которые три дня тому назад лакомились «веселой скотинкой». Кравченко попробовал было заговорить с одним, но скоро отстал: башкиры были настолько жалки, что никакая шутка не шла с языка, глядя на их бронзовые лица.

Мало-помалу все присмотрелись друг к другу, и на барке образовалось сплоченное общество, причем все элементы заняли надлежащее место. Меня всегда удивляла необыкновенная способность русского человека к быстрому образованию такого общества; достаточно нескольких часов, чтобы люди, совершенно незнакомые, слились в одну

органическую массу, причем образовалось что-то вроде безмолвного соглашения относительно достоинств и недостатков каждого. Без слов все отлично понимали сущность дела, и общественное мнение сейчас же вступило в свои права. Я особенно любовался Савоськой, которому достаточно было окинуть глазом эту пятидесятиголовую толпу, чтобы сразу определить, кто и чего стоит. Настоящего работника он чувствовал уже по тому, как тот брался за кочет поносного. Тысячи мельчайших примет, приобретенных постоянным обращением «на людях», выработали у Савоськи тот глазомер, который безошибочно определяет микроскопические особенности.

Савоськин глаз давно привесился к рабочим. Вон на корме у правого поносного «робят» рядом кривой парень в посконной рубахе и чахоточный мастеровой с зеленым лицом; на вид вся цена им расколотый грош, а из последних сил лезут ребята, стараются. Тоже вот молодец в красной рубахе, с которым плывет Окся, хорошо робит, совсем обстоятельный мужик и держит себя серьезно. Есть еще старик да мужик с рыжей бородой — и те

дружно робят. На передней палубе подгубщики хороши, потом человек пять каменских бурлаков и пиканники. Остальные бурлаки идут между прочим, на придачу. В артели все сойдет. Кравченко, конечно, ленится, но он на съемках первый в воду идет. Есть тут же два-три человека хороших работников, да водкой зашибают... Всех знает Савоська, всякого оценил и со всяким у него свое обхождение: кривого парня, рыжего мужика и кое-кого из крестьян он приветливым словом заметит, чахоточного мастерового с дьяконом не пошлет в воду, в случае ежели барка омелеет, и так далее. На передней палубе заметил Савоська низенького, худенького бурлака: это Никифор с Каменки; с ним надо осторожнее: вздорный и «сумлительный» мужик, всех может смутить в случае чего. Чистая заноза, а не мужик.

— Веселенько похаживай, голуби! — покрикивает Савоська, глядя вдаль. — Нос налево ударь... нос-от!.. Шабаш, корма!

Я любовался этим Савоськой, который, расставив широко ноги на своей скамеечке, теперь служил олицетворением движения. Голос звучал уверенно и твердо, в каждом дви-

жении сказывалась напряженная энергия. Он слился с баркой в одно существо. Но нужно было видеть Савоську в трудных местах, где была горячая работа; голос его рос и крепчал, лицо оживлялось лихорадочной энергией, глаза горели огнем. Прежнего Савоськи точно не бывало; на скамейке стоял совсем другой человек, который всей своей фигурой, голосом и движениями производил магическое впечатление на бурлаков. В нем чувствовалась именно та сила, которая так заразительно действует на массы.

— У нас Савостьян Максимыч — орелко, одно слово! — переговаривались между собой бурлаки. — Сказал слово, как отрубил... Уж супротив него никакому сплавщику не сделать — верно!.. У него глаз вострой.

Осип Иваныч скоро обогнал нас на косной с шестью лихими гребцами — косными. Лодка летела стрелой.

— Куда это он плывет? — спрашивал я Першу.

— Да так, по баркам... На всякий случай, мало ли чего бывает с караваном.

Порша и Савоська все время особенно на-

блюдали переднюю барку, которая бежала перед нами. Там сплавщиком стоял оборванец Пашка. Лодка с косными пристала к этой барке.

— Что поглядываешь часто на переднюю барку? — спрашивал я Савоську. — Разве Пашка плохо плавает?

— Нет, плавает ничего, а вот кабы ему в голову не попало... Того гляди убьет!

За нами плыла барка старика Лупана. Это был опытный сплавщик, который плавал не хуже Савоськи. Интересно было наблюдать, как проходили наши три барки в опасных боевых местах, причем недостатки и достоинства всех сплавщиков выступали с очевидной ясностью даже для непосвященного человека: Пашка брал смелостью, и бурлаки только покачивали головами, когда он «щукой» проходил под самыми камнями; Лупан работал осторожно и не жалел бурлаков: в нем недоставало того творческого духа, каким отличался Савоська.

Здесь необходимо сделать несколько замечаний относительно движения барки по реке.

Различают три рода движения барки: первое, когда барка идет тише воды, подставляя действию водяной струи один бок, — это называется «бежать нос на отрыск»; второе, когда барка идет наравне с водой, — это «бежать щукой», и третье, когда барка идет быстрее воды, зарезывает носом, — это «бежать в зарез». Эти три комбинации скорости движения воды и скорости движения барки служат единственным средством для управления баркой. Работа потесей во всяком случае ничтожна для борьбы с такой неизмеримо громадной силой, как напор воды в Чусовой; они служат только средством для управления движением барки. Известно, что вода в реке, как кровь в наших артериях, движется не с одинаковой быстротой. Если возьмем поперечный разрез реки, получится такая картина: самое сильное движение занимает середину реки, что на поверхности обозначается рубцом водяной струи; около берегов и на дне вода вследствие трения движется значительно медленнее. Все это можно отчетливо проследить, если сделать внимательное наблюдение над движением по реке простых щеп

или пены. Возьмем самый простой пример, именно, движение барки в полосе одинаковой скорости. Для того чтобы сделать движение направо, сначала потесями поворачивают нос направо, потом выравнивают корму, затем опять нос направо, и опять корма выравнивается, пока барка не перемещается в надлежащем направлении. Форма движения получается самая неуклюжая, как у человека, у которого одна половина тела разбита параличом. При движении барки в полосах воды разной скорости пользуются той силой инерции, какую барка получает от своего предыдущего движения по реке. Для того чтобы перевалить с одного берега на другой, барку носом прижимают к берегу и постепенно отводят корму. Струя воды напирает на борт барки и отбивает нос от берега. Барка идет теперь тише воды, делая «нос на отрыск». Потеси помогают такому боковому движению, подставляя все тот же борт напору струи. Когда барка из тихой полосы попала на струю, она сначала идет вровень с водой, а потом начинает обгонять ее, что можно всегда заметить по движению пены и сора, который

несет с собой рубец струи. Барку выравнивают потесями и, когда она пошла «в зарез», ставят нос к тому берегу, куда нужно сделать привал.

Когда и как пользоваться этими тремя движениями — зависит от множества условий: от свойств течения реки — куда бьет струя, как стоит боец, какое делает река закругление или поворот, от ранее приобретенной баркой скорости движения и от тех условий движения реки, которые последуют дальше; наконец, от количества и качества той живой рабочей силы, какой располагает сплавщик в данную минуту, от характера самой барки и, главное, от характера самого сплавщика. От сплавщика зависит, каким движением барки воспользоваться в том или другом случае, в его руках тысячи условий, которые он может комбинировать по-своему. Определенных правил здесь не может быть, потому что и река, и барка, и живая рабочая сила меняются для каждого сплава. Ясное дело, что, решая задачу, как наивыгоднейшим образом воспользоваться данными, сплавщик является не ремесленником, а своего рода художником, ко-

торый должен обладать известного рода творчеством. Мы можем указать несколько примеров применения трех родов движения барки, хотя они совсем не обязательны для сплавщиков и сплошь и рядом не применяются на практике. Движение «в зарез» употребляется чаще всего на главных закруглениях реки, где представляется возможность постепенного бокового перемещения. Барка в этом случае расходует ту силу, какую приобрела от своего предшествовавшего движения скорее воды. На крутых поворотах и под бойцами барки обыкновенно проходят «щукой». «Нос на отрыск» применяется тогда, когда барка должна идти носом близко к берегу, как это бывает около мысов. В таких случаях, если барка не поставлена «нос на отрыск», она, задев днищем за берег, принуждена бывает «отуриться», то есть идти вперед кормой.

Савоська был именно такой творческой головой, какая создается только полной опасностей жизнью. С широким воображением, с чутким, отзывчивым умом, с поэтической складкой души, он неотразимо владел симпатиями разношерстной толпы.

— Где ты всему выучился? — спрашивал я его.

— Учеником сперва плавал, еще с отцом с покойником. С десяти лет, почитай, на караванах хожу. А потом уж сам стал сплавщиком. Сперва-то нам, выученикам, дают барку двоим и товар, который не боится воды: чугун, сало, хромистый железняк, а потом железо, медь, хлеб.

— Сколько же вы получаете за сплав?

— Смотря по грузу: которые с чугуном плывут, тем тридцать пять — сорок рублей платят, а которые с медью — пятьдесят — шестьдесят рублей за сплав. Ежели благополучно привалит караван в Пермь — награды другой раз дают рублей десять.

Такое вознаграждение работы сплавщика просто нищенское, если принять во внимание, как оплачивается всякий другой профессиональный труд, и в особенности то, что самый лучший сплавщик в течение года один раз сплывет весной да другой, может быть, летом, то есть заработает в год рублей полтораста.

XII

Самая гористая часть Чусовой находится между пристанями Демидовой Уткой и Кыном. Мы теперь плыли именно в этой живописной полосе, где по сторонам вставали одна горная картина за другой. Чусовая в межень, то есть летом, представляет собой в горной своей части ряд тихих плёс, где вода стоит, как зеркало; эти плёсы соединяются между собой шумливыми переборами. На некоторых переборах вода стоит всего на четырех вершках, а теперь она поднялась на три аршина и неслась вперед сплошным пенистым валом, который покрыл все плёсы и переборы. Самые опасные переборы, вроде Кашинского, сделались еще страшнее в полую воду, потому что здесь течение реки сдавлено утесистыми берегами.

Главную красоту чусовских берегов составляют скалы, которые с небольшими промежутками тянутся сплошным утесистым гребнем. Некоторые из них совершенно отвесно подымаются вверх сажен на шестьдесят, точно колоссальные стены какого-то гигантского средневекового города; иногда такая стена тянется по берегу на несколько верст. Пред-

ставьте же себе размеры той страшной силы, которая прорыла такие коридоры в самом сердце гор! Все эти сланцы и известняки теперь представляют сплошные отвесные громады буро-грязного цвета с ржавыми полосами и красноватыми пятнами. В некоторых местах горная порода выветрилась под влиянием атмосферических деятелей, превратившись в губчатую массу, в других она осыпается и отстает, как старая штукатурка. На некоторых скалах вполне ясно обрисовано расположение отдельных слоев; иногда эти слои идут в замечательном порядке, точно это работа не стихийной силы, а разумного существа, нечто вроде циклопической гигантской кладки. Разорванный верхний край этих скал довершает иллюзию. Пронеслись тысячи лет над этой постройкой, чтобы разрушить карнизы, арки и башни. Услужливое воображение дорисовывает действительность. Вот остатки крепких ворот, вот основание бойницы, вот заваленные мусором базы колонн... Ведь это те самые Рифейские горы, куда Александр Македонский на веки веков заточил провинившихся гномов.

Под такими скалами река катится черной волной с подавленным рокотом, жадно облизывая все выступы и углубления, где летом топорщится зеленая травка и гнездятся молоденькие ели и пихты. Все, что успевает вырасти здесь за лето, река смывает и безжалостно уносит с собой, точно слизывая широким холодным языком всякие следы живой растительности, осмеливающейся переступить роковую границу, за которой кипит страшная борьба воды с камнем. Барка под такими скалами плывет в густой тени: свет падает сверху рассеивающейся полосой. Сыростью и холодом веет от этих каменных стен, на душе становится жутко, и хочется еще раз взглянуть на яркий солнечный свет, на широкое приволье горной панорамы, на синее небо, под которым дышится так легко и свободно. Малейший звук здесь отдается чутким эхом. Слышно, как каплет вода с поднятых поносных, а когда они начинают работать, разгребая воду, — по реке катится оглушающая волна звуков. Команда сплавщика повторяется эхом, несколько раз перекатываясь с берега на берег. Даже неистовая река стихает под

этими скалами и проходит мимо них в почтительном молчании.

Самые высокие и массивные скалы — еще не самые опасные. Большинство настоящих «бойцов» стоит совершенно отдельными утесами, точно зубы гигантской челюсти. Опасность создается направлением водяной струи, которая бьет прямо в скалу, что обыкновенно происходит на самых крутых поворотах реки. Обыкновенно боец стоит в углу такого поворота и точно ждет добычи, которую ему бросит река. Душой овладевает неудержимый страх, когда барка сделает судорожное движение и птицей полетит прямо на скалу... На барке мертвая тишина, бурлаки прильнули к поносным, боец точно бежит навстречу, еще один момент — и наше суденышко разлетится вдребезги. Савоська меряет глазами быстро уменьшающееся расстояние между бойцом и баркой и, когда остается всего несколько сажен, отдает команду как-то всей грудью. Бурлаки испуганно шарахнутся по палубе, и поносные, эти громадные бревна, даже изогнутся под напором человеческой силы. Нужно видеть, как работали Бубнов, Гришка и дру-

гие бурлаки: это была артистическая работа, достойная кисти художника. Но вот барка быстро повернула нос от бойца и вежливо проходит мимо него одним бортом; опасность так же быстро минует, как приходит, и не хочется верить, что кругом опять зеленые берега и барка плывет в совершенной безопасности.

— С коня долой! — командует Савоська.

Перед каждым бойцом, как при отвале и привале, а также и после прохода под бойцом, бурлаки усердно молятся. Такая молитва еще увеличивает торжественность критического момента, но она является самым естественным проявлением того напряженного состояния духа, который переживает невольно каждый. Хорошо делается на душе, когда смотришь на эту картину молящегося народа; и молитва, и труд, и недавняя опасность — все сливается в один стройный аккорд. Савоська на своей скамейке походит на капельмейстера. Не желая утрировать аналогию, мы все-таки сравним бурлаков с отдельными музыкальными нотами, из которых здесь слагается живая мелодия бесконечной борьбы че-

ловека с слепыми силами мертвой природы.

После скал и утесов главную красоту чусовских берегов составляет лес. Седые мохнатые ели с побуревшими вершинами придают горам суровое величие. Строгая красота готических линий здесь сливается с темной траурной зеленью, точно вся природа превращается в громадный храм, сводом которому служит северное голубое небо. Особенно красивы молоденькие пихты, которые смело карабкаются по страшным кручам; их стройные силуэты кажутся вылепленными на темном фоне скал, а вершины рвутся в небо готическими прорезными стрелками. Из таких пихт образуются целые шпалеры и бордюры. Мертвый камень причудливо драпируется густой зеленью, точно его убрала рука великого художника. Малейший штрих здесь блещет неувядаемой красотой: так в состоянии творить толы, одна природа, которая из линий и красок создает смелые комбинации и неожиданные эффекты. Человеку только остается без конца черпать из этого неиссякаемого, всегда подвижного и вечно нового источника. Особенно хороши темные сибирские кед-

ры, которые стоят там и сям на берегу, точно бояре в дорогих зеленых бархатных шубах. Как настоящие кровные аристократы, они держатся особняком и как бы нарочно сторонятся от простых елей и пихт, которые отличаются замечательной неприхотливостью и растут где попало и как попало, только было бы за что уцепиться корнями, — настоящее лесное мужичье.

По мыскам, заливным лугам и той полосе, которая отделяет настоящий лес от линии воды, ютятся всевозможные разночинцы лесного царства: тут качается и гибкая рябина — эта северная яблоня, и душистая черемуха, и распустившаяся верба, и тальник, и кусты вереска, жимолости и смородины, и колючий шиповник с волчьей ягодой. Здесь же отдельными пролесками и островками стоят далекие пришлые люди — горькая осина с своим металлически-серым стволом, бесконечно родная каждому русскому сердцу кудрявая береза, изредка липа с своей бледной, мягкой зеленью. Но теперь все эти пришлые люди и разночинцы стоят голешеньки и жалко топорщатся своими набухшими ветвями: тяже-

ло им на чужой, дальней стороне, где зима стоит восемь месяцев. Кое-где попадаются вырубленные полосы, где рядами стояли свежие пни. Со стороны тяжело смотреть на этот результат вторжения человеческой деятельности в мирную жизнь растительного царства. Свежие поруби удивительно похожи на громадное кладбище, где за трудовым недосугом некогда было поставить кресты над могилами.

— Это все на барочки наши лес пошел, — объяснял Савоська. — Множество этого лесу изводят по пристаням... Так валом и валят!

Вся Чусовая, собственно говоря, представляет собой сплошную зеленую пустыню, где человеческое жилье является только приятным исключением. Несколько заводов, до десятка больших пристаней, несколько красивых сел — и все тут. Это на шестьсот верст протяжения. Да и селитьба какая-то совершенно особенная: высыплет на низкий мысок десятка два бревенчатых изб, промелькнет поноса огороженных покосов, и опять лес и лес, без конца-краю. Некоторые деревушки совсем спрятались в лесу, точно гнезда боль-

ших грибов; есть починки в два-три дома. Здесь воочию можно проследить, как и где селится русский человек, когда ему есть из чего выбрать.

Из встречавшихся по пути селений больше других были пристани Межевая Утка и Кашка. Первая раскинулась на крутом правом берегу Чусовой красивым рядом бревенчатых изб, а пониже видна была гавань с караванной конторой и магазинами, как на Каменке. Два-три дома в два этажа с мезонинами и зелеными крышами выделялись из общей массы мужицких построек; очевидно, это были купеческие хоромины.

— Скоро шабаш, видно, Утке-то, — говорил Савоська, поглядывая на пристань.

— А что?

— А вот железную дорогу наладят, так на Утке, пожалуй, и делать нечего. Теперь барок полсотни отправляют, а тогда, может, и пяти не наберут...

— По железной дороге дороже будет отправлять металлы, чем по Чусовой.

— Дороже-то оно дороже, да, видно, уж так придется, барин. Лесу не прохватывает на Ут-

ке барки строить — вот оно что! И теперь подымают снизу барки на Утку, а чего это стоит! Больно ноне леса-то по Чусовой пообились около пристаней. Ведь кажинный сплав считай барок пятьсот, а на барку идет триста дерев.

— Полтораста тысяч бревен!

— Так... Страсть вымолвить. Да еще лес-то какой идет на барку — самый кондовый, первый сорт! Ну, теперь и скучают по пристаням-то об лесе. Больно скучают, особливо на Утке. Да и по другим пристаням начинают сумлеваться насчет лесу.

Глядя на берег Чусовой, кажется, что здесь лесные богатства неистощимы, но это так кажется. В действительности лесной вопрос для Урала является в настоящую минуту самым больным местом: леса везде истреблены самым хищническим образом, а между тем запрос на них, с развитием горнозаводского дела и промышленности, все возрастает. Насколько похозяйничали заводовладельцы и промышленники над чусовскими лесами, можно проследить по течению этой реки шаг за шагом. Владельческие участки накануне

полного обезлесения, какое уже постигло некоторые заводские дачи на Урале, как, например, дачу Невьянских заводов[27]. Как бы в противовес этой картине запустения являются приятными исключениями казенные участки, но на Чусовой они представляют уже только оазисы среди захватывающего их рокового безлесного кольца. Такова, например, казенная уткинская лесная дача, а затем все пространство, начиная от деревушки Иоквы, верст семь ниже пристани Кашки, до другой деревушки Чизмы. Здесь, на расстоянии ста верст, правый берег представляет казенную собственность, и на нем леса сохранились почти неприкосновенными. Вообще эта часть Чусовой, между Иоквой и Чизмой, самая гористая и вместе самая лесистая; если между этими точками провести прямую линию и соединить ее с казенным заводом Кушвой, получится громадный треугольник, почти нетронутый нашей роковой цивилизацией. В Среднем Урале этот угол является каким-то исключением и представляет беспросветную лесную глушь. Вероятно, в недалеком будущем и этот обойденный потоком на-

шей промышленности угол разделит участь капитальных владельческих земель, но пока он представляет совсем девственную, нетронутую территорию. Его отлично защищают горы, непроходимые леса, топи.

Пристань Кашка рассыпала свои домики на левом берегу Чусовой, на низкой отлогости, которую далеко заливает вешняя вода. Вид на пристань чистенький и опрятный. Напротив селения правый берег Чусовой поднимается крутым каменистым гребнем, течение суживается, образуя очень опасный Кашкинский перебор. Здесь вода шумит с страшной силой, и барки летят мимо пристани, как птицы. Падение реки здесь настолько сильно, что заметно простым глазом: река катится прямо под гору. Таких мест в гористой части Чусовой немало, и река в них играет с особенной яростью.

— На что в межень — и то по Кашкинскому перебору, пожалуй, не вдруг в лодке проедешь, — объяснял Савоська. — Того гляди, выворотит вверх дном... Сердитое место.

После Кашки вплоть до Кыновской пристани, на протяжении шестидесяти верст, не

встречается ни одного большого селения, а маленькие деревнюшки, вроде Иоквы, Пермяковой и Деминевой, издали представляются кучкой домиков, которые разбрелись по берегу без всякого плана и порядка. Вид Пермяковой отличается, пожалуй, довольно оригинальной красотой, хотя и поражает непривычного человека своей дикостью, как вообще вся Чусовая. Всего какой-нибудь десяток изб точно сейчас выползли на левый низкий берег — и все тут. Кругом лес; напротив, через реку, крутой лесистый берег. Пермякова замечательна тем, что представляет собой типичное разбойничье гнездо. По рассказам, лет двести тому назад здесь поселился разбойник Пермяков, который грабил проходившие мимо суда, — от него и произошло настоящее население Пермяковой. Конечно, теперь о разбоях на Чусовой не может быть и речи, но Пермякова между бурлаками пользуется плохой репутацией.

— Что так? — спрашивал я Савоську.

— Да так... Когда идешь со сплаву домой, засветло стараешься пройти эту самую Пермякову.

— Разве здесь грабят бурлаков?

— Нет, не слышно... А так, пронес господь — и слава богу. Одним словом, небаское место... Старики-то сказывали, что сам-то Пермяков, старик-от, промышлял насчет бурлаков, которые со сплаву шли. Выйдет этак с винтовкой на тропу, по которой бредут бурлаки, и караулит: который отстал от артели, он его и залобует[28]. Все же лопотина какая ни на есть на бурлаке, деньги, может, у другого, оно, глядишь, и покорыстуется. А промысел — дома. Белку еще ищи там по лесу или оленя, а бурлачки сами идут под пулю. Может, это и неправда, — прибавил Савоська, — мало ли зря, поди, болтают про допрежние времена...

Немного пониже деревни Пермяковой мы в первый раз увидели убитую барку. Это была громадная коломенка, нагруженная кулями с пшеницей. Правым разбитым плечом она глубоко легла в воду, конь и передняя палуба были снесены водой; из-под вывороченных досок выглядывали мочальные кули. Поносные были сорваны. Снастью она была прикреплена к берегу, — очевидно, это на скору-руку устроили косные, бурлаков не было

видно на берегу.

— Где же рабочие? — спрашивал я.

— Ушли, значит. Чего им теперь делать у убившей барки. Водолив должон быть во всяком случае у барки... Да вон и он. Надо полагать, за хлебом ходил. Теперь наладит себе на бережку шалашик и будет дожидать купца... Купеческая посудина-то, с верхних пристаней.

Водолив шел по берегу и неприветливо смотрел в нашу сторону.

— Чьих вы будете? — крикнул Порша, выставляя голову из люка.

Водолив что-то крикнул, но его ответ был заглушен работой поносных. Через пять минут разбитая барка скрылась из вида.

— С людями несчастиев, значит, не было на убившей барке, — проговорил Савоська в раздумье.

— Отчего ты так думаешь?

— Кабы кого порешило, так лежал бы на бережку тут же, а то, значит, все целы остались. Барка-то с пшеницей была, она как ударилась в боец — не ко дну сейчас, а по-маненьку и отползла от бойца-то. Это не то, что

вот барка с чугуном: та бы под бойцом сейчас же захлебнулась бы, а эта хошь на одном боку да плывет.

Бурлаки долго галдели об «убившей» барке, обсуждая обстоятельства последовавшего крушения с приемами завзятых специалистов. Бубнов и Кравченко ругали сплавщика, более обстоятельные мужики вступались за него, потому что на грех мастера нет, и т. д. Новички сплава внимательно вслушивались в непонятную для них терминологию споривших.

Савоська не обращал никакого внимания на эту болтовню и время от времени тревожно поглядывал кверху, на серое небо, которое будто ниже и ниже опускалось над рекой.

— Мотросит... — проговорил он, выставляя руку под накрапывавший мелкий дождь.

— А что?

— Худо будет...

Я понял этот лаконический ответ. Как всякая другая горная река, Чусовая от одного хорошего дождя может подняться на несколько аршин, потому что все бесчисленные ручейки и речонки, которые бегут в нее, раздуваю-

ся в бешеные потоки, принося массу шальной воды.

— А где будем хвататься? — спрашивал я.

— Под Кыном надо будет хватку сделать. Эх, задарма сколько время потеряли даве, цельное утро, а теперь, того гляди, паводок от дождя захватит в камнях! Беда, барин!.. Кабы вы даве с Егором-то Фомичом покороче ели, выбежали бы из гор, пожалуй, и под Молоковом успели бы пробежать загодя... То-то, поди, наш Осип Иваныч теперь горячку порет, — с улыбкой прибавил Савоська, делая рукой кормовым знак «поддоржать корму». — Поди, рвет и мечет, сердяга.

В шести верстах от деревни Пермяковой стоит на правом берегу боец Писаный. Свое название он получил от надписи, которая сделана на нем в двадцати саженях от уровня реки. Надпись выветрилась, так что ничего нельзя разобрать; с барки можно рассмотреть только высеченный в скале крест. Здесь в 1724 году родился Никита Акинфиевич Демидов, о чем и гласила надпись. Самая скала представляет отвесный утес, поросший лесом. На противоположном низком берегу сто-

ит массивный крест, высеченный из цельного камня. Двумя верстами ниже Писаного стоит другой боец, Столбы. Это почти правильной круглой формы известковые колонны в двадцать сажен высоты; около них поднимается несколько меньших колонн. Можно подумать, что это остатки какой-то гигантской колоннады, заваленной мусором; только благодаря героическим усилиям Чусовой выглянул на свет божий один угол этой скрытой в земле постройки.

Глядя на эти толщи настланных друг на друга известняков, сланцев и песчаников, исчерченных белыми прожилками доломита, так и кажется, что пред вашими глазами развертывается лист за листом история тех тысячелетий и миллионов лет, которые бесконечной грядой пронеслись над Уралом. Чусовая в летописях геологии является самой живой страницей, где ученый шаг за шагом может проследить полную неустанного труда и всяческих треволнений автобиографию нашей старушки земли. Она была настолько предупредительна, что переложила все листы своей рукописи соответствующими происхожде-

нию каждого окаменелыми представителями тогдашней флоры и фауны. Но ученые с русскими фамилиями до сих пор как-то обходят своим благосклонным вниманием Чусовую, и если мы что-нибудь знаем о ней, то исключительно благодаря кропотливым исследованиям любознательных иноземцев — Р. И. Мурчисона, Э. Эйхвальда[29] и так далее. Скажем несколько слов о Чусовой именно с геологической точки зрения.

Представьте себе на месте нынешнего Урала первобытный океан, тот океан, который не занесен ни в какие учебники географии. Земля недавно родилась — недавно, конечно, только сравнительно, то есть накиньте несколько миллионов лет, — первобытный океан омывает ее, как повивальная бабка моет только что появившегося на свет ребенка, а затем этот же океан в течение неисчислимых периодов времени совершает свою стихийную работу, разрушая в одном месте и созидая в другом. Из этих разрушенных частиц, которые носятся в морской воде, медленно осаждаются все те известняки, песчаники и доломиты, которыми мы любуемся уже в го-

товом виде. Все это идет очень хорошо, в самом строгом порядке, но потом первобытный океан исчезает, образованные им осадочные пласты начинают подниматься и дают широкую трещину от нашего Ледовитого океана вплоть до плоской возвышенности, именуемой в географиях Усть-Уртом. Вот в эту-то трещину и выливаются наружу плутонические породы, производят страшный беспорядок в существовавшем порядке и, наконец, застывают в виде порфировых и гранитных скал, образуя основную горную ось с побочными разветвлениями. С человеческой точки зрения, вся эта история поражает своими размерами во времени и пространстве, но в жизни планеты она, вероятно, прошла так же незаметно, как складывается на нашем лице новая морщина, а на ней садится несколько прыщей. Таким образом, на Урале мы имеем, с одной стороны, плутонические породы, с другой — нептунические; первые резче выражены на восточном, сибирском склоне Урала, вторые преимущественно на западном, а между ними, в толще осадочных нептунических пород, пробила себе дорогу Чусовая, де-

лая тысячи интересных обнажений, разрезов, своих собственных отложений и так далее. На пластах силурийской системы вы видите постепенные наслоения горноизвестковой формации, где чередуются все эти песчаники, сланцеватые глины, известняки, пропластки доломитов. Глаз любуется этими причудливыми изгибами отдельных пластов, в трещинах и изломах которых вкраплены сростки известкового кремня, гипс, слюда, гнезда металлических руд. Все это засыпано уже выветрившимися, разрушенными породами, но опытный глаз чувствует себя здесь, как в гигантской лаборатории, разрушенной в момент производившихся опытов и продолжающей работать уже на обломках и развалинах.

По Чусовой барка плывет среди великолепной геологической панорамы, распадающейся, как мозаика, на тысячи отдельных геологических картин. Эта превращенная в камень история переживает новую стихийную метаморфозу, где к силурийской и девонской формациям присоединяются новые осадочные образования, как результат работы могучей горной реки и атмосферических дея-

телей. Едва ли где-нибудь в другом месте геолог найдет столь необозримое поле для исследований, как на Чусовой, которая с чисто геологическим терпением ждет русских ученых и русской науки, чтобы развернуть пред их глазами свои сокровища.

От Урала, как геологической морщины, мы перейдем теперь к Уралу, как нашему историческому порогу в Азию, потому что наша барка уже подплывает к устью реки Серебрянки, по которой в 1581 году Ермак перевалил в Сибирь.

Устье Серебрянки по наружному виду ничем особенным не отличается. Правый высокий берег Чусовой точно раздался широкими воротами, в которые выбегает бойкая горная речонка, — и только. Мы уже говорили выше о значении похода Ермака как завоевателя Сибири, и теперь остается только повторить, что этому походу историками и исследователями придается совсем не та окраска, какой он заслуживает. Истинными завоевателями и колонизаторами сибирской украйны были голутвенные и обнищалые русские людишки, а Ермак шел уже по проторенной новгородски-

ми ушкуйниками дорожке и имеет историческое значение постольку, поскольку служил интересам исконной русской тяги к украйнам, этим предохранительным клапанам нашей исторической неурядицы. Народ по достоинству оценил Ермака и поет о нем в своих былинах как о казацком атамане, составлявшем только голову живого казацкого тела. Казацкий атаман никогда не мог быть ни Колумбом, ни Магелланом, ни Куком; атаман был только выборным от казацкого круга, где, как во всякой общине, все равны. Он тянул за Камень, потому что туда тянул его казацкий круг.

Не доплывая до Кына верст пятнадцать, мы издали увидели вереницу схватившихся барок. Это был наш караван. Он привалил к левому берегу, где нарочно были устроены ухваты для хватки, то есть вкопаны в землю толстые столбы, за которые удобно было крепить снасть. Широкое плёсо представляло все удобства для стоянки.

— За Кыном по-настоящему следовало бы схватиться, — объяснял Савоська. — Да видишь, под самым Кыном перебор сумлитель-

ный... Он бы и ничего, перебор-от, да, вишь, кыновляне караван грузят в реке, ну, либо на караван барку снесет, либо на перебор, только держись за грядки. Одинова там барку вверх дном выворотило. Силища несосветимая у этой воды! Другой сплавщик не боится перебора, так опять прямо в кыновский караван врежется: и свою барку загубит, и кыновским достанется.

Хватка — одно из самых трудных условий благополучного сплава, особенно в большую воду. Нам схватиться за готовые барки уже не представляло особенной опасности. Порша выкинул снасть на самую последнюю барку, там положили ее мертвой петлей на огниво, теперь оставалось только осторожно травить снасть — то есть, завернув ее на огниво, спускать кольцо за кольцом, чтобы несколько ослабить силу напряжения. В первый момент, когда Порша завернул канат вокруг огнива двумя петлями, он натянулся, как струна, барка вздрогнула и точно сознательно рванулась вперед. В этот критический момент, когда натянувшийся канат мог порваться, как гнилая нитка, Порша осторожно начал

его спускать на огниве. От сильного трения огниво задымилось и, вероятно, загорелось бы, но Исачка вовремя облил его водой из ведерка.

— Крепи снасть намертво! — скомандовал Савоська. — С коня долой...

Все сняли шапки и помолились на восток.

— Спасибо, братцы! — коротко поблагодарил Савоська бурлаков.

— Тебе спасибо, Савостьян Максимыч... С веселенькой хваткой!

XIII

Весь берег, около которого стояло десятка два барок, был усыпан народом. Везде горели огни, из лесу доносились удары топора. Бурлаки на нашей барке успели промокнуть порядком и торопились на берег, чтобы погреться, обсушиться и закусить горяченьким около своего огонька. Нигде огонь так не ценится, как на воде; мысль о тепле сделалась общей связующей нитью.

При выходе с барки Порша с обычными причитаньями ощупывал каждого бурлака, чтобы грешным делом нечаянно не зацепил с собой полупудовой штыки. Исачка и Кра-

вченко были осмотрены им особенно тщательно, начиная с котомки и кончая сапогами.

— А я у тебя, Порша, беспременно сдую штыку, — шутил Исачка во время осмотра. — Верно тебе говорю...

— Без тебя знаю, что сдуешь, — стонал Порша. — Варнаки, так варнаки и есть... Одна у вас вера-то у всех, охаверники!..

Когда очередь осмотра дошла до баб, шуткам и забористым остротам не было конца. «У нас Порша вроде как куриц теперь щупает», — острил кто-то в толпе. Но Порша с замечательной последовательностью и философским спокойствием довершал начатый подвиг и пропустил без осмотра только одну Маришку.

— Ну, ты и так еле ноги волочишь, — проговорил Порша, махнув рукой. — Ступай себе с богом...

Появился Осип Иваныч. Он совсем охрип от трехдневного крика и теперь был под хмельком.

— Где это вы все время были? — спрашивал я его.

— Как где? С караваном плыл... Ведь на всех барках нужно было побывать, везде поспеть... Да!.. У одной барки под Кашкой кормовое поносное сорвало, у другой порубень [30] ободрало. Ну что, Савоська, благополучно?

— Все благополучно, Осип Иваныч... Только вот кабы дождичек не подгадил дела.

— Ох, не говори... А все из-за этого Егорки, чтобы ему ни дна ни покрышки!..

— Я то же говорю! Пожалуй, настигнет нас паводок и камнях, не успеем выбежать...

— Ну, бог милостив... Вы с чем пьете чай: с ромом или коньяком? — обратился ко мне Осип Иваныч.

— Все равно, только поскорее чего-нибудь горяченького...

— Ха-ха... Видно, кто на море не бывал, тот досыта богу не маливался. Ну, настоящая страсть еще впереди: это все были только цветочки, а уж там ягодки пойдут. Порша! скомандуй насчет чаю и всякое прочее.

Мы поместились в каюте, где для двоих было очень удобно, то есть можно было растянуться на лавке во весь рост и заснуть

мертвым сном, как спится только на воде. Огня на барке разводить не дозволяется, и потому Порша отрядил одного бурлака с медным чайником на берег, где ярко горели огни. Сальная свечка, вставленная в бутылку из-под коньяка, весело осветила нашу каюту, где все до последнего гвоздя было с иголочки и вместе сшито на живую нитку. Савоська при помощи досок устроил между скамейками импровизированный стол, на котором появилась разная дорожная провизия: яйца, колбаса, балык, сыр и так далее.

— Савоська! Выпьешь для первого привала? — спрашивал Осип Иваныч, наливая серебряный стаканчик.

— Нет, ослобоните, Осип Иваныч... Не могу теперь.

— В Перми наводить будешь? Ха-ха!

— Уж как доведется, — скромно отвечал Савоська.

Скоро Порша поставил на стол медный чайник с кипяченой водой, и мы принялись пить чай из чайных чашек без блюдечек. Осип Иваныч усердно подливал себе то рому, то коньяку, приговаривая:

— Я, батенька, на переменных гоню: скорее доедем...

Савоська поместился с нами и пил чашку за чашкой в каком-то оторопелом состоянии, как вообще мужики пьют чай с «господами». Осип Иваныч был красен до ворота рубахи и постоянно вытирал вспотевшее лицо бумажным желтым платком.

— Самая собачья наша должность, — хрипел он, дымя папироской. — Хуже каторги... А привычка — что поделаете! Ждешь не дождешься этой самой каторги. Так ведь, Савоська?

— Точно так, Осип Иваныч...

— То-то!.. Ты ведь у меня золото, а не сплавщик. Ну, кто у тебя на барке плывет? — уже шутливо спрашивал он.

— Да так, всякого народу довольно...

— И Даренка плывет? Знаю, знаю... Сорока на хвосте принесла. Нет, я тебе скажу, у Пашки на барке плывет одна девчонка... И черт его знает, где он такую отыскал!

Савоська улыбнулся какой-то неопределенной улыбкой и ничего не ответил.

— Вы уж меня извините, голубчик, — обра-

тился ко мне Осип Иваныч: — живой о живом и думает... Ей-богу, отличная девчонка!

— Хорошая девка на сплав не пойдет, Осип Иваныч, — почтительно заметил Савоська, опрокидывая чашку вверх донышком.

— А нам, на кой ее черт, хорошую-то? На сплав не в монастырь идут... Ха-ха!.. Нет, право, преаппетитная штучка!

Пришли сплавщики с других барок, и я отправился на берег. Везде слышался говор, смех; где-то пиликала разбитая гармоника. Река глухо шумела; в лесу было темно, как в могиле, только время от времени вырывались из темноты красные языки горевших костров. Иногда такой костер вспыхивал высоким столбом, освещая на мгновение темные человеческие фигуры, прорезные силуэты нескольких елей, и опять все тонуло в окружающей темноте.

Я долго бродил между огней. Где варилась каша в чугунных котелках, где уже спали вповалку, накрывшись мокрым тряпьем, где балагурили на сон грядущий. Исачка и Кравченко, конечно, были вместе и упражнялись около огонька в орлянку; какой-то отставной

солдат, свернувшись клубочком на сырой земле, выкрикивал сиповатым баском: «Орел! Орешка!..» Можно было подумать, что горло у службы заросло такой же шершавой щетиной, как обросло все лицо до самых глаз. Двое фабричных и один косной апатично следили за игрой, потягивая крючки из серой бумаги.

— Ошарашим по стаканчику? — говорил Исачка, улыбаясь глазами.

В другом месте, под защитой густой ели, расположилась другая компания: на первом плане лежал, вытянувшись во весь рост, Гришка; он спал богатырским сном. В ногах у него, как собачонка, сидела Маришка и апатично сосала беззубым ртом какую-то корочку. Тут же сидел на корточках чахоточный мастеровой, наклонившись к огню впалой грудью; очевидно, беднягу била жестокая лихорадка, и он напрасно протягивал над самым огнем свои высохшие руки с скрюченными пальцами. Псаломщик, скорчившись, сидел на обрубке дерева и курил папиросу.

— Садитесь к огоньку, — предложил мне фабричный.

Я подсел к будущему дьякону, который

вежливо уступил мне часть своего обрубка. Наступило короткое молчание.

— Мы тут про разбойника Рассказова разговариваем, — глухо заговорил мастеровой. — Он на Чусовой разбойничал...

— А давно это было?

— Да лет полсотни тому будет. Чудесный был человек, такие слова знал, что ему все нипочем. Сколько раз его в Верхотурье возили в острог. Посадят, закуют в кандалы, а он попросит воды испить — только его и видели... Верно!.. Ему только дай воды, а уж там его не удержишь: как сквозь землю провалится. Замки целы, стены целы, окна целы, а Рассказов уйдет, точно по воде уплывет. Сила, значит, в ней, в воде-то. Один надзиратель в остроге-то и похвастался, что не выпустит Рассказова, и не стал ему давать воды совсем, а все квас да пиво. В десятый раз, может, Рассказов-то сидел тогда... Ну, а Рассказов все-таки ушел: нарисовал на стенке угольком лодочку и ушел, ей-богу... Разные он слова знал! Ищут его теперь по лесу, окружили, деваться совсем Рассказову некуда, а он скажет слово, да всем глаза и отведет...

— Как глаза отведет?

— Да так: из глаз уйдет, все равно как потемки напустит... Тоже вот разными голосами умел говорить, сам в одном месте, а закричит в другом. Бросятся туда — а Рассказова и след простыл.

Мне не один раз приходилось слышать на Чусовой рассказы о разбойнике Рассказове с самыми разнообразными вариациями; бурлаки любят эту темную, полумифическую личность за те хитрости, какими обходил Рассказов своих врагов. Главное, Рассказов никогда не трогал своего брата мужика, а только купцов и богатых служащих. Притом он не проливал человеческой крови, что ставилось всеми рассказчиками разбойнику в особенную заслугу. У этого Рассказова на Чусовой был устроен в пещере разбойничий притон, где он хоронил награбленные сокровища. Мужицкая фантазия, как и фантазия привилегированных человеков, здесь к маленьким былям, очевидно, щедрой рукой подсыпала большие небылицы.

Свой рассказ мастеровой закончил глухим чахоточным кашлем.

— Нездоровится? — спрашивал будущий дьякон.

— Какое уж тут здоровье... Мы на катальной машине робили, у огня. В поту бьешься, как в бане. Рубаха от поту стоит коробом... Ну, прохватило где-то сквозняком, теперь и чахну: сна нет, еды нет.

— А семья у тебя есть?

— Как же... Ребятенок трое, жена. Старика тоже воспитываю... У нас на заводе рано в старики записываются, сорок лет — и старик. Мой-то старик робил на сортовой катальной, где проволоку телеграфную тянут, а тут к тридцати годам без ног наш брат. Работа вся бегом идет... В семье-то нас два работника, а вместо работников выходит два едока. В допрежние времена всем калекам и не способным к тяжелой работе было место: кого куда рассуют, а ноне другие порядки: извелся на работе — и ступай куды глаза глядят. Машины везде пошли, гонят народ...

— Это вроде как у нас тоже, — вставил свое слово будущий дьякон. — У нас хоть и нет машин, а тоже гонят изо всех мест. Меня из духовного училища выгнали за то, что табаку

покурил... Прежде лучше было: налупят бок, а не выгонят.

— Лучше было, что говорить! — повторял мастеровой, хватаясь рукой за грудь. — Знамо, что лучше... Как уж и жить будем! Тоже не от сладкого, поди, житья с нами, мужиками, у поносного обедню служишь?

Псаломщик только встряхнул гривой и посмотрел на свои медвежьи лапы.

— А я к дождю-то больно разнемогся вечор, — прибавил мастеровой, запахивая вытертый суконный халат около шеи. — Вишь, как частит!.. Другие в мокре стоят — ничего, только пар от живого человека идет, а меня цыганский пот пробирает.

К огню подошла пара. Это был Савоська. Он шел, закрыв широким чекменем востроглазую заводскую бабенку, которая работала у нас на передней палубе. Увидев меня, он немного смутился, а потом проговорил:

— Вот места сухонького ищем... Зарядил, видно, наш дождичек, так и сыплется, как скрозь решето.

— Рано завтра отвалит караван?

— А кто его знает? Как Осип Иваныч.

Подруга Савоськи засмеялась, показывая белые зубы.

— На два вершка воды прибыло в Чусовой, — заметил Савоська, подсаживаясь к огоньку. — Ужо что утро скажет...

На барке сидел один Порша, ходивший по палубе, как часовой. Осипа Иваныча не было; он ночевал где-то на берегу. Река глухо и зловеще шумела около бортов, в ночной темноте нельзя было рассмотреть противоположного берега.

Ночь я провел самую тревожную и просыпался несколько раз. Казалось, что около барки живым клубом шипела и шевелилась масса змей. Когда я проснулся, наша барка подплывала уже к Кыновской пристани. В окошечко каюты сквозь мутную сетку дождя едва можно было рассмотреть неясные очертания гористого берега. Кыновский завод засел в глубокой каменистой лощине на левом берегу, где Чусовая делает крутой поворот. «Кыну» по-пермяцки значит «холодный», и действительно, в Среднем Урале не много найдется таких уголков, которые могли бы соперничать с Кыном относительно дикости и

угрюмого вида окрестностей. Как-то всем существом чувствуешь, что здесь глухой, бесприютный север, где все точно придавлено. Караван кыновской успел уже отвалить до нас; на берегу едва можно было рассмотреть ряды заводских домиков, совсем почернев-ших от дождя.

— На пол-аршина вода прибыла за ночь, — как-то таинственно сообщил мне Савоська, когда барка прошла Камасинский перебор.

— Опасно?

— Середка на половине... А та беда, что дождик-то не унимается. Речонки больно под-пирают Чусовую с боков: так разыгрались, что на-поди! А чем дальше плыть, тем воды больше будет.

— А где Осип Иваныч?

Савоська только махнул рукой, движени-ем головы показав на барку Пашки, которая теперь казалась мутным пятном.

Бурлаки стояли на палубах тихо; лица вы-тянулись, пропитанные водой лохмотья гля-дели еще жальче. Богатырь Гришка стоял под своей «губой» в одной пестрядевой рубахе, ко-торая облепила его тело мокрой тряпицей;

Маришка посинела и едва волочилась за ходившим поносным. Бубнов нарядился в какую-то женскую кацавейку и, чтобы согреться, работал за десятерых. На задней палубе тоже не было веселых лиц, за исключением неугомонной востроглазой Даренки, которая, кажется, очень хорошо познакомилась с Кравченком и задорно хихикала каждый раз, когда тот отпускал каламбуры. Большинство лиц было серьезно, с тем апатично-покорным выражением, с каким относятся к каждому неизбежному злу: если некуда деваться, так, значит, нужно робить и под весенним дождем. Желая согреть бурлаков, Савоська делал совсем ненужные удары поносными направо и налево, но подгубщики сразу видели эту политику насквозь, и работа шла вяло, через пень-колоду.

— Три аршина три четверти! — крикнул Порша, меряя воду наметкой.

Савоська промолчал, а только потуже подпоясался и глубже нахлобучил на голову свою шляпу, точно приготовляясь вступить врукопашную с невидимым врагом.

Прибывавшая вода скоро дала себя почув-

ствовать. Барка плохо слушалась поносных и неслась вперед с увеличивавшейся скоростью. На бойких местах она вздрагивала, как живая.

— Нос налево! Постарайтесь, родимые! — кричал Савоська, стараясь вглядеться в мутную даль. — Голубчики, поддоржи корму! Сильно-гораздо поддоржи!..

Порша показывался на палубе только для того, чтобы сердито плюнуть и обругать неизвестно кого. В одном месте наша барка правым бортом сильно черкнула по камню; несколько досок были сорваны, как соломинки.

— Барка убившая... — послышался шепот.

Впереди под бойцом можно было рассмотреть только темную массу, которая медленно поднималась из воды. Это и была «убившая» барка. Две косных лодки с бурлаками причаливали к берегу; в воде мелькало несколько черных точек — это были утопающие, которых стремительным течением неудержимо несло вниз.

— Наша каменская барка... Гордей плыл, — проговорил Савоська, всматриваясь в тонув-

шую барку. — Сила не взяла...

«Убившая» барка своим разбитым боком глубже и глубже садилась в воду, чугун с грохотом сыпался в воду, поворачивая барку на ребро. Палубы и конь были сорваны и плыли отдельно по реке. Две человеческие фигуры, обезумев от страха, цеплялись по целому борту. Чтобы пройти мимо убитой барки, которая загораживала нам дорогу, нужно было употребить все наличные силы. Наступила торжественная минута.

— Ударь нос направо, молодцы!!! Сильно-гораздо ударь!!! — не своим голосом крикнул Савоська, когда наша барка понеслась прямо на убитую.

Трудно описать то ощущение, какое переживаешь каждый раз в боевых местах: это не страх, а какое-то животное чувство придавленности. Думаешь только о собственном спасении и забываешь о других. Разбитая барка промелькнула мимо нас, как тень. Я едва рассмотрел бледное, как полотно, женское лицо и снимавшего лапти бурлака.

— Как же они остались там? — спрашивал я Савоську, оглядываясь назад.

— Ничего, косные снимут. Нам вон тех надо переловить...

В косную, которая была при нашей барке, бросились четверо бурлаков. Исачка точно сам собой очутился на корме, и лодка быстро полетела вперед к нырявшим в воде черным точкам. На берегу собрался народ с убитой барки.

Около Кына и дальше Чусовая имеет крайне извилистое течение, делая петли и колена. На этих изгибах расположены четыре очень опасных бойца. Сначала Кирпичный, на правой стороне. Это громадная скала, точно выложенная из кирпича. Затем, на левом берегу, в недалеком расстоянии от Кирпичного нависла над самой рекой громадная скала Печка. Свое название этот боец получил от глубокой пещеры, которая черной пастью глядит на реку у самой воды; бурлаки нашли, что эта пещера походит на «цело» печки, и окрестили боец Печкой. Сам по себе боец Печка представляет серьезные опасности для плывущих мимо барок, но эти опасности усложняются еще тем, что сейчас за Печкой стоит другой, еще более страшный боец Высо-

кий-Камень. Если сплавщик побоится Печки и пройдет подальше от каменного выступа, каким он упирается в реку, барка неминуемо попадет на Высокий, потому что он стоит на противоположном берегу, в крутом привале, куда сносит барку речной струей. Чусовая под этими бойцами делает извилину в форме латинской буквы S; в первом изгибе этой буквы стоит Печка, во втором — Высокий-Камень. Сам по себе Высокий-Камень — один из самых замечательных чусовских бойцов. Достаточно представить себе скалу в пятьдесят сажен высоты, которая с небольшими перерывами тянется на протяжении целых десяти верст... У этих двух бойцов в высокую воду бьется много барок. Высокий-Камень отделяет от себя еще новый боец, Мултык, который считается очень опасным. Бойцы поменьше, как Востряк в пяти верстах от Кына и Сосун в четырнадцати, — в счет нейдут.

В двадцати верстах от Кына стоит казенная пристань Ослянка; с нее отправлятся казенное железо, вырабатываемое на заводах Гороблагодатского округа. Около Ослянки каким-то чудом сохранились две вогульские де-

ревушки, Бабенки и Копчик. Обитатели этих чусовских деревушек для этнографа представляют глубокий интерес как последние представители вымирающего племени. Когда-то вогулы были настолько сильны, что могли воевать даже с царскими воеводами и Ермаком, а теперь это жалкое племя рассеяно по Уралу отдельными кустами и чахнет по местным дебрям и трущобам в вопиющей нужде. Сохранили же чусовские известняки разных Amplexus multiplex, Fenestella Veneris, Chonetes sarcinulata[31] и так далее, а от вогул останется только смутное воспоминание.

В тридцати четырех верстах от Кына стоит камень Ермак. Это отвесная скала в двадцать пять сажен высоты и в тридцать ширины. В десяти саженях от воды чернеет отверстие большой пещеры, как амбразура бастиона. Попасть в эту пещеру можно только сверху, спустившись по веревке. По рассказам, эта пещера разделяется на множество отдельных гротов, а по преданию, в ней зимовал со своей дружиной Ермак. Последнее совсем невероятно, потому что Ермаку не было никакого расчета проводить зиму здесь, да еще в пещере,

когда до Чусовских Городков от Ермака-камня всего наберется каких-нибудь полтораста верст. В настоящее время Ермак-камень имеет интерес только в акустическом отношении; резонанс здесь получается замечательный, и скала отражает каждый звук несколько раз. Бурлаки каждый раз, проплывая мимо Ермака, непременно крикнут: «Ермак, Ермак!..» Громкое эхо повторяет слово, и бурлаки глубоко убеждены, что это отвечает сам Ермак, который вообще был порядочный колдун и волхит, то есть волхв. Даже Савоська верил в чудеса Ермака.

— Пять!.. — кричал Порша, прикидывая своей наметкой. — Ох, подымает вода!..

— Придется сделать хватку, — говорил Савоська. — Вечор Осип Иваныч наказывал, ежели вода станет на пять аршин, всему каравану хвататься...

— Опасно дальше плыть?

— Опасно-то опасно, да тут пониже есть деревушка Кумыш... Вот она где сидит, эта самая деревушка, — прибавил Савоська, указывая на свой затылок.

— А что?

— Больно работы много за Кумышом, да и место бойкое... Есть тут семь верст, так не приведи истинный Христос. Страшенные бойцы стоят!..

— Молоков?

— Он самый, барин. Да еще Горчак с Разбойником... Тут нашему брату сплавщику настоящее горе. Бойцы щелкают наши барочки, как бабы орехи. По мерной воде еще ничего, можно пробежать, а как за пять аршин перевалило — тут держись только за землю. Как в квашонке месит... Непременно надо до Кумыша схватиться и обождать малость, покамест вода спадет хоть на пол-аршина.

— А если придется долго ждать?

— Ничего не поделаешь. Не наш один караван будет стоять... На людях-то, бают, и смерть красна.

— Братцы, утопленник плывет... утопленник! — крикнул кто-то с передней палубы.

В воде мимо нас быстро мелькнуло мертвое тело утонувшего бурлака. Одна нога была в лапте, другая босая.

— Успел снять один-то лапоть, сердяга, а другой не успел, — заметил Савоська, огляды-

ваясь назад, где колыхалась в волнах темная масса. — Эх, житье-житье! Дай, господи, царство небесное упокойничку! Это из-под Мултыка плывет, там была убившая барка.

Бурлаки приуныли. Картина плывшего мимо утопленника заставила задуматься всех. Особенно приуныли крестьяне. Старый Силантий несколько раз принимался откладывать широкие кресты.

— Нет, придется схватиться, — решил Саводька, поглядывая на серое небо. — Порша! Приготовь снасть!.. Вон Лупан тоже налаживается хвататься.

Бурлаки обрадовались возможности обсушиться на берегу и перехватить горяченького. Ждали лодки, на которой Бубнов отправился спасать тонувших бурлаков. Скоро она показалась из-за мыса и быстро нас догнала.

— Двоих выдернули, — объявил Бубнов, когда лодка причаливала к барке. — Одного я схватил прямо за волосья, а он еще корячится, отбивается... Осатанел, как заглонул водицы-то!

XIV

Вторая хватка для нас не была так удачна,

как первая. Пашка схватился на довольно бойком перекате, но с нашей барки не успели вовремя подать ему снасть. Пришлось самим делать хватку прямо на берегу. Снасть, закрепленная за молоденькую ель, вырвала дерево с корнем, и барку потащило вдоль берега, прямо на другие барки, которые успели схватиться за небольшим мыском. Волочившаяся по берегу снасть вместе с вырванной елью служила тормозом и мешала правильно работать. Произошла страшная суматоха; каждую минуту снасть могла порваться и разом изувечить несколько человек. Бедный Порша метался по палубе с концом снасти, как петух с отрубленной головой. Нужно было во что бы то ни стало собрать снасть в лодку и устроить новую хватку по всем правилам искусства.

— Руби снасть! — скомандовал Савоська Бубнову.

Повторять приказания было не нужно. Бубнов на берегу обрубил канат в том месте, где он мертвой петлей был закреплен за вырванное дерево. Освобожденный от тормоза канат был собран в лодку, наскоро была

устроена новая петля и благополучно закреплена за матерую ель. Сила движения была так велика, что огниво, несмотря на обливанье водой, загорелось огнем.

— Крепи снасть намертво! — скомандовал Савоська.

Канат в последний раз тяжело шлепнулся в воду, потом натянулся, и барка остановилась. Бежавший сзади Лупан схватился за нашу барку.

По правилам чусовского сплава, каждая барка обязана принять снасть на свое огниво со всякой другой барки, даже с чужого каравана. Это нечто вроде международного речного права.

— Отчего ты не выпустил каната совсем? — спрашивал я Поршу. — Тогда косные собрали бы его в лодку и привезли в барку целым, не обрубая конца...

— А как бы я стал мокрую-то снасть на огниво наматывать? Што ты, барин, Христос с тобой! Первое — мокрая снасть стоит коробом, не наматывается правильно, а второе — она от воды скользкая делается, свертывается с огнива... Мне вон как руки-то обожгло, по-

гляди-ко!

Порша показал свои руки, на которых действительно красными подушками всплыли пузыри.

Было всего часов двенадцать дня. Самое время, чтобы плыть да плыть, а тут стой у берега. Делалось обидно за напрасно уходившую воду и даром потраченное время на стоянку.

— Пять аршин с вершком выше межени, — проговорил Порша, прикидывая свою наметку в воду.

А дождь продолжал идти с немецкой последовательностью, точно он невесть какое жалованье получал за свою работу. На бурлаках не было нитки сухой.

— Надо первым делом разыскать, где здесь кабак, — разрешил все недоуменья Бубнов. — Простоим долго...

— Типун тебе на язык, Исачка!

— Не от меня будете стоять, милые, а от воды. Говорю: первым делом кабак отыскать...

— Какой тебе в лесу кабак, отпетая душа?

— Должон быть беспременно... На Чусовой да водки не найти — дудки!.. Хлеба не най-

дешь, а водку завсегда. Тут есть пониже маненько одна деревнюшка...

— Всего двенадцать верст, — заметил Савоська, — и на твою беду как раз ни одного кабака. Народ самый непьющий живет, двоеданы[32].

— Для милого дружка семь верст не околица, Савостьян Максимыч. А с двоеданами я этой водки перепил и не знаю сколько: сначала из отдельных рюмок пьют, а потом — того, как подопьют — из одной закатывают, как и мы грешные. Куда нас деть-то: грешны, да божьи.

— У меня не разбродиться по берегу, — говорил Савоська почти каждому бурлаку, пока Порша производил неизбежную щупку, — а то штраф... На носу это себе зарубите. Слышали?

— А как насчет харчу?

— Пока доедайте у кого что припасено, а там косные привезут всякого провианту.

— Ну, уж это тоже на воде вилами писано, — ворчал Бубнов.

В общих чертах повторилась та же самая картина, что и вчера: те же огни на берегу, те

же кучки бурлаков около них, только недоставало вчерашнего оживления. Первой заботой каждого было обсушиться, что под открытым небом было не совсем удобно. Некоторые бурлаки, кроме штанов и рубахи, ничего не имели на себе и производили обсушивание платья довольно оригинальным образом: сначала снимались штаны и высушивались на огне, потом той же участи подвергалась рубаха.

— У святых угодников еще меньше нашего одежи было, да не хуже нашего жили, — утешал всех Бубнов, оставшись в одной рубахе.

Место хватки было самое негостеприимное: крутой угор с редким лесом, который даже не мог защитить от дождя. Напротив, через реку, поднималась совсем голая каменистая гряда, где курице негде было спрятаться. Пришлось устраивать шалаши из хвои, но на всех не прихватывало инструменту, а к Порше и приступиться было нельзя. Кое-как бабы упросили его пустить их обсушиться под палубы.

— Пусти их в самом-то деле, Порша, — просил вместе с другими Савоська. — Не околе-

вать же им... Тоже живая душа, хоть баба.

— А у меня курятник, что ли, барка-то? — ругался Порша.

— Может, и в самом деле по яичку снесут, как обсушатся, — острил кто-то.

— Ах, будьте вы все прокляты!! Савостьян Максимыч! Я тебе больше не слуга... Только Осип Иваныч приедет, сейчас металл буду сдавать. Вот те истинный Христос!!

— Перестань божиться-то, Порша! Неровен час — подавишься!

Дождь продолжал идти; вода шла все на прибыль. Мимо нас пронесло барку без передних поносных; на ней оборвалась снасть во время хватки. Гибель была неизбежна. Бурлаки, как стадо баранов, скучились на задней палубе; водолив без шапки бегал по коню и отчаянно махал руками. Несколько десятков голосов кричали разом, так что трудно было что-нибудь разобрать.

— Лодку у них унесло водой, — догадался Савоська. — Эй, братцы, кто побойчее — в лодку да захватите запасную снасть.

Порша не давал было снасти, но его кое-как уговорили. Лодка с Бубновым на корме

понеслась догонять уплывавшую барку.

— Постарайтесь, братцы! — кричал Савоська вслед. — Тут верстах в пяти есть изворот; кабы не убилась барка-то...

— Успеем! — отозвался Бубнов, не поворачивая головы.

— Молодцевато плывут! — полюбовался Савоська, следя глазами за удалявшейся лодкой. — Все наши камешки... Уж на воде лучше их нет, а на берегу не приведи истинный Христос.

В казенке опять появился медный чайник и чашки без блюдечек.

Пришел Лупан.

— Больно не ладно, Савостьян Максимыч, — проговорил старик, усаживаясь на лавочку.

— На что хуже, дедушко Лупан.

Лупан придерживался старинки, хотя и якшался с православными. Он даже не пил чаю, который называл антихристовой травой.

— Ты не гляди, что она трава, ваш этот самый чай, — рассуждал старик. — А отчего ноне все на вонтаранты пошло? Вот от этой самой травы! Мужики с кругу снились, бабы ба-

луются... В допрежние времена и звания не было этого самого чаю, а народу было куды вольготнее. Это уж верно.

— А как же, дедушко, по деревням люди божий маются еще хуже нашего? — спрашивал Порша, любивший пополоскать свою требушину кипяченой водой. — Там чай еще не объявился и самоваров не видывали...

— Там своя причина! Земляной горох[33] стали есть — ну и бедуют. Всему есть причина... Враг-то силен!

В душе Лупана жило непоколебимое убеждение, что все злобы нашего времени происходят от табаку, картофеля и чаю. На первый раз такое оригинальное миросозерцание кажется смешным, но стоит внимательнее вглядеться в то, что табак, картофель и чай служили для Лупана только символами вторгнувшихся в жизнь простого русского человека иноземных начал. Впрочем, может быть, Лупан смотрел на дело гораздо проще, без всякой символики. В мужицкой голове еще сохранились воспоминания о тех картофельных бунтах, какие разыгрывались на Урале во времена еще не столь отдаленные. Табак и

чай завоевали права гражданства на Руси более мирным путем и своей антихристовой силой постепенно побеждают даже завзятых раскольников.

— А вот что мы будем делать, дедушко, как дождь с неделю пройдет? — спрашивал Савоська. — Вода не страшна, да народ-то взбеленится... Наши пристанские да мастерки-то останутся, — только дай им поденную плату, — вот крестьянишки — те беспременно разбегутся.

— Уйдут, — соглашался Лупан. — Севодни двадцать восьмое число, говорят, а там Еремей-запрягальничек на носу... Уйдут!

— Как же мы останемся без бурлаков? — спрашивал я.

— Да уж, видно, так как бог велит. Заводы придется запереть, чтобы народ согнать на караван. Не иначе...

Эти ожидания оправдались в тот же день вечером, когда к берегу привалила косная Осипа Иваныча. «Пиканники» собрались в одну кучу и глухо зашумели, как волны прилива.

— А... бунт!! — зарычал Осип Иваныч, ме-

ряя глазами собравшуюся толпу. — Ах мошенники, протобестии!

— Бялеты, Осип Иваныч... Нам ждать не доводится! — послышались нерешительные голоса в толпе.

— Что-о?? Как?! — взметнулся Осип Иваныч, отыскивая коноводов. — Почему... а?! Кто это говорит, выходи вперед!

Таких дураков не нашлось, и Осип Иваныч победоносно отступил, пообещав отдуть лычагами[34] каждого, кто будет бунтовать. Крестьянская толпа упорно молчала. Слышно было, как ноги в лаптях топтались на месте; корявые руки сами собой лезли в затылок, где засела, как у крыловского журавля, одна неотступная мужицкая думушка. Гроза еще только собиралась.

— Уйдут варнаки, все до последнего человека уйдут! — ругался в каюте Осип Иваныч. — Беда!.. Барка убилась. Шесть человек утонуло... Караван застрял в горах! Отлично... Очень хорошо!.. А тут еще бунтари... Эх, нет здесь Пал Петровича с казачками! Мы бы эту мужландию так отпарировали — все позабыли бы: и Егория, и Еремея, и как самого-то зо-

вут. Знают варнаки, когда кочевряжиться... Ну, да не на того напали. Шалишь!.. Я всех в три дуги согну... Я... у меня, брат... Вы с чем: с коньяком или ромом?..

— Как же мы дальше поплывем, Осип Иваныч, если народ разбежится? — спрашивал я.

— Как? Э, все вздор и пустяки: нагонят народ с заводов.

— Да ведь долго будет ждать. Вода успеет уйти за это время...

— И пусть уходит, черт с ней! Второй вал выпустят из Ревды. Не один наш караван омелеет, а на людях и смерть красна. Да, я не успел вам сказать: об нашу убитую барку другая убилась... Понимаете, как на пасхе яйцами ребятишки бьются: чик — и готово!.. А я разве бог? Ну скажите ради бога, что я могу поделать?..

Власть положительно вскружила голову Осипу Иванычу, и личное местоимение «я» сделалось исходным пунктом его помешательства. Как все «административные» головы, он в каждом деле прежде всего видел свое «я», а потом уж других.

Бубнов вернулся на косной только к вече-

ру. Лица гребцов были красные, языки заплетались.

— Где вы, черти, пропадали? — накинулся на них Порша.

— На хватке были...

— А шары-то где налили?

— Говорят, на хватке...

— Да ты не вертись, как береста на огне, а сказывай прямо: в деревню успели съездить?.. Ну?..

Бубнов посмотрел на Поршу, покрутил головой и проговорил:

— Насчет харча, Порша... Вот те истинный Христос!..

— Оно и видно, за каким вы харчем ездили: лыка не вяжете.

— А ты благодари бога, что снасть тебе в целости-сохранности привезли... Вот мы какие есть люди: кругом шестнадцать... То-то! А барку мы пымали... нам по стаканчику поднесли. В четырех верстах отседова пымали. Мне снастью руку чуть-чуть не отрезало.

— Надо бы обе вместе отрезать: не стал бы воровать...

— Порша, мотри!

— Я и то гляжу.

Оказалось, что Бубнов с компанией действительно привезли и харчу, то есть несколько ковриг хлеба. Между прочим, бурлаки захватили целого барана, которого украли и спрятали под дном лодки. Эта отчаянная штука была в духе Исачки, обладавшего неистощимой изобретательностью.

— Шкурку променял на водку, а тут и закуска, — отшучивался Исачка. — Только бы Осип Иваныч не узнал... А ежели увидит, скажу, что купил, когда хозяина дома не было.

Другим бурлакам оставалось только удивляться и облизываться, когда Исачка принялся жарить свою добычу. На его счастье, Осип Иваныч спал мертвым сном в казенке.

Всю ночь около огней, где собрались крестьянские «артелки», шли разговоры о том, как быть со сплавом, которому не предвиделось и конца. С одной стороны, «кондракт», «пачпорты» в руках Осипа Иваныча, порка в волостном правлении, а с другой — до Еремея оставалось всего «два дни». «Выворотиться» — было общей мыслью, о которой старались не говорить и которая тем настойчивее

лезла в голову. Другой не менее важной общей мыслью была забота о «пропитале», в частности — о харчах. В самом деле, не еловую же кору глодать, сидя на пустом берегу.

— Вам поденные будут платить, — говорил я старику Силантию, у которого теперь не было даже заплесневелых сухарей.

— По кондракту, барин, обязаны поденные платить, а нам это не рука... Куды мы с ихними поденными?..

— Осип Иваныч обещал по полтине каждому в сутки.

— И рупь даст, да нам ихний рупь не к числу. Пусть уж своим заводским да пристанским рубли-то платят, а нам домашняя работа дороже всего. Ох, чтобы пусто было этому ихнему сплаву!.. Одна битва нашему брату, а тут еще господь погодье вон какое послал... Без числа согрешили! Такой уж незадачливый сплав ноне выдался: на Каменке наш Кирило помер... Слышал, может?

— Слышал.

— Так без погребения и покинули. Поп-то к отвалу только приехал... Ну, добрые люди похоронят. А вот Степушки жаль... Помнишь,

парень, который в огневице лежал. Не успел оклематься[35] к отвалу... Плачет, когда провожал. Что будешь делать: кому уж какой предел на роду написан, тот и будет. От пределу не уйдешь!.. Вон шестерых, сказывают, вытащили утопленников... Ох-хо-хо! Царствие им небесное! Не затем, поди, шли, чтобы головушку загубить...

— А ваша артель не выворотится, Силантий?

— Ничего не знаю, барин, ничего... Не работа, а один грех! Больно галдят наши-то хрестьяны. Так и рвутся по домам. Вот не знаем, сколь времени река не пустит дальше...

— Этого никто не знает.

— Вот в том-то и беда.

На другой день, когда я проснулся, Осип Иваныч в бессильной ярости неистовствовал на барке. Около него собрались кучки бурлаков.

— Ведь убежали! — встретил он меня.

— Кто убежал?

— Да мужландия... Целая артель убежала. Помните этого бунтовщика... ну, старичонка, бородка клинышком: он всю артель за собой

увел. Жалею, что не отпорол этого мерзавца еще на Каменке. Ну, да наше не уйдет... Я еще доберусь до него... я... я...

— Какой бунтовщик? Я что-то не припомню?

— Ах, господи... Ну, как его там звали, Савоська?

— Силантием, Осип Иваныч. У носового поносного робил с артелью.

— Подлецы, подлецы, подлецы!

«Мужландия» не вытерпела, наконец, и «выворотилась».

— Шесть аршин над меженью! — крикнул Порша, меряя воду.

— Не может быть? Ты не умеешь мерять... — усомнился Осип Иваныч, выхватывая наметку из рук Порши.

— Как вам будет угодно. Осип Иваныч... — обиделся водолив. — Уж если я не умею воду мерять, так после этого... Позвольте расчет, Осип Иваныч!..

— Убирайся ты к черту, дурак! Не до тебя! Ах, черт возьми, действительно шесть аршин над меженью!.. Ведь это целых две сажени... Паводок в две сажени!..

— Севодни ночью две барки пронесло мимо, Осип Иваныч, — докладывал Савоська. — Должно полагать, с ухвата сорвало или снасть лопнула... Так и тарабанит по Чусовой, как дохлых коров.

А дождь продолжал свою работу, не останавливаясь ни на минуту.

XV

В течение каких-нибудь трех дней Чусовая превратилась в бешеного зверя. Это был двигающийся потоп, ломавший и уносивший все на своем пути. Высота воды достигала шести с половиной аршин, а вместе с каждым вершком прибывавшей воды увеличивалась и скорость ее движения. При низкой воде вал идет по реке со скоростью пяти с половиной верст в час, а теперь он мчался со скоростью восьми верст; барка по низкой воде делает в час средним числом верст одиннадцать, а по высокой — пятнадцать и даже двадцать. В последнем случае все условия сплава совершенно изменяются: там, где достаточно было сорока человек, теперь нужно становить на барку целых шестьдесят, да и то нельзя поручиться, что вода не одолеет под первым же

бойцом.

Сила напора водяной струи была так велика, что нашу барку привязали к ухвату еще вторым канатом. Кругом все по-прежнему было серо. Берег превратился в стоянку каких-то дикарей. Бурлаки не походили на самих себя: спали в мокре и грязи, почернели от дыма, отощали. Оказалось несколько больных, которые лежали под прикрытием своих шалашиков. О медицинской помощи нечего было и думать, когда не было хлеба и харчей. Вся надежда оставалась на то, как и при лечении дорогих патентованных врачей, что авось человек «сам отлежится». До ближайшей деревни было верст двенадцать, но попадать туда было крайне замысловато: горой, то есть по берегу, нельзя было пройти — не пускали разбушевавшиеся горные речки; по Чусовой, конечно, можно было попасть, но тяжело было возвращаться назад против течения. Даже отчаянный Бубнов — и тот отказывался от поездки в деревню, хотя сам второй день сидел впроголодь. Осип Иваныч больше не показывался к нам на барку.

— Где он пропадает? — спрашивал я у Са-

воськи.

— У Пашки на барке и днюет и ночует... Народ голодает, а он плёшничает.

На третий день нашей стоянки «выворотилась» вторая крестьянская артелька. Это случилось как раз первого мая, в день Еремея-запрягальника. На этот раз побег «пиканников» был встречен всеми равнодушно, как самое обыкновенное дело. Нервы у всех притупились, овладевала та апатия, которая создается безвыходностью положения. Оставались пристанские бурлаки и «камешки», этим некуда было бежать, благо заплатят поденщину.

На четвертый день стоянки скрылись башкиры. Они сделали это так же незаметно, как вообще оставались незаметными все время сплава.

— Уж куда эта нехристь торопится — ума не приложу! — ругался Порша. — Крестьянин — тот к пашне рвется, а эта погань куда бежит? Робить не умеет, а туда же бежит... Чисто как лесное зверье, прости ты меня, господи!..

В казенке, кроме меня, помещался теперь будущий дьякон, а ночевать приходил еще

чахоточный мастеровой. Время тянулось с убийственной медленностью, и один день походил как две капли воды на другой. Иногда забредет старик Лупан, посидит, погорюет и уйдет. Савоська тоже ходил невеселый. Одним словом, всем было не по себе, и все были рады поскорее вырваться отсюда.

Под палубой устроилась целая бабья колония, которая сейчас же натащила сюда всякого хламу, несмотря ни на какие причитания Порши. Он даже несколько раз вступал с бабами врукопашную, но те подымали такой крик, что Порше ничего не оставалось, как только ретироваться. Удивительнее всего было то, что, когда мужики голодали и зябли на берегу, бабы жили чуть не роскошно. У них всего было вдоволь относительно харчей. Даже забвенная Маришка — и та жевала какую-то позёмину, вероятно свалившуюся к ней прямо с неба.

— И откуда у них что берется? — удивлялся Порша. — Ведь и на берег, почитай, совсем не выходят, а, глядишь, все жуются... Оказия, да и только!..

— Ты на штыки-то смотри, Порша, — сове-

товал Савоська. — Бабы — они, конечно, бабы, а все-таки и за ними глаз да глаз нужен...

— Смотрю, Савостьян Максимыч... Кажинный день поверяю чуть не всю барку. Все ровно в сохранности, как следовает тому быть.

Другое обстоятельство, которое очень беспокоило Поршу, заключалось в том, что из Бубнова, Кравченки и Гришки составился некоторый таинственный триумвират. Их постоянно видели вместе. Будущий дьякон уверял, что несколько раз слышал, как они шептались между собой.

— Уж, наверно, это Исачка какую-нибудь пакость сочиняет, — уверял Порша. — Недаром они шепчутся...

Все дело скоро объяснилось.

Однажды, когда Порша пред рассветом дремал на палубе, что-то булькнуло около барки. Порша бросился на подозрительный звук и увидал, во-первых, Маришку, которая не успела даже спрятаться в люк, во-вторых, доску, которая плыла около барки.

— Ты что тут делаешь? — закричал Порша, бросаясь ловить доску багром.

Маришка ничего не ответила и продолжа-

ла стоять на том же месте, как пень. Когда доска была вытащена из воды, оказалось, что снизу к ней была привязана медная штыка. Очевидно, это была работа Маришки: все улики были против нее. Порша поднял такой гвалт, что народ сбежался с берегу, как на пожар.

— Ах ты, паскуда! Ах, шельма! — вопиял Порша, вытаскивая Маришку за волосы на палубу. — Сказывай, кто тебя научил украсть штыку?

Забитая бабенка, оглушенная всем случившимся, только вся вздрагивала и испуганно поводила кругом остановившимися, бессмысленными глазами. Порша дал ей несколько увесистых затрещин, встряхнул за шиворот и, как кошку, бросил на палубу.

— Задувай ее, курву, Порша! — крикнул кто-то из толпы.

Этот нервный крик, требовавший возмездия за попранное право, сразу наэлектризовал Поршу, и он принялся обрабатывать Маришку руками и ногами.

— Ты ее по рылу-то, Порша, по рылу! — поощрял какой-то бурлак с барки Лупана, поче-

сывая руки от нетерпения. — А потом по льну дай раза, суке этакой... Ишь, плёха, не хочет на ногах стоять!

Маришка действительно от каждого удара Порши комком летела с ног, вызывая самый искренний смех собравшейся публики. Это побоище продолжалось с четверть часа, пока не явился заспанный Савоська.

— Что вы тут делаете? — спрашивал он.

— Порша Маришку учит, — обязательно объяснял кто-то.

— Ах вы, дураки... Порша, оставь! Отцепись, деревянный черт, тебе говорят! — кричал Савоська, стараясь оттащить Поршу от Маришки.

— Она штыку украла! — хрипел Порша, выкатывая налитые кровью глаза.

— Дурак!.. Да на что ей штыку? Надо сперва разобрать дело, а ты...

— Я... я... она украла штыку... — повторял Порша. — Запирается...

— А ежели окажется, что не она украла штыку?

Порша на мгновение задумался, потом вдруг бросил на палубу свою шапку и запри-

читал:

— Нет, я тебе не слуга, Савостьян Максимыч... Ищи другого водолива!.. Я — шабаш, только металл сдать Осипу Иванычу.

Составилось нечто вроде народного суда. Савоська стал допрашивать Маришку, как было дело, но она только утирала рукавом грязного понитка[36] окровавленное избитое лицо с крупным синяком под одним глазом и не могла произнести ни одного слова.

— Кто тебя научил, говори? — допрашивал Савоська.

Молчание. Маришка только на мгновение подымает свои большие, когда-то, вероятно, красивые глаза и с изумлением обводит ими кругом ряд суровых или улыбающихся лиц. На одно мгновение в этих глазах вспыхивает искра сознания, по изможденному, сморщенному лицу пробегает нервная дрожь, и опять Маришка погружается в свое тупое, одеревенелое состояние, точно она застыла.

— Ты ей поддуй раза, Савостьян Максимыч... Заговорит небось.

Голос знакомый. Оборачиваюсь: это говорит чахоточный мастеровой. Лицо у него злое

и совсем позеленело, глаза горят лихорадочным возбуждением. Он вытягивает вперед свою тонкую шею и сжимает костлявые кулаки.

— Гришка с Бубновым идут! — послышался шепот.

— Ну, ступай, черт с тобой! — заканчивает свой суд Савоська. — Вот приедет Осип Иваныч, тогда твое дело разберем...

— Хоть бы лычагами постегать, Савостьян Максимыч! — просит чей-то голос. — Чтобы вперед было неповадно...

Бубнов и Гришка подходили к барке как ни в чем не бывало. Толпа почтительно расступилась пред ними, давая дорогу к тому месту, где стояла Маришка. Услужливые языки уже успели сообщить Гришке о подвиге Маришки.

Гришка, не говоря ни слова, так ударил Маришку своим десятипудовым кулаком, что несчастная бабенка покатилась по земле, как выброшенный из окна щенок.

— Наливай ее! — поощрял Бубнов, давая Маришке несколько пинков ногой. — Ишь притворилась... Язва! Валяй ее, зачем воро-

вать не умеет... Под другой глаз наладь ей!

На Маришку посыпался град ударов. Собравшаяся толпа с тупым безучастием смотрела на происходившую сцену, и ни на одном лице не промелькнуло даже тени сострадания. Нечто подобное мне случилось видеть только один раз, когда на улице стая собак грызла больную старую собаку, которая не в состоянии была защищаться.

Когда я обратился к Савоське с просьбой остановить эту бойню, он только пожал плечами.

— За что он ее бьет? — спрашивал я. — Может быть, окажется, что и не она украла штыку...

— Да ведь она жена ему, Гришке-то? — удивился мужик.

— Ну так что из этого, что «жена»?

— Жена — значит, своя рука владыка. Хошь расшиби на мелкие крошки — наше дело сторона... Ежели бы Гришка постороннюю женщину стал этак колышматить, ну, тогда, известно, все заступились бы, а то ведь Маришка ему жена. Ничего, барин, не поделаешь...

Коротко и ясно.

После Гришкиной науки Маришка замертво была стащена куда-то в кусты.

Вечером, когда явился Осип Иваныч, было произведено строжайшее следствие по делу о краже медной штыки Маришкой. Оказалось следующее: вся механика кражи была устроена, конечно, Бубновым, в чем он и сознался, когда улики были все налицо.

— Ну рассказывай, братец, как ты штыку у Порши воровал? — допрашивал Осип Иваныч Исачку.

— Да что тут рассказывать-то; Осип Иваныч, — хвастливо отвечал Бубнов. — Известное дело... Мы с Гришкой да с Кравченком, значит, в уговоре были, а Маришка должна была штыку с барки пущать. Кравченко пущал сверху от берегу доску по реке. Маришка ее ловила, потом привязывала штыку и спущала в воду. А мы, значит, с Гришкой должны были ловить доску и плотик уже наладили, да Маришка, окаянная, подвела.

— Значит. Маришка только вам помогала?

— Выходит, видно, так, — соглашался Бубнов.

— Ну, это дело мировой судья в Перми разберет... А теперь скажите, зачем вы Маришку до полусмерти избили?

— Это не я, а Гришка, Осип Иваныч. Кабы я бил Маришку, так сразу бы ее убил... Ей-богу! Все дело испортила...

Гришку даже не спрашивали, зачем он колотил жену.

— Уж я спустил бы им три шкуры, — ругался Осип Иваныч, — да теперь без них нельзя... Что будете делать? Головорезы!.. Бубнов, шельма, знает, что рабочие до зарезу нужны, и бахвалится. Уж я ему прописал бы, ежели бы Пал Петрович здесь был... я... Ну, да черт с ними! Вы с чем будете чай пить?

Немного погодя в казенку явился Бубнов.

— Я до твоей милости, Осип Иваныч.

— Ну, чего тебе?

— Да вот мы с Гришкой да с Кравченком пришли...

Гришка и Кравченко показались в дверях.

— Ну?

— Уж лучше прикажи лычагами наказать нас, Осип Иваныч, а к мировому не таскай. Посадят на высидку, тебе от этого не легче бу-

дет.

— А как Порша?

— Да уж с Поршей как ни на есть помиримся... Четверть водки ему поставим, леший его задери.

Составлен был совет из Савоськи, Порши и Лупана. Пошумели, побранились и порешили, что не в пример лучше отодрать воров лычагами, а то еще в Перми по судам с ними таскайся да хлопочи. Исполнение этого решения было предоставлено косным, которые устроили порку тут же на палубе. Всем троим было дано по десяти лычаг.

— Ну, вперед у меня чтобы ни-ни!.. — кричал Осип Иваныч, пока наказанные приводили в порядок необходимые принадлежности костюма. — А то всех к черрту.

— А без нас тоже не далеко уплывешь, Осип Иваныч, — говорил Бубнов, поправляя рубаху. — Крестьяны-то все, видно, разбежались, нам же доведется робить...

— С вами, разбойники, с вами! Только вы душеньку всю из меня вытянули, распротоканальи...

Этот невинный эпизод неудавшегося во-

ровства точно послужил сигналом для погоды, которая, наконец, заметно начала разгуливаться, хотя вода держалась на прежнем уровне. Крестьяне поголовно бежали со всех караванов, несмотря ни на какие угрозы и самые заманчивые обещания. Одним словом, выражаясь языком наших администраторов, произошел настоящий бунт.

— Только подождем, как вода спадет на пять аршин, сейчас побежим. — говорил Савоська. — Недоколе нам здесь ждать... Последний народ разойдется.

— Да ведь по такой высокой воде опасно плыть?

— Не одни мы поплывем, барин. И другие прочие караваны с нами поплывут тоже... Уж кому што достанется, тот тем, значит, и владай.

Всеми овладело вполне понятное нетерпение, когда вода, наконец, пошла на убыль. Дождь перестал. Высыпала по взлобочкам и на солнечном пригреве первая травка, начали развертываться почки на березе. Только серые тучи по-прежнему не сходили с неба, точно оно было обложено кошмами, и недо-

ставало солнца.

Когда вода спала на три четверти аршина, подошла партия бурлаков из Кыновского завода. Нужно было дорожить временем, чтобы не запоздать. Новые бурлаки нанесли самых невеселых новостей, которые главным образом вертелись около «убивших» барок на камнях, то есть между Уткой и Кыном. Их считали десятками. Вообще нынешний сплав задался совсем не в пример прошлым годам, и получалась невероятная цифра крушений, когда еще не было пройдено и половины пути.

— Под Высоким-Камнем, сказывают, шесть барок убивших, — рассказывал один мастеровой в розовой ситцевой рубашке. — Да под Печкой две... Страсть господня! У нас под Кыном две коломенки затонули тоже. Так и поворачивает эта самая вода!

Кыновские мастеровые как две капли воды походили на мастеровых других горных заводов; такой же отчаянный народ, вышколенный с детства работой на фабрике. Соседство Чусовой придавало им бурлацкий закал и природную страсть к воде, чем кыновляне

особенно славятся.

— Ну, братцы, как-то мы теперича поплывем! — слышались голоса в собравшихся кучках бурлаков.

— Двух смертей не будет, одной не миновать...

— В семьдесят третьем году не экую страсть видели, да ничего, господь пронес.

— Уж известно: все от господа. Обнаковенно...

Сплав семьдесят третьего года надолго останется в памяти чусовлян. Это был совершенно исключительный год, может быть даже единственный за целое полстолетие. Из шестисот барок тогда разбилось шестьдесят четыре барки да обмелело тридцать семь, то есть из пяти барок дошли до Перми только четыре, тогда как средним числом бьется из тридцати барок одна. Интересно проследить, от каких причин произошли крушения и обмеления в этом году. Из шестидесяти четырех убитых барок тридцать шесть потерпели крушение от естественных опасностей сплава, семь — от тесноты, пятнадцать — вследствие столкновения судов между собой, пять — при

причале к берегу о подводные камни и от разрыва снастей, одна подрезана льдом; из тридцати семи обмелевших барок двадцать три судна были занесены ветром и четырнадцать обмелели от неосторожности и неизвестных причин. В общем выводе, теснота при сплаве дает сорок процентов всех несчастий с баркаами. Случалось так, что все чусовские караваны мелели во всем своем составе, как это было в 1851, 1866 и 1867 годах, когда требовался для их сплава вторичный выпуск воды из Ревдинского пруда; бывали годы, что из всех караванов разбивалось три-четыре барки, и даже был такой один год, когда совсем не было ни крушений, ни обмелений, именно 1839-й. Потери рабочих, понятное дело, возрастают с числом убитых барок; каждый сплав погибнет три-четыре человека, но бывают страшные года, когда число убитых и утонувших людей возрастает до страшной цифры в сто человек.

XVI

Мы простояли на одном месте целых пять дней, что в сплавное горячее время очень много.

— Мы севодни отваливаем, — говорил Савоська утром шестого дня.

— А сколько над меженью воды стоит?

— Пять аршин без вершка...

Я посмотрел на Савоську, желая убедиться, что он пошутил. Но Савоська смотрел совершенно серьезно и прибавил:

— На свету ревдинский караван пробежал... Того гляди, с других пристаней коломенки налетят, тогда хуже будет. Осип Иваныч еще вечор заказали, чтобы все было готово к отвалу.

— А сколько народу у нас на барке?

— Человек с сорок пять наберется — не наберется.

— Мало...

— Все, сколь есть...

Теперь все было понятно: если ревдинский караван пробежал, так нам уж не статья была сидеть у моря и ждать погоды. Все думали одно и то же: ревдинские уплыли — и мы уплывем, а как уплывем — это другой вопрос.

Наша барка и барка Лупана стали готовиться к отвалу. Бурлаки опять потащились с своими котомками под палубы; у поносных

встали те же подгубщики. Убежавших «пиканников» заменили кыновскими мастеровыми, но людей было мало вообще, а для такой высокой воды в особенности. Но велик русский «авось» на воде, может быть, даже больше, чем на суше.

Когда все было готово на обеих барках, все стали нетерпеливо поглядывать вверх по реке, где из-за мыска должна была показаться барка Пашки. Как только она показалась, отвалил Лупан, а через десять минут и мы.

— Ну, братцы, теперь будет работы досыта, — говорил Савоська бурлакам. — Постарайтесь...

Чусовая мчалась теперь в горах бешеным валом, который точно когтями рвал по пути землю и уносил молодые деревья десятками. Барка делала в час больше двадцати верст, что при постоянных поворотах реки создавало массу новых препятствий. Горы заметно понижались, не было такой цепи утесов, как до Кына. Мало-помалу прояснилось и небо, точно над горами поставили голубой шатер, затканный всеми переливами солнечного света. В бездонной выси поплыли серебри-

стыми грядами белогрудые облачка. Наконец мы увидели солнце, которое было скрыто от наших глаз в течение целой недели. При ярком солнечном свете, заливавшем берега струившейся волной, самые опасности не были так страшны, как в ненастье. Отдохнувшие и обсохшие люди молодецки срывали поносные, точно стараясь наверстать столько потерянного даром времени. Только одна Маришка представляла резавшее глаз исключение: все лицо у нее вздулось под один багровый пузырь, начинавший зеленеть по краям. Одна губа была рассечена, левый глаз едва смотрел из-под отекшей брови.

— Чистые звери, вишь чего сделали из бабенки, — пожалел Савоська несчастную Маришку. — Вон какие патреты наладили на роже-то...

До Кумыша мы уже встретили несколько разбитых барок. Одна из них была подрезана льдом. Несколько утопленников лежали на берегу под рогожкой. Одного откачивали на разостланных зипунах. Белое тело мертвым движением перекатывалось в руках качавших, а русая голова болталась в такт раскачи-

ваний.

— Царствие небесное упокойничку...

Впечатление от второго «упокойника» не было так сильно, как от первого. Бурлаки отнеслись к нему совершенно пассивно, как к самому заурядному делу. Да оно и понятно: теперь на барке исключительно работали пристанские и заводские бурлаки, которые насмотрелись на своем веку на всяких «упокойников».

Немного ниже убитой барки нам пришлось «отуриться» под бойцом, то есть идти дальше кормой вперед, что иногда делается в опасных местах. Барка была на волосок от гибели, и только присутствие духа и находчивость Савоськи спасли ее. Лупан тоже «отурился», а Пашка потерял кормовое поносное.

Перед самым Кумышом мы набежали еще на две убитых барки. Картина была та же, что и раньше: от барки выставлялась только крыша, на берегу собрались кучками бурлаки, лежало несколько «упокойников» и так далее.

— Вот и Кумыш! — послышались голоса, когда впереди на берегу показалась небольшая деревня.

Деревня Кумыш не представляет собой ничего особенного среди других глухих чусовских деревушек. Савоська пристально посмотрел на ближайшие избушки и только покачал головой.

— Ни единой живой души во всей деревне нет, — проговорил он.

— На сплав ушли?

— Мужики на сплаву, а остальной народ убежал к бойцам... Много, надо полагать, там убивших барок.

Бойцы, расположенные за деревней Кумышом, представляют последнюю каменную преграду, с какой борется Чусовая. Старик Урал напрягает здесь последние силы, чтобы загородить дорогу убегающей от него горной красавице. Здесь Чусовая окончательно выбегает из камней, чтобы дальше разлиться по широким поемным лугам. В камнях она едва достигает пятидесяти сажен ширины, а к устью разливается сажен на триста.

— С коня долой! — скомандовал Савоська, когда издали послышался глухой шум.

На барке давно стояла мертвая тишина; теперь все головы обнажились и посыпались

усердные кресты. Народ молился от всей души той теплой, хорошей молитвой, которая равняет всех в одно целое — и хороших и дурных, и злых и добрых. Шум усиливался: это ревел Молоков.

— Постарайтесь, братцы... Нос налево! Похаживай, молодцы, веселенько... Сильно-гораздо ударь нос-от!!! Милые, постарайтесь!

Под Молоковом и Разбойником, как под Печкой и Высоким-Камнем, река делает два последовательных оборота, причем бойцы стоят в углах этих поворотов, и струя бьет прямо на них с бешеной силой.

Скоро мы завидели и Молоков. Это была громадная скала, стоявшая к верховьям реки покатым ребром, образуя наклонную плоскость, по которой вода взбегала пенящимся валом на несколько сажен и с ужасным ревом скатывалась обратно в реку, превращаясь в белую пену. Вся река под Молоковом представляла белую вспененную массу, точно кипящее молоко; отсюда и название бойца Молоков. Другим ребром боец выступал в реку, точно выдвигая каменный таран. Отброшенная скалой вода пересекает реку наис-

кось вплоть до противоположного берега, образуя целую гряду ревущих майданов; они далеко бегут вниз по реке, точно стадо белых овец. Сила движения воды здесь настолько велика, что за бойцом образуется суводь, то есть вода тихим током медленно возвращается к бойцу, что можно заметить по плывущей вверх по реке пене. Таким образом, с одной стороны страшная гряда майданов, а рядом с ней совершенно тихая полоса суводи. Получается поразительный контраст, резко обозначенный водяным рубцом.

Трудность прохода под Молоковом заключается в следующем: водяная струя бьет прямо в скалу, делая здесь угол, и идет к следующему бойцу, Разбойнику; барка должна пересечь эту струю под Молоковом в самом углу, чтобы дальше попасть в суводь. Если она этого не успеет сделать и попадет на майданы, ее неудержимо унесет прямо на Разбойника. Чтобы не попасть ни на первый, ни на второй боец, барке приходится перерезать реку в косом направлении, с одного мыса на другой, причем ей необходимо переваливать через рубец. Но расстояние между бойцами всего

две версты, и барка не в состоянии при условиях своего движения и при страшной быстроте течения вовремя перерезать струю за первым бойцом, если не перебьет ее под самым бойцом. Получается роковая дилемма: если барка пройдет далеко от первого бойца и не перережет струи в углу, она разобьется о второй боец; если барка не побоится бойца, то какое-нибудь одно просчитанное мгновение — и она в щепы разобьется о каменный выступ. При мерной воде эта мудреная задача разрешается сравнительно легче, но при высокой все зависит от сплавщика: нужно иметь крепкую душу, чтобы не дрогнуть, когда на вас понесется боец... Именно в таких боевых местах начинает казаться, как при всяком быстром движении, что не сам движешься, а все кругом летит мимо тебя с увеличивающейся, захватывающей дух скоростью.

— Три убившихся барки... — прошептал Савоська, вглядываясь в бежавший навстречу боец. — И заплавни выброшены на берег... Лупан пробежал, кажется, благополучно.

Около самых опасных бойцов, как Косой,

Бражка, Владычный, Волегов, Узенький, Дужной, Кирпичный, Печка, Мултык, Горчак, Молоков и Разбойник, в воду спускаются деревянные брусья, составленные из четырех восьмивершковых бревен. Они огораживают боец подвижной деревянной рамой, которая укрепляется в скале деревянными пружинами, то есть громадными брусьями, которые при ударе барки о заплавни несколько подаются вбок и этим уменьшают силу удара. Такие заплавни несколько предохраняют барки от крушений, но при высокой воде первая налетевшая на боец барка ломает их и даже выбрасывает на берег. Когда мы подходили к Молокову, заплавни не действовали: пружины были сломаны, и брусья лежали на берегу.

Наша барка подходила к бойцу в мертвом молчании. Майданы ревели все сильней. В воздухе висела водяная пыль, садившаяся на лицо паутиной. С каждым мгновением расстояние между баркой и бойцом делалось все меньше и меньше. Можно было рассмотреть все впадины и трещины на ожидавшей нас скале. Бурлаки прильнули к поносным; ни одного звука, ни одного движения. Савоська за-

стыл на своей скамеечке в одной позе и не сводит глаз с шестика, который укреплен на носу нашей барки, как прицел на ружье. Вот барка врезалась носом в клокочущую гряду майданов и тяжело колыхнулась, точно ее подхватили тысячи могучих рук и понесли на боец. До страшного выступа всего несколько сажен, чувствуешь, как холодеет внутри, в глазах рябит... Чувство физического ужаса овладевает всеми одинаково, сознание едва теплится. Нет, скорее что-нибудь одно: или конец, или счастливый исход, только не эти страшные мгновения страшного ожидания. Кажется, что все погибло, спасения нет... Вон сосенка на скале, а там, на берегу, мелькают какие-то люди. Гребни волн обдают палубу дождем брызг... В каком-то полусне слышишь сорвавшуюся команду; когда до бойца остается всего несколько аршин, поносные с страшной силой падают в воду, поднимаются, опять падают... Барка повернулась к бойцу боком и прошла около него всего на расстоянии каких-нибудь шести четвертей, можно рукой достать, но ведь это всего одно мгновение, и не хочется верить, что опасность промелькнула

нула, как сон, и так же быстро теперь бежит от нас, как давеча бежала навстречу. Мы в суводи, барка плывет ровно, навстречу подымаются по реке клочья пены. Впереди две исковерканные массы, около которых бурлит вода: это «убившие» барки. На берегу десятки людей, которые разбились на отдельные кучки. Все смотрят на боец, к которому теперь бежит Пашка.

— Ох, Пашка не ладно отрабатывает от камня!.. — как-то застонал Савоська, оглядываясь назад. — Нет, не пересекет струю...

Пашкина барка прошла дальше нашей от Молокова и попала на майданы. Видно, как бегает по палубе водолив со своей наметкой. Поносные судорожно загребают воду, но струя отбрасывает барку каждый раз, когда она хочет перевалить через рубец в суводь.

— Шабаш, под Разбойником зарежет барку! — говорит Савоська, махнув рукой. — Сила не берет...

Хорошие сплавщики редко обвиняют других сплавщиков в неудачах, а стараются свалить вину на что-нибудь другое.

Но нам теперь не до Пашки, а до себя. Две

версты промелькнули в пять минут, и впереди уже встает знаменитый боец Разбойник, который подымает свою каменную голову на пятьдесят сажен кверху и упирается в реку роковым острым гребнем.

— Похаживай, молодцы! — покрикивает Савоська, когда барка начинает подходить к мысу.

Когда мы вышли из-за мыса и полетели на Разбойника, нашим глазам представилась ужасная картина: барка Лупана быстро погружалась одним концом в воду... Палуба отстала, из-под нее с грохотом и треском сыпался чугун, обезумевшие люди соскакивали с борта прямо в воду... Крики отчаяния тонувших людей перемешались с воем реки.

— О чужую убившую барку Лупан убился, — объяснил Савоська.

Действительно, из-за барки Лупана теперь можно было рассмотреть расщепанную корму другой барки, на которой уже никого не было. Нам пришлось пройти рядом с тонувшей баркой Лупана, которую тихо заворачивало кормой вниз. Несколько человек бурлаков успели перескочить к нам; какой-то

несчастный старик поскользнулся и упал в воду, где и скрылся сейчас же под захлестнувшей его волной. Сам Лупан оставался на барке и с замечательным хладнокровием отвязывал прикрепленную к борту неволю. Несколько черных точек ныряло в воде, это были спасавшиеся вплавь бурлаки. Редкий из них не тащил за собой своей котомки в зубах. Расстаться с котомкой для бурлака настолько тяжело, что он часто жертвует из-за нее жизнью: барка ударилась о боец и начинает тонуть, а десятки бурлаков, вместо того чтобы спасаться вплавь, лезут под палубы за своими котомками, где часто их и заливает водой.

Мы пробежали мимо Разбойника совсем благополучно. За Разбойником весь берег был усыпан бурлаками с убившихся здесь барок, которых насчитывали больше десятка. Эта картина страшного разрушения быстро промелькнула мимо нас, оставя в душе самое смутное впечатление. Несколько утонувших бурлаков лежали на берегу, двоих откачивали на холстах, которые притащили бабы из Кумыша. Среди больших покойников выдавался только труп мальчика лет двенадцати.

Он лежал на левом боку, с голыми ногами, в одной розовой ситцевой рубашке, точно спал. Вероятно, это был ученик сплавщика. Три бабы стояли около него и с соболезнованием смотрели на бездушное детское тело. А солнце так весело освещало весь берег и Чусовую, точно кругом была идиллия.

— Вон Пашка летит на боец...

Я оглянулся. Пашка действительно прямо бежал на роковой гребень. Бурлаки выбивались из сил, работая поносными. Издали казалось, что по палубам каталась какая-то серая волна, точно барка делала конвульсивные движения, чтобы избежать рокового удара. Но все напрасно: еще одно мгновение — и барка Пашки врезалась одним боком в выступ скалы, послышался треск ломавшихся досок, крик людей, грохот сыпавшегося чугуна, а поносные продолжали все еще работать, пока не сорвало переднюю палубу вместе с поносными и людьми и все это не поплыло по реке невообразимой кашей. Доски, люди, бревна — все смешалось в живую кучу, которая барахталась и ползла под бойцом, как раздавленное пятидесятиголовое насекомое.

От берега к бойцу плыли косные лодки, чтобы спасать погибающих.

— Эка страсть, милостивый господь, — шепчет кто-то в ужасе. — Народичку сколько погибнет позанапрасну...

Мы можем пожалеть только об одном, что в среде русских художников не нашлось ни одного, кто в красках передал бы все, что творится на Чусовой каждую весну.

XVII

Бойцы под Кумышом, как мы уже сказали выше, составляют последнюю каменистую преграду течению Чусовой; дальше она течет в холмистых берегах и разливается все шире и шире. Сообразно изменяющимся условиям течения меняются и условия сплава: «убившие» барки больше не встречаются; за редкими исключениями, на сцену выступают мели и огрудки, которыми усеяно все течение Чусовой вплоть до самого устья. Но впечатлений от прохода «в камнях» слишком много, и бурлаки долго передают взаимные наблюдения, воспоминания и примеры. Героями являются все те же бойцы, о которые бьются коломенки, а действующие лица, бурлаки, фигуриру-

ют в этих рассказах в форме специфического chair a boietz...[37]

— Одначе здорово нонче Чусовая играет! — говорит Бубнов, работавший под Молоковом и Разбойником за десятерых. — Барок с тридцать убьется в камнях... Один Разбойник залобовал уж десяток, да еще Лупан с Пашкой нарезались. Уж наши ли каменские сплавщики не люты проходить под бойцами, а тут сразу две барки...

— Сила не берет.

— Известно, кабы сила... Тут только держись за грядки. Ведь пять аршин над коренной водой бежим... Дьякон даве под Молоковом страсть испужался нашей бурлацкой обедни! Помушнел весь...

— Осип-то Иваныч на косной объехал бойцы, — передает Даренка своей подруге Оксе.

— Один?

— Нет... Испужался, видно.

До Кумыша чусовское население можно назвать горнозаводским, за исключением некоторых деревень, где промышляют звериной или рыбной ловлей; ниже начинается сельская полоса — с полями, нивами и поем-

ными лугами. Несколько сел чисто русского типа, с рядом изб и белой церковью в центре, красиво декорируют реку; иногда такое село, поставленное на крутом берегу, виднеется верст за тридцать.

Нам скоро попалось несколько обмелевших барок. Около них кипела самая горячая работа; десятки бурлаков стояли в воде с чегенями и под дружную «Дубинушку» старались столкнуть барку. Работа пятидесяти-шестидесяти человек при пятнадцати тысячах груза на каждой барке — крайне тяжелая и опасная.

— Нам здесь хуже, чем в камнях, — объяснял Бубнов. — Под бойцом либо пан, либо пропал, а здесь как барка залезла на огрудок — проваландаешься дня три в воде-то. А тут еще перегрузка, чтобы ей пусто было!

— Зато насчет водки здесь свободно...

— Хошь обливайся, когда гонят в ледяную воду или к вороту поставят. Только от этой работы много бурлачков на тот свет уходит... Тут лошадь не пошлешь в воду, а бурлаки по неделям в воде стоят.

В одном месте, где Чусовая особенно широ-

ко разлилась в низких берегах, у самой воды на камешке сидел мальчик и замечательно хорошо пел какую-то заунывную песню.

— Наигрывай, голубчик, наигрывай себе на здоровье! — улыбнулся Савоська, поглядывая на берег. — Ишь как разбирает!

Меня удивило явно враждебное отношение Савоськи к маленькому певцу; бурлаки смеялись тоже над ним, а Бубнов попробовал даже попасть в мальчишку камнем.

— Зачем бурлаки смеются над мальчиком? — спросил я.

— Это над парнишком-то?.. А то и смеются, что больно хорошо песню задувает... Ишь какой дошлый!.. Много их по весне здесь распевает, а бурлаки или сплавщик зазевался, глядишь, барка и приткнулась на огрудок.

— Ну, а парнишка тут при чем?

— Его крестьяны из деревни подослали, чтобы работы себе добыть, ежели барка омелеет... Пой, милый, пуще старайся!..

Бурлаки рассказывали, что для вящего соблазна плывущих мимо барок на «сумлительных» местах на берегу появлялись девки, раздевались и начинали купаться в глазах у бур-

лаков. Насколько это справедливо — не ручаюсь. По словам тех же бурлаков, для приманки иногда устраиваются на берегу уж совсем нецензурные сцены… Вероятно, здесь много добавлено пылкой фантазией, как в рассказах о поющих морских сиренах, которых слушал привязанный к корабельной мачте Одиссей. [38]

— Вот те Христос, своем глазом видел! — божился Бубнов. — Мы как-то с Андрияшкой из-под Сулему бежали, под Камасином этих самых плёх и видели, совсем нагишом и в воде валандаются, как лягуши. Верно тебе говорю, хошь у кого спроси… Пиканники, те хитреные-мудреные, ежели их разобрать. Здесь все пиканники пойдут; наши заводские да чусовские в камнях остались.

Работы теперь было значительно меньше, чем в камнях, где постоянно приходилось то отрабатывать от бойцов, то перебивать струю. Река текла заметно медленнее, и только местами попадались перекаты. Иногда на широком плёсе можно было рассмотреть до десятка барок. Вообще картина получалась очень оживленная. Особенно была заметна

резкая климатическая разница сравнительно с камнями: там зелень едва пробивалась, а здесь поля уже давно стлались зеленым ковром и на деревьях показались первые клейкие весенние листочки, точно покрытые лаком. Солнце начинало сильно припекать и даже жгло спину, особенно тем, которые были в одних рубашках.

— Который бог вымочил, тот и высушил, — говорил Кравченко, сильно прихворнувший на последней хватке после стеганья лычагами.

— Отчего сплавщики не заведут себе карты Чусовой, чтобы удобнее было запомнить течение, мели, таши и повороты? — спрашивал я у Савоськи.

— У нас один приказчик эк-ту тоже поплыл было с картой, — отвечал Савоська, — да в остожье[39] и заплыл...

Под селом Вереи, которое стоит на крутом правом берегу, наша барка неожиданно села на огрудок благодаря тому, что дорогу нам загородила другая барка, которая здесь сидела уже второй день. Сплавщики обеих барок ругнули друг друга при таком благоприятном

случае, но одной бранью омелевшей барки не снимешь. Порша особенно неистовствовал и даже плевал в сплавщика соседней барки, выкрикивая тончайшим фальцетом:

— Не стало тебе, рыжей багане, места-то в реке, зачем дорогу загородил?

Рыжий сплавщик обиделся, что его назвали «баганой», и ответил в том же тоне, так что наш Порша даже завизжал от злости, точно его облили серной кислотой. Посыпалась горохом терпкая мужицкая ругань, в которой бурлаки обеих барок приняли самое живое участие.

— А тебе черт ли не велел держать правее? — оправдывался рыжий сплавщик. — За поясом, что ли, у тебя глаза-то были?

— Ах, рыжий дьявол!.. Ах, рыжая багана!.. — завывал Порша, неизвестно для какой цели бегая по барке с шестом в руках.

Наконец это даровое представление надоело той и другой стороне, нужно было подумать, как сниматься с огрудка.

— Чего тут думать: думай не думай, а надо запущать неволю, — решил Бубнов. — Вот мы с Кравченком и пойдем загревать воду, толь-

ко чтобы нам за труды по первому стакану водки...

«Неволей» называется доска, длиной сажен в пять и шириной вершков четырех, она обыкновенно вытесывается из целого дерева. Таких неволь при каждой барке полагается две, они плывут у бортов.

— Надо бы подождать косных, — говорил Савоська, — да кабы долго ждать не пришлось...

— Где их ждать! — кричал Бубнов. — Они проваландаются с убившими барками до морковкина заговенья, а мы еще десять раз успеем сняться до них...

На огрудки садятся и самые опытные сплавщики, потому что эти мели часто появляются на таких местах, где раньше проход для барки был совершенно свободен. Обыкновенно в «сумлительных» местах плывут по наметке, постоянно меряя воду. В данном случае Савоська поздно увидел омелевшую барку, прикрытую мысом, так что не было никакой возможности вовремя отработать от огрудка. Омелевшая барка повернулась кормой на струю и, таким образом, загородила

дорогу нашей; Савоська побоялся убиться о корму и «переправил». Бурлаки отлично понимали весь ход дела и не роптали на сплавщика, как водится в таких случаях у плохих и «средственных» сплавщиков.

— Ведь черт его знал, что он тут сидит! — рассуждали бурлаки, срывая злобу на чужом сплавщике. — Кабы знать, так не то бы и было... Мы вон как хватски пробежали под Молоковом, а тут за лягушку запнулись.

— Все чистенько бежали, а тут грех вон где попутал... Ну, Порша, налаживай снасть.

Действие неволи при съемках барок заключается в том, что при ее помощи производят искусственную запруду: струя бьет в неволю, поставленную в воде ребром, и таким образом помогают барке сняться с мели. Когда спустят неволю, с другой стороны барку сталкивают чегенями и в то же время в соответствующем направлении работают поносными.

Наша барка зарезала огрудок правым плечом, оставив струю влево, следовательно, чтобы опять выйти в вольную воду, нам необходимо было отуриться, то есть повернуть кор-

му налево, на струю, и дальше идти несколько времени кормой вперед. Порша отвязал от левого борта неволю и широким концом подвел ее к левому плечу; свободный конец неволи, привязанный к снасти, был спущен с кормового огнива так, чтобы струя била в неволю под углом. Чтобы произвести запруду, оставалось только повернуть неволю на ребро и удержать ее в этом направлении все время, пока барку с другой стороны, под кормовым плечом, бурлаки будут сталкивать чегенями. Работать на неволе — необходимо иметь известную сноровку и ловкость. Бубнов и Кравченко вызвались на неволю и, оставшись в одних рубахах, с ловкостью записных бурлаков разом очутились на колыхавшейся осклизлой доске. Бубнов укрепил свой чегень в дыре, какие сделаны на обоих концах неволи, и ждал, пробуя воду голыми ногами, когда Кравченко устроит то же самое с противоположным концом неволи. Добраться до этого конца, выходившего на струю, было не легкой задачей; неволя под ногами Кравченки колыхалась и вертелась, как фортепьянная клавиша, пока он не до-

брался до конца, на который и сел верхом.

— Готово! — крикнул он, ожигаясь от холодной воды.

Человек двадцать были уже в одних рубашках и с чегенями в руках спускались по правому борту в воду, которая под кормовым плечом доходила им по грудь. Будущий дьякон был в числе этих бурлаков, хотя Савоська и уговаривал его остаться у поносных с бабами. Но дьякону давно уже надоели остроты и шутки над ним бурлаков, и он скрепя сердце залез в воду вместе с другими.

— Мотри, не пожалей после, — говорил Савоська. — Твое дело не обычное, как раз замерзнешь... Вода вешняя, терпкая.

— Ничего, как-нибудь! — говорил дьякон дрогнувшим голосом; зубы у него так и стучали от холода.

У поносных остались бабы, чахоточный мастеровой и несколько стариков. Не идти в воду на съемке — величайшее бесчестие для бурлака, и только крайность, нездоровье или дряхлость служат извиняющим обстоятельством.

Когда бурлаки выстроились с чегенями

под правым плечом, Бубнов затянул высоким тенором припев «Дубинушки»:

Шла старуха с того свету,
Половины ума в ей нету...

Дружно подхватили бурлаки: «Дубинушка, ухнем...», и громкое эхо далеко покатилось по реке голосистой волной. В этот момент Бубнов с Кравченком поставили неволю ребром, поносные ударили нос налево, и барка немного подалась кормой на струю, причем желтый речной хрящ захрустел под носом, как ореховая скорлупа.

— Ишшо разик, навались, робя!! — неистово кричал Гришка, как медведь наваливаясь на свой чегень. — Идет барка...

— Как же, пошла... Держи карман шире!..

Несколько раз начинали «Дубинушку», повертывая неволю ребром, но толку было мало: барка больше не двигалась с места. Когда неволя вставала к воде ребром, напором воды гнуло ее, как туго натянутый лук, а конец постоянно вырывался кверху, так что Кравченке приходилось сильно балансировать на нем, как на брыкающейся лошади. Раза два

он чуть не слетел в воду, где его утащило бы струей, как гнилую щепу, но он как-то ухитрялся удержаться на своей позиции и не выпускал чегеня из закоченевших рук. Бурлаки с чегенями скоро были мокры до ворота рубахи, лица посинели, зубы начали выбивать лихорадочную дробь. Но все крепились, потому что на соседней барке шла точно такая же работа с неволей и неизменной «Дубинушкой».

Над Чусовой быстро спускались короткие весенние сумерки. Мимо нас проплыло несколько барок. Воздух похолодел; потянуло откуда-то ветерком. Искрившимися блестками глянули с неба первые звездочки. Бурлаки продрогли и начали ворчать. Недоставало одного слова, чтобы все бросили работу.

— Околевать нам, что ли, в воде?.. — отозвался первым пожилой мужик с длинным, изрытым оспой лицом. — И то умаялись за день-то...

— Братцы! Еще разик ударьте! — упрашивал Савоська. — По стакану на брата... Ей, Порша, подноси! Только не вылезайте из воды, а то простоим у огрудка ночь, воду опустим, кабы совсем не омелеть.

Порша с бочонком обошел бурлаков, поднося каждому стакан водки. Корявые, побелевшие от холодной воды руки подносили этот стакан к посинелым губам, и водка исчезала.

— Валяй по другому, Порша! — скомандовал Савосъка, тревожно поглядывая на темневшую даль.

Снова «Дубинушка» покатилась по реке, но барка не двигалась, точно она приросла к огрудку.

— Ну, шабаш, ребятки! — проговорил Савоська. — Утро вечера мудренее. Что буди — будет завтра, а то и в самом деле не околевать в воде.

— О-го-го-го!.. — гоготал Кравченко в темноте, прыгая на конце неволи.

— Повертывай неволю, Кравченко... Шабаш...

Все бурлаки продрогли до последней степени, и вдобавок им нечем было заменить своих мокрых рубах: приходилось их высушивать на себе. Весь костюм у большинства состоял из одной рубахи и портов с маленьким дополнением в виде какого-нибудь жи-

лета, бабьей кацавейки или рваного халата.

— Отчего нет огня на берегу? — спрашивал я у Савоськи.

— Погоди, бабы разведут... Вдруг-то нельзя, из ледяной воды да к огню: сразу обезножеешь; надо сперва так согреться, а потом уж к огню. Вот я им плепорцию задам сейчас... Порша, дава-кось по два стаканчика на брата, согреть надо ребят-то.

Бедного дьякона после полуторачасовой ледяной ванны трепала жестокая лихорадка, против которой были бессильны даже такие всеисцеляющие средства; как ром и коньяк.

— Зачем вы не остались у поносного? — спрашивал я его, когда мы в казенке пили чай.

— Совестно было... Засмеют бурлаки.

— А теперь как себя чувствуете?

— Одеревенел весь... Голова болит.

Я предложил дьякону сейчас же натереться водкой и лечь спать в нашей каюте. К утру бедняга не мог поднять головы, у него открылся жесточайший тиф. Как провели эту ночь работавшие в воде бурлаки — трудно себе представить. Ранним утром, с пяти часов,

они были опять по горло в воде, и опять «Дубинушка» далеко катилась вверх и вниз по Чусовой. К довершению нашего несчастья рыжий сплавщик снял свою барку и уплыл на наших глазах. Скоро поплыли мимо нас одна барка за другой; обидно было смотреть на это движение, когда самим приходилось сидеть на одном месте.

— Вода на вершок спала... — со страхом сообщал Порша сплавщику.

Савоська сам сделал необходимые промеры; действительно, вода начинала спадать, и грозила серьезная опасность совсем обсохнуть на огрудке.

— Что будем делать? — спрашивал я Савоську.

— Чего делать-то... Придется, видно, воротом орудовать.

— А отчего не хочешь сделать разгрузку?

— Вода уйдет, да и бурлакам эти разгрузки нож вострой: в воду лезут, а перегружать барку хуже им смерти.

Съемка омелевших барок воротом запрещена законом ввиду тех несчастных случаев, какие могут здесь произойти и происходили.

Ворот все-таки продолжает существовать как радикальное средство. Обыкновенно вкапывают на берегу столб, на него надевают пустую деревянную колодку, к колодке прикрепляют крест-накрест несколько толстых жердей, и ворот готов, остается только наматывать снасть на колодку.

Когда к вороту станут человек шестьдесят, сила давления получается страшная, причем сплошь и рядом лопается снасть. В последнем случае народ бьет и концом порвавшейся снасти, и жердями самого ворота. Бурлаки, конечно, отлично знают все опасности работы воротом, и, чтобы заставить их работать на нем, прежде всего пускают в ход все ту же водку, этот самый страшный из всех двигателей. Субъектам, вроде Гришки, Бубнова и Кравченки, работа воротом — настоящий праздник.

— Ворот надо налаживать! — кричали бурлаки, которым надоело стоять в воде. — Околели совсем...

— Ну, ворот так ворот... Нечего, видно, делать...

Устроить ворот на берегу было дело полу-

тора часа. Когда он совсем был готов, к барке подкатил Осип Иваныч на своей косной. Первым делом он, конечно, накинулся на сплавщика, обругал по пути Поршу, затопал ногами на бурлаков.

— Я вас всех, подлецов, в один узел завяжу!! — неистовствовал он в качестве предержащей власти. — Не успел отвернуться, как ты уж и на мель сел?.. А?.. Я разве бог?.. а? Разве я разом могу на всех барках быть... а? Что-о?.. Бунтовать?.. Сейчас с чегенями в воду...

— Мы ворот наладили, Осип Иваныч, — заметил Савоська.

— Вздор!.. Сейчас сломать все! В воду! Все в воду!.. Ах, мошенники, подлецы! Я разве бог, что могу везде поспеть и все устроить!..

Осип Иваныч был пьян еще со вчерашнего дня и сам не понимал, что говорил и чего требовал. Эту расходившуюся власть кое-как усадили обратно в лодку и отправили дальше.

— Поедемте в Верею! — предлагал он мне. — Отлично кутнем... Я уж заказал, чтобы баня была приготовлена и всякое прочее... Ха-ха... Не хотите? Ну, до свидания... В Перми увидимся. Меня найдете в первом трактире...

При помощи ворота мы через несколько часов работы, наконец, снялись с державшего нас огрудка и поплыли дальше.

До Чусовских Городков от деревни Камасино Чусовая идет в красивых холмистых берегах. Там и сям на берегу стоят красивые деревни, зеленой лентой развертываются поля. Лес является только промежутками и не сплошной стеной, как «в камнях». В заводях начали попадаться стаи уток и пары лебедей. На Чусовой эту красивую птицу почти совсем не стреляют, и мне случалось видеть лебединые стаи штук в пятьдесят, притом в двух шагах от селенья. Омелевшие барки были теперь таким же заурядным явлением, как «в камнях» «убившие». Около них дыбом вставала «Дубинушка» и тяжело бурлили неволи. В двух местах барки перегружались, в третьем снимали барку воротом. Глядя на этот каторжный труд, нельзя было не согласиться с бурлаками, что уж лучше плыть «в камнях», чем здесь.

Нижние и Верхние Чусовские Городки, расположенные в четырех верстах одни от других, — одни из самых красивых чусовских

сел. С ними связаны самые старинные сведения о фамилии Строгановых, для которых эти села долго служили самым крепким гнездом и ключом ко всей Чусовой. Здесь отсиживались Строгановы от нечаянных нападений разных недоброжелательных соседей и отсюда же снарядили Ермака в его знаменитый сибирский поход. В настоящее время Чусовские Городки представляют только исторический интерес. Местность кругом открытая. Чусовая течет здесь широким плёсом. Издали приятно смотреть на это «усторожливое» местечко, на каких наши предки любили селиться в то беспокойное, тревожное время.

Пониже Чусовских Городков, на высоком левом берегу, стоит красивое село Монастырек. Глядя на него с Нижних Чусовских Городков, так и кажется, что все село с своей красивой белой церковью точно висит в воздухе. Здесь в XVI столетии подвизался преподобный Трифон, миссионер, действовавший в духе Стефана Великопермского[40]. Он несколько времени жил среди остяков, на берегу реки Мулянки, — впадает в Каму ниже Перми, — где срубил и сжег громадную ель, кото-

рой молились остяки. Вскоре он переселился в Чусовские Городки и основал Успенский монастырь на том месте, где теперь стоит село Монастырек. Здесь преподобный Трифон прожил десять лет и принужден был оставить выбранное место по настоянию Строгановых. Передадим последний эпизод словами протоиерея Евгения Попова, заимствуя следующую выноску из его книги «Великопермская и Пермская эпархии (1379–1879 гг.)»:

«Здесь (в Монастырьке) Трифон подвергся страшной опасности. Чтоб иметь свою пашню для устроенного монастыря, он стал сжигать пни и корни дерев около своей хижины. А тут случилась буря. И вот произошел пожар, от которого сгорели дрова, приготовленные на солеваренные заводы Строганова! (Дров сгорело до трех тысяч сажен.) Жители вооружились. Когда Трифон сидел на высоком берегу Чусовой, опустив ноги, вдруг они столкнули его вниз. По страшной крутизне покатился угодник божий. Но господь, сохраняющий пришельцы (Псал. 145, 9), сохранил его жизнь. Он нашел себе на берегу лодку и без всякого весла переплыл на другую сторо-

ну. Строганов заковал его в железа, вместо того чтоб в столь необыкновенном пожаре видеть божие посещение. Но дня через четыре сам подвергся, по предсказанию преподобного, оковам от царских послов. Вразумленный этим обстоятельством, которое не без труда мог поправить, Строганов тотчас дал свободу преподобному и испросил у него прощение: однако советовал Трифону уйти из своих вотчин».

От Чусовских Городков до устья Чусовой с небольшим сто верст. Здесь берега реки совершенно пустынны, так что в одном месте на расстоянии восьмидесяти верст встречается один починок в три двора.

На девятый день наш караван привалил в Пермь, недосчитывая шести убитых и омелевших барок.

XVIII

Пермь — самый глухой губернский городок, особенно зимой. Но с открытием навигации он сильно оживляется, особенно во время сплава караванов, когда в Перми скопляется до десяти тысяч бурлаков, набирающихся сюда со всех притоков глубокой Камы. Около

Перми весь берег всплошную уставлен привалившими сюда барками, которые с берега рядом с баржами и пароходами кажутся просто жалкими суденышками. По пермским улицам с утра до вечера ходят ватаги бурлаков. Слышатся пьяные песни, ругань, треньканье балалайки. В кабаках и харчевнях яблоку упасть негде. Большинство бурлаков получают в Перми окончательный расчет и спешат пропить в первом кабаке последние гроши. Что будет дальше — бурлак не думает, и мы не обвиним его за эту отчаянную гульбу, которой он наверстывает все те лишения и невзгоды, какие перенес на весеннем сплаву.

Главным центром, где собирается камская бурлачина, служит Черный рынок. Это недалеко от пристаней и в центре города. Сам по себе Черный рынок, как вместилище непролазной грязи, специально пермской вони от полусгнивших знаменитых сигов и всяческого тряпья, на которое страшно смотреть, этот рынок заслуживает подробного описания, если бы мы захотели угостить читателя картинами во вкусе реалистов последних дней. Но грязь, вонь и тряпье такая необходимая при-

надлежность всех городских рынков, что мы не считаем нужным входить во все подробности описания этой живой клоаки. Бурлаки на Черном рынке стоят стеной с утра до ночи. Народ собрался сюда с нескольких губерний, говорит на нескольких языках и наречиях, но все это разнообразие великой нивелирующей силой нужды подогнано под один основной тип жалкого, оборванного бурлака. О подразделениях этого типа на заводских мастеровых, поречных, сельчан и инородцев мы уже говорили выше.

Я долго толкался в этой гудевшей, как расшевеленное гнездо шмелей, толпе. Заветревевшие, запеченные лица, покрытые какой-то бурой корой, тупой апатичный взгляд, растрескавшиеся губы, корявые руки — все это красноречивее всяких описаний говорило за те беды и напасти, которые должен пережить каждый бурлак, прежде чем попадет сюда, то есть на Черный рынок, это обетованное место, настоящий бурлацкий рай для всех Гришек, Бубновых и Кравченков. «Здорово погуляли в Перме...» — с удовольствием будет вспоминать каждый бурлак в течение вось-

мимесячной глухой зимы. А все бурлацкое «погулять» сводится на одну водку, которую он пьет в ужасающем количестве, пьет, пока есть деньги или пока не свалится с ног. Душа — мера этому отчаянному разгулу, созданному самой отчаянной, специально бурлацкой бедностью. Наесться вонючего сига, которого не будет есть самая голодная собака, набить брюхо весовым сырым хлебом — это уже роскошь.

Тут же на Черном рынке есть белая харчевня. Когда я проходил мимо, меня окликнул знакомый голос. Это был Савоська. Его русая кудрявая голова выставлялась в окно, и он улыбался мне.

— Заходите, барин, чайку попить со сплавщиками, — предлагал Савоська.

Белая харчевня стояла на солнечной стороне рынка, ее содержал разбитной ярославец, малый лет сорока, в белой ситцевой рубашке с крапинками и с налощенными кудрявыми волосами. У этого субъекта совсем не было шеи, и хитрая ярославская голова приросла прямо к плечам; но, несмотря на такой органический недостаток, ярославец обладал за-

мечательной подвижностью, как ученая собака, смотрел прямо в глаза и к каждому слову прибавлял самое деликатное с. Несмотря на плутоватость хозяина, белая харчевня была непроходимо грязна, так что ее можно смело было назвать черной или грязной. Зеленые, захватанные стены, облупившийся потолок, покрытая черными слоями грязи мебель — все говорило о неприхотливых вкусах посетителей этой харчевни.

Савоська сидел в углу за столом со своей подругой. На грязной салфетке, стоявшей коробом, помещалась пара чаю. Соседние столики были заняты тоже пившими чай сплавщиками. Народ был все плотный, дюжий. Очевидно, они только что успели получить расчет с хозяев и теперь благодушествовали в свою вольную волюшку. Красные лица и покрытые масленистой влагой глаза красноречиво свидетельствовали о том, что сплавщики, кроме чая, успели попробовать и чаихи.

— Расчет, видно, получили? — спросил я Савоську, усаживаясь к столику.

— Точно так, сполна получил. Сейчас в кармане две четвертных бумажки лежат...

Ей-богу!.. Вот хошь у Степаньки спроси...

— Удержатся, не удержатся до послезавтра, — ответила Степанька, та самая шустрая бабенка, которая работала у нас на передней палубе.

— Нет, я зарок на себя положил! Погуляю два дни и зашабашу. Остатошные деньги все домой понесу...

— Больно много, пожалуй, не донесешь...

— Ну, ну... Ежели теперь у меня зарок? Да я хошь сейчас икону со стены сниму... А вы, барин, видели Осипа-то Иваныча нашего?

— Нет.

— Шабаш... закурил... Сейчас от него. Сидит в гостинице, девчонка с ним с Пашкиной барки, и таку компанию завели — разливанное море. Всякого водкой накачивает, только пей. Я, грешный человек, впервой разрешил у него: ошарашил-таки стаканчика три. Водка не водка, а такое вино забористое... Любит попировать наш Осип Иваныч!

— Да ведь нужны деньги, чтобы пировать?

— На-вот... С караваном плыть да денег не добыть? Что ты, барин... Да разе Осип-то Иваныч без рук или без глаз! Он каждый раз уй-

му денег заворачивает со сплаву...

— Кажется, жалованье у него небольшое?

— Ах, барин, барин... Какое тут жалованье, да разе караванные жалованьем живут? Ха-ха... Взять Семена Семеныча или Осипа Иваныча, да по ихней жисти им тысячное жалованье надо класть, и того не прохватит.

Теперь взять хоть приказчиков с других пристаней, — продолжал Савоська: — все та же музыка... Они вместе с нашим-то Осипом Иванычем пируют, потому как, значит, у всех у них денег невпроворот. Ей-богу!.. Где нашему брату горе да работа — им нажива! От каждой убившей барки сколь они денег наживут да от обмелевших. Везде надобна работа, о поди усчитай-ка его... Не побежишь за ним по берегу-то досматривать: што написал, то и ладно! Ведь теперь омелевшую барку надо сымать, надо людей — вот он и пишет сколько влезет, а об убивших говорить нечего: там, первое дело, рабочих не рассчитают — ступай, с чем остался, потом металл надо добывать из-под бойца, из воды — опять прибыток, потом сколь металлу недосчитывают, когда добывать из воды его станут, — с

кого возьмешь. Вот оно куда хватило: изо всякой дыры караванным деньги лезут... Уж это верно!.. А еще ты возьми нынешний сплав, сколь мы дней простояли из-за воды, рабочим должны поденное платить — опять тебе нажива... Уж я тебе говорю, только умей брать, а деньги — как вешняя вода на наших караванах. А привалили на место, примерно сказать в эту самую Пермь, надо делать рабочим окончательный расчет: тому недодал полтинника, с другого штраф вычел, третьего совсем не рассчитал — опять тебе прибыль... Так? А разе бурлак может что с приказчика искать, когда они за лишние дни рядились в лесу, без всякой бумаги?

Савоська сильно захмелел. Свою сожительницу он послал на рынок за какими-то покупками, а сам все пил стакан за стаканом невообразимую бурду, которую ярославец подавал за настоящую вишневую наливку.

— Ты бы уж лучше водку пил! — посоветовал я ему.

— Всему свое время: и водка от нас не уйдет... Гуляй, душа! Ха-ха... А ты помнишь, как меня Осип Иваныч тогда взашей с лестницы

спустил? Я ведь тебя видел тогда, и совестно мне было такой срам принимать при чужом человеке... А Осип Иваныч такой же пьяница, как и мы, грешные. Небойсь ничего не останется, все пропьет дочиста. У других дома как грибы растут, а он только опухнет от сплаву... Ей-богу!..

— Зачем же ты пьешь-то, Савоська?

— Я-то?..

Савоська опустил свою кудрявую голову и задумался. Сквозь запыленные стекла лезли в комнату ласковые весенние лучи, делая грязь обстановки харчевни еще грязнее. Где-то катилась бесшабашная бурлацкая песня. Муха билась о стекло головой и звенела, как слабо натянутая струна. Около сплавщиков на столиках появились бутылки с разноцветными наливками, лица сделались еще краснее и покрылись точно жирным лаком. От разговоров стоял в комнате громкий бессвязный гул. Делалось невыносимо жарко и душно, точно в жарко натопленной бане. Я хотел уже уходить, но Савоська удержал, упрашивая остаться еще на минуточку.

— А ты любишь песни, барин?.. — неожи-

данно спросил Савоська, точно просыпаясь.

— Люблю. А что?

— Да так... Я одну тебе спою, нашу пристанскую. Мастак[41] я песни-то был петь прежде, вся пристань наша слушает, бывало, как Савоська поет...

Приложив руку к щеке. Савоська затянул богатейшим грудным тенором:

Ох, с по горам-горам,
Да с по высокием —
Там молодец гулял...

Все, что было в комнате, сразу затихло и затаилось. Проголосная песня полилась хватающими за душу переливами, как та река, по которой мы еще недавно плыли с Савоськой. Она, эта песня, так же естественно вылилась из мужицкой души, как льются с гор весенние ручьи. Простором, волей, молодецкой удалью веяло от этих бесхитростных, но глубоко поэтических строф, и, вместе, в них сказывалось такое подавленное горе, та тоска, которая подколодной змеей сосет сердце. Вся эта окружающая нас грязь, эти потные пьяные лица — все на время исчезло, точно в

комнату ворвался луч яркого света...

— Да откудова ты, леший тебя задери? — спрашивал мужик с встрепанной головой, начиная трясти Савоську за плечо. — Этакой черт... А?..

— Нет, не могу больше... — глухо проговорил Савоська, обрывая свою песню. — А прежде хорошо певал...

Сплавщики начали приставать к нему с угощением. Савоська не отказывался и залпом выпил несколько стаканчиков отчаянной сандальной наливки.

— А ведь прежде Савоська не был пьяницей, барин... — заговорил он, точно стараясь что-то припомнить. — Нет, не был... Справный был мужик, одно слово: чистяк-парень, хошь куды поверни. Да...

После короткой паузы Савоська, пододвинувшись ко мне, проговорил сдержанным полушепотом:

— А знаешь, барин, отчего Савоська пьяницей сделался?

— Нет.

— Да, пьяница, сам вижу, самому совестно, а не могу удержаться: душеньку из меня тя-

нет, барин... Все видят, как Савоська пьет, а никто не видит, зачем Савоська пьет. У меня, может, на душе-то каменная гора лежит... Да!.. Ох, как мне тяжело бывает: жизни своей постылой не рад. Хоть камень да в воду... Я ведь человека порешил, барин! — тихо прибавил Савоська и точно сам испугался собственных слов.

— Как порешил?

— Да так: взял обух, да живого человека и давай крошить... Верно!.. Только давно это было, годов с двадцать тому времю быть. В те поры я еще совсем молодой парень был, хоть из подростков и вышел. Ну, было этак по двадцатому году, надо полагать. Не упомню хорошенько-то. Больно давно!.. Ну, у меня отец сплавщиком был на Каменке и меня выучил плавать на барке. У нас весь род сплавщики. Хорошо. Пониже Каменки есть пристань Утка, на ней жил у меня дядя, Селифоном звали. Тоже сплавщиком был. Только карахтером этот Селифон был оченно уж строг: как огня его все боялись в нашей-то родне. Ну, вот этак перед пасхой, значит, самой дело было, отец мне и говорит, чтобы я съездил на Утку

к дяде. Делишко маленькое было. У нас в допрежние времена насчет родительской воли была строжина: как сказал, все равно, что отрубил. Поехал я на Утку, приезжаю, сделал, что наказывал отец, — надо домой ехать. А Селифон и говорит: «Савоська, оставайся у нас на пасху...» Ну, я было туда-сюда, — нет, дядя и слышать ничего не хочет. Видишь, тетка его подбила удержать-то меня, потому у них свадьба затевалась, дочь выдавать хотели. А мне не хотелось тогда на этой Утке оставаться, до смерти не хотелось — дядю-то Селифона я очень любил, да на Каменку меня уж больно тянуло: зазноба у меня там осталась. Хорошо. Перечить дяде не смею, остался. Пришла пасха. А надо тебе сказать, что в нашем роду все по старой вере, по беспоповщине. Старики да старушки у нас все справляют, что следовает. Хорошо. Вот на первый день пасхи собралось много наших староверов у дяди, старики отслужили свою службу, а когда лишний народ разошелся, сели мы разговляться: я, дядя Селифон, два старца, которые служили за попов, да тетка с дочерью. Сидим, разговляемся, все как следовает по порядку, а

тетка наливает мне стакан водки и подносит: «Поздравь, говорит, дядю с праздником...» А я в те поры насчет этой водки ни-ни, ни единой капли в рот не брал. Ну, зачал я отпираться от водки, а тетка давай меня стыдить. Известно, старуха сама пропустила стаканчик и разгулялась... Дядя-то тоже смеется надо мной, что какой из меня сплавщик будет, коли я водки не умею пить. Ну, я и ожёг первый стаканчик, а потом, как забрало, другой. С непривычки-то у меня так столбы в башке и заходили, весело таково сделалось. Только сидим мы этак, разговляемся, а дядя-то Селифон и говорит тетке: «Мать, где у нас Федор?» А тетка этак ему сердито ответила: «Где ему, Федьке, быть, на сарае дрыхнет...» Дяде теткины-то слова и не поглянись, взбурил он на нее, как матерый волчище, а сам опять свое: «Надо позвать Федьку разговляться, а то нехорошо: сегодня всем праздник». А надо тебе сказать, что этот самый Федька был первый разбойник в наших местах,— продолжал Савоська.— Я о нем раньше-то слыхивал много, а видать не видывал. Федька-то был с... заводов, из мастеровых. Ну, тогда еще все за бари-

ном жили, Федька и угодил в разбойники. Случай такой у него вышел с одним приказчиком... Полюбилась Федьке одна девка, а приказчик взял ее себе в плёхи силком. Тогда ведь этакие дела просто делались: подневольный был народ... Обнаковенно, Федьке это не по нутру пришлось, он и полыхнул приказчика ножом, а сам в лес, да в лесу и проживал, а по зимам у знакомых раскольников перебивался. Вот у дяди-то Селифона он частенько бывал... А в те времена за пристаносодержательство страсть как доставалось: в остроге сгноят. Ну, Федька попервоначалу жил, как следовает, не обижал своих, а потом, как изварначился, и зачал шутки шутить над знакомыми раскольниками: приедет ночью, прямо в ворота: «Отворяй ворота!» Отворили. «Не хочу, разбирай забор!» Помнутся, помнутся, поругаются, а делать нечего — и забор разберут, потому с Федькой шутки плохие. Так Федька-то и галеганился над мужиками с год, этак сказать, ну и над дядей тоже, над Селифоном. А тут еще статья особенная подошла: у дяди, значит, у Селифона, дочь у его была, Матреной звали, красивая девка из себя, вот она

возьми да с Федькой и сживись... Ну, дяде-то Селифону это уж нож вострый: Федьку-то он примал из милости, а уж дочь отдавать за разбойника — это другой разговор. Крут был дядя-то, вот он и удумал штуку над Федькой сделать...

Только я про эти самые дела в долгом времени узнал, после уж, когда Матрена-то замужем была. Ее и замуж поскорее отдали, чтобы прикрыть Федькин грех, так, за пропащего парня и отдали. Ну, так сидим это мы за столом, а в избу и входит Федька... В красной рубахе, в бархатных шароварах — чистяк-парень, одно слово. Высокий, в крыльцах широкой, из себя молодчина, хоть куды повернуть. Было ему тогда лет за тридцать с небольшим. Ну, усадила тетка этого Федьку за стол, а дядя принялся его накачивать водкой: и ему подносит и сам пьет, и я, глядя на них, хлещу тоже водку. Хорошо... А потом, мало за малым, и зачался промежду них разговор... Дядя-то Селифон и давай корить Федьку за все про все, так напрямки ему и катит. Федька сидит и все молчит, а дядя отчитывал-отчитывал ему, а потом как схватится да как полыхнет Федьку

по уху!.. Здоров был этот Селифон, как медведь, лошадь кулаком с ног сшибал. Ну, как Федьке прилетело в ухо, он соскочил, сгреб со стола нож да с ножом на дядю... Тут и пошла кутерьма!.. Один старичонко ухватился Федьке за руку, а дядя опять в другое ухо. И схватились они втроем за Федьку, а Федька — куды тебе! — как зачал стариками поворачивать, у Селифона-то только седая борода мелькает. Ведь совсем зачал Федька одолевать стариков, могутный из себя парень, ну куда с ним старикам справиться. А тетка сперва убежала из избы, а потом, как увидела, что Федька насел совсем на стариков, как закричит: «Савоська, ты чего глядишь... Бей Федьку!..» А я все время дураком сидел и рукой не касался, а тут сразу расстервенился, да как брошусь в кучу к старикам. Уж хорошенько и не помню, как мне топор в руки попал, надо полагать, тетка же и подсунула, я и давай благословлять обухом Федьку... Увидал он, что дело плохо, — в окошко, а старики уцепились за него, как клещи, ну он и их за собой в окошко вытащил. Ну, тут уж за окошком-то я его, Федьку, и прикончил... После положили на

дровни да в лес. Так я и порешил Федьку, барин! Как теперь вижу: прямо по затылку как пластнул обухом — так Федька и покатился по земле… Воротился я после этого самого случая домой, — продолжал Савоська. — Ну, сперва-то немножко сумлительно было, блазнило[42] Федькой, а потом все прошло. Даже ведь и забыл об ём, точно не я его и порешил. Хорошо. А тут меня женили на зазнобе на моей, на Аннушке. Эх, хороша была девушка Аннушка, барин, а вышла — еще стала краше да лучше. Вся пристань на нас, бывало, любуется… Хорошо ведь и со стороны глядеть, как люди душа в душу живут, как два голубя. Отец у меня скоро помер, остался я в дому полным хозяином, все у нас есть с Аннушкой, все спорится: живем да радуемся. Этак годов с восемь мы прожили, уж мальчонка сынишка у меня стал подрастать… Тут вот моей Аннушке что-то и попритчилось: сглазили ее, что ли, только стала она сохнуть — как все равно свеча тает. Уж лечили-лечили мою Аннушку — и лекарки, и знахарки, и старики знающие: нет ей легче, и шабаш! И взяло тогда меня горе, барин, такое горе, хоть руки на себя

наложить: больно я любил мою Аннушку... Чтобы там пальцем ее пошевелить, как другие-прочие делают, — ни боже мой! Год она, сердечная, маялась... Спросишь: «Где болит, Аннушка?» — «Нигде у меня не болит», — ответит, а сама так ласково-ласково смотрит. Глаза-то у ней стали большие-большие; взглянет ими, вот как обожгет по сердцу... Пошло дело к весне, заиграла вода, начала совсем чахнуть моя Аннушка... Только однажды она мне и говорит: «Савося, не жилица я на белом свете, не топтать мне, видно, зеленой травушки, помру я скоро... Скажи мне одно, Савося, нет ли у тебя на душе какого греха?» Как она это самое слово промолвила, у меня точно что оборвалось: Федька-то мне тогда и вспал на ум... Ну, покаялся я Аннушке в своем грехе, усмехнулась она и говорит: «Это за него меня господь наказал...» Тут подошел сплав, я убежал с караваном, а Аннушка без меня и душу богу отдала. Остался я один-одинешенек, и так-то мне сделалось тошнехонько, что и сказать тебе не умею. Ну, а тут уж нашлись дружки-приятели, давай утешать, а какое у нас утешение: кабак... Стал я похаживать в

кабак, отбился от работы, люди дивуются, как я дом свой зорю, меня бранят да ругают. А на что мне дом, когда я и жизни своей постылой не рад? И чем дальше я пью, тем Федька предо мной неотступнее: вижу его, как живого вижу, вот как теперь вижу тебя. Сначала все по ночам он приходил ко мне, а потом и днем... И молиться я принимался, и на скиты старицам подаяние посылал, и эпитимию на себя накладывал: не идет Федька у меня с ума, и шабаш! Жену у меня бог отнял из-за него, сынишка ушел за матерью, а теперь он за мной пришел... Только мне и легче, когда я песни пою! Может, это и грешно, да уж на сердце-то тошнехонько... Хорошо я певал, когда молодым был, а тут как выпью, пойду по улице и зальюсь: вся улица слушает, по которой иду. Старики-то которые да старухи и осудят меня за мои песни: «Вино в Савоське поет!», а того не подумают, что не вино во мне, а мое горе-горькое поет... И тяжело мне и хорошо, когда пою!

Савоська задумался и опустил голову. По лицу у него катились пьяные слезы.

— Ходил я к одному старцу, советовался с

ним… — глухо заговорил Савоська. — Как, значит, моему горю пособить. Древний этот старец, пожелтел даже весь от старости… Он мне и сказал слово: «Потуда тебя Федька будет мучить, покуда ты наказание не примешь… Ступай, говорит, в суд и объявись: отбудешь свою казнь и совесть найдешь». Я так и думал сделать, да боюсь одного: суды боле милостивы стали — пожалуй, без наказания меня совсем оставят… Куда я тогда денусь?

Через полгода я прочел в газетах заметку о крестьянине Севастьяне Кожине, который сам явился в …ской суд и сознался в убийстве. Это был Савоська. Присяжные вынесли ему оправдательный вердикт.

Компания «Нептун» через год ликвидировала свои дела, заплатив своим акционерам по пять копеек за рубль.

Золотуха.
Очерки приисковой жизни

I

С широкого крыльца паньшинской приисковой конторы, на котором смотритель прииска Бучинский, по хохлацкой привычке, имел обыкновение отдыхать каждое после обеда с трубкой в зубах, открывался великолепный вид как на весь Паньшинский прииск, так и на окружавшие его Уральские горы. И прииск и горы были «точно поднесены к конторе», по меткому выражению приисковой стряпки Аксиньи.

Уральские горы спускаются в сторону Азии крутыми уступами, изрытыми массой глубоких логов, оврагов и падей. На север от уральской железной дороги горы начинают подниматься выше, и по дну логов бойко катятся безымянные горные речушки, которые образуют собой живую подвижную сетку. Лозьва и Тура принимают в себя такие горные речки тысячами; речка Панья, на которой расположился Паньшинский прииск, впадает в Туру,

предварительно сделав сотни самых мудреных колен, поворотов и извилин. С крыльца приисковой конторы прииск представлял глубокий лог, сдавленный с обеих сторон довольно высокими лесистыми горками; по самому дну этого лога прихотливыми извивами катится Панья. Вероятно, год назад она совсем была затянута кустами ивняка, ольхой, смородиной и густой, ярко-зеленой осокой, а теперь берега ее совсем обнажены, и только кой-где по ним валяются кучи покрасневшего на солнце хвороста, свежие бревна и маленькие поленницы новых дров. Сейчас за конторой, которая занимает пригорок, берега Паньи, на протяжении двух верст, изрыты на все лады, точно здесь прошел какой-то гигантский крот. Вообще, вся эта масса взрытой без всякого плана и порядка земли походила скорее на слепую работу стихийных сил, чем на результат труда разумно-свободного существа, как определяют человека учебники логики и психологии. По бокам прииска тянутся грядой громадные свалки из верховых пластов, не содержащих золота; желтые валы перемывок, т. е. промытого песку, чередуются с

глубокими выработками, где добывается золотоносный песок, рядами ширфов, походящих на только что вырытые могилы, и небольшими мутными прудками, которые Панья образовала там и сям по своему течению. Мутная вода этих прудов, при помощи канав и деревянных желобов, проведена к самым далеким частям прииска, где поднимаются свои перемывки и свалки. Присутствие людей оживляло всю картину и при ярком солнечном освещении делало ее даже красивой, как проявление самой кипучей человеческой деятельности. Пестрые кучки старателей были рассыпаны по всему прииску; по ним можно было определить положение вашгердов, на которых совершалась промывка песков. В выработках, куда въезжали и выезжали приисковые двухколесные тележки-таратайки, можно было рассмотреть только одни мужские головы, в валяных шляпах и фуражках, а около вашгердов суетилась голосистая пестрая толпа женщин. В глубине прииска, где дорогу Панье загородила невысокая каменистая горка, виднелась довольно сложная золотопромывательная машина; издали

можно было разобрать только ряды стоек и перекладин, водяное колесо и крутой подъем, по которому подвозились на машину пески. Люди, работавшие на машине, казались с крыльца конторы муравьями, а когда на подъем взбиралась таратайка, то лошадь можно было принять за комнатную муху. Рядом с машиной весело попыхивала паровая машина; из высокой тонкой трубы день и ночь валил густой черный дым, застилавший даль темной пеленой.

По бокам прииска, под прикрытием дремучего ельника, лепились старательские балаганы и землянки; кое-где около них курились веселые огоньки и суетились женщины, а в густой зеленой траве, на которой паслись спутанные лошади, мелькали белые детские головки. С внешним миром прииск соединялся извилистой узкой дорогой, которая желтой змейкой взбегала мимо приисковой конторы на крутой увал и сейчас же терялась в смешанном лесу из елей, сосен и пихт. На западе, из-за зубчатой стены хвойного леса, придавленной линией, точно валы темно-зеленого моря, поднимались горы все выше и выше;

самые дальние из них были окрашены густым серо-фиолетовым цветом. Вся эта картинка прииска была вставлена в темно-зеленую раму дремучего хвойного леса, заполонившего все кругом на сотни верст. Гордо поднимали свои пирамидальные вершины столетние поседевшие ели; воздушными стрелками, как готические башенки, летели прямо в небо молодые бархатные ели, и, широко раскинув свои могучие ветви, светло-зелеными шапками поднимались над всем лесом старые лиственни. От этого непролазного угрюмого северного леса веяло первобытной стихийной силой, которую не в состоянии сокрушить ни сорокаградусные морозы, ни трехаршинные снега, ни убийственный северо-восточный ветер, который заставляет деревья поворачивать свои ветви к далекому благословенному югу.

— У нас работа, как вода в котле кипит, — самодовольно говорил Бучинский, любуясь после обеда картиной прииска. — Человек триста работают... Да. Усим хлиб даемо... А сколько пользы государству приносим? Хе-хе!.. Золото... Всем золото треба, все его шука-

ют... пхе! А оно у нас под носом... Пхни рылом землю, вот и золото.

Фома Осипыч, как все хохлы, после обеда впадал в философское настроение и любил побеседовать на тему о государственной пользе. Его круглое прыщеватое лицо с свиными глазками, носом луковицей и длинными казацкими усами подергивалось в эти минуты жирным блеском и по толстым отвислым губам блуждала самодовольная улыбка человека, который не желает ничего лучшего. Кто был Бучинский сам по себе, какими ветрами занесло его на Урал, как он попал на приисковую службу — покрыто мраком неизвестности, а сам он не любил распространяться о своей генеалогии и своем прошлом. На прииске Бучинского не любили, и старатели просто называли его беспалым Фомкой, потому что у него на левой руке недоставало одного пальца.

Жил Бучинский на приисках припеваючи, ел по четыре раза в день, а в хорошую погоду любил бродить по прииску, останавливаясь преимущественно около тех вашгердов, где работали красивые девки. До женского пола

Бучинский был необыкновенно падок и не пропускал мимо ни одной смазливой рожицы. По целым часам, бывало, торчит, как индюк, около баб и не уйдет без того, чтобы не щипнуть самую хорошенькую. От баб иногда ему крепко доставалось, но на удары скребками или просто рукой наотмашь Бучинский только жмурился, как закормленный кот, и приговаривал с неоставлявшим его никогда юмором: «А ты, Апроська, побереги руку-то, глупая: пригодится еще».

Приисковая контора только что была поставлена весной и желтела на пригорке своими новыми бревнами и тесовой крышей. Она делилась на две половины. В одной помещалась собственно контора, где жил Бучинский и хранилась касса, а в другой была устроена кухня и людская. Собственно контора одним окном выходила на дорогу, а двумя другими на прииск, так что Бучинский из-за своего письменного стола мог видеть всякого, кто ехал на прииск или с прииска, а также и то, что делалось на прииске. Стены конторы внутри были только что выделаны и еще хранили следы топора, которым с грехом попо-

лам были обтесаны бревна. Пол и потолок были сделаны из расколотых надвое бревен и подровнены как раз настолько, чтобы на полу нога не запиналась о края настланных плах. Желтый мох, которым были законопачены пазы между бревнами, не успел еще завянуть и таращился клочьями, усиками и колючей щетиной; когда по утрам горячее июльское солнце врывалось в окна конторы снопами ослепительных лучей, которые ложились на полу золотыми пятнами и яркими полосами, веселые зайчики долго и прихотливо перебегали со стены на стену, зажигая золотыми искорками капли свежей смолы, вытоплявшиеся из расщелявшихся толстых бревен. Одно окно, как зеленым шатром, было защищено лапистыми ветвями старой ели; солнечные лучи, проходя через живую сетку из зеленых игл, окрашивались особенным, желто-зеленым цветом, точно их пропустили сквозь тонко прокованный лист золота.

Обстановка конторы отличалась большой простотой и тем отчаянным беспорядком, какой всюду вносит с собой грубая половина человеческого рода. Сам Бучинский прибавил

от себя специально хохлацкую грязь и какой-то особенный запах, который никогда не оставлял его. У самых окон, во всю длину наружной стены, на деревянных козлах были настланы доски и прикрыты толстым серым сукном; это и был письменный стол, около которого торчали два колченогих стула и новенькая табуретка со следами красноватой приисковой глины. На столе смешалась масса предметов в замечательном беспорядке. Можно было подумать, что все эти предметы были высыпаны на стол прямо из мешка, да так и остались в том положении, куда толкнула их сила инерции. Из-под слоя желтой приисковой пыли, рассыпанного табаку, пепла и окурков можно было рассмотреть чернильницу без чернил, несколько железных кружек с красными приисковыми печатями, пустую готовальню, сломанный ящик из-под сигар, коллекцию штуцерных пуль, дробь в мешочке, дробь в коробочке из-под пастилок Виши и дробь, просто рассыпанную по всему столу вместе с пистонами, оборванными пуговицами, обломками сургуча, заржавевшими перьями и тому подобной дрянью, кото-

рая неизвестно для чего и как забирается на письменные столы. Кипы счетов и конторских книг были сложены отдельно, под прессом из золотосодержащего кварца; несколько раскрытых книг лежали там и сям в самых отчаянных позах, как только что раздавленные люди с раскинутыми руками.

В углах конторы, сейчас у дверей, были устроены на деревянных козлах две походные кровати; на одной спал Бучинский, а другую занимал я. Около постели Бучинского стояла приисковая касса, то есть железный сундук, а над постелью, на развешенном по стене тюменском ковре, в красивом беспорядке размещено было разное оружие, начиная с револьвера и кончая бельгийской двустволкой и заржавевшим турецким кинжалом. Около стен стояло несколько зеленых тагильских сундуков, в которых хранилась вся движимость Бучинского и разный домашний скарб.

II

Мне пришлось провести на Паньшинском прииске в обществе Бучинского несколько недель, и я с особенным удовольствием вспо-

минаю про это время. Для меня представляла глубокий интерес та живая сила, какой держатся все прииски на Урале, т. е. старатели, или, как их перекрестили по новому уставу, в золотопромышленности, — золотники.

— Старатели... пхе!.. Хочется вам с этими пьяницами дело иметь! — не раз говорил мне Бучинский — он никак не мог понять, что меня могло тянуть к старателям. — Самый проклятый народ... Я говорю вам. В высшем градусе безнравственный народ... Да!.. И живут как свиньи... Им только дай горилки, а тут бери с него все: он вам и золото продаст, и чужую лошадь украдет, и даже собственную жену приведет... Я вам говорю!..

— Мне кажется, что о старателях много лишнего говорят.

— Кажется?! Тэ-тэ-тэ!.. От-то глупая скотына этот Бучинский! Ха-ха... — хриплым смехом залился Бучинский, причем вместо глаз у него образовались две жирные складки кожи. — Я теперь все понимаю... даже до капли все! Пссс... А все никак в свою глупую башку взять не мог. Да вы бы лучше прямо до меня обратились, и я устроил бы все, как ваше

сердце желает... Хе-хе!.. Вот у Зайца смачная дивчина есть, у Сивы... Знаете «губернатора»? Тэ-тэ-тэ... Да вы ж и без меня успели зацепить лихую дивчину! По глазам вижу... да. А я вам говорю по совести: на всем прииске нет лучше губернаторовой Наськи! Да вы ж наверно раньше меня все это знаете?..

Разуверять Бучинского в чистоте моих намерений было напрасным трудом: он принадлежал к числу тех заматерелых скептиков, которые судят о всех по самим себе.

Прииск вблизи был совсем не то, чем он казался издали. Свалки, перемывки, выработки, ширфы, канавы, кучи песку и галек — все это напоминало издали работу сумасшедшего, который не стеснялся осуществлением своих диких фантазий и то, что вырывал в одном месте, сваливал в другом. Нужно было пройти прииск из конца в конец, и только тогда «открывался в этом беспорядке порядок» и вся масса затраченного человеческого труда освещалась разумной мыслью. Точно так же и относительно старателей. Главное впечатление производила необыкновенная пестрота собравшегося здесь народа. И кого-кого

только не было на прииске: мастеровые с горных заводов: староверы из глухих лесных деревень по р. Чусовой; случайные гости на прииске — вороняки, т. е. переселенцы из Воронежской губернии, которые попали сюда, чтобы заработать себе необходимые деньги на далекий путь в Томскую губернию; несколько десятков башкир, два вогула и та специально приисковая рвань, какую вы встретите на каждом прииске, на всем пространстве от Урала до Великого океана. Этот гулящий, бездомный, разношерстный люд есть порождение бестолковой приисковой жизни и составляет настоящую язву, корень всяческих зол. Стоит раз взглянуть на эти типичные лица и на живописные их лохмотья, чтобы угадать настоящих приисковых волков, которые голодными стаями бродят всю жизнь по приискам.

На первый взгляд кажется, что все эти люди, загнанные сюда на прииск со всех концов России одним могучим двигателем — нуждой, бестолково смешались в одну пеструю массу приисковых рабочих; но, вглядываясь внимательнее в кипучую жизнь прииска, ма-

ло-помалу выясняешь себе главные основы, на которых держится все. Шаг за шагом обрисовываются невидимые нити, которыми связываются в одно целое отдельные единицы, и, наконец, рельефно выступает основная форма, первичная клеточка, в которую отлилась бесшабашная приисковая жизнь. Эта руководящая нить для уразумения приисковой жизни заключается в понятии русской артели, которая нашла себе здесь глубокое применение. Без артели русский человек — погибший человек; поэтому артель живет на всех вольных промыслах, в тюрьмах и в монастырях; даже разудалая вольница, ничего не хотевшая знать, кроме своей вольной волюшки, — и та складывалась в разбойничью артель. Если с испокон веку русский человек работал артелью и грабил артелью, отсиживался по тюрьмам и острогам артелью, то такое, может быть, слишком широкое применение артельных начал вносило в них, на каждый специальный случай, специальные применения в форме и содержании. Старательская артель, в которую, если позволено так выразиться, выкристаллизовалась приисковая

жизнь, решила ту же задачу, какую решают все русские артели, т. е. как при наличности minimum'а благоприятных условий, не только ухитриться просуществовать, но еще выполнить maximum работы.

Было светлое июльское утро, когда я в первый раз спускался от конторы на прииск. Солнце едва показалось из-за линии леса и в низких местах стояла еще ночная сырость, а кой-где сохранившиеся клочки зеленой травы были покрыты каплями блестевшей росы. Со стороны леса доносился нестройный птичий концерт; залетные гости короткого северного лета точно хотели удесятерить его радость своими веселыми песнями. В лесу еще стояла ночная прохлада; около балаганов огни едва дымились; по дороге мне попалось несколько таратаек, нагруженных песком. Лошадью правили босоногие мальчишки-подростки, а на одной таратайке кучером сидела курносая рябая девка в красном платье и в желтом, высоко подтыканном сарафане. Я миновал целый ряд глубоких ширфов, при помощи которых производится разведка золота, и направился в ту сторону, где проис-

ходила добыча золотоносного песку, т. е. к выработке. Из выработки в одном месте выставлялась голова гнедой лошади, а в другом — широкая лысина с остатками мягких русых кудрей. Выработка имела форму глубокой четырехугольной ямы с выемкой на одной стороне; по этой выемке осторожно поднялась гнедая мохноногая лошадка с нагруженной тележкой.

— Кузька! мотри не балакай с бабами-то подолгу, — крикнул вслед выезжавшей тележке среднего роста широкоплечий старик, лысину которого я заметил еще издали.

Кузька, подросток лет четырнадцати, с бойким загорелым лицом, только взмахнул концом веревочных вожжей и трусцой направился к ближайшему прудку, около которого виднелись два вашгерда.

— Бог на помочь! — поздоровался я со стариком, который рукавом старой пестрядевой рубахи вытирал свое красивое, широкое лицо, покрытое каплями крупного пота.

— Мир дорогой! — весело отозвался старик. — Иди в выработку-то, лопатка и на твою долю найдется... Вон Никита умаялся с утра-

то с кайлом играть.

Молодой мужик, длинный, нескладный, с острыми плечами и неприятным худым рябым лицом, только тряхнул спутанными волосами и опять принялся долбить кайлом осыпавшийся слой мокрого песку. Мужики были одинаково одеты в синие пестрядевые рубахи и порты, работы одной хозяйки; на ногах были лапти. Дно выработки было покрыто слоем липкой грязи, в одном углу стояла целая лужа мутной воды; на краю лежал свернутый чекмень и узелок с краюхой черного хлеба. Старик закурил коротенькую трубочку, пока я осматривал выработку, и принялся неспешно выбрасывать железной лопаткой скопившиеся турфа, т. е. не содержащую золото землю, наверх, прямо на деревянные полати, настланные из досок у самого края выработки. Кузьма успел свезти пески на вашгерд и теперь вернулся, чтобы навалить свою таратайку турфами и вывезти их к ближайшей свалке.

— Что, бабы благодарят за гостинец? — спрашивал старик.

— Доводить пора, тятька…

— Без них знаю, что пора. Никита, ты покедава поковыряй здесь, а как я доведу золото, паужинать будем. Вот барину охота поглядеть, как мужики золото добывают. Ну, барин, пойдем к грохоту, старый Заяц все тебе покажет, как на ладонке.

— А тебя как звать? — спрашивал я.

— Меня-то... Да Зайцем добрые люди зовут; это вот мои зайчата, а у грохота сама Зайчиха. Теперь понял? А я тебе покажу все, как есть...

Только когда Заяц вылез из своей выработки, я хорошенько рассмотрел его атлетически сложенную фигуру. Ему было пятьдесят с лишком, но это могучее мужицкое тело смотрело еще совсем молодым и могло вынести какую угодно работу. Заметив мой пристальный взгляд, старик с добродушной улыбкой проговорил:

— Что на меня глядишь, барин?

— Да так смотрю; здоровый ты из себя очень.

— Здоровый... Какое уж мое здоровье, барин! Был когда-то Заяц, а теперь одна шкурка осталась... Да. Вот где моя погибель сидит! —

проговорил старик, указывая на свои ноги: — тут Зайцу и конец. Ну, куда он без ног-то, барин?

— А что, разве у тебя болят ноги?

— Я тебе вот что скажу, барин: как теперь станет весна али осень, вода будет ледяная — шабаш! Как поробил твой Заяц в выработке, пришел в балаган да лег, а встать и невмоготу. Другой раз недели с две Заяц без работы лежит, потому ноги, как деревянные.

— Простудил где-нибудь?

— А слыхал про завод Тагил?

— Как не слыхать.

— Ну, так в этом самом Тагиле есть Медный рудник, вот Заяц там и ножки свои оставил... Это еще когда мы за барином были, так Заяц в огненной работе робил, у обжимочного молота. А в те поры был управителем немец, вот Заяц согрубил немцу, а его, Зайца, за задние ноги да в гору, в рудник, значит. Думал, что оттедова и живой не вылезу... По пояс в ледяной воде робили. Ключи там из горы бегут, студеные ключи.

От выработки до вашгерда было сажен двести с небольшим. У низенькой плотины

стоял деревянный ящик длиной аршина два; один бок этого ящика был вынут, а дно сделано покатым, в несколько уступов. Это была нижняя часть вашгерда, или площадка; сверху она была прикрыта продырявленным железным листом в деревянной раме — это грохот. Площадка и грохот составляли весь нехитрый прибор, на котором производилась промывка золотоносных песков, на ученом языке горных инженеров этот прибор называется вашгердом.

— Тоже без снасти и клопа не убьешь, обязательно, — объяснял мне старый Заяц. — Не больно хитро устроено, а в шапке золота не намоешь.

У вашгерда работали три женщины. Старшая, Зайчиха, высокая старуха в темном платке, набрасывала на грохот пески, которые Кузька сваливал около вашгерда. Две молодых бабы размешивали эти пески по грохоту маленькими железными лопаточками, скребками. По деревянному желобу из прудка была проведена к грохоту вода и падала на песок ровной струей. Когда песок смешивался с водой, частицы глины и мелкого песку отно-

сились струей, гальки оставались на грохоте, а золото вместе с черным песочком, шлихами, падало сквозь отверстие грохота прямо на площадку, где и задерживалось маленькими деревянными валиками. Ход всей операции был крайне незамысловат, и достаточно было посмотреть на него в течение пяти минут, чтобы усвоить вполне.

— У меня и семья вся налажена для прииску, — хвалился Заяц, указывая на баб. — Вот молодайка с Парашкой как поворачивают, того гляди грохот изломают.

— Ну, будет тебе зубы-то точить, — заворчала Зайчиха. — Пристали без того...

— Я правду говорю, — оправдывался старик. — Ну, девоньки, еще маленько навалитесь — и доводить.

Молодая высокая девка с румяным скуластым лицом, которую Заяц назвал Парашкой, по всем приметам принадлежала к семье Зайцев. То же завидное здоровье, веселый взгляд больших карих глаз, приветливая улыбка на красных губах — все говорило, что Парашка была дочь старого Зайца и его баловень. В своем ситцевом розовом сарафане и в такой

же рубашке она выглядела настоящей приисковой щеголихой; подвязанный под самые мышки передник плохо скрывал ее могучие юные формы. Неправильное лицо было красиво молодой здоровой красотой, выращенной прямо под открытым небом, как растут безымянные полевые цветочки, которыми зеленая трава обрызнута точно драгоценными камнями.

— Это невеста Фомки беспалого, — говорил Заяц, указывая на дочь. — Вот в Филиппов пост свадьбу будем играть. Фомка-то давно на нее губы распустил...

Молодайка, жена Никиты, не принимала участия в общем разговоре, шутках и смехе; как только последние лопатки песку были промыты, она сейчас же бегом убежала в сторону леса, где стоял балаган Зайца. Бледное лицо молодайки с большими голубыми глазами мне показалось очень печальным; губы были сложены сосредоточенно и задумчиво. Видно, не весело доставалась этой женщине приисковая жизнь.

— Ишь, как Лукерья побегла! — удивлялся добродушнейшим образом вслед своей снохе

старый Заяц. — Там у нас в балагане еще два зайчонка есть, так вот матка и бегает к ним с работы. Старатели будут, как подрастут.

— А велики?

— Одному парнишку, старшенькому, около зимнего Николы два года будет, — отвечала Зайчиха. — А меньшенький еще матку сосет, всего по третьему месяцу... Здесь на прииске и родился.

— С кем же ребенок остается в балагане, пока мать работает здесь?

— С кем ему оставаться, барин... Лежит себе в зыбке, и все тут.

— Да ведь его комары заедят?

— Бывает и такой грех, — соглашался Заяц, вынимая из-под вашгерда щетку и небольшую железную лопаточку: — И комару надо летом чем-нибудь питаться. Ну, гляди, барин, сколько у Зайца золота напрело!.. Сейчас доводить стану.

Старик уменьшил струю, падавшую на грохот, и присел на корточки к площадке. По дну площадки темными полосами расположились шлихи, а в них светлыми искорками желтели крупинки золота. Старик, осторожно

засучив рукава, повел щеткой вверх по дну площадки и взмутил воду; струя подхватила часть черного песочка и унесла его с площадки. С каждым движением щетки шлихов оставалось все меньше и меньше, а через десять минут работы в воде блестело одно золото. При помощи лопаточки Заяц осторожно собрал его все и проговорил:

— Будет не будет ползолотника?

— Мало?

— Из-за хлеба на воду заробим. Потому считай: за золотник нам в конторе дают рубь восемь гривен, а за ползолотника приходится девять гривен... Так? Ну, а мы робим самшесть, прикинь, сколько на брата придется в полдни.

— По пятиалтынному.

— А мы эту самую битву примаем с самого солновсхода, значит с двух часов по-вашему... Клади еще двух коней. Пробилось наше золото, видно, чтобы ему пусто было семь раз.

— А раньше лучше шло золото?

— День на день не приходился... В другой раз и два золотника падало за день на грохот, а то и четь золотника.

Старик высыпал золото в сухую тряпочку, высушил его в ней, а потом высыпал в круглую железную кружку с приисковой печатью.

— Бабы, зовите паужинать Никиту. Барин, хлеба-соли кушать с нами.

III

Мне часто доводилось бродить по прииску, и я быстро освоился с его пестрым населением. Все старательские артели были устроены, как одна, и носили смешанный семейный характер, сближавший их с кустарным промыслом. Малосильные семьи соединялись по две и по три, а если для артели недоставало одного человека — его прихватывали «на стороне», из тех лишних людей, каких набирается на каждом прииске очень много. Было несколько и таких артелей, члены которых не были связаны никакими родственными узами, а единственно соединились для одной работы. Но последний, по-видимому, самый чистый тип артели представлял на прииске исключение, а главным правилом являлось все-таки артель-семья, как, например, Зайцы.

Главную массу приисковых рабочих составляли горнозаводские мастеровые и жите-

ли лесных деревень гористой части Верхотурского уезда, где почва камениста и неродима; для них было во всех отношениях прямым расчетом работать на приисках семьями. Труд всех членов семьи утилизировался с замечательной последовательностью, и не пропадала даром ни малейшая его крупица. Приисковая тяга не миновала ни чьей головы, а слабейшим членам семьи, как это случается всегда, доставалось всех труднее: они выносили на своих плечах главный гнет.

— Прежде, как за барином жили, — рассуждал старый Заяц, — бывало, как погонят мужиков на прииски, так бабы, как коровы ревели... Потому известно, каторжная наша приисковая жизнь! Ну, а тут, как объявили волю да зачали по заводам рабочих сбавлять — где робило сорок человек теперь ставят тридцать, а то двадцать — вот мы тут и ухватились за прииски обеими руками... Все-таки с голоду не помрешь. Прежде один мужик маялся на прииске да примал битву, а теперь всей семьей страдуют... И выходит, что наша-то мужицкая воля поровнялась, прямо сказать, с волчьей! Много через это самое зо-

лото, барин, наших мужицких слез льется. Вон, погляди, бабы в брюхе еще тащат робят на прииски, да так и пойдет с самого первого дня, вроде как колесо: в зыбке старатель комаров кормит-кормит, потом чуть подрос — садись на тележку, вези пески, а потом становись к грохоту или полезай в выработку. Еще мужику туды-сюды — оно тяжело, чего говорить, а все мужик, мужик и есть — а вот бабам, тем, пожалуй, и невмоготу в другой раз эти прииски...

Мастеровые — народ обтертый, разговорчивый, одним словом, заводская косточка. Присутствие постороннего человека не только не стесняло заводских артелей, а, напротив, доставляло им большое удовольствие... Это и понятно, потому что к барину, в лице своих служащих и приказчиков, мастеровые привыкли с малых лет. Исключение представляли раскольники, которые на прииске занимали совсем отдельный угол и выгляделили особнячком. Познакомиться с жизнью раскольничьих артелей являлось делом очень трудным. Мужики отмалчивались, бабы косились и отплевывались. На самой работе около

раскольничьих вашгердов лежала печать какого-то тяжелого отчуждения и подавленной, скрытой печали; не было слышно песен, не сыпались шутки и прибаутки, без которых не работается русскому человеку. Раскольники из лесных деревень, с реки Чусовой и из Чердынского уезда особенно бросались в глаза и своим костюмом, и полной неприступностью. Мне очень хотелось познакомиться поближе с жизнью этих именно артелей, и счастливый случай свел меня с одной из них.

— Ты чего это к кержакам к нашим повадился? — фамильярно спросила меня однажды наша приисковая стряпка Аксинья, разбитная черноглазая бабенка, вечно щеголявшая в кумачных сарафанах и козловых ботинках.

— Да так... Посмотреть, как работают.

Аксинья молча посмотрела на меня и, показав два ряда, как слоновая кость, зубов, проговорила:

— А они тебя боятся... Думают, что ты не на счет ли золота досматриваешь. Право... Чистые дураки! Я им сколько говорю: барин простой, хороший... Ей-богу, вот сейчас с места не

сойти, так и сказала. Ну, а брат-то мой... Видал, чай?

— Это с рыжей бородой?..

Аксинья взглянула на меня исподлобья и, улыбнувшись, кокетливо проговорила:

— Нет, это так... кум. Черт его знает, зачем шатается...

Кум, плотный старик с рыжей бородой, являлся к нам в контору периодически через каждые два дня; он обыкновенно усаживался на пороге кухни и терпеливо дожидался, пока щеголиха-кума освободится от своей суеты. Я замечал, что таинственное появление этого рыжего кума всегда совпадало с самым скверным расположением духа Бучинского. Этот почтенный человек раза два совсем утратил свое обычное душевное равновесие и даже вступил с Аксиньей в жестокую перепалку. Нужно сознаться, что победа осталась не на стороне Фомы Осипыча. Аксинья принялась так неистово голосить и так трещала языком, точно свежий блин на каленой сковороде, что Бучинский счел за самое лучшее отступить, хотя долго ругался на террасе и в конторе, посылая кума ко всем чертям и желая ему

«четырнадцать раз сдохнуть». Очевидно, Аксинья крепко держала в своих руках женолюбивое сердце Бучинского и вполне рассчитывала на свои силы; высокая грудь, румянец во всю щеку, белая, как молоко, шея и неистощимый запас злого веселья заставляли Бучинского сладко жмурить глаза, и он приговаривал в веселую минуту: «От-то пышная бабенка, возьми ее черт!» Кум не жмурил глаза и не считал нужным обнаруживать своих ощущений, но, кажется, на его долю выпала львиная часть в сердце коварной красавицы.

— Ужо вот придет как-нибудь брат, так я скажу ему, — обещала Аксинья, когда я просил ее познакомить меня с кержаками, т. е. с раскольниками.

Брат Аксиньи, который на прииске был известен под уменьшительным именем Гараськи, совсем не походил на свою красивую сестру. Его хилая и тщедушная фигура с вялыми движениями и каким-то серым лицом, рядом с сестрой, казалась просто жалкой; только в иззелена-серых глазах загорался иногда насмешливый, злой огонек да широкие губы складывались в неопределенную, вызываю-

щую улыбку. В моих глазах Гараська был просто бросовый парень, которому нечего и думать тянуться за настоящим мужиком.

— Это Гараська-то бросовый?! — удивился Бучинский, когда у нас зашла речь о нем. — Да я вам скажу, дайте мне десять старателей, за них одного Гараську не отдам. Дас.

— Да ведь он же не может работать, как другие старатели?

— Работать... что такое работать... пхэ! Лошадь работает, машина работает, вода работает... так? А Гараська — золотой человек. У него голова на плечах, а не капустный вилок, как у других. Знаете, что я вам скажу, — задумчиво прибавил Бучинский: — я не желал бы одной ночи провести вместе с этим Гараськой где-нибудь в лесу...

— Почему так?

Бучинский насосал свою трубку, исчез в облаках дыма и засмеялся:

— Вот вы живете неделю на прииске и еще год проживете и все-таки ничего не узнаете, — заговорил он. — На приисках всякий народ есть; разбойник на разбойнике... Да. Вы

посмотрите только на ихние рожи: нож в руки и сейчас на большую дорогу. Ей-богу... А Гараська... Одним словом, я пятнадцать лет служу на приисках, а такого разбойника еще не видал. Он вас среди белого дня зарежет за двугривенный, да еще и зарежет не так, как другие: и концов не найти.

Бучинский любил прибавить для красного словца, и в его словах можно было верить любой половине, но эта характеристика Гараськи произвела на меня впечатление против всякого желания. При каждой встрече с Гараськой слова Бучинского вставали живыми, и мне начинало казаться, что действительно в этом изможденном теле жило что-то особенное, чему не приберешь названия, но что заставляло себя чувствовать. Когда Гараська улыбался, я испытывал неприятное чувство.

— А вам что смотреть у нас? — как-то равнодушно спрашивал Гараська, когда мы от контроля шли к его вашгерду. — Робим, как все другие...

Объяснить прямую цель своих посещений я не желал, а только постарался уверить загадочного парня в полной чистоте своих наме-

рений.

Из выработки подозрительно глянуло на нас широкое и суровое лицо рыжего кума, а около вашгерда молча работали две женщины. Они даже не взглянули в нашу сторону. Одна, помоложе, со следами недавней красоты на помертвелом бледном лице, глухо кашляла; это была, как я узнал после, любовница Гараськи, попавшая на прииски откуда-то из глубины Чердынского уезда. Другая женщина, некрасивая и рябая, с тупым равнодушным лицом, служила живым олицетворением одной мускульной силы, без всяких признаков той сложной внутренней жизни, которая отпечатывается на человеческом лице.

— Ну, теперь видел? — коротко проговорил Гараська, когда мы осмотрели выработку и вашгерд; кум молчал, как затравленный волк, бабы смотрели в сторону.

— Отчего вас работает всего четверо? — спросил я. — Ведь неудобно...

— Кому как, а нам и так хорошо.

Я заходил несколько раз к Гараське, и эти посещения не привели ни к чему, за исключением того, разве, что кум, наконец, рассту-

пился и заговорил. Поводом для нашего сближения послужила охота. Кум снизошел даже до того, что обещал когда-нибудь в праздник сводить меня под какую-то Мохнатенькую гору, где дичи водилось видимо-невидимо. Однажды, когда я сидел в выработке кума, до меня донеслись странные звуки: в первую минуту я подумал, что кто-то причитает по покойнику, но потом уже расслышал, что это была песня.

— Ишь, развылась! — строго заметил кум, не страдавший излишней словоохотливостью и болтливостью.

— Кто это поет?

— Да Гараськина Марфутка каку-то плачу все воет... Слышь, в ихней стороне на свадьбе такие песни играют. Марфутка-то, чердынская выходит, так к ненастью и тоскует...

— А другая девка — заводская?

— Это Ховря-то? А черт ее знает, откудова она... Какая-то бесчувственная, Христос с ней!

Я долго вслушивался в «плачу» Марфутки. Голос у нее был хороший, хотя и надсаженный. Но в словах и в самом мотиве «плачи» было столько безысходной тоски, глухой жа-

лобы и нежной печали!..

Мне ночесь, молодешеньке,
Не спалось да много виделось:
. .
С по лугам, лугам зеленым
Разлилася вода вешняя,
По крутым красным бережкам,
По желтым песочкам.
Отнесло, отлелеяло
Милу дочь да от матери;
Шла по бережку родна матушка,
С-покруту родимая...
«Воротись, мое дитятко!
Воротись, мое родимое!»

IV

Кум угадал; действительно, Марфутка не даром разливалась в своем плаче — вечером же небо обложилось со всех сторон серыми низкими тучами, точно войлоком, и «заморосил» мелкий дождь «сеночной». Утром картина прииска изменилась до того, что ее трудно было даже узнать сразу. А через три дня все кругом покрылось мутноватой водою и липкой приисковой грязью; песни смолкли, самые веселые лица вытянулись, и все смотрели друг на друга как-то неприязненно, точно

это низкое серое небо придавило всех. Всякому было до себя, до своего измокшего, зябнувшего тела. Под этим ненастьем ярко выяснилась самая тяжелая сторона приисковой работы, когда по целым дням приходилось стоять под дождем, чуть не по колено в воде, и самый труд делался вдвое тяжелее. Рабочие походили на мокрых птиц, которые с тупым равнодушием смотрят на свои мокрые опустившиеся крылья. Женщинам и здесь доставалось тяжелее, чем мужчинам, потому что сарафаны облепляли мокрое тело грязными тряпками, на подолах грязь образовывала широкую кайму, голые ноги и башмаки были покрыты сплошным слоем вязкой красной глины.

Сидеть в конторе в такую погоду, с глазу на глаз с Бучинским, было просто невыносимо. Натянув охотничьи сапоги, я побрел через весь прииск к машине, где рассчитывал посмотреть на работу под прикрытием какого-нибудь навеса или приисковых полатей. Около вашгердов шла молчаливая работа, точно все на кого-то сердились. В выработке Зайца я не заметил старика. Никита работал с

каким-то молодым бойким мужиком в заплатанной кумачной рубахе и в рваном татарском азяме; сплющенная, как блин, кожаная фуражка была ухарски сбита на затылок. Загорелое бойкое лицо было не заводского типа.

— А где старый Заяц? — спросил я, подходя к выработке.

— В балагане лежит, — отвечал Никита.

— Обезножил старый Заяц, — прибавил мужик, не спуская с меня своих больших черных глаз. — А я вот на его место попал...

У вашгерда, где работала Зайчиха со снохою и дочерью, сидел низенький тщедушный старичок с бородкой клинышком. Он равнодушно глянул на меня своими слезившимися глазками, медленно отвернул полу длинного зипуна и достал из-за голенища берестяную табакерку: пока я разговаривал с Зайчихой, он с ожесточением набил табаком свой распухший нос и проговорил, очевидно, доканчивая давешний разговор.

— Нет, Матвеевна, не тово... не ладно...

— Сделай ты ладнее, сват Сила.

— Нет, не ладно, Матвеевна...

— Ну, наладил одно: не ладно, не ладно. А

кого возьмешь? Работа не ждет, а Заяц третий день в балагане валяется. К ненастью, говорит, спина страсть тосковала, а потом и ноги отнялись. Никита и привел Естю...

— Да ведь Естя-то откуда ваш?

— А кто его знает... Спроси сам, коли надо...

— Видел я его даве: орелко... Нет, Матвеевна, не ладно. Ты куда, барин? — спросил меня старик, когда я пошел от вашгерда. — На машину? Ну, нам с тобой по дороге. Прощай, Матвеевна. А ты, Лукерья, что не заходишь к нам? Настя и то собиралась к тебе забежать, да ногу повихнула, надо полагать.

Мы пошли. Старик как-то переваливал на ходу и постоянно передвигал на голове свою высокую войлочную шляпу с растрескавшимися полями; он несколько раз вслух проговорил: «Нет, Матвеевна, не ладно... я тебе говорю: не ладно!»

— Что не ладно-то, дедушка? — спросил я.

— Как что?.. Орелка-то видел? Ну, и не ладно выходит. Теперь Заяц в балагане лежит, а Естя будет работать. Так? А Лукерья, выходит, мне дочь... да и Паранька-то девчонка моло-

дая. Чужой человек в дому хуже хвори... Теперь понял? Где углядишь за ними... Нет, Матвеевна, не ладно! Глаз у этого у Ести круглый, как у уросливой лошади.

— «Губернатору» наше почтение!.. — кричал какой-то мужик с черной бородой, когда мы проходили со стариком мимо одной выработки.

— Будь здоров, Евстрат! — добродушно отозвался старик, приподнимая свою шляпу. — Эх, вода одолела прииск, барин! Теперь ненастье, надо полагать, зарядило ден на пять... верно.

— Тебя зачем «губернатором» зовут, дедушка?

— Губернатором-то? А вот заходи как-нибудь ко мне в балаган, так я тебе расскажу все по порядку. Только спроси, где, мол, «губернатор» старается: всякий мальчонко доведет. Ну, прощай, мне сейчас направо идти.

Старик приподнял свою разношенную шляпу и побрел по маленькой дорожке, которая отделилась вправо: шлепая по лужам, губернатор несколько раз передвинул шляпу на голове и проговорил не выходившую из его

головы фразу: «Нет, Матвеевна, не ладно!..»

Золотопромывательная машина вблизи представляла из себя подъезд на высоких сваях, главный корпус, где шумело водяное колесо, и маленький шлюз, по которому скатывалась мутная вода. Если около старательских вашгердов земля была изрыта везде, как попало, зато здесь работы велись в строгом порядке, по всем правилам искусства. Прежде всего снят был в несколько правильных уступов верхний пласт земли, турфы, и затем обнаженная золотая россыпь вырабатывалась шаг за шагом, чтобы не оставить в земле ни одной крупицы драгоценного металла. Накоплявшаяся в низких местах вода откачивалась паровой машиной. Для старательского вольного промысла здесь не было места, а работа велась наемными поденщиками. Это и была та приисковая голытьба и рвань, которая не в силах была соединиться в артели, а предпочитала поденщину.

Я пришел к той части машины, где на отлогом деревянном скате скоплялись шлихи и золото. Два штейгера в серых пальто наблюдали за работой машины; у стены, спрятав-

шись от дождя, сидел какой-то поденщик в одной рубахе и, вздрагивая всем телом, сосал коротенькую трубочку. Он постоянно сплевывал в сторону и сладко жмурил глаза.

— Где бы мне увидать смотрителя машины? — спросил я у штейгеря.

— Да вон он торчит... Точно филин, прости господи! — сердито отозвался один из штейгерей, движением головы указывая наверх.

Я поднял голову и несколько мгновений остался в такой позе неподвижно. Наверху, облокотившись на перила подъезда, стоял небольшого роста коренастый и плотный господин в осеннем порыжелом пальто; его круглая, остриженная под гребенку голова была прикрыта черной шляпой с широкими полями. Он смотрел на меня своими близорукими выпуклыми глазами и улыбался. Нужно было видеть только раз эту странную улыбку, чтобы никогда ее не забыть: так улыбаются только дети и сумасшедшие.

— Да ведь это Ароматов, Стратоник Ермолаич?.. — проговорил я, наконец.

— Здравствуйте, domine! — весело отозвался господин в осеннем пальто и как-то на от-

лет приподнял свою широкополую шляпу, причем открылся громадный выпуклый лоб и широкая лысина во всю голову.

Через минуту я имел удовольствие пожать небольшую, всегда холодную руку моего старого знакомого.

— Да ведь я вторую неделю живу на прииске, — говорил я. — Как же это мы с вами не встретились до сих пор?

— Очень пгосто, domine... У нас с Бучинским контгы — вот и не встгетились, — добродушно отвечал Ароматов, не выпуская моей руки. — Пгедставьте себе... Однажды Бучинский идет мимо машины, я и кгичу ему: «Фома Осипыч, зайдите ко мне на минутку...» А он мне: «Стгатоник Егмолаич, хлеб за бгюхом не ходит». А я ему: «Извините Фома Осипыч, я не знал, что вы хлеб, а я бгюхо...» Ну, и газошлись... Ну, да это все пустяки... А мы с вами давненько-таки не видались, domine?.. Позвольте, где это в последний газ я вас встгетил... Та-та-та!.. Помните о. Магка? Ведь у него? Да, да...

— Да на прииски-то вы как попали?

— Волею неисповедимых судеб служу спе-

циально златому тельцу втогой год... Как жес!.. Некотогым обгазом, споспешествуем пгеуспеяниям отечественной пгомышленности, а если пегевести сие на язык пгостых копеек — получаем двадцать гублей жалованья.

Широкое добродушное лицо Ароматова при последних словах точно расцвело от улыбки: около глаз и по щекам лучами разбежались тонкие старческие морщины, рыжеватые усы раздвинулись и по широким чувственным губам проползла удивительная детская улыбка. Ароматов носил окладистую бородку, которую на подбородке для чего-то выбривал, как это делают чиновники. Черный шелковый галстук сбился набок, открывая сомнительной белизны ситцевую рубашку и часть белой полной шеи.

— Да, я устгоился по-амегикански и живу настоящим янки, — прибавил Ароматов как бы в ответ на мой осмотр. — Да вот пойдемте в мою землянку, там все увидите.

Если вообще на Руси странных людей непочатый угол, то, без всякого сомнения, Ароматов принадлежал к числу самых странных, начиная с его детского выговора и сума-

сшедшей улыбки. Я с ним познакомился совершенно случайно, в глухой деревушке Зауралья, куда нас загнала жестокая зимняя метель. Как теперь вижу Ароматова, как он вошел в избу в волчьем тулупе и без церемоний заговорил своим комически возвышенным слогом: «Извините, если я помешаю вам своим пгисутствием... Но законы пгигоды стоят выше условных пгиличий. Полягным льдам угодно было скопиться в устьях Оби, обгазовалось ггомадное холодное течение, понеслась пугга, и вот мы, nolens-volens, должны познакомиться. Да, человек является только ничтожной единицей в агифметических выкладках пгигоды, но он все-таки не дитя слепого случая.»

«Ты дхнешь — и двигнешь океаны,
Гечешь — и вспять они текут.
А мы?.. одной волной подъяты,
Одной волной поглощены», —

с неподдельным пафосом продекламировал Ароматов, не вылезая из своего тулупа.

— Имею честь гекомендоваться: сопгичислен к лику святых, к колену левитову, — прибавил Ароматов совершенно другим тоном и,

в первый раз, улыбнулся своей сумасшедшей улыбкой. — А теперь пгинадлежу к взыскующим гада.

Кому случалось по целым суткам отсиживаться от зимней метели где-нибудь в мужицкой избе, тот поймет, что Ароматов был для меня настоящей находкой. Он проговорил в течение десяти часов без умолку, пересыпая свою речь цитатами из Белинского, Добролюбова, Писарева, Бокля и Спенсера; несколько раз принимался декламировать стихи Некрасова и передавал в лицах лучшие сцены комедий Островского и Гоголя. Как актер, Ароматов был замечательно хорош, но его погубила «проклятая буква р»; колоссальная память и начитанность придавали его разговорам живой интерес, и, что всего занимательнее, он владел счастливой способностью не только схватить, но и передать с замечательным искусством смешные стороны в людях и животных. Пока мы дожидались конца метели, наша изба превратилась в сцену: Ароматов скопировал своего ямщика, старуху, которая пряла нитки, кошку, лакавшую молоко; успел показать, как пьет курица, клюют ер-

ши, как дерутся собаки, представил в лицах кошачий концерт и т. д. Бабы и ребятишки смотрели на Ароматова с разинутыми ртами, а когда он перешел к опытам чревовещания — в ужасе попятились от чудного барина и начали даже креститься.

Во второй раз я неожиданно столкнулся с Ароматовым на фабрике одного из уральских железных заводов, где он фигурировал в качестве простого рабочего. Но тяжелый фабричный труд оказался Ароматову не по силам, и в следующий раз я встретил его уже совершенно в новой роли. Мне нужно было взять из ...ского волостного правления какую-то справку. Захожу в волость и вижу целую толпу людей, которая окружила стол и хохотала, как сумасшедшая. Проталкиваюсь вперед, смотрю, за столом сидит Ароматов и пишет обеими руками: одной — отношение становому, другой — какой-то протокол исправнику. В последний раз мы виделись с Ароматовым у о. Марка; Ароматов служил за псаломщика, пел на клиросе, читал апостол, подавал кадило. Он объяснил это последнее свое превращение законом наследственности.

— Вот и моя хатка, — проговорил Ароматов, когда мы подходили к какой-то землянке. — Живу, как амегиканец... Питаюсь солониной, читаю газеты. Только вот никак не могу пгивыкнуть жевать табак...

— Да для чего вам его жевать?

— Как для чего, domine? Вгемя — деньги, а на кугение табаку сколько его напгасно уходит.

Вход в землянку походил на нору; узкое окошечко из разбитых стекол едва освещало какую-то нору, на которой валялась уже знакомая читателю шуба, заменявшая Ароматову походную постель, столик из обрубка дерева, полочка с книжками и небольшой очаг из булыжника. Трубы не полагалось, и поэтому все кругом было покрыто толстым слоем сажи.

— Живу, как индеец, — объяснял Ароматов, любезно предлагая мне место на волчьей шубе. — Omnia mea mecum porto... Конечно, сначала тгудновато гасстаться с некотогыми пгедгассудками, но энеггия пгежде всего. Это ведь только кажется, что мы не можем обойтись без гогячего обеда, чистого белья, светло-

го помещения — я испытал на себе.

— Все это предрассудки по-вашему?

— Совегшенно вегно...

Очевидно, Ароматов находился в периоде американизма и бредил жизнью настоящего янки; на одной стене была повешена четырехугольная картонка, на которой готическими буквами было написано: «Деньги потерял — ничего не потерял, время потерял — много потерял, энергию потерял — все потерял». На другой такая же картонка с другой надписью: «Time is money». На полочке с книгами я рассмотрел несколько разрозненных томов Добролюбова и Белинского, папку с бумагами и маленький томик рассказов Брет-Гарта.

— Все-таки, Стратоник Ермолаич, как вы на прииски попали? — спрашивал я, когда Ароматов усердно принялся разводить на своем очаге огонь, чтобы угостить меня вновь изобретенным им кушаньем, из провесной свинины с какими-то травами и кореньями.

— Да я же служил в гогном пгавлении в...ге десять лет, — объяснял Ароматов, наполняя свою конуру густым едким дымом. — Как

же... Имею чин титулягного советника. Помните у Некгасова:

Он был титулягный советник,
А она — генегальская дочь...

Ароматов речитативом пропел до конца все стихотворение и опять принялся раздувать огонь.

— Отчего же вы оставили казенную службу?

— Да не пгиходится... Пока служил в пгавлении — все было хогошо, а как меня командиговали на казенные золотые пгомыслы — все и пошло пгахом... Мне выпадало гедкое счастье набить кагманы... Да! На гысаках бы тепегь катался, денег хоть лопатой ггеби... Ну, не вытегпел. Нагод ггабят на пгиисках, я и донес в гогный депагтамент, а меня сейчас по шапке.

Ароматов подробно рассказал, как он попался в настоящую «золотую кашу». На казенных приисках шла в то время большая игра: не воровал только тот, кому лень было протянуть руку. Рвали страшные куши и дележка казенного совершалась в вопиющих разме-

рах. Система этого хищения была выработана с замечательным искусством. Так как устав о золотопромышленности запрещал вести промывку золота старательским «хищническим» способом, то она производилась поденщиной... на бумаге. В сущности, все промытое золото добывалось теми же старателями и сдавалось ими в приисковые казенные конторы по 1 р. 70 к., а в книгах все было разложено на поденщину. В результате правительству каждый золотник, намытый этим казенным способом, обходился средним числом в 3 1/2 — 4 1/2 рубля. Разница, которая получалась между платой старателям и показной ценой, достигала почтенной цифры — 2, 3 рубля с каждого золотника. Сколько было нажито на этой незамысловатой операции, покажет приблизительный расчет: на казенных ...ских промыслах добывалось в год золота до тридцати пудов. Воротилы казенных золотых приисков, считая прибыли с каждого золотника по 2 р., с тридцати пудов средним числом, за здорово живешь, получали ни больше, ни меньше, как двести тысяч рубликов в год. К этому нужно еще прибавить оклады жалованья чи-

новникам, затем суммы на различные командировки, разведки и комиссии; наконец, практиковался самый простой способ обкрадывания мелких служащих: маленькая чинушка расписывалась в получении двадцати пяти или тридцати рублей жалованья, а в действительности получала всего десять, пятнадцать рублей. Наконец, записывалось жалованье мифическим служащим, существовавшим только, на бумаге; спекулировали на провианте, который запасался рабочим, и т. д. Одним словом, велась крупная игра вкруговую, где «рука руку мыла». Донос какого-то Ароматова, конечно, канул в реку забвения, вместе с его автором.

— А на частных промыслах разве лучше? — спрашивал я Ароматова, который теперь сидел перед огнем на корточках и кулаком протирал глаза; я, в ожидании американского кушанья, тоже задыхался от густого дыма, и принужден был несколько раз выходить из землянки, чтобы дохнуть свежим воздухом.

— На частных пгомыслах, по кгайней меге, есть впегеди выход, — объяснял чудак. — По-

годите, всем будет хогошо...

— Когда?

Ароматов повернул ко мне свое вспотевшее лицо, покрытое сажей, и с детской уверенностью сумасшедшего человека проговорил:

— А вот когда устгоим все по-амегикански... Вы не смейтесь, domine. У меня в голове иногда действительно немного ум за газум заходит, а все-таки нужно «совлечь с себя ветхого человека» и жить по-амегикански. По моему, Госсия и Амегика очень походят дгуг на дгуга. Это две молодые цивилизации, пгямая задача котогых выгаботать новые фогмы жизни.

Новое американское кушанье вкусом походило на спартанскую похлебку, и мне стоило большого труда отказаться от удовольствия проглотить его целую кружку.

V

Однажды после обеда, когда я с книгой в руках лежал в своем уголке, послышался грохот подъехавшего к конторе экипажа. Не успел я подняться навстречу подъехавшим гостям, как в дверях показался небольшого

роста господин в черной фрачной паре, смятой сорочке, без галстуха и с фуражкой на затылке.

— Карнаухов пьяница... вверрно!.. Дда, Лука Карнаухов величайший пьяница из всех рожденных женами. А все-таки Карнаухов честный человек... Федя! Ведь мы с тобой честные человеки?

— Точно так-с, ваше высокоблагородие, — по-солдатски ответил сухой, вытянутый старик; в дверях виднелась одна его голова в какой-то поповской шляпе.

— Высокоблагородие... хе-хе!.. — продолжал Карнаухов, пошатываясь на своих коротеньких и кривых ножках. — А ежели разобрать, Федя, так мы с тобой выходим порядочные подлецы... Ведь подлецы?..

— Никак нет-с...

— Ну, ин будь по-твоему: честные подлецы... Ххa!.. Ах черт тебя возьми, Федя!.. Вчера пили коньяк на Любезном у этого эфиопа Тишки Безматерных, так? Третьего дни пили шампанское у доктора Поднебесного... так? Ну, сегодня проваландаемся у Бучинского... так? А завтра... Федя, ну кудда мы с тобой зав-

тра денемся?..

— Вы хотели, ваше высокоблагородие, побывать на Майне.

— Это у Синицына? У разбойника?!. Ну нет, шалишь: Лука Карнаухов к Синицыну не поедет, хоть проведи он от Паньшина до Майны реку из шампанского... На лодке по шампанскому вези — и то не поеду! Понял? Синицын — вор... Ты чего это моргаешь?

Федя — седой сухой старик, только пожал широкими острыми плечами и молча кивнул в мою сторону своей по-солдатски подстриженной головой. В переводе этот жест означал: «Чужой человек здесь, ваше высокоблагородие»... Карнаухов посмотрел в мою сторону воспаленными голубыми глазками и, балансируя, направился ко мне с протянутой рукой.

— А, здравствуйте, батенька! — заговорил он таким тоном, точно мы вчера с ним расстались. — А я вас и не заметил... извините... А мы вчера у Безматерных с дьяконом Органовым сошлись... Вот уж поистине: гора с горой не сходится, а пьяница с пьяницей всегда сойдутся. Ну и устроили, я вам скажу, такое

попоище, такой водопой!.. Ха-ха!.. Доктора Поднебесного знаете? В окно выскочил да в лес... Совсем осатанел от четырехдневного пьянства... Спасибо, вот Федя поймал, а то бы наш доктор где-нибудь в шахте непременно утонул. Ей-богу!..

Карнаухов остановился, неверным движением поправил спутанные волосы на голове, улыбнулся и тоном не совсем проснувшегося человека проговорил:

— Послушайте, вы к Синицыну не ездите. Синицын — вор...

— Не пойман — не вор, ваше высокоблагородие! — коротко заметил Федя, поправляя широчайшей ручищей выцветший лацкан своей охотничьей куртки.

— Нет, братику, вор! — настаивал Карнаухов, напрасно стараясь попасть рукой в карман расстегнутого жилета, из которого болталась оборванная часовая цепочка. — Ну, да черт с ним, с твоим Синицыным... А мы лучше соборне отправимся куда-нибудь: я, Тишка, доктор, дьякон Органов... Вот пьет человек! Как в яму, так и льет рюмку за рюмкой! Ведь это, черт его возьми, игра природы... Что

ж это я вам вру! Позвольте отрекомендоваться прежде! Лука Карнаухов, хозяин Паньшинского прииска...

Заметив мой вопросительный взгляд, Карнаухов торопливо заговорил:

— Да, собственно, прииск принадлежит Миронее Самоделкиной, только Миронея-то Самоделкина принадлежит мне, яко моя законная жена... Теперь поняли? Еще в «Belle Helene» есть такой куплет:

Я муж царицы,
Я муж царицы...

Ах, черт возьми!.. Моя Миронея так же походит на Елену, как уксус на колесо... Ха-ха!.. А мы все-таки, батенька, поедем с вами... Федя, ведь поедем?

— Соснуть бы, ваше высокоблагородие! Три ночи не сыпали.

— По-твоему, значит, я должен удалиться в объятия Морфея?

Федя вместо ответа разостлал на постели Бучинского потертый персидский ковер и положил дорожную кожаную подушку: Карнаухов нетвердой походкой перебрался до при-

готовленной постели и, как был, комом повалился взъерошенной головой в подушку. Федя осторожно накрыл барина пестрым байковым одеялом и на цыпочках вышел из комнаты; когда дверь за ним затворилась, Карнаухов выглянул из-под одеяла и с пьяной гримасой, подмигивая, проговорил:

— Видели этого дурака, Федьку-то? Ведь дурак по всем трем измерениям, а моя-то благоверная надеется на него... Ха-ха!.. На улице жар нестерпимый уши жжет, а он меня байковым одеялом закрыл. Как есть, двояковыпуклый дурень!

Карнаухов весело и как-то по-детски хихикнул; взмахнул короткими ручками, как собирающаяся взлететь на забор курица, и после небольшой паузы опять заговорил:

— Послушайте... Есть двоякого рода подлецы: подлецы чистейшей воды, как Синицын или Бучинский, и подлецы честные, как ваш покорный слуга, Лука Карнаухов, муж Самоделкиной... Ну, скажите, ради бога, что это такое: муж купчихи Миронеи Самоделкиной... Я теперь послан в ссылку, некоторым образом, а Федька изображает цербера... Ведь я об-

разование высшее получил, голубчик! Как же! Думал даже пользу человечеству приносить! Миронея Самоделкина... Тьфу!.. Послушайте, однако, вы за кого меня считаете? Ну, сознайтесь, ведь подумали: «Вот, мол, дурак этот Лука, сроду таких не видал...» а?

Не дожидаясь ответа, Карнаухов боязливо посмотрел на входную дверь и с поспешностью нашалившего школьника нырнул под свое одеяло. Такой маневр оказался нелишним, потому что дверь в контору приотворилась и в ней показалась усатая голова Феди. Убедившись, что барин спит, голова скрылась: Карнаухов действительно уже спал, как зарезанный.

Погода к вечеру разгулялась; по синему небу белыми шапками плыли вереницы облаков; лес и трава блестели самыми свежими цветами. Природа точно обновилась под дождем и расцветала всеми своими красками. Федя сидел на крылечке и, от нечего делать, покуривал из коротенькой пенковой трубочки. Его потемневшее сморщенное лицо точно застыло в степенном, выжидающем выражении, как это бывает только у хороших собак и

старых слуг. В тупом взгляде небольших серых глаз, в уверенной улыбке, в каждом движении чувствовалось какое-то обидное холопское самодовольство. На пороге кухни сидел рыжий «кум», а напротив него, брюхом на зеленой траве, с соломинкой в зубах, лежал Гараська. Все трое молчали, но в выражении лиц и взглядов можно было заметить скрытую глухую злобу. Застарелый холоп ненавидел всеми силами своей души этих вольных людей, как собака ненавидит волков.

— Ну, чего вы чертями-то сидите? — не вытерпел, наконец, старик, когда я вышел на крыльцо. — Видите, барин вышел, ну, шапочку бы сняли. Ах, вы, чертоломы! Ведь с поклону голова не отвалится!

— А ты вот что, милый человек, — растягивая слова, заговорил Гараська своим тенором. — Мы не к тебе пришли, чего ты шепеpишься?.. Мы к Фоме Осипычу.

— «К Фоме Осипычу»... — передразнил Федя, сердито сплевывая на сторону. — Знаем мы вас... Не велик еще в перьях-то ваш Фома Осипыч!.. Избаловал он вас, вот что!

— Да ты нешто с того свету пришел, дедушко, чего больно ругаешься-то!.. Мотри, к ненастью...

— А то и ругаюсь, что насквозь вас вижу, всех до единого человека. Все ваши качества вижу.

Наступило принужденное молчание. Со стороны прииска, по тропам и дорожкам, брели старатели с кружками в руках; это был час приема золота в конторе. В числе других подошел, прихрамывая, старый Заяц, а немного погодя показался и сам «губернатор». Федя встречал подходивших старателей самыми злобными взглядами и как-то забавно фукал носом, точно старый кот. Бучинского не было в конторе, и старатели расположились против крыльца живописными группами, по два и по три человека.

— На Майне богатое золото идет, — говорил мужик с окладистой черной бородой. — Сказывают, старую свалку стали промывать, так, слышь, со ста пудов песку по золотнику падает.

— Но-о? — отозвался «губернатор».

— Верно.

— Вишь ты… а?! Старую свалку, говоришь?

— Да… Хотели пробу сделать, а тут богачество.

— Лаадно…

— У Майновских-то, золотников золото в сапогах родится, — ядовито заметил Федя. — Знаем мы, какую на Майне свалку моют… У Синицына, ежели он захочет, и золото из глины полезет. Варнаки вы все, вот что я вам скажу! — неожиданно заключил Федя, бросая вызывающие взгляды.

Старатели переглянулись; послышался сдержанный смех. От толпы отделился «губернатор» и неторопливым мужицким шагом подошел к самому крыльцу.

— А ты видал, в каких сапогах майновские-то золотники ходят? — спрашивал старик, не спуская глаз с Феди.

— Вы только послушайте ихний воровской разговор, — обратился Федя ко мне, не отвечая на вопрос губернатора. — Спроста слова не скажут… У них и язык свой, как у цыган.

— Ну-ну, дедко, скажи-ко по нашему-то? — спрашивал из толпы бойкий парень в кумачной рубахе. — Гляжу я на тебя, больно ты лют

хвастать-то...

— «Принеси мне смолы два, заноза в лесу», — проговорил Федя, опять обращаясь ко мне. — Поняли?

— Нет.

— Ну, а они понимают. Ведь понимаете? — обратился Федя победоносно к толпе старателей.

— А что это значит? — спросил я.

— «Принеси фунт золота, лошадь в лесу...» — объяснил Федя. — Золотник по-ихнему три, фунт — два, пуд — один; золото — смола, полштоф — притачка, лошадь — заноза... Теперь ежели взять по-настоящему, какой это народ? Разве это крестьянин, который землю пашет, али там мещанин, мастеровой... У них у всех одна вера: сколько украл, столько и пожил. Будто тоже золото принесли, а поглядеть, так один золотник несут в контору, а два на сторону. Волки так волки и есть, куда их ни поворотн!..

— Ты чего тут ругаешься, Федя? — спрашивал Бучинский, подходя к нашему крыльцу с прииска.

— Да вот, Фома Осипыч, любуюсь на ваших

золотников, — отвечал Федя, вытягиваясь во фронт. — Настоящая семая рота...

Бучинский засмеялся и прошел в контору; что хотел сказать Федя последним сравнением, так и осталось неизвестным. Старатели один за другим побрели в контору, а Федя, осторожно оглянувшись кругом, прошептал:

— Этого Фомку беспалого, сударь, мало повесить.

— Как так?

— Да уж так-с... Конечно, барин не занимается приисками, а барыня, Миронея Кононовна, по своему женскому малодушию, ничего даже не понимают. Правду нужно говорить, сударь... Так Фомка-то всем и верховодит: половину барыне, а половину себе. Ей-богу!.. Обошел, пес, барыню, и знать ничего не хочет. А дело не чисто... Я вам говорю. Слышали про Синицына-то, что даве барин говорил? Все как есть одна истинная правда: вместе с Фомкой воруют.

В это время в дверях показался старый Заяц.

— Ну, что, как дела? — спросил я его.

— Не спрашивай, барин... — глухо ответил

старик и махнул рукой.

— Что так? Плохо золото идет?

— Нет, золото ничего... Заходи как-нибудь к нам в балаган, покалякаем. А я неделю без ног вылежал... Ох-хо-хо!..

VI

Трудно себе представить что-нибудь оригинальнее уральской летней ночи. Внизу сгустился мрак, и черные тени залегли по глубоким лугам; горы и лес слились в темные сплошные массы; а вверху, в голубом небе, как алмазная пыль, фосфорическим светом горят неисчислимые миры. Прииск потонул в густом белом тумане, точно залитый молоком; огни у старательских балаганов потухли и только где-где глянет сквозь ночную мглу красная яркая точка. Слышно, как бродят по траве спутанные лошади; где-то залаяла собака; бестолково шарахнулась в застывшем воздухе птица и камнем пала в траву. Месяц бледным серпом выплыл из-за горы, и от него потянулись во все стороны длинные серебряные нити; теперь вершины леса обрисовались резкими контурами, и стрелки елей кажутся воздушными башенками скрытого в

земле готического здания. Но вот далеко-далеко из тумана встала проголосная русская песня и полилась по всему прииску:

Между го-ор-то было да Енисейских гор,
Раздается его томный глас...

— И песня-то разбойничья! — проговорил Федя.

— Как разбойничья?

— Да так — разбойничья, и все тут. Сложил эту песню разбойник Светлов, когда по Енисейским горам скрывался. Одно слово: разбойничья песня, ее по всем приискам поют. Этот самый Светлов был силищи непомерной, вроде как медведь. Медные пятаки пальцами свертывал, подковы, как крендели, ломал. Да... А только Светлов ни единой человеческой души не загубил, разбоем одним промышлял.

Мы долго сидели молча, прислушиваясь к заунывному мотиву разбойничьей песни. Я раскурил папироску.

— А позвольте узнать, сударь, — заговорил Федя, — из какого дерева у вас портсигар?

— Кажется, из ореха.

— Так-с... Из ореха.

Федя немного помолчал, затем вздохнул всей грудью, заговорил каким-то изменившимся слащавым голосом:

— Эх, сударь, что этого ореха в нашей Владимирской губернии растет... Ей-богу! А вишенье? А сливы? Чего проще, кажется, огурец... Такое ему и название: огурец — огурец и есть. А возьмите здешний огурец или наш, муромский. Церемония одна, а вкус другой. Здесь какие места, сударь! Горы, болотина, рамень... А у нас-то, господи батюшко! Помирать не надо! И народ совсем особенный здесь, сударь, ужасный народ! Потому как она, эта самая Сибирь, подошла — всему конец. Ей-богу!..

— А ты давно сюда попал?

— Я-то?.. Да считать, так все тридцать лет насчитаешь. Да-с. Глупость была... По первоначалу-то я, значит, промышлял в Москве. Эх, Москва-матушка! Было пожито, было погулянно — всячины было! Половым я жил в трактире, а барину своему оброк высылал. А надо вам сказать, что смолоду силища во мне была

невероятная... Она меня и в Сибирь завела. Да. Видите ли, как это самое дело вышло. Вы слыхали про купца Неуеденова?

— Нет.

— Ну, да где же и слыхать! — с самодовольной улыбкой проговорил Федя. — Вас еще тогда, может, и на свете не было. Это еще до крымской войны, сударь, было дело. Так вот-с, этот самый купец Неуеденов и повадился в наш трактир ходить. Так-с. Из себя невелик, а в крыльцах широк, и рука у него тяжелая. Хорошо. Вот, ходит он к нам в трактир и все как будто на меня поглядывает. Раз этак смотрел-смотрел на меня да и говорит: «А что, Федя, сила у тебя есть?» — «Есть, говорю, ваше степенство, маленькая силенка. Десятипудовые сундуки в третий этаж на собственной спине подымаю». — «Так, говорит. А хочешь, говорит, со мной силой попробовать: одолеешь — тебе десять рублей, не одолеешь — бог простит». Забавно мне это показалось, потому, думаю про себя, что возьму я его да со всем потрохом в окно выкину. Ей-богу! Бывалое дело, не такие столбы ломил... Ну-с, снял он с себя сюртучок, полотенце через плечо и

давай бороться. Что бы вы думали! Ходили-ходили мы, ка-ак он меня хлопнет под коленку, да о-земь... У меня свет из глаз! Ну, посмеялся он тогда, угостил водкой и говорит: «А ты мне, Федя, понравился; хочешь ко мне на службу поступить — жалованьем не обижу». То, се — и уговорил меня ехать с ним на Урал, а зачем — не сказал. Ну, собрались мы и але марш в дорогу. Тогда этих железных дорог и в помине не было; мы по зиме и махнули. Приезжаем мы на Урал, в Екатеринбурге наняли избушку и живем, а мой купец и говорит: «Ну, Федя, теперь торговать будем...» Смеется. «Чем?» — спрашиваю. — «Краденым золотом», — говорит. Как это самое слово сказал он, так меня даже в пот ударило. Думаю: пропала моя голова, не видать мне ни дна, ни покрышки. Ведь по тогдашним временам за эти дела по зеленой улице да в каторгу. Понимаете, сударь, я от этих самых мыслей и сна и пищи решился. Похудел даже из себя, а потом прихожу к своему купцу и говорю: «Ваше степенство, как хошь, а я тебе не слуга... Поищи другого». Опять смеется. «Испугался, Федя?» — спрашивает. — «Точно так», — говорю. — «Ну,

так, говорит, не бойся. Только, говорит, что я тебе скажу: было бы шито и крыто, а то я тебе так завяжу язык, что и ворон костей не найдет». И что бы вы думали? Ведь этот самый купец Неуеденов был совсем не купец, а вывороченный сюртук.

— То есть как — вывороченный сюртук?

— Ну, фискал, значит, а фамилия ему Суставов, Аркадий Павлыч. Из дворян был, из настоящих, а тут его и послали на Урал хищников обследовать. Ведь в те поры хошь оно и строгой закон был, а золотом торговали, как все равно крупой. Открыто торговали... Хорошо. Вот мы и стали жить да поживать в Екатеринбурге, а сами дела эти хищнические разведывали. Скупали золото кой у кого из богатых мужиков, а Аркадий Павлыч все в книжечку да книжечку записывают. Ей-богу!.. Столько эта книжечка после горя да слез принесла, что и думать, так не придумать! На Березовских золотых приисках много народу попалось, в Уктусе, в Шарташе... В Шарташе-то нас чуть и не покончили с Аркадием Павлычем. Народ живет тут самый закоснелый, раскольники с испокон веку. Ну, и про-

ведали они про нас что али так хотели покорыстоваться скупленным золотом, только едем, этак ночью, с Аркадий Павлычем, иноходчик у него был гнеденький — ну, катим, как по маслу — а тут пых со стороны из ружья! А впереди двое на вершной стоят и ждут. Тут нам и сила наша пригодилась: как поравнялись верховые — сейчас из стороны трое и прямо в сани. Только и силен был Аркадий Павлыч! Как мы зачали их, еретиков, поворачивать — вдвоем пятерых, как гнилую картошку раскатали, только шерсть полетела. Так господь и отнес беду, а то шабаш: кунчал голова. Пожили мы тогда в Екатеринбурге, долго ли, коротко ли, а потом Аркадий Павлыч и говорит: «Ну, теперь мы с тобой в самое гнездо поедем, откуда это золото идет». И точно, этак по зиме, склались на саночки и марш на заводы. Первым делом в Касли... Тут даже совсем открыто торговали золотом, без всякой обережки. Даже бабы торговали. Ну, мы и ходим по избам да покупаем, а Аркадий Павлыч придет куда в избу да перстеньком на окошке в стекле и оставит заметочку, значит в перстне-то брильянт был, так он брильян-

том-то и запишет, сколько этого золота купили и когда. А книжка — само собой... Из Каслей проехали на Миас, тут уж совсем лафа подошла: в деревне Надыровой у одного башкира мы купили пуд пять фунтов золота-то. Вон оно куда пошло... Да. А потом, сударь мой, поехали мы под Петропавловск, к Троицку — везде работишка была, Аркадий Павлыч пишет да пишет перстеньком своим. Ну-с, как обделали мы всех этих подлецов, Аркадий Павлыч сейчас бумагу в Петербург, а потом и давай по книжечке всех ловить... Ведь несколько сот человек тогда влетело по золоту! А что было по заводам — страсти господни: так ревмя и ревет народ. Однех баб сколько забрали... Ну, обнаковенно, всех этих подлецов привезли в Екатеринбург, давай судить, а потом мужиков повели по зеленой улице да в каторгу, а баб плетями. Такой страх тогда был, такой вой да рев, что и не рассказать... А в заводах, так совсем даже пусто сделалось после этого, сразу захудали. И теперь еще поют по заводам песню, которую тогда по этому случаю сложили:

Уж ты сад ли, мой сад, сад зеле-

ный виноград.
Отчего ты, сад, повял?

— А потом я женился, ну и пришлось остаться здесь, — закончил свой рассказ Федя. — Аркадий-то Павлыч приглашал меня в Петербург, да я не поехал тогда. Тут подвернулся генерал Карнаухов... Может, слыхали?

— Да, слыхал.

— Как же не слыхать, первеющий анжинер был по всему Уралу. Лука-то Васильич, теперешний барин мой, сынком им приходится и тоже в анжинерах. Только супротив родителя куды — не та церемония. Генерал-то жил князь князем. Прежде ведь анжинеры были первое дело; не то, что по-теперешнему, с позволения сказать, всякая шваль лезет в господа. Лука-то Васильич уж очень просты, гонору в них совсем нет, ведь дворянское дите. Я ведь их сызмальства выхаживал и, можно сказать, привесился к ихнему характеру вполне-с. Теперь вот эта ихняя слабость к водке много преферансу убавляет: как барин закурит — сейчас на прииска, да здесь и хоровод дятся недели две-три. А какой народ на приисках? Сами знаете. Конечно, доктора Подне-

бесного взять — уважительный человек, а остальные... Охо-хо-хо!.. Что и будет, сударь!.. Везде купец силу забрал, а настоящему барину житья совсем нет. Возьмите теперь Тишку Безматерных или Синицына — ведь мужичье! Порты да рубаха — и вся тут церемония, а как они настоящими господами ворочают...

Федя задумался, выпустил несколько клубов дыма и печально прибавил:

— Проклятая здесь, сударь, сторона...

— Что так?

— А то как же... Все это проклятое золото мутит всех. Ей-богу!.. Даже в другой раз ничего не разберешь. Недалеко взять: золотники... Видели? Эх, слабое время пошло. Поймают в золоте, поваландался в суде, а потом на высидку. Да разе мужика, сударь, проймешь этим? Вот бы Аркадий Павлыча послать на нонешние промысла, так мы подтянули бы всех этих варнаков... Да-с.

VII

Среди глубокой ночи, когда все кругом спало мертвым сном, я был разбужен страшным шумом. В первую минуту, спросонья, мне показалось, что горит наша контора и прискака-

ла пожарная команда.

— Гости пожаловали, Фома Осипыч! — докладывал в темноте голос Феди.

— А?.. чего? Який там бис? — отозвался Бучинский, выскакивая на крыльцо в одном белье... — Го... да тут целая собачья свадьба наехала! — проговорил он сердитым голосом, возвращаясь в контору за сапогами и халатом.

— На двух тройках, сударь, — слышался в темноте голос Феди.

Я поспешил поскорее одеться и вышел на крыльцо. При слабом месячном освещении можно было рассмотреть только две повозки, около которых медленно шевелились человеческие тени. Фонарь, с которым появился Федя около экипажей, освещал слишком небольшое пространство, из которого выставлялись головы тяжело дышавших лошадей и спины двух кучеров.

— Отцы... уморили! Ох, смерть моя!.. — доносился чей-то хриплый голос из глубины одной повозки. — Ослобоните, отцы... Дьякон раздавил совсем... Эй, черт, вставай!..

Я побежал на выручку задавленного и, при

свете фонаря Феди, увидал такую картину: из одной повозки выставлялась лысая громадная голова с свиными узкими глазками и с остатками седых кудрей на жирном, в три складки, затылке.

— Да где дьякон-то, Тихон Савельич? — спрашивал Федя, тыкая своим кулаком в глубину повозки.

— Ах, отец... да ведь это ты, Федя? — с радостным изумлением проговорила голова. — Тащи дьякона, отец! Подлец, навалился как жернов и дрыхнет... Тащи его, Феденька, за ноги! Ой! Смерть моя... Отцы, тащите дьякона!

На эти отчаянные вопли около повозки собралось человек десять, и длинное тело дьякона Органова, наконец, было извлечено из повозки и положено прямо на траву. Это интересное млекопитающее даже не соблаговолило проснуться, а только еще сильней захрапело.

— Ишь, кашалот какой! — ругался Тихон Савельич, пиная дьякона короткой, толстой, как обрубок, ногой.

— Да как вас угораздидо? — спрашивал

кто-то в толпе.

— А черт его знает, как оно вышло... — хрипел Тихон Савельич. — Все ехали ладно, все ладно... а тут, надо полагать, я маненичко вздремнул. Только во снях и чувствую: точно на меня чугунную пушку навалили... Ха-ха!.. Ей-богу!.. Спасибо, отцы, ослобонили, а то задавил бы дьякон Тихона Савельича. Поминай, как звали.

Покачиваясь на коротких ножках, старик, как шар, вкатился на крыльцо. Эта заплывшая жиром туша и был знаменитый Тишка Безматерных, славившийся по всему Уралу своими кутежами и безобразиями.

— Синицын здесь, — конфиденциально сообщил мне Федя. — Такая темная копейка — не приведи истинный Христос!..

В дверях конторы я носом к носу столкнулся с доктором; он был в суконной поддевке и в смятой пуховой шляпе. Длинное лицо с массивным носом и седыми бакенбардами делало доктора заметным издали; из-под золотых очков юрким, бегающим взглядом смотрели карие добрые глаза. Из-за испорченных гнилых зубов, как сухой горох, торопливо и бес-

порядочно сыпались самые шумные фразы.

— Бучинский! Где Бучинский? — неистово кричал доктор. — Голоден, ангел мой, как сорок тысяч младенцев... Ах, извините, ангел мой!.. Доктор Поднебесный, к вашим услугам... Только не дайте умереть с голоду. За одну яичницу отдам тридцать фараонов и одного Бучинского. Господи, да куда же провалился Бучинский? Умираю!

— На Руси с голоду не умирают, доктор, — послышался из конторы чей-то приятный низкий голос с теноровыми нотами.

— Это Синицын говорит! — шепнул мне Федя, втаскивая в контору кипящий самовар.

У письменного стола, заложив нога за ногу, сидел плотный господин с подстриженной русой бородкой. Высокие сапоги и шведская кожаная куртка придавали ему вид иностранца, но широкое скуластое лицо, с густыми сросшимися бровями, было несомненно настоящего русского склада. Плотно сжатые губы и осторожный режущий взгляд небольших серых глаз придавали этому лицу неприятное выражение: так смотрят хищные птицы, готовясь запустить когти в свою добычу.

Может быть, я испытывал предубеждение против Синицына, но в нем все было как-то не так, как в других: чувствовалась какая-то скрытая фальшь, та хитрость, которая не наносит удара прямо, а бьет из-за угла.

Бучинский шустро семенил по конторе и перекатывался из угла в угол, как капля ртути; он успевал отвечать зараз двоим, а третьему рассыпался сухим дребезжащим смехом, как смеются на сцене плохие комики. Доктор сидел уже за яичницей-глазуньей, которую уписывал за обе щеки с завидным аппетитом; Безматерных сидел в ожидании пунша в углу и глупо хлопал глазами. Только когда в контору вошла Аксинья с кринкой молока, старик ожил и заговорил:

— Здравствуй, Аксиньюшка! Как живешь-можешь? Да подойди сюда ближе, ведь не укушу... Ишь ты какая гладкая стала: как ямистая репа.

Старик попытался было поймать своей опухшей рукой шуструю бабенку, но та ловко вывернулась из его объятий и убежала на крыльцо.

— Вроде как молонья, раздуй ее горой! —

удивлялся Безматерных, почесывая бок, придавленный дьяконом.

— У Бучинского есть вкус, господа, — прибавил доктор, вытирая губы салфеткой.

— Какой вкус... что вы, господа! — отмахивался Бучинский обеими руками, делая кислую гримасу. — Не самому же мне стряпать?.. Какая-нибудь простая деревенская баба... пхэ!.. Просто взял из жалости, бабе деваться некуда было.

— Врешь, врешь и врешь! — послышался голос Карнаухова, который успел проснуться и теперь глядел на всех удивленными, заспанными глазами. — Вот те и раз... Да откуда это вы, братцы, набрались сюда?.. Ловко!.. Да где это мы... позвольте... На Любезном?

— Попал пальцем в небо... Не узнал своей конторы?..

Взрыв общего смеха заставил Карнаухова прийти в себя, и он добродушно принялся хохотать вместе с другими, забавно дрыгая ногами.

— Вот и отлично! Мы после чая такую цхру сочиним! — провозгласил Безматерных. — Чертям будет тошно...

— Я отказываюсь, господа, — заявил Синицын. — Вы дорогой выспались, а я ни в одном глазу.

— Павел Капитоныч, голубчик... одну партию! — умолял доктор.

— Нет, не могу. Не спал...

— Вот и врешь, — кричал Карнаухов. — Я ведь знаю тебя: ты, как заяц, с открытыми глазами спишь. Ну, да черт с тобой: дрыхни. Мы и без тебя обойдемся: я, Бучинский, доктор, Тихон Савельич — целый угол народу набрался.

Сейчас после чая началася знаменитая «цхра». Бучинский мастерски сдавал карты, постоянно хихикал и громко выкрикивал приличные случаю прибаутки. Мне с Синицыным Федя устроил постели из свежего душистого сена под навесом, где обыкновенно ставили экипажи. Восточная сторона неба уже наливалась молочно-розовым светом, когда мы, пожелав друг другу спокойной ночи, растянулись на своих постелях; звезды тихо гасли; прииск оставался в тумане, который залил до краев весь лог и белой волной подступал к самой конторе. В просыпавшемся ле-

су перекликались птичьи голоса; картине недоставало только первого солнечного луча, чтобы она вспыхнула из края в край всеми красками, цветами и звуками горячего северного летнего дня.

— Завтра вёдро будет, — говорил Синицын, зевая и крестя рот. — Роса густая выпала...

VIII

На другой день, когда я проснулся, солнце стояло уже высоко; Синицына под навесом не было. По энергическим возгласам, доносившимся до меня из отворенной двери конторы, можно было убедиться, что игра шла полным ходом.

На зеленой лужайке, где стояли экипажи, образовалась интересная группа: на траве, в тени экипажа, лежал, растянувшись во весь свой богатырский рост, дьякон Органов; в своем новеньком азяме, в красной кумачной рубахе с расстегнутым воротом и в желтых кожаных штанах, расшитых шелками, он выглядел настоящим русским богатырем. Молодое лицо, с румянцем во всю щеку, писаными бровями и кудрявой русой бородкой, дышало

здоровьем, а рассыпавшиеся по голове русые кудри и большие, темно-серые соколиные глаза делали дьякона тем разудалым добрым молодцем, о котором в песнях сохнут и тоскуют красные девицы. В головах у дьякона сидел, сложив ноги калачиком, Федя, а в ногах на корточках поместился Ароматов. Последний, рядом с дьяконом, просто был жалок; в руках у него белела перевязанная ленточкой трубочка каких-то бумаг.

— Третью сотню доктор просаживает, — заговорил Федя, пуская кверху тонкие струйки дыма. — Тишка тоже продулся. Бучинский всех обыграет...

— Ну, а твой барин чего смотрит? — отозвался Органов, не поворачивая головы.

— Чего, барин... известно!.. — недовольным тоном ответил Федя. — У него одна линия: знай, коньяк хлещет, знай хлещет...

Пауза.

— Федя! — каким-то упавшим голосом заговорил Органов, тяжело поворачиваясь на один бок. — Федя, голубчик!..

— Ну?

— Ах, право, какой ты!?. Ведь у меня все

нутро выжгло. Рюмочку бы коньячку... а?.. Всего одну рюмочку, Федя... а?

— А черт ли тебе велел лакать столько? — ворчал старик.

— Да ведь нельзя, Федя... Сам знаешь Тишку: пей, хоть расколись! Я теперь второй месяц свету не вижу. Ежели бы они играли, так хоть обливайся, а теперь жди! Легко это?

Федя укоризненно покачал головой, но поднялся и заковылял в контору.

— Неужели вы не можете жить иначе? — спрашивал Ароматов.

— Да как иначе-то?

— Нужно дело какое-нибудь выбгать и габотать. Вон у вас какое здоговье... А какую вы голь иггаете у Тишки?

— Я-то?.. Ох-хо-хо... — застонал Органов. — Чревоугодие одолело... натура... Понимаешь?.. Главо моя, главо, камо тя преклоню?.. Ты думаешь, мне нравится свое-то свинство? Нет, брат, я сам эту водку презираю... да!..

— А вы сделайте усилие над собой. Ведь стоит только захотеть. Слыхали об амегиканцах? Нужно жить по-амегикански.

— У тебя это какая бумага-то?

— Это... это пгоэкт, котогый я сегодня гг. золотопгомышленникам пгедставлю. Мне пгишла в голову блестящая идея.

Этот интересный разговор был прерван появлением Феди, который осторожно нес налитый до краев дорожный серебряный стаканчик.

— На, лакай!

Органов разом «хлопнул» стаканчик в свою широкую глотку, в которой только зажурчало.

За завтраком, который Аксинья подала на крыльцо, шел очень оживленный разговор о золотопромышленности; Бучинский, Карнаухов и Безматерных продолжали резаться в цхру и не принимали участия в завтраке.

— Ну-с, как ваша канава, доктор? — спрашивал Синицын, прищуривая слегка один глаз.

— Ох, ангел мой! — вздохнул тяжело доктор. — Ведь погубила меня эта канава... Вы представьте себе: она стоит мне восемь тысяч рублей, а теперь закапываю девятую.

— Вольному воля... Для чего вам она?

— Вот милый вопрос... Как для чего? А во-

да? Ведь воду нужно было отвести, чтобы продолжать работы. У меня на прииске эта проклятая вода, как одиннадцатая египетская казнь.

— Кто же это вам посоветовал рыть именно канаву?

— Да ведь воду нужно отвести!

— Хорошо. Однако, какой умный человек посоветовал вам отводить воду именно канавой?

— Своей головой дошел, ангел мой.

— Гм... А не лучше ли было бы поставить три таких паровых машин, как у Бучинского? Ведь оне стоили бы не дороже канавы, а в случае окончания работ вы канаву бросите, а машины продали бы.

— Э, ангел мой! Хорошо советовать после времени, когда дело сделано. Нет, вы влезьте-ка в мою кожу...

— Именно?

— Да как же, погубил меня прииск... По уши в долгах, практику растерял, опустился вообще. Ведь это чего-нибудь стоит? Хорошо вам! Вы золото гребете лопатой.

— И у нас всяко бывало.

— Так-с... Ведь у вас старательские работы?

— Да.

— У меня тоже, — глухо проговорил доктор. — Старатели — это органическое зло; это вопрос государственной важности. Они меня вконец зарежут: последние крохи золота тащат с прииска и продают на сторону. Да вот вы посторонний человек, — обратился доктор ко мне, — ну-с, как вы нашли наших старателей?

— Мне кажется, что вы ошибаетесь, доктор...

— Как, ошибаюсь? Значит, по-вашему, старателям следует воровать наше золото?

— Нет, я этого не говорю. Но думаю...

— Нет, вы представьте себе, — кричал доктор, не слушая меня и размахивая руками: — чего смотрит правительство... а?.. у нас на четыреста приисков полагается один горный ревизор... Ну, скажите вы мне, ради самого создателя, может он что-нибудь сделать? О горных исправниках и штейгерях говорить нечего... Нужно радикальное средство, чтобы прекратить зло в самом корне.

— Это средство в ваших руках, доктор, —

заметил я. — Вы сколько теперь платите своим старателям за золотник?

— Больше, чем другие: два рубля.

— Назначьте старателям три рубля за золотник, и воровство падет само собой.

— Это невозможно, — певуче заговорил Синицын. — Во-первых, мы платим арендные деньги за землю, во-вторых, вносим государственную пошлину, а самое главное, мы несем страшный риск при переходе от ручной промывки к машинной... Вот вам живой пример — канава доктора.

— Да вы взгляните, ангел мой, взгляните! — патетически воскликнул доктор, указывая рукой на прииск. — Что это такое? Свиньи раскопали...

— Государство несет страшный убыток от старательских работ, — вторил Синицын. — Старатели не добывают из земли и половины всего золота, потому что не могут вести работ в широких размерах. Они не разрабатывают хорошенько россыпей, наваливают торфами лучшие залежи песков и этим загораживают дорогу крупным предпринимателям.

— Да, да!.. — кричал доктор. — Притом, ста-

ратель по самой организации своего труда хищник с ног до головы: он выбирает только лучшие куски, снимает сливки и бросает, чтобы перейти к другим. Старатель может разрабатывать только россыпи с содержанием 60–70 долей золота на 100 пудов песку, тогда как в Америке выгодным считается промывать россыпи с содержанием 5 долей.

— Это верно, доктор, — согласился я. — Только вы забываете, что в Америке золотопромышленник самый мелкий получает полную цену добытого золота, а ваш старатель довольствуется третью этой цены. Затем, климатические условия в Америке совсем другие, там неизмеримо шире развита промышленность, дешевле капиталы, наконец — предприимчивость янки вошла в пословицу…

— Э, ангел мой, и у нас будет все то же, только при конкуренции старательских работ нам немыслимо поставить дело на вполне рациональных условиях.

Доктор набросал широкую картину золотого промысла «на рациональном основании», которая составлялась из двух частей: собственно приискового хозяйства — заготовка

материалов и припасов, своевременная доставка их на прииск — и усовершенствование техники: рельсовые пути для подвозки песков, паровые элеваторы, штанговые и центробежные машины, турфование при помощи сжатого воздуха. Чтобы окончательно убедить в чудесах золотопромышленной техники, доктор привел пример того, что артель в 6 человек, 2 мужика и 4 бабы, добывая песок горным, шахто-ортовым способом, едва успевает промывать в день 600 пудов, тогда как, при открытых работах, разрезом, та же артель свободно промоет целую кубическую сажень песков, то есть 1200 пудов.

— Если еще после этого вы... — ораторствовал доктор, но не договорил своей фразы.

К нам незаметно подошел Ароматов и, сняв свою шляпу, униженно раскланивался, прижимая к сердцу свой сверток, как это делают раскланивающиеся с публикой концертные певцы и певицы.

— Вам что угодно? — спросил доктор, не зная, как принять эти поклоны.

— Если, господа, у вас найдется свободная минута... — заговорил Ароматов, продолжая

раскланиваться. — Я, конечно, маленький человек... очень маленький... Да вот пгочтите пгоэкт, господа, там все сказано. Счастливая мысль, очень счастливая мысль...

Синицын сморщил нос и через плечо едва взглянул прищуренными глазами на маленького человека. Для чего Ароматов ломался — я никак не мог понять. Доктор взял «проэкт», развернул несколько листов чисто переписанной бумаги и прочитал выведенный готическими буквами заголовок:

— «Опыт решения социального вопроса по последним данным науки и на основании указаний практики, поскольку он касается всего человечества вообще, русского народа в частности и приисков в особенности...»

Если бы над нашей головой раздался пушечный выстрел, вероятно впечатление получилось бы слабее: доктор с раскрытым ртом вопросительно посмотрел сначала на нас, потом на Ароматова.

— Послушайте! Что же вы стоите без шляпы? — заговорил он в смущении. — Да идите сюда... Вот вам стул. Не хотите ли завтракать?

Ароматов, скомкав шляпу под мышкой, ка-

ким-то приниженным шагом взошел на крыльцо и продолжал молча отвешивать поклоны; стоило большого труда упросить его взять свободный стул и сесть к столу.

— Чего же вы собственно хотите именно от нас? — спрашивал доктор, не зная, как ему смотреть на нового гостя: Как на сумасшедшего или просто как на чудака.

— Я-с, собственно, ничего не хочу и не могу хотеть, кгоме того, чтобы вы удостоили своим пгосвещенным вниманием мой пгоэктец, — униженно заявлял Ароматов, усаживаясь на самый кончик стула.

Пробежав первые строки рукописи, доктор внимательно посмотрел на автора «Опыта» и опять погрузил свой длинный нос в бумаги. Однако чтение продолжалось недолго: доктор передал рукопись мне, а сам залился неудержимым смехом, как умеют хохотать только очень добрые люди. Как я ни был подготовлен к фокусам Ароматова, но его «Опыт» превзошел самые смелые ожидания: это была невообразимая окрошка из ученых выводов и сентенций, перемешанных с текстами священного писания, стихами Гейне и собствен-

ными размышлениями автора. Болезненная фантазия Ароматова без разбору нанизывала одно на другое и в результате получалась какая-то сумасшедшая мозаика. Синицын полюбопытствовал узнать содержание «Опыта» и, пробежав через мое плечо первую страницу, проговорил:

— Да это социалист, господа…

— Где социалист? Какой социалист? — спрашивал Карнаухов, появляясь в дверях. Заметив Ароматова, он, пошатываясь, подошел к нему и поцеловал в лысину. — Да ты как сюда попал, черт ты этакой?.. Ароматов… тебя ли я вижу?! Господа, рекомендую! Это — Шекспир… Ей-богу!.. Ароматов, не обращай на них, дураков, внимания, ибо ни один пророк не признается в своем отечестве… Блаженни чистии сердцем… Дай приложиться еще к твоей многоученейшей лысине!..

На эти возгласы Карнаухова из конторы выкатился собственной персоной сам Тихон Савельич; от бессонной ночи и выпитого вина его сыромятное лицо светило каким-то жирным блеском, а глаза были совсем мутны.

— Какого это ты француза поймал? — спра-

шивал старик Карнаухова, показывая своим точно обрубленным пальцем на Ароматова.

— Погодите, погодите... Соловья баснями не кормят, — суетился Карнаухов, затаскивая Ароматова в контору. — Ну, брат, прежде всего устроим разрешение вина и елея... Вкушаешь?

— Единую — могу...

— Сначала, конечно, единую!

После трех рюмок Ароматов сразу воодушевился и продекламировал несколько куплетов из Беранже; невзыскательная публика аплодировала артисту, а Безматерных фамильярно хлопнул его своей пятерней по плечу и хрипло проговорил:

— Да ты, кошки тебя залягай, из заправских актеров, что ли?

Выпитое вино, общие похвалы и внимание воодушевили Ароматова; он, потирая руки, раскланивался на все стороны, как заправский актер, и по пути скопировал Бучинского, который все время смотрел на него с кислой физиономией.

— Комедиант! — презрительно пожимая плечами, заявил Фома Осипыч. — Которы по-

рядочны человик есть, он никогда не позволит себе...

— Давайте, господа, обедать! — предлагал Карнаухов.

Обед был подан на крыльце и состоял всего из двух блюд: русских щей и баранины. Зато в винах недостатка не было, и Карнаухов, в качестве хозяина прииска, одолел всех. Ароматов сидел рядом с хозяином, и на его долю перепало много лишних рюмок, так что, когда встали из-за стола, он несколько раз внимательно пощупал свою лысую голову и скорчил такую гримасу, что все засмеялись.

— Ну, что, Шекспир? — спрашивал Карнаухов. — А где у вас дьякон, господа? Вот интересно бы их свести вместе?

— Дьякон спит, ваше высокоблагородие, — докладывал Федя. — Они немного не в себе.

— Господа... устгоимте маленькую сцену! — предлагал расходившийся Ароматов. — Я вам один газыггаю опегу.

При помощи двух досок и стульев устроены были две скамьи для публики, а сцена помещалась в переднем углу. Когда публика заняла места, Ароматов с театральным жестом

объявил:

— Господа, внимание: увегтюга!

Ароматов заиграл на губах интродукцию. Кто-то подавленно прыснул, а Безматерных захватил обеими руками свою сыромятную рожу и запыхтел, как локомотив. «Господи, прости нас многогрешных», — захрипел старик, когда Ароматов перешел к первому действию и заходил по комнате театральным шагом Сусанина. Пел он разбитым голосом, но роли выдерживал удивительно: номера из женских партий исполнял фистулой. Странно, что первое смешное впечатление исчезло, когда началась драматическая часть пьесы: этот смешной, жалкий чудак умел вдохнуть жизнь в свое паясничество и добавлял жестом и мимикой то, что не мог передать голосом. Наконец, Сусанин падает под ножом поляков; публика готова была зааплодировать актеру, который теперь безмолвно лежал на полу, как настоящий убитый, но он поднимает свою плешивую голову и говорит:

— Тише, господа... сейчас будет похогонный магш.

Ароматов опять растянулся на полу и заиг-

рал марш на погребение Людовика XIV. Это было уже слишком, и вся публика разразилась дружным хохотом. Безматерных не мог выдержать — выбежал на сцену и хлопнул лежавшего на полу Ароматова ладонью прямо по лысине.

— Подлец! — закричал Ароматов, поднявшись с полу.

— А ты дурак... ха-ха!.. — заливался Безматерных.

Вместо ответа обезумевший чудак бросился на старика с кулаками; их едва розняли.

— Вы... все... эксплуататогы! — кричал опьяневший от злости Ароматов со слезами на глазах. — Я агтист... я никого не обижал... я... вы обигаете нагод... Пьете чужую кговь!.. Газбойники!?

— Ох-хо-хо!.. — заливался Безматерных, подставляя ногу неистовствовавшему чудаку. — Ох! горе душам нашим!

— Кговопийцы!.. Вы не золото добываете на пгиисках, а кговь человеческую...

С Ароматовым сделался истерический припадок и его едва могли уложить на постель; нашатырный спирт и холодные компрессы

немного его успокоили, но время от времени он опять начинал плакать и кричать:

— Доктог... я не обидел никого... не смеялся ни над кем... Доктог... вот тут, сейчас за стеной... сотни людей мучатся целую жизнь... Женщины... дети, доктог!.. мой пгоэкт... там все сказано!..

Ароматов с детскими рыданиями упал своей лысой головой в подушку.

— Ох, уморили отцы!.. — вздыхал на крыльце Безматерных, вытирая вспотевшую красную рожу бумажным платком. — Ужо дьякону надо отказать, а взять этого... как бишь его... Шекспира... ха-ха!..

Вечером в конторе стояло кромешное пьянство. Ароматов спал на постели Бучинского; его место занимал дьякон Органов.

— Затягивай, дьякон!.. — орал Безматерных, сидя на полу в одной рубахе.

Дьякон встал на средину комнаты, приложил одну руку к щеке, закрыл глаза и ровным бархатным тенором затянул проголосную песню:

Со вечера дождичек,
По утру раным туман,

На меня, на девицу,
Пришла скука и печаль...

Хриплым голосом подхватил песню Безматерных, раскачиваясь туловищем на обе стороны; подтянул ее своим фальшивым тенориком Синицын, даже доктор и тот что-то мычал себе под нос, хотя не мог правильно взять двух нот. Бучинский сидел в углу, верхом на табуретке, и тоже пел только свою собственную хохлацкую песню:

Ой, я нэщастный...
Сполюбив дивчину.
А вона не хоче... не хо-оче!!

А в открытые окна конторы глядела чудная летняя ночь, насквозь прохваченная легкой изморозью. Туман сгустился на самом дне прииска, вдоль течения Паньи, по обеим берегам которой были навалены недавно срубленные деревья. При колеблющемся свете месяца вся картина прииска грустно настраивала душу. Казалось, что перед глазами раскинулось поле сражения каких-то великанов, покрытое теперь трупами убитых. При неверном месячном свете все предметы при-

нимали фантастические очертания, особенно срубленные деревья. Вот, например, лежит у самой речки громаднейший вояка: очевидно, он горячо гнал врага, невзначай попал на роковую пулю, да так и растянулся во весь свой богатырский рост, уткнув голову в ночной туман. Немного подальше лежит целый ряд убитых; можно рассмотреть даже отдельные члены: вот бессильно согнутые и застывшие в этом положении ноги, вот судорожно скорченная рука, которою убитый все еще хватается за свою рану... Ближе виднелись две женские фигуры, которые наклонились над чьим-то распростертым трупом. А там, где около старательских балаганов сквозь туман мелькали огни, там раскинулся стан торжествующих победителей... Воображение дополняло то, чего не мог схватить глаз, и, кажется, в самом воздухе, в этом чудном горном воздухе, напоенном свежестью ночи и ароматом зелени и цветов, — в нем еще стояли подавленные стоны и тяжелые вздохи раненых.

IX

В течение двух дней гости успели настолько надоесть, что я постарался как можно

раньше утром уйти на охоту. Погода стояла великолепная, как это бывает только в конце июля на Урале; солнце весело золотило верхушки деревьев и ложилось по траве золотыми колеблющимися пятнами. Брести по высокой густой траве, еще полной ночной свежести, доставляло наслаждение, известное только охотникам; в лесу стояла ночная сырость, насыщенная запахом лесных цветов и свежей смолы. Я люблю северный лес за строгую красоту его девственных линий, за бархатную зелень красавиц-пихт, за торжественную тишину, которая всегда царит в нем. Вообще люблю этот могучий лес-великан, как олицетворение живой стихийной силы.

Особенно хорошо в самом густом ельнике, где-нибудь на дне глубокого лога. Непривычному человеку тяжело в таком лесу, где мохнатые ветви образуют над головой сплошной свод, а сквозь него только кой-где проглядывают клочья голубого неба. Между древесными стволами, обросшими седым мохом и узорчатыми лишаями, царит вечный полумрак: свесившиеся лапчатые ветви елей и пихт кажутся какими-то гигантскими рука-

ми, которые точно нарочно вытянулись, чтобы схватить вас за лицо, пощекотать шею и оставить легкую царапину на память. Мелкий желтоватый мох скрадывает малейший звук, и вы точно идете по ковру, в котором приятно тонут ноги; громадные папоротники, которые таращатся своими перистыми листьями в разные стороны, придают картине леса сказочно-фантастический характер. Прибавьте к этому неверное слабое освещение, которое, как в каком-нибудь старом готическом здании, падает косыми полосами сверху, точно из окон громадного купола, и вы получите слабое представление о том лесе, про который народ говорит, что в нем «в небо дыра». Как-то даже немного жутко сделается, когда прямо с солнцепека войдешь в густую тень вековых елей и пихт и кругом охватит мертвая тишина, которой не нарушают даже птичьи голоса. Птицы не любят такого леса и предпочитают держаться по опушкам, около лесных прогалин и в молодых зарослях. В настоящую лесную глушь забирается только белка да пестрый дятел; здесь же по ночам ухает филин и тоскливо надрывается

лесная сирота, кукушка. Каждый раз, когда мне приходится бывать в нетронутом настоящем лесу, мною овладевает то особенное душевное состояние, которое переживалось еще в детстве, когда случалось с смешанным чувством страха и благоговения проходить по пустой церкви. Лучшие лесные пейзажи, которым удивляется публика на выставках, просто кажутся жалкими по сравнению с вечно подвижной и глубоко поэтической в каждом своем уголке природой.

С Паньшинского прииска мне нужно было взять сначала на лесистую небольшую горку, перевалить через нее и спуститься на увал, который и должен был вывести к безымянной речке, а от этой речки верстах в двух проходила дорога на Майну. По маршруту рыжего кума, чтобы пройти на Мохнатенькую горку, следовало пройти по этой дороге верст пять, а там сделать поворот влево, перейти пять ложков — тут тебе будет и Мохнатенькая. Я так и сделал. До выхода на майновскую дорогу успел убить двух рябчиков, а когда отыскал, наконец, дорогу — солнце было уже высоко. Плестись по пыльной дороге в жар

было плохое удовольствие, и я начинал подумывать об отдыхе. В одном месте, где дорога спускалась по глинистому косогору, меня нагнал экипаж Синицына, в котором ехал сам хозяин вместе с доктором; за первой тройкой показалась вторая, нагруженная спавшими телами Безматерных и Карнаухова. Федя сидел на облучке и приподнял весело свою поповскую шляпу; из кузова выставлялись в желтых сбившихся до колен штанах ноги дьякона Органова.

— Видели? — спрашивал Федя, кивая головой на первый экипаж. — Поистине: связался черт с младенцем... А мы на Майну катим. До свидания, сударь!

Я проводил последний экипаж и свернул по своему маршруту влево; по дну второго ложка весело катился холодный, как лед, ключик. Я выбрал местечко в тени пушистой черемухи и с наслаждением растянулся на зеленой высокой траве, которая встала вокруг меня живой стеной. Красиво колебались в воздухе красные верхушки иван-чая, облепленные шелковистым белым пухом; тут же наливались в траве широкие шапки лесного

пахучего шалфея с тысячами маленьких цветочков цвета лежалых старых кружев. Несколько кустов малины приютились около кучки гранитных обломков, бог знает, какой силой занесенных в это уединенное место; над самым ключиком свесили свои липкие побеги молодая верба и несколько кустов черной смородины. Трудно было подобрать уголок красивее, и я с удовольствием отдыхал здесь, прислушиваясь к жужжанью ос и шмелей, которые кружились над головками шалфея. Из лесу доносились голоса каких-то птичек, назвать которых я не умею — мало ли вольной птицы в лесу — и мне каждый раз бывает как-то больно, когда непременно хотят определять, какая именно птица поет. Бог с ней, пусть себе поет на здоровье! Птицы с названиями всегда напоминают мне занумерованные склянки в аптеках...

— Тятя... а тятя?.. — прокатился по лесу свежий девичий голос.

— Здесь... — глухо отозвался издали мужской голос.

— Заплуталась... тя-я-а-тя!.. Где ты?!.

В десяти шагах от меня, из лесу вышла вы-

сокая молодая девушка с высоко подтыканным ситцевым сарафаном; кумачный платок сбился на затылок и открывал замечательно красивую голову с шелковыми русыми волосами и карими большими глазами. От ходьбы по лесу лицо разгорелось, губы были полуоткрыты; на белой полной шее блестели стеклянные бусы. Девушка заметила меня, остановилась и с вызывающей улыбкой смотрела прямо в глаза, прикрывая передником берестяную коробку с свежей малиной.

— «Губернаторова» Настасья? — невольно проговорил я, любуясь первой приисковой красавицей.

— А ты как меня знаешь?

— Да так...

Девушка весело засмеялась, беззаботно тряхнула головой и быстро исчезла в густой траве. Я побрел за ней, чтобы узнать, что мог делать старый Сила так далеко от Паньшинского прииска. Мне пришлось сделать всего сажен полтораста, как открылся покатый лог: сквозь редкие сосны я издали увидел «губернатора». Старик по грудь стоял в какой-то яме, которая имела форму могилы; очевидно,

Сила ширфовал, то есть разыскивал золото. Настасья стояла около ширфа и бойко работала железной лопатой, отбрасывая в сторону снятые турфы.

— Бог на помочь, — проговорил я.

— Спасибо на добром слове, — отозвался старик. — За охотой пошел? Ну, рыбка да рябки — потеряй деньки... Под Мохнатенькой видел я тетеревят гнезда с три.

— Ширфуешь, дедушка?

— Да, ковыряю задарма землю, — неохотно отвечал «губернатор», с легким покряхтыванием принимаясь копать землю кайлом. — Тоже вот как твое дело; охота пуще неволи, а бросить жаль.

— Тятя, обедать пора! — проговорила Настасья. — Я вон малины набрала к обеду...

— Вот это люблю, — весело отозвался Сила: — а то на стариковские-то зубы один аржаной хлеб и не тово...

— У меня есть два рябчика, можно их зажарить, — предложил я.

— А сам-то как?

— Еще убью.

Старик недоверчиво посмотрел на меня, а

потом как-то нехотя принялся собирать хворост для огня; Настасья помогала отцу с той особенной грацией в движениях, какую придает сознание собственной красоты. Через десять минут пылал около ширфа большой огонь, и рябчики были закопаны в горячую золу без всяких предварительных приготовлений, прямо в перьях и с потрохами; это настоящее охотничье кушанье не требовало для своего приготовления особенных кулинарных знаний.

— За что тебя, дедушко, «губернатором» прозвали? — спрашивал я, когда огонь совсем разгорелся.

— «Губернатором»-то?.. — задумчиво повторил старик мой вопрос. — А это, вишь, дело совсем особливое, барин. Надо с самого началу тебе обсказать... Слыхивал ты про прииск Желтухинский?

— Да, слыхал; один из самых богатых...

— Ну, так вот этот самый прииск я открыл... Да. А про купца Живорезова слыхивал?

— Желтухинский прииск, кажется, Живорезову принадлежит?

Старик задумчиво почесал в затылке, поправил свою козлиную бородку и, тряхнув шляпой, продолжал:

— Живорезов миллионты нажил на этом прииске, первый богач по нашим заводам, а не было бы Силы, не было бы и Живорезова... понял? Я его, прииск-то, три месяца в горах искал; с корочкой хлеба за пазухой ширфовал по горам, образ божий совсем потерял, а как объявил прииск — Живорезов у меня и отбил его. Ну, я начал с ним, Живорезовым-то, спориться. Он мне четвертную бумажку отступного сулил, а я трехсот с него не брал. Тут Живорезов-то и обиделся. «Ежели, говорит, ты добром не хочешь брать четвертной, так я у тебя даром возьму прииск, потому я раньше твоего заявил»... Так оно и вышло: навели справку в полицейском управлении — точно, Живорезов раньше моего записан. Ну, тут я к губернатору пошел, а меня за это драть... Вот я с тех пор и стал, милый человек, «губернатор». Завладал Живорезов моим прииском, а у меня, кроме что на себе, — ничего нет.

— А теперь опять ширфуешь?

— Опять ширфую...

— А если опять отберут новый прииск?

— Может и отберут, — соглашался старик. — Только я не могу, барин... Обычай уж такой у меня: как зима повернула на весну, так меня и потянуло в лес. Тошнехонько сидеть в избе... Да и семью всю уведу. Оно, это самое наше старательство, вроде как болесть навяжется... И тяжело, и в убыток себе робишь, а тут уж не разбираешь: только бы до лесу. Старатель старателю розь, барин: который старатель с семьей выходит на прииск, того не применишь к одиночке. Эти нам одиночки, бабы или мужики, вот где сидят! — проговорил старик, указывая на затылок. — Самый путанный народ... От них много горя по приискам. Все говорят про нас, про старателей, что мы и пьяницы, мы и воры... А это неправильно. Конечно, живем на людях — грех-то не по лесу ходит — а все-таки грех греху розь.

— Но ведь старатели воруют хозяйское золото?

Старик внимательно посмотрел на меня и как-то нехотя ответил:

— Есть и такой грех, есть грех... Только,

ежели рассудить это самое дело по правилу, старатель-то у кого, по-твоему, ворует?

— У хозяина прииска?

— Вот и не угадал: у себя, барин, ворует... Вот, ты и поди!.. да... Возьми хоть какой прииск: Коренной, Желтухинский, Копчик, Любезный — кем дело держится? Старателями... Хозяин что? Хозяин заплатил по 15 копеек с сажени ренты, поставил контору — и все тут, вся ихняя заботушка. А старатель-то всей семьей робит-робит, колотится-колотится, а принес сдавать золото — на, получай рупь восемь гривен за золотник, все твои. А хозяин-то сдает это золото в казну по пяти рубликов, значит, с каждого золотника ему три рубли двадцать в карман...

— Но ведь на приисках не везде старательские работы, а моют золото и машинами.

— Это только для отводу глаз, для левизора делается, барин, — убежденно заговорил старик. — Ведь поденщику заплати, а что он добудет — твои счастки... А поденщина, известное дело, с рук да с ног: лопатку песку бросил, да два раза оглянулся; старатель-то в это время десять успеет бросить, потому как робит

он на себя. Уж я тебе, барин, верно скажу: все эти левизоры да анженеры, хоть разорвись, а такой машины не придумают, чтобы с голоду робила... А ты не считаешь того, что мы задаром этой земли перероем? Да ежели бы по-настоящему-то заплатить старателям за ихнюю работу, так золото-то бы не пять рублей за золотник стоило, а клади все десять. Нас тоже не радость на прииски-то гонит, а неволя... Мужики робят, бабы робят, ребятишки махонькие, по восьмому году, и те на тележках ездят: положи на деньги — так и не сосчитаешь! А еще нас же корят, что мы водку пьем, бабы у нас балуются. А ты возьми по правиле: ежели я шесть ден роблю, как двужильная лошадь, не допиваю, не доедаю — могу я в праздник господень, в христово воскресенье пропустить стаканчик? У меня жена бьется еще хуже меня, потому день-то деньской у грохота она молотит, а ночью с ребятишками водится да, бабьим делом, должна то починить, другое поправить... Должен я своей бабе поднести стаканчик или нет? А в ненастье по осени или весной, когда снег тает... Уж ежели где мужику тяжело, так бабе вдвое. Нет, ба-

рин, с наших кровных трудов купец раздувается, а мы выходим все-таки воры...

— Ну, а золото-то все-таки старатели тащат на сторону?

— Как не тащить, ежели плату хорошую дают: в конторе получи рупь восемь гривен, а на воле и все четыре с полтиной. Теперь взять Синицына, даст он за золотник четыре рубли — значит выгодно ему? Ведь у него с каждого золотника рупь останется в кармане... Так? В другой раз на грохоте-то за всю неделю намоют два золотника, а то и один. Ведь шесть животов глядят на этот золотник, а я должен его нести в контору за рупь восемь гривен. И мы счет деньгам-то знаем, не хуже купцов или там господ... В позапрошлом году к нам на прииски приезжал один анженер. Осмотрел нашу работу, а потом и говорит: «вы, говорит, не золото добываете, а закапываете золото»... Это он к тому, значит, что мы не робим в сплошную, а выбираем местечко получше. Я ему и говорю: «ваша высокоблагородие, дайте нам по четыре рубли за золотник — все до единова прииска с изнова перероем: только успевай принимать наше му-

жицкое золото». Добрый такой был анженер, только усмехнулся.

— Ну, рябчики-то, кажется, поспели, барин, — проговорил «губернатор», перегребая золу. — А ты, Наська, подавай нам свою малину.

Мы закусили на скорую руку, и я поднялся, чтобы идти дальше.

— А что, старый Заяц поправился? — спрашивал я.

— Ох, не говори, барин! — как-то глухо проговорил старик, махнув рукой. — Помнишь Орелка-то? Беда вышла у них, да еще какая беда... За Никитой-то Зайцевым моя дочь Лукерья. Видел, поди: совсем безответная бабенка, как есть... Ну, поробил этот, грех его побери, Естя; а Зайчиха и стала примечать, што он как будто льнет к Лукерье, к моей-то дочери, значит. Старуха обстоятельная, ну, сторожить сноху, да в лесу где за всем углядишь... Хорошо. Только на той неделе Зайчиха-то и присылает за мной свово Кузьку; наказала, чтобы беспременно я шел к ним. Оболокся я поскорее и побрел к Зайцеву балагану. Прихожу — ну, брат, шабаш!.. Ста-

рый Заяц как туча сидит у балагана, молодой Заяц лежит пьяный, а моя Лукерья вся в синяках... Как увидела меня, вся инда затряслась, побелела. «Что, мол, у вас, родимые, стряслось?» Ну, Зайчиха-то все и обсказала... Видишь, присматривала она за снохой-то, ну, все как будто ничего, а тут как-то поглядела в балагане, а у ней, у Лукерьи-то, значит, под самым заголовьем новешонькой кумашной платок лежит. «Откуда у тебя платок?» «Не знаю...» Ну, старуха сначала побила, значит, Лукерью, а потом пробовала на совесть; нет, заперлась бабенка, и кончено. А откедова быть платку, окромя Орелка? Старухе-то бы за мной послать, может, Лукерья мне-то и повинилась бы, а она возьми да и скажи мужикам... Ну, известно, пошли бабенку куделить с уха на ухо, таскать за волосы, а Никита-то еще ногами ее давай топтать: сказывай, где взяла платок? Избили бабенку в лоск... Ну, послушал я Зайчиху — что мне делать? Пожалеть али заступиться за дочь — скажут, потачу; подумал-подумал, за одно уж видно, мол, терпеть тебе, и давай прикладывать...

— Дура Лукерья-то! — проговорила Наста-

сья.

— Ты больно умна...

— А ты ее за что трепал? Ну?.. Зайцы-то все паршивые, а ты за них же... Я бы знала, что сделать.

— Ну-ко, что?

— Взяла бы да и ушла — черт с вами!.. Естя-то захотел побаловаться над бабой; и подкинул ей платок на зло, а вы давай бабу бить.

— А ведь, оно, ежели рассудить, так, пожалуй, и тово, — согласился старик, почесывая за ухом. — Ну, да дело прошлое, не воротишь...

— Как же, прошлое! — огрызалась Настасья. — Никитка-то вторую неделю пирует, а пришел домой — сейчас колотить жену. Старуха же и направляет, старая чертовка...

— Ну, ладно, разговаривай... Вас, баб, только распусти, так у вас пойдет.

— Терпеть, да не от паршивого Никитки, — ворчала Настасья, сердито сплевывая на сторону. — Разве это мужик!

— А ведь Естя увел за собой у старого Зайца Параху-то, — задумчиво проговорил «губернатор». — Уж чем этот Орелко соблазнил

девку — ума не приложу.

До Мохнатенькой от «губернаторова» ширфа было всего с версту. Издали эта гора казалась не особенно высокой, но подниматься пришлось версты две, самая вершина была увенчана небольшой группой совсем голых скал. Это шихан, как говорят на Урале. С вершины шихана открывалась широкая горная панорама, уходившая в сине-фиолетовую даль волнистой линией; в двух местах горы скучивались в горные узлы, от которых беспорядочно разбегались горки по всем направлениям, как заблудившееся стадо овец. Зеленые валы без конца тянулись к северу, сталкивались, загораживали дорогу друг другу, и в сероватой дымке горизонта трудно было различить, где кончались горы и начиналось небо. Лес, бесконечный лес выстилал горы, точно они были покрыты дорогим, мохнатым темно-зеленым ковром, который в ногах ложился темными складками, и блестел на вершинах светло-зелеными и желтоватыми тонами, делаясь на горизонте темно-синим. Панья пробиралась из одного лога в другой серебряной нитью; в одном месте из-за мохна-

той горки выглядывал край узкого горного озера, точно полоса ртути. Это море зелени начинало волноваться, когда по нем торопливо пробегала широкая тень от плывшего в небе облачка; несколько горных орлов черными точками парили в голубой выси северного неба. Вот по этим-то горам в 1577 году прошел с своей разбойничьей шайкой «заворуй Ермак», а в 1595 году «Ортюшка Бабинов» проложил первую прямоезжую дорогу на Верхотурье: таким образом этот исторический порог, загораживавший славянскому племени дорогу в Азию, потерял свое значение, и первые переселенцы могли удовлетворить своему Drang nach Osten.

Но как ни хороша природа сама по себе, как ни легко дышится на этом зеленом просторе, под этим голубым бездонным небом — глаз невольно ищет признаков человеческого существования среди этой зеленой пустыни, и в сердце вспыхивает радость живого человека, когда там, далеко внизу, со дна глубокого лога взовьется кверху струйка синего дыма. Все равно, кто пустил этот дым — одинокий ли старатель, заблудившийся ли охот-

ник, скитский ли старец: вам дорога именно эта синяя струйка, потому что около огня греется ваш брат-человек, и зеленая суровая пустыня больше не пугает вас своим торжественным безмолвием.

С вершины Мохнатенькой можно было рассмотреть желтым пятном выделявшийся Паньшинский прииск, а верстах в двадцати от него Любезный, принадлежавший доктору; ближе к Мохнатенькой виднелась Майна. Можно было даже рассмотреть приисковую контору, походившую на детскую игрушку. Глядя на прииски, мне припомнилось все, что пришлось видеть, слышать и пережить за последние две недели... Плакавший истерически Ароматов, «плача» Марфутки, подвиги Аркадия Павлыча Суставова, избитая Лукерья, «золотая каша», торжествующая клика представителей крупной золотопромышленности, преследующих государственную пользу, каторжная старательская работа — сколько зла, несправедливости несет с собой человек всюду! — и под каждой вырытой крупинкой золота сколько кроется глухих страданий и напрасных слез.

X

Бучинский несколько дней находился в прескверном расположении духа. Он ходил по конторе, плевал во все углы и разражался страшными проклятиями, когда кто-нибудь нарушал бурное течение его мыслей.

— Что с вами, Фома Осипыч? — спросил я наконец.

— А... не спрашивайте! Живешь как свинья, работаешь, как каторжный, а тут... тьфу!

— Уж здоровы ли вы?

— А для чего мне здоровье? Ну, скажите, для чего? На моем месте другой тысячу раз умер бы... ей-богу! Посмотрите, что за народ кругом? Настоящая каторга, а мне не разорваться же... Слышали! Едет к нам ревизор, чтобы ему семь раз пусто было! Ей-богу! А между тем, как приехал, и книги ему подай, и прииск покажи! Что же, прикажете мне разорваться?! — с азартом кричал Бучинский, размахивая чубуком.

В конторе появились штейгеря и казаки. Раньше я их как-то не замечал на прииске, а теперь они точно из земли выросли. Обязанность штейгерей заключается в том, чтобы

предупреждать всеми способами хищение хозяйского золота, но известно, что у семи нянек всегда дитя без глазу и штейгеря бесполезны на приисках в такой же мере, как и всякая казенная стража. На казаках лежали специально полицейские обязанности, причем все было упрощено до последней степени: все дела разрешались при помощи нагаек. Где эта братия пропадала в мирное время — трудно сказать.

— Ну, что, как вы нашли «губернаторову» Наську? — совершенно неожиданно спросил меня однажды Бучинский. — О, я знаю, на какую вы охоту ходите и для кого стреляете рябчиков...

— Да откуда же вы можете все знать?

— Сорока на хвосте принесла... Хе-хе! Нет, вы не ошиблись в выборе: самая пышная дивчина на всем прииске. Я не уступил бы вам ее ни за какие коврижки, да вот проклятый ревизор на носу... Не до Наськи!.. А вы слыхали, что ревизор уж был на Майне и нашел приписное золото? О, черт бы его взял... Где у этого Синицына только глаза были?.. Теперь и пойдут шукать по всем приискам, кто прода-

вал Синицыну золото... Тьфу!.. А еще умным человеком считается... Вот вам и умный человек.

Сделав многозначительную мину и приподняв палец кверху, Бучинский шепотом проговорил:

— Донос был сделай на все прииски... да! И знаете кто сделал донос?

— Кто?

— Ваш приятель, этот дурень Ароматов... Он и меня втяпал, должно полагать! Ей-богу... Вот и делай людям добро, хлопочи о них... Ведь я этого Ароматова с улицы взял! Вот вам благодарность...

Раз вечером, когда я возвращался от Ароматова в контору, на прииске я встретил старого Зайца, который сильно пошатывался и улыбался самой блаженной улыбкой. Старик узнал меня и потащил в свой балаган.

— У Зайчихи и водка найдется про нас, — заплетавшимся языком болтал Заяц, продолжая выделывать ногами самые мудреные па.

Меня удивило счастливое настроение старого Зайца, которое как-то не вязалось с происходившей неурядицей в его семье.

— Ведь Параха-то не тово... — заговорил старик, когда мы уже подходили к балагану: — воротилась. Сама пришла. Он с нее все посымал: и сарафан, и платок, и ботинки... К отцу теперь пришла! Зайчиха-то ее дула-дула... Эх, напрасно, барин! Зачем было девку обижать, когда ей и без того тошнехонько.

Балаган Зайца прилепился к самой опушке леса; по форме эта незамысловатая постройка походила на снятую с крестьянской избы крышу в два ската. Между двумя елями была перекинута жердь, а с нее проведены по бокам ребра; все это сверху было покрыто берестой, еловой корой, дерном и даже засыпано землей. Старый Заяц очень гордился своим балаганом, потому что в самый дождь сквозь его крышу не просачивалось ни одной капли воды; внутри балагана были сложены харчи, конская сбруя и разный домашний скарб, который «боялся воды». Около стен, из травы и старой одежи были устроены постели для баб и ребят; над самым входом в балаган висела на длинной очепе детская люлька, устроенная из обыкновенной круглой решетки, прикрытой снаружи пестрядевым поло-

гом.

— Тут у нас главный старатель качается, — объяснил Заяц, дергая люльку за веревку. — Эй, Зайчиха, примай гостей... Слышишь?..

Из балагана показалась сама, молча посмотрела на улыбавшегося мужа, схватила его за ворот и как мешок с сеном толкнула в балаган; старик едва успел крикнуть в момент своего полета: «А я ба-арина привел...» Зайчиха была обстоятельная старуха, какие встречаются только на заводах среди старообрядцев или в соседстве с ними; ее умное лицо, покрытое глубокими морщинами и складками, свидетельствовало о давнишней красоте, с одной стороны, и, с другой, о том, что жизнь Зайчихи была не из легких.

— Садись, так гость будешь, — сухо пригласила меня Зайчиха, подсаживаясь к огоньку с какой-то работой.

Только теперь я рассмотрел хорошенько, сколько безмолвного горя и глухих страданий таилось под этим наружным спокойствием. Всякое горе, которое постигает членов семьи, обыкновенно собирается около домашнего очага, где оно еще раз переживается всеми, а

всех больше, конечно, тем, чье сердце болит о детях с первого дня их появления на свет. Страдания и неудачи заставляют семью теснее сплачиваться, точно она занимает оборонительное положение, и в центре этой семьи, ее душой в несчастьях является всегда женщина. В женской любящей натуре живет несокрушимая энергия, которая до последнего вздоха стоит за интересы своего пепелища. Когда мужчина теряется и начинает испытывать первые приступы глухого отчаяния, женщина быстро собирается с силами и является с геройской решимостью не отступать ни перед какой крайностью. Старая Зайчиха геройствовала своим искусственным равнодушием, не желая выдавать действительного настроения своих чувств.

— Где у тебя Никита-то? — спросил я, чтобы поддержать разговор.

— И не спрашивай... совсем спутался.

— А бабы где?

— Лукерья пошла мужа разыскивать, а Параха в балагане. Неможется ей...

Эта невольная ложь перед чужим человеком выдавила из подслеповатых глаз Зайчи-

хи две слезинки, и она еще ниже наклонилась над своей работой, ковыряя иглой какое-то тряпье.

— А как у вас золото идет?

Старуха недоверчиво взглянула на меня, махнула рукой и тихо заплакала; высморкавшись в самый кончик передника, она глухо заговорила:

— Слышал, чай... на весь прииск срам. Ох, проклятенное это золото!

— Мне «губернатор» рассказывал...

— Дурак ваш «губернатор» — вот что!

— Зачем дурак?

— А так...

Наш разговор был прерван появлением какой-то старухи, которая подошла к огню нерешительным шагом и с заискивающей улыбкой на сухих синих губах; по оборванному заплатанному сарафану и старому платку на голове можно было безошибочно заключить, что обладательница их знакома была с нуждой.

— Здравствуй, Матвевна... — разбитым, выцветшим голосом обратилась она к Зайчихе.

— Садись, Митревна!.. гостья будешь.

— А я к тебе забежала... Видела, как Лукерья-то прошла к Абрамову балагану, думаю, теперь Матвевна одна... А где у тебя Заяц-то?

Зайчиха молча показала глазами на балаган; Митревна с соболезнованием покачала головой и принялась ругать приисковых мужиков, которые только пьянствуют.

— Твои-то разве тоже? — спрашивала Зайчиха.

— Ох, не говори, мать! Не глядели бы глазыньки. Как лошадь у нас увели, так все и пошло. Надо бы другую лошадку-то, а денег-то про нее и не припасено. Какие уж деньги: только бы сыты... Ну, выработка-то далеко от грохота, изволь-ко пески на тачке таскать. Мужики-то смаялись совсем, ну, а с маяты-то, што ли, и сбились. Чего заробят, то и пропьют.

Митревна принадлежала к тому типу совсем изжившихся старушонок, которые, по народной пословице, в чужой век живут. Глядя на ее испитое лицо, бессмысленно моргавшие глаза, на сгорбленную спину и неверную, расслабленную старческую походку, трудно

было поручиться, что вот-вот «подкатит ей под сердце» или «схватит животом» — и готова! — даже не дохнет, а только захлопает глазами, как раздавленная птица. Между тем, такими жалкими старушонками иногда держится вся семья: везде-то она все видит, все слышит, всех побранит, о всяком поплачет, и кончится часто тем, что всех перехоронит — и старика-мужа, и детей, и внучат, да еще и бобылкой будет маяться лет двадцать. Удивительно живуча человеческая натура. По заискивающему тону разговоров Митревны не трудно было угадать, что она, как это делаем и мы, грешные, совестится попросить у Зайчихи какой-нибудь пятак прямо, а считает своим долгом повести дело издалека, чтобы незаметно подойти к главной цели. Такие подходы слишком наивны, чтобы не заметить их сразу, и мне было жаль Митревны, когда она начинала плести свою жалкую околесную.

— Солдатку-то Маремьяну знаешь? — спрашивала Митревна.

— Ну, знаю.

— Наши бабы ее поучили вечор... Разве не

слыхала?

— Нет.

— Здорово поучили... Вишь, она, шлюха этакая, до чужих мужиков больно охотлива и, надо полагать, умеет их приворачивать к себе. Поит их чем, что ли. Только этак-ту она Абрамова старшего сына сманила к себе, потом зятя Спиридонихи, да много еще кой-кого. Ну, бабенки-то и сбились с ума совсем: что им, значит, с мужиками со своими делать? Днюют и ночуют у солдатки, а чуть баба слово — в зубы и в поволочку. Спиридонихина-то дочь топиться бегала с горя... Тут какой-то добрый человек и надоумил бабенок: завели они эту самую Маремьяну в лес да своим судом... Волосы даже на ней все спалили, косу обрезали, а на теле живого места не оставили. Теперь в балагане солдатка-то ни в живых, ни в мертвых лежит.

— Надо бы было раньше догадаться, — проговорила Зайчиха. — Так и надо учить этих шлюх, да еще вот этих сводней, что по приискам шатаются да девок смущают.

— Ох, и не говори, Матвевна! — с тяжелым вздохом согласилась Митревна и, понизив го-

лос, прибавила: — Ветрела я севодни поутру Силу... Тебя больно жалеет.

— Дурак... выжил совсем из ума на старости лет.

— Все, голубушка, все по прииску-то пальцами указывают на Наську-то, а он других жалеет.

Митревна засмеялась каким-то дряблым, высохшим смехом, причем все лицо у ней собралось в один комочек, как печеная репа.

— Я ему сколь раз говорила, Силе-то, — рассказывала Зайчиха. — А он смеется только... Вот теперь и казнись!

— Да и Фомка-то хитер, пес... Сам даже и не смотрит на Наську, когда мимо грохота идет.

— А сводни-то на что?

— Вот-вот оне самые и есть... Много ли девке надо при ее глупом разуме: сегодня сводня пряниками покормит, завтра ленточку подарит да насулит с три короба — ну, девка и идет за ней, как телушка. А как себя не соблюла раз — тут уж деваться ей совсем некуда! Куда теперь Наська-то денется? У отца не будет век свой жить, а сунься-ко в контору — да Аксинья-то ее своими руками задавит. Злю-

щая баба...

— Что говорить: злыдня!.. Она Фомку-то, говорят, за волосья таскает.

— А я к тебе, Матвевна! — совсем другим голосом заговорила старуха. — Ребятишки-то со вчерашнего дня не едали, а хлеба-то ни маковой росинки... Мне бы хоть полковрижки? Как только деньги мужики получат за золото, сейчас тебе отдам.

— Да вишь у нас, у самих-то...

Зайчиха немного поломалась, а потом ушла в балаган и вынесла Митревне небольшую ковригу хлеба; старуха с жадностью схватилась за него обеими руками и торопливо поплелась восвояси.

Зайчиха долго сидела молча, не сводя глаз с курившегося огонька; наконец, проговорила:

— Слышал про «губернатора»-то? Не радуйся чужой беде, своя на гряде. Вишь, ему обидно тогда показалось за Лукерью. Я, точно, построжила, ну, мужики тоже малость потеребили, а для кого?.. Для Лукерьи же... Долго ли молоденькой бабенке на приисках спутаться. Я сноху-то караулила-караулила да

родную дочь и прокараулила... Легко мне это? К кому она пойдет, дочь-то, окромя матери? Ну, и принесла с собой все! Ох-хо-хо, барин, распоследнее наше житье!.. Робить-то робишь, маету примаешь с утра до ночи, а тут еще мужики примутся пировать, бабы гулять...

— А на заводах разве нельзя было устроиться?

— Можно-то, пожалуй, можно, только не сподручное дело, барин... Вишь, по нонешним заработкам по заводам нельзя мужику одному робить, надо посылать на фабрику и подростков, и девок. А что они на фабрике-то увидят, особливо девки? Самое распоследнее дело: которая ни пойдет робить — та, глядишь, и загуляла, а там с готовым брюхом и пришла к отцу, к матери... Балуются девки на фабрике все до последней. Ну, перво-то мы долго крепились, все крепились, а тут и пошли недостатки. Хлеб дорожает, харчи дорожают, обуток, одежа дорожают, и платы мужикам не прибавляют... Побились-побились, дальше уж биться нечего стало: выходило так, что Параху с Кузькой надо было на фаб-

рику посылать. Подростком была девка-то, жаль до смерти, ну, думали-думали с Зайцем и порешили на прииска, как сват Сила. Про себя-то думали, что как-никак, а дети при себе при своем глазу будут... Как теперь и головушку покажешь к себе на завод...

— А что?

— Как что? Хорошая слава лежит, а худая по дорожке бежит. Видел Митревну-то? Вот она у меня хлеба приходила занять, да она же первая по всему свету и разнесет про Парах-то... Тут, чтобы по этакой славе, девке замуж выйти — ни в жисть! Всякий выбирает товар без изъяну... То же вот и Наська... Уж, кажется, всем взяла девка, а тоже добрых-то людей не скоро проведешь!..

— Отчего бабы на приисках так балуются?

— От тяжелой жизни, барин, от ней самой... Ты погляди-ко, как бабы колотятся на приисках, ну, а тут уж долго ли до греха: другая за доброе слово голову с себя даст снять. Тут как-то в позапрошлом году была одна девчонка... Так из себя-то немудренькая, а все-таки себя крепко соблюдала. Штегерю одному эта самая девчонка и поглянись... Известно, с

жиру бесятся! Ну, приставал, приставал к девке: та не идет. Так что они сделали с ней: сводню штейгер подговорил, а та девчонку завела в лес подальше, ну, а штейгер-то там уж ждет ее... Только девка-то из себя могутная была, не поддалась, тогда они ее водкой напоили. А сводне-то обидно показалось, что девка больно билась, вот она ушла вперед на прииск да оттуда парней и прислала штук десять... Они там и издевались в лесу над девкой, а потом бросили. После замертво свезли в гошпиталь... Следователь приезжал. Ну, а которая доброй волей девка себя потеряет, той и искать не с кого... Ох, да ведь это Никита беспутный с артелью валит? — всполошилась старуха, заслоняя глаза рукой. — Он и есть, страмец!

Со стороны прииска к балагану Зайца с песнями валила пьяная ватага, между которыми издали выделялась вихлястая фигура беспутного Никитки; какой-то парень бойко наигрывал на гармонии, а молодой Заяц по траве пускался вприсядку. По всему прииску громко разносилась бесшабашная приисковая песня:

Как сибирский енерал
Станового обучал...
Ай-вот, калина!..
Ай-вот, малина!..
По щекам его лупил,
Таки речи говорил...
Ай-вот, калина!..

Зайчиха вооружилась длинной черемуховой палкой и встала в выжидающей позе; позади всех с ребенком на руках и с опущенной головой плелась Лукерья. На ней, как говорится, лица не было. Зеленые пятна от синяков, темные круги под глазами, какой-то серый цвет лица...

— Маммынька, я загулял! — мычал Никита, останавливаясь в приличной дистанции от мамынькиной палки. — Родимая... загулял.

— Иди-ко сюда, пе-ос!.. — низкими нотами заговорила Зайчиха и, поймав Никиту за вихор, принялась обрабатывать его длинную сухую спину своей палкой. — Доколе ты будешь пировать-то... а?..

— Мамынька... вот те истинный Христос, не буду больше! — вопил Никита, валяясь на земле.

Заслышав песню, старый Заяц высунул было свою голову из балагана, но сейчас же спрятался, как началась экзекуция.

— А вы чего стали тут?.. Ступайте домой!.. — кричала Зайчиха на переглядывавшихся гостей. — Ступайте, пока я вас всех палкой не прогнала...

— Мамынька!.. Нам полштофчик всего... — умолял Никита, почесывая бока.

— Ступайте домой, в сам-то деле, — заговорила Лукерья, укладывая ребенка в люльку. — Добрые люди спать ложаться...

— Ах, ты... змея! — вскипел Никита и ногой ударил жену прямо в живот.

Лукерья как-то дико вскрикнула, но Никита уже за волосы тащил ее по земле, нанося страшные удары правой рукой прямо по лицу. Посыпалась мужицкая крупная брань и вопли беззащитной жертвы, но Зайчиха не тронулась с места, чтобы защитить сноху, потому что этим нарушилось бы священнейшее право всех мужей от одного полюса до другого.

XI

С каждым новым днем непривлекатель-

ные стороны приисковой жизни выступали все резче. Там, внизу, на прииске, рядом с каторжным трудом и грошевыми заработками, царили пьянство и разгульная жизнь. Заработки старателей в общем, пожалуй, и окупили бы скромные потребности их быта, но они носили слишком неопределенный, случайный характер, так что даже большие получки являлись, как говорила Зайчиха, только «дикою копейкой», то есть шли не на пользу хозяйству, а на его разорение. Жизнь старательской семьи окружена непроходимым лесом всяческих нужд, так что лишний грош в этом circulus viciosus являлся каплей в море. Да и человек, который так безрасчетливо расходовал свои физические силы, должен же был хоть чем-нибудь вознаградить себя за постоянные лишения, за вечные голодовки и холодовки. Водка являлась только неотвратимым следствием сцепления целой системы роковых причин. Разгульная приисковая жизнь в своем основании главным образом обязана была пришлым бессемейным старателям; эта толпа оборванцев и сорвиголов разносила по приискам ту же заразу, какая процветает на

всех фабриках, заводах и промыслах, где женщина является только полуобеспеченной своим личным трудом. Пьянство и разврат — дети одной матери, имя которой: нужда. Старательский способ добычи золота — самый дешевый, какой только можно себе представить, и никакие машины не в состоянии будут конкурировать с человеком, которого заставляет работать крайняя нужда. Но, с другой стороны, насколько здесь выигрывает работа, настолько проигрывает человек, поставленный в невозможные экономические условия. Наука и наши горные экономисты в этом случае обрушиваются на старателя, а не хотят видеть тех экономических условий, жертвой которых он является.

О прелестях казенного золотого дела мы считаем излишним говорить, потому что чужими руками хорошо только жар загребать; наша экономическая политика идет к погашению этого режима доброго старого времени, когда нагревали руки около казенного козла всесильные горные инженеры. Но переход к частной золотопромышленности, как он оформлен в уставе частной золотопро-

мышленности, утвержденном в 1870 году, является самой неудачной попыткой разрешения вопроса о золотом деле. Этот устав является не переходной ступенью, как это иногда неизбежно при осуществлении финансовых реформ, даже не финансовым компромиссом, а плодом той департаментской мудрости, которая из своего прекрасного далека продолжает тянуть вечно одну и ту же сказку о белом бычке, т. е. о покровительстве крупной российской промышленности. Устав 1870 г. может быть назван не уставом о частной золотопромышленности, а уставом о покровительстве крупным капиталистам. Весь процесс золотого дела обставлен тысячами таких формальностей, от которых пользы государству ни на грош, а между тем эти именно формальности загораживают дорогу всему золотому делу, потому что лишают возможности старателя являться самостоятельным промышленником, делая его вечным работником на купеческую мошну. Проследите весь ход золотого дела: для поисков золота и разведок всякое лицо обязано иметь дозволительное свидетельство (№ 35), выдаваемое горным

начальством на гербовой бумаге рублевого достоинства (№ 37); золотопромышленник, имеющий установленное свидетельство, желая произвести поиски золотоносных россыпей, обязан письменно заявить о намерении своем полицейскому управлению, которому подведомы места, на коих он предполагает произвести поиски и разведки, с объяснением и указанием: 1) имени и звания приказчика и людей, составляющих партию; 2) билетов и паспортов этих людей и 3) времени и места, куда отправляется поисковая партия (№ 39). На избранной свободной местности может быть занят под разведку участок на протяжении не более пяти верст, по направлению лога или по течению реки; заявка благонадежной россыпи должна быть произведена через полицейское управление; отвод заявленных площадей производится по приказанию окружного ревизора особыми отводчиками; на золотых промыслах, разрабатываемых исключительно одними старательскими работами, рабочие допускаются к таковым работам только артелью не менее 10 человек (№ 112); все добытое при разработке приисков

шлиховое золото промышленники или заведующие приисками обязаны записывать в шнуровые книги (№ 126): книги сии должны быть ведены без подчисток, поправок и пробелов, добытый металл должен в них записываться каждодневно; всякая статья дневного получения золота должна быть непременно подписана управляющим прииска, приказчиками и штейгерами, а где есть конторы, то и конторщиками или кассирами, которые должны находиться при каждодневной пересчитке золота при взвешивании его и при записке оного в книгу (№ 129), за право пользования казенными землями взимается ежегодно по 15 копеек за каждую погонную по длине прииска сажень (№ 146); и т. д., и т. д. Просматривая эти правила, можно видеть только, что московская волокита в них нашла свое полное осуществление. Если для крупного золотопромышленника все эти мелочи не имеют никакого значения, то для старательской артели они являются просто мертвой петлей. Ну, скажите, ради бога, откуда возьмет этот старатель, которому за зиму подвело все животы, гербовую бумагу рублевого до-

стоинства на дозволительное свидетельство производить поиски золота? Затем, заявку он должен сделать письменно, да еще в полицейское управление, когда старатель, во-первых, из ста случаев в девяноста девяти безграмотен, а во-вторых — боится всякой полиции, как черт ладану. Потом, обратите внимание на требование паспортов, на отвод участков для разведок, на шнуровые книги, — прииск превращен в какую-то канцелярию, с входящими и исходящими бумагами, с полицией на одном конце и с горным ревизором на другом. Чтобы пролезть через эту живую лестницу из всяких закорючек да еще безграмотному старателю с пустым брюхом — воля ваша, всему есть предел на свете. Понятное дело, что для купца эти правила трын-трава, и он ежегодно может делать сотни заявок и не поморщится, а старатель отыщет потихоньку россыпь, да и продаст ее тому же купцу за расколотый грош.

Ясное дело, что вся эта канцелярщина запирает дорогу настоящей частной золотопромышленности, в лице старателей, и создает привилегированное положение для капита-

листов. Какой же вывод в результате? А вот какой: из всего добываемого в России золота 70 % добывается старательским путем, а остальные 30 % — механической промывкой. Переведемте это на язык цифр: в 1880 году в России добыто всего золота 2641 пуд, 70 % составит 1848 пудов; в пуде 3840 золотников, и за каждый золотник старатель получит, возьмем maximum, — 2 рубля, а крупный золотопромышленник сдает в казну за 5 рублей, — следовательно, капиталист с каждого пуда золота отложит в собственный карман без всякого риска со своей стороны и без всяких капитальных затрат 11520 рублей, а со всех 1848 пудов добываемого старателями золота золотопромышленники отложили в 1880 году довольно крупную сумму — 21288960 рублей. На одном Урале в 1880 году добыто золота 576 пудов; следовательно, старателями добыто из этого золота — 403 пуда, за что им заплачено, считая по 2 рубля за золотник, около 3 миллионов рублей, а крупным золотопромышленникам с этого золота пошло дикой пошлины 4 1/2 миллиона. Но ведь все это только приблизительные расчеты, а если бы спуститься

на самое дно этого заветного уголка, где паук ткет свою золотую паутину — мы, вероятно, увидели бы, что капиталисты наживают на заплаченные ими старателям 3 миллиона рублей не 4 1/2 миллиона рублей, то есть 150 % на капитал, а гораздо больше. Еще раз заметьте, что не только весь каторжный труд золотого дела выносит старатель на своих плечах, но и весь его риск, а капиталисты отдуваются за свои 150 % одними гербовыми листами рублевого достоинства, шнуровыми книгами и канцелярской обстановкой, не рискуя ни одной копейкой и не марая рук работой.

К этим вычислениям остается добавить только то, что старателям золотопромышленники платят не 2 рубля за золотник, а 1 рубль 70–80 копеек, а затем, если скупщики находят выгодным получать от старателей краденое золото даже по 4 1/2 рубля за золотник — значит, им выгодна такая операция. Затем, капиталисты спекулируют на припасах, которые продают старателям, на одежде, на водке, наконец, сплошь и рядом обвешивают их и, в конце концов, даже не рассчитывают совсем.

Получается гигантская картина эксплуатации, где всесильная кучка капиталистов высасывает последнюю каплю крови из десятков тысяч старателей.

Новый устав о золотопромышленности делает шаг вперед от порядков доброго старого времени, когда золотое дело являлось привилегией казны и было огорожено зеленой улицей из шпицрутенов, но другой рукой он создает более сильные привилегии, которые не нуждаются даже в шпицрутенах. Это — привилегия капитала, которая всей своей тяжестью ложится на действительного золотопромышленника — старателя и вносит в систему государственной экономии громаднейшие дефициты в лице того остающегося в земле золота, которое старатель не в состоянии вырабатывать за свою сиротскую плату. Настоящими хищниками золота являются не старатели, а крупные золотопромышленники!..

Сидя на крылечке паньшинской приисковой конторы и любуясь привольной картиной прииска, я часто думал о том, как немного нужно было сделать, чтобы поставить золотое дело на настоящую почву. Золотое дело,

как всякий другой вольный промысел, нуждается прежде всего в полнейшей свободе от всякой канцелярщины, а тем больше — от тяжелой полицейской лапы; правительству нечего заботиться о том, как организуется промысел: форма готова, она проходит в лице артели через всю нашу историю, и нам остается только воспользоваться ею. Пусть старатель ищет золото, где хочет, и когда хочет, и как хочет. Правительству достаточно разбросать по приискам несколько десятков своих контор, где старатель мог бы сделать и заявку открытых россыпей и сдать добытый металл за ту же цену, какую получают теперь капиталисты-золотопромышленники. Те фиктивные доходы, которые получает теперь государство с гербовой бумаги, с посаженной платы, удесятерились бы, потому что золото полилось бы в казну широкой рекой. Воровство золота старателями пало бы само собой, а вместе с поднятием экономического уровня поднялся бы и нравственный. Но это только отрицательная сторона в деятельности правительства по отношению к золотому делу, только, laisser faire — laisser passer; если бы

правительство действительно хотело поднять золотое дело до своего естественного максимума, то оно не стало бы создавать привилегий капитализму, а, наоборот, позаботилось бы о тех мозолистых, покрытых потом руках, которые добывают это золото из земли. При артельной организации, не рискуя ничем, можно устроить дешевый кредит, который особенно дорог старателям при начале работ, когда они являются на прииски после зимней голодовки; в эту тяжелую пору каждый рубль дорог, а между тем взять его старателю решительно негде. Затем, механическая промывка золота несравненно выгоднее ручной, но только тогда, когда ею будут заведывать сами старатели; роль правительства доставить им машины в долгосрочный кредит.

Мы глубоко убеждены в том, что рано или поздно наша финансовая политика обратит, наконец, свое внимание на старателей, как на могучую силу в золотом деле; эта сила теперь разрознена и подавлена, но дайте ей выход — и она покажет себя. Против старателей существует громадное предубеждение, как против хищников по преимуществу, которые

являются язвой на золотом деле и составляют вопрос государственной важности, но развяжите руки этой темной, пугающей капиталистов силе, и обвинение в хищничестве и других пороках падет силою вещей. Если каторжный труд и вечное существование впроголодь развращающим образом действуют на старателей, то, с другой стороны, шальные деньги, которые получаются золотопромышленниками без всякого труда и риска, развращают эту сытую, одуревшую от жира среду до мозга костей. Что выделывают на свои дикие капиталы эти... дети природы по всей Сибири — вероятно, слыхал каждый.

XII

Наступили первые дни августа. Выпало два холодных утренника, и не успевшие отцвести лесные цветочки поблекли, а трава покрылась желтыми пятнами. Солнце уж не так ярко светило с голубого неба, позже вставало и раньше ложилось; порывистый ветер набегал неизвестно откуда, качал вершинами деревьев и быстро исчезал, оставив в воздухе холодевшую струю. Радости короткого северного лета приходили к концу, впереди грозно

надвигалась бесконечная осень с ее проливными дождями, ненастьем, темными ночами, грязью и холодом. Почти все свободное время я проводил в лесу, на охоте; хвойный лес с наступлением осени делался еще лучше и точно свежел с каждым днем. Возвращаясь однажды с такой охоты, я шел на Паньшинский прииск по майновской дороге; эта узкая лесная дорога, по которой с трудом можно было пробраться в хорошую погоду, теперь представляла из себя узкое и глубокое корыто, налитое липкой глинистой грязью. Шагая по стороне дороги, я догнал тащившийся шагом экипаж Карнаухова. На козлах сидел Федя и правил разбитой тройкой разномастных лошадей; из повозки выглядывали ноги дьякона Органова, которые я узнал по желтым шальварам.

— А... садитесь, сударь! — обрадовался мне Федя, останавливая свою еле плетущуюся тройку. — Вроде как с мертвыми телами еду, — указал он головой на экипаж.

— Куда теперь Федя?

— Да надо пробиться домой, только вот барин не в себе, да и дьякон тоже...

— Что так?

— Да вот посмотрите...

Федя откинул кожаный фартук, и внутри экипажа, рядом с скорчившейся фигуркой Карнаухова, я рассмотрел русую голову Органова, перевязанную полотенцами.

— С дьяконом-то насилу отводились на Майне, — повествовал Федя, закрывая фартук.

— Как так?

— Да так, известно, от собственной глупости. Как приехали, и давай пить, и давай пить... Пили-пили-пили! А Тишка Безматерных с этого питья даже, можно сказать, совсем сбесился и придумал такую штуку: свечеру напоил дьякона до положения риз, а утром и не велел давать опохмеляться. Видишь, ему хотелось поглядеть, как будет ломать дьякона после трехмесячного пьянства... Хорошо. Проснулся дьякон и первым делом просит водки поправиться. Не дали... Уж он просил-просил, молил-молил, на коленках ползал — не дали ни капли!.. Дьякон-то стал их стращать, что утопится в шахте, ежели не дадут водки. Вот тут Синицын и придумал потеху: принес ящик из-под вина,

поставил к стенке и говорит дьякону: «Ежели проломишь лбом доску — сейчас бутылку коньяку велю тебе подать»... Ну, доски на ящике не то, чтобы уж очень толсты, а в полпальца все будут. Дьякон сперва было не соглашался, а потом точно одурел — как тяпнет головой в ящик, только доски затрещали... Ведь расшиб, сударь!.. Если бы своими глазами не видел, никому бы не поверил. Ну, доску-то он точно прошиб, да и голову себе, однако, проломил: кровь из него так и хлещет, как из барана, а те хохочут-заливаются... Хохотали-хохотали, а тут наш дьякон и повалился, помутнел весь, ну, тогда и давай с ним отваживаться. Дня с три вылежал без языка, а теперь выправляется. Только бы до Паньшина довести в живых, а там и сам найдет дорогу домой. Ох-хо-хо!..

— Ну, а что Бучинский? — спрашивал Федя. — Ужо будет ему баня, голубчику... Только слабые нонче времена, сударь!

Вечером, пока отдыхали и кормились лошади Карнаухова, мы долго сидели с Федей на крылечке. Вечерняя заря догорала, окрашивая гряды белых облаков розовым золотом;

стрелки елей и пихт купались в золотой пыли; где-то в густой осоке звонко скрипел коростель; со стороны прииска наносило запахом гари и нестройным гулом разнородных звуков. Балаганы давно потонули в тени леса и только крайние из них пламя горевших огней на мгновение точно выхватывало из накоплявшейся мглы. Где-то встал и замер какой-то дикий крик; может быть, это последний вопль какой-нибудь жертвы человеческого насилия или предсмертная агония зайца в когтях совы.

— Большие подлецы бывают на свете, сударь, — задумчиво говорил Федя, насасывая свою пенковую трубочку. — Вот хоть Бучинского взять... Ведь он в сделке с Синицыным и прудит ему золото с нашего прииска пудами. Ей-богу! Майна-то, сударь, совсем бездушный прииск, то есть золота в нем самая малость, а держится за него Синицын по той причине, чтобы отвести глаза... Так-то скупать золото неспособно, у кого своих приисков нет, а ежели прииска есть — только валяй. А ревизор приехал — покажут ему книги и вся недолга. Так-то-с!.. А Синицын почему держится за

Майну? Оченно просто... эта самая Майна села как раз посередь всех прочих приисков, вот Синицын и доит их: с одной стороны подошли прииска Безматерных, с другой — докторский, с третьей — наш... Только получай! Все работают на Синицына, сударь. И он же первый друг-приятель всем: и доктору, и Тишке, и нашему барину... А разве они не знают всю его механику? Знают, да ничего не поделаешь, потому не пойман — не вор... И очень просто это делается, сударь...

Федя осторожно огляделся кругом и тихо заговорил:

— Аксинью-то знаете? Она будто в куфарках у Бучинского, а на сам-то деле метрессой... Как же! Ну-с, так золото-то через нее и прудят на Майну, то есть не сама она таскает его туда, а есть у ней какой-то брат, страшенный разбойник... Так вот он и есть коновод всему делу! Имя-то у него...

— Гараська?

— Он самый, сударь: Гараська... Отчаянная голова, сударь, этот Гараська! Штейгеря они тут уходили на Майне, и след простыл. Пьяный сболтнул лишнее про ихние дела, Га-

раська-то и спустил его в шахту: только и видали... Ревизор как-то хотел словить этого Гараську, караулил его на Майне целую неделю, ну, Гараська и влетел было, да догадлив, пес: мешочек-то с золотом прямо в повозку к ревизору и подкинул, ревизор сам и увез с собой краденое золото, а там уж его добыли после из повозки-то. Так вот этот Гараська скупает у паньшинских старателей золото, да и сдает его Синицыну, а барыши пополам с Бучинским. Сказывают, у этого Гараськи есть какая-то девка. Ховрей называется, так эта самая Ховря в себе проносит золото и по этому случаю ее коробкой, сударь, зовут на прииске.

Федя долго рассказывал про подвиги Бучинского и старателей, жаловался на слабые времена и постоянно вспоминал про Аркадия Павлыча. Пересел на травку, на корточки, и не уходил; ему, очевидно, что-то хотелось еще высказать, и он ждал только вопроса. Сняв с головы шляпу, старик долго переворачивал ее в руках, а потом проговорил:

— Дьяконова шляпа-то у меня... По наследству мне досталась, когда он расстригался. Мы ведь с ним старые знакомые, в городу-то

когда он служил, я частенько к нему захаживал... Хороший был человек, сударь, справный. А какой хозяин — все своими руками умел сделать: и за столяра, и за каменщика, и за сапожника. Хозяйственный человек, одним словом. Жена у него тоже славная была бабочка... А знаете, сударь, — другим голосом прибавил Федя: — ежели разобрать, так дьякон от меня и с кругу сбился. Вот поди ты, какая штука может произойти!.. Ей-богу! Кажется, думать, так не придумать...

— Что же ты сделал ему такое?

— Я-то... да оно делать-то ничего не сделал, а все-таки грех на моей душе, сударь. И попу каялся... да-с. Видите ли, захожу я раз к дьякону, вот этак же дело летом было, сидим мы у него вечером на крылечке и калякаем. Хорошо этак беседуем... Только двор-то крытый и совсем во дворе темно стало: хошь глаз выколи. Я сидел-сидел, да и говорю: «Дай мне тыщу рублей — не пойду теперь на сарай». — Дьякон давай меня просмеивать, что я нечистого боюсь, а никакой нечисти, говорит, нет. Старухи, говорит, придумали. Ну, поспорили: он свое, я свое. Только мне это и покажись

обидно, что дьякон как будто над моей необразованностью смеется, вроде как мужицкую мою глупость хочет показать... Так-с. Я и говорю дьякону: — а вот, говорю, генерал Карнаухов, покойник, не глупее нас был, а тоже этих привидениев до смерти боялся... Тоже вот если заяц дорогу перебежит, поп встретится... Ну, сижу да перебираю, что покойный барин не уважал, а дьякон, как отрежет мне: «Все это бабьи запуки!..» Меня уж тут зло и взяло... «Ах, ты, думаю, долговолосый баран...» Потом и говорю: «Ну, ежели ты боек, дьякон, сходи сейчас на сарай да принеси мне сена». — «Черта, говорит за рога приведу»... Да как сидел, в одной рубашке и кальсонах, — марш на сарай. Ну, сижу на крылечке да слушаю, как дьякон по двору босыми ногами шлепает. Вот заскрипели половицы, значит на сарае бродит, потом, слышу, спущается по лесенке и сеном шуршит... Я даже молитву хотел сотворить, что господь пронес благополучно нашу глупость, а дьякон как ухнет, как заревет... Ну, ей-богу, медведю или чумному быку в пору! Меня так и затрясло, а дьякон тошнее того ревет, да со страхов-то

как кинется, да на столб и оземь...

Федя помолчал, раскурил трубочку и продолжал:

— Вот оно куда глупое-то слово человека приводит, сударь! Я только хотел спичкой чиркнуть да свету добыть, а в избе дьяконица тоже как ухнет и тоже оземь, вроде как квашонка. Баба последнее время ходила, а тут как услыхала, что дьякон, словно под ножом, — ревет со страху и покатилась по избе. Ах! ты господи милостивый! Уж не помню, как я за ворота выскочил и только на улице маненько опамятовался... Ну, дьякон тоже на улицу за мной. «На черта, говорит, ногой наступил»... А на самом лица нет. Что делать?.. Перекрестился я, зажег спички, и пошли мы досматривать, где этот черт лежит. И что бы вы, сударь, думали? Подходим к сараю, а около сарая лежит теленочек пестренький; корова-то, значит, только-только успела отелиться, он еще не успел и обсохнуть, сердечный, как дьякон наступил на него ногой и слышит, что под ногой и теплое, и мокрое, и живое, и мохнатое... Ну, натурально, черт!.. Ну-с, тут нам даже смешно стало, опять по глупости по

нашей. Он черт и оказался…

— Теленок-то?

— Теленок само собой, а черт само собой, сударь. Вот вам это даже смешно кажется, ан дело-то не смешно вышло… Вы послушайте, что дальше-то было. С того самого случая и начни дьяконица хворать… Выкинула она первым делом дите, а потом как под сердце подкатит — дьяконица глаза под лоб, пена у рта, а сама по полу катается. Ей-богу… Ну, обнакновенно, потащили дьяконицу по докторам: один то, другой другое… И грешно, и смешно про этих докторов, сказывать, сударь. Один ее все голодом морил, недели с три морил, пока у дьяконицы язык не отнялся; другой холодной водой ее обливал, третий льдом ее обложил — нет нашей дьяконице лучше и шабаш: урчит в утробе и конец делу, а потом под сердце. Бились-бились с дьяконицей, а потом дьякон уж догадался, что тут не доктора надо… Он, черт-то, в утробу к дьяконице забрался. Нет, вы, сударь, не смейтесь, а слушайте, что дальше-то было. Как догадались об этом, по-вашему… а?..

— Право не знаю…

— Вот то-то и есть... А дело проще пареной репы. Старушоночка одна, побирушка, научила. Как дьяконице подкатило, старушоночка и говорит: «А прочитай исусову молитву»... Ну, обнакновенно, дьяконица только перстом показывает, что «он» ей не дает исусову молитву читать.

— У дьяконицы просто была падучая...

— Ну, пусть будет по-вашему падучая, а мы знаем эту падучую, сударь... Вы послушайте дальше-то. Дьякон тоже все по-вашему же говорил и всех старушонок-лекарок в три шеи гнал... А тут и случись дьякону куда-то на покос уехать, сено ставили. Тут дьяконицу и научили к одному старичку обратиться, чтобы попользовал... А старичок этот многим уж помог. Ну, дьяконица к нему, а старичок говорит: «хорошо; только, чтобы делать все, как я скажу». Обыкновенно, дьяконица рада-радехонька, только вылечи. Вот прихватил старичок двух старушек и пришел к дьяконице... Вбил в стену два гвоздя, поставил дьяконицу к стене и прикрутил ей руки к гвоздям веревкой. Хорошо. Потом как разбежится да головой прямо в брюхо дьяконице... А могутный

из себя старичок был — ну, дьяконица и запела на все голоса. А старичок-то сотворит молитву, разбежится да опять головой, по-бараньему, в брюхо дьяконице. Ну, таким манером орудовал он часа полтора, пока дьяконица билась на гвоздях да ревела, а потом, как стихла, он ее и велел на кровать положить. Совсем было вылечил: сначала-то будто охала, а потом и затихла... А дьякон-то и воротись на притчу: старика в шею, старушонок за шиворот — всех располировал, и все дело сразу испортил. На третий день дьяконица кончилась, а дьякон расстригся, да пить, да пить, да вот до какой оказии и допил. Вот оно, сударь, глупое-то слово куда нас приводит.

Ночью Карнаухов и Федя уехали с прииска; Карнаухов все время не поднимал головы и только раз попросил напиться воды. Дьякон Органов остался на прииске, и Бучинский столкал его с своих рук в землянку Аромато-ва; последний был очень рад такой находке и с торжеством увел своего постояльца.

— Ох, в живых бы довести барина до дому! — говорил Федя, усаживаясь на козлы. — А то будет мне на орехи от барыни... До свида-

ния, сударь!.. Извините на нашей простоте...

XIII

Как-то ночью я был разбужен осторожным шепотом и шагами каких-то мужиков. Подняв голову, я узнал в мужиках приисковых штейгерей и переодетых казаков. Очевидно, произошло на прииске что-то очень важное, и Бучинский на мой вопрос только приложил умоляюще палец к губам. Он был в высоких сапогах и торопливо прятал в карман штанов револьвер.

— Мне можно с вами? — спросил я.

— О, никак невозможно, никак невозможно! Дело государственной важности!.. Мы скоро вернемся...

Скоро вся шайка, под предводительством Бучинского, исчезла во мгле осенней ночи. Таинственность этой экспедиции заинтересовала меня, и я с тревогой стал дожидаться ее исхода. Прииск спал мертвым сном; ночь была темная, нигде не мелькало ни одного огня. Время тянулось с убийственной медленностью, и часовая стрелка точно остановилась. Прошло десять минут, четверть часа, двадцать минут — мне сделалось просто душно в

конторе, и я вышел на крыльцо. Осенняя беспросветная мгла висела над землей, и что-то тяжелое чувствовалось в сыром воздухе, по которому проносились какие-то серые тени: может быть, это были низкие осенние облака, может быть — создания собственного расстроенного воображения. Я напрасно прислушивался к охватившей весь прииск тишине — ни один звук не нарушал ее, точно все вымерло кругом.

В это время из кухонной двери вырвалась яркая полоса света и легла на траву длинным неясным лучом; на пороге показалась Аксинья. Она чутко прислушалась и вернулась, дверь осталась полуотворенной, и в свободном пространстве освещенной внутри кухни мелькнул знакомый для меня силуэт. Это была Наська... Она сидела у стола, положив голову на руки; тяжелое раздумье легло на красивое девичье лицо черной тенью и сделало его еще лучше.

— Застанут, думаешь, Никиту-то? — тихо спрашивала Аксинья.

— Застанут... — так же тихо ответила Наська, не поднимая своей головы. — В ночь се-

водни собирался на Майну с золотом...

— Лукерья-то не знает? — после короткой паузы спросила Аксинья.

— Нет... Избил он ее третьего дни — страсть!.. Глаз не видно, без языка лежала всю ночь...

— А ты через кого узнала про Никитку-то?

— Да мальчишко у них есть, Кузька... он и сболтнул, что Никита собирается в ночь куда-то, а куда ему по ночам ездить, окромя Майны?

Молчание.

— Это тебе старый пес подарил платок-то? — спрашивала Аксинья.

— Нет...

— Не ври. Гараська сказывал... А ты денег с него проси; после, пожалуй, не даст. Кум сказывал, что с Коренного сюда пришла робить одна кержанка... Пожалуй, как бы не отбила у тебя старика!..

— Ну его совсем: не дорого дано...

— А тебе Никиты-то не жаль?

— Значит, не жаль, ежели сама его подвела... Лукерья-то безответная, так я за нее упеку его!.. Путанный мужичонко — туда ему и

дорога...

Прошло часа полтора времени, и мне надоело дожидаться на крыльце. Я успел заснуть, когда за конторой послышались громкие крики и чей-то плач. Скоро в контору вошел сам Бучинский и торжественно перекрестился; за дверями кто-то кричал и ругался.

— Говорите: слава богу... — заговорил Бучинский.

— А что?..

— То есть государственная польза... да!.. Пойдемте-ка, каких птиц я вам покажу...

Мы вышли. На лужайке, перед крыльцом, столпилось человек десять; Аксинья держала в руках железный фонарь, и в его колебавшемся слабом свете люди двигались как тени.

— А... бисови ворюги!.. — ревел Бучинский, пробираясь к трем мужикам, которые были окружены штейгерями и казаками.

Прежде всего мне бросилась в глаза длинная фигура Никиты Зайца, растянутая по траве; руки были скручены назади, на лице виднелись следы свежей крови. Около него сидели два мужика: один с черной окладистой бородой, другой — лысый; они тоже были связа-

ны по рукам и все порывались освободиться. Около Никиты, припав головой к плечу сына, тихо рыдала Зайчиха.

— Попались, голуби!.. — злорадствовал Бучинский. — С поличным влетели; теперь, брат, шалишь!

— Врешь, старый пес, — хриплым голосом кричал лысый мужик, дергая связанными руками. — Твои же штегеря нам подкинули золото… Ты вор, а не мы!..

— И как ловко попались! — восхищался Бучинский. — Вот этот… — ткнул он на Никиту. — Приходим к балагану: спят. Оцепили. Ну, а он уж проснулся и с мешочком ползет из балагана… Накрыли его, а в мешочке золото!.. Ха-ха!.. От-то есть дурень!..

— Ваше высокоблагородие! — голосила Зайчиха, каким-то комом бросаясь Бучинскому в ноги: — не пусти по миру… ребятишки… Ваше…

— От-то глупая старуха! То есть государственная польза… Я маленький человек, а вот приедет ревизор — он все дело разберет. Вы будете золото воровать, а я под суд за вас попадать?.. Спасибо!

— Батюшка, да ведь всего и золота-то два золотника будет не будет... Ослобони, кормилец!..

— Я же тебе говорю, милая, что не могу... Государственная польза, ревизор приедет, разе ты можешь это понимать?

Поправка доктора Осокина {2}

I

Доктор Осокин долго мешал ложечкой чай в своем стакане и потом проговорил довольно грубым тоном:

— Знаешь, что я скажу тебе, Матрена? Ты ужасно походишь на трихину...

— Как на трихину? — обиженно удивилась Матрена Ивановна, вскакивая с дивана. — Ты, Семен Павлыч, кажется, совсем сбесился... Я очень хорошо знаю, что такое трихина: этакий беленький червячок, который живет в ветчине. Только трихина тонкая, а я, кажется, слава богу...

В подтверждение своих слов Матрена Ивановна не без грации повернулась под самым носом доктора всею своею круглою фигуркой и даже показала ему свои белые, пухлые, маленькие ручки, которыми немало гордилась, хотя в качестве акушерки должна была бы иметь руки вроде клещей. Дряблое и пухлое лицо Матрены Ивановны тоже было совсем круглое, и на нем пытливо, с каким-то детским любопытством светились два крошеч-

ных голубых глаза, точно вставки из выцветшей бирюзы.

— Конечно, трихина, — настаивал доктор, ероша свои коротко остриженные седые волосы. — Что такое трихина? Трихина есть злокачественный паразит, который губит животных одним существованием в них, а ты заражаешь людей ядом своего неизлечимого пустословия. Утешением для тебя, Матрена, в этом случае может служить то, что против трихины медицина не знает никаких средств лечения, следовательно, они могут существовать совершенно безнаказанно...

— Ну, пошел городить... А еще все считают умным человеком!.. Тьфу!.. Умный человек!..

— Конечно, умный, а то как же?

— Ну, уж извини, голубчик, а по-моему, у тебя, Семен Павлыч, не ум, а умишко, да и того еле-еле хватает, чтобы отвесить дерзость... Старый петух, и больше ничего!

Доктор Осокин слушал с завидным спокойствием, как Матрена Ивановна ругалась с ним, и, по-видимому, был даже очень доволен, посасывая длинную трубку и на время совсем исчезая в облаках белого дыма. Ему

всегда доставляло удовольствие дразнить Матрену Ивановну, которая иногда ругалась с ним до слез. В таких случаях Матрена Ивановна ненавидела до глубины души самую фигуру доктора — его широкие плечи, сильные, волосатые руки, эту большую стариковскую голову, красивую какою-то старческою красотой, наконец самодовольное выражение докторской рожи. В пылу негодования она иногда ругала его дураком или подлецом, а доктор продолжал оставаться невозмутимым и только изредка позволял себе улыбнуться, именно позволял, потому что, как Матрена Ивановна была убеждена, манера держать себя у доктора была вся деланная и вымученная, своего рода кокетство поддельно-умного человека.

— Умный человек! — не унималась расходившаяся Матрена Ивановна, размахивая своими коротенькими ручками. — Это все наши пропадинские дамы придумали: «умный, умный!..» Жену судьи Берестечкина в одном белье принял. Как же, помилуйте, приезжает к нему дама за советом, а он и выкатил даже без халата... Хорош, нечего сказать!

Доктор и теперь сидел по-домашнему: в халате, в туфлях на босу ногу и с расстегнутым воротом ночной рубашки; это был его обычный домашний костюм. Но Матрена Ивановна не обращала внимания на некоторую свободу докторских одежд и всегда говорила своим бесчисленным знакомым: «Э, батенька, я и не такие виды видывала!»

— Полагаю, что я могу у себя дома жить, как это мне нравится, — отцеживал доктор, — и не желаю себя стеснять... Удивляюсь только, зачем ко мне шляются некоторые люди, которым я советовал бы лучше сидеть дома и читать псалтырь.

— Как это остроумно, Семен Павлыч... просто великолепно!.. Остроумие военного писарька перед горничной...

Описываемая нами сцена происходила в большой и высокой комнате, которая доктору Осокину служила приемной, гостиной и всем, чем хотите. Она была совсем пустая, за исключением деревянного дивана, ломберного стола и нескольких стульев. Давно не беленные стены были покрыты полосами паутины, на полу везде лежали узоры от грязных соба-

чьих лап, захватанные двери имели самый жалкий вид, как в какой-нибудь казарме. Теперь на столе красовался давно не чищенный самовар с зелеными потеками и самая сборная посуда, так что Матрена Ивановна только морщилась и пожимала своими круглыми плечами, разливая чай.

— Меня просто в восторг приводит твоя глупость, Матрена, — говорил доктор, допивая стакан. — Необыкновенно редкий экземпляр, хотя вообще все женщины не отличаются особенным умом... Какое-то вечное полудетское существование, а потом детская старость. Взять хоть тебя, Матрена, ведь безобразна ты, как сморчок, а ведь туда же, еще кокетничаешь... Ну, скажи на милость, не глупо все это?

— Это уж не тебе понимать, Семен Павлыч... да. Конечно, я теперь старуха, а тоже было время, когда ваш брат, мужчинишки, бегали за мной, ручки у Матрены Ивановны целовали.

— Отчего же ты замуж не выходила за одного из этих бегавших за тобой дураков? Ведь в этом все назначение женщины...

— Замуж?.. Я замуж?.. Никогда! На других-то смотреть тошно, довольно я нагляделась, как бабы мучаются из-за вашего-то брата... Я девушка, да-с!

— Старая девка?

— Пусть.

— Христова невеста?

— Пусть.

По обыкновению, они рассорились. Матрена Ивановна заявила, что ее нога больше никогда не будет в докторской квартире и что она знает себе цену. Скажите, пожалуйста, какая знаменитость: доктор Осокин... ха-ха! Всякий кулик на своем болоте велик. Оказалось, что Матрена Ивановна была знакома с настоящими столичными медицинскими знаменитостями, которые берут по сто-рублей за визит. Да-с, а то какой-то доктор Осокин, который корчит из себя великого человека... Нет, это положительно смешно, и если бы Матрена Ивановна умела писать, она так бы расписала этого докторишку, что не поздоровилось бы.

— Да одно то сказать: старый холостяк... тьфу! — ораторствовала Матрена Ивановна,

несколько раз порываясь выйти из комнаты. — Я еще понимаю, если женщина не выходит замуж, а мужчина...

— Что же в этом позорного?

— Очень просто: значит, ты человек без сердца или потерял всякую способность быть настоящим мужчиной.

Доктор провел по своей седой щетине рукой и задумчиво улыбнулся.

— Когда я служил в Саратове военным врачом, — заговорил он, раскуривая потухшую трубку, — когда я служил в Саратове, все дамы находили, что я имею сердце, и даже очень горячее.

— Нашел чем похвалиться... Саратовские дамы!.. Знаю я их; они по всей Волге только тем и славятся, что умеют отлично ловить блох.

Эта выходка Матрены Ивановны рассмешила доктора, хотя в следующую за смехом минуту он и раскаялся за свою слабость: Матрена Ивановна села на стул и даже развязала ленту своей шляпки с желтыми цветами, что в переводе означало желание просидеть еще час у доктора.

— Нет, мы рассудим все дело начистоту, Семен Павлыч, — говорила она, наливая себе чашку холодного чая. — Если бы я была царем, я всех бы этих подлецов-холостяков женила первым делом... да. Уж я это Отлично понимаю все, пожалуйста, не спорь!.. Что такое девица, по-твоему, Семен Павлыч, а?

— Очень мудреный и глупый вопрос.

— Девица — несчастный человек, вот что нужно сказать. Первое, она должна быть молода и красива, а девичья красота продолжается как раз от шестнадцати до двадцати четырех лет, а тут уж собачья девичья старость начинается. Так? Ваш-то брат, мужчинишки, даже очень хорошо это понимают. Ну, значит, у девицы восемь красивых годков, и должна она себя в это время пристроить, а ежели совестливая-то да деликатная девица, так это даже весьма трудно по нынешнему времени. И в самом-то деле, девица серьезный разговор с молодым человеком начинает, а кругом шушу: жениха барышня ловит... Ну совэстливая-то девица и плюнет. Тоже ведь и гордость своя есть... Да и много ли у нас женихов-то, ежели вот наше захолустье взять, тот же го-

род Пропадинск? Глядишь, девка и завяла, а жить бы ей, жить надо, да еще как жить-то. Глаз у вас, у подлецов, нет... Халда которая, та скорее выскочит замуж, или вдова какая, потому что они свободное обращение имеют с мужским полом. Правду говорю, Семен Павлыч, истинную правду. Вы вот все науки произошли, а только, что под носом у вас делается, этого вот не видите. Много хороших девиц этим манером из-за своей совести пропадает, а другая терпит-терпит, да за первого прохвоста и махнет...

— Я-то при чем же тут?

— Ты? А вот ты первый во всем виноват, кругом виноват... К этому и речь веду, голубчик Семен Павлыч. Вы ведь ученые, с вас и первый спрос. До седого волоса учитесь. А какое ваше мужское положение? Как ветер, гуляй из стороны в сторону, и никакого тебе запрету нет. Ты еще вот в гимназии учился, а уж всю женскую часть произошел: и барынька податливая попалась, и смазливая горничная, и так сбегаешь вечерком в хорошее место. Всего насмотришься и вот досюда (Матрена Ивановна указала на свою короткую шею)

доволен... Знаю я, как вы по столицам-то высшее образование получаете: другой приедет домой-то в чем душа. Ну выучился, поступил на службу и пошел разбирать: та девушка нехороша, эта хороша, да приданого нет, третья и с приданым и с красотой, так образования не имеет или не может свободно ученые ваши разговоры разговаривать. Можно разбирать-то из-за готовых харчей: тут около дамочек свое удовольствие получишь, там экономку какую-нибудь развертную возьмешь, к арфисткам съездишь песенок послушать. Хорошие-то девушки вянут да вянут у себя по теремам, а ты свинья свиньей живешь, да еще порядочным человеком себя считаешь. «Я, говорит, смотрю на жизнь философски. Конечно, семейная жизнь с гигиенической стороны имеет за себя большое преимущество, но пойдут хлопоты, дрязги, недостатки, — тут уже не до науки». Это в тебе твое свинство говорит, Семен Павлыч, а не наука. Ну, таким манером и ты достукаешься к пятидесяти годам до своей собачьей старости.

— Этакий у тебя язык, Матрена... Ну и буду старым холостяком, никому до этого дела нет.

Твоей совестливой девице даже лучше, что я ее обманывать не буду.

— Ах, какой ты глупый человек, Семен Павлыч!.. А деточки-то, ангелочки-то? Что у тебя? Кабак, псарня какая-то (Матрена Ивановна торжествующе обвела комнату глазами)... Пустота, грязь, мерзость. Вон там у тебя кабинет, там спальня, а в той комнате... что у тебя в той-то вон комнате, налево, позабыла я?

— Там собаки живут.

— Да, да... собаки! Тьфу ты, окаянная душа... А комнатка-то какая...

Матрена Ивановна отправилась в комнату налево, отворила дверь и долго стояла на пороге, покачивая своею головой. Эта комната выходила двумя окнами прямо в сад и была совсем пустая, только на полу на соломе спала глухая сука Джойка.

— Ох-хо-хо, хорошенькая комнатка! — вздыхала Матрена Ивановна. — Вот тут бы у тебя и жила старшая твоя дочь. К стенке бы кроватку поставить, в углу этажерочку, тут комодик, письменный столик, — отличная бы комнатка вышла. Пошел бы вот эдак на служ-

бу куда, а сам бы и прислушался, что, мол, моя Саша делает теперь? Глядишь, и забота была бы, не до свинства тогда. То Саше ботинки новые нужно, то Саша нездорова, то Саше книжку умненькую надо прочитать, да объяснить, да показать, да научить... А Саша бы, глядишь, к отцу бы приласкалась, свеженькая да чистенькая такая, как первая весенняя травка. Так я говорю?

Доктор давно не слушал свою собеседницу и сидел, опустив голову. Трубка потухла, чай давно стоял холодный, в комнате было уже темно.

— Штой-то это как я заболталась с тобой, — спохватилась Матрена Ивановна, горошком вскакивая со стула. — Ночь на дворе, а я к холостому мужчине забралась. Прощай, Семен Павлыч.

— Прощай, трихина.

— Петух старый!

Оставшись один, доктор долго сидел в темноте. Он все хотел раскурить трубку, но както забывал каждый раз и опять задумывался. На улице уже горели фонари; где-то громыхали по избитой мостовой дребезжащие дрож-

ки. В комнату вошла любимая собака доктора, ирландский сеттер Нахал; он ткнул хозяина холодным носом в руку, повилял пушистым хвостом и, не дождавшись обычной ласки, отправился в комнату больной Джойки.

— Ах, да, комната старшей дочери, — вспомнил доктор, прислушиваясь к шагам собаки, и горько улыбнулся.

Вечером доктор долго не ложился спать и со свечкой в руках несколько раз обошел всю свою квартиру, из комнаты в комнату, и внимательно рассматривал свой холостой беспорядок, точно он видел все это в первый раз. Доктору сделалось вдруг как-то жутко: из каждого угла на него смотрело его одиночество и то холостое свинство, о котором говорила Матрена Ивановна. Единственная комната в доме, пахнувшая жилым, был докторский кабинет, — шкафы с книгами, медицинские инструменты, разные препараты, письменный стол, заваленный книгами, бумагами и покрытый пылью и табачным сором. Спальня была совсем пустая комната с кроватью посредине. Доктор спал, вместо матраца, на мешке с сеном, которое менялось каждый

день. В комнате Джойки доктор пробыл особенно долго. Это был великолепный кофейный пойнтер с глазами цвета горчицы; у Джойки был маразм, единственное лекарство от которого — смерть. Умная собака, кажется, сама понимала свое положение и как-то виновато смотрела на хозяина своими слезившимися глазами.

— Плохо, Джойка, — проговорил доктор, щупая сухой нос собаки.

Джойка сделала усилие, уперлась задними ногами в солому, вытянулась и проползла несколько шагов, но больше не могла и только печально вильнула хвостом. Нахал, со свойственным своему юношескому возрасту эгоизмом, не желал понимать происходившей сцены и все лез к доктору, тыкаясь к нему в колена своею рыжею шелковой головой.

— Экая дура эта Матрена, — вслух проговорил доктор, лаская Нахала. — Единственный верный друг у человека — это собака. Так, Джойка?

II

Уездный город Пропадинск совсем не был

таким захолустьем, как отзывалась о нем Матрена Ивановна; напротив, это был очень чистенький и бойкий городок с двадцатитысячным населением, развитою промышленностью и тем особенным бойким складом жизни, каким отличаются все сибирские города. Правильные, широкие улицы, обстроенные каменными и деревянными домами, вытянулись параллельно течению маленькой горной речонки Пропадинки. Издали вид на город был очень красив: чем-то свежим и оригинальным веяло от этой пестрой кучи домов, садов, церквей, общественных зданий, дач и заимок. Трудно было даже разобрать, где кончался собственно город, потому что заимки и дачи уже входили в черту города, а затем почти в центре зеленою шапкой высилась небольшая лесистая горка, служившая местом для общественного гулянья. Из общей массы строений выделялись, как громадные заплаты, четыре городских площади и целый ряд громадных каменных домов казарменной архитектуры времен Александра благословенного[43]; это были палаты разных заводчиков и золотопромышленников. Половина

этих дворцов стояла пустая и медленно разрушалась, потому что владельцы или разорились, или вымерли, или проживали где-нибудь в столицах и за границей.

Самое блестящее время существования Пропадинска были сороковые годы, когда здесь бойко развернулись золотопромышленники, заводчики и горные инженеры. Особенно прославились фамилии золотопромышленников Гуськовых и Ефимовых, прогремевших на всю Россию, за ними выдвинулись купцы Светляковы, откупщик Хлыздин, винокуренные заводчики Барч-Гржеляховские и т. д. Пропадинск зажил бойко и размашисто, как умеют жить только в Сибири, а затем как-то вдруг золото «отошло» в другие места, и жизнь вошла в свою обычную колею. Вместо диких миллионов выступили на сцену туго сколоченные капиталы, промышленники и предприниматели нового пошиба.

— Ничего, светленько-таки пожили... всячины бывало! — любила вспоминать Матрена Ивановна, еще помнившая самый развал пропадинского благополучия. — Гуськов-то, Михайло Платоныч, очень даже умел себя по-

казать: протер глазки-то своим миллионам, немного от них осталось наследничкам-то... Свой театр имел, как же, полный оркестр музыкантов и даже хотел настоящий цирк из Италии выписать, да умер скоро. Когда выдавали Евлампию-то Михайловну, вторую дочь от. первой жены, так один фейерверк стоил пять тысяч, а сколько было посуды перебито на свадьбе, сколько платья испластано на гостях — и не сосчитать.

— Зачем же платья на свадьбе рвали, Матрена Ивановна?

— А от радости, ангел мой, от радости. Это уж такое дикое купеческое обыкновение: ежели все благополучно с невестой, сейчас все в клочья. Была я на свадьбе-то, так и меня чуть было не ободрали до ниточки. До настоящего сраму дело доходило: подбежит сам-то Михайло Платоныч к какой даме и сейчас за ворот да до самого подола все платье на ней и разорвет, а сам плачет от радости...

У Матрены Ивановны был свой домишко, стоявший на Соборной улице, рядом с запустелыми хоромами разорившихся богачей Ефимовых; он выходил на улицу всего тремя

небольшими окошечками и выкрашенным в серую краску деревянным подъездом, над которым красовалась большая синяя вывеска: «Экзаменованная повивальная бабка (Sage-femme[44]) М. И. Пупышкина». Домишко был старый, держался, кажется, только на своей деревянной обшивке, но Матрена Ивановна не желала ни починивать его, ни строить новый, потому что «на мой-то век и этого хватит, а с собой не возьмешь». Собственное помещение Матрены Ивановны заключалось в трех крошечных комнатах, набитых до самого потолка разною старинною мебелью, точно это была лавка со старыми вещами.

— Все подарки от моих пациентов, — объясняла Матрена Ивановна любопытным. — Если самим что-нибудь из мебели надоело, сейчас Матрене Ивановне и подарят. А я все беру, потому что зачем обижать добрых людей? Конечно, все это хлам, ну, а как умру, так разные неблагодарные племянники найдут место всему.

В приемной комнате стоял диван карельской березы, над ним висело неуклюжее зеркало в тяжелой раме красного дерева с вы-

чурной золотой резьбой по углам, перед диваном красовался круглый чугунный стол, по сторонам дивана стояли какие-то две необыкновенные тумбы, раскрашенные под мрамор; пузатый ореховый комод, бюро без двух ящиков, несколько старинных кресел и стульев дополняли эту обстановку. Конечно, на полу были ковры, на диване лежала расшитая шерстями и бисером подушка; столы, комод, тумбы, спинки у кресел и дивана были завешаны вязаными «филейными» ковриками и салфеточками. В задней комнате Матрена Ивановна, собственно, только спала и там же стояли ее сундуки с разным добром, да еще большой посудный шкаф, в котором хранилось, кажется, все достояние бойкой старушки.

— Буду старая, так негде будет взять-то, — говорила Матрена Ивановна, когда кто-нибудь из знакомых упрекал ее в скупости. — Сирота ведь я; голодом и холодом насидишься с добрыми-то людьми, а мне вон еще для Поленьки нужно промышлять.

В подвальном этаже домишка Матрены Ивановны проживала в особой каморке быв-

шая пропадинская знаменитость — Поленька Эдемова. Примадонна и первая красавица, сводившая с ума весь город, теперь даже не имела угла, где могла бы приклонить свою старую голову, и если бы не Матрена Ивановна, примадонне пришлось бы умирать на улице. Теперь Поленьке было под шестьдесят; она носила темненькие шерстяные платья, вязаную косынку на шее и какую-то фантастическую наколку на голове. Полное, обрюзглое лицо Поленьки казалось старше своих лет, хотя глаза еще сохранили блеск и все зубы были целы; седые волосы она завертывала какою-то пуговкой на самом затылке. Держала себя Поленька крайне неровно, чем постоянно огорчала Матрену Ивановну, очень «легкую» на гнев и на милость. Часто, глядя на Поленьку, Матрена Ивановна удивлялась про себя, странная эта Поленька: то как будто простая и славная, а то вдруг какую-то гордость на себя напустит, начнет капризничать, вообще сделается такою фальшивой и неприятной. Эти припадки обыкновенно случались при ком-нибудь посторонним. «Ну, опять бес поехал на нашей Полень-

ке! — махнет только рукой Матрена Ивановна. — Ведь уж старуха, а все еще ломаться да представляться надо перед добрыми людьми».

Матрена Ивановна не хотела понять этих вспышек пережившего себя тщеславия: в Поленьке каждый раз мучительно умирала та знаменитая актриса, которую когда-то все носили на руках, а потом просто хорошенькая женщина, привыкшая быть красивой. Это была настоящая драма, и Поленька делалась каждый раз больна после своих капризов. Она обыкновенно запиралась на несколько дней в свою каморку и никого не принимала, даже Матрену Ивановну. Комнатка была крошечная и выходила единственным окном во двор. Впрочем, у Поленьки, ничего и не было, кроме какой-то необыкновенной кровати красного дерева; это было целое архитектурное сооружение, преподнесенное ей в дни ее славы самим Михайлом Платонычем Гуськовым. Необыкновенно низкая и широкая, эта знаменитая кровать была украшена высокими спинками с самою причудливою резьбой. По углам сидели золотые амуры, прицеливав-

шиеся стрелами друг в друга. Несмотря на все превратности своего существования, Поленька сохранила эту кровать за собой и желала умереть на ней. В дни уныния и печали, запершись на крючок, она отодвигала в кровати широкий ящик и надолго погружалась в рассматривание его содержимого. Весь сор и пепел, какой несет за собой театральная слава, теперь сосредоточивался в этом ящике; тут были засохшие букеты, цветы из венков, широкие шелковые ленты с разными надписями, пожелтевшие и выцветшие портреты, целые кипы стихов, вороха записок, страстных посланий, нежных объяснений в любви и просто безграмотной дичи, которую могла писать и понимать одна любовь. Целый угол занимали пустые футляры от разных ценных подарков, и Поленька очень дорожила именно этими футлярами; их ценное содержимое давным-давно перешло в цепкие руки разных закладчиков, но она могла хоть читать потемневшие золотые надписи на этих футлярах. Так, на футляре из-под аметистового колье была надпись: Единственной от города Пропадинска; на фермуаре: Победительнице

от побежденных; на бриллиантовой броши: Волшебнице от Гуськова; дальше следовали: Несравненной красоте от клуба приказчиков, Моему божеству от майора Передерина, От ослепленных красотой горных инженеров, и т. д., и т. д. Это были подарки общественного характера, где больше щеголяли футлярами, а самые ценные вещи были помечены какою-нибудь одной буквой, числом или годом. Золотопромышленник Гуськов и откупщик Хлыздин соперничали перед Поленькой Эдемовой дорогими подарками, и каждый оставался в убеждении, что именно его одного Поленька Эдемова и любит.

«Господи, куда же все это девалось? — в каком-то ужасе иногда думала Поленька, перебирая воспоминания прошлого. — Гуськов разорился и давно умер, Хлыздин тоже, Ефимов сошел с ума... Другие все: кто умер, кто замаливает старые грехи, а кто на старости лет последнюю совесть позабыл».

Поленька иногда чувствовала себя какою-то тенью самой себя, а жизнь казалась ей тяжелым сном. Правда, она оживлялась, когда разговор заходил о прошлом и когда мож-

но было отвести душу хоть с тою же Матреной Ивановной, которая знала всю подноготную Пропадинска, как свои пять пальцев.

— И куда что девалось, ума не приложу, — рассуждала Матрена Ивановна, попивая кофе с Поленькой. — Прежде-то, прежде какие, например, девицы бывали!., а?

— Я то же самое говорю, — соглашалась Поленька, — что-то как будто нынче их не видно, разве из молодых кто выберется.

— Нет, прежде-то: Евлампия у Гуськовых, Евпраксия, своячина Хлыздина, Лидочка и Капочка у Ефимовых, у протопопа Катонова целых три дочери, генеральша Отметышева, заседательша Голубкова... Одна лучше другой, одна краше другой!.. Помнишь, как протопоповские дочери на гитаре играли, а заседательница Голубкова русскую в шароварах и в шелковой рубахе отхватывала?.. Мне больше всех Евлампия Гуськова нравилась: брови густые, как два соболя, глаз серый с искорками, грудь, как у богини, а руки какие у ней были!.. Тройкой правила, как ямщик, а рука точно вся выточена до самого плеча!

Кутила она после-то сильно... Ох-хо-хо!.. И

все-то старые-старые сделались, брюзжат, да стонут, да кашляют... Одни, видно, мы с тобой, Поленька, остались! Право, если с молодыми-то сравнить, так мы еще, пожалуй, того...

— А Машенька Оаетлякова, Эммочка Бодман, говорят, красавицы? — сомневалась Поленька.

— Машенька Светлякова? Эммочка?.. Ха-ха!.. И это красавицы!.. Моль какая-то немецкая: у Эммочки талия до пят, а у Светляковой спина как у стерляди... Знаю я их всех!.. Вот теперь много судейских барынь, у инженеров, у купечества, — все будто люди, а чтобы настоящая красавица — ни одной!.. Я их копчушками всех зову... право, настоящие копчушки. Да вот хоть теперь взять тебя: ведь уж ты старуха, Поленька, старый гриб, а, ей-богу, всех этих красавиц сложить вместе, так они одной твоей ноги не стоят. Ах, какие у тебя ноги, Поленька, были, какие ноги!.. Недаром Хлыздин шампанским их мыл да этим шампанским гостей поил.

При этой похвале Поленька краснела последним старческим румянцем и стыдливо

опускала глаза.

— Я ведь тебе не буду льстить, матушка, — не унималась Матрена Ивановна, — я правду всегда ляпну... Только ты цены себе настоящей не знала и напрасно этим подлецам мужчинишкам доверялась. Так я говорю?.. Конечно, красотою особенной меня господь не наградил, но за одно благодарю моего создателя: ни одному мужчинишке никогда не поверила, а то, по-твоему же, суму на шею надели бы, да и пустили по миру.

— Нет, это я сама виновата, Матрена Ивановна...

— И говорить не смей!.. Она же их и защищает... Позабыла, видно, как у меня жениха отбила?.. Стара вот я только стала, а то бы еще ничего, посчиталась бы с тобой... Ну-ка, скажи по совести, из-за кого я старою-то девкой осталась?

— Матрена Ивановна... оставьте... — глухо шептала Поленька, закрывая лицо руками. — Прогоните меня лучше, а не мучайте.

— Да я ж тебе в ножки поклонюсь за доброе дело, — смеялась Матрена Ивановна. — Кабы не ты, пропала бы моя головушка. Без

ума сделалась я тогда...

Эти старые счеты заключались в том, что у Матрены Ивановны был жених, какой-то учитель Горорытский, а Поленька Эдемова, бывшая тогда на верху своей славы, расстроила это складывавшееся молодое счастье из-за какого-то шального пари, что отобьет жениха у некрасивой акушерки. Горорытский сразу попался на удочку. Поленька потешилась им несколько дней, а затем дала ему чистую отставку; учитель скоро спился и умер, а Матрена Ивановна осталась весталкой.

— Одно меня удивляет, — рассуждала Матрена Ивановна, впадая в задумчивое настроение, — откуда это зверство в человеке? Погубила двоих разом и не жаль... Я не в укор тебе говорю, Поленька, а только к примеру.

— Велико кушанье твой Горорытский! — возмущалась Поленька, увлекаясь воспоминаниями. — Помнишь, как горный инженер Блюдечкин застрелился из-за меня?.. Он меня сначала хотел убить...

— Да мало ли было дураков, всех не пересчитаешь... Сколько человек по миру пустила ты, Поленька, а уж сколько жены мужние из-

за тебя слез пролили да синяков износили. А я нет, не сержусь... Ну-ка, спой ты эту самую песенку, помнишь?.. Господи, что делалось в театре, когда ты, Поленька, романсы пела...

У Матрены Ивановны хранилась гитара, подаренная ей одною из дочерей протопопа Катонова, и она иногда любила поиграть на ней, припоминая старину. Обыкновенно Матрена Ивановна аккомпанировала, а Поленька пела дребезжащим старческим голосом. Самым приятным воспоминанием для обеих старушек был старинный романс: «Собака верная моя». Когда Поленька пела этот романс, Матрена Ивановна горько плакала. Чтобы развеселить Матрену Ивановну, Поленька исполняла тоже старинную модную песенку про «Ванюшу-трубочиста», который был «лицом черен, но душою чист».

Вернувшись в последний раз от доктора, Матрена Ивановна долго не могла заснуть, ворочалась в своей постели, а потом не выдержала и спустилась к Поленьке, которая с лампой сидела на своей кровати и вырезывала из бумаги лепестки искусственных цветов. Бывшая знаменитость любила эту работу, ко-

торая не мешала думать и в то же время доставляла удовольствие и маленький заработок.

— Была я у того, у медведя-то, — говорила Матрена Ивановна, с ногами забираясь на Поленькину кровать.

— У какого медведя? — равнодушно спрашивала Поленька, разглядывая издали только что собранную бланжевую розу. — Не правда ли, какая прелесть?

— Отстань, пожалуйста, с своими глупостями... А мне, право, даже жаль его сделалось!

— Кого жаль? — с прежним равнодушием спрашивала Поленька, продолжая любоваться своим произведением.

— Ах, какая ты глупая, Поленька! — вспылила Матрена Ивановна, окончательно обиженная невниманием. — Я же тебе рассказываю про Семена Павлыча.

— А... так бы и сказала. Опять поругались?

— Да ты слушай. Сначала-то чуть не разодрались, а потом как я принялась его золотить, как принялась, ну, он и прикусил язык-то. Уж на что, кажется, дерзок, а тут замол-

чал... Знаешь что, Поленька? Мне кажется, что доктор очень несчастлив, очень, очень несчастлив!

— Может быть... не знаю...

Матрена Ивановна искоса взглянула на Поленьку и невольно подумала: «Ну и глупа же ты, матушка. Этакое дерево смолевое!» А Поленька как-то по-ребячьи продолжала любоваться своим цветком и, чтобы не огорчить Матрену Ивановну, напрасно старалась принять внимательный слушающий вид.

— Вот что я хотела тебя спросить, — продолжала Матрена Ивановна с самым невинным видом. — Ведь ты хорошо помнишь Семена-то Павлыча, когда он молодым приехал в Пропадинск?

— Доктора Осокина? — не без важности переспросила Поленька. — Как же, помню... Он еще когда-то ухаживал за мной и ужасно мне надоедал своими глупостями.

— Какими глупостями?

— Да разными. Мне тогда не до него было: с одной стороны приставал Гуськов, с другой — Хлыздин, а тут еще этот доктор. Старики-то совсем сбесились: ревнуют меня к док-

тору, а я просто не знала, как с ним развязаться.

— Ты, кажется, думаешь, что и Семен Павлыч был влюблен в тебя?

— Не спорю, но что-то такое было.

Как Матрена Ивановна ни допытывалась, но Поленька решительно не могла вспомнить, что такое у ней было с доктором, — память изменила старой актрисе.

III

В Пропадинске доктор Осокин пользовался репутацией странного человека. Все были согласны, что доктор умный человек, и даже очень умный, но вдруг на него накатывался какой-то особенный стих, и доктор начинал блажить: то пациента обругает, то барыню до истерики доведет, то какой-нибудь такой фокус выкинет, что все ахнут. Нужно сказать, что было такое особенное время, когда все умные провинциальные люди обязательно чудили, и благодаря этому некоторые завзятые дураки до самой смерти пользовались репутацией умников. Странности доктора Осокина распадались на два разряда: странности постоянные и странности случайные. К первым

относилось то, что доктор в гигиенических видах спал всегда на свежем сене, пил одну отварную воду, питался исключительно морковными пирогами, приготовленными для него по какому-то необыкновенному рецепту, зимой ходил в летней фуражке, летом в папахе, не признавал галстуков, из удовольствий допускал только одно — пойдет на двор, разбросает поленницу дров, и совершенно доволен.

— Это мне заменяет музыку, — объяснял доктор на своем странном языке.

Как врач, доктор Осокин пользовался громадною популярностью, хотя всегда старался по возможности избегать частной практики, почему обращался с пациентами с необыкновенною грубостью, но последнее приводило как раз к противоположным результатам; самые нервные и жантильные барыни никому не хотели верить, кроме доктора Осокина. Они терпеливо выносили самые отчаянные докторские грубости, плакали, нюхали спирты, необходимые в таких случаях, давали клятву, что больше никогда не обратятся к этому грубияну, и при первом же случае

опять посылали за доктором Осокиным. Рассказывали, что одну из своих восторженных пациенток доктор выгнал из своей квартиры прямо в шею, а m-me Берестечкину принял в одном белье.

В Пропадинске доктор жил больше тридцати лет, и жил все время отчаянным холостяком. Докторская квартира служила притчей во языцех, как редкий пример беспорядка и отсутствия всяких удобств жизни. Но доктор прожил в ней все тридцать Лет и, кажется, совсем не думал выезжать из нее. И прислуга у доктора была одна и та же: неимоверно глупый лакей Авель, которого доктор держал из удовольствия назвать его первым человеком в мире, и старая кухарка Таисья, умевшая готовить только одни морковные пироги. Лошади доктор не держал, потому что иметь свою лошадь значило лишать себя величайшего удовольствия ходить по городу пешком.

— Это мне заменяет живопись, — объяснял доктор, когда ему советовали завести лошадь. — Помилуйте, ездить на лошади — это величайшее безумие и самый верный путь к

насильственной смерти, а я этого не желаю и надеюсь прожить до ста лет.

С пропадинской публикой доктор как-то не сошелся и решительно ни у кого не бывал; у него тоже гостей было немного, и Матрена Ивановна являлась счастливым исключением. Трудно сказать, как произошло это знакомство и чем оно поддерживалось, тем более что доктор был заклятым врагом женщин. Но Матрена Ивановна бывала у доктора почти каждую неделю и даже уверяла своих бесчисленных знакомых, что доктор Осокин скучает без нее.

— А что вы у него делаете, Матрена Ивановна? — допытывались наивные барыни.

— Чего делать-то? Чай пью... Как недели две не загляну к нему, каждый раз скажет: «А я уж думал, что ты, Матрена, издохла». Ну и я ему тоже не пирогами откладываю. А все-таки приятно с умным человеком поговорить, точно вот сама на целый вершок умнее сделаешься. Иногда часа два разговариваем.

— Душечка, Матрена Ивановна, говорят, доктор двадцать лет какое-то необыкновенное ученое сочинение пишет?

— Не хочу врать: не заметила насчет сочинения. А так книг разных действительно много, больше по нашей медицинской части. Ну, тоже инструменты разные, банки да склянки… А что он делает — прах его разберет. Просто сам перед собой умного человека разыгрывает… Это иногда бывает, болезнь такая есть, только позабыла я, как она по-латински называется.

Весь Пропадинск был глубоко убежден, что доктор Осокин занимается чем-то необыкновенно ученым, потому что всегда в его кабинете огонь светился далеко за полночь. Но чем занимается доктор — осталось тайной, хотя и существовали на этот счет более или менее счастливые гипотезы: одни говорили, что доктор «пишет философию», другие-что занимается вивисекцией[45] или спиритизмом, третьи — что просто-напросто доктор пьет фельдфебельским запоем. Единственными свидетелями докторских занятий были его собаки, но и те не умели ничего рассказать, как и докторская прислуга.

— Чего ему делать-то, нашему барину? Обыкновенно, ходит из угла в угол до вторых

петухов, вот и вся работа, — грубо отвечал Авель на все расспросы любопытных. — Сначала в книжку почитает, а потом примется бродить, как маятник... Даже страшно в другой раз сделается: кто его знает, что у него на уме-то?

Общество своих собак доктор Осокин предпочитал обществу людей и с ними проводил свое свободное время, когда хотел отдохнуть или развлечься. Он любил кормить их из своих рук и каждый день гулял с ними по городу часа два. Рассказывали настоящие чудеса про необыкновенный ум докторских собак, которые даже не играли с другими собаками, точно они стыдились своего глупого собачьего рода.

В сущности дело было гораздо проще. Доктор Осокин действительно занимался, и занимался очень упорно, и чем дольше погружался в свои занятия, тем сильнее увлекался ими. В далекой юности и он заплатил известную дань своему возрасту: пользовался удовольствиями, бывал в клубе, участвовал в любительских спектаклях, ухаживал за хорошенькими женщинами, а потом все это ра-

зом бросил и засел в своей квартире. Провинциальная жизнь, сосредоточивавшаяся около вина, карт и сплетен, действительно не интересовала доктора, и он с удовольствием променял ее на «дорогой хлеб науки». В полный расцвет силы доктор Осокин натолкнулся на одну интересную тему и разрабатывал ее с замечательной настойчивостью.

Его жизнь прошла не даром, и он с гордостью ученого смотрел на свой рабочий стол и рукописи. В самом деле, пока другие разменивались на мелочи провинциального существования, он, доктор Осокин, вращался в мире великих идей, теорий, гипотез и гениальных предчувствий. У него была своя идея, и он хотел приобщить ее к общей сокровищнице человеческого знания. Но гордость ученого-завоевателя и поэтические восторги раскрывавшегося вдохновения часто сменялись минутами апатии, сомнениями и даже отчаянием. Это были настоящие родильные муки, и доктор боялся только одного: самые сильные муки доставляют матерям мертворожденные дети, и его двадцатилетний упорный труд мог оказаться одним из тех ученых

мыльных пузырей, которые рассыпаются радужною пылью при самом своем появлении. За минутами уныния следовало обыкновенно самое бодрое настроение, тот подъем духа, который доступен только творящей мысли, и в докторской голове сами собой складывались счастливые комбинации, логические обобщения, неожиданные выводы и совершенно новые объяснения.

В этом образе жизни и занятий доктора находилось объяснение его отношений к Матрене Ивановне: напряженно работавшей мысли необходимо было известное развлечение, необходимо было спуститься с научных высот в действительный мир маленьких людишек, крошечных интересов, мелкого тщеславия и невообразимой путаницы взаимных отношений. Матрена Ивановна служила лучшим образчиком маленького человека, и доктор изучал ее, как своего рода патологическое явление. Она постоянно удивляла его, и доктор, прищурив свои глаза, иногда долго-долго смотрел на нее в упор.

— Ну, чего ты на меня уставился-то? — рассердится Матрена Ивановна, начиная чув-

ствовать себя неловко.

— А ты попробуй смотреть прищуренными глазами на когонибудь: человек делается все меньше, меньше и меньше... а потом просто получается какая-то букашка.

В описываемое нами время доктор уже предвидел конец своей работе: наступал давно желанный миг, когда он мог представить свой труд на суд публики и пустить в оборот новую комбинацию идей. Мысль об этом торжестве захватывала дух у доктора, и он начинал бояться, что вдруг умрет, не докончив самых пустяков. Какая-нибудь пустая случайность — и труд целой жизни может остаться недоделанным, а это равнялось его гибели.

«Уж не схожу ли я с ума? — задумывался иногда доктор, перелистывая главную рукопись, испещренную какими-то чертежами и математическими формулами. — Еще каких-нибудь полгода, и все будет кончено».

Так рассчитывал доктор, но вышло совсем иначе, и беда пришла с той стороны, откуда доктор уже никак не мог ожидать ее: она свалилась на седую докторскую голову с языка Матрены Ивановны. Да, эта безнадежно глу-

пая женщина отравила существование доктора Осокина на целую неделю, и в его мозгу стучала все одна и та же фраза, брошенная Матреной Ивановной, конечно, совершенно бессознательно. Шагая по своему кабинету, доктор часто повторял: «Комната старшей дочери!.. Комната старшей дочери!» Матрена Ивановна именно так и сказала, и удивительно, как все в этой фразе было сплочено: почему не сына, а дочери, и непременно старшей?

— Ведь это целый отдел жизни я просмотрел! — удивлялся доктор вслух. — Счастливая идея: жизнь в возможности. Да, именно этого у меня и не доставало! Получится совершенно новое освещение некоторых положений.

Параллельно с чисто научными соображениями шел другой порядок мыслей: доктор думал о самом себе и невольно оглядывался кругом. Всего удивительнее было здесь то, что доктор меньше всего когда-нибудь думал остаться старым холостяком, а между тем выходило так. Жизнь имеет свою логику, и положительно глупую логику. И чем дольше думал доктор на эту тему, тем больше удивительных мыслей приходило ему в голову, а

всего удивительнее было то, что все эти мысли вертелись около роковой фразы Матрены Ивановны.

Следствием этой душевной работы явилась довольно странная выходка.

В одно «прекрасное утро» доктор вышел из своей квартиры и пошел, как обыкновенно делал, не к городскому предместью, а вдоль Проломной улицы к центру города. Стояла осень, и везде городские улицы были залиты сплошною грязью, но доктор бодро шагал по переходам и сосредоточенно раскланивался с встречавшимися знакомыми, прикладывая руку к своей старой папахе. Миновав Проломную улицу, доктор вышел на Черный рынок, потонувший в непролазной грязи, а потом повернул в узкую Мучную улицу, набитую мучными лавками, крестьянскими телегами и целыми стаями голубей. Наконец, доктор очутился на Соборной площади, центр которой был занят старым гостиным двором. Пробегая глазами вывески, доктор бормотал: «Нет, не здесь...» Лавки с галантерейными товарами, колониальные магазины, торговля красным товаром, шорные лавки — все это было не то,

что нужно было доктору.

— Ага, вон она где, — вслух проговорил доктор, читая розовую вывеску на углу дома, выходившего на Соборную площадь, — «Моды и платья m-me Раскеповой». Так... здесь...

Доктор благополучно переправился через всю Соборную площадь прямо к модному магазину и остановился только у каменного крылечка, чтобы немножко перевести дух. Потом он грузно поднялся по каменным ступенькам во второй этаж, пролез через стеклянный фонарь и, наконец, очутился в самом магазине. Доктору Осокину никогда не случалось бывать в подобных заведениях, и он с любопытством рассматривал длинную комнату, выходившую тремя окнами на площадь. Около стен стояли шкафы с готовыми платьями, между шкафами тянулись лакированные деревянные полки, набитые синими картонками с выставлявшимися из-под крышек образцами лент, кружев и разных вышивок. На широком прилавке, в особых витринах красиво были разложены такие вещи, назначение которых он едва ли мог бы определить: наколки, куски лент, банты, косыночки, шарфи-

ки, крашеные перья, стеклярус, какие-то бронзовые погремушки и т. д. Небольшая полукруглая арка соединяла магазин с следующей комнатой, где весь пол был занят целыми ворохами различных материй. Из этого цветного облака на доктора любопытно смотрели бойкие личики молоденьких швеек.

— Чем могу служить вам, доктор? — спросила певуче m-me Раскепова, появляясь в арке. — Вы, кажется, в первый раз у меня... Садитесь, пожалуйста.

— Да, у меня есть серьезное дело, — заговорил доктор, напрасно стараясь засунуть свою папаху между какими-то картонками. — Видите ли, мне необходим целый подбор таких вещей, которые необходимы каждой молодой девушке... Как это называется, позвольте... есть такое слово...

— Приданое.

— Да, да, именно приданое, — облегченно проговорил доктор и провел рукой по своим седым волосам. — Обратите внимание, что приданое нужно для молодой особы.

M-me Раскепова снисходительно улыбнулась:

— Разве приданое делают старухам?

Засмеялись маленькие швеи в соседней комнате, и даже улыбнулась бледная, худая девушка, стоявшая посредине комнаты в роли манекена; главная швея, некрасивая блондинка с злыми глазами, не могла улыбнуться только потому, что рот у ней всегда был занят булавками, которыми она прикалывала примеряемые на манекене платья.

— Вероятно, вам, доктор; приходится выдавать замуж племянницу или какую-нибудь бедную родственницу? — заметила m-me Раскепова.

— Н-нет... не совсем, — заметно смутился доктор и даже уронил своей папахой несколько картонок. — Есть одна молодая особа, очень близкая мне...

M-me Раскепова сделала сердитое лицо, строго подобрала свои крошечные губы и в коротких словах объяснила доктору, что нужно «-молодой особе». Затруднение вышло из-за роста, но доктор обещал доставить мерку.

— Вы представьте себе, madame, только одно, именно, что у этой особы решительно ничего нет, — объяснял доктор, поднимая седые

брови.

— Потрудитесь также доставить номер перчаток, который носит эта молодая особа, а также мерку с ноги, — сухо объясняла m-me Раскепова с какою-то печальною торжественностью в голосе. — Наша обязанность — исполнять аккуратно и добросовестно всякие заказы.

Доктор совсем не заметил, как m-me Раскепова подчеркнула последнюю фразу; он смотрел на эту полную важную даму с гладко зачесанными темными волосами доверчивым и улыбающимся взглядом; она ему нравилась, как нравился весь этот магазин, ленты, разбросанная по полу материя, улыбавшиеся лица бойких швей. Вое это было так ново для него и вместе с тем так отвечало именно его требованиям: здесь было решительно все, что ему нужно. M-me Раскепова терпеливо ожидала, когда, наконец, уйдет доктор, а он продолжал очень внимательно рассматривать всю обстановку магазина.

— А ведь это очень интересно, очень... — бормотал он.

— Да?

— Да... Вы, madame, вероятно, слыхали о покровительственной окраске у животных и брачном оперении? Это именно относится к вашей специальности и даже могло бы служить очень полезным источником для некоторых указаний практического характера. Покровительственная окраска — это общий научный термин, хотя его понимают исключительно в смысле сохранения отдельных представителей вида, а брачное оперение служит в интересах дальнейшего продолжения этого вида. То же замечается в окрашивании цветов, хотя роль растений в этом случае совершенно пассивная: привлечь на себя внимание тех насекомых, которые переносят оплодотворяющую цветочную пыль. Только знаете, какая особенность: у животных в интересах продолжения вида покровительственную окраску принимают самцы, а у людей наоборот.

— Извините, доктор, мне некогда, — холодно заметила m-me Раскепова.

— Виноват, еще один вопрос: надеюсь, ваше дело идет очень бойко?

— Да, ничего, не могу пожаловаться.

— Не можете ли вы определить время года, когда особенно оживляется спрос на наряды?

— Конечно, зимой, доктор... Балы, семейные вечера, театр, вообще в это время мы завалены работой, особенно к большим праздникам.

— Странно... Опять специально человеческая особенность. Впрочем, это вполне понятно, потому что человек уже освободился от фатальной зависимости от климатических условий и создал искусственные формы жизни.

— Извините, доктор...

— Ухожу, ухожу... Мы еще побеседуем с вами когда-нибудь на эту тему.

— Не забудьте послать мне все мерки.

— Непременно, — бормотал доктор, напяливая папаху на свою седую голову.

Не успел доктор затворить за собой дверь, как весь магазин покатился со смеху: величественно хохотала сама m-me Раскепова, схватившись обеими руками за колыхавшуюся полную грудь, главная швея даже корчилась от смеха, ползая по полу около хихикавшего манекена, до слез хохотали все мастерицы,

швеи и самые маленькие девчурки, подававшие утюги и бегавшие по разным поручениям.

— Не угодно ли: молодая особа, у которой решительно ничего нет... — повторяла m-me Раскепова, поднимая свои жирные плечи. — Знаем мы этих особ!.. Ха-ха...

Вместе с m-me Раскеповой, кажется, смеялись все эти картонки с кружевами, ленты, вышивки, бантики, а висевшие в витринах готовые платья печально разводили своими пустыми рукавами.

IV

Весь Пропадинск заговорил о выходке доктора Осокина, так как m-me Раскепова не поскупилась на краски и по-своему «осветила предмет». Дамы пришли просто в ужас и приписали все случившееся старческому безумию рехнувшегося доктора. Многие жалели, некоторые негодовали, остальные разводили руками или многозначительно мычали.

— Даже не счел нужным замаскировать свою распущенность, — повторяли негодовавшие дамы. — Мог все это устроить при посторонней помощи, как делают другие мужчи-

ны, когда экипировывают своих содержанок. А то заявился среди белого дня прямо в магазин: «У ней ничего нет...» Очень хорошо!

— Мне было ужасно совестно перед своими девушками, — уверяла m-me Раскепова своих заказчиц. — Помилуйте, так бесцеремонно объяснять разные гадости... И представьте себе, доктор всех вообще женщин называет птицами, а мужчин животными. — Как-то он это мудрено сказал.

Всех занимал в одинаковой форме вопрос: кто эта таинственная молодая особа, у которой ничего нет и которая оказалась настолько близка докторскому сердцу? В почтенных семействах матери делали умоляющие лица, когда разговор заходил о докторе при молодых девушках; самое имя доктора являлось чем-то вроде заразы. Вообще город был скандализирован и оскорблен в лучших своих чувствах, и естественно, что все взоры устремились на Матрену Ивановну, которая одна бывала в докторской квартире.

— Хорош ваш приятель, — нападали дамы на Матрену Ивановну и укоризненно кивали головами. — Помилуйте, в каждом семействе

есть взрослые девушки, и вдруг такой скандал... Ведь, главное, совершенно открыто все делается, назло всем общественным приличиям и общественному мнению.

— Сдурил старик, совсем сдурил, — соглашалась Матрена Ивановна и тоже качала головой. — Я это заметила в последний раз, когда была у него, и тогда же прямо в глаза ему все сказала.

— А вы не видали у доктора эту молодую особу?

— Позвольте, сударыня, вы слишком много себе позволяете: я девушка и таких вещей не понимаю, да. Да я после такого случая, если и на улице встречу Семена Павлыча, так не узнаю его... Извините, меня из-за него этак ни в один порядочный дом не пустят!

Одним словом, Матрена Ивановна отреклась от доктора начисто и даже начала отпираться, что ходила к нему чай пить.

— Всего-то, может быть, раза два я у него и была, и то по своим медицинским делам, потому что с кем же посоветоваться?

Но от пропади неких дам было не так-то легко отделаться.

— Непременно тут кроется какой-нибудь роман, — твердили они в один голос. — Ведь вы давно знаете доктора, Матрена Ивановна; вероятно, раньше что-нибудь было такое...

— Роман?.. — прикидывалась Матрена Ивановна непонимающей и отрицательно крутила своею круглою головкой. — Нет, ничего похожего на роман не было. Просто жил доктор холостой свиньей, и только. Да и с кем роману-то быть?.. Прежде-то он, конечно, бывал везде: у Гуськовых, у Ефимовых, у протопопа Катонова, у заседателя Голубкова. Везде были девицы и дамы, только никакого романа и быть не (могло. Уж я это знаю и голову отдам на отсечение. Это вам везде романы мерещатся, а прежде строго было... Так уж, которая самая отчаянная, ну, те позволяли себе очень свободное обращение с мужчинами.

Как ни храбрилась Матрена Ивановна, но дамы довели ее до того, что почтенная старушка, наконец, сделалась больна: у ней открылась лихорадка и насморк. Матрена Ивановна пролежала в постели целых три дня, и Поленьке Эдемовой было много с ней хлопот: она натирала Матрену Ивановну всевозмож-

ными мазями, поила липовым цветом и даже вспрыскивала с уголька водой. Только иа четвертый день Матрена Ивановна встала с постели и перешла на свое любимое место к окошечку, где стояло глубокое старинное кресло, подарок откупщика Хлыздина.

— Как будто поманивает меня кофию напиться, — задумчиво говорила Матрена Ивановна, поглядывая на улицу. — Думала, конец мой приходит, Поленька. И все мне этот проклятущий доктор мерещится...

Пока Поленька возилась с кофейком в своей каморке, Матрена Ивановна с любопытством смотрела на улицу, не проедет ли кто-нибудь из знакомых. Взглянув вдоль тротуара, Матрена Ивановна чуть не обмерла со страху: по тротуару прямо к ее домишку шел доктор Осокин в своей папахе. Матрена Ивановна хотела закричать, но у ней со страху перехватило горло, и она только закрыла глаза, как курица, над которой повар замахнулся ножом. Но Матрена Ивановна напрасно встревожилась: докторская папаха благополучно миновала ее. крылечко, а затем скрылась в воротах. Поленька наливала чашку ко-

фе, когда в ее каморку вошел доктор; старая актриса слабо вскрикнула, и любимая фарфоровая чашечка Матрены Ивановны упала на пол.

— А я к вам зашел, — кротко проговорил доктор, останавливаясь в дверях, так что Поленьке не было никакой возможности убежать от сумасшедшего человека. — Одевайтесь и пойдемте, мне очень нужно вас...

— Как же это так?.. Я не знаю, не лучше ли в другой раз! — лепетала совсем растерявшаяся Поленька, закрывая шею худенькою косыночкой.

— Нет, сейчас, — настойчиво повторял доктор. — Я подожду вас здесь, в коридоре, пока вы оденетесь.

Сначала Поленька перетрусила и даже подумала выскочить в окно, но потом опомнилась. Чего ей в самом деле бояться доктора, ведь сейчас выйдут на улицу, а там всегда народ, можно по крайней мере закричать караул. Она торопливо надела перекрашенное шелковое платье, старую шляпу с страусовым пером, накинула старенький бурнус и вышла в коридор, где доктор нетерпеливо шагал в

совершенной темноте.

— Вы мне позволите, доктор, зайти к Матрене Ивановне и предупредить ее?

— Это еще что за нежности? Вздор.

— Она больна...

— Ничего, не умрет.

Поленьке ничего не оставалось, как только покорно следовать за доктором, который повел ее на другой конец города к своей квартире, как догадывалась Поленька. Как вежливый кавалер, доктор шел позади своей дамы и только коротко объяснял, куда нужно было повернуть, когда встречался перекресток. Так они благополучно дошли до самой докторской квартиры, и доктор был настолько любезен, что сам отворил дверь перед своею дамой и даже помог ей снять бурнус.

В приемной на столе ожидал гостью кипевший самовар, корзинка с сухарями и коробка конфет. Поленька окончательно смутилась и на случай запомнила выходную дверь, чтобы можно было убежать, а доктор молча указал ей на пустой чайник. Пока Поленька дрожащими руками заваривала чай, доктор тяжелыми шагами ходил по комнате и время

от времени смотрел на нее. Она чувствовала на себе тяжелый докторский взгляд и еще сильнее смущалась. Доктор был в старом военном мундире и даже в крахмальной рубахе, которая, видимо, сильно его стесняла.

— Вы крепкий чай пьете или слабый? — решилась, наконец, Поленька прервать тяжелое молчание.

— Крепкий.

Получив стакан, доктор в упор посмотрел на Поленьку и с расстановкой проговорил:

— Вы, по-видимому, очень бедствуете, сударыня... Да, этого следовало ожидать, и я нисколько не удивляюсь...

Поленька вся вспыхнула и хотела что-то возразить, но доктор схватил её за руку и потащил к двери, которая вела в комнату Джойки. Распахнув дверь, доктор уступил дорогу своей гостье и с каким-то беспокойством осмотрел всю обстановку только что меблированной комнаты. Она была вся отделана заново: стены оклеены розовыми обоями, на окнах висели шелковые драпировки, на полу лежал персидский ковер, у одной Стены под шелковым пологом стояла красивая железная

кровать, покрытая белым покрывалом, между окнами приютился дамский письменный стол, в углу стояла этажерка с книгами, у окна дамский рабочий столик; комод, гардероб и умывальник занимали угол комнаты и были замаскированы низенькою ширмочкой. Везде были разложены в строгом порядке всевозможные вещи, необходимые в женском обиходе: туалетные принадлежности, альбомы, начатая женская работа, позабытая на окне соломенная шляпа и т. д.

— Кто же это у вас здесь живет? — удивилась Поленька, с любопытством рассматривая комнату.

— Кто здесь живет?.. Это комната нашей старшей дочери.

Поленька поняла все. Она страшно побледнела и едва могла дойти до своего стула за чайным столом. Доктор опять шагал по комнате, и слышно было, как он тяжело вздыхал.

— Помните, Поленька, как тридцать лет назад вы играли в «Белой Даме»[46]? — заговорил доктор, усаживаясь на свое место к остывшему стакану.

Поленька молчала, опустив голову; по ли-

цу у нее катились мелкие старческие слезы.

— Да, это было давно, очень давно, — продолжал доктор после короткой паузы. — Я тогда увидел вас в первый раз. На вас было простое белое платье, в волосах приколота белая камелия... О, я все это отлично запомнил!.. Вы тогда пели замечательно удачно, а я был молод... Конечно, вы понимаете, что из всего этого могло произойти?

— Доктор, я помню... но я была так глупа... Вы ухаживали за мной, но ведь тогда целый город сходил с ума от моей игры. Конечно, это было так давно, и кто мог бы ожидать... Вы что-то такое говорили мне, но я была еще так молода...

— Гм... да. И я тоже был молод и имел глупость думать, что двое молодых людей могли бы прожить недурно. Для меня это было ясно, как день, потому что... потому что я слишком любил вас. Да, теперь я это могу сказать вам в глаза, а вы тогда не желали меня понять... Нас разлучили ваши театральные успехи, тот чад, которым вскружили вашу голову. Это вполне понятно: я был беден, а вас окружали богатые люди. Каждая женщина на вашем

месте сделала бы то же, что сделали вы... Наша непоправимая ошибка заключалась в том, что мы думали только о себе... Я не мог полюбить в другой раз, а вы разменяли свою молодость на мелкую монету.

Доктор закрыл лицо руками, и Поленьке показалось, что старик тихо плакал.

— Доктор, простите меня, — шептала Поленька, прикладывая белый платок к глазам, как это делают на сцене «благородные отцы». — Простите, доктор.

Эта фраза заставила доктора вскочить. Он как-то дико посмотрел на Поленьку, махнул рукой и застонал — глаза у него были полны слез.

— Нам следует просить прощения вот у той, которая должна была жить вот здесь, — глухо проговорил доктор, указывая на «комнату старшей дочери». — Мы убили своих собственных детей... Это страшная вина, которая не имеет искупления. Мне не дают покоя эти розовые детские лица... они стоят предо мной живые... О, я начинаю чувствовать, что схожу с ума!..

Доктор глухо зарыдал и отвернулся к окну.

Поленька не плакала, но как-то тупо смотрела на потухавший самовар, который время от времени пускал какую-то одинокую жалобную ноту; она чувствовала, что умирает, раздавленная этою ужасною сценой.

Было уже темно, когда Поленька вспомнила, что ей пора домой. Доктор отправился ее провожать и был настолько вежлив, что даже предложил руку. Они шли все время молча, и только когда уже подходили к домику Матрены Ивановны, доктор проговорил:

— Надеюсь, вы не придадите никакого особенного значения сегодняшней сцене... На жизнь нужно смотреть с философской точки зрения. Мы все являемся только материалом в руках слепых законов природы.

Поленька ничего не ответила, молча пожала руку доктора и молча скрылась в комнатке. Доктор несколько времени стоял на тротуаре, а потом проговорил:

— Она глупа, как всегда.

Сначала доктор машинально пошел домой, но когда увидел свою квартиру, его точно оттолкнула какая-то сила: что он будет там делать? Его что-то давило, и он чувствовал,

что задохнется в своей комнате. Нужно было воздуха, как можно больше воздуха. После доктор не мог хорошенько припомнить, как он провел эту ночь; он проходил по грязным улицам Пропадинска до самого утра и вернулся домой в самом отчаянном виде: весь в грязи, изможденный и без папахи. Авель даже испугался, когда увидел своего барина в таком отчаянном виде.

В эту страшную ночь доктор еще раз пережил свою личную жизнь. Он с мучительною ясностью видел далекое прошлое, когда он только что приехал в Пропадинск молодым врачом. Тогда только что был открыт первый театр в городе, труппу для которого золотопромышленник Гуськов выписал на свой счет. Как новинка, театр привлекал к себе массу публики, и над всею этою публикой царила Поленька Эдемова, русоволосая красавица с удивительными глазами. Она была на опасной дороге, потому что слишком снисходительно относилась к окружавшим ее шалопаям и богачам-самодурам. Доктор увлекся ею и хотел спасти красавицу. В ней были еще та простота и наивная свежесть молодости,

которые могли служить залогом успеха. Поленьке нравилось, что за ней все ухаживают, и она всех дарила своими улыбками, а в том числе и молодого доктора.

Как теперь помнил доктор плохой деревянный театр, плохо намалеванный занавес, плохой оркестр и грязную сцену, куда он пробирался с замиравшим) сердцем. Уборная Поленьки была сейчас направо от сцены, нужно было только подняться на три ступеньки какого-то деревянного помоста. Здесь всегда пахло свежею краской, сальными огарками, свежим деревом и еще чем-то таким, чем пахнет только за кулисами провинциальных театров. Поленька была одна в уборной, совсем готовая к выходу на сцену, и в последний раз осматривала себя в зеркало, когда в уборную вошел доктор.

— Вы нездоровы? — спросила Поленька, взглянув на доктора.

— Да, мне необходимо с вами переговорить, — деловым тоном заговорил доктор. — Есть у вас свободных пять минут?

— Говорите, только скорее... сейчас занавес.

Доктор, торопливо подбирая слова, начал говорить об опасностях, окружающих всякую театральную знаменитость, о том печальном будущем, которым выкупаются эти успехи, и после этого предисловия прямо предложил свою руку и сердце.

Поленька точно испугалась и побледнела. Она несколько мгновений молча смотрела на доктора, потом откинула назад свою красивую русую головку и проговорила:

— Доктор, мне некогда, занавес…

— Это не ответ.

— Мне жаль огорчить вас, доктор, но я… я… одним словом, вы ошиблись во мне.

От отчаяния и тех глупостей, какие делают люди в подобном глупом положении, доктор спасся тем, что всею душою отдался науке. Он бросил завязавшиеся знакомства, отказался от общественной жизни и закупорился в четырех стенах своей квартиры, откуда показывался только по делам своей медицинской специальности.

Отказавшись от Поленьки, доктор совсем не думал отказываться от семейной жизни и только выжидал время, когда уляжется чув-

ство к Поленьке, чтобы жениться с чистым сердцем на какой-нибудь простой доброй девушке и завести свое гнездо. Но год шел за годом, а на душе у доктора накипала какая-то ненависть к женщинам. Его радовало, когда он открывал какой-нибудь новый недостаток в женщинах. Конечно, Это — низшее существо сравнительно с мужчиной и никогда не выходит из потемок детского существования. В любви мужчины относятся к своим возлюбленным именно как к детям, с тою обидною снисходительностью, которая является оскорблением в отношениях между собой мужчин. Это глупое детство у женщины переходит прямо в старость с ее бесплодными сожалениями, мизантропией и ханжеством. Пять — шесть лет своего ребячьего счастья женщина выкупает ценой всего остального бесцветного существования. Мужчина еще полон жизни, он в полном расцвете сил и рвется вперед, когда женщина продолжает жить только по привычке и сама начинает тяготиться своим бесплодным существованием. Разве женщина что-нибудь создала в науке или искусстве? Ей недоступны вершины

человеческого сознания, и она умирает в потемках своего полусознательного существования.

Одним словом, доктор впал в мизантропию и тешил самого себя своими выходками против всех женщин на свете.

V

Вернувшись от доктора, Поленька серьезно захворала. Теперь пришлось ухаживать за ней Матрене Ивановне. На сцену опять явились таинственные мази и липовый цвет. Отвернувшись к стене, Поленька иногда потихоньку плакала, но Матрена Ивановна видела заплаканные глаза и возмущалась.

— Погоди, ужо я рассчитаюсь с этим мерзавцем, — грозилась Матрена Ивановна, не называя доктора по имени.

— Нет, он славный, — защищала Поленька доктора.

— Хорош, очень хорош!

Матрена Ивановна имела полное право ожидать, что Поленька расскажет ей все, что с ней случилось, но Поленька упорно молчала и только тяжело вздыхала. Конечно, всякий другой на месте Матрены Ивановны

спросил бы Поленьку прямо, что и как, но Матрена Ивановна прежде всего была гордая женщина и совсем не желала залезать в чужую душу. Кроме того, для Матрены Ивановны половина дела была совершенно ясна: доктор Осокин был кругом виноват, и она с ним разделается по-своему.

Когда Поленьке сделалось лучше и она могла обходиться без посторонней помощи, Матрена Ивановна первым делом, конечно, отправилась к доктору, вперед предвкушая удовольствие рассчитаться с этим извергом человеческого рода. Занятая своими размышлениями, Матрена Ивановна незаметно дошла до докторской квартиры. Двери были не заперты, как всегда, и Матрена Ивановна свободно проникла в докторскую приемную. Первое, что ее поразило, это холод давно нетопленной квартиры и какая-то особенная пустота.

— Эй, Семен Павлыч, где ты? — окликнула Матрена Ивановна, оглядываясь кругом.

— Здесь, — послышался глухой голос из кабинета.

Доктор лежал на старом клеенчатом дива-

не, одетый в старую военную шинель и в летней фуражке. Матрену Ивановну поразил его больной вид: это был какой-то другой человек, желтый, испитой, с темными кругами под глазами и лихорадочным) взглядом.

— Ты это что же, старый петух, тараканов, что ли, морозишь? — набросилась на него Матрена Ивановна.

Доктор быстро поднялся с дивана и как-то испуганно замахал обеими руками.

— Тише, тише… шшш! — зашипел он, как защищающийся гусь. — Она еще спит…

— Очень мне нужно, кто у тебя спит… мерзавка какая-нибудь.

— Ради бога, тише, — умолял доктор. — Она поздно встает.

Доктор на цыпочках вышел в приемную, тревожно посмотрел на дверь заветней комнаты и знаком пригласил Матрену Ивановну следовать за собой. Он приотворил дверь и показал глазами на обстановку комнаты. На кровати лежала Джойка и виновато виляла своим пушистым хвостом. Матрена Ивановна не знала, на кого ей смотреть: на комнату, на собаку или на доктора.

— Здесь живет моя старшая дочь, — проговорил доктор с серьезным лицом.

— Полно тебе, Семен Павлыч, добрых-то людей морочить...

— Спроси Поленьку, если не веришь: это наша дочь.

Матрена Ивановна вдруг испугалась, испугалась того спокойного тона, каким доктор разговаривал с ней. В голове Матрены Ивановны мелькнула страшная мысль, и она, чтобы успокоить самое себя, рассчитано-громким голосом спросила:

— Так... А где у тебя Авель-то?

— Авель?.. Он ушел... Деньги у меня украл и ушел.

— Да ты, послушай, не морочь, Христа ради... это с морковных пирогов у тебя ум за разум заходит. Если Авель деньги украл, так почему ты его в полицию не отправил?

— Зачем в полицию? Я вчера лежал на диване, Авель вошел в кабинет, вытащил деньги из стола и ушел... Я все время смотрел на него. Он все это очень ловко сделал и, кажется, думал, что я сплю. Ему, вероятно, очень были нужны деньги.

— Нет, ты, батюшка, рехнулся... положительно рехнулся. Сколько денег-то было?

— Тысячи две было.

— Ах, боже мой, боже мой!

Доктор, кажется, не хотел ничего понимать и только несколько раз пощупал свою голову, точно сомневался в ее благополучном существовании.

— Спятил, совсем спятил, — решила Матрена Ивановна и совсем растерялась, не зная, что ей следует предпринять.

— Пойдем в кабинет, я тебе покажу что-то, — проговорил доктор.

Доктор долго рылся на своем письменном столе между бумагами и, наконец, отыскал объемистую тетрадь. Матрена Ивановна следила за ним, не спуская глаз. Она больше не сомневалась, что доктор сошел с ума. И на чем человек помешался!

— Вот эта самая, — говорил доктор, похлопывая рукой по тетради. — Двадцать лет работы посажено в нее... да. Могу сказать, что первый строго математическим путем доказал истину неуничтожаемости силы и материи. Матрена, есть только одна точная наука,

это математика, и вот я воспользовался ею.

— Ну, ну, почитай, что у тебя написано тут.

— «Закон неуничтожаемости жизни», — прочитал доктор заглавие рукописи. — Да ты поймешь ли что-нибудь?

— Пойму, пойму… читай.

— Я тебе прочту только конец. Только на днях удалось закончить… «Неуничтожаемость силы и материи пользуется репутацией вполне научно-установленной истины, — начал чтение доктор, — хотя доказательства этого положения вращались в сфере слишком грубых явлений внешнего мира. Мне первому, при помощи высшей математики, выпало счастье доказать эту грубую эмпирическую истину строго научным путем. Полученная формула в полном своем объеме выражается так: настоящий запас циркулирующих и комбинирующих во вселенной сил и материи плюс весь запас органической жизни равняется всему запасу сил и материи, действовавших от начала мира и слагавшихся в необозримо пеструю амальгаму отдельных явлений. Запас силы и материи остается тот же, но этот длящийся в необозримом простран-

стве веков „плюс нарастающая органическая жизнь“ с роковою силой прорывает заколдованный круг неизменного круговращения силы и материи; прогресс является именно в пределах этой разрастающейся органической жизни, а не в смене чередующихся комбинаций и развивающейся поступательно способности дифференцироваться. Этот плюс в своем бесконечном повторении превращается, наконец, в знак умножения. Таким образом, за внешним миром вечно слагающихся и разлагающихся сил и материй вырастает тот неизмеримо больший внутренний мир самых сложных и неуловимо тонких проявлений деятельности, который выдвигается далеко за пределы уничтожаемости сил и материй».

Доктор тяжело перевел дух, положив рукопись на стол. Матрена Ивановна сконфуженно смотрела куда-то в угол и перебирала рукой какую-то оборку на своем платье.

— Ну, Матрена, кто из нас сумасшедший? — спрашивал доктор, раскуривая папироску… — Читать дальше?

— Читай, Семен Павлыч.

— Хорошо... Только пользы тебе немного будет.

— Ладно, после успеем поругаться-то.

Докурив свою папироску и откашлявшись, доктор продолжал чтение своей рукописи. «А „свербящая похоть славы“, окрыляющий жар молитвы, чистые восторги первой любви, муки уязвленного самолюбия, вечно томящая жажда неудовлетворенной жизни, насильственное заглушение законнейших требований человеческой природы, что это такое? Где мы будем искать тех математических равнодействующих, когда в этом необъятном океане человеческой скорби, мук и страданий крошечная человеческая радость исчезает, как утопающий в океане человек? Разве математическая формула, самая точная и гениальная, может непосредственно спасти бедняка от страдания, общество от нравственной неурядицы?»

— Но тут, — заговорил доктор, откладывая в сторону свою рукопись, — явилась новая поправка. До сих пор дело шло о фактах и явлениях существующих, бралась действительность, но есть целый ряд жизненных явле-

ний, где эта жизнь затаилась и приняла омертвелые формы. В большинстве недостает ничтожных пустяков, какой-нибудь случайности, чтобы именно здесь-то и вспыхнул огонь накопившейся жизни, чтобы развернулась роскошная форма нового существования, — как считать эти дремлющие силы, жизнь в возможности? А между тем не считать их нельзя, потому что на них затрачена огромная энергия, может быть в них-то и проявлялись бы высшие формы существования.

Матрена Ивановна качала головой и делала вид, что начинает понимать доктора.

— Вот, например, у меня есть семья, дочь в возможности... Я вижу ее, да, ее, мою дочь; она приходит сюда, разговаривает со мной... Удивляюсь, как это раньше я не мог догадаться: ведь она все время жила со мной, вернее сказать, во мне... И как мне хорошо делается, как легко... Это высшее счастье, какое доступно человеку, именно жить повторенною жизнью, быть молодым во второй раз и чувствовать, что вот именно ты не умрешь, а будешь жить только в новой, лучшей форме.

Слушая этот бред, Матрена Ивановна пла-

кала.

У доктора Осокина оказалось тихое помешательство, то, что в психиатрии известно под именем idee fixe[47] Конечно, старик уже не мог заниматься частной практикой, а жить между тем было нечем. Матрена Ивановна напрасно разыскивала родных доктора по всей России и кончила тем, что взяла его к себе.

— Уж мне заодно с ними двоими нянчиться, — говорила Матрена Ивановна. — Все-таки в доме мужчинка будет…

В солнечные ясные дни часто можно встретить на улице сумасшедшего доктора, который в своей папахе задумчиво шагает по тротуару и вслух разговаривает с самим собою.

Первые студенты {3}

I

Как-то странно сказать: мои воспоминания, потому что давно ли все это было? Вчера, третьего дня — так живо проходят пред глазами разные сцены, разговоры, лица... А между тем несомненно, что все это уже отошло в область прошлого, далекого прошлого, о чем так красноречиво свидетельствуют новые люди, явившиеся на смену старым, как свежая трава сменяет прошлогоднюю. Перебирая в своем уме разные воспоминания, невольно удивляешься, что вот это случилось пятнадцать лет назад, а то двадцать.

Да, двадцать лет тому назад я был большим подростком — самый «неблагодарный возраст», когда человек от ребят отстал, а к большим не пристал. Это время колебаний, сомнений и каких-то смутных позывов вперед, в туманную даль неизвестного будущего. Помню те приливы юношеской гордости, которые сменялись периодами сомнений и самоуничижения. Совершался глубокий внутренний перелом, какой наблюдается у живот-

ных в пору первого линяния или перемены всей кожи. Тянуло к живым людям, в общество, и вместе с тем одолевал какой-то беспричинный страх, заставлял искать одиночества.

Лично для меня в этот критический период спасением являлась охота, — я говорю о лете, когда все время было свободно.

Приезжая на каникулы в один из уральских горных заводов, я большую часть времени обыкновенно проводил с ружьем в лесу. Бродить по горам от зари до зари, делать ночевки по лесным избушкам или где-нибудь на прииске, в старательском балагане, — было истинным наслаждением после школьных занятий в среднеучебном заведении. Это было счастливое время, хотя к осени обыкновенно я превращался в порядочного дикаря.

Моим неизменным спутником в таких экскурсиях был один из молодых заводских служащих. Раз мы как-то потеряли друг друга около горы Мочги. Вечерело. В лесу темнеет быстро, и мне хотелось засветло выбраться из ельника куда-нибудь на ночлег. Ближайшим удобным пунктом для такой цели был прииск

Мочга — стоило только спуститься по реке версты две, а там и прииск и знакомые мужики. Когда торопишься, дорога всегда кажется длиннее. Как я ни спешил, быстро шагая по ельнику, но вышел на прииск уже в сумерки. В лесу поднялась тяжелая ночная сырость, все предметы кругом принимали самые фантастические очертания, и я был очень доволен, когда между деревьями мелькнуло мутное пятно прииска.

Картина прииска хорошим летним вечером замечательно оригинальна: весь лог, точно молоком, залит густым белым туманом, по уторью у лесной опушки приветливо мигают около старательских балаганов огоньки, пахнет гарью и дымом, а по логу из конца в конец волной ходит проголосная приисковая песня. Бредешь по траве, которая уже покрывается росой; начинают попадаться пробные шурфы, едва защищенные брошенной сверху хворостиной или валежником, — нужна большая осторожность, чтобы в темноте не сломать себе шеи среди приисковой городьбы. В лесу отрывисто бренчат боталами пущенные на волю лошади. Из плывущего уров-

ня тумана далеко горбится крыша промывальной машины, точно спина какого-то чудовища. Вот и старательские балаганы — около огней паужнают пошабашившие работу семьи. Слышится ребячий плач, говор, чей-то смех. Над кострами качаются чугунные котелки с приисковым варевом, бабы пробуют ложками свою стряпню, кое-где к огню просовывается добродушная лошадиная голова, ищущая в дыму защиты от лесного овода. Вообще картина самая оригинальная и слишком близкая моему уральскому сердцу.

Балаган старого кержака Потапа стоял как раз напротив приисковой конторы, и я еще издали заметил сидевшего перед огнем моего товарища по охоте. Вон и сам Потап в кумачной красной рубахе, и его жена, старуха Архиповна, и дочь Солонька, и сын Гордей со сноxой. Звонко тявкнула на меня точно выскочившая из-под земли собачонка Курепко и, понюхав воздух, ласково завиляла хвостом.

— Мир на стану... — проговорил я стереотипную охотничью фразу, вступая в полосу света, падавшего от костра, и только хотел ударить приятеля по плечу, но вовремя удер-

жался: это был совсем не он, а какой-то незнакомый молодой человек в крестьянской сермяжке, плисовых шароварах и в мягкой пуховой шляпе на голове.

— Откедова господь несет, родимый мой? — заговорил сам Потап, из вежливости поднимаясь с корточек.

— Куды девал товарища-то?..

— А разве он не приходил?..

— Нет, не слыхать... Может, к другому к кому в балаган завернул, да как будто не тово, не слышно.

— Ну, значит, разошлись.

— Известное дело: в лесу-то часто глаза отводит, особливо под вечер. Идешь в одну сторону, а выдешь наоборот... Как помоложе-то был, так лесовал тоже, с ружьишком, значит, и очень хорошо это знаю. Эк-ту одинова верстов с двадцать задарма прочесал... Вот оно какое это самое дело!..

По необыкновенно ласковой разговорчивости старика Потапа и по особенной неприветливости старой Архиповны я сразу понял, что старик выпивши, а так как была средина недели, когда ему выпивки не полагалось, то

причиной веселью был, конечно, молодой человек в пуховой шляпе, как и оказалось после. Потап заметно покраснел, чаще обыкновенного мигал глазами и все повторял любимое раскольничье словечко: «родимый мой». Ворот красной, запачканной в приисковой глине рубахи заметно стеснял Потапа, и он щупал свой крепкий затылок, улыбаясь блаженной улыбкой и потряхивая головой. Маленькая темная бородка, темные усы и брови придавали старику очень моложавый вид, а в слегка вившихся черных волосах только еще начинала серебриться седина; лицо было тоже свежее, хотя под глазами были уже глубокие морщины; Сын Потапа — Гордей, наоборот, казался старше своих лет и глядел исподлобья, как волк. Это вообще был неприветливый и неразговорчивый малый, уродившийся ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца. Старуха Архиповна когда-то была очень красивая баба раскольничьего склада — высокая, чернобровая, сильная, таких много попадается в старинных раскольничьих семьях. Характер у ней был злой и сдержанный, каким отличается большинство раскольничьих

старух, точно она раз и навсегда рассердилась, что отдала всю свою молодость и красоту дочери Солоньке. Эта последняя не вышла в мать только ростом, но зато уродилась такая крепкая, как сколоченная. Солонька всегда щеголяла в ситцевых сарафанах, подобранных с чисто заводским щегольством — к ней шел этот вообще неизящный костюм. Лицо у Солоньки было белое с легким загаром и румянцем; черные брови, сердитые темные глаза, ловко собранные в косу темные волосы и красивый небольшой рот делали ее завидной приисковой красавицей.

— Можно заночевать у вас? — спросил я из вежливости, устанавливая свое оружие к балагану.

— Заночуй, коли глянется... — отвечал Потап, мигая с особенной любезностью. — Только у нас там ребенчишко... в балагане, значит. Внучок мой... ну, так, пожалуй, тово... препятствовать только будет. Тоже господское дело, а он мужик, разинет хайло-то...

— Оно точно, что не способно... — заметила угрюмо Архиповна. — Животом скудается третью неделю ребенок-то, замаялись с ним...

— Да вот что, господин охотник, пойдемте к нам в контору ночевать? — неожиданно предложил мне молодой человек в пуховой шляпе.

— В сам-деле, Михаил Павлыч... — подхватил Потап. — Это куды порезонистее, чем в балагане, потому ребенчишко... не укажешь тоже ему, пострелу.

Мне оставалось только поблагодарить и из вежливости отказаться, но молодой человек продолжал настаивать, так что пришлось согласиться. Я только теперь рассмотрел таинственного незнакомца — это был белокурый молодой человек с тонким лицом, большими голубыми глазами и жиденькой растительностью на остром подбородке.

— Так пойдемте... — заговорил молодой человек, поправляя свою шляпу без особенной видимой причины. — Петька теперь как раз чай пьет. Ну, прощай, Архиповна... Когда ко мне в гости-то придешь?..

— А вот как курицы запоют по-петушиному, так я к тебе и подойду... Водки поболе запасай...

— Ах ты, моя матушка... — ласково протя-

нул молодой человек жиденьким тенорком и задумчиво засмеялся.

Когда мы пошли от балагана, прямо через прииск, потонувший в тумане, молодой человек обернулся и спросил провожавшего нас без шапки Потапа:

— Это что старуха-то твоя сердится все на меня?

— А от глупости от своей от старой, Михаил Павлыч... — бормотал Потап, забегая вперед. — Вот я, значит, как уподобился шкаличку, ну, ей и обидно. Одно слово: баба... волос долог, и чтобы настоящего... и нет ево, настоящего-то. Как перед истинным Христом, родимый мой...

Молодой человек опять засмеялся, а Потап, чтобы выказать во всей форме свое усердие, забежал в сторону и пнул ногой стреноженную лошадь прямо в живот. Не ожидавшая нападения лошадь неловко поднялась на дыбы и тяжело начала скакать под гору.

— Зачем ты лошадь беспокоишь, Потап? — спросил я.

— А так... ишь, место где нашла! Еще испугает, пожалуй...

Остановившись, старик каким-то униженным тоном прибавил:

— Михал Павлыч, родимый мой...

— Чего тебе?

— Ах, родимый мой, разозлил ты только меня... а? Ну, какой я теперь человек... так, только замахнулся.

— Да ведь водки нет больше: всю выпили.

— А в конторе?.. Эх, Михал Павлыч, уж я заслужу, родимый мой... верно тебе говорю. Только один стаканчик бы...

— Хорошо. В конторе, кажется, еще оставалась водка.

— Уж я знаю... верно Михал Павлыч, родимый мой, да я... вот сейчас провалиться...

Мы шагали в густом тумане под гору, минуя выработки и шурфы, потом перешли плотнику и начали подниматься к конторе, глядевшей на прииск двумя освещенными окнами.

— Михаил Павлыч, вы извините меня... я не помешаю вам? — спросил я, когда мы подходили уже к самой конторе.

Молодой человек быстро оглянулся на меня, издал какой-то неопределенный звук и

опять добродушно засмеялся, — мне нравилось, как он смеялся.

II

— Петька чай пьет, — проговорил Михаил Павлыч, бойко взбегая на шатавшееся крылечко приисковой конторы.

Мы вошли. Потап из вежливости остался на крылечке. Приисковая контора состояла всего из одной длинной комнаты, выходившей двумя окнами на прииск. Между окнами стоял большой стол, заваленный книгами, бумагами, железными банками из-под золота, гильзами и т. д. Один угол стола был очищен, и на нем стоял кипевший самовар. У окна на деревянном табурете сидел плечистый черноволосый мужчина в золотых очках и читал книгу — это и был Петька, как я имел право догадаться.

— А я гостя привел, Петька, — торопливо заговорил Михаил Павлыч, по пути скидывая свою сермяжку. — Позвольте отрекомендоваться: Михаил Павлыч Рубцов и Петр Гаврилыч Блескин, студенты казанского университета... Просим любить и жаловать.

Мне оставалось отрекомендоваться, в свою

очередь, и помню, что я сильно сконфузился, — меня резнуло по уху заманчивое слово «студенты», тогда как я просто был воспитанник среднеучебного заведения и притом находился в самом неблагодарном возрасте начинающего молодого человека. Меня особенно смутила манера Петьки здороваться молча, причем он чуть вскинул на меня свои серые добрые глаза. Потом у Петьки была такая великолепная темная борода, тогда как воспитанникам среднеучебных заведений полагается какой-то мерзкий пушок, точно у цыпленка. Мне показалось даже, что Петька взглянул на приятеля с немым укором, дескать, зачем ты привел сюда эту дрянь...

— Ага... воспитанник... так!.. — повторял Михаил Павлыч и, повернувшись на одной ножке, каким-то пискливым голосом спросил — А вы с чем чай употребляете: с ромом или с коньяком?.. Ни то, ни другое?.. Жаль, значит, Америки не откроете. Та-та, ведь с нами Потап пришел, вот и компания... Эй, Потап, гряди в гридницу, и возрадуемся, яко радуется пьяница о склянице.

Потап не заставил себя просить и высунул

в приотворенную дверь одну голову с усиленно моргавшими глазками.

— Михаил Павлыч, родимый мой...

— Да иди, черт деревянный!..

Перешагнув порог, Потап остановился у самых дверей я забавно скосил глаза в сторону Петьки — я вполне понимал старика.

— Это ты Петьки боишься? — спрашивал Михаил Павлыч, вытаскивая бутылку с водкой. — Ого, нагнал он на тебя холоду...

— Уж это точно... Петр Гаврилыч постепеннее много будут вашей милости, Михаил Павлыч. Уж ты извини меня, родимый мой, на глупом слове...

— Верю... Ну, будет тебе дурака-то валять, Потап. Вот на, выпей стаканчик и марш к старухе...

Потап дрожавшей рукой принял стаканчик, перекрестился, отвесил поклон хозяину и выпил так аппетитно, что Михаил Павлыч даже крякнул от удовольствия.

— Вот это я люблю... — похвалил он старика, налил себе стаканчик и фальшиво запел:

Мы петь будем и гулять будем,
А и смерть придет — помирать

будем.

Пока Михаил Павлыч выпивал свою порцию, Потап почтительно выпятился в дверь.

— Се что красно и добро есть: живите, братие, вкупе, — проговорил Михаил Павлыч, пряча бутылку, — а посему, Петька, мы будем чаи распивать.

Петька молча налил нам стаканы и опять уткнул нос в книгу, точно он был чем-то очень недоволен.

За чаем я успел рассмотреть нехитрую обстановку конторы, то есть две кровати, сооруженные на живую нитку, железный сундук, служивший кассой, дрянное ружье на стене, висевшую в углу волчью шубу, гитару и большую полку, набитую книгами. На окне тоже лежали книги, весы для приемки золота, приготовленный для работы хороший микроскоп, банка с плававшей лягушкой и несколько стеклянных трубочек, какие употребляются при химических опытах.

— Вы что же это, господин воспитанник, чаю мало пьете? — спрашивал Михаил Павлыч, когда я отказался от четвертого стакана. — Сие не есть укоризненно даже и детско-

му возрасту... Петька, валяй мне пятый сосуд, ибо и пити вмерти и не пити вмерти, так лучше ж пити и вмерти!.. Так, молодой человек?..

Михаил Павлыч говорил за всех, пил стакан за стаканом, отдувался, вытирал лицо платком и от удовольствия даже болтал короткими ножками. Он вглядывался в меня прищуренными близорукими глазами, улыбался и продолжал болтать, как школьник.

— Ух, задохся, отцы мои!.. — заявил он, наконец, и распахнул окно. — Этакая благодать стоит... Петька, очнись, ведь умирать не надо! Да посмотри ты в окно-то...

Петька, чтобы отвязаться, заглянул в окно и опять уткнулся в свою книгу. А летняя ночь была действительно замечательно хороша... От самой конторы разлился по всему логу волокнистый туман, за ним, у опушки леса, как волчьи глаза, светились старательские огоньки, а над всей этой картиной глубокой бездонной шапкой вставало искрившееся небо. Где-то в тумане скрипели два коростеля, смутно доносились звуки лошадиных ботал и лай перекликавшихся собак. В окно вливалась свежая струя ночного воздуха и несла с собой

смолистый аромат елового леса и душистых лесных трав. Я даже пожалел, что ушел из балагана Потапа в контору, — там у огонька так хорошо теперь.

Мы заговорили об охоте. Михаил Павлыч тоже был охотник, хотя по близорукости плохо видел дичь.

— А вот мы завтра утром под Липовую гору сходим, — говорил он, высовываясь в окно и всей грудью вдыхая ночной воздух. — Вёдро установилось; загубим рябцов пять... Петька, слышишь?

— Что такое?

— Тьфу ты, окаянная душа... Рябцов, говорят тебе, принесем.

— Ага... отлично.

Петька был тоже в простой ситцевой рубахе, в шароварах и в такой же шерстяной поддевке, как у Михаила Павлыча. Заложив ногу за ногу, он продолжал читать и время от времени сосредоточенно хмурил брови.

— Это ваша гитара? — спросил я Рубцова, когда он заметно притих и задумчиво смотрел куда-то в туман.

— А вы играете?

— Немножко.

— Вот это великолепно...

Не помню хорошенько, с чего я начал показывать свое искусство, но потом заиграл известную казанскую студенческую песню:

Где с Казанкой-рекой,
Точно братец с сестрой,
Тиногрязный Булак
обнимается.

Петька оставил книгу и начал смотреть задумчиво на гитару. Рубцов наклонился к моему плечу, и я чувствовал на своей щеке его горячее дыхание, а потом он со слезами на глазах обнял меня и даже поцеловал.

— Голубчик, миленький... вот уважил-то!.. — шептал он задыхавшимся голосом. — Ну, еще разик... Петька, очнись!.. Вот именно так:

Тино-гря-а-азный Бу-лак
обнима-а-а-ается!..

Рубцов вытащил спрятанную бутылку и залпом выпил новый стаканчик. Он походил на сумасшедшего и несколько раз бросался обнимать Петьку и кончил тем, что швырнул

его книгу в угол.

— К черту... все к черту!.. — кричал он, бегая по комнате. — Gaudeamus, juvenes dum sumus....[48] А ну-ка еще эту, ну, как ее... ее... Да вот:

По чувствам братья мы с тобою...

Я знал и «эту». Рубцов пел под аккомпанемент с увлечением, хотя страшно фальшивил и сердился на самого себя. Петька тоже подтягивал свежим ровным баском, какой бывает только у таких здоровяков. В порыве восторга Рубцов как-то машинально хлопнул второй стаканчик, заметно покраснел и долго смотрел на меня улыбающимися, но печальными глазами — последнее было его особенностью.

— Голубчик, понимаете ли вы... ах, нет, надо это пережить... да, пережить!.. — торопливо заговорил он, роняя слова. — Ведь это огнем по сердцу... это жизнь... Петька, помнишь?..

Схватившись за голову, Рубцов заплакал. Это было так неожиданно и непонятно для меня, что я оставил гитару и смотрел то на хо-

дившего по комнате Рубцова, то на спокойно попыхивавшего папироской Петьку. Заметив мое смущение, Рубцов улыбнулся сквозь слезы и взял у меня гитару.

— Позвольте, голубчик, я вам сыграю мою единственную... — говорил он, усаживаясь с гитарой на окно. — У меня, как у волка, всего-навсего одна песенка... Вперед извиняюсь за свое козлогласие.

Своим фальшивившим тенориком Рубцов запел старинный романс:

В хижину бедную.
Богом хранимую,
Скоро ль опять возвращусь...

— Нет, это не то... — заговорил он, оставляя гитару. — Ну-ка еще... Помните, у Иловайского во всеобщей истории есть анекдот? Пировал король Артур со своими рыцарями — может быть, и не Артур, ну, да не в этом дело! — на дворе темная осенняя ночь; в зале, где пировали рыцари, горели огни, и вдруг влетает маленькая птичка... Рыцари задумались, а птичка улетела в окно. Один рыцарь встает и говорит: «Король, эта птичка напоминает мне

человеческую жизнь, у которой темно впереди и назади...» Голубчик, вот и студенческие песни то же, что птички, — они напоминают нам о нашей жизни... Кажется, Петька, я начинаю завираться и немножко того... что-то как будто не подходит... Ну, да все равно, если не теперь, так после поймете меня. Нет, мне решительно душно здесь — пойдемте на воздух, господа...

III

На поляне, между конторой и какими-то амбарами, кучером Софроном был разложен небольшой костер. На огонь появился опять Потап и бестолково суетился, мешая Софрону.

— Ты еще все здесь? — удивился Рубцов.

— Родимый мой... Михаил Павлыч... — бормотал Потап и расслабленно махал рукой. — Уважил ты меня... то есть, ах, как уважил!..

Софрон, молчаливый, красивый парень, как-то брезгливо старался не замечать пьяного старика и несколько раз, будто невзначай, толкнул его локтем. Было уже часов девять. На восточной стороне неба, из-за Сосуна-Камня, всплыла длинная туманная полоска и

медленно тянулась к ярко блестевшему месяцу; зубчатая линия ельника, окружавшего прииск со всех сторон, точно была посеребрена. Горная даль, видневшаяся в приисковую просеку, совсем потонула в сквозившей белесоватой мгле. Ближе лес, кусты и пригорки слились в сплошные темные массы. Густой туман по-прежнему заволакивал весь прииск, и только кой-где еще мелькали догоравшие огоньки, — народ спал, завтра нужно было подниматься на работу вместе с солнцем. Воздух был теплый, и над огнем скоро с тонким писком закружились неугомонные комары. Изредка налетала ночная птица и, как брошенный камень, опять пропадала в окружавшей темноте.

Мы поместились на разостланной сермяжке Рубцова и долго сидели около огня молча, покуривая папиросы. На минутку пришел Петька, посидел на корточках около огня, помолчал и поднялся уходить.

— Петька, ты куда? — окликнул его Рубцов.

— А спать... — лениво ответил Петька, потягиваясь.

— Ну, черт с тобой...

Рубцов, видимо, был недоволен бесчувственностью приятеля и нервно теребил свою жиденькую бороденку.

— Эх, выпить надо... — вспомнил он и послал Потапа за бутылкой.

Старик, как собака, все время сидел в почтительном отдалении и ждал поживы от загулявшего барина.

— Петр Гаврилыч к черту меня послал... — объявил Потап, появляясь с бутылкой. — И еще такое словечко завернул, родимый мой... Не слушай, теплая хороминка!..

Выпив стаканчик, Рубцов опять повеселел и налил водки Потапу за труды. Поплевывая в огонь, он начал расспрашивать меня, где я учусь и куда думаю поступать по окончании курса.

— В университет?.. — повторил он задумчиво. — Отличное дело... Эх, я сам бы опять поехал учиться туда, с первого курса... Ей-богу!..

— Вы кончили курс?

— Я?.. Я-то не кончил, а вот Петька кончил — кандидат естественных наук. Ну, да это

все равно... Не знаю, как вам удастся, а мы пожили в свою долю. Поедете по Волге мимо Казани, поклонитесь от меня... так попросту: снимите шапку и в пояс. Да, было пожито, молодой человек... Хороших людей видели, умные речи слушали, а вот теперь на свежую воду выплыли...

Увлекшись студенческими воспоминаниями, Рубцов с воодушевлением рассказывал о своей жизни в Казани — о профессорах, о сходках, о товарищах, о хороших книжках. Понятно, что я слушал его, затаив дыхание: это был первый живой человек, который заговорил о том, о чем приходилось читать только в романах. С другой стороны, я не мог не сознавать своей пассивной роли в этой сцене — Рубцову необходимо было высказаться, и вот он обрадовался живому человеку. С своей стороны, я мог только рассказать о скучной и однообразной жизни «воспитанника среднеучебного заведения», причем постоянно берегся, чтобы не сказать чего-нибудь глупого. Рубцов замечал мои усилия и улыбался своей хорошей улыбкой. Он обладал секретом держаться с той простотой, которая

так обаятельно действует на неопытную юность: я был в восторге от моего нового знакомого и чувствовал, как моя голова начинает сладко кружиться от поднятого в ней вихря мыслей. В самом деле, это было первое пробуждение, и будущее рисовалось в такой заманчивой радужной перспективе. Рубцов, кажется, понимал мое настроение и сам заражался юношеским восторгом.

— Знаете, что я вам скажу? — говорил Рубцов, раскуривая папиросу не с того конца. — Мы никогда не замечаем своего счастья, как не замечаем своего здоровья... Вернее сказать, мы понимаем счастье только задним числом. Вы это после поймете, когда жизнь помнет вас хорошенько... да. Может быть, поймете и то, почему Рубцов так глупо разревелся давеча над студенческой песенкой... Да, батенька, и глупости наши имеют свою цену, поелику в них кроется зерно поэзии.

Рубцов первый засмеялся над своим философским заключением, тряхнул головой и заговорил о естественных науках. Самая непоследовательность в мыслях Рубцова имела для меня необъяснимую прелесть, потому что

как нельзя более отвечала моему душевному настроению. Естественные науки приклеились необыкновенно плотно к казанским профессорам, и я чувствовал, что именно вот за эти естественные науки и отдам всю душу — воображение рисовало самые фантастические картины занятий в химической лаборатории, физиологические опыты, чтение хороших, умных книжек.

— Теперь все это для вас не так еще понятно, — ораторствовал Рубцов, складывая ноги калачиком, — а вот когда вы выплывете на свежую воду, как мы, да потретесь среди людей, ну, тогда и поймете... Наука — святое дело, она образует великую семью. Вот нас с Петькой судьба забросила на Урал, вон в какой медвежий угол; да здесь с ума сойдет живой человек, если бы не наука. Будет время, и вы помянете Рубцова добрым словом.

В порыве охватившего его увлечения Рубцов предложил мне посвятить меня в тайны первоначального естествознания, чтобы подготовиться постепенно к университетским занятиям. Мне до окончания курса оставался целый год, и нужно было дорожить време-

нем. Конечно, я принял это великодушное предложение с восторгом, и, чтобы скрепить наш случайный союз, мы опять играли на гитаре и пели студенческие песни. Отрезвившийся на воздухе Рубцов опять опьянел и опять готов был расплакаться.

— Родимый мой... Михал Павлыч... — заговорил Потап, пользуясь хорошей минутой. — Стаканчик бы... а?.. Заслужу...

— Отвяжись... надоел!.. Разве хорошо так приставать?..

— Сам знаю, что нехорошо, родимый мой... Уж што тут хорошего, известное дело: одна наша слабость...

— Ну, хорошо: я тебе дам стаканчик, а ты спой, знаешь, ту песню, которую я люблю...

— Изуважу... Это «На заре-то было, да на утренней»?

— Да, да...

Выпив стаканчик, Потап присел к огоньку, приложил руку к щеке, закрыл глаза и еще сильным голосом затянул проголосную уральскую песню:

На заре-то было, да на утренней,
На восходе-то красного солныш-

ка...

Нужно отдать справедливость Потапу, что он пел мастерски, с той захватывающей душу энергией, как поют старые проголосные песни одни раскольники. Рубцов как-то весь распустился и размяк, напрасно стараясь подпевать старику. Песня катилась по всему прииску и необыкновенно гармонировала с этой душистой летней ночью, с этим бесконечным лесом, с догоравшим огоньком и молочной, шевелившейся кругом нас мглой. Некоторые ноты Потап брал всей грудью, и песня лилась далеко-далеко, отдаваясь эхом по всему логу.

Ты, дуброва ли, дубровушка зеленая!..
По тебе, моя дубровушка,
По тебе мы множко гуливали.
Мы гуляли — не нагуливались.
Мы сидели — не насиживались...

— «Эх, хорошо старый черт поет... — шептал Рубцов, закрывая глаза от удовольствия. — Да... „множко гуливали...“ „Мы сидели — не насиживались...“».

Но в этот момент из ночного тумана, точно

навстречу стариковской песне, чистою и звонкою, как серебро, нотой, поднялась другая — пел свежий женский голос, и песня то замирала, то опять поднималась, точно она плыла вместе с этим туманом. Рубцов вздрогнул, открыл глаза и, как очарованный, долго прислушивался к доносившимся звукам. На лице у него выступили розовые пятна, глаза засветились... Потап тоже остановился и, прислушавшись, проговорил:

— Ишь, шельма, это моя Солонька заливается...

Рубцов неожиданно вскочил и, как был, без шапки и в одной рубахе, побежал под гору и сейчас же скрылся в тумане. Потап ринулся за ним.

— Михал Павлыч... родимый мой!., невозможно!.. — кричал старик, тоже исчезая в тумане. — Ужо тебя старуха-то!.. Миха-ал...

Слышно, было, как звонко гудели шаги бежавших. Кто-то, кажется, упал в воду, потом из тумана донеслись замиравшие крики Потапа: «Михал Павлыч... родимый мой!» А Солонька продолжала свою песню с теми необыкновенно высокими переливами, как

поют кержанки: отдельные звенья песни то замирали, то опять поднимались, и казалось, что она все удалялась куда-то в лес.

IV

Вместо того чтобы ранним утром отправиться на охоту под Липовую гору, как мы уговорились с вечерах Рубцовым, я проспал самым бессовестным образом и проснулся только в десять часов, когда летнее солнце заливало своим горячим светом всю комнату. Меня разбудил чей-то тихий смех и молчаливая возня.

Открыв глаза, я сначала не мог сообразить, где я. Рядом со мной на походной кровати мертвым сном спал Рубцов, и это объяснило все — я припомнил свое вчерашнее знакомство до мельчайших подробностей.

На письменном столе, как и вчера, стоял кипевший самовар, а около него с книгой в руках сидел Блескин. Я несколько минут наблюдал идиллическую картину, которая вызывала разбудивший меня смех. По письменному столу бродил маленький серый котенок, который и составлял главное действующее лицо происходившей немой сцены. Блескин

укладывал какую-то большую тетрадь на самый конец стола таким образом, что один конец выдавался вперед; на этот выдавшийся конец тетради он помещал кусочек булки, обмакнутый в сливки. Серый котенок своими умными зелеными глазами долго наблюдал устраивавшуюся ловушку, несколько раз обходил кругов самовара, пробовал качавшуюся тетрадь своей мягкой бархатной лапкой и кончал тем, что не мог удержаться от соблазна — он осторожно полз по тетради к кусочку, а потом летел на пол вместе с ловушкой. Это и заставляло Блескина смеяться до слез. Испуганный собственным падением, котенок несколько времени сидел под табуреткой, потом съедал приманку и кончал тем, что опять взбирался на стол. Блескин смеялся тихим душевным смехом, откинув свою красивую голову назад, и я никак не мог узнать в нем вчерашнего серьезного студента, который показался мне таким недоступным и сердитым человеком.

Разыгравшийся котенок кончил тем, что уронил со стола стакан с чаем и, как молния, исчез в окне. Это вызвало уже настоящий хо-

хот Блескина. Рубцов проснулся, посмотрел крутом заспанными красными глазами и бессильно уронил в подушку свою трещавшую от похмелья голову.

— Петька, перестань дурачиться... — ворчал он, закрывая глаза.

Через полчаса мы уже сидели за чаем. Блескин опять читал свою книгу, котенок спал у него на плече. Рубцов пил свой стакан молча, все ощупывал свою голову, морщился и старался смотреть куда-то в угол. Явившийся штегерь Епишка, вороватый мужик с разбегавшимися глазами, нарушил эту молчаливую сцену.

— Петр Гаврилыч, пожалуйте на машину... — отрапортовал Епишка, вытягиваясь у порога во фронт. — Маленькая неполадка случилась. Тоже вот отвод надо сделать черновлянам... Делянку новую просят.

Блескин молча поднялся с места, снял с гвоздя суконную синюю фуражку, глубоко надел ее на голову и молча последовал за штегерем. Мы остались в конторе одни. Мне предстояло поблагодарить за ночлег и отправиться восвояси.

— Вы куда это? — удивился Рубцов, когда я начал прощаться. — Нет, батенька, так порядочные люди не делают... Сначала позавтракаем, а потом побеседуем. Я ведь помню все, что вчера говорил вам. Только вот в голове эскадрон ночевал...

Рубцов вытащил из угла непочатую бутылку водки и вылил большую рюмку.

— Перепаратил вчера малость, — объяснил он, пряча бутылку и рюмку.

Выпитая рюмка произвела надлежащее действие, и Рубцов точно стряхнул с себя тяжелое похмелье. Мы опять говорили о естественных науках, перебрали лежавшие на полке книги, и тут я в первый раз познакомился с ботаническими картинами Шлейдена, с Молешоттом, Либихом, Циммерманом, Бюхнером и т. д. Отдельно стояли сочинения Бокля, Дрепера, Прудона, Добролюбова и Писарева. Рубцов брал одну книгу за другой, читал из них свои любимые места, а одну растрепанную книжку даже поцеловал. Вернувшийся с прииска Блескин застал нас за микроскопом — мы рассматривали кровообращение в перепонке живой лягушечьей ноги.

— Ну, что? — коротко спросил Рубцов приятеля.

— Ничего... — как-то нехотя ответил Блескин, усаживаясь на свое любимое место к столу. — Этот Епишка — настоящий дурак. Наврал бог знает что...

— Э, батенька, старая истина!.. — засмеялся Рубцов добродушно. — Это настоящая bestia priiskoviana[49].

После завтрака из великолепных рябчиков и редиски мы отправились с Рубцовым на прииск.

— Надо немножко проветриться, а то главизна зело трещит, — объяснял Рубцов, спускаясь с крыльца.

Днем прииск представлял собой необыкновенно пеструю картину. Сотни рабочих, как мухи, облепили выработки, свалки и те места, где шла промывка золотоносного песку. Главное движение сосредоточивалось по течению реки Мочги, которая вверху была запружена, а внизу разбегалась десятками канав и желобов к отдельным вашгердам. Вода была желтая и глинистая; по краям канавок и на берегах за ночь образовался целый слой

липкой, специально приисковой тины. По извилистым дорожкам бойко катились приисковые двухколесные таратайки. В выработках мелькали мужичьи шляпы, около вашгердов пестрели яркие сарафаны, у балаганов дымились огни и бегали по траве забытые ребятишки. Мы обошли весь прииск, хотя солнце начинало уже припекать без всякого милосердия. Рубцов осматривал работы и едва успевал отвечать на вопросы ходивших за ним рабочих.

— Да ведь Петр Гаврилыч был здесь, что вы пристали ко мне? — ворчал он.

— Нет, уж ты, Михал Павлыч, как ни на есть, погляди, — бормотали голоса. — Уж мы тебя знаем... Петр Гаврилыч точно што были, только ведь к ему тоже не вдруг подойдешь.

— Ругается?.. — с улыбкой спрашивал Рубцов.

— Кабы ругался, так ищо ничего... Хуже: молчит.

— Вот и подите потолкуйте с ними, — обратился Рубцов уже ко мне, как к незаинтересованной стороне. — Нужно, чтобы человек ругался.

Мы побывали на промывальной, где попыхивала паровая машина, потом заглянули в выработку Потапа и остановились отдохнуть у Потаповского вашгерда. От выработки, где работали мужики, до вашгерда было сажен сто. Гордей добывал в глубокой яме пески и выбрасывал их наверх, на особые деревянные подмостки, откуда их наваливали в таратайку, и десятилетний внучек Потапа вез добычу к вашгерду, где работали одни бабы — старая Архиповна и жена Гордея растирали пески железными лопатами, а Солонька, как самая сильная, подбрасывала на грохот новых песков или сгребала нараставшие кучи галек.

— Бог на помочь! — здоровался Рубцов, когда мы подошли к бабам. — Ну что, Архиповна, много ли намыла сегодня?

— С полфунта будет, — ответила Архиповна и неприветливо покосилась на нас.

— Маленьких полфунта.

— Все наши, и большие и маленькие.

— Так...

Рубцов немножко смутился и не знал, в каком тоне поддержать разговор. Солонька не обращала на нас никакого внимания и ловко

подбрасывала песок на вашгерд: железная лопата у нее в руках походила на какую-то игрушку. Я только теперь рассмотрел первую приисковую красавицу — она именно хороша была на работе. Из-под надвинутого на лоб кумачного платка так задорно и бойко глядели темные глаза, а свежее лицо светилось молодым, здоровым румянцем. Голые ноги и руки не знали устали. Рубцову, видимо, хотелось заговорить с Солонькой, но он стеснялся старухи и кончил тем, что раскурил папиросу.

— Эк тебя взяло с этим табачищем... — заворчала Архиповна, сердито отплевываясь. — Шел бы ты, Михал Павлыч, лучше к себе в контору. Нечего тебе с бабами тут делать...

Эта выходка заставила Солоньку едва заметно улыбнуться, и она лукаво вскинула глазами на Рубцова, который вдруг как-то съежился и торопливо сосал погасшую папиросу.

— Чистый дьявол эта старуха!.. — ругался Рубцов, когда мы шли по прииску домой. — И задними и передними ногами бьет... Ну, да это все равно!.. Слышали, как вчера вечером

пела Солонька?..

День выдался необыкновенно жаркий, так что накаленный воздух переливался и струился, как вода, что бывает только в самый сильный зной. Ветра не было, и все кругом застыло в тяжелой истоме. Молча стоял лес, не шепталась трава, не слышно было птиц, только неугомонный дятел где-то недалеко долбил сухое дерево. Несколько артелей пошабашило. Виднелись группы обедавших рабочих. В одном месте около балагана успевшие отобедать спали на траве в самых отчаянных позах, точно раздавленные, как спят люди после каторжной, страдной работы. Попался штегерь Епишка, бежавший куда-то с пустым котелком в руках. Он издали снял кожаную фуражку и улыбнулся своей вороватой улыбкой. Блескин сидел у окна в одной ситцевой рубахе с расстегнутым воротом, а котенок ползал у него по широким плечам.

У самой конторы нас догнал Потап и без всякой церемонии объявил свое непременное желание «починить башку».

— Ты с ума, кажется, сошел? — рассердился Рубцов. — Что у меня разве кабак?..

— Невозможно, Михал Павлыч... мне просто житья от моей старухи не стало, а все из-за тебя. Поедом ест старая крымза... А уж я услужу, Михал Павлыч, родимый мой!..

Рубцов только засмеялся и подал старику в окно целую бутылку водки.

— Всю мне, Михал Павлыч? — изумился Потап, не решаясь принять свалившееся с неба сокровище.

— Всю... Да, пожалуйста, убирайся к черту на хвост, надоел!..

Потап сунул бутылку за пазуху и сначала бегом побежал через прииск к своему балагану, но вернулся с полдороги и скрылся где-то в кустах.

За обедом и после обеда опять шли те хорошие молодые разговоры, которым и конца нет. Теперь говорил больше Блескин и, нужно отдать ему справедливость, говорил лучше, чем Рубцов. Он обстоятельно объяснял великое значение естественных наук, особенно химии, и самым простым языком рассказывал историю каждой науки в отдельности. Зоология, ботаника, анатомия, физиология — все это были такие великие науки, без кото-

рых невозможно ступить шагу. Ни психологии, ни истории, ни философии в настоящем смысле слова еще и не было, потому что все эти науки должны основаться на естествознании, которое еще делает свои первые шаги.

Рубцов сидел на окне, курил одну папиросу за другой, плевал за окно, стараясь попасть в котенка, спрятавшегося в траве, и напевал на какой-то необыкновенный мотив строфы из Гейне:

У меня глубоко в сердце
Золотой поставлен столик...
И, сидя на табуретках,
В карты дамочки играют...
Но с лукавою улыбкой
Все выигрывает Клара...

С прииска я ушел только вечером, унося в своей охотничьей сумке штук пять хороших книжек. Это было такое молодое счастье, которое не повторяется. В голове бродил какой-то блаженный туман, и будущее казалось так хорошо, просто и открыто; вот в этих книжках, тянувших сумку, как кирпичи, все сказано, что нужно. Я даже смеялся от радости.

На опушке леса я неожиданно наткнулся на очень веселую группу: старый Потап, кучер Софрон и штегерь Епишка сидели с красными лицами на траве, — они, очевидно, угощались даровой господской водкой.

V

Все лето для меня прошло в каком-то чаду, хотя я жил только, собственно, на Мочге, куда отправлялся каждую неделю раза три. Студенты оставались прежними студентами, и моим идеалом сделалось быть таким же естественником, как Блескин. Да, это был настоящий идеальный человек, и каждый раз я открывал в нем какое-нибудь новое достоинство. У Рубцова не хватало солидности и той выдержки характера, которая так неотразимо действует на молодую натуру.

Зачитываясь книгами по естествознанию, я жил в каком-то совершенно фантастическом мире. Действительность сосредоточивалась в приисковой конторе на Мочге, где всегда было так упоительно хорошо... Много лет прошло, а я как теперь вижу эту заветную полочку на стене, где заманчиво выглядывали объемистые томики геологии Ляйеля, «Мир

до сотворения человека» Циммермана, «Человек и место его в природе» Фогта, «Происхождение видов» Дарвина и т. д. и т. д. Сколько бессонных ночей было проведено за чтением этих книжек, и вера в естествознание разрасталась, крепла и в конце концов превратилась в какое-то слепое поклонение. Хорошие книжки перемешивались с хорошими разговорами, тихими вечерами, беседами, а иногда горячими спорами студентов. Да, это было хорошее и счастливое время, и мне от души жаль ту молодежь, которая не испытывает ничего подобного, да и неспособна испытать: не те времена, а «что ни время, то и птицы, что ни птицы, то и песни».

Погода все время стояла отличная. Изредка перепадали редкие дожди, точно затем только, чтобы горы умылись и лес зеленел еще красивее.

— Вот вам, братику, великая книга, читайте ее! — ораторствовал Рубцов, указывая из окна на горы и лес. — Тут все: и ботаника, и геология, и зоология, и поэзия... Остальное все бирюльки и пустяки.

— То есть что остальное-то? — лениво

спрашивал Блескин.

— А все остальное, чем тешились раньше: стишки, музыка, чувствительные романы, картинки разные, идолы, ну, вообще, так называемое искусство и quasi[50]-наука. Гиль и ерунда.

— Однако ты плачешь над гитарой?..

— Это атавизм, Петька... Ветхий человек сказывается. Значит, еще не укрепился в настоящей поэзии, а нужно непременно что-нибудь этакое дрянненькое, кисло-сладкое, вообще гнусное...

— Ну, это уж ты врешь, братец.

— Как вру?

— А так. Не знаешь меры... Искусство тоже необходимо, только хорошее и здоровое искусство: и музыка, и пение, и живопись, и скульптура.

— Да, нужна фотография, нужны рисовальщики для хороших сочинений, нужны, пожалуй, две — три хороших песенки, нужно умение приготовить из папье-маше манекена, нужна музыка для домашнего обихода, то есть когда играет Софрон на своей гармонии, нужны национальные танцы, чтобы встрях-

нуться, и только.

Этот вопрос об искусстве был неисчерпаемой темой для споров, и Рубцов в заключение всегда ругал приятеля «расслабленным эстетиком».

— Если уж ты хочешь, так вот в этой лягушке, которая корячится в банке, все твое искусство сидит, — кричал Рубцов, бегая по комнате.

— Ну, это, брат, началась базаровщина... — отвечал обыкновенно Блескин и смолкал.

Мне особенно нравилась та серьезная простота, с какой держали себя мои друзья относительно рабочих. Живость Рубцова уравновешивалась солидностью Блескина, и вместе они составляли великолепную пару. Именно они особенно хороши были вместе, как я понял много лет спустя. От заигрываний с меньшим братом в равноправность удерживало обоих известное чувство меры, да и приисковые рабочие как-то совсем не подходили под идеальное представление настоящего мужика. У Рубцова, правда, была слабость почитать хорошую книжку кому-нибудь из молодых рабочих, но результаты появлялись са-

мые плачевные: слушатель потел, ежился и кончал тем, что или просил иа водку, или начинал прятаться. Единственным плюсом в этих попытках было то, что Рубцов выучил грамоте кучера Софрона и штегеря Епишку. Подвергался опытам и старый пьяница Потап, но он ни за что не хотел читать гражданскую печать.

— Нет, с нашими приисковыми мужиками ничего не поделаешь, — решил Рубцов. — Какие-то они очумелые совсем... Толкуешь, толкуешь ему, а отвернулся, он — свое. Выучил Епишку с Софроном читать, дал им хороших книг, а они потихоньку от меня читают Бову да какой-то солдатский песенник.

— Значит, не умеешь взяться за дело... — коротко объяснял Блескин.

— Ну нет, тут нужно со школы начинать, братику... Может быть, бабы лучше пойдут. Как-нибудь надо попробовать с Архиповной.

— Да она грамотная, кануны «говорит» по покойникам.

— Ну, тогда с Солонькой... Бойкая девка.

— Попробуй. Как раз дело кончится клубничкой, на помещичий манер... Ты к тому же

и стихи Гейне любишь, а там эта реабилитация плоти в совершенстве объясняется.

— Ну, ну, пошел! Тебе бы с Архиповной кануны говорить.

Приисковые рабочие по вечерам часто собирались около приисковой конторы. Где-нибудь тренькала балалайка, и непременно плясали. По праздникам приходили девки и «заводили» хороводные песни. Блескин посылал им самовар, чаю и пряников, сам подолгу стоял на крыльце и издали смотрел на чужое веселье. Рубцов, конечно, не мог смотреть с таким философским спокойствием на живых людей и непременно вертелся в девичьем хороводе, где пел песни и плясал с замечательным искусством, особенно когда выходила на середину круга подсадистая Солонька.

— Ай да Михал Павлыч, ловко откалывает!.. — восхищались все рабочие. — Форменно... Ну-ка, Солонька, подкозырни барину-то.

Мне казалось, что все эти рабочие ловкую пляску Рубцова ставили неизмеримо выше всех его остальных достоинств — это было просто обидно, хотя Рубцов сам любил посмеяться над этой особенностью народного пони-

мания.

— Все-таки добрым словом помянут: «Ловко плясал Михал Павлыч!» — смеялся он своей грустной улыбкой. — Ведь если разобрать, так целая трагедия античная получится из этого непонимания.

Наступившая осень давала себя чувствовать. Первый утренник расцветил лес яркими желтыми пятнами, а где попадались осины — этот лес точно был обрызган кровью. Время для охоты наступало самое лучшее, но мне приходилось думать об отъезде. На Мочге все было по-прежнему. Только раз мне пришлось сделаться невольным свидетелем одной странной сцены. Я брел с ружьем на прииск прямым путем, то есть лесом. В одном месте нужно было перейти узкую лесную прогалину, где обыкновенно паслись приисковые лошади. Знакомый смех и громкий голос заставили меня оглянуться. Как раз против меня на опушке стояла с уздой в руках Солонька, а Рубцов обнимал ее и целовал в шею. Солонька закидывала голову назад и от щекотки заливалась своим звонким смехом.

— Отстань, некошной!.. — кричала она, де-

лая слабую попытку освободиться от барских объятий. — Я вот тебя так окрещу уздой-то... Эк, привязался!..

Рубцов что-то шептал ей на ухо и продолжал целовать. Мое положение было самое глупое, какое только может выпасть на долю недоросля. Оставалось ретироваться, но я это сделал так неловко, что Солонька оглянулась в мою сторону и с визгом скрылась в лесу. Рубцов стоял на прежнем месте и теребил свою бородку с самым растерянным видом. Я чувствовал, что краснею, но пришлось выходить из невольной засады. Вероятно, мой жалкий вид, когда я подходил к Рубцову, рассмешил его, и он проговорил с улыбкой:

— Ах, молодой человек, молодой человек... Разве хорошо целоваться с Солонькой?.. Стыдитесь. Я вот скажу Петьке, какие вы опыты производите по естествознанию.

Шутка вышла тяжелая, и мы стесняли друг друга. В моих глазах Рубцов потерял прежнее обаяние: эти поцелуи и визг Солоньки не имели ничего общего с тем, что говорилось обыкновенно в конторе, да и Рубцов, очевидно, скрывал свое поведение от Петьки. Вы-

плывала двойная ложь. Что общего могло быть между Солонькой и Рубцовым, и к чему могло все это повести?.. Помню, как мне было стыдно и больно за этот импровизированный роман, и всего удивительнее было то, что я не мог больше смотреть прямо в глаза Рубцову, точно действительно виноват был я. Обидное чувство какого-то обмана и фальши не могло улечься и долго после, когда я припоминал эту сцену.

Это был мой последний визит на Мочгу. Мне тяжело было бы встретиться еще раз с Рубцовым, да и мое присутствие, видимо, его стесняло, точно что-то порвалось между нами.

— Увидимся через год, когда вы будете уже студентом, — говорил Блескин на прощание.

Рубцов, против обыкновения, молчал и только ерошил волосы. Я проклинал глупую сцену в лесу вместе с Солонькой.

Через неделю я уехал в губернский город дотягивать лямку своего ученического существования и, странное дело, очень скоро забыл то тяжелое чувство, которое было вызвано последним путешествием на Мочгу. Моло-

дость именно тем и хороша, что он не помнит зла и идет навстречу добру с распростертыми объятиями. Иногда мне казалось, что я создал в собственном воображении сцену свидания Рубцова с Солонькой в лесу и что в действительности не только ничего подобного не было, но и не могло быть.

VI

Прошел последний год бесцветной ученической жизни, и я сделался почти студентом. Понятна та радость, с какой я летел в родной угол, в свою горную глушь, и первым делом, конечно, отправился проведать своих друзей на Мочге.

Прииск расширился. Лес по течению Мочги был вырублен еще дальше. Работы с прежнего места спустились ниже. Около приисковой конторы образовался пустырь: брошенные ямы, обвалившиеся канавки, размытая плотника, высохший пруд, зараставшие травой перемывки и т. д. Жизнь точно ушла отсюда, предоставив мертвой природе залечивать нанесенные человеком раны и царапины. Приисковая контора стояла на прежнем месте, и первое, что бросилось в глаза еще из-

дали, был свежий прируб. Это значило, что дела на прииске шли вперед и прибавили помещение для какого-нибудь нового служащего. Другие постройки остались в прежнем виде: тот же магазин для разных приисковых припасов, та же людская, где жили кучер Софрон и штегерь Епишка, те же конюшни и легонький навес для экипажей. Прируб был приставлен к глухой стене конторы и выходил окнами прямо в лес; маленькое крылечко было затянуто парусиной, как на даче.

Когда я подходил к конторе, было еще довольно рано — часов десять. Солнце начинало только еще припекать, и собаки наслаждались безмятежным покоем в тени крылечка. Им, видимо, было лень даже лаять, и только какой-то желтый барбос встретил меня глухим ворчанием. Одно окно конторы было открыто, и, как мне показалось, в нем мелькнуло женское лицо. Признаться сказать, для меня это было неприятной новостью. Я поднялся на крыльцо и постучал в дверь.

— Войдите… — отвечал изнутри знакомый голос Блескина.

Представившаяся мне картина не требова-

ла объяснения. У окна стоял тот же письменный стол; на нем стоял тот же кипевший самовар, и Блескин сидел так же со своим стывшим стаканом чая, заложив нога за ногу, а около него сидела Солонька и при моем появлении быстро спрятала какую-то книжку за спину. Она была одета в шерстяном платье какого-то необыкновенного линючего цвета и в красном платке, повязанном по-бабьи. У стены, где мы когда-то спали с Рубцовым, стояла детская кроватка, и в ней спал разметавшийся ручонками ребенок.

— Ах, это вы... — здоровался Блескин, оглядывая меня из-за своих очков. — Давно ли в наших краях?

— Только что успел приехать...

— Рубцов будет очень рад... Он где-то на прииске. Соломонида Потаповна, вы что же это книжку-то прячете?..

— Да так... — кокетливо проговорила Соломонида Потаповна, продолжая прятать за спиной книжку. — Так я испужалась, Петр Гаврилыч, — до смерти.

— Нужно говорить: испугалась...

— Уж вы всегда перешибете на каждом

слове... А я все-таки испужалась... да! то вы ко мне пристали?

— Не кричите, пожалуйста, испугаете ребенка...

— Чего ему делается? Спит...

— Вы хотите чаю? — предлагал мне Блескин, вероятно, чтобы прекратить неловкую сцену. — Я ведь здесь в гостях, а сам живу рядом, в новом прирубе.

Пока шел обыкновенный в таких случаях разговор, я успел рассмотреть те перемены, которые были произведены в этой комнате присутствием Соломониды Потаповны. О детской кроватке я уже говорил. В углу стояли два новых зеленых сундука невьянской работы, тут же висел разный женский хлам, принадлежавший хозяйке, — новое ситцевое платье, барашковая шуба, пестрая шаль в мещанском вкусе, кумачный сарафан и т. д. Появился в углу дрянной шкафик с чайной посудой, на окнах ситцевые занавески и герани, на стене несколько лубочных картинок, в углу образок, двуспальная кровать и даже ковер перед ней. Любимая моя полочка с книгами исчезла совсем, а книги Рубцова просто валя-

лись в углу и были покрыты толстым слоем пыли. Такую же печальную участь разделял и микроскоп, торчавший на окне. Детские пеленки, две — три игрушки и тот специальный беспорядок, какой бывает только в детских, довершали общую картину.

Соломонида Потаповна — прежней Солоньки, щеголявшей в подбористых сарафанах, больше не было — не вступалась в наш разговор и сердито перебрасывала какие-то вещи в углу под кроватью. Она была еще красивее, чем раньше, той смягченной и теплой красотой, какая дается только молодым матерям, но все это было испорчено шерстяным платьем мещанского покроя с невозможными оборками и короткой талией. Оно сидело на Соломониде Потаповне, как на корове седло, в особенно делало безобразной ее талию; то, что было так хорошо в сарафане, никуда не годилось в платье. Могучая спина приисковой красавицы теперь казалась просто безобразной, как и эти рабочие мозолистые руки и большие ноги, неловко ступавшие в новых козловых ботинках со скрипом и каблучками назади.

Чувствовалось что-то натянутое во всей обстановке, именно то, отсутствием чего раньше и была красна жизнь в этой комнате.

Вернувшись с прииска, Рубцов был, видимо, не в духе и как-то тяжело покосился на Соломониду Потаповну, которая не обращала на него никакого внимания.

— Ну, а что мой плод? — любовно спрашивал Рубцов, наклоняясь над детской кроваткой. — Спит, каналья... Вот всегда так: днем выспится, а ночью подымет такой гвалт, что жизни не рад.

Лицо у Рубцова заметно осунулось и загорело. В больших глазах уже не было беззаботного огонька. Прежней оставалась только поддевка, высокие сапоги и ситцевая рубаха, как и у Блескина. В разговоре Рубцов иногда забывал, что спрашивал, или отвечал невпопад — вообще к прежней рассеянности прибавилась какая-то тяжелая забота, одна из тех, о которых не говорят.

— Обедать, што ли, будем, Соломонида Потаповна? — обратился Рубцов к своей сожительнице с неприятной иронией в голосе и при этом оглянул ее с ног до головы.

— Не поспело еще... — коротко ответила та и отправилась в кухню, захватив с собой узелок грязного детского белья.

— Терпеть не могу я этих проклятых платьев... — точно застонал Рубцов, когда дверь затворилась. — Хоть ты ей кол на голове теши!.. Ведь безобразие... мещанство. Не правда ли? — обратился он неожиданно ко мне. — И сколько ей ни толкую, чтобы ходила в своих сарафанах, — ничего не берет...

— Соломонида Потаповна совершенно права по-своему, — спокойно заговорил Блескин. — Ей так нравится — значит, хорошо, и так быть должно. Заставлять ее одеваться именно так, как это тебе нравится, это... просто самодурство. Прежде всего в каждом человеке нужно уважать его личность.

— А если это безобразно, вот это самое шерстяное платье? И если Соломонида Потаповна не понимает этого безобразия? Я только желаю объяснить ей, а не принуждаю... Думаю, что я немножко больше ее понимаю, и на этом основании беру на себя смелость давать советы.

— Напрасная самоуверенность... Все это де-

ло вкуса, а о вкусах не спорят.

— Наконец, если вообще мне это неприятно?.. Мне просто отравляет жизнь вот это самое проклятое платье с оборками...

— Ну, это уж прихоти, голубчик, и некоторый мещанский эгоизм.

— Вот не угодно ли, — обратился опять Рубцов ко мне, как к третейскому судье — Их двое, а я один... Стоит мне рот раскрыть, как у Соломониды Потаповны является защитник, и я же остаюсь кругом виноват.

— Что же, я могу и не говорить... — заметил Блескин все с тем же неуязвимым спокойствием.

Рубцов только махнул рукой и забегал по комнате своим мелким) шагом.

Проснувшийся ребенок вывел всех из затруднения. Он улыбался и смешно взмахивал ручонками, точно хотел вспорхнуть. Рубцов наклонился над кроваткой, и маленькое розовое личико ответило беззубой улыбкой. Но это веселое настроение быстро сменилось первой гримасой, кряхтеньем и отчаянным плачем.

— Эк тебя взяло!.. — выругался Рубцов,

оглядываясь. — Куда это моя дама ушла?.. Вечно уйдет именно в то время, когда ребенок проснется...

— Это она нарочно делает, чтобы огорчить тебя, — объяснял Блескин, поднимаясь с места. — Или, может быть, ребенок выжидает, когда останется с глазу на глаз с папашей, и нарочно заревет, чтобы досадить...

Блескин спокойно подошел к кроватке, спокойно взял своими большими руками плакавшего ребенка и вынул его из кроватки. Маленький плакса сейчас же начал улыбаться прежней улыбкой и, забавно вытаращив светлые большие глаза, аппетитно принялся сосать свой розовый кулачок. Рубцов облегченно вздохнул и сейчас же повеселел.

— Нюта... Нюта... Нюта... — повторял Блескин, осторожно подбрасывая ребенка к самому потолку. — Маленькая барышня Нюта... Смотри, какой у тебя глупый папка!..

Барышня Нюта болтала голыми кривыми ножонками и захлебывалась от удовольствия, пуская слюни прямо на руку своей бородатой няньки.

— А мне стоит только взять эту барышню

на руки, так она зальется таким отчаянным ревом, точно ее режут, — объяснял с улыбкой Рубцов. — Разбойник будет девка.

Явившаяся из кухни Соломонида Потаповна вся заалелась, когда увидела ребенка на руках у Блескина.

— Дайте мне ее сюда... — бормотала она, стараясь отнять ребенка, которого Блескин поднял к самому потолку. — Анка, Анка, подь ко мне!..

Всем сделалось как-то вдруг весело, и в этом хорошем настроении сели за обед. Обедали на Мочге рано, потому что вставать приходилось часов в пять утра. Когда мы уже кончали есть, в открытом окне показалась голова старика Потапа и сейчас же скрылась. Это вызвало общий смех.

— Эй, Потап, чего ты прячешься? — позвал его Рубцов. — Садись с нами обедать.

Голова Потапа опять показалась в окне; его лицо улыбалось нерешительно-заискивающей улыбкой.

— Спасибо, Михал Павлыч... — пробормотал старик, переминаясь с ноги на ногу. — Я уж тово, пообедал. На минутку завернул...

Сейчас побегу на прииск, а то старуха загрызет. Михал Павлыч, родимый мой, всю пояснницу у меня разломило...

— Тятенька, как тебе не совестно? — оговорила отца Соломонида Потаповна и сердито нахмурилась. — Вот ужо я скажу мамыньке, как ты водку здесь клянчишь...

— Ну, поди, поди к матери-то!.. — поддразнивал Потап. — Она те покажет...

— Так тебе лекарство нужно? — спрашивал Рубцов, наливая походный серебряный стаканчик.

— Михал Павлыч, родимый мой... то есть так ухватило, так ухватило!..

— Зачем это вы, Михал Павлыч, напрасно старика балуете? — ворчала Соломонида Потаповна. — Разве это порядок...

Голова Потапа исчезла, но еще раз появилась в окне и проговорила:

— Михал Павлыч, родимый мой... ради ты истинного Христа николды не слушай этих самых баб!

— Ступай, ступай, нечего тебе тут делать... — ворчала на отца Соломонида Потаповна.

— Солонька... кто я тебе, а?.. Значит, тебе родной отец в том роде, как березовый пень... ладно!.. Погоди...

Блескин улыбался, а Рубцов выпил еще лишнюю рюмку водки.

Мне показалось, что между друзьями пробежала черная кошка и что прежняя товарищеская непринужденность исчезла навсегда, хотя они сами не желали убедиться в этом. Притом являлась мысль, что Рубцов точно ревнует Блескина — выходило как-то так, что Блескин стоял ближе к Соломониде Потаповне, лучше ее понимал и умел заставить ее сделать по-своему. Между ними установилась та тонкость понимания, которая обходится без слов, и это мучило Рубцова, как мучила его и авторитетность Блескина.

VII

Бывая часто на Мочге, я теперь останавливался уже в новой комнатке Блескина, где и место было свободное на мой пай, и заветная полочка с книжками, и, главное, сознание, что здесь никого не стесняешь своим присутствием. Рубцов тоже любил частенько завертывать в эту комнату и подолгу засиживался

здесь за разными хорошими разговорами. Тут же неизменным сочленом нашей компании являлся большой серый кот. Это был тот самый серый котенок, который год назад смешил Блескина своими проделками до слез. Рубцов называл этого кота «мыслящим реалистом».

— Я когда-нибудь из этого мыслящего реалиста великолепный препарат сотворю, — уверял Рубцов, чтобы побесить Петьку.

Вообще в комнатке Блескина, как мне казалось, Рубцов на время делался прежним Рубцовым, и по-прежнему мы под треньканье гитары распевали студенческие песни, а Рубцов обязательно плакал, если был выпивши, что с ним случалось довольно часто. Но вообще все это было одной формой, внешней декорацией, а прежнего духа уже не существовало более: являлась какая-то невидимая тяжелая рука и тушила беззаботное веселье.

Мне привелось сделаться свидетелем этой жизни приисковой конторы до мельчайших подробностей, но это тяжелое новое нельзя было объяснить только тем, что в конторе поселилась Солонька, нет, дело было гораздо се-

рьезнее. Появились такие вопросы, о которых не говорила ни одна из заветных книжек, а главное, нельзя было не предвидеть появления все новых и новых комбинаций. Из-за дрязг и мелочей специально-семейной жизни Рубцова на приисковую контору надвигалась какая-то грозовая туча, и все переживали то нервное беспокойство, которое испытывается перед грозой.

Соломонида Потаповна вела жизнь совершенно растительную и, видимо, очень скучала. По утрам она училась читать с Блескиным, но занятия шли очень лениво, и ученица только потела или принималась зевать. Блескину стоило невероятных усилий научить ее читать, но зато дальше Соломонида Потаповна уперлась и ничего слышать не хотела ни об арифметике, ни о чтении хороших книжек.

— Неужели тебе хочется дурой остаться? — спрашивал иногда Рубцов, выведенный из терпения. — Кажется, времени свободного у тебя достаточно, а без дела одурь возьмет.

— Какая уж есть... — упрямо отвечала Соломонида Потаповна, сдвигая свои соболи-

ные брови. — Вам что за печаль: дура была, дурой и останусь. Свои глаза-то у вас были... Ведь не венчанные: не поглянулась, и уйду.

— Это — какое-то идиотство!.. — возмущался Рубцов, отступаясь.

Такие разговоры обыкновенно приводили к размолвкам, но Соломонида Потаповна отлично понимала все преимущества своего нелегального положения и не упускала случая воспользоваться всеми его выгодами, то есть она всегда повторяла «уйду», хотя видела, что это невозможно — их связывал ребенок. К этому ребенку Соломонида Потаповна относилась как-то равнодушно, так что, собственно, возился с ним больше Блескин: он вставал для этого даже ночью. В своем роде получалась замечательная картина: Блескин уносил в свою комнату маленькую Нюту вместе с колыбелькой и сидел над ней вместе с серым котом.

Любимым занятием Соломониды Потаповны было выйти на крылечко, сесть на ступеньку и сидеть здесь, пощелкивая кедровые орехи без конца. Солнце печет нещадно, в воздухе налита какая-то смертная истома, а

Соломонида Потаповна сидит на своем крылечке, и только летят скорлупы. И это изо дня в день... Можно себе представить положение университетских друзей, когда пред их глазами торчал этот вечный живой упрек. Некоторое оживление Соломонида Потаповна испытывала только в моменты, когда кучер Софрон начинал наигрывать на своей гармонии разные залихватские приисковые «наигрыши» или штегерь Епишка выкидывал какое-нибудь коленце помудренее. Эти глупые люди, порядком нечистые на руку, очевидно, были ближе Соломониде Потаповне, и она кокетливо закрывалась рукой, чтобы не выдать душивший ее смех.

— Соломониде Потаповне сорок одно с кисточкой... — галантно здоровался краснорожий кучер Софрон, когда проходил мимо «полубарыни», залихватски подергивая свою десятирублевую гармонию.

Вороватый Епишка держался с полубарыней гораздо осторожнее и позволял себе разные колена только в отсутствие господ. Он делал безнадежно глупую рожу и раскланивался с Соломонидой Потаповной издали «по-гос-

подски», то есть расшаркивался, прижимал руку к сердцу и держал свою кожаную фуражку на отлет. Потом садился куда-нибудь на бревно и с помощью скребницы изображал, как господа читают в книжку, глядят в «микорсоп» и т. д. Софрон наяривает на гармонии, встряхивая волосами, Епишка выкидывает разные колена, а Соломонида Потаповна, сидя на крылечке, задыхается от смеха.

Не нужно было обладать особенной философской проницательностью, чтобы понять, чем вся эта история кончится в одно прекрасное утро.

Рубцову приходилось нелегко, и мы целые дни вдвоем бродили с ним с ружьями по лесу, делая привалы в излюбленных местах, где-нибудь под Дымокуркой, на Пальнике или под Сосуном-Камнем. Это шатание по лесу всегда оживляло Рубцова, и он точно встряхивался, веселел и без конца декламировал разные стихи, а больше всего, конечно, из Гейне. Особенно он любил повторять гейневских рыцарей, Вашляпского и Крапулинского.

Вместе ели, но с условием.
Чтоб по счету ресторана

Не платить им друг за друга:
Не платили оба пана...

— Не правда ли, какая чертовская ирония? — спрашивал Рубцов, бросая ружье... — Ха-ха. Это как мы с Петькой!..

Нет, не все еще погибло!
Наши женщины рожают.
Наши девушки им в этом
Соревнуют, подражают...

Эти два рыцаря как-то живьем засели в моей голове, но теперь я не могу слышать этих стихов: под этой иронией крылась трагедия, та трагедия, которая одинакова как в патентованных трагических странах вроде Италии, так и в самом обыкновенном захолустье.

— Да, черт возьми, наши женщины рожают... — задумчиво повторял Рубцов, когда смешливый стих проходил. — Природа тут немножко того, нерасчетливо поступает.

Студенческая привычка выпивать у Рубцова, кажется, все росла с каждым днем, и, что было всего хуже, он начал пить один, потихоньку от других. Стесняясь показываться пьяным перед Петькой, он обыкновенно ухо-

дил куда-нибудь на прииск, пока не протрезвлялся. На охоте стесняться было некого, и Рубцов обыкновенно напивался на привалах настолько, что домой приходил с красными глазами. Мне эти выпивки были хуже всего, потому что пьяный Рубцов питал большое пристрастие к откровенным разговорам, а известно, что такая пьяная откровенность ставит «наперсника» в самое дурацкое положение.

Раз мы отправились после обеда за дупелями в небольшое болотце, до которого от прииска было около трех верст. Рубцов выпил дома да прибавил еще дорогой. У него утром вышел какой-то неприятный разговор с Блескиным, следовательно, нужно было вознаградить себя. Я предчувствовал, что сейчас начнется излияние сокровеннейших чувств, и пожалел, что пошел на охоту.

— Да, я никого не обвиняю... — бормотал Рубцов, ступая неверными шагами. — Это уж последнее дело... да!.. Но это мне не мешает все понимать и все видеть.

Рубцов горько засмеялся и махнул рукой.

— Знаете, что мне говорил сегодня Петька?.. — продолжал он. — «Соломонида Пота-

повна скучает оттого, что в ее жизни произошел слишком резкий переход от тяжелой работы к безделью... Она слишком здорова и сильна для умственного труда, а ей необходима ручная работа, чтобы не сойти с ума». Чудак этот Петька... Думает, что я ничего не вижу и не понимаю!.. Вот и вы тоже... Нет, батенька, Рубцов все видит: как и Софрон выворачивает глаза на Соломониду Потаповну, и как Епишка подпускает ей турусы на колесах, а Соломонида Потаповна посиживает на крылечке, щелкает орехи и этак из-под ручки: хи-хи-хи!.. Так?.. Ну-с, так работа Соломониде Потаповне работой, а потом настоящий-то муж, чуть что, ее же за косы да хорошую трепку, — вот она тогда будет золотая баба. Тот же Софрон, если бы она вышла за него замуж, дул бы ее не на живот, а на смерть, и она же души в нем не чаяла бы... Так я говорю?..

— Нет, вы уж слишком, Михаил Павлович... так нельзя.

— Ну, уж, батенька, извините: вот так, как я делаю, это действительно нельзя, курам на смех, недаром Софрон и Епюшка считают меня дураком. Но ведь не могу же я ее бить

смертным боем... Боже мой, боже мой!.. Нет, это страшно, вот на какие нелепости сводится наша жизнь... Учитесь, батенька!.. В самом деле, если разобрать всю эту историю, — ничего дурного... Живет созревший молодой человек в лесу и встречает созревшую молодую девушку; естественно, что он получает известное влечение... так? Ну, она необразованная, глупая, но зато такая здоровая и цветущая. Природа всесильна... Она делается матерью. Тут уж начинается другая аллегория... Посидимте, батенька, я устал что-то. Еще успеем дупелей погонять...

Мы расположились на лесной опушке, в тенистом уголке. Над нашими головами шатром поднималась старая рябина; вдали синели горы. Жар свалил, и из лесу потянуло вечерней сыростью. Рубцов еще выпил стаканчик из походной фляжки.

— Знаете, сначала я действовал под влиянием одного чувства, как животное... — продолжал он на ту же тему. — И красивая девка была — у кого угодно голова закружится. Ну, сошелся с ней... Когда чисто животный жар прошел, явилось более глубокое чувство: под-

нять ее до себя, выучить, дать приличное образование. А тут еще плод явился — значит, оставалось идти вперед. Ведь я сколько раз предлагал ей повенчаться — не хочет.

— Почему?

— А шут ее разберет... Раскольники они, вся семья, не признают церковного брака, а, согласитесь, венчаться мне у ихних старух тоже не приходится. Вот бы веселенький пейзажик получился: студент Казанского университета совратился в раскол... ха-ха!.. Хорошо. Ну, замуж не хочешь идти, так будем жить, а. тут вот какая музыка получается... Что же мне-то делать: остается ревновать ее к Софрону или к Епишке, вернее, к обоим зараз?.. Или изобразить венецианского мавра Отелло?.. Но ведь Солонька походит на Дездемону так же, как свинья на пятиалтынный... Софрон — Кассио, Епишка — Яго, а я — венецианский мавр... тьфу!.. Все это было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Ведь самое страшное в таких вещах — сознание, которое гложет тебя и день и ночь... В самом деле, чем виновата Солонька, что она бессовестно здорова и глупа до святости, а я еще меньше ее

виноват во всем этом, хотя она, вот эта самая Солонька, дорога мне и как объект моей страсти и как мать моего ребенка. Ведь из этой глупой личинки Нютки вырастет большой человек и скажет: «А что, тятенька, разговоры хорошие вы умели разговаривать, а вот живете по-свински...» Понимаете: вот этот беззубый Нютин ротик и скажет... Что же получается-то? Дрянь и мерзавец ты, Михаил Павлыч, и всего твоего ремесла было откозырять трепака!..

— Ну, уж вы очень хватили!..

— Нет, позвольте... Даже самая положительная дрянь, голубчик, по всей форме, особенно если сравнить вот с этим Софроном или Епишкой... Как бы вы думали?.. Конечно, дрянь... Что бы сделал Софрон на моем месте, если бы заметил за женой шалость и если бы ее действительно любил, как это думаю я сам про себя? Самое простое дело: взял топор и рассек Солоньку на мелкие части, асам сначала со страхов убежал бы в лес, а потом, как пришел бы в себя, сейчас в волость и в ноги старшине: «Так и так, мой грех...» Вот как сделает Софрон, и ему и книги в руки. Так что он,

говоря логически, имеет полное право выворачивать Солоньке всю душу своей гармоникой, а Михаил Павлыч должен смотреть и казниться... Э, батенька, да тут такие кружева в башке заходят, что жизни не рад!.. Каких-то винтов не хватает, вот машина и фальшит. Вся суть-то в одном тебе сидит, а ты в жизни злостный банкрот: напечатал в газетах объявление, заманил публику, наобещал самому себе золотые горы, а хвать — в кармане кукиш с маслом. Да что тут говорить, голубчик: все это самому надо размотать... своим умом.

Опять наступила осень. Мне нужно было ехать в один из столичных университетов. Сцена прощания с Мочгой была самая трогательна я. Даже Блескин расчувствовался и со слезами на глазах долго жал мою руку.

— Поклонитесь же Казани, как поедете мимо, — прошептал упавшим голосом Рубцов и убежал в свою комнату, чтобы скрыть душившие его слезы.

— Да, да... это хорошо, — повторил Блескин. — Учитесь много, это наше счастье... Наука — все.

Свидетелями этой сцены были Софрон,

Епишка и Соломонида Потаповна. Они, видимо, ничего не понимали и переглядывались. Епишка сделал плаксивое лицо, чтобы рассмешить полубарыню.

VIII

Когда на Руси расстаются истинные друзья, они всегда дают взаимное обещание писать, но исполнение прерывается много-много на втором или на третьем письме... В данном случае было то же самое: я написал из Петербурга первое письмо и получил на него ответ от Блескина, второе осталось без ответа, а третье я уже имел право не писать.

Время катилось быстро среди новой обстановки, новых людей и новых занятий. Я безвыездно прожил в Петербурге целых пять лет и только стороной узнал, что через год после моего отъезда с Урала Рубцов застрелился... Как, где, почему — я ничего не знал, хотя имел много оснований догадываться об истинных причинах этой печальной развязки. Это с одной стороны, а с другой, стоит развернуть любую газету, и вы везде найдете эти коротенькие известия о самоубийствах, сделавшихся настолько заурядным явлением в на-

шей жизни, что как-то даже не обращают на себя никакого внимания. Застрелился — и только, причины остались неизвестны, осталась записка — «в смерти моей прошу никого не винить» и т. д. Печальное явление печальной жизни, больше ничего. Вероятно, и Рубцов оставил после себя такую же записочку, прежде чем пустил пулю в лоб, а впрочем, могло быть и иначе.

Прошло семнадцать лет. Много русской воды утекло за это время... «Мыслящие реалисты» шестидесятых годов оказались идеалистами, хотя и занимались по преимуществу точными науками. Новое поколение, не отрицавшее искусства, оказалось практичнее своих «детей-отцов», хотя в погоне за практическими целями обходилось без всяких принципных построений. Шла какая-то громадная перестройка, и в этом рабочем гвалте вчерашние друзья оказывались сегодня врагами, а враги друзьями. Хищения, ренегатство, философия бессознательного, самоубийства, всевозможные репрессалии — все это перемешалось в шевелившийся живой ком, где трудно было что-нибудь разобрать. А «дети-отцы» с

их наивным реализмом оказались такими наивными среди этой торжествовавшей «правды жизни»... Естественные факультеты пустели, молодежь стремилась в юристы, медики и тому подобные хлебные профессии!

Года два назад мне случилось ехать по Волге. Великолепный американский пароход только что отвалил от пристани в Казани и бойко пошел вниз, оставляя за собой широкий двоившийся след. День был солнечный, светлый, и публика толпилась на трапе. Показались новые пассажиры, севшие только в Казани. Тут были и студенты в новой студенческой форме, и казанские татары, и сомнительные помещики, и чиновники, и купцы разных формаций. Все любовались красавицей Волгой. Я сидел на деревянном диванчике у самой мачты и смотрел туда, в синевшую даль, где одно за другим, как бурые пятна, вставали печальные волжские села и деревушки.

В числе других пассажиров обращала на себя внимание серьезная молодая девушка лет восемнадцати, которая сидела на диванчике с книгой в руках, а около нее грелся на

солнце старый серый кот. Простое летнее пальто, простая соломенная шляпа, густая темная коса, заплетенная по-дорожному; серые глаза смотрели строго и как-то странно гармонировали с этим цветущим женским лицом. Таких девушек можно часто встретить на русских пароходах — все это учащийся народ: бестужевки, курсистки, слушательницы, студентки. Кто она? Куда едет? Что она читает в своей книжке и что везет в своей красивой головке туда, в родную глушь? Некоторый диссонанс представлял только кот, который ходил за девушкой, как собачонка. Ни она, ни он не обращали на публику никакого внимания: она читала, он спал.

Во время обеда девушка с котом исчезла, а вечером вышла на трап в сопровождении плотного господина в золотых очках. У него была такая великолепная темная борода, уже тронутая сильной проседью. Кот лениво шел за ними.

— Нет, ты, Аня, ошибаешься... — спокойно заговорил господин, очевидно продолжая какой-то старый разговор. Он достал сигару и, не торопясь, закурил ее по всем правилам ку-

рильного искусства.

Девушка с живостью что-то ему возражала и так любовно и ласково заглядывала в лицо. «Вероятно, дочь или сестра», — подумал я, наблюдая интересную парочку. Но, когда господин заговорил еще раз, я узнал его по голосу: это был Блескин.

— Мы, кажется, знакомы с вами... — заговорил я. — Если не ошибаюсь, Петр Гаврилович Блескин?

— Да...

— Помните прииск Мочгу?

Блескин быстро поднялся и с несвойственной живостью заключил меня в свои объятия. Девушка смотрела на нас каким-то недоверчивым взглядом и несколько раз пытливо переводила глаза с меня на Блескина и наоборот.

— Да как это... какими судьбами? — повторял Блескин, не выпуская моей руки. — Сколько лет, сколько лет прошло...

— Лет семнадцать будет.

— Да, время не ждет. Аня, рекомендую: наш общий знакомый, который знал еще твоего отца, — отрекомендовал меня Блескин и

прибавил: — А это дочь Михаила Павлыча... Помните маленькую Аню?

— Да, да... и кот, кажется, назывался мыслящим реалистом?..

— О да, он самый... Это Михаил Павлыч его так называл. Послушайте, что же мы здесь будем делать, пойдемте хоть в рубку или к нам в каюту.

— Лучше в каюту, — заметила Аня.

Они ехали вдвоем в каюте второго класса. Пока Аня ходила распорядиться относительно самовара, Блескин с самодовольным лицом проговорил, кивая головой на затворенную дверь каюты:

— А как мы выросли-то... а? Из личинки человек вырос... Теперь Аня на курсах в Казани. Мы ведь там живем... вдвоем...

— Извините, нескромный вопрос: о смерти Михаила Павлыча я слышал; а где Соломонида Потаповна?

— Гм... Она вскоре вышла замуж за нашего штегеря Епишку. Да... Рассказывают, что она отлично устроилась, по-своему, конечно. Сначала Епишка был сидельцем в кабаке, потом писарем, а теперь, кажется, служит или чле-

ном земской управы, или даже председателем. Не шучу...

Блескин печально улыбнулся и замолчал. Вернулась Аня и опять недоверчиво посмотрела на нас, впрочем, это могло показаться мне. Не могла же она меня ревновать к Блескину, хотя нечто подобное бывает при встрече друзей разных формаций: молодые друзья всегда немножко ревнуют старых.

— Вероятно, опять разговаривали о своей старости? — спросила Аня Блескина с едва заметной улыбкой, спрятавшейся у нее в углах рта.

— Что же, дело не к молодости идет... — ответил Блескин, снимая шляпу.

Он носил теперь длинные волосы, почему я и не мог узнать его с первого раза, да и волосы эти, как и борода, точно были перевиты серебряными нитями преждевременной седины. Лицо было такое же спокойное и очень свежее для своих лет. Блескин так же во время разговора смотрел через очки. Но вместе с тем и в этом лице, и в движениях, и во всей фигуре чувствовалось что-то новое, чего раньше не было, — это та мягкость, которую при-

дает близость любимого человека.

Аня делала чай, а мы болтали, как это и приличествует старикам. Вспоминали жизнь на Мочге, разные эпизоды приисковой жизни, наше знакомство и т. д. Серый кот сидел тут же, на триповом диванчике, и, сложив под себя передние лапы, точно слушал наши разговоры; он щурился, закрывал глаза и опять принимался дремать стариковской дремотой. Глядя на кота, я рассказал свое первое пробуждение на Мочге, когда серый котенок падал на пол вместе с приманкой. Девушка засмеялась, посмотрела на Блескина со счастливой улыбкой и смеющимися глазами и молча долго гладила мурлыкавшего реалиста.

— Да, если разобрать, так, право, тогда было хорошее время, — задумчиво говорил Блескин, — главное, верп была... что-то такое бодрое было в самом воздухе, и жизнь казалась такой простой.

— Везде всё клеточки учили? — спросила Аня, — Действительно, все уж очень просто.

— Это она смеется над нами, — объяснил Блескин. — И представьте себе: дочь Михаила

Павльча Рубцова, реалиста до мозга костей, занимается, чем бы вы думали? Эстетикой… да. Вот где житейская ирония.

— И не эстетикой… — вспыхнула девушка, — а просто вопросами искусства! Если это меня интересует? Притом меня занимает специально научная сторона этих вопросов.

— Это и есть эстетика, голубчик. Впрочем, мы не будем вам надоедать продолжением нашего бесконечного спора: наша песенка спета… По требованиям эстетики, нужно выразиться в такой форме: мы умираем на своем посту, держа высоко знамя реализма. Так, Аня?

— Ирония к тебе нейдет, это не в твоём характере…

После чего девушка ушла, понимая, что нам хотелось о многом переговорить с глазу на глаз, тем более что многого мы не могли говорить при ней. Мы закурили сигары и несколько времени молчали. Хотелось так много сказать, и вместе так было трудно начать.

— Наша встреча так живо мне напомнила Рубцова, — прервал наконец Блескин молча-

ние. — Как бы он был рад, бедняга... Помните, как он просил вас поклониться Казани! Да, хорошая была душа. Нынче уж нет таких восторженных вечных студентов — народ все практический, ничем их не прошибешь. Да... И как он свернулся, вдруг как-то. Он же, помните, научил читать и писать нашего кучера Софрона, а Софрон взял да и написал Соломониде Потаповне глупейшую любовную записочку... Одним словом, глупость, и больше ничего. Можно было уехать с прииска, отказать Софрону, да мало ли что. Рубцов стал задумываться, похудел, молчал, а потом пошел в лес на охоту и застрелился... Девочка осталась после него полуторых лет. Ну, я ее и взял тогда к себе.

— А как Аня относится к матери?

— Да, право, трудно сказать... Возил я ее несколько раз повидаться с матерью, выходили самые неловкие сцены: Аня позабыла мать, а у той новые дети. Вообще все это тяжелая история, о которой лучше не говорить...

— Теперь вы в Казани?

— Больше десяти лет живем. Сначала Аня

в гимназии училась, потом вот на курсы поступила... Как-то невольно молодеешь с молодыми, потому, вероятно, старики так и любят всякую молодежь.

Мы ехали на пароходе двое суток и провели время самым хорошим образом, то есть в разговорах, спорах и воспоминаниях. Дичившаяся Аня привыкла к моему присутствию и при каждом удобном случае расспрашивала про отца, которого знала, конечно, только по рассказам. Я рассказывал, что удержалось в памяти, и мне делалось больно за Рубцова, который не дожил до этого времен, когда личинка превратилась в настоящего человека. Мне тоже было немного странно видеть в этой большой Ане того ребенка, который остался в приисковой конторе на Мочге.

— Мне кажется, что я иногда его вижу, то есть отца, — говорила Аня. — Ведь он был такой добрый, хотя и бесхарактерный?.. Я представляю себе, как он пел козлиным голосом, как декламировал свои стихи Гейне, как называл Блескина попросту Петькой. Одним словом, идеалист чистейшей воды.

Когда Аня чем-нибудь увлекалась, на ее бе-

лом лбу всплывала такая хорошая морщинка, как и у отца, хотя в общем, кроме глаз, она походила больше на мать, только в другом, исправленном издании. Мне казалось, что, расспрашивая про отца, девушка больше интересовалась тем, что относилось к Блескину.

— Вы его не знаете... — проговорила Аня однажды со вздохом. — Это святая, идеальная натура. Таких людей больше нет... Я всем обязана Петру Гаврилычу, который заменил мне мать, отца-нет, больше: разве так относятся к детям?.. Я ведь понимаю, что он и не женился из-за меня, а между тем он же проповедует эгоизм как основу всех человеческих поступков.

Мне нравилось лицо Ани в эти минуты — такое хорошее русское лицо и такие умные, серьезные глаза.

Через два дня наш пароход подходил к пристани, где мы должны были расстаться, — я оставлял пароход, а Блескин с Аней ехали дальше. Мы простились друзьями. Когда я пошел уже на пристань, Аня догнала меня с раскрасневшимся лицом и проговорила:

— Прощайте еще раз... Кто знает, может быть, мы совсем не увидимся или увидимся лет через двадцать. Мне хотелось сказать вам один секрет: я — невеста Блескина... да!.. Мы едем венчаться в деревню к его родным...

— Что же вы мне этого раньше не сказали?..

— Петр Гаврилыч стесняется... Ведь я сама его высватала, а это было не легко. Ну, теперь прощайте... второй свисток.

Я едва успел выскочить на пристань, как пароход отвалил. С трапа провожали меня два счастливых лица, и Аня долго махала платком.

Нынче летом я опять был на Мочге...

Я обошел все ямы, выработки, свалки и перемывки — все это заросло молодым лесом, а по бокам высились две стены дремучего ельника, которые сомкнутся со временем, и от прииска останется столько же, сколько осталось от каких-нибудь чудских копей. На месте приисковой конторы торчало несколько покосившихся столбов да развалившийся фундамент. Везде топорщилась свежая зелень, но здесь, где было жилье, ютились боль-

шие сорные травы: лопух, глухая крапива — эти неизменные спутники человеческого существования. Где-то звонко долбил сухую ель пестрый дятел; солнце опускалось к горизонту, и где-то далеко, точно под землей, погромыхивала тучка. Нужно было уходить из лесу засветло.

Из уральской старины {4}

Действие нашего рассказа относится к жизни Зауралья лет пятьдесят назад. (прим. автора)

I

Ободранная комната, почти без мебели, была залита ярким солнечным светом, который бродил колебавшимися золотыми пятнами по закопченному потолку, по крашенным зеленым купоросом стенам, по заплеванному полу; в раскрытое окно гляделась своей мягкой зеленью липа, где-то слабо посвистывала крошечная серая птичка, с улицы так и тянуло июльским зноем, какой бывает только на Урале. Комната выходила двумя окнами на широкий мощеный двор громадного господского дома, а одним в сад; у одной стены на полу валялась овчинная шуба, заменявшая постель, между окнами стоял некрашеный деревянный стол, около него два топорной работы стула, на стене висело плохое тульское ружье, рядом какая-то мудреная черкесская амуниция, — и только. Пахло водкой, луком и еще чем-то таким, чем пахнет только в

кабаках.

У стола, с гитарой в руках, согнувшись, сидел смуглый, черноволосый, чахоточный человек неопределенных лет; он был в грязной ситцевой рубашке и заношенных плисовых шароварах, заправленных в сапоги. Время от времени жилистая и костлявая рука машинально брала несколько аккордов на гитаре, но сам игрок оставался в том же положении: смуглое лицо было неподвижно, темные большие глаза смотрели на одну точку. Он точно застыл в одной позе и не смел шевельнуться.

— Плохо, Яша, — проговорил он наконец и машинально потянулся рукой к пустой бутылке из-под водки, которая стояла на столе рядом с недопитой рюмкой. — Ежели теперь...

По смуглому лицу со впалыми щеками мелькнула тень, густые брови нахмурились, даже на тонкой шее напружились толстые синие жилы; все внимание Яши сосредоточилось на гитарном грифе. Через несколько минут на лбу выступили капли холодного пота, а губы сложились в кривую, неприятную

улыбку: Яша увидел его... Да, это был он, старый знакомый, маленький, черненький, с собачьей мордочкой и утиными лапками вместо ног. Он оскалил свои мелкие зубы, оседлал гриф и показал Яше длинный красный язык.

— Ага, так ты вот как... — прохрипел Яша и сделал рукой такое движение, как будто хотел поймать муху, но проворный чертик увернулся от него с большой ловкостью и выглядывал уже из отверстия гитары. — Нет, постой, брат, теперь не уйдешь от меня... попался, голубчик!..

Яша судорожно закрыл обеими ладонями круглое отверстие гитары, но чертик, как акробат, пробежал по одной струне до колков, выдернул один из них и нырнул в дырочку, только мелькнули в воздухе тонкие, как проволока, ножки, длинный мышиный хвост; но через минуту чертик показал свою морду из отверстия, где был колок, и проворно намотал струну себе на шею, — как есть колок... У Яши мороз пошел по коже со страху, но он в отчаянии схватил рукой за ноги чертика и давай их закручивать; струна быстро навилась

вокруг чертовой шеи, и собачья голова налилась кровью, длинный красный язык повис, и черные глазки совсем выкатились из орбит.

— Ага... вот когда ты мне попался, подлец! — кричал Яша, продолжая закручивать чертика.

Но в тот самый момент, когда черт уже совсем задыхался, струна вдруг лопнула, черт вырвался, кувыркнулся в воздухе и шлепнулся прямо на пол, где, как капля ртути, расшибся на тысячи мелких крупинок, и каждая крупинка оказалась новым чертиком. Маленькие, безобразные, некоторые еще с розовыми лапками, как у мышенят, чертики забегали по полу, как вытряхнутые из мешка тараканы, и Яша бросился их топтать обеими ногами, причем выделывал чудеса акробатической ловкости.

— Вот я вас, подлецов! — орал Яша, бегая по комнате с гитарой в руках. — Мучить меня... душу тянуть... ха-ха!..

В самый разгар этой сумасшедшей сцены двери комнаты растворились и в них показалась стройная женская фигура. Это была девушка лет девятнадцати, белокурая, голубо-

глазая, с тонким носом и полным овалом лица; она была в одной крахмальной юбке, а плечи были закутаны пестрой, заношенной турецкой шалью. Сначала она смотрела на прыжки Яши с улыбкой, но потом лицо подернулось легкой тенью; что-то такое грустное и печальное засветилось в больших глазах, а губы сложились в горькую улыбку.

— Яша, ты что это? — тихонько окликнула она бесновавшегося. — Перестань, голубчик... никого тут нет, никаких чертиков.

— А это... а это?.. — метался Яша по комнате, гоняясь за призраками своего расстроенного беспросыпным пьянством мозга. — Вон их сколько, подлецов, насыпано на полу... везде!

Девушка спокойно взяла пьяницу за худые плечи и, как ребенка, посадила на стул к столу; нервное напряжение Яши сменилось вдруг страшной слабостью: он весь как-то распустился и даже закрыл глаза. Только высоко поднималась и падала чахоточная грудь да все тело вздрагивало тяжелой судорогой; лицо было облито потом, редкие темные волосы прилипли на лбу и на висках тонкими

прядями.

— Яша, очнись... Что ты, голубчик? — тихо говорила девушка, напрасно отыскивая глазами воду.

Она торопливо вышла и вернулась через несколько минут с большим графином холодной воды, которую и начала лить Яше прямо на голову; тот вздрагивал, отмахивался руками, причитал что-то своим хриплым тенором и только чувствовал, точно с него сдирают кожу. Это была ужасная минута, слишком хорошо известная всем записным пьяницам.

— Ну, теперь лучше? — спокойно спрашивала девушка, кончив свою жестокую операцию.

Яша с трудам открыл мутные глаза, посмотрел прямо в голубые глаза девушки и засмеялся.

— Узнал? — спросила она.

— Чертики... вен... вон!.. — закричал Яша, вскакивая с места и тыкая пальцем прямо в глаз девушке; в них опять прыгали знакомые черные фигурки, переплетались, как черви, и высовывали красные языки.

— Дурак! — обругала девушка сумасшед-

шего, а потом достала из кармана пузырек с нашатырным спиртом, отсчитала в рюмку несколько капель, налила воды и подала неподвижно сидевшему Яше. — На, выпей...

— Водка?

— Да, водка...

Яша дрожащей рукой схватился за рюмку и опрокинул ее в рот; он даже не почувствовал, что такое выпил, а только тяжело вздохнул. Девушка подняла валявшуюся на полу гитару, настроила оборванную струну и села с гитарой на раскрытое в сад окно. Взяв несколько аккордов, она заиграла какую-то заунывную немецкую песню, ловко и отчетливо перебирая струны своими тонкими белыми пальцами. Потом немецкая песня перешла в разудалую цыганскую «Настасью»; девушка, отбросив белокурые волосы, падавшие на лоб, вполголоса за: пела:

Ты, Настасья,
Ты, Настасья,
Отворяй-ка ворота —

Звуки музыки и пение заставили Яшу открыть глаза и поднять голову; он пришел в

себя и долго смотрел то на свою комнату, то на сидевшую на окне девушку.

— Мантилья Карловна, это вы-с? — как-то нерешительно и конфузливо заговорил он, ощупывая свою мокрую голову.

— Я, Яша, а ты тут чего колобродишь? И не совестно тебе?.. а? Посмотри, какой у тебя голос...

— Голубушка, Мантилья Карловна, больше не буду, — зашептал Яша и бросился в ноги девушке. — Простите вы меня, дурака!

Он припал мокрой головой к ее юбкам и опять зашептал что-то такое совсем бессвязное.

— Я к тебе за делом пришла... ах, отойди, пожалуйста! — брезгливо проговорила Матильда Карловна, подбирая юбки под себя. — Грязный весь...

— Ручку... ручку пожалуйте, а то не уйду! — повторял Яша с упрямством протрезвляющегося человека.

— Хорошо, на...

Яша припал к протянутой белой руке и долго целовал все пальчики по порядку, эти удивительно красивые пальцы с розовыми

ногтями и просвечивавшей, точно атласной кожей.

— Да как вы сюда-то попали?., а? — удивлялся Яша, не выпуская маленькой теплой ручки.

— Дело есть, Яша... Гуляла по саду и зашла проведать тебя. Ах, да, а где Ремянников? — спросила она серьезным тоном и, прищурив глаза, пытливо посмотрела прямо в глаза Яше, который все еще стоял перед ней на коленях.

— Где Федька? Да он все время здесь был... мы вместе пили, а потом уж я не помню...

— Врешь, подлец! — крикнула Матильда, и ее лицо покрылось розовыми пятнами. — Ты меня обманываешь...

— Ей-богу, вот сейчас провалиться, не вру... вместе пили, а потом все он ко мне приставал.

— Кто он?

— Известно, кто: черненький этот...

— Да ты не заговаривай зубов-то, Яшка! — вспылила девушка и топнула ногой. — Не хочешь говорить правды, так я тебе сама скажу, где теперь Ремянников: он в Ключиках...

— У попа Андрона?

— Да у попа Андрона...

— Что же? Может быть, и там... Да, действительно там... Вспомнил. Он еще третьего дня собирался туда...

Девушка все время смотрела на Яшу пристальным взглядом и с величайшим трудом сдерживала кипевшее в ее груди негодование: она с таким удовольствием впилась бы своими белыми пальцами вот в эту самую пьяную рожу, если бы она не была ей нужна, нужна сейчас же... Но Матильда пересилила себя и постаралась улыбнуться своей ласковой, чудной улыбкой, как умела смеяться в этом доме только она одна.

— Вот что, Яша, я тебя, знаешь, всегда любила, — заговорила девушка с деланной ласковостью. — И ты должен исполнить для меня одно маленькое поручение... Исполнишь?

— А водки дашь? — грубо спросил Яша, прищуривая свои черные глаза.

— И водки дам и денег... сделаешь?

— Все сделаю, Мантилья Карловна.

— Отлично... Только водки я тебе дам потом, а теперь всего одну рюмочку.

Яша тяжело вздохнул и вперед согласился на все, только одну бы рюмочку... У него голова была тяжелее пудовой гири. Матильда сходила за водкой и подала Яше рюмочку из собственных рук; в водку опять было примешано несколько капель нашатырного спирта, но Яша ничего не заметил, а только поморщился.

— Мы до вечера пробудем здесь, а вечером отправимся, — говорила Матильда, опять усаживаясь с гитарой на окно.

— Куда?

— Уж это мое дело.

— А Евграф Павлыч?.. Надо спроситься.

Матильда посмотрела на Яшу улыбающимся взглядом и только засмеялась...

— В самом деле, как же с Евграфом Павлычем? — допрашивал Яша, напрасно стараясь сохранить равновесие. — Ведь он, ежели узнает, живого не оставит... А вдруг спросит?

— Этакой ты дурак, Яшка; уж если я сказала, что не спросит, — значит, не спросит... Понял?

— Ага... Узелок будет развязывать? Ха-ха...

— Чему ты смеешься, дурак?

— Да так... Это Матрешкина очередь подошла?.. А славная была девка... ну, да девичье дело: всем один конец!

II

Скоро громадный тенистый сад при кургатском господском доме огласился целым рядом самых отчаянных цыганских песен, которые распевала Матильда Карловна под треньканье Яшиной гитары. Яша теперь сидел с гитарой на окне и выделывал разные музыкальные коленца с цыганскими ухватками: брал аккорды с перебоем и с дробью, обрывал мотив, щелкал по гитаре пальцами, притопывал в такт ногами и время от времени, когда Матильда Карловна отвертывалась, быстро ловил чертика, который опять начал выглядывать из-за гитарного грифа: нет-нет да и покажет то язык, то хвост, то свою поганую лапу.

— Ну, каково я сегодня пою, Яша? — спрашивала Матильда Карловна, с тяжелым вздохом опускаясь на стул. — Походит на цыганское?

— Похоже-с, но еще не совсем-с... дрожи настоящей нету и раскату. Вот «Сени» взять...

Сначала тихо идет, а потом и начнет забирать, и начнет забирать… вот этак.

Яша вскочил с своего места и принялся показывать, как следует выделывать настоящую цыганскую дрожь: распустил руки, закинул немного голову набок, как пристяжная лошадь, и расслабленно перебирал ногами, отбивая носками и пятками. Матильда Карловна, сбросив шаль, в одной юбке и спускавшейся с плеч рубашке принялась выделывать за Яшей все коленца, поводила белыми руками, закидывала назад голову вздрагивала голыми плечами.

— Вот этим плечиком надо чуть-чуть вперед, — учил Яша, великий артист своего дела, — а потом руки совсем распустить… вот так. И чтобы лопатки сходились на спине, когда идет первый размах.

Учитель без всякой церемонии хватал Матильду Карловну за голые руки и плечи, выправлял ей лопатки, ставил ноги как следует и совсем не замечал соблазнительной наготы цветущего женского тела, едва прикрытого сползавшей с плеч расшитой тонкой рубашкой.

— Ну, теперь шаль через плечо и начинай, — командовал Яша, схватывая гитару. — Сначала тихо руками разводить, а уж потом, как я гряну: «выходила молода»... ну, тогда одними носками взять, вытянуться и сейчас плечиком вперед, а шаль распустить.

Яша заиграл «Сени» с цыганским растягиванием второго куплета, а Матильда Карловна пошла на него из противоположного конца комнаты, опустив глаза. Треньканье гитары, хриплый голос подпевавшего Яши, дикие вскрикивания Матильды Карловны, когда она в самых бешеных местах песни взмахивала руками и откидывалась назад, — все это перемешалось в невыразимый гвалт и неслось по саду дикой, невозможной нотой.

— Наша-то ведьма расходилась, — шептала дворня кургатского господского дома. — Барин почивают, никто дохнуть не смеет в даме, а эта ведьма вон какой содом подняла... Ишь, как ее ущемило, окаянную!

Но пение и пляска скоро кончились, и Матильда Карловна, накинув на голову турецкую шаль, усталой, ленивой походкой отправилась через сад в свой флигель, где под ее

надзором процветала господская девичья. Чтобы Яша не напился до вечера, Матильда Карловна послала к нему сторожем старика садовника, который нередко исполнял эту обязанность.

В Кургатском заводе был отличный вековой сад, оставшийся от прежних дремучих лесов Южного Урала: сосны, березы, липы росли в самом художественном беспорядке; аллеи заменялись узкими тропинками и лужайками, где топорщились кусты черемухи и рябины. Лесные просветы чередовались с настоящей зеленой гущей, вересковыми зарослями и лесной чащей. Сад тянулся на целых полверсты по берегу пруда; снаружи его охранял высокий и крепкий забор, усаженный гвоздями. От флигелька, где проживал Яша с Ремяниковым, Матильда Карловна по извилистой лесной тропочке направилась прямо к своей девичьей, в глубину сада; на первых же шагах ее охватила лесная прохлада, напоенная ароматом травы, и девушка только теперь вздохнула всей грудью. А кругом было так хорошо: над головой шумели вершины высоких сосен, пахло свежей смолой, где-то

беззаботно и весело переговаривались две птички, рассеянный солнечный свет падал сверху широкими полосами переливавшейся золотой пыли. Усыпанная хвоей дорожка из бора вывела в густой липняк, где пряталась новая тесовая крыша с узорчатой раскрашенной вышкой; это и была девичья, выстроенная настоящим русским теремом, с широкими сенями, крытыми переходами, маленькими, теплыми комнатами, кафельными печами и резными узенькими окошечками с узорчатым железным переплетом. На вышке была голубятня. Вообще теремок выглядел таким чудным, мирным гнездышком, о каких рассказывают только в сказках.

Но как было теперь тяжело Матильде Карловне возвращаться в свои владения! Точно она шла в тюрьму. Она думала о том, как она вечером поедет с Яшей в Ключики, и это была единственная мысль, которая владела ею с самого утра.

— Уж скорее бы вечер, — проговорила девушка, поглядев из-под руки на высокое солнце.

Она задумчиво подошла к самому терему и

машинально дернула за шелковый шнурок от звонка; калитка распахнулась сама собой, открыв лестницу на крыльцо с крашеными пузатыми колонками и деревянной широкой резьбой на карнизах.

Навстречу показалась темная, сгорбленная фигура старой девки Анфисы, которая была помощницей и правой рукой Матильды Карловны по довольно сложному управлению господской девичьей.

— Ну? — коротко спросила Матильда Карловна, останавливаясь в сенях.

— Ничего-с, — тонким голоском ответила горбунья, показывая свои белые зубы. — Только уж не послать ли Дашу вместо Матреши... очень уж убивается.

— Вот еще глупости!.. Кажется, я сказала, что очередь Матрешки... так и будет.

Матильда Карловна обошла ряд низеньких уютных комнат, походивших обстановкой на кельи, и внимательно смотрела на работы своих воспитанниц; перед ней почтительно вставали красивые девушки в сарафанах и показывали разное девичье рукоделье. Всех девушек было двенадцать, и они занимали

комнаты по двое; чистота была кругом настоящая монастырская и только не пахло ладаном.

Последней комнатой в этом осмотре была та, где вместе жили Матреша и Даша, русоволосые, румяные девушки, бывшие «на очереди», как говорили в девичьей. Матреша была высокая, видная девушка с тяжелой косой и ласковыми карими глазами, которые теперь были красны от слез; Даша смотрела на «Мантилью» своими черными глазками самым вызывающим образом; она была ниже Матреши и с явным расположением к толщине.

— Это что за новости? — резко крикнула Матильда и со всего размаха ударила Матрешу по лицу. — Сегодня твоя очередь прислуживать барину... Вот Анфиса проводит.

— Пошлите лучше меня, Матильда Карловна, — заговорила смелая и разбитная Даша. — Я уж постараюсь для вас угодить барину, а Матреша вон какая нюня;

— Не твое дело! — обрезала немка и, обратившись к Анфисе, прибавила: — На три дня на хлеб и на воду, а если будет болтать, я сама ее высеку.

— Не больно испугались... секи, — ворчала Даша вслед уходившей немке, которую в девичьей ненавидели и называли змеей. — Ишь, расходилась змеиная кровь!

Матильда Карловна прошла в свою комнату и ничком упала на низкую резную кровать красного дерева; она не плакала, не жаловалась, а только закусила подушку зубами, как человек, которому делают невыносимо тяжелую операцию. Анфиса всегда сопровождала свою повелительницу, как тень, и теперь стояла около кровати с видом дрессированной собаки; она ловила каждое движение этого судорожного, корчившегося молодого тела и старалась угадать по этим корчам действительный строй мыслей.

— Матильда Карловна, голубушка, зачем вы так убиваетесь? — шептала горбунья, дотрагиваясь своей большой лягушечьей рукой до плеча немки. — Ничего, все уладим.

Немка ничего не отвечала, а только глубже зарылась головой в подушки.

Комната «самой» в девичьей была устроена с замечательной роскошью: стены были обиты пестрыми бухарскими коврами, пото-

лок расписан масляными красками, на полу красовался настоящий персидский ковер, весело теперь игравший на солнце своими вычурными узорами и линялыми красками; обитый голубым бархатом диванчик, такие же стулья, туалет из красного дерева, покрытый кружевным пологом, две стеклянных горки — одна с серебром, другая с фарфором, несколько хороших картин масляными красками, — все голые красавицы во вкусе «доброго старого времени», в заученных академических позах, с банальными улыбками на губах и с расплывшимися формами a la Рубенс; шелковые голубые драпировки на окнах и на дверях, такое же одеяло и великолепный полог над кроватью — все это, взятое вместе, делало комнату «самой» похожей на кондитерскую бомбоньерку. Здесь всегда пахло какими-то тяжелыми духами, вроде бобровой струи или мускуса, и царствовал таинственный полумрак, — окна всегда были заслонены цветами, которые Матильда Карловна любила до страсти; солнечный свет пробивался только между занавесками и ложился веселыми золотыми узорами по коврам, на мебе-

ли, на широких лапистых листьях тропической зелени. Сам барин частенько захаживал сюда выпить маленькую чашку кофе, который Матильда Карловна готовила для него своими розовыми руками.

Анфиса в своем темном платье и в темном платочке на голове являлась полной противоположностью с красотой остальных обитательниц девичьей, точно для того только, чтобы своим безобразием еще резче вытенить расцветавшую в этих стенах юную красоту. Лицо у Анфисы, как у всех уродцев, было очень подвижное и злое, с живыми темными глазками и злыми тонкими губами; заостренный горбатый нос придавал ему птичье выражение, особенно когда девушка смеялась, показывая два ряда ослепительно белых зубов. Короткие ноги с широкими ступнями, как у утки, несоразмерно длинные руки с широкими кистями делали горбунью похожей на обезьяну, особенно когда она начинала сердиться, что проявлялось в резких, порывистых движениях.

— Перестаньте, барышня, — шептала низким контральтовым голосом Анфиса, осто-

рожно поправляя рассыпавшиеся белокурые волосы лежавшей неподвижно н?мки. — Этим беды не изжить. Разве он может вас понимать?

— Вот что, Анфиса, — заговорила Матильда Карловна, приподнимаясь с постели. — Ремянников теперь в Ключиках, у попа Андроника... Ты знаешь поповскую дочь Марину? Ты ведь все на свете знаешь.

— Как же видала, барышня... Ничего, так, толстая, рыжая девка, и больше ничего. И сам поп рыжий, и Марина рыжая.

— Она красивее меня, Анфиса?

— Что вы, барышня?! — пришла в ужас горбунья. — Да разве можно так говорить? Вы заправская барышня, а та мужичка, вроде как наша Дашка... Только и хорошего в ней, что из себя толстая, как сальная свеча.

— Нет, ты меня обманываешь, — задумчиво говорила Матильда Карловна, надевая расшитую батистовую кофточку. — Чем же она понравилась Феде, если некрасивая?

— Ах, барышня, барышня... Да ведь все эти мужчинишки на одну колодку: им бы только новенькая девка была да глаза на них пяли-

ла, — вот и все... Поп-то Андрон голубятник: бегает по крыше с шестом за голубями, а рыжая Маришка с гостями хороводится. Известная музыка-то... А только поп Андрон хоть и прост, а как Федька попадет ему в лапы, костей не соберет. Посильнее Федьки будет поп-то, даром что старик...

— Да?

— Уж беспременно... Как медведь поп-от: пожалуй, и башку отвернет под сердитую руку.

Матильда задумалась и долго ходила по комнате, что-то соображая про себя; лицо у ней было нахмурено и бледно, губы сжаты, грудь поднималась тяжелой волной. Анфиса следила за ней улыбавшимися хитрыми глазами и в душе была счастлива: чужие страдания ей всегда доставляли величайшее наслаждение, особенно страдания женщин, которые имели несчастье быть красивее горбуньи. «Так и надо, так и надо! — повторяла она про себя, наслаждаясь чужим горем. — Вот вам, красивым-то, воем так нужно... Не сладко, видно, миленькая Матильда Карловна?»

— Послушай, Анфиса, — заговорила Ма-

тильда, останавливаясь перед горбуньей. — Я была сейчас у Яшки-Херувима... Он до чертиков допился, ну, да я его нашатырным спиртом вытрезвила, ничего, продыбается. Вечером-то я хотела сама ехать с ним в Ключики... Понимаешь? Ну, а теперь нельзя из-за этой твари Матрешки: все дело испортит, ежели оставить ее одну с Евграфом Павлычем.

— Ничего, сократим... Не таких ломали; с жиру девка бесится.

— А как меня хватится?.. Беда будет... Так вот я и придумала: поезжай уж ты с Яшкой, а я здесь останусь. Отправлю вас с кучером Гунькой на паре гнедых, которых из Барабы [51] привели, — в час двадцать-то верст промчат, — а вы остановитесь не у попа... Нет, все равно, к попу прямо на двор; ты останешься в повозке, спрячешься, а Яшка пусть идет к попу. Поняла?

— Ну, барышня, как не понять... что вы!

— Ты только смотри за Яшкой в оба, чтобы не натренькался прежде дела... Если Федя у попа, выжди, пока он с поповной где-нибудь свиданье устроит; уж наверно у них сегодня будет свиданье, сердце у меня чует.

Горбунья улыбнулась одними глазами и только мотнула своей птичьей головой, — дескать, известное это дело.

— А когда Федя будет на свиданье, Яшка и пусть шепнет попу такое словечко про дочь... Одного-то Яшку нельзя отпустить: или проболтается, или напьется прежде времени, а когда будет знать, что ты следишь за ним, он устроит. Ведь Яшка сильно тебя боится.

— Чего ему меня бояться? Я не медведь, — надулась горбунья, питавшая к Яше-Херувиму нежные чувства; она постоянно была в кого-нибудь влюблена и разыгрывала бесконечные романы самого фантастического характера, воображая себя красавицей.

— Да, я и забыла, что ты влюблена в него, — засмеялась Матильда Карловна. — Значит, вам веселее будет ехать вдвоем.

Горбунья промолчала, потому что не умела прощать даже самых невинных шуток, задевавших ее сердечные дела, но, занятая своими соображениями, немка не желала ничего замечать, а только прибавила не допускающим возражений тоном, каким распоряжалась обыкновенно в девичьей:

— Ну, так решено: под вечер я тебя отправлю с Яшей, а сама останусь дежурить здесь.

— Может, Евграф-то Павлыч не захочет еще глядеть на Матрешку, — ядовито заметила горбунья. — Он что-то давненько не бывал у вас... соскучился, поди!

— Молчать, змея подколодная! — крикнула Матильда Карловна, вспыхнув до ушей. — Очень мне нужно возиться с ним! Будет уж, надоел... Пусть свои узелки развязывает... Разве не стало девок? Вон их целы двенадцать... А ты со мной не разговаривать, когда не спрашивают! Слышала? А то я тебе завяжу рот, насидишься вместе с Дашкой...

Горбунья сделала свое обычное смиренное лицо и принялась просить прощения фальшивым голосом.

III

Летнее горячее солнце начало клониться к западу. В кургатском господском саду вдруг захолодело, потянули длинные тени от деревьев, пахнуло откуда-то сыростью, последние птицы лениво перекликались где-то в самых вершинах развесистых столетних берез. Господский дом был все еще залит ярким светом,

который слепил глаза, отражаясь от ярко выбеленных известкой стен; это было громадное здание с толстыми, чуть не крепостными стенами, глядевшими кругом узкими, длинными окнами, походившими на крепостные амбразуры. Перед домом расстилалась небольшая, неправильной формы площадь, упиравшаяся одним краем в фабрику, а другим — в сад и берег пруда. Очевидно, дом был построен очень давно, как строили только в старину.

Входа с улицы в дом не было, а сначала нужно было войти в каменные низкие ворота с железною решеткой; мощенный плитнякам двор с четырех сторон был окружен непрерывною цепью построек; за домом сейчас начиналась громадная кухня, потом людская, дальше погреб, рядом с ним тот флигель, где жил Яша. От ворот до флигелька шел длинный каменный корпус, служивший конюшней и псарней. Собственно, самый дом разделялся на две половины: в одной, которая выходила частью окон во двор, жил барин Евграф Павлыч Катаев, а в другой — его родной брат Андрей Павлыч. Братья враждовали между собой с незапамятных времен, как вы-

ражаются учебники истории; Андрей Павлыч постоянно проживал за границей, и поэтому его половина, выходившая окнами на пруд, стояла необитаемой. Управление Кургатским заводом разделялось на две половины, и такое разделение служило источником нескончаемых недоразумений, пререканий и раздоров.

С балкона на половине Евграфа Павлыча можно было любоваться отличным видом на весь Кургатский завод и на теснившиеся кругом него горы. Завод раскидал кучки своих бревенчатых домиков в узкой горной теснине, на дне которой разлился неправильною полосой большой пруд, уходивший загибом в настоящее горное ущелье; этот пруд разделял завод на две части: на одной стоял господский дом со своим громадным садом, на другой — белая каменная церковь и небольшой заводский рынок. Сейчас за плотиной начинались покрытые сажей заводские здания, две домны, целый ряд труб и выкрашенное в серую краску помещение заводской конторы; завод вечно гремел тысячами колес и валов, дымил и сыпал искры. Глухой шум воды сме-

шивался с вечным грохотом и лязгом железа, точно здесь билось на цепи какое-то чудовище, скованное по рукам и по ногам. Общий вид на широкие заводские улицы, на пруд, на завод и на выбегавшую из-под него бойкую горную речку Кургат был довольно красив, особенно летом, и точно нарочно был вставлен в тяжелую раму из зеленого рытого бархата. Вечером, когда даль заволакивалась синеватою мглой, вид на Кургатский завод и окрестности был замечательно хорош.

Барин Евграф Павлыч проснулся только в седьмом часу; после обеда он всегда задавал приличную выхрапку, потому что вставал вообще очень рано. Летам ему подавали сейчас, как проснется, целый графин квасу; барин, не вставая с постели, выпивал его стакан за стаканом и только этим путем приходил в себя. Обыкновенно квас подавала сама Матильда Карловна, пользовавшаяся привилегией входить в барскую спальню во всякое время дня и ночи. Она садилась на низенький табурет и ждала, пока графин опустеет; барин, в расстегнутой ночной рубахе, открывавшей жирную шею и волосатую могучую грудь, выпи-

вал первый стакан молча, морщился, тяжело вздыхал и говорил:

— Кажется, я сегодня за обедом перепаратил немного: башка трещит, Моть... Ух, как кочевряжит!

— А кто велит каждый день напиваться? — с сдержанной досадой отвечает Матильда Карловна. — С раннего утра начинаете рюмки хлопать.

Евграф Павлыч долго сопит носом, трет свое скуластое, опухшее лицо ладонью, ощупывает жирный, красный затылок, трясет ушами и опять принимается за холодный, ледяной квас, которым напрасно старается залить внутренний жар. Лицо у барина очень некрасивое: с маленькими сонными глазами, с мясистым вздернутым носом, густыми бровями и жирным узким лбом; бороду он брил и носил длинные усы, придававшие ему вид отставного вахмистра. Высокого роста, тяжелый на ногу, с могучей грудью и грубым голосом, Евграф Павлыч в свои сорок пять лет был все еще капризным ребенком, каких воспитывало старое коренное барство. Он требовал постоянного ухода за собой и привыкал к

крепким рукам вроде тех, какие были у Матильды Карловны, последней барской фаворитки, завезенной в Кургатский завод из Москвы.

— Ну, Мотя, что у нас новенького? — весело спросил Евграф Павлыч, когда сегодня выпил свою порцию квасу.

— Ничего нового нет... все старое.

— Ага...

Барин встал и попробовал ущипнуть Матильду Карловну за плечо, но она увернулась и надула свои розовые пухлые губки.

— А ты мне обещала, Мотя, сегодня узелок... — проговорил барин и захохотал. — Я ведь не забыл и вечерком приду в ваш монастырь.

— Что другое, а это не забудете, — сердито отвечала Матильда Карловна, помогая барину одеваться.

— Чья сегодня очередь? — спрашивал барин, поднимая от умывальника свое лицо, покрытое мыльной пеной.

— Матреша будет...

— Гм! ничего, только уж худа она очень. Плохо их кормишь, Мотя, а я, знаешь, люблю

пожирнее... ха-ха!

— Перестаньте, пожалуйста, вздор городить, а то я уйду.

— Ну, ну, не сердись... за хороший узелок браслет подарю. Я и то монахам нынче живу.

— Да, сказывайте... А в город прошлый раз ездили, так целых три дня у этой кержанки кутили. Знаем все.

— Что же? Кутил... Кержанка славная бабенка.

Умыванье барина представляло довольно сложную церемонию и совершалось битых полчаса: в спальне слышалось кряхтенье, фырканье, плеск воды, точно полоскался целый утиный выводок. Вымывшись холодною водой, Евграф Павлыч надевал бархатный расшитый халат и выходил в свой кабинет, где его уже ожидал графин с водкой, — нужно было поправиться, и барин опять крякал и вздыхал, точно вез тяжелый воз.

Кабинет, светлая и высокая комната с письменным столом посредине, скорее походил на какую-нибудь оружейную палату; все стены были увешаны всевозможным снарядом — ружьями, пистолетами, саблями, кин-

жалами; в одном углу стояла целая коллекция медвежьих рогатин, в другом — коллекция нагаек, у стола — коллекция трубок. Письменный стол был завален, разным дорогим хламом, а чернильница стояла без чернил; бария не любил писать, даже письма за него писала Матильда Карловна. Перед письменным столом, на стене, в тяжелой раме черного дерева, висела голая красавица, написанная масляными красками довольно свободно: она только что вышла из воды и отдыхала на какой-то полосатой шкуре, придававшей голому телу теплый колорит. Напротив письменного стола, у самой стены, помещался низкий и широкий диван, сделанный из лосиных рогов; несколько тяжелых кресел красного дерева, шкаф с книгами соблазнительного содержания и небольшое бюро в простенке между окнами дополняли обстановку. Перед письменным столом и перед диваном лежали две медвежьих шкуры с набитыми головами и распластанными лапами; это были охотничьи трофеи Евграфа Павлыча, любившего потешить свою удаль с Мишкой.

Из кабинета одни двери вели в спальню, а другие в приемную, очень неприглядную, большую комнату, уставленную тяжелой мебелью.

— А где Ремянников? — спросил Евграф Павлыч, когда выпил вторую рюмку.

— Не знаю... Вы его сами куда-то отпустили, — ответила Матильда Карловна. — Его нет с утра.

— Ах, да, он уехал по делу. Нужно было...

— По какому это делу?

— Ну, по делу... Коренника ищем к тройке: зверя нужно, чтобы рвал и метал. Был коренник, да загнали... Черт его знает, с чего он пал: должно быть, мошенники кучера закормили, ну, и задохся. Послушай, Мотя, ты, кажется, сердишься?

— И не думала... Сегодня с Яшей цыганские песни учила, скоро хором будем петь. У Даши славный голос и у Матреши ничего.

— Вот увидим, какой у твоей Матреши голос, — хрипло засмеялся Евграф Павлыч, откидывая голову назад.

— Только я с этой Анфисой совсем замаялась, — продолжала Матильда Карловна, не

обращая внимания на хохотавшего барина. — Уж такая злая, такая злая...

— Да и ты, матушка, тоже хороша, ха-ха! Нашла, видно, коса на камень. Так?.. Да ну, Мотя, перестань дуться, терпеть не могу. А у этой горбуньи отличный голос: серебром так и разливается... Так очень уж злая, говоришь, стала? Ну, поучи ее, добрее будет... Вы там жилы друг из дружки вытянете, ха-ха!

Поздно вечером, когда солнце закатилось и весь Кургатский завод утонул в надвигавшейся ночной мгле, со двора господского дома выехала небольшая зеленая долгушка, заложенная парой барабинских гнедых. На козлах сидел знаменитый кучер Гунька, останавливавший тройку на всем скаку одной рукой; это был лучший и самый любимый наездник Евграфа Павлыча, пользовавшийся всеми правами и преимуществами своего исключительного положения. На вид Гунька ничем не выделялся от других заводских мужиков, кроме того, что был крив на один глаз и вечно молчал, как пришибленный; скуластое, обросшее до самых глаз рыжеватой бородой, Гунькино лицо производило неприятное впе-

чатление, да и одевался он как-то не по-людски, — все на нем лезло в разные стороны: синяя изгребная рубаха болталась отдувавшейся пазухой, как мешок, армяк сидел криво, шапка вечно валилась с головы, даже сапоги, и те были точно краденые. Обыкновенно Гунька ездил только с самим барином, а сегодня вез Яшу-Херувима с горбуньей Анфисой только по специальному приказанию немки Матильды, слово которой для Гуньки было законом.

— Эх вы, котятки! — прикрикнул Гунька, протягивая вожжи.

И лошади помчали легкую долгушку через площадь, как перышко; крепкая рука была у Гуньки на лошадей, и они чувствовали эту руку, как только он еще влезал на козлы.

— Это Гунька поехал? — спрашивал Евграф Павлыч, сидевший в это время с Матильдой Карловной на балконе.

— Да, я его послала…

Барин поморщился, но ничего не сказал: спорить с Матильдой было бесполезно, как он убедился из долговременного опыта, а сегодня даже невыгодно.

— Отлично прокатимся, Яша, — ласково шептала горбунья, прижимаясь своим тщедушным телом к мотавшемуся на месте спутнику. — Яшенька, голубчик, как поедем назад, я тебе водки дам, а теперь ни-ни… нельзя.

Яша плохо понимал, что ему говорила горбунья, и только мотал головой в такт потряхиваниям экипажа; галлюцинации продолжали его преследовать, и по сторонам с писком, как стая воробьев, бежали давешние чертики. Один особенно надоел Яше своим нахальством: он бежал все время рядом с долгушкой, высунув красный язык, как собака, и все старался забраться в экипаж, хотя Яша и отгонял его обеими руками. Но черт оказался настоящим чертом: Яша как-то зазевался, и черненькая фигурка с утиными лапками вспорхнула прямо на спину Гуньке, потом кувыркнулась в воздухе и на одной ножке Поскакала по вожжам, как самый лучший канатный плясун.

— Он… вон он… — в ужасе шептал Яша, указывая рукой на танцевавшего чертика. — Теперь двое… нет, четверо… десять…

— Да ничего, не бойся, ведь я с тобой,

Яша, — шептала горбунья и опять прижималась к нему, как озябшая кошка.

IV

Над землей спустилась чудная июльская летняя ночь; заводский пруд и реку заволокло туманом, господский сад стоял на берегу громадной шапкой, все кругом стихло и замерло, и только со стороны завода гулко катились по воде отрывистые, смешанные звуки, точно глухое ворчанье какого-то необыкновенного животного.

— Погоди, змеиная кровь, я доберусь до тебя... и все глаза тебе выцарапаю! — ругалась и плакала бойкая Даша, сидя в заключении в особой темной каморке, устроенной под девичьей. — Еще говорит: «Сама тебя высеку...» У! немецкое отродье!

Перед своим отъездом в Ключики горбатая Анфиса свела Дашу в «келью», как называли в девичьей эту комнату, поставила ей кружку воды, заперла на ключ дверь и ушла, не сказав ни. слова. Горбунье всегда доставляло большое удовольствие запирать провинившихся девушек в келье, и она это выполняла с необыкновенно важным видом, хотя, под

веселую руку, сама любила посплетничать про ненавистную для всего дома «Мантилью». Провожая подругу в заточенье, Матреша едва сдерживала слезы, а Даша нарочно не обращала на нее внимания, чтобы ослабевшая девка совсем не разжалобилась.

— Эка важность! Не ты первая, не ты последняя, — утешала себя Даша насчет печальной участи подруги, — Евграф Павлыч добрый… побалуется и приданое сделает, да еще за хорошего мужика замуж выдаст. Только вот Мантилька окаянная донимает хуже смерти. Зла, зла, а тоже вот, поди ты, размякла к Федьке Ремянникову. Гоняется за ним, как распоследняя шлюха! Так ей и надо… Теперь горбунью с Яшкой послала в Ключики выслеживать Федьку. А Федька за поповной ударился… ха-ха!

Сумасшедшая Даша и плакала, и хохотала, и принималась разговаривать вслух, чтоб хоть чем-нибудь разогнать одолевшую ее тоску одиночества. Келья была совсем почти темная комната в четыре шага шириной и столько же длиной, около одной стены стояла деревянная кровать, покрытая соломой, око-

ло нее деревянный стол — и только; слабый свет падал сверху, где в бревенчатой стене было прорублено небольшое окошечко, защищенное крепкой железной решеткой. Воздух здесь всегда был тяжелый и сырой, как в подполье, и сидеть в такой западне целых три дня было не легко, но Даша, пожалуй, еще помирилась бы со своей печальной судьбой, если бы не боялась до смерти мышей. Теперь она забралась на кровать с ногами и чутко прислушивалась к малейшему шороху. На возможность выйти из кельи раньше трех дней Даша не рассчитывала, потому что немка была беспощадна: сказала слово — и конец.

Наскучив сидеть на соломе, Даша легла и от нечего делать принялась слушать, что делается наверху, в девичьей. А там шла сдержанная суета, потому что сегодня ждали в гости Евграфа Павлыча; через пол можно было расслышать торопливые шаги, какую-то непонятную возню, стук передвигаемой мебели, чей-то говор и опять шаги без конца, точно в девичьей все сошли с ума и бегали из угла в угол, как пойманные мыши.

— Эк их там взяло! — ворчала Даша, лежа с закрытыми глазами на своей соломе. — Хоть бы уснуть.

Спать Даша была великая мастерица, но теперь, как на грех, и сон не шел, а в голову лезло черт знает что. Она думала о разных разностях, перебирая события своей жизни: вот она маленькая девочка, босоножка, бегает по улице в одной выбойчатой рубашонке, потам умер отец, мать ходила по миру... потом о ней доложила Мантилье горбатая Анфиса, как о красивой девочке. Четырнадцати лет Даша уже была в господской девичьей, пользовавшейся в Кургатском заводе плохой репутацией, как прокаженное место, где красивые девушки гибли для барской прихоти ни за грош. Следовал ряд однообразных и скучных лег мудреной выучки в девичьей, где Мантилья «обихаживала» своих воспитанниц по-своему, откармливала их, как индюшек, учила петь цыганские песни, разному ненужному рукоделью и т. д. Потом наступала «очередь», и опозоренная девушка выпускалась на волю, то есть выдавалась замуж за какого-нибудь прощелыгу, чтобы до самой смерти

выносить покоры и побои мужа, насмешки соседей и общее презрение. Даша часто думала о том, чтобы убежать из девичьей куда глаза глядят, утопиться, повеситься, но страх наказания за побег и еще больше страх смерти удерживали ее, как удерживали других. Да куда бежать? Все равно поймают, а там плохие шутки: расправа с беглянками производилась на господской конюшне, откуда наказанных замертво уносили на рогожках. На глазах Даши одна девушка бежала из девичьей. Дело было зимой, она ознобила руки и ноги, но ее вылечили и все-таки отправили на конюшню для острастки другим, где она и умерла под плетью.

— Не я первая, не я последняя, — утешалась Даша, представляя себе высокую, рослую фигуру добродушного барина, который все равно не сегодня-завтра назначит ей очередь. — Хоть бы скорее... Тощища смертная!.. Вот Матреша счастливее: ей очередь, а потом замуж выдадут... все же вольная будет.

Жизнь в девичьей была устроена совсем на монастырский манер, за исключением тех моментов, когда заявлялся сам барин и кутил

в девичьей, иногда ночи три напролет. Кроме барина, всем мужчинам доступ в девичью был запрещен под страхом смертной казни; даже никто из дворни не смел ходить в девичью, за чем немка и горбунья следили с неусыпным рвением в четыре глаза. Конечно, бывали случаи вторжения в жизнь затворниц мужского элемента разными незаконными путями, но это представлялось таким редким исключением, что в общий счет не могло идти. Собственно, девичья всегда существовала при кургатском господском доме, но свой настоящий вид она получила только в руках Матильды Карловны.

Сама Матильда Карловна была из русских немок. Евграф Павлыч купил ее у матери в Москве и вывез на Урал, в свой завод, где она и разделила общую участь всех обитательниц девичьей, пока не создала себе самостоятельного положения. Она была фавориткой барина года два, а потом сделалась дуэньей, организовавшей из девичьей настоящий гарем. Странная была эта Матильда Карловна, начиная со своей наружности. К ней как-то никто не мог примениться, и весь господский дом

был против нее. Тысячи мелких пакостей подводились под ненавистную немку, и не было такой интриги, какую не устроили бы ей ее враги, но Матильда Карловна крепко держалась на своем месте, потому что совсем завладела бесхарактерным барином. Быстро утратив обаяние нетронутой красоты, немка держалась при помощи своих воспитанниц; эта чередовавшаяся юность в ее ловких руках являлась страшной силой, — барин все делал «по-немкиному», как говорила кургатская дворня. Одна Матильда Карловна умела всегда угодить и потрафить капризному Евграфу Павлычу и на его слабостях построила свою власть.

Все «люди» в господском доме ходили у Матильды Карловны по струнке и боялись ее, как огня, даже такие звери, как Гунька. Интересно было, как Матильда Карловна забрала в свои розовые руки этого любимца и баловня. Гунька был вдовец и метил жениться на одной красивой заводской девке. Матильда Карловна узнала об этом обстоятельстве через горбунью и объяснила Гуньке, что при первом неприязненном действии с его стороны

его возлюбленная попадет в девичью, то есть в лапы к барину. Немка шутить не любила, и Гунька сделался в ее руках чем-то вроде ручного медведя.

Но как ни сильна была Матильда Карловна, как ни крепка, а враг и ее попутал: понравился ей главный барский охотник Федька Ремянников. Это была какая-то дикая страсть. Неприступная и злая немка вдруг отмякла и отдалась забубённой, удалой головушке, рискуя в одно прекрасное утро потерять все. Эта связь была известна всему господскому дому, кроме одного барина; самые смелые люди не решались открыть ему глаза, потому что немка — немкой, да и Федька Ремянников был порядочный зверь. Вообще шла очень опасная и рискованная игра, но Матильда Карловна даже и ухом не вела, точно постоянной опасностью хотела купить свое счастье. В ней только теперь проснулась настоящая женщина, и нахлынувшее чувство первой любви жгло ее огнем.

Эта история усложнилась еще тем, что Федька Ремянников, побаловавшись с немкой, переметнулся теперь на сторону ключев-

ской поповны Марины. Весь господский дом и девичья замерли в ожидании близившейся развязки: дело было немаленькое и могло разыграться крупным скандалом.

— А вот только дай бог увидать барина, все ему и брякну! — ворчала бойкая Даша в девичьей, когда не было горбуньи. — Да что смотреть нам на Мантильку... Будет, похороводилась, пора ей и честь знать. Ужо вот барин-то отвернет ей башку... туда и дорога... Вишь, расходилась змеиная-то кровь!.. Да и Федька тоже хорош...

Но все это говорилось и говорилось много раз, а смелости ни у кого не хватало: пожалуй, еще не поверит барин-то, тогда как? Дворня, между прочим, была глубоко убеждена, что немка непременно приколдовала чем-нибудь барина и теперь отводит ему глаза на каждом шагу. Вообще дело не чисто, и как раз можно попасть впросак. Да и плети на конюшне были слишком хорошо известны всем: редкий день проходил без экзекуций, и страшные вопли истязуемых доносились даже в девичью. Это хоть у кого отобьет охоту...

Лежа на соломе, Даша долго перебирала в

уме разные случаи из жизни девичьей, прислушивалась к доносившейся сверху суете и, наконец, заснула. Во сне видит она, что сегодня наступила ее очередь, и в девичьей с утра стоит страшная суматоха: придет «сам», и нужно ему угодить. Все девушки одеты в голубые шелковые сарафаны, выложенные золотым позументом, и в кисейные рубашки; одна она сегодня в розовом атласном сарафане, как Мантилька одевает всех очередных. Даше ужасно совестно и хочется плакать. Мантилька дает ей последние советы, как обращаться с барином, и Даша краснеет до ушей: какая бесстыдная эта Мантилька!.. Но вот приходит и барин. Все окна заперты внутренними железными ставнями наглухо, девушки встречают барина с опущенными глазами, шепчутся и смеются, а он взглянул на нее и тоже улыбнулся. Пока Евграф Павлыч пил чай, девушки пели песни, потом Даша поднесла ему на серебряном подносе чарку водки; барин улыбнулся опять, выпил и ласково посмотрел на нее.

— Что же девушкам ничего нет? — спрашивает Евграф Павлыч, обращаясь к Манти-

лье. — Дай им красненького... веселее будет.

Являются бутылки с красным вином, которое в девичьей известно было под именем «церковного», потом сладкие наливки, барин заставляет всех пить; девушки краснеют, но не смеют отказаться. Начался широкий разгул, как умел кутить только Евграф Павлыч; он сидит на диване в бархатном халате и хлопает одну рюмку за другой; рядом с ним сидит Даша, он обнимает ее одной рукой, а другой — машет в такт разудалой цыганской песне, которая бьется в стенах девичьей, как залетевшая в окно дикая птица. Все пьяны, девушки раскраснелись, блестят глаза, Мантилья с шалью через плечо запевает, голова у Даши тихо кружится, но Евграф Павлыч еще заставляет ее пить какое-то сладкое вино... Она опомнилась только у себя на кровати, когда над ней наклонилось потное, пьяное лицо барина. Ужас охватил ее, и Даша начала сопротивляться ласкам барина, потом заплакала и начала умолять его, а в соседней комнате так и льется песня за песней... Даша в смертельном страхе вскрикнула и проснулась: кругом темнота, она лежит на соломе, а свер-

ху доносится отчаянный топот пляски и какая-то залихватская песня.

— Господи, помилуй нас грешных! — в ужасе шепчет Даша, чувствуя, как холодный пот выступил у ней на лбу.

А над головой ходенем ходит пьяная песня и трещат половицы от пляски: это пошел сам Евграф Павлыч вприсядку. Даше вдруг сделалось душно, и она зарыдала беззащитными, одинокими слезами. «Душегубы проклятые, кровопийцы!..» Нет, она лучше утопится, а не дастся живая барину в руки. Креста на них нет, вот и губят девушек! Лучше умереть, чем нечестной-то жить на смех добрым людям... В самый разгар этих горьких дум песня наверху как-то разом оборвалась, и наступила мертвая тишина, прерываемая чьим-то плачем да криком. Даша замерла и прислушивалась к каждому звуку, не смея дохнуть. Скоро загремел ключ в дверях кельи, и показался свет.

— Вот посиди здесь, голубушка... — шипел голос Мантильи, которая втолкнула в келью плакавшую Матрешу. — А завтра я с тобой рассчитаюсь по-своему.

Матреша была в одной рубашке и в чул-

ках, на голых руках припухли красными полосами следы чьих-то пальцев, русые волосы рассыпались в страшном беспорядке. Этот отчаянный вид подруги привел Дашу в страшную ярость, и девушка, не помня себя, кинулась прямо на немку.

— Ну, бей меня, бей, змеиная кровь! — кричала Даша, подвигаясь к самому лицу Матильды Карловны. — Что взяла?., а?.. Молодец, Матреша, не далась... и я не дамся. Слышала, Мантилья Карловна?.. Ха-ха!.. Креста на вас нет с барином-то... вот что! Кровь нашу пьете... Погоди, матушка, и на тебя управу найдем... отольются волку овечьи слезы!

— Хорошо, хорошо, я завтра поговорю с вами, — сухо ответила немка, и дверь кельи затворилась.

— Не боюсь, не боюсь! Ничего не боюсь, хоть на мелкие части режь! — кричала Даша, стуча кулаками в запертую дверь.

Матреша, кажется, ничего не слыхала. Она забралась с ногами на кровать, обняла колена руками и, положив голову на руки, погрузилась в тяжелое апатичное состояние оглушенного человека. Страшное напряжение ду-

шевных и физических сил кончилось каким-то столбняком.

— Матреша. голубушка, что с тобой, родимая? — допрашивала Даша, обнимая подругу. — Ах, подлецы, подлецы, что с девкой сделали... Матрешенька, ведь ты не далась барину? Молодец... и я не дамся. А Мантилька-то как теперь с барином? Видно, самой придется его утешать... У! злыдня бесстыжая, так ей и надо. А я все здесь слышала, как у вас там наверху пели и плясали... и как ты с барином драку подняла. Барин-то там остался?., а?.. Да ну, говори же, оглохла, что ли?

— Не знаю, ничего не знаю, — шептала Матреша.

Барин еще оставался в девичьей и сидел теперь в комнате Матильды Карловны; неожиданное сопротивление Матреши отрезвило его, и он задумчиво курил одну трубку за другой. Немка ходила по комнате с нахмуренным лицом; она была тоже разбита душой и телом.

— Славная эта Матрена, — проговорил, наконец, Евграф Павлыч после долгого молчания. — Раньше она мне как-то не нравилась.

Ты смотри, Мотя, не притесняй ее, пусть сама одумается... Я не люблю таких девок, которые как семга... Совсем не любопытно.

— Вы домой пойдете или здесь останетесь? — спрашивала Матильда Карловна, останавливаясь.

— Конечно, здесь, Мотя, — засмеялся Евграф Павлыч своим хриплым смехом и потянулся обнять девушку.

Этого и боялась немка, но теперь она относилась к ласкам барина как-то совсем равнодушно, потому что ее мысли были далеко, в Ключиках, куда уехала горбатая Анфиса. Что-то там делается?

V

От Кургатского завода до Ключиков считалось верст двадцать. Дорога шла широкой речной долиной привольно разливавшегося здесь Кургата, принимавшего с правой стороны бойкую горную башкирскую речонку Саре, а с левой — Юву. Главная масса уральского кряжа осталась назади, а кругом, насколько хватал глаз, расстилалась неизмеримым ковром благословенная башкирская равнина, усеянная озерами и изборожденная сот-

ней мелких речонок. Особенно хорош был красавец Кургат, красивыми излучинами лившийся в далекий и холодный Иртыш; по обоим берегам Кургата и по его притокам плотно рассажались богатые села и деревни, точно они были нанизаны на серебряную нитку. Везде по сторонам разлеглись пашни и луга, перемежаясь с остатками вековых башкирских боров, с березовыми островками и просто лесными гривками и зарослями. Это была настоящая обетованная земля, упиравшаяся одним краем в каменистые отроги Урала, а другим уходившая в «орду», как говорили зауральские мужики, то есть сходилась с настоящей сибирской степью, раскинувшейся до Семипалатинска, Усть-Урта и Каспия.

Ключики, громадное село за тысячу дворов (в Сибири по преимуществу ставятся большие села), расползлось по обоим берегам Кургата верст на шесть и далеко красовалось своей новой каменной церковью, против которой стоял неизменный поповский дом, упиравшийся в реку огородом и садом. Было совсем темно, когда взмыленная пара Гуньки покатилась по кривой деревенской улице,

спавшей всеми своими избушками. Подъезжая к поповскому дому, Гунька сдержал расходившихся гнедых и мотнул головой в сторону поповского прясла, у которого была привязана верховая киргизская лошадь.

— Стой! — шепотом объявила горбунья. — Гунька, ты подождешь нас здесь, а мы с Яшей пойдем к попу.

Яша покорно вылез из долгушки и направился за горбуньей, которая пошла прямо к окну поповского дома, из которого вырывалась узкая полоса света. Припав глазом к закрытому ставню, в котором оставалась щель, горбунья увидела такую картину: за столом сидели четверо и играли в «фильки»; на диване помещался сам поп Андрон, напротив него заседатель Блохин, по бокам сидели запрещенный поп Пахом и еще кто-то, кого Анфиса не могла рассмотреть, потому что он сидел спиной к окну.

— Ты чего это, Пахомушка, крестовую-то кралю затаил? — грозно спрашивал поп Андрон, выставляя вперед свою рыжую с просединой бороду. — Разве это по-игрецки? И то даве из-за тебя червонного хлапя просолил. Хо-

чешь, видно, мокрую ал и рваную получить?

Поп Андрон, крепкий старик лет под шестьдесят, с большой лысиной через всю голову, сидел в одной ситцевой рубашке, перехваченной шелковым пояском под самыми мышками, и в одних невыразимых; голые ноги болтались в разношенных кожаных башмаках. Время было летнее, а поп Андрон не любил себя стеснять. Лицо у старика было некрасивое, покрытое веснушками, с носом луковицей и дрянной бородой, которая росла как-то клочьями, как болотная трава; хороши были только одни серые умные глаза, особенно когда старик смеялся. Из-под расстегнутого ворота ситцевой рубахи выставлялась могучая грудь, обросшая волосом, точно мохом; поп Андрон, несмотря на свои шестьдесят лет, свободно поднимал за передние ноги какого угодно жеребца. Заседатель Блохин рядом с попом Андроном походил на пиявку или на глисту: весь какой-то серый, бесцветный, с примазанными на висках волосами, с выбритой худощавой физиономией, с узкими рукавами форменного мундира.

— Ступай к ним и сначала виду не пода-

вай, зачем приехал, — давала горбунья наставления Яше, — а потом отзови попа Андрона и спроси, где, мол, Ремянников, и про Маринку слово закинь. Понимаешь? А я буду тебя здесь ждать.

— Так, верно... — соглашался Яша. — А рюмочку можно, Анфиса?.. Одну только рюмочку...

— Одну можешь, а больше ни-ни. Я буду в окошко смотреть. Ну, ступай с богом.

Появление Яши в комнате игроков не произвело особенного впечатления, потому что он был здесь давно своим человеком.

Поп Андрон мотнул ему головой на стоявшую у стены закуску и коротко заметил:

— Угобжайся, Яша.

Яша налил одну рюмочку и хотел было по пути налить другую, но вовремя вспомнил, что горбунья следит за ним, и только вздохнул. Посидев около стола, Яша нагнулся к поповскому уху и прошептал:

— Одно словечко, попище.

— А... говори.

— Секрет.

— Ну тебя к чомору!

Поп вылез из-за стола и отвел Яшу в сторону.

— Федька Ремянников был здесь? — спрашивал Яша шепотом.

— Ну, был.

— Та-ак-с... А теперь, думаешь, где он, по-твоему?

— Уехал в Кургат, домой...

— Ан и не уехал... Где у тебя дочь-то, попище?

— Ну-у?

— Ступай-ка, поиши ее, а Федькина лошадь привязана у твоего прясла, с проулка.

— Ах он, пе-ос!..

Старик в одну минуту побежал в комнату дочери. Комната была пуста. Поп отправился на улицу и начал подкрадываться вдоль забора к дремавшей лошади. Горбунья спряталась за углом и с замирающим сердцем ждала, что будет дальше; на всякий случай она сказала Яше выйти сейчас же за ворота и теперь увела его обратно в поджидавшую их долгушку.

Поп Андрон в это время успел подойти совершенно неслышно к самой лошади, — он шел босиком; остановившись перевести дух,

старик услышал осторожный шепот, смех и поцелуи, которые доносились сейчас из-за забора, где под березами стояла беседка. Он узнал смех, своей дочери Марины и закипел гневом. В саду было темно, но сквозь просветы прясла можно было рассмотреть что-то темное, шевелившееся в беседке.

Одним прыжком поп очутился в саду и потом в беседке.

— А, так ты вот как платишь за чужую хлеб-соль?! — кричал старик, медведем наседая на попятившегося перед ним молодого человека.

Завязалась отчаянная борьба, а через минуту поп Андрон сидел верхом на Федьке Ремянникове и молотил его своими кулачищами по чем попало. Поповна сначала прижалась в угол беседки и взвизгнула, а потом, как коза, перепрыгнула через боровшихся на полу и была такова: в саду мелькнула только ее тень.

— Отпусти, простоволосый черт! Эк насел! — взмолился, наконец, Ремянников, напрасно защищая свое лицо от поповских кулаков обеими руками. — Будет тебе, дьявол.

— Не пущу!!! — ревел старик, продолжая обрабатывать свою жертву. — У меня одна дочь-то, татарская твоя образина! Извел бы ты ее, пес, так куда я с ней?.. а?.. Я там в фильки играю с заседателем, сном дела не знаю, а ты вон что придумал...

— Перестань, говорят. Я женюсь на твоей Марине!

— Ты... ты женишься на моей дочери?! Да кто ты таков есть человек?.. а?.. Ну, говори, пропащая башка!

— Я при Евграфе Павлыче состою... место даст. Отпусти, говорят, — хрипел Федька, изнемогая под расходившимся попом.

— Никогда этого не будет, чтобы я отдал свою Марину за катаевского прихвостня!.. Слышал? Ты в медвежатниках у Евграфа-то Павлыча и жену на медведя поведешь. Ах ты, дурак, дурак! Так узнай, что за Мариной давно Ключики записаны в консистории, сам владыко обещал мне жениха прислать Марине, потому место это наше родовое: я сам Ключики за покойной женой взял и теперь дочери передам. Для кого-нибудь копил добро-то! Федька, русским тебе языком говорю:

выкинь дурь из своей пустой башки, да и девку не мути напрасно. Ну?..

— Отпусти, говорят, а насчет Марины, так еще ее надобно самое спросить.

— Маринкино дело впереди: и ее спросим, а теперь твой ответ. Говори, а то задушу. Не будешь мутить девку?

— Ну, не буду... Эк привязался!

— Побожись!

Федька немного было замялся, но поп не на шутку схватил его железными ручищами прямо за горло. Нечего делать, пришлось побожиться.

— Не тронешь девку? — спрашивал поп в последний раз.

— Ну тебя к черту и с девкой!

Поп слез со своего врага, сел на приступочек и заплакал.

— Ведь она у меня одна... как перст одна! — шептал старик, вытирая слезы рукавом рубахи. — Креста на тебе нет, на варнаке...

— И ты тоже хорош, — ворчал Федька, приводя в порядок расстроенный туалет, — давай по роже хлестать живого человека; вон как устряпал рожу-то.

— А ты поговори у меня, Федька, поговори еще! — ругался поп Андрон сквозь слезы. — Сам виноват. Зачем девку обманывал? Ежели я тебя еще застану с ней, так и башку отвинчу. Слышал?.

Через десять минут поп Андрон и Федька Ремянников входили в поповскую гостиную, как ни в чем не бывало. Появление избитого в кровь Ремянникова всполошило всех гостей не на шутку, но старик поп заявил во всеуслышание:

— Вот угораздило тебя, Федя, сзалиться с лошади... Вон рожу-то как искочевряжил... а?..

— В стреме запутался... с полверсты за лошадью тащился, — объяснил Ремянников, вытирая окровавленное лицо. — Испугалась она, ну и вышибла из седла.

— Мудрено что-то, — качал недоверчиво головой заседатель. — Не таковский ты человек, Федя, чтобы из седла вышибла лошадь...

— Бывает и на старуху проруха и на девушку бабий грех, — смеялся запрещенный попик в зеленом подряснике.

— Ну-ка, Федя, полечись, — предлагал поп

Андрон, подводя избитого гостя к закуске. — Вот тут есть настойка на сорока травах, от сорока болезней. Весьма помогает.

Федька Ремянников был приземистый молодец лет двадцати пяти; он постоянно носил полосатый шелковый татарский бешмет, из-под которого выставлялся только ворот шелковой рубахи. Кудрявая русая голова Федьки крепко приросла к широким плечам; румяное и круглое лицо, едва опушенное небольшой бородкой, было красиво мужественной красотой, хотя нос был приплющенный и скулы выдавались. Федька смотрел всегда немного исподлобья и редко улыбался. Кривые ноги обличал записного наездника; но всего замечательнее у этого молодца были руки: он свободно поднимал по десяти пудов каждой рукой. Евграф Павлыч любил Федьку за отчаянную удаль и всегда брал с собой на медвежью охоту; с рогатиной в руках Ремянников ходил на медведя один на один. Вообще это был настоящий богатырь, хотя старый поп Андрон и обломал его по-медвежьему, так что Федька теперь только переминал плечами; в спине и в боках у него точно были камни.

— Вот что: вы теперь поиграйте без меня, — предлагал поп Андрон, пропустив, стомаха ради, рюмочку сорокатравной. — Федя за меня сядет, а мне надо по хозяйству. Вон светать начинает.

— Хорошо, хорошо, ступай, куда тебе надо, — согласились гости.

Горбунья Анфиса успела подслушать, что происходило в беседке, а теперь смотрела в оконную щель. Когда Федька уселся играть с заседателем, а поп Андрон вышел из комнаты, она решила, что пора ехать восвояси. Занималось туманное летнее утро, и, того гляди, накроют — нехорошо, да и делать в Ключиках больше нечего. Гунька и Яша ждали горбунью в ста шагах от поповского дома, и скоро пара гнедых унесла всех троих из Ключиков.

«Ловко обтяпали дельце! — смеялась про себя Анфиса, опять прижимаясь к Яше. — Здорово его обломал поп-от, до новых веников не забудет».

Небо было совсем серое, звезды тихо гасли; все кругом покрылось густой росой. Где-то далеко-далеко жалобно кричали журавли. От-

дохнувшие лошади вольным ходом бежали домой, а седоки дремали каждый со своей думой.

VI

Поп Андрон целое утро обходил свое громадное хозяйство, которое было поставлено на широкую помещичью ногу, как у многих других зауральских попов-богатеев. О гостях старик скоро забыл, как забыли и они о хозяине, да и трудно было разобрать, кто в этом доме был гость, кто хозяин: у попа Андрона двери всегда были настежь для званого и незваного, и хороший гость нередко загащивался по неделе. Старик всех принимал с распростертыми объятиями, потому что любил угостить, да и угощение было свое, некупленное: хлеб свой, овощ всякий свой; птица разная своя, баранина, телятина, козлятина, поросятина — тоже, одним словом, все было свое. Единственный расход был на водку, но и тут трудно было рассчитать, что шло по хозяйству, что на гостей: обыкновенно поп Андрон каждый год ставил на погребице две сорокаведерных бочки с пенным, и к концу года их не хватало. Дело в том, что много водки

уходило на помочи, когда поднимали поповское сено и убирали хлеб, а потом на всякие другие хозяйственные случаи, где нужно было прихватить чужие руки. В Ключиках мужики были зажиточные, и нанять их в страдное время на чужую работу было невозможно; деньгами тут ничего не поделаешь, а помочане шли к попу «из уважения». Своих работников у попа жило больше двадцати, но этих «строшных» ему не хватало, потому что одного хлеба он сеял пятьдесят десятин да держал лошадей за сто штук, а всякой другой скотине и счет давно потерял. Одним словом, жил себе старик Андрон пан паном и ничего знать не хотел, как нынче уже не живут: время другое и люди другие.

Говорили, что у старика попа в кубышке не один десяток тысяч лежит, да хлеб из пяти тысяч пудов никогда не выходит; всегда в запасе старик Андрон жил. Такое богатство простого деревенского попа, раз, объяснялось богатой местностью, — в Ключиках было больше десяти мужиков, державших про запас тысячи по три пудов хлеба, — а потом некоторыми особенными условиями; это богатство ко-

пилось не одним поколением и переходило из рода в род. Поп Андрон взял себе жену вместе с местом в Ключиках, как делывалось в старину, когда места закреплялись за невестами духовного звания; старик тесть успел много накопить всякого добра, и попу Андрону пришлось только приумножать готовое, что он и выполнял неукоснительно, потому что был хозяин образцовый и «везде доходил своим глазом», всякую хозяйственную «малость» следил.

Пока гости играли в фильки, хозяин успел обойти не только все хозяйство, но даже побывал в поле; нужно было посмотреть овсы, пшеницу, траву под покос. Все было хорошо и в порядке, только душа у попа не лежала на месте: то, да не то. Бродил он по коровникам, по амбарам, по конюшням, завернул в погреб, осмотрел огород, посидел в «строшной», где успел задать работу своим работникам, разбудил стряпку, а у самого совсем не хозяйство на уме: задала Маринушка старику отцу мудреную задачу... Нужно было и честь сохранить честью, чтобы не ославить напрасно девку, и напрасной потачки не дать, потому

женское дело самое ненадежное, а посоветоваться да поговорить старику совсем не с кем: он вдовел уже шестнадцатый год.

— Эх, не ладно дело-то! — вздыхал старик, не зная, куда бы еще ему сходить.

Кончив обход по хозяйству, пока стряпка ставила самовар, поп Андрон любил летом забраться на голубятню и погонять голубей, — забава самая домашняя. Он и теперь отправился туда же. Голубятня была устроена в конце двора, и с нее все поповское хозяйство было видно, как на ладонке, так что, помахивая шестиком на плававших в небе голубков, старик в то же время мог наблюдать за всем ходом катившегося хозяйственного колеса. И теперь, забравшись на вышку, поп Андрон, по привычке, осмотрел строгим хозяйским глазом весь двор, службы, огород, конюшни и стоявшую за рекой заимку, где хранились хлебные запасы. Все было хорошо, как «полная чаша». Вон строшные поехали в поле заборанивать поднятые пары, вон два наездника гоняют на корде каракового жеребца-трехлетка, вон над кухней синей струйкой встал веселый дымок, и стряпка Оксинья подняла

возню на целый день, вон стоит заседательская повозка, около нее бродит индейский петух и т. д. и т. д. По привычке поп Андрон взял свой шестик и поднял на воздух тридцать пар голубей, и голуби отлично делали свое дело, особенно турманы, которые винтом поднимались вверх, подбирали крылья и впереверт летели книзу, как сорвавшийся камень. Голубей поп Андрон разводил лет пятнадцать, и последней новинкой в его стане была парочка палевых египетских голубей, настоящих египетских, которых ему принес из Иерусалима знакомый странник-монашек.

— Таких голубей до самой Москвы не найдешь, — с гордостью объявлял старик любителям-голубятникам.

За эту парочку один знакомый купец-голубятник давал сто рублей, но поп Андрон только улыбнулся: не продажное дело, а заветное. Сегодня палевые голуби выделывали чудеса, точно хотели нарочно потешить старика, но поп Андрон только вздыхал и все поглядывал вниз, на ту часть своего дома, где два маленьких оконца были завешены легкими кисейными занавесками: за этими занавесками по-

чивала поповна Марина.

Спустившись с голубятни, старик прошел в сад и наломал пучок березовых веток, облущил их от листьев, спрятал под мышку и пошел с ними к дому. Гости все еще играли, и он прошел через кухню к комнате дочери. Дверь была заперта на крючок изнутри; поп Андрон постучал.

— Кто там? — послышался заспанный голос Марины.

— Отворяй...

Послышались возня торопливого одевания, шлепанье босых ног по крашеному полу, и, наконец, на пороге явилась Марина, кое-как накинувшая на себя ситцевое платье. Она была босиком, и золотистые волосы были завязаны на голове просто узлом.

— Чего тебе, тятенька? — спросила она, зевая и потягиваясь.

— Как чего?.. Ах ты, куриное отродье!.. Говорить с тобой пришел...

Девушка с удивлением взглянула красивыми заспанными серыми глазами на отца и посторонилась, чтобы дать ему дорогу; она только теперь заметила торчавшие из-под па-

зухи розги и улыбнулась.

Старик отец присел к окну и несколько времени молчал, с трудом переводя дух. Как он любил всегда эту небольшую комнатку, в которой покоились все его надежды, заботы и упования! Такая светленькая и уютная была комната, точно игрушечка.

— Ну, доченька, пришел я с тобой всурьез побеседовать, — заговорил, наконец, поп Андрон, продолжая оглядывать комнату, точно был в ней первый раз. — Ты вот спишь здесь, а я всю ночь проходил, как другой медведь-шатун.

— Известное дело, с гостями в фильки играл... Этак и трех ночей мало будет!

— Нет, доченька, не то... Действительно, не один я ходил ночь-ноченскую, а с гостем: на сердце у меня этот гость как сел, так и задавил, точно медвежья лапа.

Марине было лет семнадцать, но она была уже совсем развитая девушка, развитая, пожалуй, не по летам. Высокая ростом, с небольшой головкой и тяжелой волной золотистых волос, она была настоящей деревенской красавицей, хотя лицо у нее и нельзя было на-

звать правильным: нос был приплюснут, скулы немного выдавались, лоб был маленький, темные брови срослись над переносьем. Но зато свежесть серых глаз, молочная белизна кожи, как у всех рыжих, яркий румянец, улыбка, открывавшая два ряда чистых, как слоновая кость, зубов, — все в ней дышало грубой, вызывающей красотой: Это было олицетворение развертывавшейся жизни, заразительно разливавшей кругом себя все чары нетронутой, преисполненной сил юности.

— Ну, доченька, вот и пришел я побеседовать... — несколько раз повторял поп Андрон, напрасно подбирая слова для щекотливого объяснения. — Сейчас сидел я на голубятне и смотрел кругом: всего у меня много, доченька, наградил господь свыше разума... да. Сам я стар, не сегодня-завтра помру, ну, кому все это добро пойдет?.. а?.. Не мной оно накоплено, а еще дедушкой, родовое добро-то...

— Кому хочешь, тому и оставишь свое добро.

— А ты не зуби! — закричал старик, вскакивая. — Разве так с отцом-то разговаривают?.. Спущал я тебе много, вот и зубишь от-

цу... Думаешь, твоему-то медвежатнику Федьке оставлю свое нажитое? Нет, шалишь, ничего он не увидит, — вот тебе мой первый сказ, а второй сказ: посажу я тебя в монастырь годика на два; там сбавят комариного-то сала.

Марина молчала, опустив глаза. Старик отец действительно избаловал ее, и она не боялась его ни на волос, хотя поп Андрон был очень «ндравный» человек и держал себя очень гордо, а подчас даже и совсем неприступно. Мужики ходили перед ним без шапок, да и чиновники гнули спину перед толстой поповской мошной; о купцах и говорить нечего, — те на сто верст кругом знали попа Андрона. Только с самыми близкими приятелями, вроде заседателя Блохина, поп Андрон всегда был нараспашку.

— Ну, чего ты молчишь, как статуй? — спрашивал старик, начиная закипать гневом.

— Твоя воля, тятенька; как прикажешь...

— То-то... твоя воля... Моя, видно, да не больно. Хорошее ты слово сказала, да немножко после времени...

— И теперь твоя воля, тятенька, — повторила Марина.

— Моя... А кто вечор с Федькой в саду шашни заводил?.. Федьку-то я здорово отполировал, а про тебя ни слова не сказал: девичье дело; худая-то слава, как ртуть, во все стороны рассыплется. Да... пожалел я вечор тебя, а сегодня пришел суд тебе произвести... келейно. Я тебя, Маринка, выдеру, — вот тебе третий мой сказ... чтобы помнила, как с парнями по садам гулять. Матери у тебя нет, учить тебя некому...

Старик припер дверь, спустил занавески и взялся за принесенные розги. Марина прислонилась к стенке и смотрела на отца своими серыми глазами в упор, точно застыла; когда отец взял ее за руку и потащил к постели, она вырвалась и глухо прошептала:

— Да ты в уме ли, тятенька? Разе таких больших девок отцы дерут?.. Как это тебе, тятенька, не совестно?.. Уходи отсюдова!

У попа Андрона опустились руки от неожиданного отпора, а Марина в это время осторожно взяла его за плечи и вытолкнула в двери.

— Вот ищо выдумал! — ворчала она, затворяясь на крючок. — Ну, посылай в мона-

стырь... за волосы оттаскай, а то накося!.. А мне на твое добро наплевать.

VII

После поповской науки Федька Ремянников пролежал в своем флигеле дня три, потому что у него не разгибалась поясница и не ворочалась шея. Яша кутил хуже старого и все ловил чертей; раз он схватил горбатую Анфису прямо за нос, потому что в него спрятался самый бойкий чертик. Матильда Карловна несколько раз приходила проведывать своего возлюбленного и с участием спрашивала, что с ним такое.

— С лошади пьяный упал, — сердито отвечал Федька, повторяя ловкую выдумку попа Андрона.

Лежа на своем одре, Федька не раз задумывался о том, как поп Андрон врасплох напал на них в беседке. Не в первый раз Федька целовался с Мариной в саду, все с рук сходило, а тут точно черт попа сунул. «Наверное, кто-нибудь подвел попа, — догадывался Федька и с бессильной злостью против неизвестного врага только скрипел зубами. — Уж только попадись мне этот доводчик, — всю душу вы-

трясу... Однако старый черт Андрон здорово меня вздул!» Несколько раз Ремянников пытался было стороной выпытать что-нибудь от Яши; но тот только моргал глазами и ежился.

Матильда Карловна и горбунья Анфиса посмеивались между собой: все было шито и крыто, рассказать мог один Гунька, но и тот молчал как убитый. Устроившая скандал Матреша была высечена на другой же день и лежала в келье больная; за компанию с ней была наказана и Даша; девки совсем спятили с ума и не хотели поддаваться немке ни под каким видом. В другое время Матильда Карловна сумела бы донять их, вымотала бы всю душу с чисто немецкой аккуратностью, но теперь ее занимала мысль о том, чем досадить ключевскому попу, который для нее был бельмом на глазу.

— Конечно, он отлупил Федьку, — рассуждала Матильда Карловна с горбуньей. — А все-таки и попа нужно взбодрить... Как ты думаешь, Анфиса?

— Надо чем-нибудь насолить попу, — соглашалась Анфиса, напрасно стараясь придумать какую-нибудь каверзу. — Только надо

чистенько дело сделать, а не дуром. Погодите, придумаем... главное, чтобы никто не догадался, откуда ветром пахнуло. Вот бы Евграфа Павлыча натравить на попа...

— В самом деле, Анфисушка, — упрашивала немка, — придумай что-нибудь... Ты ведь на эти штуки мастерица!

Однажды, когда они обсуждали этот вопрос, горбунья тихо вскрикнула и захохотала.

— Что это с тобой? — удивилась Матильда Карловна.

— Придумала, придумала! — кричала горбунья и несколько раз даже повернулась на одной ножке. — Утешим Андрона... ха-ха!..

— Да говори толком, будет дурачиться.

— И как все просто, Матильда Карловна... ей-богу!.. Поп-то Андрон страшенный голубятник, у него есть пара египетских голубей... сто рублей давали... не отдал, ну, мы Евграф Павлыча и натравим на этих самых голубей.

— Отлично... очень хорошо. Ай да Анфиса!

Немка даже расцеловала горбунью.

Натравить Евграфа Павлыча на кого угодно было вовсе не трудно, потому что это был совсем взбалмошный человек, не умевший

себе отказать ни в малейшем капризе. Немка настолько изучила его, что могла руководить им безошибочно. В данном случае она повела дело исподволь, не подавая никакого вида относительно истинных своих намерений. Както утром, когда Евграф Павлыч пил чай, Матильда Карловна, между прочим, рассказала длинную историю о поповских голубях; барин сразу пошел на закинутую удочку и задумчиво проговорил:

— Вот как, а я и не подозревал.

— Красивые, говорят, голуби: палевые, — поджигала Матильда Карловна с самым невинным лицом. — Один купец сто рублей давал за пару, да поп не взял.

— Ну, уж это ты, Мотя, врешь: попы любят деньги... Это надо с ума сойти, чтобы за пару голубей сотенную не взять. Ха-ха... Можно на сто-то рублей отличную пару лошадей купить. Нет, это уж сказка...

— Спросите кого угодно, все вам-то же скажут.

— Да чего мне спрашивать, когда я сам отлично попа Андрона знаю! Водку с ним пил в третьем годе: здоровенный поп и выпить не

дурак.

— А все-таки не продаст за сто рублей палевых голубей.

— Вот и врешь, Мотя... Хочешь об заклад удариться, что я этих самых палевых голубей у попа за пятьдесят рублей куплю? Идет?

— Идет. Если купите, я вам плачу пятьдесят, а если не купите...

— Да я тебе тогда триста подарю... ха-ха!.. Жаль мне тебя, Мотя: напрасно свои пятьдесят рубликов прозакладуешь.

— Себя пожалейте, Евграф Павлыч, а гусей по осени считают.

Ударили по рукам. Чтобы не откладывать дела в долгий ящик, Евграф Павлыч сейчас же отправил Гуньку верхом в Ключики с собственноручной запиской попу Андрону; к записке были приложены деньги пятьдесят рублей. Через три часа Гунька вернулся и привез обратно деньги: поп Андрон сказал, что не отдаст голубей и за сто рублей.

— Ах он, простоволосый дьявол! — вскипел Евграф Павлыч и даже покраснел от злости. — Ну, Мотя, я проиграл заклад: плакали мои триста рубликов... А попу я не спущу: бу-

дет он у меня помнить, как поперек мне делать.

— А что вы с ним сделаете? — спрашивала Матильда Карловна.

— Я что сделаю с попом? я?.. Первым делом возьму его палевых голубей даром.

Одним словом, каша заварилась не на шутку, и оставалось только подливать масло в огонь. Евграф Павлыч в ту же ночь отрядил в Ключики пятерых конюхов с мешками: они должны были забрать всю поповскую голубятню и привезти в Кургат к утру. Эта экспедиция закончилась полной неудачей: поп Андрон отлично знал характер Евграфа Павлыча и засел караулить голубей со своими строшными на целую ночь; когда конюхи с мешками забрались в голубятню, он четверых запер на месте преступления, а пятого отпустил донести барину о своем поражении.

Через несколько дней после этого случая в Кургатский завод приехал заседатель Блохин, который всегда останавливался в господском доме. Это был самый обыкновенный старинный «чинодрал», перебивавшийся около разных милостивцев. На этот раз он заявился к

Евграфу Павлычу с самым серьезным видом, чем ужасно насмешил хозяина.

— Послушай, брат, ты дорогой, вероятно, живую муху проглотил? — встретил его Евграф Павлыч.

— Нет-с... изволите шутки шутить-с! А я-с по делу-с и по очень важному делу-с...

— Знаю, знаю: выпить хочешь, приказная строка! Ха-ха!.. Ешь солоно, пей горько: умрешь — не сгниешь.

Заседатель только вздохнул и пожал плечами.

— Не то-с, Евграф Павлыч, — заметил он после некоторой канцелярской паузы. — Дело-то выходит самое преказусное... да.

— Какое дело?

— А то самое, которое вы настряпали... Поп Андрон подал на вас прошение о вооруженном нападении на его дом в ночное время и о краже со взломом.

— Ну, брат, испугал ты меня... ха-ха!.. Да я все потрохи вытрясу из попа, и он у меня сам залетает, как палевый голубь, а на его прошение мне плевать.

— Напрасно-с и даже весьма напрасно-с,

Евграф Павлыч. Хлопотно будет, и расход лишний...

— Ах ты, крапивное семя, да я и тебя вместе с попом на одно лыко привяжу да в воду.

— Это уж как вам будет угодно-с. Я маленький человек и вам же добра желаю-с.

— А если добра желаешь, так пойдем выпьем...

За выпивкой, однако, Блохин все как-то ежился и вздыхал «с утеснением», пока хозяин его не оборвал:

— Послушай, брат, да ты на поминки, что ли, ко мне приехал?.. а?..

— Евграф Павлыч, голубчик, — заговорил Блохин самым нежным голосом и даже склонил свою щучью голову набок. — Не могу успокоиться, потому такое дело... особенное-с. Дворянин... и вдруг обвиняется в краже голубей... Весьма не подобает это вашему званию, Евграф Павлыч. Вот я и думаю: вы отличный и благороднейший человек, отменной доброты и великодушного сердца, ну, что вам стоит пойти на мировую с попом Андроном?

— Да ты с ума сошел... Я?.. Мириться с попишкой?

— Позвольте-с, дело-то такое. Что такое голуби? Наплевать, и все тут. Предмет, не стоящий никакого внимания и даже слабый для благородного человека.

— Ну уж это ты врешь: палевые ведь голуби-то...

— Ах, господи, господи, что же из этого? Хоть зеленые будь по мне. Мало ли у вас всякого удовольствия, Евграф Павлыч: и охота, и лошади, и... хе-хе!.. девушки-с... вот это предмет достойный, а то тьфу!.. даже произносить как-то неловко-с.

— А ежели мне эти вот самые палевые голуби понадобились, тогда как? Дай да выложь, и ничего знать не хочу, а попа Андрона я пройму не мытьем, так катаньем. Вот тебе и сказ весь, а там судите меня, хоть на висельицу... Ничего не пожалею, чтобы себе удовольствие сделать. Охотку тешить — не беда платить.

— Неукротимый у вас характер, Евграф Павлыч.

Заседатель Блохин был великий дипломат и на своем веку немало уладил самых казусных дел через простое «миротворение», как

хотел устроить и здесь, потому что сцепились два милостивца, из которых он не желал терять ни первого, ни второго. И дернуло же этих проклятых голубей!.. Блохин чувствовал, что сам начинает стервениться и, того гляди, украдет поповских голубей, чтобы свернуть им головы.

— Нашли игрушку, черти этакие! — ворчал миротворитель. — Слышь: палевые голуби... тьфу! тьфу!..

Прежде чем ехать в Кургатский завод, Блохин, конечно, завернул в Ключики к попу Андрону, с целью предварительно усовестить поднявшегося на дыбы старика, но эта миссия закончилась полной неудачей.

— Главное то, что сану твоему это самое дело не соответствует, — усовещивал Блохин упрямившегося попа. — Нужно по заповеди прощать седмижды семь раз... Так?

— Так, так, — соглашался поп Андрон.

— И мало ли есть любопытных занятий, кроме этих голубей: наливки делать, цветы разводить... да мало ли.

— Да ведь палевые голуби-то, ежовая твоя голова!.. Знать ничего не хочу; не попущусь

Катаеву ни в жисть. Мне плевать, что он заводчик и миллионер... Я сам буду архиереем, только вот Маринку пристроить. А голубей я не отдам, хоть озолоти меня...

— Не дури, попище, а то хуже будет!

— А ты мне что за указчик? Плевать мне и на тебя...

— Поп, не кочевряжься!

— Знать ничего не хочу; Катаев хотел через взлом выкрасть моих голубей, и я не попущусь ему...

Одним словом, дипломат-заседатель благодаря проклятым палевым голубям попал в самое неловкое положение, между двух огней: милостивцы лезли на стену и ничего слушать не хотели. Блохин прожил в Кургатском заводе целый день и ничего не мог добиться от Евграфа Павлыча; дело выходило совсем дрянь, если бы не утешила немного Матильда Карловна, пообещавшая, со своей стороны, сделать все, чтобы помирить Евграфа Павлыча с попом.

— Будьте благодетельницей, матушка Матильда Карловна, — умолял Блохин, целуя с умилением немкину руку. — Ведь это что же

такое будет? Евграфу Павлычу достанется, да и попу дадут по шапке... Я теперь даже совсем презираю самое это слово: голубь!

Прикинувшись сторонницей мира, Матильда Карловна выведала от Блохина решительно все, что ей нужно было знать, и осталась очень довольна положением дел.

«Дело начато, теперь нужно придумать что-нибудь дальше, — думала Матильда Карловна, провожая заседателя восвояси. — Начато хорошо, надо и кончить хорошо».

VIII

Хотя Евграф Павлыч и принялся за дело горячо, но он мог каждую минуту остынуть: на него ни в чем нельзя было полагаться. А пока дело о краже голубей таскалось бы по разным судам и палатам, барин успел бы и совсем забыть о нем. На другой же день после отъезда Блохина, за обедом, Матильда Карловна спросила Евграфа Павлыча:

— А как вы насчет голубей?

— Да, пожалуй, они, Мотя, уж мне и надоели, черт с ними совсем!

— Напрасно...

— Ничего не поделаешь с попом, войной

не пойдешь.

— Можно и без войны.

— Это как?

— Да очень просто: набрать ястребов-голубятников и напустить на поповских палевых голубей.

— Та-та-та... в самом деле, как это мне самому не пришло в голову! Мотя, да ты у меня молодец... Мы настоящую соколиную охоту устроим на попа. Ха-ха!.. Мотенька, голубушка, что же ты мне раньше-то ничего не сказала? Пусть Блохин посмотрит, какую мы обедню отслужим попу... Ну, и штука только. Сейчас же позвать ко мне Федьку и Гуньку...

Дело опять закипело; Гунька и Федька отправились сейчас же в одну башкирскую деревушку за ястребами. До деревни было верст сто с лишком, и через полтора суток верные слуги вернулись с пятью совсем выношенными ястребами, да кстати захватили с собой и башкира, хозяина ястребов. Предварительно было сделано несколько опытов над простыми голубями-сизяками; брошенные в воздух ястребы производили настоящие чудеса, так что Евграф Павлыч остался совершенно дово-

лен ястребиной охотой и вперед потирал руки от удовольствия.

— Лихо взвеселим попа, — заявлял Федька, который тоже был рад насолить драчуну. — Будет настоящая потеха.

Чтобы повести дело наверняка, через особенных посланцев было узнано во всех подробностях, как и когда поп Андрон гоняет своих палевых голубей. Оказалось, что старик сильно сторожился и в ожидании нечаянного нападения ставил на опасных пунктах особых караульных.

— А мы все-таки его утешим, — смеялся Евграф Павлыч над попом Андроном. — Пусть караулит, а мы ему ястребочков поднесем: как пить дадим палевым голубкам.

Выбрали летнее туманное утро, и еще затемно по направлению к Ключикам выехала из Кургатского завода настоящая охота: восемь вершников с Евграфом Павлычем во главе. Решено было накрыть попа с голубями как раз в тот момент, когда он делал раннюю гонку. Сам Евграф Павлыч ехал верхом на любимой соловой кобыле, за ним по пятам следовали на гнедых киргизах Гунька и Федька;

башкир с ястребами составлял центр экспедиции, которая замыкалась четырьмя охотниками, прихваченными на всякий случай.

Начинало светать, то есть восточная сторона неба сделалась серой, потом побелела, и только мало-помалу через эту предрассветную, белесоватую мглу начали сквозить розовые тона занимавшейся зари. Дорога шла большею частью по берегу цветущего Кургата, задернутого теперь сплошной туманной пеленой. Лошади фыркали и звонко били копытами укатанную землю; в ближайших речных кустах заливалась какая-то невидимая птичка, радовавшаяся всем своим маленьким сердцем наступавшему дню. Евграф Павлыч давно не ездил верхом и теперь сидел на мягком туркменском седле, как мешок; ему сильно дремалось и дорога казалась бесконечной.

«Уж уважим попа», — думал он, зевая.

Гунька тоже, грешным делом, клевал носом в седле, хотя каждый раз бодрился и вытягивался, как встрепанный, чтобы барин не заметил оплошки; он думал о черноволосой, смуглой Анне, которую давно присмотрел себе в жены и о которой не смел заикнуться ба-

рину, чтобы не испортить дела. Немка обещала женить, если Гунька будет служить верой и правдой. Зачем ехал барин в Ключики и кто натравил его на попа Андрона, Гунька отлично знал, но молчал, как пень. Ехавший рядом с ним Федька тихо посвистывал и ежил плечи от холода; ему хотелось спать, но перспектива насолить попу Андрону заставляла его улыбаться. Иногда перед ним вставала Марина, о которой он скучал. Увидит он ее сегодня или нет? Не таковская девка, чтобы испугалась отца, но черт ее знает: девичья память короткая, до порога.

Не доезжая с полверсты до Ключиков, Евграф Павлыч послал одного из охотников узнать, что делается в поповском доме. Посланный вернулся через полчаса и доложил, что у попа гости играют в карты.

— Отлично, — проговорил Евграф Павлыч и отправился в деревню в сопровождении ястребятника-башкира и Федьки.

Гунька с охотниками был отряжен в обход поповского дома и по первому сигналу должен был спешить на выручку.

— Лучше всего, если вы незаметно забере-

тесь в поповский сад, — командовал барин, — но боже вас сохрани попасться попу на глаза: всю шкуру спущу нагайками...

На всякий случай Гуньке был дан тоже ястреб.

У первой избы лошади были остановлены, и Евграф Павлыч сам-третей отправился к поповскому дому. Они засели в ближайшем огороде и терпеливо принялись выжидать, когда поп Андрон выйдет на голубятню. Ждать пришлось довольно долго. Большое село начало просыпаться из конца в конец, блеяли овцы, мычали коровы, затрубил пастух в рожок. Солнце выкатилось золотым туманным шаром из-за Кургата, на реке волнами заходил белый волокнистый туман.

«А если поп Андрон не выйдет?» — думал каждый из охотников. Трава была мокрая, и лежать в ней не представляло особенного удовольствия, а поп все не показывался, точно смеялся над засадой. Потянуло дымком от затопившихся печек, где-то неугомонно лаяла охрипшая со злости собака.

Евграф Павлыч, лежа в траве, начал было уже совсем засыпать, как Федька ткнул его в

бок локтем и прошептал:

— Поп...

Действительно, на поповской голубятне показалась приземистая фигура попа Андрона; он зорко осмотрел окрестности и только потом растворил голубятню; из-за решетчатых дверец голуби высыпали на крышу, а потом взмыли кверху, как брошенная в воздух горсть белого пуха. Выждав, когда старик совсем увлекся своим занятием и с ожесточением принялся бегать по голубятне, постоянно взмахивая шестиком, Евграф Павлыч тронулся вперед. Засада благополучно проследовала до следующей избы; оставалось перейти улицу, но караульный, посаженный попом на крыше сарая, вовремя заметил опасность и пронзительно свистнул. Нужно было высмотреть кружившихся палевых голубей и потом уже спустить на них ястреба, но теперь было не до того; Евграф Павлыч взял у башкира самую большую птицу, снял у ней с головы кожаный колпачок и подбросил вверх. Ястреб, сильным движением крыльев, сразу начал забирать вверх.

— Бросай второго, бросай третьего! — за-

кричал башкиру Евграф Павлыч, когда голуби метнулись к голубятне.

Поп Андрон не ожидал именно такой штуки от своего неприятеля и совсем растерялся; дверь в голубятню была заперта, голуби сбились на коньке крыши в трепетавшую крыльями живую кучу, а три ястреба спускались все ближе и ближе. Поп Андрон как-то совсем обезумел, присел и всей своей могучей грудью заорал:

— Батюшки, помогите... караул! Ой, батюшки, помогите!

— Катай четвертого ястреба! — крикнул Евграф Павлыч и подал сигнал Гуньке.

Пять ястребов произвели настоящую атаку: в несколько секунд голубятня покрылась пухом и перьями разорванных голубей, несмотря на самое отчаянное сопротивление попа Андрона, отбивавшего их от нападавших ястребов своим шестиком.

— Ой, караул... батюшки, грабят! — крикнул старик.

— Дуй его, лупи! — неистово орал с улицы Евграф Павлыч, походивший на исступленного. — Бей, катай!..

На этот страшный гвалт прежде всего выбежали гости: заседатель Блохин и запрещенный поп в зеленом подряснике, а потом со всех сторон набежали поповские строшные. На подмогу барину явился Гунька со своими охотниками. Из деревни начали собираться мужики, бабы и ребятишки, захватившие на всякий случай кто что мог. Блохин бросился вперед и приступил к Евграфу Павлычу с усиленным молением о пощаде.

— Голубчик, батюшка, Евграф Павлыч, уймитесь, ради Христа! — умолял он и старался поймать расходившегося барина за руки. — Ведь это что же такое? Уголовство...

— Бей, катай! — кричал Евграф Павлыч хриплым голосом и бросился на поповский двор. — Я ему покажу, простоволосому, каков есть человек Евграф Павлыч... Федька, Гунька, за мной!

В воротах завязалась жестокая свалка между катаевскими охотниками и поповскими строшными. Откуда-то явились поленья и палки, мелькнуло несколько окровавленных лиц. Евграф Павлыч и Федька Ремянников работали за десятерых, как два медведя, так что

первыми пробились в ворота и очутились на поповском дворе.

— Где поп? Дайте мне его, — орал Евграф Павлыч, порываясь к голубятне, с которой слезал поп Андрон и по пути засучивал рукава своей ситцевой рубашки.

Федька запер ворота изнутри и ждал, чем все это кончится. Старик Андрон шел на врага как был в голубятне — босой и в одном белье; лицо у него было бледное, и только глаза светились, как у волка. Евграф Павлыч встал в боевую позицию и тоже засучил рукава. Ввиду готовившегося поединка заседатель пустился на отчаянное средство: он бросился в ноги Евграфу Павлычу и на коленях принялся молить о пощаде, но получил такого пинка, что кубарем откатился к самым воротам, как гнилушка. В самый критический момент, когда враги готовы были сцепиться, раздался раздирающий женский крик: в одной рубашке, с распущенными волосами стояла Марина... Она только что вскочила с постели и выбежала из своей комнаты в чем была.

Евграф Павлыч оглянулся на крик и обомлел от изумления; руки у него опустились, и

он с раскрытым ртом смотрел то на попа Андрона, то на Марину.

— Кто это?.. а?.. — шептал он, обращаясь в пространство.

— Это я, разбойник! — заревел поп Андрон, схватив Евграфа Павлыча по-медвежьи прямо за затылок. — Есть и на тебя управа.

— Постой, поп, отпусти! — умолял Евграф Павлыч, напрасно стараясь освободиться от придавившей его железной руки. — Дай всего одно слово сказать, а потом хоть разорви...

— Говори, — коротко приказал поп Андрон, не отпуская своей жертвы.

Евграф Павлыч оглянулся еще раз, но Марина уже скрылась к себе в комнату.

— Это твоя дочь? — спрашивал Евграф Павлыч.

— Ну, положим, что дочь...

— Дочь? Попище, прости ты меня, ради Христа, — вдруг взмолился гордый кургатский барин и даже повалился попу Андрону в ноги. — За все заплачу, озолочу тебя, ну, помиримся.

Поп Андрон как-то совсем одурел от этой второй неожиданности и выпустил затылок

врага из своей десницы. На выручку подоспел Блохин и тоже принялся упрашивать попа Андрона.

— Поцелуемся, поп, — предложил Евграф Павлыч и облапил своего недавнего врага.

— Ну, черт с тобой, поцелуемся, — соглашался поп Андрон и прибавил: — А за голубей ты мне заплатишь... да.

— Сейчас тысячу отдам.

— Давно бы так, братие! — с умилением шептал Блохин и даже прослезился. — Ладно вы, Евграф Павлыч, меня саданули: все вздохи отшибли.

IX

Примирение враждовавших сторон состоялось при самой торжественной обстановке, начиная с того, что собравшемуся на драку мужичью была выкачена из поповского погреба сорокаведерная бочка пенного, конечно, в счет Евграфа Павлыча.

— Гуляй, братцы, в мою голову! — кричал в окно поповского дома сам барин. — Бабам сладкой водки, девкам пряников...

Гунька был отправлен в Кургатский завод нарочным с поручением привезти оттуда вся-

кого провианта и господский оркестр музыкантов. Это известие сначала заметно смутило Матильду Карловну, но, расспросив обстоятельства дела, она успокоилась и только усмехнулась: она поняла намерение развернувшегося Евграфа Павлыча.

— Кланяйся барину, да скажи от меня, что не по себе дерево хочет согнуть, — наказывала она, между прочим, отправлявшемуся в обратный путь Гуньке. — Обожжется, пожалуй...

Гунька передал этот наказ в точности, но Евграф Павлыч даже не рассердился, а только промолвил:

— Ученого учить — только портить...

В поповском доме разлилось настоящее море: играла катаевская музыка, пили, играли в карты, — так вплоть до самой ночи, и ночь напролет, и следующий день. Евграф Павлыч требовал только одного, чтобы поповна Марина из своих белых рук подносила ему рюмку за рюмкой, а он целовал у ней руки и вообще ухаживал, как старый петух.

— Ну, попище Андронище, и дочь только ты вырастил! — похваливал Евграф Павлыч,

ухмыляясь. — Всему миру на украшение...

— Нашел диво, — ворчал для виду старый поп, польщенный похвалой гостя. — Все они, девки-то, на одну колодку. А вот лучше выпьем, Евграф Павлыч, стомаха ради и частых недуг...

Захмелевший Евграф Павлыч заставил музыкантов играть плясовую и мигнул Федьке, первому своему плясуну, чтобы вставал в пару с Мариной.

Девушка сначала отнекивалась, но потом должна была согласиться на усиленные просьбы всей кутившей компании. Музыка грянула, Федька лихо пошел выделывать какое-то замысловатое цыганское колено, но Евграф Павлыч его остановил:

— Погоди, Федя, ты еще напляшешься... дай нам, старикам, старинку вспомнить. Сам буду плясать с Мариной Андроновной.?

Когда-то Евграф Павлыч лихо плясал — как говорится, только стружки летели, — но теперь отяжелел и выделывал колена очень грузно. Зато, отплясав, он расцеловал поповну прямо в губы и проговорил:

— Вот люблю, Маринушка... изуважила

старика! Люблю за молодецкий обычай...

Евграф Павлыч долго не выпускал из своей лапищи белую и мягкую руку Марины и все время заглядывал ей в опущенные глаза, на подымавшуюся волной высокую грудь, на горячий девичий румянец, на дрожавшую на алых губах вызывающую улыбку.

Марина плясала так себе, больше помахивала платочком, но разгулявшимся старикам не много было нужно.

Федька Ремянников присутствовал при общем веселье, пил вместе с другими, но выглядел угрюмо, волк-волком; он отлично понимал, отчего развеселился Евграф Павлович и что завелось у него на уме. На Марину Ремянников старался совсем не смотреть: без того было тошнехонько, и даже вино не пьянило.

— Братие! — выкрикивал заседатель и лез ко всем целоваться. — Слава тебе, царю небесный... Вот и помирились. Родимые мои...

Заседатель на вторые сутки совсем развинтился и напрасно отыскивал уголка, где бы вздремнуть: его разыскивали, встряхивали и опять заставляли пить.

— Ты вот что, Федя, — говорил Евграф Пав-

лыч Ремянникову под шумок, — заседатель еле на ногах держится... Попа Андрона я спою, а ты накачивай этого зеленого попа. Понимаешь?

— Понимаю, Евграф Павлыч.

— Ну, а я отсюда не уеду, пока не развяжу узелка.

— Понимаю, Евграф Павлыч.

Намерения барина были вполне ясны: он увлекся востроглазой поповной Мариной, которая сама заигрывала с ним глазами. Евграфа Павлыча бросало в жар и холод, когда она смеялась.

«Будешь моя, голубушка, — думал разгоревшийся самодур-заводчик. — Год проживу здесь, а не отступлюсь. Вот так девка: вся яблоком, не чета моим-то птахам».

Ремянников следил за этой двойной игрой и чувствовал, как сам он делается точно чужой себе, точно застыл, а на сердце так и накипает жестокая, смертная злоба.

«Постой, я покажу тебе, как узелки развязывают», — думал Федька, глядя на Евграфа Павлыча исподлобья, и даже сам вздрагивал. Что-то такое красное застилало ему глаза, и

все представлялось лицо барина, бледное, искаженное предсмертными судорогами, с выкатившимися глазами. Да, он убьет его и Маринушку, подлую, по пути: семь бед — один ответ. Накажут плетями, потом пошлют в каторгу, потом он убежит и будет бродяжить здесь же на заводах. Не он первый, не он последний. А вот и эшафот готов... палач в красной рубахе похаживает и вытягивает длинную ременную плеть... Кругом тысячная толпа народу... Господи, как страшно!.. Федька поднимается на эшафот, и вдруг у него захолонуло на душе, но он собрал все силы, перекрестился, поклонился на все четыре стороны...

— Ты что это, Феденька, задумался? — пристает зеленый поп.

— Да так... о тебе, батька, соскучился. Выпьем!

«Зеленый поп» на вид был такой вихлястый и жиденький, пальцем ударить, так переломится, а пить был здоров: пьет, как дудка, и конец. Пьет и смеется, да еще свои гнилые зубы показывает. Федька все-таки помнил наказ Евграфа Павлыча и старался всеми

силами накачать водкой зеленого попа до положения риз.

— Невинно вино, а укоризненно пианство, — повторял зеленый поп перед каждой рюмкой и опять показывал свои гнилые зубы.

«Ах ты, гнилушка проклятущая», — начал сердиться Ремянников и серьезно принялся за свое поручение, заставляя зеленого попа хлопать одну рюмку за другой.

Марина появлялась к гостям только по зову или посмотреть на отца, который все еще держался на ногах, а потом уходила к себе в комнату, где и запиралась на крючок. Пьяный Евграф Павлыч, улучив минуту, несколько раз пробовал, под шумок, незаметно пробраться к поповне, но каждый раз ему что-нибудь мешало: то зеленый поп подвернется, то пьяный Блохин. Раз Евграф Павлыч совсем был у цели и даже осторожно постучал в дверь поповне.

— Кто там? — окликнула Марина вполголоса.

— Это я, Маринушка... Отвори, словечко надо сказать.

— Я боюсь...

Без сомнения, еще четверть часа — и поповна отворила бы дверь. Евграф Павлыч клялся и божился после, что отворила бы, но как на грех притащился поп Андрон, схватил Евграфа Павлыча за ухо и увел к гостям.

— Сие не подобает, — строго заметил старик и погрозил своим коротким пальцем. — А то я тебе все ребра переломаю.

— Да ведь я так... мимо шел, — оправдывался Евграф Павлыч, как пойманный школьник.

— И мимо не ходи, да и другим закажи, по-елику не подобает. Видел заседателя-то?

— Блохина?

— Ну, его самого... Так вот этот самый Блохин изъявляет свое желание обручиться с девицей, нареченной Мариной.

— Ну, уж этому не бывать, попище!.. Пусть поищет другую твой заседатель, а Марина его ногами затопчет.

— Не от нас это строится, Евграф Павлыч: кого господь укажет, за тем и быть Марине.

Это известие еще больше разгорячило Евграфа Павлыча, и он еще больше начал пьянеть от одной мысли о соблазнительной бли-

зости запретного плода. Ну, да ничего, только бы споить попов, а там все уладится само собой...

Это жестокое пьянство продолжалось ровно три дня и три ночи. Евграф Павлыч помнил, как сквозь сон, что поп Андрон преподнес им какую-то заветную наливку на каких-то травах — целую ведерную бутыль. Все пили рюмку за рюмкой, так что под конец у Евграфа Павлыча заходили столбы в голове. Потом все как-то перемешалось, точно было подернуто дымкой.

На четвертый день. Евграф Павлыч проснулся поздно. Голова у него трещала, как расколотая. Он долго не мог открыть слипавшиеся глаза, пока не повел рукой. Рядом с ним на подушке лежала другая голова. Евграф Павлыч быстро поднялся на постели и даже раскрыл рот от удивления: он лежал на какой-то необыкновенно широкой кровати, а рядом с ним спала поповна Марина. Да, это была она, вся розовая, в сиянии своих рассыпавшихся золотых волос...

— Где же это я? — старался припомнить Евграф Павлыч и потом ударил себя по лбу. —

В Ключиках, у попа Андрона... ха-ха!.. Очень хорошо... Однако ведь это, кажется, комната Марины? Да, да, все были пьяны, потом... потом...

Марина проснулась и смотрела на Евграфа Павлыча заспанными, улыбавшимися глазами и нисколько не стеснялась своего нового положения, а даже потянулась, как кошка, и обняла его своей теплой, белой рукой.

— Здорово кутнули, — проговорил наконец Евграф Павлыч, напрасно стараясь припомнить подробности этой ночи. — Послушай, Марина, я тихонько вылезу в окно, а то, пожалуй, поп Андрон проснется, и тогда плохо будет...

Поповна ничего не ответила, а только быстро спрятала свое улыбавшееся, залитое румянцем лицо в подушку.

«Вот молодец девка!» — невольно подумал Евграф Павлыч, поцеловал Марину в крепкий затылок, точно затканный вившимися золотыми волосиками, и начал быстро одеваться.

Окна были завешены кисейными занавесками, но через них можно было рассмотреть, как по двору ходили какие-то люди (окна из

комнаты Марины выходили во двор). Значит, бежать через окно нечего было и думать. Оставалась дверь, но за дверью в соседней комнате слышались чьи-то шаги и осторожное покашливанье.

«Ох, плохо дело, поп проснулся, — со страхом подумал Евграф Павлыч, не зная, как ему выбраться от ласковой поповны. — А, все равно, скажу, что попал сюда пьяный... ничего не помню... отлично!»

Евграф Павлыч приосанился, приотворил дверь и увидел в соседней комнате кипевший самовар, за самоваром «зеленого попа» и самого попа Андрона, который сидел на диване в больших серебряных очках и читал какую-то книгу в черном кожаном переплете. Деваться было некуда, и Евграф Павлыч вышел, немного сконфуженный.

— А, вот и ты, — весело заговорил поп Андрон и пошел навстречу к Евграфу Павлычу с распростертыми объятиями. — Ну, Евграфушка, давай поцелуемся.

Зеленый поп тоже показывал все свои гнилые зубы и тоже полез обниматься.

— Слава богу, слава богу! — повторял зеле-

ный поп. — Поздравляем вас, Евграф Павлыч, с законным браком...

— С каким законным браком?

— А то как же? Изволили вчерашнего числа вступить в закон, — объяснил зеленый поп. — С радости-то, видно, всю память отшибло... Я вас и венчал, Блохин был свидетелем. Да...

— Да вы с ума сошли, простоволосые черти! — не своим голосом закричал Евграф Павлыч и только теперь припомнил, что действительно был в церкви вчера, горели свечи и т. д. — Это вы пьяного меня обвенчали?.. а?

— Полно шутить, Евграфушка, — серьезным тоном заговорил поп Андрон. — Не такое это дело... Я не навяливался с дочерью: сам в ногах ползал у меня да просил согласия.

— А где Федька?

— На погребице вместе с Блохиным лежат вторые сутки: зело угобзились...

Евграф Павлыч подумал, подумал, покачал головой и наконец проговорил:

— Ну, попище, перехитрил ты меня... да, ловко околпачил...

X

Свадьба была отпразднована на той же ноге в Ключиках, и празднество продолжалось целую неделю. В ознаменование торжества вся посуда в поповском доме была перебита влоск, переломана вся мебель, и, войдя в азарт, пьяные гости изорвали в клочья все платье друг на друге, так что для продолжения праздника из Кургатского завода была выписана целая партия киргизских азямов, которыми и прикрылась пьяная нагота. В этой свалке погиб и знаменитый зеленый подрясник запрещенного попа, обвенчавшего молодых.

Пока происходило все это неистовство, Евграф Павлыч послал Гуньку в завод с лаконическим приказанием: в три дня разнести девичью при господском доме до последнего камешка, а на ее месте разбить к приезду молодых цветник. Но как быть с Мотей и ее воспитанницами? Этот вопрос Евграф Павлыч никак не мог разрешить и оставил открытым до своего прибытия, хотя и побаивался молодой жены, которая оказалась с ноготком.

Впрочем, дело уладилось как-то само собой. Марина Андроновна по приезде в Кургат-

ский завод даже и вида не подала, что знает что-нибудь о существовании девичьей и о той роли, какую играла в ней Матильда Карловна. С немкой встретилась она дружелюбно и даже сблизилась с ней.

— Я тебя, Мотя, не пущу, — заявила Марина, когда немка начала собираться восвояси. — Ты мне не мешаешь, а одной мне скучно... Живи у нас экономкой, а то я что же буду делать здесь без тебя? Ты все знаешь и все умеешь сделать.

Так немка Мантилья и осталась при господском доме, хотя Евграфа Павлыча в первое время немного и коробило, когда случалось обедать втроем.

В каких-нибудь полгода все в кургатском доме пошло на новую руку, хотя, по-видимому, молодая сама ничего и не делала: рядилась, ела, спала — и только. Она оказалась какая-то равнодушная ко всему и часто не знала, чем и как убить время. Евграф Павлыч тоже как-то вдруг притих и опустился, как проколотый пузырь, и даже начал заметно припадать на одну ножку, значит вступил в закон в самый раз. О прежней развеселой жиз-

ни, конечно, не могло быть и помину, и Евграф Павлыч рад был, как празднику, когда в Кургат навернется какой-нибудь новенький человек.

Однако, несмотря на свое видимое равнодушие, Марина успела пристроить всех девушек, воспитанных в девичьей, то есть наградила приданым и выдала замуж. Свадьба Матреши и Даши была в один день, а потом они явились со своими мужьями благодарить барыню за великую милость. Глядя на улыбавшихся молодых, Марина Андроновна легонько-легонько вздохнула и прослезилась.

— Нам и бога за вас не замолить, матушка-барыня, — объясняла бойкая Даша. — Как бы не вы, так уж и не знаю, что бы такое со всеми было...

— Кто старое помянет, тому глаз вон, — заметила Марина Андроновна и отпустила молодых с новыми подарками.

— Теперь только тебя, Мотя, осталось пристроить да Анфису, — говорила Марина Андроновна.

— Чего еще нам нужно? И так проживем, — ответила Матильда Карловна и слегка

зарумянилась.

— Зачем ты скрываешься от меня, Мотя? Я ведь все знаю... Погоди, выдам тебя за Ремянникова... Он ведь тебя очень любит, я знаю.

Всю подноготную кургатского господского дома Марина Андроновна знала через горбатую Анфису, которая быстро втерлась в доверие к барыне и, между прочим, рассказала роман немки Матильды и, кстати, свой собственный.

— Надо их женить, — решила Марина Андроновна. — Будет Федьке неокрученным шататься.

— Тоскует он, матушка-барыня, — вкрадчиво докладывала горбунья, стараясь подметить, как переменится в лице Марина Андроновна при этом намеке на милого дружка.

— А вот женится, так и перестанет тосковать.... Мотя его приберет к рукам. Шелковый будет...

Ремянников бежал из Ключиков, как только проснулся после поповского угощения, и недели две вылежал в своем флигеле, сказываясь больным. Этот неожиданный оборот дела расстроил весь его план убийства барина:

дело сделано, теперь не поможешь. Долго сидел Ремянников в своем флигельке, пил водку с Яшей и все думал о чем-то: упрется глазами в стену и молчит. Даже похудел от постоянной думы, — лицо осунулось, глаза ввалились, русые кудри скатались в одну шапку: не для кого их было расчесывать.

Яша-Херувим кашлял с каждым днем все сильнее, бросил пить водку и все молился: он таял как свеча. Особенно тяжело доставались Яше бессонные ночи, когда все кругом стихало и только за печкой трещал сверчок свою бесконечную песню. Ремянников спал как убитый или уходил куда-нибудь. Однажды Яше сделалось особенно тяжело: душил страшно кашель, била лихорадка, в глазах мутилось. «Смерть приходит», — с ужасом думал больной и тихо заплакал. О чем он горевал? Родных у него не было, сначала он был певчим в церковном хоре, потом служил мальчиком в трактире и, наконец, попал в хор каких-то странствующих певчих. Так шел год за годом, вечное пьянство, беспорядочная холостая жизнь, тоска. Все это теперь перебирал Яша в своем больном уме, и ему делалось

еще тяжелее: в этой пестрой, беспорядочной жизни не было ни одного светлого мгновения, ни одной радости.

— Свиньей жил... в грязи бродил... — стонал Яша, падая головой в подушку. — Давно пора умирать!

В Москве Яша познакомился с Матильдой Карловной, которая тогда жила еще с матерью. Она была такая беленькая, хорошенькая девочка, совсем еще молоденькая. Яше ужасно было жаль, что она убивается над работой в магазин, и захотелось остепениться, чтобы чем-нибудь помогать ей. В его душе затеплилось что-то вроде любви; но это чувство оборвалось в самом начале. В Москву приехал Евграф Павлыч и купил у матери маленькую немочку, а по пути захватил с собой нескольких певчих для своего заводского хора. У Яши был еще голос, и он тоже поехал за своей немочкой куда-то в Сибирь.

Дальше... что было дальше — Яша затруднился бы рассказать даже себе самому: то же бесшабашное пьянство, вечное похмелье и непроходимое свинство. Да, все грехи да грехи, точно бесконечная паутина. Стояла уж

осень, листья давно облетели с деревьев и в саду с воем и свистом рвался холодный осенний ветер. Дождь то переставал, то начинал идти снова, и слышно было, как слезливо журчала вода по водосточной трубе. Неприятно, глухо, уныло было все кругом, точно не будет завтрашнего дня. Мысли в голове Яши начинали путаться, напал какой-то страх, и он тихо вскрикнул, но этот слабый, глухой крик испугал его еще более, точно возле него крикнул кто-то другой. Яша уже не в первый раз слышал этот крик и не узнавал собственного голоса. Теперь, охваченный паническим ужасом, Яша поднялся с постели и начал звать Ремянникова, который спал мертвым сном.

— Ну, чего тебе?., а?.. — бормотал Ремянников сквозь сон.

— Федя, голубчик... страшно мне, — шептал Яша, наклоняясь над самым изголовьем спавшего друга. — Ты не слыхал ничего, Федя?.. По ночам кто-то у нас кричит... так и слышно, что под землей кто-то этак глухо стонет и опять молчит.

— Ну и пусть кричит... Эк тебя взяло, Яшка!.. Только спать мешаешь...

— Да ведь кричит, Федя... Это он меня зовет в землю. Ох, как страшно, Федя, умирать; темно кругом... холодно... а там страшный суд, за каждый грех должен ответ дать. Феденька, голубчик, прости ты меня, ради Христа, ежели я тебя чем обидел...

— Ты обидел меня? — удивился Ремянников; как он ни хотел спать, но мысль, что Яша мог кого-нибудь обидеть, заставила его расхохотаться. — Вот ты клопов, Яша, часто обижал; у них проси прощения... Ха-ха! Обидел!.. Уж только и придумает!

— А вот и обидел я тебя, Федя, — упрямо продолжал Яша, с трудом прокашливаясь. — Помнишь попа-то Андрона... когда он вас с Мариной в беседке застал? Это я его подвел... Феденька, голубчик, прости меня!..

Яша совсем упал на пол и несколько раз ударил лбом в знак полного раскаяния.

Это признание точно ужалило Ремянникова; он вскочил с постели и схватил Яшу за его худые, костлявые плечи.

— Яшка, так это ты подвел?.. а? — шептал Ремянников, начиная сжимать корчившегося в его руках Яшу.

— Я... прости, Христа ради... ой, больно!.. Ты мне добро делал, а я вот какую шутку устроил... Ох, Феденька, тяжело на душе... согрешил я против тебя...

Ремянников на минуту задумался, а потом спросил:

— Для чего тебе-то, Яша, нужно было подводить попа? Ведь ты меня зарезал... Да если бы я знал это раньше, я тебя тут же бы и задушил. Не видать бы тогда Евграфу Павлычу Марины, как своих ушей. Яшка, я и теперь задушу тебя...

— Убей, ну, убей... — беззащитно проговорил Яша, опуская руки.

— И убью... Ну, говори, кто тебя научил?.. а? Ведь это ты не своим умом придумал?., а?

— Все скажу, Федя... Тогда пришла ко мне вот сюда во флигель Мантилья и велела ехать в Ключики; она и научила, как попа на тебя с Мариной подвести...

— Так вот кто... Мотька все устроила! — застонал Ремянников и в отчаянии рванул себя за волосы.

— Гунька тогда возил нас в Ключики-то, — продолжал Яша, припоминая свою поездку.

— Кого нас?

— Ну, нас: меня да Анфису... Сперва-то сама Мантилья хотела ехать со мной, да ей нельзя было.

— Вот оно что! — повторил Ремянников несколько раз, стараясь что-то припомнить. — Так... значит, и палевые голуби отсюда же прилетели! Ловко... Ну, я с ними со всеми расправлюсь.

— С кем это?

— А уж это мое дело...

— Ты, Федя, пожалуйста, не сердись на Мантилью-то: она ведь любит тебя, а это я виноват...

— Убирайся к черту!

Ремянников крепко призадумался. Он два дня ходил из угла в угол по своей комнате, два дня не ел и не пил и наконец куда-то исчез.

Как-то утром Евграф Павлыч с молодой женой пил чай в столовой. Марина Андроновна была свежее весеннего утра и в своем кружевном утреннем пеньюаре выглядела настоящей русской красавицей.

— Ремянников желает видеть вас, — до-

кладывала горбатая Анфиса.

— Пусть идет. Что за доклады? — грубо ответил Евграф Павлыч. — Что-то давненько я его не видал: совсем извелся парень... Все неможется ему что-то.

Когда горбунья ушла, Марина Андроновна проговорила с лукавой улыбкой:

— А вот мы его вылечим скоро... У меня лекарство есть от его болезни.

— Какое такое лекарство?

— Да уж такое!.. Федор давно ведь был влюблен в Мотю...

— В самом деле? Вот это интересно. А я и не подозревал ничего! Скажите, пожалуйста...

— Мало ли ты чего не знаешь.

— Да, да... гм... Это бывает иногда. Что же, с богом...

В этот момент в столовую быстро вошел Ремянников и на мгновение остановился в дверях. Он был так бледен, что Марина Андроновна испуганно посмотрела на мужа и сделала невольное движение уйти, но Ремянников твердой походкой подошел прямо к ней и повалился в ноги.

— Федор, что ты, что ты? — испугалась со-

всем Марина Андроновна.

— Марина Андроновна прости меня... — проговорил Ремянников, не поднимая головы.

— Что с тобой, Федя? — спрашивал Евграф Павлыч.

— Прикажите меня связать, Евграф Павлыч... — глухо ответил Ремянников, поднимаясь на ноги. — Там, в саду... где стояла девичья...

В саду, на мокрой земле, между клумбами почерневших и высохших цветов, валялся обезображенный труп Матильды Карловны: несчастная девушка была засечена нагайкой и представляла теперь безобразный кусок страшно избитого мяса, так что на спине сквозь клочья одежды белели кости.

Родительская кровь {5}

I

Лес, лес и лес... Настоящий дремучий сибирский лес, сохранившийся в этой местности каким-то чудом, потому что кругом, на сотни верст, все настоящие леса давным-давно сведены и выжжены заводчиками. Этот лес известен под именем «середовины», потому что лежит на границе казенной дачи и дачи Пластунских заводов; по мнению главного пластунского лесничего, он принадлежит Пластунским заводам, а по мнению казенных лесничих, — казне. Это спорное положение спасло «середовину» от конечного истребления, но в недалеком будущем ее постигнет общая участь всех уральских лесов — она будет, конечно, истреблена до последнего дерева, как умеют истреблять леса только на Урале.

Одним краем «середовина» упирается в широкое торфяное болото, а другим прилегает к каменистой грядке невысоких увалов; болото уходит далеко на север, где в синеватой мгле встают уже настоящие горы. Если смотреть на окрестности с вершины одной из этих

гор, картина представляется довольно оригинальная, особенно рано утром, когда болото покрыто еще туманом; болото разлеглось неправильным разливом на десятки верст, на нем отдельные горки и увалы выдаются, как острова или гигантские бородавки, а «середовина» кажется громадной черной овчиной, растянутой по неровной, чуть заметно всхолмленной поверхности. В Среднем Урале таких картин слишком много, и с каждым шагом на север эти болотины разрастаются все шире и шире.

Лес в «середовине» сосновый, дерево к дереву, как восковые свечи, и только по опушке образовался смешанный подсед из березняков, рябины и черемухи, который на болоте переходит в настоящий болотный «карандашник», то есть в чахлые и корявые березки, в кривые тонкие сосенки-карлицы, тальник, ивняк, и кусты смородины. Этот карандашник точно заражен золотухой или английской болезнью, но сосны-карлицы имеют по сту лет и более. Тяжело смотреть на такое дерево-урод: ствол непропорционально тонок, узловат, во многих местах согнут и покрыт со-

всем особенной мертвой корой, есть даже гнилые язвы, из которых сочится мокрота; рядом с этим золотушным, чахлым лесом середовинский бор является какой-то лесной гвардией, где каждое дерево — богатырь...

Здесь необходимо заметить, что «середовина» служила гранью между северным дремучим лесом и лесными породами средней полосы: там, где высились синие горы, залегли беспросветные ельники, пихтарники и кедровники, там тянутся к небу своими распростертыми коряжистыми ветвями едва опушенные бледной зеленью листвени, а к югу пошли веселые светлые бора, березняки, липовые острова. На севере сосна является исключением, как ель на юге, да и северная сосна такая жалкая, вытянутая и голая сравнительно с коренастыми гвардейцами той же «середовины». В настоящем северном лесу-таежнике чувствуется какая-то глубокая печаль, точно вся природа закуталась в темно-зеленый траур; не то в «середовине», где было так светло и просторно, как под высокими стрельчатыми сводами какого-то гигантского храма. Всякая дичь любила держаться

около этой «середовины»: по опушкам кормились табуны поляшей (косачи), рябчики, вальдшнепы, в глубине — глухарь, в болоте — дупеля и т. д. Одним краем через «середовину» протекала река Пластунья, очень болотистая и иловатая в верхотинах, но делавшаяся чище в низовьях, точно она проходила чрез какой-то невидимый фильтр, в котором оставляла ил, тину и крутившуюся в ее струях желтоватую муть.

Около этой «середовины» была отличная охота: весной по опушкам тянули вальдшнепы, на лесных прогалинках токовали косачи; в перелет Пластунья покрывалась утками и гусями, — летом здесь кормились отличные выводки, а глухой осенью, по первой пороше, били косачей с подъезда и на чучело. Прибавьте к этому зайцев и волков, которые перебивались около «середовины», а по весеннему «насту» здесь была отличная охота на диких коз и даже оленей, хотя олень редко заходил в «середовину», потому что кругом было уже слишком голо. Ввиду такого разнообразия дичи охотников всегда тянуло в «середовину», которая во всем своем составе на

двадцативерстном расстоянии находилась под наблюдением всего одного сторожа, известного у охотников под названием Прохорыча, или попросту — «Секрета». Кто дал Прохорычу это название: Секрет — неизвестно, но оно как нельзя лучше шло к нему: Секрет так секрет и есть. Самая физиономия Прохорыча изобличала его «секретное» происхождение: широкое русское лицо, узенькие голубые глазки, глядевшие как-то тревожно и таинственно, рыжая окладистая бородка, сдвинутые заботливо брови, особенно когда Прохорыч начинал закручивать длинный тараканий ус. Говорил он отрывисто, какими-то обрывками фраз, и любил выражаться иносказательно и даже своим особенным высоким слогом, потому что сильно понаметался около господ. Костюм Секрета составлялся очень замысловатым образом из разного тряпья, хотя он и держался в нем с большим гонором, потому что чувствовал себя записным охотником, а записные охотники всегда щеголяют в сборных костюмах — это своего рода мода и щегольство.

Сторожка Секрета приткнулась к самому

бору и была заслонена со стороны болота редким березняком, так что незнакомый человек по самым точным указаниям, когда приходится поворачивать десять раз направо и столько же налево, едва ли отыскал бы замысловатое жилище Секрета, особенно летом, когда оно совсем пряталось в зелени.

— Как-то я сам плутал-плутал по лесу-то, а своей избушки не нашел, — объяснял Прохорыч знакомым охотникам, молодцевато закручивая усы. — Конечно, маненько в разу был... от знакомого барина ехал... славный такой барин в городу у меня есть. Ну, поднес мне стаканчик, да три стаканчика на свои выпил, в глазах-то и задвоило... Почитай, цельную ночь по середовине ездил да в лесу и заснул, а избушки не доехал, будет — не будет, сажен двести.

Снаружи сторожка Секрета была просто вросшая в землю лачуга, сильно покосившаяся на один бок; вместо крыши была насыпана толстым слоем земля, покрытая густой травой и даже молодыми березками. Около этого дворца из сухарника была пригорожена «стая» для скотины и небольшой пригон.

Внутренность сторожки заключалась всего в одной комнате — направо небольшая русская печь, налево в углу стол, сейчас от двери около стены деревянная кровать, две скамьи, колченогий стул — и только. На стене над кроватью висело два ружья, около печки полочка с посудой, под кроватью разбитый сундук с движимым, на покосившемся окне вечный горшок с красным перцем — дальше этого желания Прохорыча не шли, потому что Прохорыч в душе был немножко философ и, как все философы, жил по преимуществу духом. В этой избушке Прохорыч проживал со своей женой Власьевной и с двумя белоголовыми ребятишками и, кроме того, ухитрялся держать еще квартирантов — то каких-то каменотесов, то приисковых старателей, то гуртовщиков; кроме того, у него останавливались всегда охотники, особенно летом, когда кругом «середовины» было настоящее раздолье. Жена у Прохорыча, бабенка лет тридцати пяти, была как раз ему под пару и постоянно ходила с каким-то испуганным лицом.

— А вы вот что мне скажите, барин, — приставал Секрет к каждому новому знакомо-

му, — чем я теперь живу в лесу?..

— Как чем: ведь ты жалованье получаешь, как лесник...

— Я? Жалованье?.. Мое жалованье вот какое: приду к казенному лесничему за месячным, а он мне: «Ты проси у пластунского управителя жалованье-то, потому середовина-то ихняя», ну, я в Пластунский завод, там немец Бац управителем, ну, он гонит за жалованьем к казенному лесничему, потому, говорит, середовина казенная... Уж ходишь-ходишь, кланяешься-кланяешься. А бывает и так, что два жалованья получишь... Ей-богу!..

В качестве записного охотника Секрет врал любую половину, но его средства действительно были сомнительны, и он больше кормился от приезжавших охотников.

— Кабы не господа — пропадай! — заявлял Секрет сам. — От господ только и питаешься, особливо к Ильину дню, когда из Пластунского завода, из Боровков и из прочих местов народ страдовать начинает. Баб тогда по покосам множество, а господам это даже весьма любопытно бывает... Боровские-то кержанки вон какие, Христос с емя: точно ямистая репа,

ну и гулеванки тоже, когда мужиков близко нет. Что этого вина в те поры с господами выпьешь — страсть!.. Ну, зимой, обыкновенно, тишина, а к лету опять и оттаешь... С ранней весны кружить-то начинаем, только тут смотри: одних господ не успел проводить — другие катят, да так кругом и идет. Народ все прахтикованный, сейчас к каждому применяешься: кому и что — один насчет водки, другой за бабами, третий куликов стреляет, а есть и такие, что едут просто сами себя удивлять... Ей-богу, такие фокусы строят — кто что придумает!..

Господа, приезжавшие на охоту в «середовину» из города и с заводов, для Секрета служили неистощимым источником для самых пикантных рассказов, причем одним из главных действующих лиц являлась всегда водка.

— Лучшие самые господа приезжают, — объяснял Секрет при каждом удобном случае. — Пьешь, пьешь, даже совестно в другой раз сделается... а нельзя, потому я должен уважить.

Одним словом, в качестве «прахтикова иного» мужика Секрет умел «утрафить» всем

и благодаря такой изворотливости ухитрялся существовать почти безбедно. Но у Секрета была и своя хорошая сторона: он горой стоял за свою «середовину» и постоянно сражался с лесоворами, которые делали набеги на его участок. Лесоворный промысел на Урале распространен как нигде и обратился в настоящую профессию, потому что отвода лесных наделов населению еще не произведено. Вы услышите очень часто стереотипную фразу, что такой-то «занимается по лесоворной части», как другие занимаются по части приисковой, кожевенной, сундучной и т. д. И нужно заметить, что эта «лесоворная часть» организована отлично, на разбойничий манер, так что с лесоворами происходят у лесной стражи настоящие сражения. Секрет лез на стену при одном имени лесоворов.

— Варнаки и душегубы все до единого, — кричал Секрет, начиная показывать полученные в разное время рубцы и членовредительства. — Во как по пояснице изуважили в позапрошлом году, — пять ден вылежал... А то по глазу хлобыснули в том году, так думал: смерть моя, а уж что было по затылку кладе-

но — и счет потерял.

— Да ведь и ты им не пирогами откладываешь?

— Обнакновенно, разговор короткий; я их, варнаков, вашескородие, сухим горохом стреляю... На, носи — не потеряй, голубчик!.. И только расшельма и народец: один беспалый ездит, а другой — с одной левой рукой. Такие кряжи заворачивают — страсть, вершков двенадцати. Что же, должен я на них смотреть, вашескородие, сложа руки?.. Сколь мога и я их веселю... Больно уж зимой одолевают: цельную ночь сторожишься другой раз. Не однова меня спалить начисто хотели, да пока бог хранит, что дальше. Боятся они меня, потому как я вполне отчаянный человек насчет лесу... Бож-же сохрани!

Иногда на Секрета от этих воспоминаний нападало тяжелое раздумье, и он с неподдельной грустью прибавлял:

— А несдобровать, барин, середовине-то... ох, несдобровать!..

— Почему так?

— Да уж так: сердце чует... Пятнадцать годов я здесь выжил, а теперь сумлеваюсь. Как-

то Бац говорит мне: «Ну, Секрет, пиши духовную своей середовине, скоро мы ее за себя переведем, и сейчас только одни угольки останутся». Точно он меня ножом полыхнул... И переведут, беспременно переведут, потому кругом голо — один карандашник, ну, на середовину теперь зубы и точат. Ноне ведь в Пластунском заводе сплошной немец пошел... Уйму леса извели проклятущие, точно они его жрут, потому известно — чужое, разе жаль его: повертится немец-то год — два, сведет лес, да и хвост убрал. Нет, видно, шабаш середовине...

Однажды в конце июля я сильно опоздал на охоте, до города было далеко, и я отправился переночевать к Секрету. В лесу уже было совсем темно, когда я подходил к сторожке со стороны «середовины». Секрета не оказалось налицо, а Власьевна даже не повернула головы в мою сторону и только сердито ткнула рукой по направлению горевшего огонька, разложенного под березками, саженях в двадцати от сторожки.

— Мне бы самовар, — попросил я, но Власьевна и на этот раз точно так же не удостои-

ла ответом, а только махнула рукой в прежнем направлении.

Эта немая сцена в переводе обозначала то, что самовар под березками и что Секрет прохлаждается там с какими-то хорошими господами. Оставалось идти под березки — очень веселое и тенистое место днем, — господа весьма «уважали» эти березки. Ночевать летом в избушке Секрета нечего было и думать, потому что там вечно стояла какая-то отчаянная кислая духота, и охотники обыкновенно располагались под открытым небом у огонька.

— В самый раз, вашескородие... прреотлично! — встретил меня Секрет, торопливо вскакивая с земли. — А мы тут с Евстратом Семеновичем чаишко швыркаем и насчет мухи...

Прямо на траве стоял кипевший самовар, тут же торчала початая бутылка водки и какая-то сомнительная снедь в измятой газетной бумаге; огонек едва дымил, отгоняя зудевших в воздухе комаров, а около него, растянувшись на траве, лежал громадного роста «мушина», как говорят горничные. По длиннополому сюртуку, красной рубахе навыпуск

и подстриженным в скобку волосам лежавшего «мущину» нельзя было отнести в разряд настоящих господ, а скорее это был какой-нибудь гуртовщик или прасол. Прислоненное к дереву дешевенькое тульское ружье и развешанные на сучьях какие-то лядунки доказывали несомненную принадлежность «мущины» к лику охотников.

— Они по торговой части, из Пластунского завода, — лебезил Секрет, закручивая усы. — Может, слыхали: Важенин, Евстрат Семеныч?.. Бакалейное и колониальное заведение и галантереи...

— Не ври ты, ради Христа, — отозвался лениво Важенин, не поворачивая головы в мою сторону. — Полфунта чаю да голова сахару — вот и вся наша колониальная торговля...

Важенин тихо засмеялся пьяным самодовольным смехом и сел. Это был видный черноволосый мужчина под сорок; свежее румяное лицо, окладистая черная, как смоль, бородка, белыезубы и певучий грудной тенорок делали его моложе своих лет, и он смотрел настоящим молодцом. Серые глаза, опушенные длинными загнутыми ресницами, замет-

но слипались, потому что Важенин был «в разу» и сильно раскачивался на месте. Это лицо и особенно ленивая улыбка показались мне знакомы, но я не мог припомнить в числе моих знакомых фамилию Важенин.

— Побаловаться чайком, — приглашал Важенин, улыбаясь блаженной улыбкой захмелевшего человека. — А мы вот тут того маненько... разгрызли полштофчик.

Пока Секрет рассказывал, как они «дрызнули» после чая, я успел освободиться от разной охотничьей сбруи и с удовольствием растянулся на траве; около меня улегся мой Бекас, коричневый пойнтер, уставший, кажется, больше меня. Положив свою лобастую умную голову мне на сапог, собака, прищурив желтые глаза, внимательно смотрела на суетившегося около самовара Секрета и с видимым удовольствием нюхала воздух.

— Это ваша собачка? — спрашивал Важенин, когда я уже допивал второй стакан. — Ничего, форменный песик... А вот я, грешный человек, не люблю собак. Вы чему это смеетесь?

— Да так... Извините, нескромный вопрос:

вы из старообрядцев?

— Около того... по родителям-то совсем кержак, а сам-то по себе, пожалуй, и православный. А вы почему подумали обо мне, что я из старообрядцев?

— Потому что все старообрядцы не любят собак...

— Верно, есть такой грех. А знаете, почему не любят-то?

— Нет.

— А потому не любят, что бес являлся многим угодникам в образе пса... Это и в книгах написано.

Мы разговорились, и я окончательно убедился, что где-то встречал этого Важенина, но где — не мог припомнить никак.

— Вы меня не узнаете? — спросил я, наконец. — Я где-то вас встречал, а не помню, где...

Я назвал свою фамилию. Важенин внимательно посмотрел на меня и с улыбкой проговорил:

— Даже, можно сказать, весьма вас помню... Этому уж лет шесть будет, как вы у меня даже в гостях были в Пластунском заводе. Запамятовали? Да и то сказать, что вам и пом-

нить-то трудно этот самый случай, потому как вас ко мне привезли в лежку....

— А, теперь вспомнил, — обрадовался я и тоже засмеялся.

Моя встреча с Важениным была действительно довольно оригинальна. Поздней осенью я был на охоте в горах около Пластунского завода и схватил сильнейшую простуду, кончившуюся плевритом; больного меня отправили на место жительства, и я в первый раз пришел в себя в каком-то совершенно незнакомом доме. Как теперь вижу маленькую комнату с крашеными лавками, я лежал на кровати, а против меня у русской печки сидел вот этот самый Важенин и внимательно смотрел на меня. Помню, что мне ужасно было тяжело — томила жажда, кружилась голова и перед глазами ходили какие-то круги, но одна фраза, сказанная Важениным с какой-то детской наивностью, заставила меня рассмеяться. Смотрел, смотрел он на меня, встряхнул намасленными волосами и каким-то необыкновенно добродушным тоном проговорил:

— А ведь вы, господин, помрете... ей-богу,

помрете!..

Я напомнил этот эпизод Важенину, и мы посмеялись вместе.

— А плохо ваше место было тогда, — говорил он, наливая себе и мне по стаканчику. — Конечно, в животе и смерти один господь волен, а вот и встретились... Может, еще и меня переживете, — прибавил Важенин и грузно вздохнул своей могучей мужицкой грудью. — Мы так думаем по своему разуму, а господь строит другое... Пожалуйте!..

В конце июля летние ночи на Урале бывают особенно хороши: сверху смотрит на вас бездонная синяя глубина, мерцающая напряженным фосфорическим светом, так что отдельные звезды и созвездия как-то теряются в общем световом тоне; воздух тих и чутко ловит малейший звук; спит в тумане лес; не шелохнувшись, стоит вода; даже ночные птицы, и те появляются и исчезают в застывшем воздухе совершенно беззвучно, как тени на экране волшебного фонаря. Что-то такое торжественное и великое чувствуется в такой ночи, которая проходит над спящей землей неслышными шагами, как таинственная ска-

зочная красавица, чарующая все кругом уже одним своим присутствием. Именно была такая ночь, когда мы прохлаждались у Прохорыча под березками. Несмотря на усталость после охоты, спать совсем не хотелось, да и нужно было потерять всякую совесть, чтобы проспать такую ночь, как спал, например, Бекас, свернувшись кренделем около огонька. «Середовина» превратилась в темную сплошную глыбу, затаившую в себе все звуки; по болоту ползал волокнистый туман, сквозь мертвую тишину чуть-чуть проносился какой-то смутный шепот, заставлявший собаку вздрагивать.

Секрет подбрасывал в огонь щепочек, закручивал усы и облизывался, поглядывая на бутылку с водкой.

— Так ты, Евстрат Семеныч, значит, приходишь[52] на свово-то родителя? — спрашивал Секрет, очевидно продолжая разговор, который они вели до меня.

— Приходить не прихожу, а к слову сказать, — уклончиво ответил Важенин, перевертываясь на другой бок. — Рассуди, голова с мозгом: кабы ежели тогда покойный роди-

тель определил меня к Михряшеву, да ведь я бы теперь деньгам счету не знал, а тут изволь по копеечке да по грошику сколачивать... Михряшев-то тогда по заводам страсть гремел — первый человек был, потому деньжищ уйма и везде кабаки и лавки с панским товаром. Приказчиков одних у него двадцать человек было, а он меня еще у Ивана Антоныча видал... Я тогда в казачках при Иване Антоныче состоял, и все, бывало, в передней торчишь, ну, Михряшев бывал у нас и заметил. Денег даже давал, когда под пьяную руку приедет. У Ивана Антоныча разливанное море было, потому прежние заводские приказчики жили не по-нонешнему: вон наши пластунские управителя не живут, а жмутся. Тогда и жалованьишка малюстенные были, а ничего, жили. Ну, Михряшев свой человек был и приметил меня, потому как был я парень чистяк: кровь с молоком. Как-то разговорились они промежду себя пьяные, ну, Михряшев и выпросил меня у Ивана Антоныча, чтобы в лавку посадить. Совсем дело на мазе было, да родитель поднялся на дыбы: не хочу и кончено, потому Михряшев хоша и из наших старооб-

рядцев, а совсем обмиршился и все компанится с бритоусами и табашниками.

— Да ведь и Иван-то Антоныч миршил тоже?

— Вот поди ты... «Ты, говорит родитель, у приказчика служишь в казачках не по своей воле, — потому крепостной человек, — и греха на тебе нет, а как перейдешь к Михряшеву — и грех примешь на душу, — потому своя воля...»

— А ведь оно, пожалуй, и тово, верно сказано-то...

— Уж на что вернее!.. Покойный родитель постоянный был человек и как слово сказал, как ножом обрезал. Он в те поры в заключении находился...

— А все-таки жаль: из-под носу ушло богачество-то, — жалел Секрет, мотая своей беспутной головой. — Все михряшевские приказчики вон как ноне живут: все до единого в купцы вышли, и ты бы вылез, кабы не родитель.

— Беспременно бы вылез, потому Михряшев напоследки сильно ослабел, а приказчикам это и на руку: все растащили... Даже

жаль было со стороны глядеть: Михряшев гуляет, а приказчики волокут из лавок товар сколь мога.

— Экая жалость, подумаешь, а и ты на руку охулки не положил бы, Евстрат Семеныч; пожалуй, еще больше бы других волок...

— Уволок бы, потому я тогда этой самой водки даже не прикасался... Прямо сказать, — настоящим бы купцом сделался.

— Ишь ведь... а-ах, жаль, право, жаль! Кажись, доведись даже до меня экой случай, так я бы не одну лавку уволок у Михряшева-то... — соболезновал Секрет, ерзая по траве.

— Барин-то спит? — шепотом осведомился Важенин про меня, протягивая руку к бутылке.

— Спит... Так, совсем пустой человек: набегается по болоту, ну, и сейчас спать, — рекомендовал меня коварный Секрет.

Они выпили, пожевали какую-то закуску и долго молчали; Важенин был совсем пьян и начинал дремать, но Секрету еще хотелось «дрызнуть», и он, как «прахтикованный» человек, «из-под политики» старался поддержать разговор:

— А где Харитина-то, Евстрат Семеныч?

— Померла нонешним годом...

— Вместе, значит, с Михряшевым?

— На одном месяцу.

— Добрая была душенька, дай ей, господи, царствие небесное! — вздохнул Секрет и даже перекрестился. — Заступалась она за нашего брата, когда Иван Антоныч зачинал лютовать. До смерти бы меня закатал, ежели бы не Харитина... И то замертво в лазарет унесли... Ох, лют был драть покойник!.. Я тогда у кричных молотов ходил, ну, тяну полосу, а Ивана Антоныча и принесло на грех в кричную. Поглядел, поглядел на мою полосу, а она с жабриной, ну, известный разговор: «Ты, миленький, зайди ко мне, как обед ударят...» Троихто нас позвал. Пришли. Он на крылечке этак летним делом сидит, в одном халате, и посмеивается: «Ну, миленькие, обижаете вы меня...» Тут же перед крыльцом меня первого и разложили, два здоровенных конюха у него были, ну и давай прикладывать. Только и драли — из кожи из своей рад вылезти, а Иван Антоныч посмеивается да приговаривает: «Не я тебя, миленький, наказываю, а сам

себя бьешь... Попомни, ангел мой, жабринку-то, да и другому закажи! Еще миленькому-то поднесите горяченьких да харроших... Ну, ангелы мои, постарайтесь!..» Ну, слышу я, что уж из ума меня вышибает, и базлать[53] перестал, а только молитву сотворил про себя, а Иван Антоныч все приговаривает да посмеивается — чистая смерть приходила... Спасибо, тогда Харитина на крыльцо вышла и отняла меня, а то запорол бы насмерть. На рогожке без памяти тогда меня в лазарет сволокли, три недели вылежал... Ведь он тогда в скором времени до смерти запорол Никешку Зобнина, так под розгами и душу отдал.

— Ничего ему не было за Никешку?

— Ничего... все дело замяли, потому какой на Ивана Антоныча в те поры суд — темнота одна была.

— Сказывают, Харитина-то в большой бедности проживала напоследях... И куда, подумаешь, все девалось: у Ивана-то Антоныча вона сколько добра было накоплено — невпроворот!

— Что уж говорить... Только детей после Ивана Антоныча не осталось, умер он наско-

ре, духовной не оставил, ну, Харнтину племяннички и пустили в чем мать родила. Ей-богу... Вместе с Михряшевым бедовала в городу: и тот без гроша и она тоже Жаль глядеть было... Да что еще было: у Михряшева-то кой за кем были должишки в Пластунском, вот он как-то по зиме и соберись — с обратьними ямщиками к нам на Пластунский и прикатил. Шубенка-то на нем плохонькая, сам седой весь, отощал... И что бы думал, братец мой, походилпоходил по зазоду — ни одна шельма ну гроша не отдала, а над ним же, над стариком, потешаются, потому как есть совсем бессильный человек. А те ироды-то, приказчики-то его, даже чаю напиться не позвали старика... Ну, увидал я его и позвал к себе, так он даже заплакал. Ей-богу... «Вот, говорит, Евстратушка, наша судьба человечецкая: весь тут, и стар, и хладен, и гладен!» Переночевал у меня, покалякали... «А я, говорит, на них-то, на иродов-то, не прихожу — в ослеплении, говорит, поступают, а одного жаль, что вот ты тогда ко мне в приказчики не угодил — может, тебе бы тоже польза была, по крайности в люди вышел бы». Ну, и Харитина

страсть как бедовала в городу... на господ платье стирала и этим кормилась. Привезешь ей ситчику на платьишко или чаю — уж как рада была... Худая стала, да все кашляла, — так на работе и изошла вся...

Важенин вздохнул и налил стаканчик; Секрет заметно нагружался и начинал коснеть языком, но он пил до последнего издыхания.

— Хочу я тебя, Евстрат Семеныч, давно спросить... — говорил Секрет после выпивки, — то есть насчет этой самой Харитины... разное болтают... хе-хе!..

— Ну, чего болтают? — грубо спросил Важенин, приподнимаясь на локоть.

— Да насчет тебя, что будто имела она большое прилежание к тебе... хе-хе!.. Ей-богу, вот сейчас провалиться...

— Дурак!!. Я вот тебе такое прилежание покажу.

— Да ведь я так, Евстрат Семеныч... не серчайте... с простоты.

— То-то, с просроты... Знаем мы твою простоту, черт!..

Пауза. Важенин тяжело ворочается; вопрос

Секрета, очевидно, задел его за живое, но он крепится. Опять стаканчик и глухое кряканье.

— Дурак!., черт!.. Разве ты можешь это понимать, образина? — ругается Важенин, сжимая кулаки. — Я тебе такую проволочку пропишу. «Прилежание»?! Подлецы вы, вот что...

— Да ведь я...

— Поговори еще... ну, поговори?.. А ты знаешь, на сколько году Харитина вышла замуж-то?.. То-то вот и есть... «Прилежание»! Дьявола... Ивану-то Антонычу было под шестьдесят, когда он Харитину взял, а ей шестнадцатый годок шел... Из бедных была, ну, старик на ее красоту польстился. На моех глазах все было... Иван-то Антоныч на фабрику уйдет, а она ребячьим делом в куклы играть али ребятишек назовет да с ними давай кувыркаться... Право, черти!.. «Прилежание»... Какой у ней разум в те поры еще был: так, девчонка-девчонкой... А Иван Антоныч не разбирает — свое взыскивает, — потому муж. Сильно они вздорили по ночам, потому у ней еще ребячье на уме, а ему подай свое...

— Бил он ее, сказывают?..

— Бивал... Как-то раз приходит из фабрики, а Харитина заигралась в куклы, да пирогом с осетриной и опоздала — не дошел маненько пирожок-то. А Иван Антоныч уж за столом сидит и свою рюмочку предобеденную налил, ну, она со страхов-то недопеченный пирог и велела подавать... Тронул его Иван Антоныч да сейчас же Харитину за косы и давай обихаживать по всей горнице, — та ревет не своим голосом, а ой приговаривает таково ласково: «Вот тебе, Харитинушка, пирожок с осетриной!.. Вот тебе, ангел мой, еще пирожок с осетринкой... Вот тебе, душенька, и еще... не я тебя, голубчик, наказываю, а сама себя бьешь!» Уж он ее таскал-таскал, колышматил-колышматил, пока не натешился, ну, пирог-то в это время и допекся, а Иван Антоныч обедать... Не красно ей жилось, уж что говорить. Плачет, бывало, как одна останется, рекой льется. Ну, сначала меня стеснялась будто, а потом примне плакала... Убираешь, бывало, со стола или там что, а она сядет в уголок и примется причитать, — тоску такую наведет, хоть самому плакать, так в ту же пору. Конешно, дело наше маленькое: ви-

дишь — не видишь, слышишь — не слышишь... А потом уж стал я примечать, что будто Харитина стала на меня поглядывать, а как встретится глазами, вся всполыхнет. Ну, стала как будто избегать меня и придираться: и то не ладно, и это не ладно, и пошел не так... Мое дело тоже молодое, так и захолодит на сердце, когда мимо идет, а ты стоишь в передней дурак-дураком, как статуй. А надо тебе сказать, что покойный родитель, чтобы я не избаловался, взял да женил меня... Жена-то дома сидит, а Харитина на глазах постоянно, да и куда же жене до нее, потому барыня, одета всегда форменно и обращение свободное и всякое прочее. Глядели-глядели мы так-то друг на дружку, а тут Иван Антоныч куда-то уехал, оставил жену одну, ну, а Харитина меня тогда и заполучила по всей форме: и милый, и ненаглядный, и красавец, и сухой, не пареный... Известно, женская слабость.

— Уж что говорить... обнакновенно... уж тут музыка... А поди, страшно было Ивана-то АнтоныЧа?

— Так страшно, так страшно, что коленки сами подгибаются, как он взглянет... а Хари-

тина, как есть, хоша бы бровью повела: веселая такая стала, и все ей надо помудренее чтонибудь над стариком посмеяться. Под носом у него такие штуки укалывала… Вот, поди ты с этими бабами — чистое помраченье!.. Ночью даже от мужа приходила ко мне в переднюю… и смеется и плачет.

— И поди, подарки дарила… а?..

— Уж это по всей форме: всячины надарит, а я все беру…

— И деньгами, поди?

— И деньгами… Своими руками шелковую рубаху вышила да подарила. Только эта рубаха чуть меня не завела в гору, в медный рудник… Да. Обнакновенно, в доме-то уж начали за нами примечать, кто-то позавидовал мне, ну, и в полной форме Ивану Антонычу лепорт: так и так, миленькаято женушка, Харитинушка, вот какие художества устроила с Евстратушком… Ха-ха!.. Ну, тогда-то и полсмеху не было. Идет раз Иван Антоныч, и такой веселый, я вытянулся перед ним в передней, а он меня прямо за ворот: «Славная у тебя, ангел мой, рубашка… Жена тебе вышивала, миленький?» — «Точно так-с…» — «Славная у те-

бя жена, ангел мой». Ну, и пошел мудрить, пошел наговаривать, а у меня душа в пятки: учуял, старый пес... Только что бы ты думал, братец ты мой, пошел Иван-то Антоныч от меня, пошатнулся и конец — кондрашка его хватил... На третий день преставился. Перед смертью-то пришел я прощаться к нему... узнал и едва так внятно проговорил: «В гору тебя, миленький... в гору». Это он хотел меня сгноить в медной шахте и сгноил бы, кабы господь веку дал.

— Ну, а потом-то как ты с Харитиной?..

— Чего как?.. Чистый ты дурак, Секрет... Она уехала в город жить, а я в Пластунском остался. Когда бывал в городу, захаживал к ней... Только уж тут совсем неспособное дело было.

— Обнакновенно, никакого интересу, потому забеднела Харитина-то... Чего с нее было взять-то!..

— Дурак, совсем не то... Неподходящее дело эта Харитина нашему брату мужику: жидка уж очень собой, в руки взять нечего.

— Ну, а раньше-то имел все-таки прилежание к ней?

— Опять дурак... «Прилежание»?! Тьфу!.. Мы как две цепных собаки у Ивана Антоныча сидели, вот и вышло прилежание, а как попали на волю, даже совестно стало обоим, потому какая же это музыка, чтобы барыня вязалась с мужиком.

Конца этого разговора я уже не слыхал, потому что под шумок заснул и все время видел какой-то безобразный сон: видел Ивана Антоныча, Харитинушку, разорившегося купца Аихряшева и т. д.

II

Перед самым утром пал маленький дождичек, и утренняя охота пропала. Я проснулся уже довольно поздно, когда Секрет орудовал для гостей самовар. Только что откупоренная бутылка водки свидетельствовала о том, что и Важенин и Секрет успели уже опохмелиться; около бутылки стояла деревянная тарелка с дымившимися блинами.

— Долгонько вы таки поспали, вашескородие... — говорил Секрет, обращаясь ко мне. — А мы тут, грешным делом, уж разгрызли по стаканчику.

Важенин молчал, придавленный еще вче-

рашним хмелем; глаза у него были совсем мутные, лицо красное. Он не чувствовал жарившего его голову солнечного луча, который пробивался меж березок. Это место под березками было замечательно хорошо: назади шапкой стояла «середовина», впереди расстилалось болото, окаймленное по бокам синевато-серыми увалами. Умытая росой и дождем зелень смотрела особенно весело, в «середовине» заливались даровые лесные певцы, в болоте слышался подозрительный шорох, заставлявший Бекаса вздрагивать и чутко нюхать воздух. Легкий ветерок проносился над осокой, шептался в березовой листве и пропадал сейчас же; по голубому небу плыла кучка белоснежных облаков, кругливших и надувшихся, как парус. Трава успела просохнуть, и воздух курился ароматными испарениями, пахло лесной душицей, шалфеем, свежей сосновой смолой. Дневной зной усиливался с каждой минутой, и хотелось лежать неподвижно без конца. Налитые стаканы чаю стыли, и Секрет очень обижался этим обстоятельством.

— Вы давно охотитесь? — спросил я мол-

чавшего Важенина.

— Мы-то?.. Да так, пустым делом иногда побалуешься, — уклончиво ответил он. — Ружьишко вот попалось в третьем годе, почитай даром, ну, так вот и шатаешься с ним. В заклад принес его один мастерко, да в полуторых рублях и оставил. С даровщинкой-то оно и любопытно…

— Уж это ты верно, Евстрат Семеныч, — почтительно вторил Секрет, — на что лучше… Вот еще воровское, сказывают, хорошо тоже, особливо насчет собаки или птицы — первое дело.

— А ты пробовал? — иронически спрашивал Важенин.

— Бывало дело… Собачка была у меня, цетерок[54]. Не то чтобы настоящий цетерок, а так смяток. Ну, так я его упер еще щенком, и денег мне он много нажил. Умный такой издался, напрахтиковал я его — любо глядеть, как почнет орудовать по лесу али в болоте. Господа наедут, я его и пущу — всех ублаготворит, и сейчас его у меня покупать. Ну, я его и предал цалковых за десять, а он, цетерок-то, непременно убежит от нового хозяина и

опять ко мне. Раз пять с веревкой прибегал... Раз восемь я его эк-ту, пожалуй, продал.

— Вот это молодец! — похвалил Важенин.

— А то как же, Евстрат Семеныч? Надо же и мне жить, а господам что значит десять-то цалковых: тьфу — и только.

Этот рассказ очень понравился Важенину, и он повторял про себя: «Ловко... отлично!.. Вот так цетерок... Восемь раз, говоришь?» С одной стороны, его радовала непроходимая господская глупость, а с другой — ловкость Секрета приятно щекотала его собственные хватательные инстинкты: это был, очевидно, настоящий кулак, любивший всякую «дешевинку» даже в чужих руках, если особенно дело обделано «мастеровато», как в данном случае. Тип собственно заводского кулака только еще нарождается, и Важенин меня заинтересовал в этом отношении, тем более что в нем к специально кулацким чертам примешивалась еще лакейская крепостная закваска.

— Вы, собственно, чем же торгуете? — спрашивал я.

— А чем придется... больше по заводской части, что простому мастеровому надобно, —

харч, обуй, одежа, бакалеи.

— Выгодно?

— Да ничего... слава богу, жить можно помаленьку. Прежде-то на Пластунском народ зажиточнее был, так торговля хуже шла, потому богатый мужик все норовит в городу купить, в свое время, а у нас так брали — самые пустяки. А как теперь захудали все, к нам...

— Да ведь много торговых у вас в Пластунском?

— Ничего, на всех прохватит... С богатого не много возьмешь, а бедный у тебя весь в руках, потому он и муку аржаную фунтиками покупает. Примерно, пуд муки стоит восемь гривен, а фунтиками продаешь по три копеечки... И чай тоже и сахар. Вообще, который темный товар — большая от него прибыль.

— Какой темный товар?

— А на который цены не знает мужик... даже лучше не надо. Возьмите теперь сапоги или полушубки — на них не много наживешь, — потому цена им вся известная, а бакалея — темный товар, бумага и всякое прочее.

— Как же вы на охоту ходите от торговли?

— Да летом какая наша торговля: самое тихое время. Жена в лавке управится... А я больно вот места люблю, собственно за этим* и хожу.

— Какие места?

— Ну, все места... весьма даже любопытно, потому как здесь совсем особенные места — угодные... В допрежние времена по этим местам сколько разного народу хоронилось, хоть взять из наших старообрядцев... Да вот хоть это самое болото: сколько скитов было поналажено по островам, доступу к ним нету, особливо летом. Ну, старцы и хоронились от начальства: где их в болоте-то найдешь...

— И нынче живут?

— Как не жить — и нынче живут, только далеко, а поблизости всех разорили.

— Да вон на моих глазах скиток сожгли, — заявил Секрет. — Отседова его видать было... вон там налево к увалам островок, так на нем и проживали старцы-то. Ну, зимой их и выследили лесообъездчики, да и выжгли... Попользовались, говорят, всемс и мукой, и медом, и воском, и деньгами. А лучше нет места, как ваши Боровки, Евстрат Семеныч: уж та-

кое место, такое место — на целую округу.

— Древнее место... — задумчиво ответил Важенин. — Еще этих заводов и званья не было, как отцы-то наши прибежали сюда с Выгу-реки. Много таких-то местов здесь... Может, одних угодников сколько спасалось, не говоря о других прочиих людях. Только нынче ослабел народ супротив стариков-то: куда!.. Измотались... малодушие везде...

— А мне ваши боровковские вот где сидят, Евстрат Семеныч, — проговорил Секрет, указывая на затылок, — такие охальники-страсть... Каждую зиму с емя смертно бьюсь за середовину. Больно уж меня донимают...

— Станешь донимать, когда есть нечего... Тоже не от добра лесоворничают. Взять хоть тех же Мяконьких... Вон каких четыре братана[55] чистят народ.

— Уж это что говорить: осетры... Болыпак-от Мишка, вон какой лоб, и проворен, окаянный, ну, и другие ничего — чистые ребята.

Кончив чай, Важенин и Секрет переглянулись между собой.

— Теперь самая пора... — проговорил Секрет, поднимаясь с земши, — залобуем дичины, Евстрат Семеныч, уж я тебе говорю. Она тоже время знает...

— Да какая в полдень дичь? — удивился я.

— А мы найдем, вашескородие... — ухмылялся Секрет. — Вы в город к вечеру али здесь заночуете?

— Нет, в город... Вот только жар спадет — и отправлюсь.

Обвесив себя лядунками и взяв ружья, Важенин и Секрет отправились на охоту, а я из-под березок, где начало сильно припекать солнце, перешел к самой избушке и улегся в тени. Власьевна обещала приготовить обед и накормить Бекаса. Около избушки на завалинке играли ребятишки Секрета, но в моем присутствии заметно стеснялись и все больше смотрели на собаку. Зной все увеличивался, так что становилось тяжело дышать, и я невольно пожалел Власьевну, которая должна была жариться у жарко натопленной печи. Это была бойкая городская мещанка, худая, как щепка, обладавшая способностью вечно быть не в духе; она походя тузила ребя-

тишек и жаловалась встречному и поперечному на свою горе-горькую участь, то есть на своего мужа, который только и знал, что жрать водку и т. д. Громыхая теперь ухватами, Власьевна несколько раз принималась причитать самым отчаянным образом, как причитают по покойнике. До меня без всякой логической связи доносились слова: «погубитель», «наплодил ребятишек, а сам только водку жрет», «ужо вот я тебе покажу, бесстыжие твои шары», «пропасти нет на вас, окаянных», «утямились»[56], «прорвы этакие», «беспременно я утешу» и т. д.

— Кого это ты, Власьевна, бранишь? — спросил я, когда обед был готов и подан прямо на траву.

— Известно, кого... одна у меня винная-то капля!.. — каким-то пришибленным голосом заговорила она, отмахиваясь рукой. — Жисти я своей не рада, барин, вот те Христос, потому для кого я маюсь здесь, в лесу-то?.. Вон он, Секрет-от, какой у меня: склался, только его и видел... И везде-то у него дружки да приятели, и везде он свою водку найдет. Теперь дни на три закатились с Важениным...

— А Важенин часто бывает у вас?

— Заходит по-времю, когда водкой зашибет... Запой у него, вот он и бредет в лес. Пил бы у себя дома, а то нет, в середовину надо, моего Секрета спаивает только... Я ведь их обоих наскрозь вижу, барин, даром что хитры. Вот что... «Мы-ста на охоту...» Тьфу!.. Знаем мы ихнюю-то охоту!.. Ужо вот Мяконькие-то наломят им> бока-то. костей не соберут... Ты думаешь, куда они пошли, охаверники?

— Не знаю...

— Да в Боровки... всё туда шляются. Там у братанов Мяконьких сестра есть, Ульяной звать, так вот Евстрат-то Семеныч и увязался за ей... И девка только: высокая, белая, ядреная, на речах бойкая. Евстрат-то Семеныч вон какой бык — ему и любопытно такую девку омманутъ... Вот и шатаются с Секретом, чтоб Секрет помогал. Тьфу... рассказывать-то про них тошнехонько! Мяконькие-то уж пообещали Евстрату Семенычу шею сломать, так он и подсылает Секрета: придут к Боровкам, Евстрат Семеныч в лесу спрячется, а Секрет и подсылает Ульяну за грибами или за ягодами

идти. Только не та девка... Она и то одинова так отдубасила моего-то Секрета — взяла палку, да палкой и давай его обихаживать, только стружки летят. Одним словом, могутная девка, где же она им живая-то в руки отдастся... ни в жисть!..

— Откуда ты это все узнала-то? — сомневался я.

— Да сам-то Секрет все пьяный и рассказывает, а как прочухается — в отпор... Ох, и жисть только моя, не приведи никому, истинный Христос!.. Подумаешь с подушечкой об этаком! угаре, как мой-от, а ребятишки-то вот они... Секрет-от мой хоша и ослабел насчет водки, а ведь он прост, вот я и боюсь, кабы ему где башку не отвернули.

Местность между «середовиной», деревушкой Боровками и Пластунским заводом действительно в прежние времена представляла самую удобную почву для людей «древлего благочестия», хоронившихся здесь от никонианских властодержцев и «духоборного суда». Но уральские заводы быстро выжгли все леса кругом и загнали раскольничьих старцев в непроходимые болотные места, дебри и раме-

нья, но и отсюда их выкурили, как выкуривают из нор и «язвин» разное зверье. Все это, без сомнения, было очень печально и еще более несправедливо, но печальнее были такие галантерейные фрукты, как Важенин... Воспоминания о несчастной Харитине, искреннее сожаление, что не удалось попасть в число разорителей Михряшева, торговля темным товаром и этот удивительный расчет высасывания последних грошей из заводской голытьбы — все это отлично говорило за себя и совершенно логически заканчивалось запоем и дикой травлей «могутной» Ульяны Мяконькой.

С охоты я вернулся уже поздно вечером. Над городом N. висело целое облако пыли, окрашенное розовым огнем заката.

После картины леса глухой уездный город, с его пылью, пьянством и чем-то таким усталым и щемящим душу, всегда кажется какой-то помойной ямой, в которой несчастные обыватели копошатся, как черви!

III

Года через два мне случилось ехать через Пластунский завод. Стояла глубокая зима, до-

рога была адская — бесконечные ухабы, снежные переметы, — одним словом, все прелести зимнего путешествия по совершенно открытой местности, предоставленной в жертву всем четырем ветрам. Округ Пластунских заводов в Среднем Урале, кажется, единственный по варварскому истреблению лесов на громаднейшей площади в семьсот тысяч десятин, — везде на Урале леса истребляются напропалую, но пластунская дача стоит, без «мнения, на первом месте.

Подъезжая к Пластунскому заводу поздно вечером, когда везде уже в окнах горели огни, я вспомнил про Важенина и велел ямщику ехать к нему, потому что, с одной стороны, не хотелось провести ночь где-нибудь на постоялом дворе, а с другой — меня заинтересовал этот типичный заводский кулак. Пластунский завод-один из самых старинных заводов и залег своими кривыми улицами в глубокой горной лощине, точно спасаясь от разгулявшего по окружающим пустыням) северо-восточного ветра. Найти дом Важенина нам было легко, потому что его лавочку нам сейчас же указал. Мы подъехали к двухэтаж-

ному деревянному домику в три окна — лавка помещалась в нижнем этаже, а вверху было хозяйское жилье. Я послал ямацика спросить, не пустят ли переночевать, и получил утвердительный ответ, хотя предварительно был произведен самый подробный допрос: кто, куда и зачем, как обыкновенно делается в таких случаях.

Только тот, кому случалось по целым дням ехать в тридцатиградусный мороз, когда весь точно оледенеешь и когда от холода больно пошевелиться[57], — только тот поймет то удовольствие, с каким входишь в жарко натопленную избу. Самого Важенина не было дома, а меня встретила старуха, его мать, повязанная широким теплым платком по-раскольничьи, то есть с распущенными по спине двумя углами платка.

— Где Евстрат-то Семеныч? — спрашивал я, с трудом вылезая из двух стоявших коробом шуб.

— Да в волость ушел, родимый, в волость... — ответила высокая, еще крепкая — старуха, пытливо разглядывая меня большими серыми глазами. — Ужо, поди, скоро воро-

тится, давно уж ушел.

Я извинился, что потревожил их своим визитом, и объяснил причины, почему это сделал. Старуха выслушала меня как-то недоверчиво и, вероятно, из вежливости прибавила:

— Как быть-то, родимой, потеснимся как ни на есть, а то кому охота по постоялым трепаться... Городской будешь?

Получив утвердительный ответ, старуха вышла похлопотать насчет самовара.

Дом Важенина хотя и был в два этажа, но внутри был устроен как крестьянская изба: передняя половина, широкие сени и задняя изба. Передняя деревянной крашеной перегородкой делилась на две комнаты — прямо из дверей приемная, гостиная и все, что угодно, а за перегородкой крошечная кухня. Прямо у дверей стояла широкая двуспальная кровать, завешенная ситцевым пестрым пологом; деревянные нештукатуренные стены были обиты дешевенькими обоями, около стен шли широкие, крашенные синей краской лавки, в углу большой зеленый киот с врезанными в дерево старинными медными складнями и осьмиконечным раскольничьим крестом. У

перегородки деревянный шкаф с чайной посудой, под образами крашенный желтой краской стол, на полу тряпичные половики домашнего тканья, на стене знакомое уже мне ружье-дешевка с лядунками, рядом» с киотом небольшая укладка с книгами, ладаном и восковыми свечами, как это бывает во всех раскольничьих домах. Меня удивило только то, что в этой укладке, вместе с псалтырем и часовником, были поставлены с пестро раскрашенным обрезом судебные уставы и еще какие-то «законы», судя по формату, все анисимювских изданий[58].

— Это кто же у вас по части законов? — спросил я, когда в комнату вошла с чайной посудой жена Важенина, немолодая, какая-то опухшая женщина с засыпанным веснушками лицом.

— Да это Евстрат Семеныч в городу накупил... — нехотя ответила она, расставляя посуду на железном чайном подносе. — Да вот он и сам идет.

Из сеней в облаке хлынувшего пара действительно показался сам Важенин в дубленом полушубке и мерлушчатой шапке; раз-

девшись, он положил три поклона на киот и грузно подсел к столу. Завязался обыкновенный в таких случаях разговор: давно ли из города, какова дорога, нет ли каких новостей в газетах и т. д. Таким образом, мы сидели за кипевшим самоваром до седьмого пота, калякая о разных житейских разностях. Со мной была бутылка коньяку, и я предложил дорожный стаканчик Важенину, но он как-то конфузливо махнул рукой и проговорил:

— Трекнулся[59].

— Давно ли?

— Да вот второй год пошел на святках... Ну ее, эту водку!.. Когда это я вас у Секрета-то видел? Никак года два с залишком будет!.. Так. Как раз после Ильина дни я тогда в середовине был... После того еще с полгода занимался этой слабостью, а потом — шабаш!..

— Что так: немножко-то можно, особенно с устатку или с мороза?

— Нет, уж кончено... Хворал я, так зарок дал. Да и то сказать — неподходящее совсем дело.

Мой вопрос, очевидно, задел «трекнувшегося» человека за живое, и он принужденно

замолчал. Самовар потух и только изредка выпускал одну длинную ноту, обрывавшуюся, как туго натянутая нитка; мороз заметно крепчал, заставляя трещать даже старые бревна. По улицам мела жестокая метель, и ветер несколько раз принимался с каким-то стоном завывать в трубе, точно он жаловался, что никак не мог ворваться в этот теплый дом, где все было поставлено так крепко, как умеют ставить только кулаки и сшибай, когда заберут в себя силу. Важенин сидел у стола и задумчиво барабанил пальцами; он заметно похудел и как-то осунулся, в темных волосах серебрилась седина, вообще выглядел обстоятельным, настоящим торгашом. Чтобы поддержать оборвавшийся разговор, я спросил, как идет торговля.

— А что нашей торговле сделается, — неохотно ответил Важенин, встряхивая волосами. — Народ кругом бедует, а нам это на руку... На заводе-то сокращают работу, всё машины ставят, ну, народу большое от этого утеснение, и деваться некуда. То же вот и по деревням: прежде дрова рубили, уголье жгли, металл возили, а нынче тоже сократили и

их...

— Чем же теперь занимаются рабочие, которые остались без дела?

— Разным: кто на приисках старается, кто по лесоворной части, кто так по домашности шишлится... Тесное житьишко подходит, что говорить: всем одна петля-то. Ежели бы еще землей наделили мужичков, так оно бы другой разговор совсем, а то не у чего биться совсем. Обижают землей народ по заводам; всем крестьянам наделы даны, а только одних мастеровых не могут наделить... Двадцать лет как уставные грамоты подписали, а надела все нет — это уж не порядок: ни пашни, ни лесу, ни покосу-все от завода, ежели робишь на фабрике. За каждую жердь попенные взыскивают, пашни отбирают. Ну, заводские еще, худо ли, хорошо ли, около фабрики околачиваются, а взять, к примеру, Боровки — и работы нет, и угодья никакого не дают.

— Что же, хлопочут ваши общественники или нет?

— Как не хлопотать-теперь лет уж пятнадцать стараются, да все толку нет. Да и то ска-

зать: глуп народ-то, прямо сказать — от пня, ну, а там господа всем ворочают. Вон к нам нонче немцев нагнали — везде немец... А все-таки помаленьку хлопочем. Теперь обчество меня ходоком выбрало по этим делам... так уж я хочу, чтобы все по закону утрафить. Закон один для всех, ну, и нам давай по закону, как в прочиех местах. Это прежде темнота была, а ноне закон... Я теперь третий год законы-то почитываю, так там все обсказано, а дело наше со-, всем правое.

Важенин достал из сундука целую кипу разных деловых бумаг и принялся объяснять обстоятельства своего дела, которое являлось в таких сбивчивых и запутанных подробностях, что на первый раз просто голова шла кругом: какие-то памятные записи, копии с грамот и указов, окладные листы, приговоры сельских обществ, сенатские решения, постановления и отвывы по крестьянским делам присутствия — словом, непроходимый дремучий лес всевозможной канцелярщины, и нужно было иметь такую слепую веру в закон, как у Важенина, чтобы надеяться выйти целу и невредиму из этой отчаянной путани-

цы. Я долю перебирал все эти документы и бумаги всевозможного формата, цвета и почерков, точно это была куча осеннего листа, сбитого с всевозможных пород деревьев, но, чтобы разобраться в этой куче, нужно было, во-первых, специальное знание, а во-вторых, — массу свободного времени, и, в-третьих, — беззаветное желание «послужить миру».

— Вы, конечно, обращались к члену уездного по крестьянским делам присутствия? — спросил я, чтобы сказать что-нибудь.

— Было и это-с... Член-то говорит, чтобы обождать, — потому будут межевать, так тогда уж все обозначится, а мы до этого межеванья перемрем, как мухи. Шибко меня уговаривал член-то, ну, как я его припер законом — он только рукой махнул... Даже весьма не советовал, ежели беспокоить высшее начальство, а я ему закон представлял. Это, видите ли, о заводских мастеровых одно дело, а о деревне Боровках другое... Я уж заодно хлопочу об них. Боровки совсем) на особицу пошли — потому как они были основаны раньше Пластунского завода, — значит, и земля у

них своя, а не заводская. Я ведь сам из Боровков и знаю это дело... Первые-то насельники пришли в Боровки в тысяча шестьсот восемьдесят третьем году, когда Пластунского завода и званья не было, ну, и заняли всю землю, значит, земля ихняя. Все с Выгу-реки пришли в Боровки, ну, и пашни пахали, и росчисти делали, и покосы, и всякое прочее крестьянское обзаведенье. И после настоящими крепостными они не были, а только приписаны к Пластунскому заводу в работу, да и земля-то у Пластунского завода посессионная... Вот оно, какая штука получается!..

Напав на тему, мы разговорились — предо мной был совсем другой человек, точно недавний кулак вышел куда-нибудь в другую комнату. Собственно, выражался Важенин довольно темно и постоянно путался в мудреной юридической терминологии, но по всему было заметно, что это был глубоко, убежденный человек, проникнутый сознанием своей идеи. За разговором время пробежало совершенно незаметно, и старушка мать подала ужин; она, видимо, прислушивалась к на-, шему разговору и все вздыхала.

— Вот и мамыньку спросите про Боровки, она отлично знает это дело, — заметил Важенин.

— Как не знать: известно, наша земля... — ответила спокойно «мамынька», степенно оправляя ситцевый длинный передник; она была в косоклинном раскольничьем сарафане с глухими проймами и в белой холщовой рубашке с длинными рукавами. — Все это знают, родимый, только оно сумнительно очень... насчет то есть начальства...

— Ну, это пустяки, мамынька. Мало ли что в прежние времена было, — тогда темнота одна была, а нынче — другое, нынче везде закон, мамынька.

— Закон-то закон, милушка, да вот и покойный родитель... так в заточении и помер, сердешный. Все правды искал тоже... Двенадцать лет в остроге высидел.

Старушка вытерла передником показавшиеся на глазах мелкие старческие слезинки и тяжело вздохнула.

— Ах, какая ты, мамынька!.. — недовольным тоном заметил Важенин и нахмурился... — Покойный родитель был не глупее нас

с тобой...

— Да я, милушка, ничего не говорю... — торопливо оправдывалась старушка, стараясь принять спокойный вид. — Только будто к слову пришлось...

Только распухшая жена Важенина, державшая себя на городской манер, очевидно, была недовольна затеями мужа и не принимала в разговоре никакого участия.

— Я уж наладила там в задней избе гостеньку-то все... — проговорила старушка, когда мы кончили ужин. — Здесь-то негде, так я уж в задней избе.

Задняя изба, только что отделанная в качестве парадной половины, была совсем по-городски: на полу тюменские ковры, триповый диван с десертным столом, венские стулья, два зеркала в простенках, плохие олеографии в золоченых рамах, кисейные занавески на окнах — словом, все было устроено форменно. Постель была мне сделана на полу, около «галанской» печи с герметической заслонкой.

— Уж не обессудь на нашей простоте, — извинялась старушка, провожая меня в заднюю избу, — чем богаты...

— Да не беспокойтесь, бабушка... Все отлично. Благодарю...

— Как не беспокоиться-то... Ох-хо-хо!.. — вздыхала старушка, еще раз взбивая подушки и, очевидно, желая что-то высказать. — Вот что, родимый ты мой, скажи ты мне ради истинного Христа: засадят Евстратушку-то в острог... а?

— Зачем засадят, бабушка?

— Да вот за закон-то за его... Отец-то ведь тоже о земле хлопотал, да так и кончился в остроге, ну, и Евстратушка как бы туда же не утоднл. Вон как он разговаривает... Все жил ничего, все ничего, торговлишку справил, обзавелся, а тут накося — всему попустился. И в кого это он уродился такой-то?

— Вероятно, в отца, бабушка?

— Так, верно, родимый, в отца и евть... Ох, чажало эта родительскому сердцу!.. Уговаривали — пытались, так куда — приступу нет. Жена-то в ногах валялась... Отец-то, Семен-то Евстратыч, такой же вот был неуговор: наладит, что хошь расколись для него тут. Все за Боровки тогда хлопотал, об земле об этой, ну, его в острог-так и сидел по смерть по самую,

а не покорился. Строго прежде-то было, при Иване еще Антоныче: уж он драл-драл Семена-то Евстратыча, голубчика, а ничего выбить не мог. Евстратушка-то, видно, в родителя изгадал... Не взыщи иы на мне, на старухе, за глупый мой разговор: все ведь сердечушко издрожалось.

Я постарался успокоить горевавшую старуху, как умел, и она ушла, охая и причитая об ухватившемся за закон Евстратушке. Заснуть я долго не мог: в комиате было жарко даже на полу, за обоями шуршали тараканы, слышно было, как сам хозяин несколько раз входил и выходил из избы, вероятно задавать корму скотине; метель не унималась и продолжала завывать в трубе, нагоняя тоску.

Это неожиданное превращение Важенина из кулака в человека, решившегося «послужить миру», являлось одним из тех диссонансов, которые в общем житейском омуте както идут вразрез решительно со веер и служат почти неразрешимой загадкой. Откуда? как? почему? С одной стороны, подарки Харитинушки, расчеты на темный товар и общую бедность, чистосердечные сожаления о про-

пущенном случае принять участие в разорении купца Михряшева, а с другой — желание постоять за мир и принесение в жертву этому желанию туго сколоченного, копейка за копейкой, благосостояния. Все это было непримиримым противоречием, и негде было искать того переходного критического момента, который должен был существовать. Даже прецедент в виде сгнившего в остроге родителя, Семена Евстратыча, по общечеловеческой логике не мог служить особенно побудительной причиной повторить ту же историю вторым изданием, хотя, конечно, знаменитого Ивана Антоныча давно уже не было на свете, и прежняя крепостная темнота сменилась новыми порядками. Вся эта история казалась такой невероятной, что я даже усомнился в искренности намерений Важенина и с этой мыслью уснул в его кулацком гнезде, уснащенном и венской «небелью», и «зеркалом», и разной другой благодатью, наверно купленной по случаю в полцены.

Пластунские заводы представляют интересную страничку в истории Урала. Первый, так называемый Старый завод основан был

на реке Пластунье в половине восемнадцатого века, когда на Урале заводы росли, как грибы, десятками. Место под заводы было выбрано чрезвычайно удачно: богатые руды, дремучие леса, несколько горных рек, удобных для запруды, — все условия точно нарочно сгруппировались в интересах вящего развития заводского дела. И действительно, новые заводы пошли бойко в ход и стали приносить своему основателю миллионные дивиденды. Этот первый заводчик, по фамилии Кученков, выбился в большие люди из полной неизвестности и целую жизнь работал за четверых. Впрочем, приблизительно такова история возникновения почти всех уральских горных заводов, за исключением) казенных, где были свои порядки. Как все первые уральские заводчики, Кученков обладал самой завидной энергией, хорошо понимал свои интересы и специально заводскую часть и, как все первые уральские заводчики, не церемонился с рабочими, а в случае ослушания расправлялся с ними зверски.

Кученков, в смысле типичности, был замечательный человек: ходил в полушубке и в

валенках, с завода на завод переезжал часто с «обратьними» ямщиками, вообще жил крайне просто и только любил щегольнуть перед начальством. Наследники Кученкова начали с того, что разделились: один взял заводы, другому выделили часть деньгами, третий получал известный дивиденд и не вступался ни в какие дела. Все трое жили или в Петербурге, или за границей, безобразничая напропалую. Внук Кученкова, к которому перешли заводы, получил воспитание в Париже, под влиянием какого-то иезуита, и до конца своей жизни не мог научиться говорить правильно по-русски, хотя жил набобом и уронил заводы окончательно, опутав их неоплатными долгами. Никакое крепостное право и никакие Иваны Антонычи не могли спасти падавших заводов, и они сейчас после воли за казенные долги перешли в опекунское управление, где всем делом верховодила сплоченная кучка горных инженеров. Эти опекуны повели дела чрезвычайно ловко и в видах «усиления заводского действия» разными «хозяйственными способами» увеличили казенный долг вдвое, так что в конце концов Пластунские

заводы пошли с молотка и достались какой-то сильной иностранной компании.

Владычество новой компании началось с того, что на смену старых доморощенных управителей и служащих была выслана настоящая армия «немцев» и заведен был в делах чисто немецкий бесконечный порядок. На одном Пластунском заводе было восемьдесят человек служащих, из которых шестьдесят пять были «немцы», а пятнадцать из старых заводских служащих.

Конечно, эти немцы разобрали самые лучшие места: главный управляющий Фридрих Баз (Секрет называл его «Бац») получал двадцать пять тысяч годового жалованья, за ним следовал помощник главного управляющего Копачинский, заводской управитель Бадер, заведывающий канцелярией Берх, главный бухгалтер Баль, начальник контроля Банг, заведывающий хозяйственным отделением Барч, главный лесничий Бартельс, инженер по разным поручениям Адельсон, главный врач Абрагамсон, главный кассир Аншельзон, и т. д., и т. д. Русские фамилии жались на самых последних ступеньках этой канцеляр-

ской лестницы — писцами, дозорными, запащиками и тому подобной мелкой сошкой, даже не имевшей подчас названия своей должности, — так она была мелка и ничтожна. Заведение такого образцового порядка являлось только одной стороной дела, за которой непосредственно выступала вторая, правда, логически связанная с первой, — это целая система хозяйственных сокращений и урезок в мелочах, в маленьких должностях и особенно на рабочих. Была введена артистически выработанная система вычетов и штрафов, подробные правила, как ходить и дышать, и этот аптекарский способ экономии на первых же порах дал самый блестящий результат.

Рабочие, прижатые всевозможными правилами к стене, скоро поняли, в какую попали западню, и протестом! с их стороны послужил так называемый «книжечный бунт». Новая администрация завела расчетные книжки, и вот эти книжки послужили яблоком раздора, потому что какие-то темные личности заказали накрепко не брать этих книжек ни под каким видом.: кто возьмет такую книжку — превратится опять в заводского

крепостного. Свои начетчики и грамотеи указывали на заводскую печать на книжках, как на «антихристов знак», — одним словом, разыгралась самая печальная история, потребовавшая даже приостановки на некоторое время заводского действия. Все это происходило в таких смешных формах, что призванная к содействию власть не нашла никакой возможности прибегнуть к энергичным мерам, практикуемым в таких случаях. Когда улеглось первое волнение, дело уладилось само собой, и книжки пошли в ход, хотя старухи раскольницы пророчили малодушествовавшим рабочим, по меньшей мере, геенну огненную. Конечно, со стороны этот «книжечный бунт» кажется только смешным, но он имел за себя очень веские основания: кабала явилась, хотя и не со стороны «антихристова знака». Меня особенно удивляла та единодушная ненависть, с какой пластунские обыватели относились к новой немецкой администрации: это было тем более удивительно, что эти же самые обыватели относились почти без ненависти к зверствам какого-нибудь Ивана Антоныча, поровшего рабочих прямо

насмерть.

Даже такой независимый человек, как Важенин, и тот чуть не оправдывал зверства вечно улыбавшегося крепостного управителя.

— Помилуйте, тогда кругом темнота была, — объяснял Важенин, встряхивая волосами. — Разве бы Иван Антоныч стал зверствовать, ежели бы не тогдашняя темнота?.. На других-то заводах не лучше нашего было. А все потому, что с управителей спрашивали: подай столько-то дивиденту, хоша расколись. Ну, и драл Иван Антоныч... тоже ему не свою спину было подставлять за нашего брата. А нынче совсем другое дело: господам закон и нам закон... да. Им ихнее, а нам наше... Конечно, немцы теперь большую силу забрали, а только старинные люди говорили так: «Клоп клопа ест, последний сам себя съест».

В этой запутанной и перепутанной истории было замечательно особенно то, каким способом, при расстроенных заводских делах, получались сравнительно высокие доходы. Секрет, как все великие открытия, был очень прост: заводская администрация не делала никаких нововведений, не заводила ничего,

что пахло большими издержками, и даже на ремонт списывала самые незначительные суммы и благодаря такому хозяйству возвышала доход. Кроме печей Сименса и горячего дутья, не было капитальных усовершенствований, да и эти новинки были устроены только ввиду самой настоятельной и вопиющей нужды в древесном топливе, на котором исключительно работают все уральские заводы. Собственно, эта система практикуется и на других заводах, и было уже несколько примеров полного краха целых заводских округов, но разорившие таким образом заводы главные управляющие получили свои десятки тысяч — «что и требовалось доказать», как говорится в учебниках математики. Роковым вопросом, conditio sine qua non[60] для всех уральских заводов является переход с древесного топлива на каменный уголь, но все заводы тянутся из последнего, чтобы хотя на неделю отсрочить неизбежное решение этого вопроса, потому что такой переход потребует сразу громадных затрат на приспособление всех огнедействующих заведений к употреблению каменного угля, а это неизбежно отра-

зится на количестве получаемого дохода с заводов, — какой же управляющий решится не только взять на свою ответственность подобный риск, но даже просто посоветовать владельцу. Это было бы двойным самоубийством: лишить заводовладельцев их доходов и, главное, лишить самих себя министерских окладов. Остается только идти вперед до последнего полена дров, что и практикуется всеми заводчиками в одинаковой мере.

Таким образом, вопрос о лесе является в уральском горнозаводском хозяйстве самым больным местом: заводы увеличивают свою производительность, параллельно идет уменьшение лесных дач, и впереди полный крах. Но упорное нежелание переходить на минеральное топливо имеет еще и другую сторону: все заводчики вопиют о недостатке лесов, и поэтому замедляется надел заводского населения землей, потому что такой надел Должен ipso facto[61] уменьшить лесные дачи. Этим путем аграрный вопрос на Урале получил совершенно особенные Осложнения и в недалеком будущем должен повести к очень печальным недоразумениям. Труд-

ность размежевания увеличивается еще и тем обстоятельством, что, кроме частных и казенных земель, сотни квадратных верст принадлежат своим владельцам на посессионном праве, которое само по себе является почти неразрешимой юридической загадкой. Пластунские заводы в этом случае были не лучше и не хуже других посессионных заводов, хотя и с некоторым специальным «букетом» в виде «сплошного немца», как выражался Секрет.

IV

На другой день утром, когда я пил чай в задней избе, туда вошел Важенин, огляделся, припер дверь поплотнее и присел к моему столу с видом человека, который желает что-то сказать, но не решается.

— Погодка-то как будто успокоилась... — тянул он, заглядывая в окошко. — Вот все я собираюсь как-нибудь внутренные ставешки наладить, железные... Очень даже это способно по нашему делу, а то неровен час — пошаливают у нас на Пластунском: недавно четверых зарезали. Вот этак же во втором этаже: намазали медом лист бумаги, прилепили к

стеклу, выдавили и в лучшем виде залезли...

Поговорив о разных пустяках и еще раз оглянувшись кругом, Важенин достал из кармана своего длиннополого сюртука вчетверо сложенный лист и, развернув его, подал мне. Бумага начиналась стереотипной фразой: «Во имя отца и сына и святого духа. Находясь в здравом уме и твердой памяти, я при живности своей» и т. д. Это было форменное духовное завещание, составленное Важениным на имя жены Платониды Васильевны, причем он отказывал ей все движимое и недвижимое, с условием, чтобы она по смерть «воспитывала» старушку свекровь, оказывала ей «всякую покорность и почтение». Завещание было подписано тремя душеприказчиками.

— Все форменно? — шепотом спрашивал Важенин, оглядываясь на двери. — Ежели в случае, например, меня сцапали бы, как родителя... Не отберут от жены-то дом и лавку?

— Да зачем вас сцапают?

— Ну, так, я это к примеру только... Форменно все?

— Нет, не совсем форменно... Это духовное завещание составлено домашним образом и

может всегда возбудить спор со стороны родственников, племянников, например, а чтобы окончательно обеспечить себя — вы засвидетельствуйте это же завещание у городского нотариуса.

— И тогда уже форменно будет? То есть ни под каким видом, чтобы племянники… как вон Харитину пустили по миру?

— Да вы напрасно беспокоитесь, Евстрат Семеныч: никакой опасности нет.

— Уже вы, пожалуйста, не говорите такие слова, — шепотом отвечал Важенин, придвигаясь ко мне ближе. — Были уж такие случаи-то… Ей-богу! На …ских заводах этак же мужичок вздумал хлопотать насчет земли, ну, его сцапали, да и выслали административным порядком тысячи за две верст. Это как? Все под богом ходим… Меня-то высылай, да только жену, да вот мамыньку не тронь. Про себя-то я уж порешил… Будет уж мне… да.

— Чаю не хотите ли?

— Благодарствуйте, я уж напился… По-деревенски рано встаем, да и сну у меня нынче настоящего не стало! Вертишься-вертишься ночь-то.

— Вероятно, нездоровы?

— Нет, ничего, слава богу, не могу пожаловаться, а так... от мыслей. Раздумаешься да раздумаешься...

— Послушайте, Евстрат Семеныч, меня удивляет, как это вы так вдруг... переменились?

Важенин внимательно посмотрел на меня и улыбнулся.

— Да и сам я дивлюсь... — ответил он после короткой паузы. — Так уж, видно, кому что на роду написано. Видите ли, случай тут был... Долго, пожалуй, рассказывать-то.

Для безопасности Важенин припер дверь на крюк, подсел опять к столу и заговорил:

— Помните, тогда встретились в середовине-то у Секрета? Пировал я тогда до неистовства... страсть пировал. Ну, известно — мужик могутный из себя, недели две без просыпу закачиваешь. А охота, это уж другое... Оно одно к одному, пожалуй, шло. Про Боровки-то, чай, слыхали? Мы с Секретом будто на охоту уйдем, а сами в Боровки и закатимся. Есть там четыре братана Мяконьких, а у них есть сестра Ульяна... Только и семейка:

здоровенные все, могутные, красавцы, а всех лучше эта самая Ульяна. Мы ведь тоже из Боровков, и я эту самую Ульяну махонькой еще знал, а как выросла высокая, да широкая, румяная, руки у ней, ну, одним словом, богатырь-девка.

И на речах при этом очень бойка, да и веселая-развеселая — только слушай... Ну, и запади эта самая Ульяна мне в башку: думаю об ней день и ночь, и шабаш. По душе пришлась... Ну, уж я около Ульяны и так и этак — ничего не берет. На заводах-то у нас балованный народ, и насчет женского полу даже весьма свободно, а тут не дается девка в руки, и меня уж озарки взяли, себя не помню, как другой бык, например. Здоров я был, ну, кровь-то как заходила — смерть... Уж я гонял-гонял Секрета с гостинцами и с подарками — толку все мало: возьмет, поблагодарит, а настоящего дела нет. Все мне хотелось Ульяну в лесу где-нибудь взловить, когда она по ягоды пойдет, — так нет, дошлая, шельма, не идет в лес. Кружили мы таким! манером, кружили с Секретом, дело хоть брось. Зима наступила, слышу — сватают Ульяну... После

рождества свадьба. Меня это из ума вышибло: будет моя Ульяна... Подослал к ней Секрета выспросить, а Ульяна и говорит ему: «Кланяйся Евстрату Семенычу... люб он мне, да не умел взять девку, а теперь братаны замуж отдают». Запировал я пуще прежнего, а тут и святки на носу... Ну, и укололи мы с Секретом штуку!.. Тоже придумали: напоим, мол, всех четырех братанов и Ульяну выкрадем. Ей-богу... чистое зверье какое-нибудь, такое рассуждение имели. Хорошо. Была у меня лошадка припасена нарочно для этого случая — невеличка из себя, а так бегала, так бегала — стрела, а не лошадь. Ну, этого бегунчика заложили в кошовку, поставили ведро водки и сейчас в Боровки, к Мяконьким... Они по лесоворной части, и я прикинулся, что сруб мне надо поставить. Давай мы пировать в избе у Мяконьких — праздничное дело... А Ульяна тут же в избе вертится и будто сном дела не знает. Ну, удовлетворили мы братанов так, что ухом по земле. Выхожу я в сени, свистнул Секрета, а он мне и говорит: «Ульяшка-то убежала...» — «Куда?» — «Да куда, говорит, ей убежать, здесь где-нибудь в деревне же, не ве-

лико место». Отправились мы искать ее и, точно, на вечорке нашли в одной избе, и как была в одном сарафане, так мы ее и заполучили, завязали рот платком да в кошовку: трогай в середовину... Секрет на козлах, а я снял с себя шубу и в шубу завернул Ульяну, чтобы не замерзла. Сначала сильно билась, а потом присмирела и сидит вроде как деревянная. Ну, а там, в Боровках-то, все на ноги, сказали братанам, те кое-как прочухались и сейчас на лошадей: два брата по дороге в Пластунский завод погнали, а двое в середовину к Секрету. Место тоже не близкое, едем мы и слышим, что за нами погоня, а у Мяконьких кони первые по деревне — потому по лесоворной части это первое дело. Тут уж и моя Ульяна всполыхнулась: «Ох, убьют тебя братаны... дай. я лучше убегу в лес, тогда им нечего с вас взять». — «Куда ты, говорю, дура, в лес пойдешь, когда везде снег по пояс... Оборонимся, говорю, да и середовина недалеко...» Совестно тоже загородиться девкой-то: наша вина — наш и ответ. А погоня все ближе... Видим, наша лошадка из сил выступает, тоже трое нас, чертей, — добрый воз. Не доехали мы до сере-

довины будет — не будет с версту, как братаны Мяконькие налетели на нас... Ну, повернули мы лошадь поперек дороги, у меня с собой оборонка была маленькая, леварверт-кулачок, шестицволый, значит — и пошла свалка. Нагнали нас двое братанов: большак Мишка и середняк Прошка — и приняли нас в стяги... [62] Выпалил я разика два, а потом как царапнули меня стягом по плечу — кулачок вылетел... Ну и били они нас — страсть!.. Сначала все стягами, а потом по дороге за волосы да топтать... Здоровенный народ, чисто два медведя из берлоги вырвались. Помню только, как перво меня полыхнули стягом по правому плечу, а потом по крыльцам. Так замертво нас бросили в кошовку, понужнули лошадь, ну, она нас и предоставила прямо к Секретовой сторожке, — потому дело знакомое. Ну, очнулся я у Секрета в избушке и не думал, что жив останусь: ни рукой, ни ногой, ни шеей повернуть, а рожа, как чугунный котел. И Секрет тоже в лучшем виде... Одним словом сказать, братаны Мяконькие чистенько свое дело сделали...

Важенин перевел дух, встряхнул волосами

и даже засмеялся, вероятно от удовольствия, что братаны Мяконькие очень уж «чистенько» поучили его с Секретом.

— Ну, привезла меня Власьевна прямо к жене: «на, получай любезного супруга», и, натурально, все дело ей начистоту выложила... Мамынька ревет, жена ревет, а я лежу и пальцем пошевелить не могу. Позвали этого доктора, Абрагамсона, поглядел-поглядел он на меня и только головой покачал: «Ловко, говорит, устряпали... это, говорит, не человек, а котлетка». Ей-богу, так и сказал... Не стал и лечить, все равно, говорит, помрет; ну, так мамынька догадалась, сгоняла за одной старухой и предоставила ей пользовать меня... Уж и принял я только муки от этой старухи: в баню да в баню, да травами меня натирать, да мазями мазать, да пластырями облепила, да поит какой-то такой дрянью, что с души воротит. Ну, известно, дело смиренное мое было: что хотят, то и делают — ихняя воля вполне, потому как я ни рукой, ни ногой, все равно. И ведь отлежался... три месяца вылежал, а все-таки стал на ноги. Ну, шея с год не ворочалась, а потом ничего, отлежался, только вот к

ненастью каждая косточка ломит да ноет. Нарошно после сходил к этому самому Абрагамсону и отрекомендовался в полной форме, так он только ахнул: «Ну, говорит, вы, подлецы, из котельного железа, надо полагать, сделаны... Поглядел бы, говорит, ты на себя-то, в каком ты, например, образе был: весь под один пузырь и при этом чернее опойка... Кто это тебя так уважил?» — «Есть, говорю, ваше благородие, добрых-то людей...»

Важенин опять засмеялся и прибавил:

— Секрет скорее мого выправился и все водкой: и снаружи водкой мазался и внутрь принимал... Ему все-таки меньше моего досталось, потому он только так, под руку подвернулся. Потом меня проведовать приходил, пес, да моя жена его в три шеи... известно, женская часть, тоже обидно...

— Ну-с, так вот, например, когда я лежал, все мне проволоки представлялись, — продолжал Важенин после небольшой передышки. — И не то чтобы настоящие проволоки, а вроде как мысли у меня в голове проволоками тянулись... Ей-богу! Лежу я в собственном доме, на своей кровати, ходит за мной моя

собственная жена, и я слышу, как она вздыхает... Должон был я восчувствовать себя подлецом али нет? Даже очень восчувствовал: не только подлец, но и душегуб... Еще господь сохранил, а то бы прощай, Ульяна. Вот до чего дошло!.. И стал я думать, стал думать. Как-то этак забылся немножко, открыл глаз, а она стоит передо мной...

— Ульяна?

— Нет, Харитина Петровна... значит, жена Ивана-то Антоныча, у них я в казачках состоял. И с чего приснилось, подумаешь! Гляжу, а за ней покойный мой родитель, Семен Евстратыч, стоит... Вот как сейчас я их вижу! Она-то такая молоденькая да жиденькая, какой замуж вышла, смотрит это на меня таково жалостливо и головкой качает, а родитель глядит куда-то вбок, потому совестно ему за меня, так надо полагать. Постояли и ушли — только и всего... Ну, тут-то я и понял, зачем ко мне родитель-то приходил. Кровь это сказалась, надо выкупать родительскую кровь. Все мне так ясно сделалось вдруг... Как я жил-то до этого случая? Какие у меня мысли были в голове? Обмануть, да пировать, да за девками

гоняться, да из-за этих же девок чуть смертного часа не получил. Ведь это что же такое, если разобрать: родитель-то живот свой положил за правду, а я душегубством занялся. Наколотил всяким обманом копейку, ел сладко, пил, спал вволю, ну, накопил дикого-то мяса и давай дурить... Еще как выжимал, бывало, каждый грош из тех, кто победнее, потому придет такой бедный человек в лавку — он весь твой. То удивительно, что мне приятно было содрать с него этот вот самый распоследний грош, чтобы он, например, чувствовал, каков я человек есть. Тепло, светло, сытно — сидишь себе в горнице да радуешься, на дворе стужа, клящий[63] мороз, а тебе еще приятнее, — потому, как в это время беднота колеет да зябнет. Жену постоянно обманывал, да еще Ульяну чуть не загубил из-за своего дикого-то мяса... И все-то было мне мало, все завидовал, как другие богатые купцы живут. Ей-богу, совестно даже рассказывать... От этой самой подлости и пировал. Ну, а как пришел я в себя, сейчас же себе зарок крепко-накрепко дал: первое, чтобы вина ни капли, а второе, что ежели господь подымет на

ноги — беспременно родительскую кровь выкупать и охлопотать мужичкам землю. Отцы-то наши какую муку принимали за старую веру. Прибежали сюда, место было совсем дикое, зверовое — опять ихними же трудами все устроилось. А мы как живем? То-то вот и есть... Конечно, оно жалко, когда подумаешь, что надо вот все это бросать... жена ревет, ну, да как-нибудь. Вот меня только эта самая духовная весьма беспокоила, а теперь к нотариусу, и шабаш.

Мы расстались друзьями. Важенин вышел проводить меня на улицу и долго стоял за воротами без шапки, заслонив глаза рукой. Мне сделалось очень грустно, когда я припомнил слова Важенина: «Одно плохо: грамота-то наша больно дубовая, надо, значит, к адвокату обратиться, например, а уж эти адвокаты... Ах, кабы не темнота-то наша, кажется... ну, да что об этом толковать!..» Моя почтовая пара тащилась по узким кривым улицам, уставленным старинными дворами, каких уж нынче не строят: высокие коньки, свесы под окнами и на воротах с узорчатой прорезью, шатровые крыльца — все это было поставлено

крепко и плотно, как нынче не ставят изб. В центре завода разлегся довольно большой) пруд; на одном берегу стояла каменная церковь, у плотины в березовой роще потонул старинный господский дом. Он был выстроен в один этаж, как строились старинные помещичьи дома; маленькие окна вот уже пятьдесят лет как добродушнейшим образом смотрят кругом, как умеют смотреть очень хорошие старички, а между тем сколько драм разыгралось за этими окнами, когда царил Иван Антоныч... Сколько народа было перепорото насмерть, а Иван Антоныч любовался из окошечка на экзекуцию и приговаривал: «ангел мой», «миленький», «голубчик». Тут же и томилась, и чахла, и обманывала Ивана Антоныча «душенька» Харитинушка, вероятно, скоро выучившаяся печь «пирожки с осетринкой», и тут же стоял казачок Евстратушка в дареной шелковой рубахе.

Теперь в старом господском доме, полном еще крепостными слезами и напастями, поселился «сплошной немец», сразу напустивший сухоту на тридцатитысячное население всех Пластунских заводов, и «быша последняя гор-

ше первых». Вон на горке строят новые дома — это тоже для представителей высшей заводской администрации, которая быстро доведет заводы до полного краха и пустит население по миру, но — прежде чем доведет до этого — будет вытягивать правительственные субсидии, будет хлопотать о повышении пошлин на привозимые из-за границы дешевые металлы, будет донимать рабочих штрафами и т. д. Очень и очень невеселая картина.

— А знаете, сколько мы нынче взяли за кабаки-то? — говорил Важенин, уже стоя за воротами. — Двенадцать тысяч целковеньких... Давно бы нечем было платить подати, ежели бы, спасибо, кабаки не выручили: ими, можно сказать, только и держимся.

V

Важенин действительно начал дело о неправильном завладении Пластунскими заводами землей, принадлежащей деревне Боровки, постоянно приезжал в город, ходил по адвокатам, собирал какие-то справки, ездил в губернский город Мохов за какими-то таинственными документами, писал какие-то «копии, с копии копии» и опять исчезал. Заходил

он ко мне раза два «перевести дух», как говорил, садился в уголок и, оглядываясь, подавленным шепотом рассказывал свое хождение по мукам и мытарствам.

— Адвоката, слава богу, приспособил... — говорил он с счастливой улыбкой. — Ваше, говорит, дело правое, только сперва пожалуйте на пошлины и гербовую бумагу, вообче предварительные расходы. Очень обходительный человек и притом: пасть... По фамилии: Человеколюбцев.

— Кто вам его рекомендовал?

— Да уж я об них обо всех стороной наводил справки и вызнал вполне...

К особенностям Важенина принадлежала чисто мужицкая черта: величайшее недоверие к господам, даже совсем не заинтересованным в деле, как я, например. Он везде стал видеть подвох и обходил все рекомендации и советы, как очень опасные подводные камни: ему нужно было вызнать непременно самому, притом через каких-то темных «своих» людей, которым он доверял.

Пластунская заводская администрация с своей стороны тоже зашевелилась: и Баз, и

Берх, и Барч, и Адельсон — все приняли участие в завязавшейся борьбе, как гудит шмелиное гнездо, когда в него ткнут палкой. Прежде всего, конечно, «сплошной немец» тоже поехал наводить справки, писать котши, собирать документы и, пользуясь удобным случаем, увеличил свою канцелярскую лестницу еще одной ступенькой, заграфленной под названием «Юрисконсульт Пластунских заводов», и на эту лесенку сейчас же влез присяжный поверенный N-ского окружного суда Бартельсон, который сделался таким образом естественным противником Человеколюбцева, тоже состоявшего при N-ском окружном суде в качестве присяжного доверенного. Словом, каша заварилась.

— А мы все-таки покажем им, как лягушки скачут... — говорил Человеколюбцев, человек очень строптивого и неуживчивого характера.

Человеколюбцев действительно повел дело самым энергичным образом, для первого раза совсем растворился во всех этих указах, данных, купчих крепостях, справках, протоколах, сенатских решениях, окладных листах,

специальных планах и т. п., так что поддерживал свои слабевшие силы только тем, что в течение суток выкуривал полфунта табаку. Он несколько раз ездил в Боровки и производил осмотр самого места, из-за которого вышло все дело, а также вызвал официальный осмотр его от лица гражданского отделения N-ского суда. Но пластунская администрация тоже не дремала и даже хотела предупредить Человеколюбцева по части науки о скачущих лягушках, — она послала через урядника в надлежащее место довольно безграмотный донос на Человеколюбцева, который в качестве «странствующего неблагонамеренного адвоката» обвинялся в том, что он, Человеколюбцев, из-за корыстных видов возбуждает тлетворное волнение доверчивых умов, за что и заслуживает немедленного удаления в соответствующие прохладные Палестины. «Надлежащее место» навело справки, но Человеколюбцев оказался не только сыном отечества, а даже великим патриотом: в N-ске не было лавки и магазина, где он не был бы должен, затем выяснилось, что решительно все — даже гораздо больше, чем все, что он

получал от своих клиентов, — он немедленно провинчивал, и, наконец, что у него в разных судах накопилось двенадцать дел о незаконном присвоении чужого имущества и подлоге в разных формах. Один остроумный чиновник особых поручений где-то сострил, что даже душа у Человеколюбцева взята где-то в долг и давно просрочена. Невинность Человеколюбцева была очевидна, и дело пошло своим порядком.

— Вот возьми-ка его, Аристарха-то Аристархыча, — торжествовал Важенин, оказавшийся очень проницательным человеком!. — Уж это такой человек, такой человек, что его ни с какого боку не уколупнешь: весь в щетине...

Бартельсон был несколько иного мнения о Человеколюбцеве и терпеливо ждал судьбища. N-ское общество приняло самое живое участие в этом деле, сейчас же разделилось на партии и в день суда наполнило собой почти всю залу гражданского отделения N-ского окружного суда, которая в обыкновенное время стоит совсем пустая или «черная» публика заходит в нее только погреться.

Мы не будем утомлять читателя подробностями всего происходившего в суде. Скажем только, что левую половину скамеек для публики занимали Баз, Берх, Барч, Адельсон а их сторонники, а правую — Важенин, четыре братана Мяконьких, знакомый уж нам Секрет и еще несколько любопытных, явившихся сюда из того любопытства, которое некоторых людей неудержимо тянет на пожары вообще к каждому месту, где собралась какая-нибудь публика. Бартельсон и Человеколюбцев стояли пред судом и усиленно строчили на своих пюпитрах с задумчивым видом людей, решившихся пожертвовать собой для общего блага. Пока шло чтение доклада, продолжавшееся битых часов шесть, я рассматривал Важенина и братанов Мяконьких, которые представляли собой в высшей степени типичную группу.

Глядя на братанов Мяконьких, я долго старался припомнить, где я раньше видал этих богатырей, настоящих людей «от пня», как выражался Важенин, — но память «захлестнуло», и конец. А между тем эти страшные руки, крепкие, как столбы, затылки, эти совер-

шенно невероятные спины и могучие груди так были знакомы, точно вот я их видел где-то на днях. Каково было мое удивление, когда я, наконец, припомнил все: да ведь эти братаны точь-в-точь как те библейские братья, которые нарисованы во всех священных историях для детей — убийство Каином Авеля, сцена, как продает Исав за чечевичную похлебку свое первородство Иакову, продажа Иосифа братьями измаильтянам..: Положительно это они: такие же библейские руки, спины, затылки, ноги. У меня стояли в ушах слова благословения, которое дал престарелый Иаков библейским сыновьям!: «Ты, Рувим, первенец мой — ты крепость моя и начаток силы моей... Иуда, рука твоя на хребте врагов твоих...» Нужно было видеть, как теперь эти «рослые теревинфы» напрягали все свои силы, чтобы понять все происходившее у них перед глазами, — они делались жалки в своей физической силе, которая была придавлена их темнотой, как тяжелым камнем. Вот большак Михалко в сотый раз вытирает капающий с лица пот, точно на нем целый воз привезли; середняк Мяконькой сдвинул бро-

ви, наморщил лоб, уперся глазами в «суд» да так и застыл в одной позе; меньшаки потели, вздыхали и всё смотрели на спину Человеколюбцев а, который во фраке, в белом галстуке и в золотом пенсне был положительно великолепен. Важенин сидел впереди у самого барьера и ужасно походил на тех великопостных причастников, которые с благочестивым спокойствием ждут своей очереди; для него никого и ничего не существовало, кроме того, что было перед барьером. Меня поразило именно это спокойствие, которым дышало не одно лицо, а вся фигура Важенина, — не было больше ни прежнего недоверия, ни скрытного искательства, ни страха, потому что он один знал здесь, зачем он пришел сюда и что он прав. Именно, прав, и это сознание делало его неизмеримо выше торжествовавших заранее противников: он переживал великий психический момент, когда человек делается рабом известной идеи и больше не знает сомнений.

Сидевший рядом с Важениным Секрет был под хмельком и больше зевал по сторонам, время от времени закручивая свои тараканьи

усы чрезвычайно молодцеватым жестом. Он часто оглядывался к братанам Мяконьким, глупо подмигивал и делал какие-то необыкновенно таинственные знаки посредством пальцев. В суде Секрет был как у себя дома, потому что чувствовал непреодолимое тяготение ко всяким господам, — это был пропащий человек, счастливый собственным ничтожеством. Глядя на братанов Мяконьких, на Важенина и Секрета, я никак не мот представить себе ту дикую сцену, которая разыгралась около «середовины», когда Мяконькие «произвели» Важенина и Секрета «под один пузырь»; дальше выступали еще более дикие несообразности: «прилежание» Харитинушки, темный товар, вылущивание грошей и копеек из пластунских мастерков, облава на могутную девку Ульяну... Действительно, нужно всю силу «родительской крови», чтобы довести Важенина до того, чем он был в настоящий момент.

После докладчика говорили сначала Человеколюбцев, потом Бартельсон, затем опять Человеколюбцев и опять Бартельсон. Нового они ничего не сказали и, кажется,

больше всего заботились о том, чтобы показать противнику, «как лягушки скачут». Человеколюбцев в интересах своих доверителей ссылался на jus primae occupationis[64] и земскую давность; Бартельсон досказывал, что заводское дело имеет величайшее государственное значение в наш «железный век», перечислял бесконечные права заводовладельцев, выяснял юридическое значение права на «недра земли», значение посессионного права и в конце концов сказал, что если суд признает требования боровковского общества правильными, то тем самым подаст сигнал к бесконечным аграрным беспорядкам. Все это судоговорение закончилось тем, что суд признал требования боровковского общества правильными, хотя и с некоторыми оговорками. Оказалось, что Бартельсон и остальные «немцы» еще ранее предвидели такое решение суда, но зато надеются на большую справедливость следующей судебной инстанции; Важенин ничего не сказал, а только положил на свою широкую грудь широкий мужицкий крест.

— Теперь надо будет пластунские народы

вызволять... — говорил он задумчиво, выходя из залы суда.

На другой день рано утром забежал ко мне Секрет; он иногда заходил поздравить с праздником или попросить на похмелье, но на этот раз лицо у него просто сияло.

— Ты уж здоров ли? — спросил я.

— Слава богу, как следовает быть: в полном составе, — ответил он молодцевато. — А ведь я, вашескородие, того, середовину-то, того, сфукал.

— Как так?

— А уж так... На, не доставайся же она Бацу — и шабаш. В лучшем виде... Железная дорога пройдет через середовину-то, а я буду сторожем. Верно... Наехало теперь господ страсть: земило меряют, столбы ставят, планты делают, орудуют вполне... Все-таки выходит, что я отстоял ее, середовину-то: никому Не доставайся! И только господа наехали... ах, какие господа!.. Набольший-то у них и говорит мне: «Ты прикармливай волков...» Ну, натурально насчет охоты. Как приду, он сейчас двугривенный: «На двугривенный, купи бараньих голов волкам...» Куплю я бараньих го-

лов, брошу их в лесу, а потом опять к барину: «Съели, барин!» — «Ну, еще купи... вот тебе двугривенный». Ну, так-ту мы бились с ним цельный месяц: он мне деньги, я — бараньи головы волоку, а волки едят... Уж такие господа, такие господа прахтикованные! И жалованье обещают... Буду себе с зеленым флачком на рельсах постаивать, — вот оно какое дело-то подошло, вашескородие!..

— Что же, стреляли волков-то?

— Какое стреляли: мы им бараньи головы валим, а они лопают — только и всего...

Лес.
Психологический этюд {6}

I

Приезжая на лето в Журавлевский завод, я прежде всего отправлялся к дьячку Фомичу, который жил рядом со мною, — обыкновенный ход был огородами: перемахнешь через низенькое «прясло» — и сейчас на территории Фомича. Здесь прежде всего бросалась в глаза старая, покосившаяся баня, вся испятнанная пулями и дробью, точно оспой. Особенно пострадали банные двери с нарисованным на них черным пятном, тем более что в трудную минуту Фомич выковыривал засевшие в дверях пули и пускал их снова в дело. Нужно сказать, что эта злополучная баня стояла как раз на меже с нашим садом, и пули Фомича свободно могли летать в чужой огород, но на это последнее обстоятельство както никто не обращал никакого внимания, тем более что Фомич на весь завод пользовался репутацией хорошего стрелка.

Избушка, в которой жил Фомич, стояла на

высоком пригорке, так что своим огородом упиралась прямо в горную бойкую речку Журавлиху. Под крыльцом избы вечно выла голодная собака, потому что Фомич имел очень оригинальный взгляд на питание.

— Чутье потеряет, — уверял он с самым серьезным видом. — От еды у собак нюх портится.

— Да ведь неприятно, когда у вас под самым ухом день и ночь воет голодная собака?:.

— Известно: пес, ну и воет... Кормить его, так он еще пуще будет выть.

Меня всегда удивляла эта бессмысленная жестокость и какое-то полное бесчувствие. Часто по ночам вой голодной собаки будил соседей, и они бранили его, но из этого ничего не выходило: Фомич совсем не желал портить собачьего чутья. Конечно, при таком образе жизни собака издыхала через год, много через два — и Фомич заводил новую, причем кличка оставалась одна и та же: Лыско. Я помню целый ряд таких несчастных Лысок, которые надрывали мне душу своим воем. Единственное, что я мог сделать для них, — это потихоньку от Фомича кормить их. Здесь

необходимо заметить еще то, что все эти Лыски принадлежали к замечательной породе вогульских собак, которые в Среднем Урале очень ценятся всеми «ясашными» (здесь так называют охотников, от «ясака» — подать мехами). Заводские мастеровые платят за хорошую собаку рублей пятнадцать — двадцать, что по местному денежному курсу очень дорого. По внешнему виду такая собака походит на эскимосскую: уши торчат пнем, острая морда, живые глаза, хвост загнут на спину кольцом, широкая грудь и тонкие, сильные ноги. Большинство таких вогулок пестрые, поэтому и распространенная кличка — Лыско. Особенно ценятся вогулки желтоватого цвета с желтыми пятнами на бровях или совсем серые, волчьего цвета.

— У которой пятно на брови — та и ночью видит, — уверял Фомич, а разубедить его в чем-нибудь было крайне трудно.

Такая вогулка действительно золотая собака для настоящего ясашного — чутье у ней поразительное, особенно на зверя. В Среднем Урале эти собаки ведутся от чусовских вогул, которые живут еще и теперь в двух деревуш-

ках на реке Чусовой — Бабенки и Копчик. Сколько мне известно, образованные уральские охотники совсем не обращают внимания на эту замечательную собачью разновидность, которая погибает вместе с вымирающим вогульским племенем. Мне лично такие вогулки ужасно нравятся: они отличные сторожа, неутомимы на охоте за всяким зверем и чрезвычайно умны. Может быть, нужно было целую тысячу лет, чтобы создать этот тип охотничьей собаки.

Изба Фомича дощатой перегородкой делилась на две половины. В первой жил он сам, а во второй жена, которую он звал «матерёшкой», с единственной дочерью Енафой, курносой и рябой девушкой, «зачичеревевшей в девках». Комната Фомича выходила своим единственным окном, вечно заклеенным синей сахарной бумагой, в огород и на реку; из него открывался великолепный вид на извилистое течение Журавлихи, рассыпавшиеся по ее берегам дома, на лес и, главное, на «камешки», как называл Фомич горы. Налево от двери на стене висел небольшой деревянный шкафик, над ним кремневое ружье, у окна

стоял некрашеный деревянный стол, около перегородки лавка, два колченогих стула — и только. Комната, собственно, была пуста, но она мне нравилась именно потому, что в ней жил Фомич. Эта бесприютная, непокрытая бедность выкупалась самим хозяином.

— Бувайте здоровеньки!.. — говорил Фомич, одинаково каждый раз здороваясь. Дома, зиму и лето, он ходил в коротенькой курточке из оленьей шкуры и в шапке из молодой оленины. Пестрядинные штаны были заправлены в голенища всегда худых сапогов. Этот странный наряд не казался странным для тех, кто знал Фомича. Нужно заметить, что по особенным гигиеническим соображениям он в своей оленьей шапке спал на печи зиму и лето. Когда я познакомился с ним, ему было уже за пятьдесят лет. Сгорбленный, худой, с неверной, шмыгавшей походкой, он превращался в типичного старозаветного дьячка, когда надевал единственный свой казинетовый подрясник, обвисавший на его сгорбленном теле некрасивыми, тощими складками; к довершению этого безобразия из-за высокого засаленного ворота подрясника появлялись на

свет божий две жиденьких и коротких косички, болтавшиеся как два крысиных хвостика. В обыкновенное время эти косички исчезали под оленьей шапкой. Всего замечательнее у Фомича было его некрасивое скуластое лицо с носом луковицею. Жиденькая борода и такие же усы какого-то песочного цвета не могли скрасить этого лица. Зато хороши были у Фомича его небольшие серые глаза с узкими зрачками. Он имел характерную привычку смотреть куда-нибудь в сторону и только время от времени взглядывал на вас быстрым, открытым, проницательным взглядом, как смотрят немножко тронутые русские люди.

Собственно, в Фомиче, как это нередко случается на Руси, жило два человека: один — приниженный, жалкий и льстивый, а другой — самостоятельный, гордый и оригинальный. Первого человека Фомич точно надевал на себя вместе с подрясником. Таким он был на клиросе, где читал «бормотком» и пел разбитым голосом вместе с писарем Павлином; таким он был, когда попадал куда-нибудь в компанию бойких заводских служащих, таким он ходил по заводу за попом с разными

требами, таким, наконец, он пробирался каждое воскресенье прямо из церкви в кабак к своей приятельнице Зайчихе «подковать безногого щенка». Длинные руки, видимо, мешали Фомичу, и он постоянно ими запахивал расползавшиеся полы своего подрясника. Даже ходил он как-то крадучись и все старался пробраться где-нибудь огородами, чтобы не на виду у добрых людей; в разговоре улыбался заискивающей улыбкой и вообще держал себя льстиво-униженно.

Дома Фомич был другим человеком. Я много лет знал его и все-таки с удивлением наблюдал это превращение, — решительно другой человек. Впрочем, из своего приниженного состояния Фомич выходил и при людях, когда выпивал лишнюю рюмочку или когда разговор заходил об охоте. Охотничьи рассказы Фомича пользовались большой популярностью, и где-нибудь на именинах около него всегда собирался кружок слушателей. Любимой темой были «олешки» и «мишка», причем Фомич умел представить все в лицах: нюхал воздух, как зверь, таращил глаза и делал уморительные прыжки в своем странном

подряснике. Но в гостях Фомич пересаливал и дома был не тем, чем казался посторонним людям. Во-первых, это был замечательный оригинал и чрезвычайно наблюдательный человек, которого никогда не оставляло неизменное добродушно-юмористическое настроение. Ко всем и ко всему Фомич относился свысока, но эту гордость он позволял себе только дома.

Он умел над всеми посмеяться умненько и тонко, иногда одной гримасой. Чужие слабости и особенно глупость доставляли ему даже какое-то удовольствие, и он имел некоторое право смотреть на многих свысока, потому что обладал сильным природным умом, которого не могло сломить даже дьячковское существование, несчастнейшее из всех, изобретенных добрыми людьми.

К своим семейным Фомич относился тоже особенным образом, точно стыдился своей человеческой слабости. Его «матерёшка» никогда не показывалась при людях из-за перегородки, и только слышно было, как она чем-то вечно стучала за печкой. К женщинам Фомич питал чисто философское презрение, как к

предмету недостойному, притом очень вредному и даже опасному. Когда писарь Павлин заводил речь о «женском поле», Фомич только фукал носом, как рассерженный старый кот, и отплевывался. Рассказывали, что он не доверял жене ни в чем и даже хлеб пек собственными руками.

Во всем доме Фомича была единственная сколько-нибудь ценная вещь — это кремневая малокалиберная винтовка, служившая ему более тридцати лет. Тяжелая березовая ложа была собственного изделия Фомича и отличалась хозяйственной прочностью. Замечательнее всего то, что Фомич из этой винтовки стрелял и зверя, и птицу, и белку.

— Откуда у вас это ружье? — несколько раз спрашивал я старика, рассматривая его самопал.

— Так... от одного человека.

К числу особенностей Фомича принадлежала необыкновенная таинственность, особенно когда дело касалось охоты. На свое ружье он смотрел как на что-то живое и, когда делал из него промах, обвинял не себя, а то, что «дурит» ружье. Больше всего на свете Фо-

мич боялся, как бы к его сокровищу не прикоснулась какая-нибудь женщина: тогда бросай все и заводи новое.

— Я из него не один десяток олешек загубил, — любил похвастаться Фомич под пьяную руку. — Оно хозяина знает... да!

Трофеи охотничьих побед Фомича заключались в оленьих шкурах, которые служили всей семье как ковры и одеяла. Выделывал их Фомич сам, равно как и беличьи и куньи шкурки, хотя, нужно отдать ему полную справедливость, выделывал очень скверно. Впрочем, для своего домашнего обихода Фомич все делал сам: и ложу к ружью, и лыжи, и лядунку[65] для пороха, и памятный мне деревянный шкаф с охотничьим снарядом, и мебель, и мережи, и свою оленью куртку. В лесу у него всегда было надрано лыко и заготовлены дрова. Только при таком самоделье Фомич и мог сводить концы с концами, потому что прожить на три рубля причетничьего жалованья, с семьей на руках, дело решительно невозможное. Посторонних церковных доходов Фомич получал такую гомеопатическую дозу, о которой не стоит и говорить. Жу-

равлевский завод наполовину состоял из раскольников, и приход был очень плох. Несколько раз Фомичу предлагали занять место дьякона, но он упорно отказывался.

— Отчего вы не хотите в самом деле быть дьяконом? — спрашивал я. — Дьякон вдвое больше получает.

— А «матерёшка» умрет?.. Дьякону во второй раз жениться нельзя...

Это была, конечно, шутка. Фомич не шел во дьяконы по той простой причине, что тогда потерял бы право ходить на охоту, другими словами — его жизнь утратила бы всякий смысл, а теперь получалось из Лыски, Енафы, матерёшки и самого Фомича вполне законченное, органическое целое.

II

Самое лучшее время на горных уральских заводах — это «страда». С петрова дня до самого успенья производство закрывается, кроме доменных печей, и все население уезжает и уходит на покосы. Если нет своей скотины, «страдают» для продажи, а если нет своих покосов — нанимаются к другим. Заводы пустеют, а зато оживают все окрестности и самые

глухие лесные уголки. Лошадь и корова — главные хозяйственные статьи заводского мастерства, и поэтому на сене сосредоточены в это время все его помыслы. Хлебопашество на заводах существует, но в очень небольших размерах: и земля большею частью «неродимая», да и народ отвык от настоящей крестьянской работы. Мы говорим о большинстве горных заводов, хотя есть и исключения, как в заводских округах башкирской полосы.

На Журавлевском заводе пашни были человек у десяти, не больше, а для остальных слово «страда» ограничивалось заготовкою сена. После тяжелой «огненной» и приисковой работы сенокос являлся желанным отдыхом, и всякая мало-мальски справная семья в полном своем составе перекочевывала на покосы. Нужно было видеть, как «горит работа» у вырвавшегося на свежий воздух народа-это настоящий праздник, и по вечерам на десятки верст несутся веселые песни. Цыганская обстановка сенокоса для молодежи является самым счастливым временем, и в результате получаются осенние свадьбы или же специальные несчастья, которым особенно подвер-

жена «извольничавшаяся» заводская девка. Нравы заводского населения, как известно, не отличаются особенным целомудрием вообще, а на Урале они поражают своей разнузданностью.

Эта заводская страда совпадает как раз с охотничьим сезоном; пока не поспели выводки, идет охота на «линялых» косачей, которые в это время прячутся по самым неприступным чащам и трущобам, меняя весеннее брачное оперение на обыкновенное затрапезное, а с наступлением июльских жаров начинается охота на оленей, которых днем овода загоняют в густые заросли или прямо в воду. В это горячее время мы с писарем Павлином уходили в горы на несколько ночей и бродили по лесу, как настоящие дикари. Окрестности Журавлевского завода представляли в этом отношении все необходимые условия, начиная с того, что в одну сторону до ближайшего жилья было сорок верст, а в другую больше ста верст тянулись горы и лес, лес и горы. Места в общем были порядочно дикие, но они скрашивались необыкновенным изобилием живой текучей воды, сбегавшей с

гор десятками горных бойких речек и речонок. Кроме того, недалеко было одно большое горное озеро со множеством островов и еще два маленьких озерка. Выходила настоящая живая сеть, которая охватывала собою все горы и привлекала массу всевозможной дичи.

Бродить с ружьем по целым дням в этой зеленой пустыне — наслаждение, известное одним охотникам. Встанешь с ранней зарей и к вечеру так уходишься, что едва доберешься до первой знакомой избушки. Любимым местом была избушка Фомича на горе Размет, до которой от завода было верных семнадцать — восемнадцать верст. Замечательное это место Размет — собственно, так называлась и самая гора и прилегавшие к ней другие горы, горки, косогоры и увалы. Получался горный узел, которого гора Размет являлась связующим центром и горным водоразделом: в сторону Журавлевского завода сбегались речки европейского бассейна, а в противоположную — азиатского. Водораздельная линия проходила узкой, извилистой полосой, иногда достигавшей всего нескольких десятков сажен, как было, между прочим, у лесной избушки Фо-

мича. Таким образом, нам часто случалось ночевать на самой границе между Европой и Азией.

В один из отличных июльских дней, когда, по всем признакам, погода установилась прочно, мы с писарем Павлином забрались в горы очень далеко. Охота вышла не особенно удачна, и к концу дня мы едва имели в запасе одного косача. Кроме того, Павлин уронил хлеб в воду, так что нам предстояло лечь с голодным желудком. Это было далеко за Размето́м.

— Придется идти к Фомичу, — говорил я, когда до заката оставалось всего часа два, значит, нужно было торопиться.

— Я не пойду, — упрямился Павлин, растянувшись на земле пластом.

— А я пойду.

— Скатертью дорога.

Произошла небольшая размолвка, закончившаяся тем, что Павлин, наконец, поплелся за мной, — оставаться одному в глухом лесу было не особенно приятно, а до балагана Фомича было около десяти верст. Писарь Павлин — небольшой человек, с большой кудря-

вой головой — принадлежал к самым безобидным людям, но на него иногда накатывалось совершенно беспричинное упрямство. Ничего не оставалось, как воевать с ним тем же оружием, тем более что по ночам в лесу Павлин боялся не зверя или человека, а «лешака» или «лешачихи», которые проделывают над людьми всевозможные пакости. Павлин по-своему был даже начитанный человек, но освободиться от разной чертовщины был решительно не в силах.

Признаться сказать, идти десять верст на Размет после целого дня утомительной охоты было делом нелегким, и на меня не один раз нападало свойственное в таких случаях малодушие. Каждая хорошая ель, открытый берег речки или укромный уголок где-нибудь под скалой так и манил отдохнуть, но прежде всего нужно было выдержать характер и поддержать авторитет пред ослабевшим товарищем.

Солнце быстро опускалось. Лес темнел. Маленькая горная тропинка делала, по-видимому, совершенно ненужные повороты и кривулины, точно для того только, чтобы помучить нас. Солнечный закат в горах удивительно

красив. Тени нарастают, и со всех сторон, точно сознательно, будто живая, начинает надвигаться на вас ночная глухая мгла. Затихший воздух чутко держит каждый шорох, и в параллель с этим ваши собственные чувства получают какое-то болезненное напряжение, — именно в такие переходные моменты дня больше всего и «блазнит»[66] непривычному человеку. Ухо, еще полное дневного шума, слышит несуществующие звуки, а глаз отчетливо видит в перебегающих и колеблющихся тенях создания собственного воображения. Вообще переживаешь неопределенно тревожное настроение, которое в каждый момент готово перейти в детскую панику. Только такие «лесники», как Фомич, сживаются с таинственной жизнью леса настолько, что их ничто не в состоянии напугать. Как хотите, но в лесу голова работает совсем не так, как у себя дома, и прежде всего здесь поражает вас непривычная лесная тишина, которая дает полный разгул воображению, точно идешь по какому-то заколдованному царству. Днем эта тишина нарушается ветром и птицами, а ночью вы окончательно предоставлены самому

себе и невольно прислушиваетесь уже к тому, что незримо хранится в глубине вашей души. Выплывают смутные образы, неясные лица, звуки и краски.

Павлин покорно плелся за мной и, вероятно, для храбрости, несколько раз принимался ругаться, просто так ругаться, в воздушное пространство, не относясь лично ни к кому и ни к чему. В одном месте, спустившись в глубокий лог, где было уже совсем темно, Павлин остановился и заявил самым решительным образом:

— Мы не туда идем...

Спорить с ним не стоило, и я продолжал идти вперед. Действительно, начинало казаться, что место как будто не то: и лес другой и дорожка делала совсем ненужные повороты. Являлось серьезное сомнение, что мы сбились с дороги, так как и по времени должны были быть уже на месте. Крутой подъем, который начинался прямо от лога, походил на Размет, но кругом было так много гор и все подъемы на них по извилистым горным тропинкам так похожи один на другой. Наступившая ночная свежесть придала нам силы;

солнце уже закатилось, и мимолетные горные сумерки сейчас же сменились ночью, холодной и туманной, какие бывают только в горах. Показались первые звездочки, теплившиеся в бездонной глубине фосфорическим светом, как светляки в траве; выплыл молодой месяц, пустивший широкую и туманную полосу переливавшегося серебристого света. На полугоре мы остановились отдохнуть. Должна была показаться повертка к избушке Фомича, но ее не было. Из-за леса трудно было рассмотреть другие горы, чтобы ориентироваться, ночью горная панорама имеет совсем другой вид, чем днем. По упорному молчанию Павлина я видел, что он окончательно убежден в нашем «плутании» и что это совсем не Размет.

— Действительно, кажется, мы того... взяли немножко в сторону, — заговорил я, сознавая свою невольную вину. — Облевили, должно быть.

Огорченный Павлин не удостоил меня ответом и только сердито пыхнул своей папиросой: дескать, я говорил и т. д. Но в это время где-то, точно под землей, послышался соба-

чий лай — и сразу все изменилось: да, это был Размет, сейчас повертка к Фомичу, а лает его Лыско...

— Слышишь? — торжествующе спрашивал я Павлина.

— Чего слышать-то?.. Лыско лает... Вот она, береза-развилашка стоит у повертки. Слепой дойдет...

— Однако признайся...

— Нечего мне признаваться... Может, я сто раз здесь бывал, а только в сумерки всегда глаза отводит в лесу — уж это верно. Однова я так-то цельную ночь проходил по покосам: прямо в трех соснах заблудился.

Мы весело повернули с тропинки и побрели прямо сакмой, то есть легким следом, который остается в траве.

Скоро сакма повела нас по лиственничному лесу — значит, сейчас будет избушка. Напахнуло дымком, лай Лыски повторился, но с теми нерешительными нотами, которые свидетельствовали о его сомнениях: по уверенным шагам собака начинала догадываться, что идут свои знакомые люди. Только охотники могут различить эти разнообразнейшие

оттенки собачьего лая, который именно в лесу имеет свою оригинальную прелесть.

Избушка Фомича была поставлена на открытой поляне. Теперь избушку Фомича выдавала тянувшаяся струйка дыма и колебавшаяся полоса красноватого света, падавшая на ближайшие деревья от костра. Мы уже выходили на самую поляну, где трава стояла до самых плеч, как Павлин вдруг остановился, точно его чем ударили, — он шел впереди, и ему было видно, что делается перед избушкою.

— Что случилось? — окликнул я.

— Должно быть, опять поблазнило... — бормотал Павлин и даже протер глаза. — Вот так штука!.. Уж идти ли нам?.. Эх-ма!..

Изумление Павлина объяснялось очень просто: у избушки стоял сам Фомич и зорко смотрел в нашу сторону, а около огня на корточках виднелась какая-то женская фигура — эта последняя и смутила Павлина. Фомич в глухом лесу и с глазу на глаз с какой-то бабой... Лыско с оглушительным лаем летел уже к нам, нужно было обороняться прикладами, потому что в азарте он мог не узнать и

вцепиться.

— Мир на стану! — кричал Павлин, подходя к избушке.

— Вишь, полуношники... — проворчал Фомич, здороваясь. — А я думал, уж не бродяги ли какие.

Женщина продолжала сидеть около огня по-прежнему неподвижно, и мне бросилась в глаза только ее покрытая голова с белокурыми кудрявыми волосами. Она сосредоточенно помешивала деревянной ложкой какое-то варево в болтавшемся над огнем железном котелке и не желала обращать на нас никакого внимания.

— Да ведь это Параша Кудрявая!.. — с удивлением вскричал Павлин. — Вот напугала-то... Ах, ты, ешь тебя мухи с комарами!.. Ну, здравствуй, красавица...

— Была Параша, да чужая, не ваша... — ответила свежим, низкого тембра голосом красавица и все-таки не двинулась с места.

— А ты не сердись, — умница... Нет, как ты напугала-то, Параша, да еще и на грех навела.

— Отстань, смола! — сердито окликнул его Фомич.

III

Избушка Фомича была сделана из толстых лиственничных бревен, почти совсем вросла в землю; из высокой травы горбилась одна крыша, покрытая дерном. Маленькая дверка придавала ей вид дрянного погреба. Зато кругом горная трава росла в рост человека: тут была и «медвежья дудка», чуть не в руку толщиной, с белыми шапками цветов, и красноголовые стрелки иван-чая, и душистый лабазник, и просто крапива. Летом это был прелестный, совсем потонувший в зелени уголок, но как жил здесь Фомич зимой по целым неделям — я не мог понять. Внутри избушка еще сильнее походила на погреб, да и сырость здесь вечно стояла невыносимая. Задняя половина была занята широкими нарами, налево от дверей, в углу, стояла печь, сложенная из камней. Трубы не полагалось, поэтому весь дым скоплялся в избушке. В холодные ночи спать в ней было сущим адом: дым ест глаза, дышать нечем, да еще настоящая банная температура. Однако сам Фомич, обремененный вечными недугами, и летом спал в своей избушке.

Мы, конечно, остались на воздухе и, первым делом, принялись за чай. Пока происходили эти предварительные хлопоты, Параша продолжала сидеть неподвижно и, обняв колена руками, сосредоточенно смотрела в огонь.

— Чистая русалка!.. — шептал Павлин, указывая на нее глазами. — И волосы свои распустила, и сама не шевельнется. А Фомич-то как за нее вступился!.. Двое поврежденных сошлись!..

В лесу Павлин побаивался Фомича, потому что «черт его знает, чего ему взбредет в башку», а теперь Фомич, видимо, был не совсем доволен нашим присутствием, и это последнее обстоятельство заставляло Павлина снизойти до перешептывания. Действительно, Фомич в лесу являлся новым человеком, и можно было только удивляться этим превращениям: приниженный дьячок оставался дома, а здесь был характерный и строгий человек, который ни одного слова не бросит на ветер и не сделает шага напрасно. Ветхая рубашка из линючего ситца, пестрядинные штаны, какие-то лохмотья из рыжего кре-

стьянского сукна, на ногах громадные сапоги и неизменная шапка на голове оставались те же.

— Чаю хочешь, Параша? — предлагал Павлин, когда вскипевший жестяной чайник был уже снят с огня.

Этот вопрос на мгновение вывел дурочку из неподвижности, и она с каким-то удивлением посмотрела на всех нас, точно заметила наше присутствие только сейчас.

— Чаю?! — повторила она вопрос Павлина и сердито нахмурила брови. — Вон где чай-то, — прибавила она, мотнув головой на лес. — Кругом чай... и головками помахивает... желтенькие головки.

— У нас с тобой свой чай в лесу растет, — объяснил Фомич.

— Лабазник пьете?.. — спросил Павлин.

— Лабазник и еще одну травку прибавляем. Надо полоскать тепленьким кишки — вот и чай.

Параша уже не слушала нашего разговора и опять погрузилась в свое застывшее раздумье. Она упорно смотрела на перебегавшее пламя и подбрасывала иногда новое полено.

Ей было на вид лет сорок, может быть, больше. Полное, немного брюзглое лицо со старческим румянцем на щеках еще сохраняло на себе следы молодой красоты. Большие, остановившиеся, серые глаза имели такое напряженное выражение, точно Параша не могла чего-то припомнить. Одета она была в синий раскольничий сарафан из домашней холстины, в белую рубашку и длинный ситцевый «запон»[67] с нагрудником — все это говорило о невидимой доброй руке, которая одевала «божьего человека», может быть, от своих кровных трудов, как особенно принято в раскольничьей среде, где потайная милостыня ценится выше всего.

После утомительного охотничьего дня сон буквально валил нас с ног. Павлин уже спал, свернувшись клубочком около огня и не докончив ужина; я дремал рядом с ним. Окружавший нашу поляну лес при месячном освещении казался гигантскими водорослями, а вверху теплился неизмеримо-глубокий, вечно подвижный и вечно живой звездный океан.

— Завтра рано вставать... — говорила Па-

раша, поглядывая на небо.

— Куда торопиться-то? — ответил Фомич, набивая нос табаком.

— Нет, уж лучше... трава не ждет.

— Ну, ну... Надсадой не много возьмешь..:.

Еще раз понюхав табаку, Фомич побрел своей расслабленной походкой в избушку, а Параша осталась у огня. Я скоро заснул и вскоре увидел себя на морском дне, в обществе сказочной девушки-чернавушки и царя водяного, а Павлин, с гуслями в руках, пел необыкновенные песни, от которых все водяное царство колебалось, и меня охватывал мертвый холод морской бездны.

Параша Кудрявая принадлежала к числу тех дурочек, каких оставило после себя на уральских горных заводах крепостное право. Теперь этот тип вымирает вместе с крепостными дураками и разбойниками. Это знаменательный факт, который лучше всего характеризует существовавшие на заводах порядки.

О Параше ходила такая легенда. Родилась она на Журавлевском заводе и выросла в сиротстве, — отец был сдан в солдаты, а тогда

солдатская служба равнялась тридцати пяти годам. Звали ее Дарьей. Так и жила солдатка с дочерью, черпая непокрытую ничем бедность и горе. Потом Даша подросла, выровнялась и стала красавицей писаной, какие попадаются только в смешанном заводском населении. И рослая, и высокая, и румянец во всю щеку, и тяжелая коса белокурых кудрей — одним словом, редкостная девка, а на такую приманку охотников всегда много. Присмотрела Даша себе и жениха, оставалось только сходить к заводскому приказчику на поклон и попросить разрешения на свадьбу. Увидел крепостной приказчик Дашу и заартачился: погоди, да не ходи, да некогда, да еще твое время не ушло! Пока дело таким образом тянулось, приказчик успел дать знать управляющему в другой главный завод, Чернореченский, где проживал тогда знаменитый в уральских летописях самодур-заводчик Тулумбасов, большой охотник до всяческого безобразия, а над своими крепостными в особенности.

Чернореченского завода все боялись как огня; Тулумбасов не знал ни совести, ни страха. По фабрикам он ходил с заряженными пи-

столетами и проделывал над рабочими невозможные зверства. За малейшую провинность отсылали на конюшню, откуда часто приносили наказанных на рогожке прямо в больницу. Громадный тулумбасовский дворец являлся для всех настоящим адом: тут шел вечный пир горой, тут же молились по потайным моленным раскольничьи старцы, тут же наказывали плетьми и кошками и тут же проделывались невозможные безобразия над крепостными красавицами, которыми Тулумбасов угощал своих гостей. Благодаря угодливости журавлевского приказчика Даша и попала из своей сиротской лачуги прямо в тулумбасовский дворец. Необыкновенная красота ее обратила на себя внимание «самого», но Даша ответила на его ласки отчаянным сопротивлением — и была сведена на конюшню, откуда уже явилась тем, чем осталась на всю жизнь, то есть заводской дурочкой.

На Журавлевский завод Даша вернулась «божьим человеком» и зиму и лето ходила с непокрытой головой, изукрасив себя ленточками и цветными лоскутками. Мысль о любимом человеке превратилась в бред и галлю-

цинации. Она никого не обижала и часто пела те песни, которые вынесла из тулумбасовского дворца, где гремел крепостной хор. Особенно часто она пела свою любимую, от которой получила и прозвище «Параша»:

Пой, скачи, кружись, Параша!
Руки в боки подпирай...

Но иногда на нее нападал нехороший стих, и Параша затягивала неприличную песню: «Косарики-косари». Ребятишки ее дразнили женихами. Рассердившись, она, как все сумасшедшие, не знала никакого удержу: ругалась, дралась, кусалась и выкидывала самые неприличные штуки. Жила она как настоящая птица божия: где день, где ночь. Благочестивые люди считали за особенное счастье держать у себя Парашу, но она редко могла где-нибудь ужиться дольше недели.

— Нет, пойду к жениху!.. — повторяла она каждый раз, отправляясь неизвестно куда.

Как и зачем попала Параша Кудрявая на Размет и что она могла там делать — для меня оставалось загадкой, тем более что Фомич был самым ярым женоненавистником.

Утром мы проснулись уже поздно, и около избушки не было ни Фомича, ни Параши Кудрявой. Павлин долго и аппетитно потягивался, зевал и продолжал лежать с закрытыми глазами, выжидая, не встану ли я первым — обыкновенная политика охотников. Нужно было развести огонь, сходить на ключик за водой и приготовить чай — операция вообще сложная — и напиться готового чаю всегда приятнее. Я тоже не желал поддаваться коварству приятеля и тоже некоторое время притворял-, ся спящим, пока обоим эта комедия не надоела, и мы поднялись разом.

— Вот что: один пойдет за дровами, а другой за водой, — уговаривал Павлин, чтобы не переделать на свой пай. — Этакий черт этот Фомич, нет, чтобы приготовить нам все... А Параша куда девалась?.. Настоящие оборотни, черт их возьми!

Было часов восемь, но солнце еще не успело подобрать росы, и трава стояла вся мокрая. Стоило сделать лишь несколько шагов, чтобы промокнуть до нитки, а такая холодная ванна сейчас после сна, когда тело еще полно сонной теплоты, особенно неприятна.

— О-го-го! — гоготал Павлин, направляясь по сакме к ключику.

— Фомич на покосе, — говорил Павлин, когда мы кончили чай. — Тут у него сейчас под Разметом есть две еланки. По весне отличные тока бывают.

Когда трава пообсохла, мы двинулись в путь. От избушки вела свежая сакма прямо на увал Размета. Когда мы вышли из леса, открылась одна из тех чудных горных панорам, какие встречаются только на Урале. Каменистый гребень вершины Размета, казалось, стоял от нас в двадцати шагах, хотя до него было с полверсты, — так обманчива горная перспектива. Сейчас под ногами шел крутой спуск, усыпанный большими камнями и кой-где тронутый горной растительностью — елями, пихтами, низкорослыми березками. У подошвы ковром зеленел покос Фомича, и можно было рассмотреть две фигуры, медленно двигавшиеся по линии свежей кошенины. Они медленно раскачивались, очерчивая блестевшими на солнце косами широкие круги.

— Параша-то как работает... а! Вот так штука!.. — удивлялся Павлин, рассматривая в ку-

лак косарей. — Ай да Фомич, какую работницу приспособил себе. Ах вы, оборотники проклятые, что придумали!..

Вся горная даль была еще подернута золотистым туманом, а по лугам лежала синеватая мгла — остаток таявшего на солнце тумана. Из-за Размета выглядывало углом широкое горное озеро, усеянное зелеными островами. Дальше теснились синие горы, где-то далеко-далеко на берегу речки желтым пятном выделялся небольшой прииск. В двух местах беловатыми струйками к самому небу поднимался дым от стоянок косарей или на старательских разведках. Журавлевский завод казался отсюда едва заметным пятном на берегу пруда. Но всего лучше был лес, выстилавший горы до самого верха и залегавший по логам дремучими ельниками.

— Эх, хорошо!.. — скажешь невольно, глядя на этот необъятный простор, едва тронутый двумя — тремя точками человеческого жилья.

Утром горы необыкновенно хороши, и невольно переживаешь такое бодрое и хорошее чувство, забывая об усталости и всех

невзгодах охотничьего бродяжничества. Голубое небо точно выше, и дышится так легко. На горизонте уже круглятся белые грозовые тучки, где-то зашептала в траве первая струйка поднявшегося ветра, в кустах весело чиликнула невидимая птичка. Стоишь, смотришь и, кажется, не ушел бы отсюда.

IV

Покос Фомича шел неправильной полосой по самому краю кончавшегося здесь горного ската. Дальше начинался дремучий ельник.

— Бог на помочь!.. — кричал Павлин, когда мы подходили к косарям.

Параша Кудрявая продолжала работать, не обращая на нас никакого внимания. Фомич остановился, чтобы понюхать табаку.

— Куда побрели? — заговорил он после отчаянной затяжки.

— А я домой... — отозвался Павлин, поглядывая на него. — Дело есть в волости. Вот только еще заверну в ельничек, за косачами...

Мы посидели, поболтали, и Павлин отправился восвояси, а я остался, — мне хотелось еще раз заночевать на Размете.

— Пустой человек!.. — коротко заметил Фомич, прислушиваясь к доносившемуся пению неугомонного Павлина.

— А что?..

— Да так... Несообразно себя ведет: идет по лесу и хайлает. Разве это порядок?.. Вон Параша, и та понимает... Эй, Параша, будет тебе, передохни. Обедать пора!..

— Ну-у... — недовольно ответила Параша и принялась косить еще с большим азартом, так что коса-литовка у нее в руках только свистала.

— Как она к вам сюда попала? — спрашивал я.

— Она-то? А сама пришла. Потому чувствует себе пользу, — ну и пришла...

— От работы пользу?..

Фомич посмотрел на меня и ухмыльнулся самодовольно.

— Не от работы, а от лесу польза, — проговорил он после короткой паузы. — Вы с Павлином-то ходите по лесу, как слепые, а в нем премудрость скрыта: и травка, и цветик, и деревцо, и последняя былинка — везде премудрость.

— Какая же премудрость?

— А вот такая... Умные да ученые ходят, запинаются и не видят, а вот Параша чувствует.

Фомич последние слова проговорил обиженным и недовольным тоном, точно я оспаривал его мысль. Подвернувшийся на глаза Лыско получил удар ногой и с визгом скрылся в траве.

— Зачем собаку бьешь? — крикнула Параша, переходя на другую полосу. — Очумел, старый черт!..

Эта выходка рассмешила Фомича, и он только тряхнул головой.

— Ступайте вон по ельнику прямо, — заговорил Фомич, — там пониже выпадет ключик, и как спустишься по ключику — попадет речка, а на ней старый прииск...

— Ягодный?..

— Он самый... Там есть косачи.

— Хорошо; я схожу...

— Да хорошенько заметьте прииск-то: любопытное местечко. Может, и я заверну...

Выкурив папиросу, я отправился по указанному направлению. В воздухе уже начинал чувствоваться наливавшийся летний

зной, а в глухом ельнике было так прохладно. Нога совсем тонула в мягком желтоватом мхе. Кой-где топорщился папоротник или попадался целый ковер из брусники, иногда кустик жимолости — и только.

Отыскался и ключик и речка Смородинка, на которой стоял заброшенный прииск Ягодный — таких Смородинок на Урале не один десяток, как приисков Ягодных и Белых гор. Картина заброшенного прииска всегда на меня производит тяжелое впечатление: давно ли здесь ключом била жизнь, а теперь все пусто и мертво кругом как в разоренном неприятелем городе. Забравшись на верх самой высокой свалки, я долго рассматривал развернувшуюся предо мной картину и по глубоким ямам выработок, по отвалам старых перемывок и обвалившимся канавкам старался восстановить картину недавнего прошлого. Вон по одну сторону темнеет черной впадиной Лаврушкин ложок, ближе — хрящеватый мысок с остатками развалившейся приисковой казармы, в глубине повитая сероватой дымкой угловатая вершина Размета. По течению Смородинки дремучий ельник был вырублен

на целую версту, а теперь старая порубь быстро затягивалась свежей молодой зеленью, точно зарастала какая-то широкая рана.

Да, этот старый вековой ельник еще оставался по бокам прииска и так сумрачно смотрел на весело катившуюся речку по каменистому, изрытому дну. Бойкая горная вода суетливо перебегала по камням и точно сосала глинистый размытый берег. Но где еще так недавно была одна разрытая земля, теперь весело росла самая свежая зелень, точно она сбежалась сюда со всех сторон, чтобы прикрыть резавшую глаза наготу. Глубокие выработки и разрезы, откуда добывался золотоносный пласт, теперь были залиты дождевой водой или поросли мягкой душистой травкой. По берегам этой воды жались друг к другу кусты смородины, вербы, ольхи и лесная малина; а зеленая, сочная осока зашла в самую воду, где блестела и гнулась под напором речной струи, как живая. Кой-где догнивали торчавшие из земли бревна, а из-под них уже вылезали молодые побеги жимолости; тут же качались розовые стрелки иван-чая и пестрели болотные желтые цветы. Около старых

пней, как дорогое кружево, лепился своими желтыми шапками душистый лабазник. У самого леса вытянулся целый островок молодого осинника, переливаясь на солнце своей вечно подвижной, металлической листвой, а дальше зеленой стеной поднимался березняк и по течению речки уходил из глаз. Но всего красивее были молодые ели и березки, которые росли по отвалам и свалкам: они походили на гурьбу детей, со всего размаха выбежавших на крутизну и отсюда любовавшихся всем, что было ниже. Казалось, что эта лесная молодежь лукаво шепталась между собой, счастливая солнечным днем и тем, что дает только полная сил молодость.

Такие зарастающие поруби замечательны своим внутренним характером, теми новыми комбинациями, какие складываются у нас на глазах. При некоторой живости воображения получается целая иллюзия, и все эти деревья, кусты и последняя травка освещаются глубоким внутренним светом. Так и кажется, что вот этот темный ельник, который обошел прииск со всех сторон зубчатой стеной, хмурится и негодует на неизвестных пришель-

цев, которые так весело разрослись на порубки, пришли бог знает откуда и расположились на чужом месте, как у себя дома. Действительно, все эти березняки и осинники являются какими-то лесными бродягами, которые с нахальством бросились на чужой кусок земли. Конечно, и от старого ельника пошла молодая поросль к реке, но ей трудно бороться с густыми зарослями осины и березы. Издали так и кажется, что сошлись две неприятельских армии, и можно определить даже линию самой сильной схватки, где дело пошло врукопашную: молодые ели и березки совсем перемешались и задорно напирают друг на друга.

Эта картина борьбы за существование усложнялась здесь еще рекой — по ее берегам пришли сюда такие лесные породы, которые и существуют на свете как-то так, между прочим, не имея определенного места жительства. Верба, ольха, смородина, черемуха и кусты жимолости забежали сюда только потому, что настоящих хозяев не было дома, а когда они вернутся — незваные гости будут выгнаны самым безжалостным образом. Даже

по самой посадке видно, что эти пришлецы явились сюда только на время: кто присел у самой воды, кто распушился около пня, кто торопливо сосет корнями жалкий клочок хорошей земли. Видно, что все это делается как-то зря, на скорую руку, да и не стоит серьезно хлопотать, потому что пройдет каких-нибудь десять лет — и вся порубь зарастет ровным, крепким березняком, а все эти ольхи, вербы и прочая лесная мелочь уйдут искать нового места; по лесным опушкам, по мокрым лужкам настоящее место этих бродяг, а не в настоящем лесу, где идет вечная борьба между елями и березами. То же вот будет и с малиной, и с иван-чаем, и с теми сорными травами, которые разрослись на запустевшем жилье, — на их месте разрастается настоящая лесная трава и лесные цветы. А через несколько десятков лет ельник победит березу, и вы не узнаете даже места, где была когда-то порубь... Так совершается эта растительная жизнь, полная неустанной, вечной работы, и тот сказочный мир, где деревья говорят, ходят, радуются и плачут, — совсем не выдумка, а действительность, только нужно

уметь понять мудреный язык этой немой природы.

Сидя на свалке, я совсем забыл об охоте. Мысли так и роились в голове, а вместе с тем душой овладело какое-то необыкновенно хорошее и доброе чувство, точно начинаешь жить снова. Не помню, какой-то автор сравнил вечный говор моря с тем шепотом, каким русские бабы заговаривают кровь; по-моему, это сравнение идет больше к лесу... Именно здесь, в лесу, вы чувствуете, что в вас затихает и боль, и невзгоды, и заботы, сменяясь свежим и светлым чувством жизни.

Из этого забытья меня вывел голос Фомича, который умел подходить совершенно неслышными шагами, точно кошка.

— Что, хорошо? — спрашивал он, взбираясь тоже на свалку. — Параша умаялась и легла отдохнуть, а я не утерпел и побежал с ружьишком.

Заслонив глаза от солнца, Фомич долго всматривался в заросший прииск и задумчиво проговорил:

— Всю землю изрыли, как свиньи... А ничего, зарастет. Каждая травка свое место зна-

ет... да! Вон у меня через Размет сибирская травка в Расею перебирается. Ей-богу... Все по речке шла в гору-то, а теперь уж перевалила и под гору пошла. Вот она, премудрость-то, в чем... Мы вот умеем только рубить да ломать, а она, трава-то, тоже поди чувствует по-своему: в ней тоже душа.

— И еще другая премудрость есть, — продолжал этот пантеист, вынимая табакерку: — зашел ты в лес — для тебя мертво все... И трава, и лес, и кусты — все мертво. Так я говорю? А это так кажется, потому что все со страхом затаилось от тебя — и козявка, и птица, и зверушка всякая. Ты, как чума, идешь по лесу-то... да! А вот, если ты этак где-нибудь затихнешь, — все и покажется, со всех сторон подымется разное живье. И у всякой-то твари свой уголок есть, и у всякой твари свой порядок, и все на своем месте. Даже это удивительно; что столько в лесу разного живья. Человеку вот тесно, друг друга едят, а тут как вода кипит: и червячок, и козявка, мушка, и ящерица, и птица... Всякому свой предел. Так-то... А вот человеку некуда деваться. Зачем?..

Этот странный разговор о захватывающей

полноте непосредственной жизни природы открывал целое миросозерцание, гармоническое и цельное, которое всего труднее было бы подозревать именно в этом жалком дьячке, «последней спице в колеснице», как он сам называл себя. Помню, какое сильное впечатление он произвел на меня именно этой цельностью. Великая жизнь природы раскрывалась в подавляющем величии, оттеняя все прорехи и зло специально человеческого существования; Фомич в этот момент являлся прозорливым поэтом, сливавшим свою мысль с дыханием самой жизни.

— А Параша-то сама ведь пришла в лес... — заговорил Фомич после долгой паузы, встряхнув головой. — И совсем другая в лесу-то, точно не она. Чувствует тоже... И говорит по-настоящему, точно вправду умная. Как-то вечерком сидим у огня, гляжу, она плачет. Закрылась руками и плачет. «О чем, говорю, ревешь?» — «А так, говорит, стыдно мне...» Это она, значит, про то, как «Косарей» распевает да подол поднимает на голову, когда ее ребятишки женихами дразнят. Вот он какой, лесто... Только не говорит, — да нет: говорит,

свое говорит!..

Озорник {7}

I

Спирька сидел у окна своей избушки, смотрел в сторону башкирской деревни Кульмяковой и думал вслух:

— И отчего бы это дыму идти у башкир, а?.. Вот так штука... Не иначе, што где-нибудь барана скрали, а то и цельную лошадь. Верно!.. Ах, неумытые рыла!

Он заслонил рукой глаза от весеннего горячего солнца и еще раз убедился, что действительно над Кульмяковой, засевшей под горкой на берегу озера Карагай-Куль, тоненькою струйкой поднимается синий дымок. В следующий момент Спирька выругался, — выругался вообще, в пространство. Ему почему-то показалось обидным, что башкиры могут есть, а он должен смотреть, как у них дым идет.

— Ах, черти немаканые, удумали какую штуку!..

По веснам Спирька испытывал какое-то озлобленное настроение. Им овладевала смутная тоска и неопределенное желание вы-

кинуть какую-нибудь такую штуку, чтобы чертям было тошно. «А ты чувствуй, ежели на то пошло... да. Понимай своей башкой, каков есть человек Спирька... да». Мысли Спирьки перекатывались в его голове, как тяжелые камни, когда заиграет по косогорам вешняя полая вода. Озлобленное настроение объяснялось, может быть, тем, что Спирька после смерти жены жил бобылем. Он давно разорил все хозяйство, — какое же хозяйство без бабы? — и не принимал весной никакого участия в трудовой и радостной суете своей деревни Расстани. Другие пахали и сеяли, бабы готовили свои огороды, старики налаживали всякую снасть к страде; а Спирька сидел в своей избушке и ничего не хотел знать. Из всей скотины у него была одна гнедая лошадь, происхождение которой терялось во мраке неизвестности, — другими словами, все были уверены, что она краденая. Лошадь была бы совсем хорошая, если б ее кормить, но Спирька к последнему относился совершенно равнодушно. Вон башкиры тоже не кормят лошадей, а живут... В свое оправдание, впрочем, он мог сказать то, что реши-

тельно не знал, чем бывал сыт сам. Будет день — будет хлеб. А без лошади какой же мужик? Это было последнее воспоминание о хозяйственном существовании, как когда-то жил Спирька женатым и когда у него все было. Не хуже других-прочих жил, а с женой ушло и все крестьянское хозяйство, и Спирька попал в разряд лишних деревенских людей, которых на Руси достаточно. Вот и скучно делалось непутевому человеку, когда занималась весна.

— Беспременно башкиры собираются есть, — повторял Спирька с нараставшим озлоблением. — Ну и нар-родец!

Окончательно Спирька был выведен из себя, когда в конце грязной, еще не просохшей улицы показалась Дунька. Он ее узнал сразу еще издали. Некому быть, кроме Дуньки... Вон как выступает, точно корова холмогорская.

— Куда бы ей идти утром, — соображал вслух Спирька. — Гладкая баба, нечего сказать.

Спирька еще раз выругался, теперь уже по адресу Дуньки.

— Ну куда ее черт несет? Ишь как по грязи-то вышлепывает.

А Дунька себе шла и, кажется, не желала ничего знать. По костюму в ней сразу можно было узнать расейскую бабу-переселенку. Белая рубаха с широко вырезанным воротом, домашней работы черная юбка, на плечи накинута белая свитка из домашнего сукна, платок на голове намотан тоже по-расейски, — одним словом, все по-своему. Красивое женское лицо было полно какого-то подкупающего спокойствия. Ни одного суетливого движения, ни одного лишнего взгляда.

— Куда это тебя понесло, Дунька? — окликнул ее Спирька.

Дунька вздрогнула и остановилась. На Спирьку посмотрели чудные, серые, большие глаза.

— А иду… — ответила она спокойно.

— Да куда идешь-то, глупая?

— А телушку искать.

— Ужо вот тебя волки задерут в лесу-то.

— Пущай дерут.

Дунька говорила певучим расейским говором, растягивая слова.

— А ты все отдыхаешь, Спирька? — проговорила она, подбирая юбку, чтобы перешагнуть через лужу. — Замаялся, лежавши на печи...

— А тебе какая печаль?

— Пожалела тебя... Другие мужики на пашне, а ты дома маешься. Пожалел бы хоть подоконник-то, лежебок.

Спирька обругал Дуньку и даже погрозил ей кулаком. Она спокойно пошла дальше, и Спирька долго следил за ее белыми босыми ногами, месившими грязь.

— Тьфу, окаянная душа!.. — ругался Спирька. — Бить вас некому, бабенок... За телушкой пошла?! Тьфу! Я бы тебе показал телушку... Я бы тебя разуважил, гладкую!.. Тоже разговаривает... Лежебок! Ну, и буду лежать... Не укажешь. Кто может Спирьке препятствовать? Ни в жисть...

В результате этого монолога Спирька схватил подвернувшийся под руку топор и швырнул его в угол.

А дым над башкирской деревней продолжал подниматься тоненькой синею струйкой, точно кто курил трубку. Спирька опять занял-

ся вопросом, что это могло значить. Во всяком случае, нужно было идти и обследовать все дело на месте. Спирьке даже начинало казаться, что как будто пахло вкусной маханиной[68]. Потихоньку от своих Спирька любил поесть кобылятины с башкирами. Что же, такие же люди, хоть и живут по своему закону. Другой башкир получше будет русского, даром что кобылятник.

— Нечего делать, надо будет идти... — решил наконец Спирька.

Он накинул на одно плечо рваный татарский бешмет и вышел. До Кульмяковой было битых версты три, но расстояние для Спирьки не служило препятствием. Впрочем, выходя, он посмотрел на пустой двор, напрасно отыскивая своего «живота» — способнее бы верхом в Кульмякову-то прокатить! — но умудренный голодом конь «воспитывался» где-то на весенних зеленях. Обругав лукавого «живота», Спирька побрел пешком. Ему пришлось идти по той же дороге, по которой только что прошла Дунька, и это казалось Спирьке обидным. Чего уж хорошего, когда баба дорогу перешла.

— Ах, ты... — ругался Спирька. — Не стало ей время.

Он шагал по грязи, закинув бешмет на спину. Небольшого роста, плечистый и жилистый, Спирька был в самой поре. Кудлатая голова глядела суровыми темными глазами. Обличье у Спирьки было уже не расейское, а с явными признаками сибирской помеси: борода была маловата, скулы приподняты, лицо как будто сплюснутое. И ходил он не по-расейски на своих выгнутых ногах, как настоящий кавалерист. На Южном Урале попадаются часто такие типы, как результат далекого умыканья первыми русскими насельниками татарских «женок» из недалекой степи. Народ собрался сюда со всех сторон, и недостаток в своей бабе чувствовался долго.

Весеннее солнце так и пригревало, несмотря на раннее утро. «Зелени» взялись необыкновенно дружно, и только березы стояли еще голыми. По низинам пушилась верба. Открытые места, где шли пашни и покосы, тянулись по долине реки Чигодой, делавшей расширение у озера Карагай-Куль. Горизонт замыкала разорванная линия перепутавшихся между

собой отрогов Южного Урала. Башкирская деревушка Кульмякова засела на берегу озера, прикрытая со стороны Расстани березовым лесом. Русская стройка была плотная, и ряды изб стояли, как новые зубы. За Расстанью, в полуверсте, раскинулась Ольховка, где лет пять тому назад устроились переселенцы, выходцы из Рязанской и Тамбовской губерний. Тут наполовину новые избы стояли еще без крыш, надворные постройки были еще в зародыше, а кое-где сохранялись еще переселенческие землянки, напоминавшие кротовые норы. Дунька была из Ольховки.

Дорога из Расстани в Кульмякову огибала березовый лес, и Спирька не пошел по ней, не желая вязнуть в грязи. Он не торопясь брел по меже прямо к лесу — так было прямее. Тут ему вышла неприятность: попались два расстанских мужика, ехавших с сохами.

— Бог на помощь, Спирька! — крикнул один. — Куда наклался спозаранку?.. Смотри, вывихаешь ноги-то.

Односельчане относились к Спирьке свысока, как к замотавшемуся, непутевому мужику, и это его злило.

— Челдоны желторылые… — ворчал он.

II

Главная неприятность ожидала Спирьку именно в лесу. Не успел он сделать несколько шагов, как увидел Дуньку. Она шла прямо на него, помахивая длинной хворостиной. Спирька остановился, посмотрел на нее и плюнул.

— Тьфу, окаянная!..

Дунька тоже остановилась. Эта неожиданная встреча тоже поразила ее не особенно приятно. Беспутный Спирька и без того не давал ей проходу и при каждой встрече считал своим долгом обругать. А тут, в лесу, с глазу на глаз — кто знает, что у него на уме, у шалого. Еще как раз наозорничает… Ей хотелось убежать, но было как-то совестно. Он тоже совестился свернуть в сторону. Какой же мужик, который бабы испугался. После Дунька же и осмеет при всем народе. Баба бойкая и за словом в карман не полезет.

— Ну, чего ты стоишь, как березовый пень? — сурово проговорил Спирька.

— А тебе какое дело?.. Иди своей дорогой…

— И пойду. Тоже не укажешь…

Он сделал несколько шагов. Дунька продолжала стоять. Спирька опять остановился.

— Послушай, Дунька, кабы я был твой муж, я бы взял орясину да орясиной тебя. Разе теперь по лесу телок ищут? Ах, ты... Скотина вся на зеленях воспитывается.

— А ежели я была на зеленях! Умен тоже...

— Все-таки ты круглая дура, Дунька. Зачем по лесу шляешься?

— Ближе лесом-то... Да што ты пристал ко мне, смола? Сказано: иди своей дорогой.

— И пойду... Думаешь, испугался? Тоже не укажешь, чертова кукла... У! взял бы да так взвеселил...

Он прошел в двух шагах от нее, а потом опять остановился. Дунька шла своей дорогой, не оглядываясь.

— Дунька... постой... — крикнул он изменившимся голосом, точно кто сдавил ему горло. — Словечко надо тебе одно сказать...

Дунька, не оглядываясь, вдруг бросилась бежать. Это выражение бабьего страха окончательно вышибло Спирьку из ума. Он догнал ее в несколько прыжков и схватил за руку.

— Не замай... Спирька, да ты в уме ли?

— Постой, говорят... Што ты дуром-то бросилась бежать? Не разбойник ведь...

— Отпусти, говорят!..

— А не пущу...

Он тяжело дышал... Она смотрела на него испуганными глазами и сделалась еще красивее.

— Дунька... Дуня... Зачем ты постоянно сердишься на меня?

— А зачем ты постоянно меня ругаешь? Проходу от тебя нет, от непутевого...

— Я ругаю? — удивился Спирька, выпуская ее руку: — Вот опять ты и вышла круглая дура... Как есть ничего не понимаешь!.. Да я... ах, боже мой!.. Да я, кажется... Што я, зверь я, што ли, лесной? Изверг?

— Известно, каков человек. Недалеко ушел от разбойника-то, коли чужих баб в лесу останавливаешь.

— А ты была у меня на уме, кикимора? А, была?..

Спирька опять озлился, а потом прибавил сдавленным голосом:

— Всех вас взять, Новожилов, так вы паль-

ца одного Спирьки не стоите... Поняла? Вот каков есть человек Спирька...

— Уж очень ты дорожишься... Прощай.

Она хотела уйти, но он опять удержал ее.

— Спирька, не замай!.. Вот ужо скажу мужу...

— Мужу? Ха-ха... Испугала до смерти. Да я из твоего мужа и крупы и муки намелю. Слышала? А я к тебе с добром, Дуня...

Она опять со страхом посмотрела на него.

— Ну?

— Ты вот говоришь, что я тебя все ругаю, ну... А что у меня на уме... сердце горит... Кажется, взял бы да пополам и разорвал тебя: на, не доставайся никому... И себя порешить... Ничего, значит, не надо...

Эти несвязные слова окончательно перепугали Дуньку, и она вся затряслась.

— Спирька, шалый, кому ты выговариваешь такие-то слова? Забыл, что я мужняя жена?.. Вот я свекру ужо пожалуюсь, так ён тебя выучит...

— Свекру?

У Спирьки помутилось в голове, точно у быка, которого ударили по лбу обухом. Он по-

смотрел на Дуньку воспаленными дикими глазами и схатил в охапку.

— Свекру, а?.. Мужу, а?.. — шептал он задыхавшимся голосом. — Я же тебе покажу.

Она как-то жалко пискнула в железных объятиях Спирьки и начала отчаянно защищаться. Борьба происходила с молчаливым ожесточением. У Дуньки свалился платок с головы и рассыпались косы из-под сбившегося повойника. Это ничтожное обстоятельство привело в себя Спирьку. Дунька воспользовалась мгновеньем, вырвалась и заорала благим матом. Спирька бросился было за ней, но увидал издали ехавших по пашне деревенских мужиков.

— Дунька!.. — крикнул он вслед, грозя кулаком. — Ведь ты душу из меня вынула, змея подколодная!

Дунька остановилась на опушке, чтобы привести в порядок свой костюм, а главное — волосы. Спирька только сейчас сообразил, как все вышло безобразно. Ехавшие по пашне мужики слышали женский крик, а тут выскочила, как полоумная, Дунька. Нехорошо, главное, было то, что она была простоволосая, что

для мужней жены величайший позор. Но Спирька ошибся. Дунька вовремя сообразила все и спряталась за деревьями, так что мужики не могли ее разглядеть.

— Вот тебе и фунт, — проговорил Спирька, окончательно падая духом: на земле валялся в качестве вещественного доказательства Дунькин платок. — Эй, Дунька, воротись! Возьми платок-то, дура...

Она обернулась и только покачала головой. Дело выходило совсем плохо. Простоволосить мужних жен не полагается по строгому деревенскому обычаю.

Спирька долго стоял на одном месте, провожая глазами уходившую Дуньку. Вот она делается все меньше и меньше, вот совсем маленькая, вот и совсем разобрать ничего нельзя, а только белеет одна свитка. Наконец все пропало. Спирька чувствовал, как тяжело бьется его сердце, слышал, как ласково шумят над его головой еще голые березы, точно что выговаривают, видел, как солнце бродит по сырой земле золотыми пятнами, точно что отыскивает... И опять на его душе закипела обида, и ему хотелось плакать. Да, теперь уж

все кончено. Придет Дунька домой без платка и все обскажет мужу, — нет, хуже, нажалуется свекру. Муж-то еще стерпит и не захочет срамить жену, а свекор ухватится обеими руками. Старичонка бедовый, ему это только и нужно. Спирька чувствовал, что вперед краснеет от будущего срама.

— А ежели Дунька не скажет никому? — думал он вслух. — И никто бы ничего не узнал.

Но эта мысль обрывается в самом начале, и Спирька окончательно погружается в бездну отчаяния.

— Дура она круглая... Одним словом, баба.

У Спирьки выступают на глазах слезы, и он сжимает кулаки. Надо было прямо задушить ее, Дуньку. Все одно, семь бед — один ответ. Разве он хотел ее обижать? Да он для нее не знаю что готов сделать... Ах, Дунька, Дунька, ежели бы ты не была дура! Ежели бы она хоть чуточку понимала, что у Спирьки делалось на душе. И опять ему хочется ее убить, чтобы хоть этим путем снять с души каменную гору.

Спирька поднял валявшийся на земле

Дунькин платок и спрятал его за пазуху. Вот через этот платок он и погибнет напрасно. Спирька побрел своей дорогой в Кульмякову, но не успел он сделать нескольких шагов, как его осенила мысль. Теперь ему сделалось ясно все, что он даже захохотал.

— Ведьма она, эта самая Дунька, — вот и конец делу. Конечно, ведьма вполне... Убить ее мало.

Припомнив разные подробности своего знакомства с Дунькой, Спирька убедился окончательно в своем предположении. Ведь с первого разу она оказала себя ведьмой, еще тогда, когда он встретил ее на дороге. Она и подвела всех.

— Ведьма... Вот как обошла. Конешно, платок у меня, а она все-таки заправская ведьма... Так и скажу: «Было дело, действительно, а Дунька — ведьма». Ее надо осиновым колом пришибить, а не то што разговоры разговаривать.

III

Дунька пришла в себя только у околицы. Она решила, что никому и ничего не скажет. Но беда была в том, что ее платок остался у

Спирьки. Вернуться домой без платка было невозможно. Первая свекровь заметит и подымет дым коромыслом. В этих расчетах она не пошла Расстанью, где ее видели в платке, а обошла деревню задами и в свою избу прошла огородами. На счастье, ее встретила одна младшая сноха Лукерья, глуповатая и несообразительная бабенка. Свекровь убиралась в избе и ничего не видела. Все вышло хорошо.

— Господь пронес... — думала про себя Дунька. — Этакий озорник этот Спирька. Вот как бы надо его поучить, чтобы не охальничал с мужними женами. Не стало своих девок в Расстани, или вон две солдатки живут.

Вечером ни с того ни с сего накинулся на нее свекор.

— Где телушка? — приставал старик. — Куда она ушла?

— Не знаю, батюшка.

Несмотря на покорство, Дуньке все-таки досталось. Старик побил ее для «прилику», а Дунька для «прилику» голосила, точно ее резали. Все это входило в распорядки строгой расейской семьи. Даже когда потерявшаяся

телушка вечером пришла сама домой, старик сердито кинул снохе:

— Вот скотина, а поумнее тебя будет. Свой дом знает.

День прошел, одним словом, как сотни и тысячи других деревенских дней. Все знали отлично, что так нужно. Переселенцы только «строились» на новых местах, и требовалась сугубая строгость. Батюшка-свекор постоянно указывал на Расстань, как пример не настоящего житья зазнавшихся сибиряков. Разве это правильная деревня? Разве это правильные мужики, а тем больше — бабы? На последних старик особенно нападал, потому что бабой дом держится, а сибирская баба не имеет настоящей острастки.

Муж Дуньки вернулся с пашни только вечером и сейчас же завалился после ужина спать. Намаялся человек за день, ну и отдохнуть надо. Дунька убралась и в избе с ребятами, и на дворе со скотиной и улеглась спать последней, как и следует снохе-большухе. Она сильно притомилась за день, но заснуть никак не могла. Ее взяло особенное ночное раздумье. Главное, Дуньку начала мучить со-

весть. Зачем она скрыла от всех давешнее? Ведь она ни в чем не виновата и все-таки скрыла. Раздумавшись, она припомнила, что ее платок остался в руках у Спирьки. А вдруг он где-нибудь напьется и вздумает похвастать. «Вот он, Дунькин-то платок!» Ведь тогда все мужики на нее остребенятся и как дохлую кошку разорвут, потому как это первый случай с расейской бабой, которая не умела себя соблюсти.

Чем больше думала Дунька, тем ей делалось хуже. Ей казалось, что кто-то уж крадется к ихней избе. Вот-вот подойдет и стукнет в окно пьяная рука: «Эй, Дунька, выходи... Вот он, твой-то платок!» Бедная баба тряслась в лихорадке и про себя творила молитву. Наконец она не вытерпела и разбудила мужа:

— Степан... а Степан!

Спросонья Степан очень плохо понял, что говорила жена. Буркнул что-то в ответ и снова захрапел, как зарезанный. Так и промаялась Дунька вплоть до белого утра. Батюшка-свекор поднимался чуть свет и бродил по двору, как домовой. Дунька смело подошла к нему и с бабьими причетами кинулась прямо

в ноги.

— Батюшка, Антон Максимыч, согрешила... Не вели казнить — прикажи слово вымолвить. Обманула я тебя вечор, раба последняя.

— Ну... говори!

Старик был спокоен и только пнул Дуньку ногой, чтобы не валялась.

— Ну, ну!

С причетами и рыданиями Дунька рассказала все, как вышло дело, и даже прибавила на свою голову. Еще заканчивая эту исповедь, Дунька как-то всем телом почувствовала, какую она сделала глупость, но было уже поздно. Свекор взял ее за руку, поставил к столбу и велел ждать. Через минуту он вынес новенький сыромятный чересседельник, скрутил его жгутом и принялся им бить Дуньку по плечам и по спине. На ее крик выбежала старуха свекровь.

— Ты это што, отец, делаешь-то? — накинулась она на мужа.

— Я-то? А мы разговоры разговариваем.

На шум и крик во дворе скоро собралась вся семья.

Степан пробовал было заступиться за жену, но в ответ получил от родителя удар кулаком по лицу. Старуха свекровь тоже впала в неистовство, когда услыхала про исчезнувший платок. Она несколько раз подскакивала к Дуньке с кулаками и шипела беззубым ртом:

— Подавай платок... где платок? Гадина, давай платок... Степка, ты чего смотришь? Учи жену.

Степану было жаль жены, но он в угоду матери ударил ее по лицу несколько раз. Дунька стояла на одном месте и смотрела на всех округлившимися от страха глазами. Она никак не ждала такого исхода своей исповеди.

— По какой такой причине Спирька к тебе приставал? — наступал на нее свекор. — Мало ли баб в Расстани и в Ольховке, — других он не трогает небойсь. Сама виновата, подлая... может, сама подманивала его.

Дунька молчала. Это еще больше злило старика, и он снова принимался ее бить чересседельником, так что на рубашке показалась кровь.

— Бей ее! — приказывал старик сыну, пе-

редавая Степану чересседельник. — Муж должон учить жену.

Подогретый науськиваньями матери, Степан поусердствовал. Он остервенился до того, что принялся таскать Дуньку за волосы и топтать ее ногами.

— Так... так... — тоном специалиста одобрял свекор, с невозмутимым спокойствием наблюдавший эту сцену. — Пусть чувствует, какой такой муж бывает.

От дальнейших побоев Дуньку спасло только беспамятство, хотя свекровь и уверяла, что «ёна» притворяется порченой. Избитая Дунька очнулась только благодаря снохе Лукерье, которая спрыснула ее холодной водой. Старики ушли, и Лукерья шепотом причитала:

— Ох, смертынька, Дунюшка. Ведь этак-то живого человека и убить можно до смерти.

— Молчи уже лучше, а то и тебе достанется... — посоветовала Дунька, вытирая окровавленное лицо. — Дуры мы, вот што.

— Степан-то как расстервенился. А матушка-свекровушка еще его же науськивает.

Дунька молчала. У нее болело все тело,

каждая косточка. В избу она не пошла, а попросила Лукерью принести к ней полугодового ребенка. Это был здоровенький мальчик Тишка, родившийся уже на Урале. Его в семье называли «новиком».

— Этот уже не наш расейский... — с грустью говорил дедушка. — И не узнает, какая такая Расея есть. Желторотым сибиряком будет расти.

Над маленьким Тишкой избитая Дунька и выплакала все свои дешевые бабьи слезы.

Обиднее всего для Дуньки было то, что при всем желании она не могла пожаловаться на свою семью, хотя и выходила замуж круглою сиротой. Семья была настоящая, строгая, мужики работящие, а свекор пользовался особенным почетом в Ольховке, потому что он вывел всех на Урал, на вольную башкирскую землю. Около него сплачивались все остальные мужики, и старик стоял всегда в голове Новожилов. Проявленное над Дунькой семейное зверство, в сущности, ничего особенного не представляло, как самое заурядное проявление родительской и мужниной власти. Вот вырастет Тишка большой, женится и тоже бу-

дет учить жену. Это было для Дуньки чем-то вроде утешения. Ведь в свое время и она будет лютой свекровью-матушкой.

В следующие дни в семье наступило тяжелое затишье. Степану, очевидно, было совестно, и он молча ухаживал за женой, скрывая последнее от грозного батюшки. Впрочем, старик, кажется, забыл о Дуньке. Он замышлял что-то новое. Дунька со страхом следила за ним. Очевидно, старик подбирался к Спирьке и подбивал других Новожилов действовать заодно.

— Растерзают они его... — со страхом говорила Дунька снохе Лукерье.

— Так и надо озорнику! Не балуй... Ты-то что его жалеешь?

— А сама не знаю... Просто дура. Спирька недаром меня дурой-то навеличивает.

IV

Спирька пропадал в Кульмяковой дня два, а потом появился в окне своей избушки. Он по целым часам лежал на подоконнике и смотрел на улицу. По некоторым признакам он имел полное основание догадываться, что дело неладно. Во-первых, мимо его избушки

без всякой цели прошли три бабы и рассчитанно громким голосом говорили:

— Ох, бабоньки, и били же ее, сердечную... Сперва свекор утюжил, а потом муж по тому же месту. В чем душа осталась... Сказывают, пластом лежит.

— Чуть до смерти не заколотили бабенку. А какая такая в ней вина? Все он, змей...

Затем Спирька заметил, что около ворот собираются мужики и о чем-то толкуют между собой. Ему казалось, что несколько раз прямо указывали на его избушку. Наконец, он видел, что приходили ольховские мужики и о чем-то долго толковали с расстанскими. До него долетали только отдельные слова: «ён», «ёна», «озорник» и т. д. Вообще, заваривалась каша, и Спирька только крутил головой. На всякий случай он приготовился дать с первого раза сильный отпор: «А ежели она ведьма, ваша Дунька?.. Ну-ка поговорите теперь со мной... Прямо ведьма. Она и на вас на всех сухоту напустит...»

Не раз случалось Спирьке выдерживать напор всего деревенского мира, и он, собственно, был спокоен. Ведьма — и все тут. Уж

ежели кому отвечать, так им же, новожилам, зачем «ведьмов» разводят.

— Ну, ну, идите сюды! — кричал Спирька в окно. — Я вам поккажу… Я вас произведу!..

Правда, эта храбрость Спирьки сильно уменьшилась, когда он раз заметил в толпе мужиков старика Антона. Этот не испугается. Самый вредный старичонка, ежели разобрать, цеплястый, как клещ вопьется.

Дело вышло ранним утром, когда Спирька еще спал. Под окном его избушки показался волостной.

— Эй, ты, лежебок, дай отдохнуть печке-то…

Спирька выглянул в окно. Перед избой толпилась целая кучка переминавшихся мужиков.

— Вам чего, галманы? — дерзко спросил Спирька.

— А надо с тобой поговорить, хороший ты человек. Выходи ужо на улицу…

— А думашь, не выйду? И выйду… Сдел милость. Тоже, подумаешь, испугали…

— И выходи, приятный ты человек…

— Да платок-то Дунькин захвати, — приба-

вил голос из толпы. — В дружках не был, чтобы чужие платки брать...

В ответ из окна полетел скомканный Дунькин платок. Спирька накинул свой армяк и храбро вышел за ворота, где его сейчас же и подхватил под руку волостной.

— Вот так, Спирька... Честь завсегда лучше бесчестья, приятный ты человек. Чего тут бояться добрых людей... Просто, значит, волостные старички хотят с тобой разговор поговорить.

— Дураки ваши волостные старички, — огрызнулся Спирька.

Спирька понял, что его ожидает, и всю дорогу ругался самым отчаянным образом. Около волости его поджидала уже целая толпа, состоявшая из старожилов и Новожилов. Спирька струсил, когда увидел в толпе худенькое лицо старичка Антона.

— Ён самый... озорник... — перешептывались в толпе, когда Спирьку вводили на крыльцо волостного правления.

В волости уже дожидались волостные старички, в руках которых сейчас была судьба Спирьки. Однако он не потерялся (слава богу,

не впервой было судиться у старичков!) и довольно развязно проговорил:

— Старичкам почтение...

Старички сидели хмурые, как следует быть ареопагу, и ничего не ответили. Волостной предъявил им Дунькин платок в качестве corpus delicti[69]. Изба скоро набилась народом. Слышно было тяжелое дыхание и угнетенные вздохи.

— Спирька, а што ты скажешь насчет Дунькина платка? — предложил вопрос старшина, не прибегая к предисловиям.

— Платок? — замялся Спирька и прибавил уже бойко: — И очень просто, господа старички... Эта самая Дунька просто ведьма. Да... Присушку мне сделала, не иначе.

Старички переглянулись, и старшина ответил за всех:

— Так, так, приятный человек... А мы, значит, эту самую Дунькину присушку тебе отмочим, штобы вперед не повадно было охальничать. Так я говорю, старички? Ну, Спирька, показывай все на совесть...

— Нечего мне и показывать... Дело известное. Ежели бы я был женатый, так оно тово...

поиграл малость с бабенкой, а она себя и оказала ведьмой. Мне бы раньше об этом самом догадаться... А что касается платка, так это самое дело прямо наплевать.

— Прыток ты на словах, приятный человек... Только напрасно путляешь, говори настоящее.

При всем желании сказать что-нибудь настоящее Спирька только развел руками. Старички переглянулись и сделали знак камор-нику. Толпа молча расступилась, и пред стариками очутилась Дунька, бледная, испуганная, со свежими синяками на лице. Она комом повалилась в ноги судьям и заголосила:

— Ничего я не знаю, господа старички... Не взыщите на дуре-бабе. Как есть ничего...

— Врет ёна... — послышался спокойный голос свекра. — Дунька, показывай все...

— Твой платок, Дунька?

— Конешно, мой... ён самый и есть.

— Ты телушку пошла искать?

Благодаря этим наводящим вопросам, Дунька рассказала по порядку все происшествие. Новожилы были довольны этим показанием, а старожилы были смущены Спирь-

киным озорством. Тоже не полагается простоволосить мужних-то жен... Спирька слушал, переминаясь с ноги на ногу, и только проворчал, когда Дунька сказала, что он чуть ее не задушил:

— И надо было задавить... Вас, ведьмов, нечего жалеть, ежели вы присушку делаете.

Обстоятельства дела были ясны для всех. Обвиняемый в свое оправдание решительно ничего не мог сказать и только твердил, что Дунька — ведьма.

— А хоша бы и ведьма, — заметил резонно один старичок: — и с ведьмов платки-то не полагается рвать. А ты вот того, озорник, не понимаешь, что всю деревню острамил... Што теперь новожилы-то про нас будут говорить?

Выдвинулся самый больной вопрос о розни между Расстанью и Ольховкой. Новожилы являлись потерпевшей стороной, и требовалось возмездие, чтобы восстановить честь и доброе имя старожилов. Спирька являлся своего рода козлом отпущения. Старожилы на нем как будто делали невольную уступку и косвенно признавали права Новожилов. Спирькой замирялись вперед поводы к вза-

имным недоразумениям, и волостные старички, как опытные политики, отлично это понимали, как понимал и Спирька, которого выдали головой. Мир от него отступался.

— Ну, приятный человек, што мы теперь с тобой будем делать? — заговорил старшина. — Своим-то озорством ты вот до чего всех довел...

— Поучить его надо, змея, господа старички, — вступился свекор Дуньки.

— А ты помолчи, дедко... — остановили его судьи, сохраняя собственное достоинство. — Мы дело ведем на совесть... Ну, Спирька, што мы с тобой должны делать теперь?

В судьях было еще некоторое колебание, но Спирька сам себя предал — вместо ответа взял и плюнул. Он до конца остался озорником, и участь его была решена по безмолвному соглашению. Для видимости старички пошептались между собой, а потом старшина проговорил:

— Нечего делать, приятный человек... Довел ты нас донельзя... Дядя Петра, и ты, Ларивон...

Когда Спирька возвращался домой, ребя-

тишки показывали ему язык и кричали:

— Драный-сеченый!..

Спирька только встряхивал волосами, но не смущался. Как это господа старички поддались этой ведьме — даже удивительно. Вот до чего их довела Дунька... Дерут живого человека и думают, что сами это придумали. А новожилы-то чему обрадовались?

V

Только вернувшись в свою избушку, Спирька в первый раз почувствовал приступ жгучего стыда. Вот в этих самых стенах жил он справным мужиком, пока не померла жена, а теперь... Спирька забрался в темный угол на полатях и пролежал там до ночи, снедаемый немым отчаянием. Он тысячу раз повторял про себя все случившееся и приходил к одному и тому же заключению, что во всем виновата Дунька, и она одна. Как ведь ловко она с первого разу обошла его — никто и не заметил!

Припомнился Спирьке жаркий летний день. Он ехал откуда-то с помочи, пьяный свалился с лошади и тут же заснул в зеленой душистой траве. Лошадь наелась около него.

Потом Спирьке показалось, что кто-то тащит у него из-за пояса ременный чумбур[70], на котором привязана была лошадь.

— Стой!.. Врешь... убью! — заорал Спирька, напрасно стараясь подняться на ноги. — Эй, не подходи!..

— Ну, слава богу, живой, — проговорил над ним участливый женский голос. — А мы думали, што ты расшибся али убитой.

Это и была Дунька. Она шла с свекром впереди переселенческого обоза. Старик Антон спутал какую-то повертку и обратился к Спирьке:

— Мил-друг, как нам проехать на Томск?

— На Томск? Ха-ха... Да ведь до Томска-то тыщи две верстов будет. Ах, ты, старый черт... Может, тыщи дорог на Томск идут: любую-лучшую выбирай. Да вы кто такие будете? Переселенцы?

— Около этого, мил-человек... Рязанские, значит, Рязанской губернии, вообче, значит, выходит, расейские.

— Та-ак... — соображал Спирька. — А я думал — конокрады.

Пока шел этот разговор, Дунька стояла и с

жалостью смотрела на Спирьку. Этакий здоровый мужик, а морда в грязи, рубаха испластана, — она не стерпела и проговорила:

— А ты бы рожу-то себе вымыл, да и рубаху надо починить... Видно, нету жены-то?..

Ах, как она хорошо все это сказала... Спирька и теперь точно слышит этот ласковый бабий голос и видит жалостливые бабьи глаза. Ведь вот поди ты, сразу угадала все... И хорошо Спирьке сделалось, и стыдно, а Дунька смотрит на него так прямо и так просто.

Старик еще что-то расспрашивал, а потом подошел переселенческий обоз. Уж только и народ... Притомились все за дорогу-то, обносились, затощали — смотреть жаль. А видно, что народ все хороший, правильный народ, не чета сибирскому. Этакому-то народу дайка вольную сибирскую землю, так работа огнем загорит. И бабы все хорошие, хотя и в лаптях.

Когда обоз уже прошел, Спирька заметил, что Дунька оглянулась на него. Эти большие серые глаза точно позвали его. Спирька сел на лошадь, догнал обоз и обратился к старику:

— Ты, видно, дедко, ходоком будешь?

— Ён самый.

— Словечко я тебе одно скажу, дедко... Эх, дорогое словечко, а вся цена — полуштоф водки.

Обоз остановился. Около Спирьки собрались мужики.

— Куда в Томскую губернию тащитесь? — заговорил Спирька, мотаясь в седле. — Экую даль тащиться, да это помереть.

— Нужда, мил-человек, гонит... Не сами идем. Нужда устигла...

— Эх, вы...

Спирька обругался, а потом прибавил:

— Вот что я вам скажу, расейские мужички... Сделаем дельце так: вы мне выставите, например-но, полуштоф водки, а я, например-но, отведу вам тыщу десятин вольной земли. На, пользуйся да поминай Спирьку... Все будете благодарить, а у которых ежели есть дети, так и дети будут чувствовать, каков есть человек Спирька.

Переселенцы выслушали и сначала не поверили Спирьке: пьяный человек зря болтает. Да и вид у него совсем шалый. Погалдели ра-

сейские лапотники, посмеялись над Спирькой и хотели идти дальше, но остановила всех Дунька:

— Полуштоф с миру пустое, а может, ён и в сам деле может определить...

Началась жестокая ряда. Спирька стоял на своем.

— Да ты скажи наперед, а потом мы тебе бочку этого проклятого вина укупим.

— Не могу, — артачился Спирька. — Самому дороже стоит, и притом у меня свой карахтер... Не хотите своей пользы понимать...

Старик Антон подумал-подумал и решил в свою голову:

— Вот што, мил-человек, так и быть: сделаю тебе уважение. Понимаешь, распоследнее отдаю.

Только теперь Спирька догадался, что такое решение старика Антона было внушено Дунькой. Дело ясно, как день... Она видела всех насквозь.

Водки в обозе, конечно, не оказалось, и пришлось ехать до первой деревни, где был кабак. Измученный жестоким похмельем, Спирька выпил всю бутылку дрянной кабац-

кой водки чуть не залпом, прямо из горлышка. Потом Спирька крякнул, вытер лицо рукавом рубахи и заявил:

— Ну, дедко, твое счастье... Купил ты меня.

Они отошли в сторону, и Спирька действительно обсказал все на совесть.

— Вы, дедко, вот как сделайте... Тут есть Кульмяцкая башкирская волость, земли видимо-невидимо — понял? У них такое правило: башкиру-вотчиннику полагается тридцать десятин на душу, а башкиру-припущеннику[71] всего пятнадцать...

Голова старика Антона закачалась от удивления: всего пятнадцать десятин?..

— А дело не в этом, дедко, — объяснял дальше Спирька. — Башкирскую-то землю пьяный черт мерял после дождичка в четверг... Сколько этой земли — никто не знает. И еще есть причина: мрут эти башкиры, как мухи, а земля-то остается тоже. Понял?

— А ты не омманываешь?

— Ну, вот тоже скажет человек... Што мне тебя обманывать, когда у нас своя деревня стоит на башкирской земле. Пришли и осели... Пятьдесят лет теперь судимся с башкира-

ми, и никакое начальство ничего разобрать не может. По-моему, этой самой земли и вам хватит, да еще от вас останется... Понял? Значит, башкирская деревня Кульмякова — понял? Мы уж к ней приспособились, ну, а вы к нашей деревне приспособляйтесь.

— Как же это на чужую землю возможно.

— Ах ты, ежовая голова: сказано — земля ничья, божья, значит. Ничего не известно, кому и что следствует... Я тебя и научу, дедко, как наших расстанских мужиков обойти, только за это ты мне второй полуштоф потом выставишь. Ты приезжай завтра к нам в волость и сторгуй три десятины травы у волостных старичков, будто лошадей выправить... У нас трава по двугривенному с десятины... Ну, а как вас пустят, вы уж не зевайте: сейчас налаживайте и балаганы и землянки. Понял? А потом будто вы перезимовать только хотите... Так? А потом с кульмяцкими башкирами сговоритесь, будто вы у них эту самую землю покупаете... Да тут конца-края не будет, и никто ничего не разберет.

— Ну, и сказал ты словечко, мил-человек...

— А то как же? У нас, брат, в Сибири доб-

ром ничего не возьмешь... Божья земля-то. Понял? Так оно и пойдет год за годом, а там, глядишь, башкиры все вымрут, — ну, тогда с Расстанью и разделите землю пополам. Вот каков есть человек Спирька!

— Так, так...

— Да уж верно сказано.

Переселенцы так и сделали, как научил Спирька, и все вышло как по-писаному. Ходок Антон оказался большим мужицким дипломатом. Дело в том, что русская деревня Расстань не имела никакого права на существование и осела на чужой башкирской земле захватом. Башкиры судились с этими незваными насельниками много лет, но из этого ничего не выходило, потому что собственные права башкир тонули во мраке далекого прошлого. Когда-то, очень давно, они тоже пришли сюда и захватили чужую землю. Оставались права давности, вернее — права первого захвата. Появление новых насельников было на руку башкирам, сдавшим в долгосрочную аренду землю, принадлежавшую Расстани. Отсюда пошли нескончаемые споры и раздоры между двумя русскими деревнями, сопро-

вождаемые настоящими драками и рукопашной. Переселенцы удерживались только дипломатическим талантом ходока Антона, умевшего заговаривать зубы и рассчитывавшего на время.

Все это припомнил теперь Спирька и мог только удивляться черной неблагодарности переселенцев. Для него было ясно как день только одно, что не встреть он тогда переселенческого обоза, не был бы он драным. Вот до чего довела Дунька своим колдовством и его и других, с тою разницей, что он отлично понимал, в чем дело, а все другие точно ослепли.

— Благодетелем для них был, — размышлял Спирька в огорчении. — А они же своего благодетеля и отлупцевали... Нет, ты погоди, не таковский Спирька, чтобы живому мыши голову отъели.

VI

История Спирькиной любви была очень грустная, начиная с того, что он не знал даже самого слова — любовь. По его понятиям, это была присушка. Взяла хитрая баба и заколдовала. Дело тянулось целых пять лет. Спирька

часто бывал в Ольховке у переселенцев, но встречал Дуньку очень редко и то мельком. Их разговоры ограничивались взаимной перебранкой.

— Што ты на меня воззрился, как свинья на мертвого воробья? — спросит иногда Дунька.

— У, гладкая!.. — ответит Спирька и обругает.

Дунька жаловалась на озорника мужу, но Степан был смирный мужик и не обращал внимания. Известно, сибиряки отчаянные, удержу в них нет.

А у Спирьки с каждым годом сердце все больше и больше разгоралось. Он не мог дать себе отчета, что с ним делается, а только Дунька не выходила у него из головы. Разве можно было ее применить к другим бабам? Глянет, так точно огнем обожжет. На Спирьку нападала жестокая тоска, и он топил свое горе по кабакам. Пьяный он часто плакал и жаловался кабацким друзьям, что его испортила одна женщина. Прямо он не называл Дуньки, а только намекал, что она из переселенок.

— Как змея проползла... Вот какое дело! И

сплю и вижу ее...

Кабацкие приятели от души сочувствовали Спирькину горю, от искреннего сердца ругали его и советовали бить ведьму, которая такими делами занимается.

Но раньше Спирька еще сомневался, что Дунька была ведьма, и только теперь это сделалось ему ясным как день. И какая ведьма — издали приворожила. Другие ведьмы или накормят чем, или опоят человека, а эта одним глазом только поглядела, и Спирька готов. Даже сейчас, после расправы в волости, он не мог рассердиться на нее по-настоящему. Были мысли довольно жестокого характера, но они падали, как осенний сухой лист с дерева. По возвращении из волости Спирька решил про себя, что спалит двор у старика Антона, и эта мысль ему очень нравилась. Темная ветреная ночь... все спят... и вдруг над Ольховкой зарево, а через два часа хоть шаром покати. Для отвода глаз Спирька хотел притвориться больным и вылежать в избе с неделю. На, потом разбирай да ищи ветра в поле... Кто поджег — руки-ноги не оставил. Нехорошо было то, что расейская стройка дружная, изба к из-

бе, и вся деревня могла сгореть, как хороший костер. Не стоило из-за Дуньки по миру пускать столько народу. Другой способ — изводить Дуньку самому. Приехал к избе верхом, да и давай золотить ведьму всякими словами. Переселенские мужики смирные, все стерпят. Опять нехорошо...

Целых три дня думал Спирька, и ничего не выходило. Виноваты и свои расстанские, зачем выдали головой новоселам. Хорошо бы им красного петуха запустить, чтобы чувствовали вполне: «Надо вас, варнаков, учить... Простоваты вы, чтобы драть человека незнамо за што. Какой же это порядок? Сегодня одного отодрали, а завтра другого будете драть... А еще господа старички называются. От всего общества честь... Одной водки сколько вытрескают на сходах за мирской счет».

Но ни одному из этих жестоких планов Спирьки не суждено было осуществиться.

Раз, на самом брезгу, Спирька был разбужен стуком в окно.

— Эй ты, приятный человек...

— Кого там черт принес? — откликнулся Спирька с печи.

— А ты выглянь в окошко.

Спирька слез с печи и выглянул. Перед его избой стояла кучка ольховских новоселов с ходоком во главе.

— Чего вас носит, полуночников? — обругал Спирька.

— А ты выдь из избы-то. Разговор маленький есть.

— Знаю я ваши разговоры... Опять, что ли, драть?

— Зачем драть, приятный человек, а так для разговору слов. Ежели добром не выдешь, так сами в избу придем... Тебе же хуже будет, приятный человек.

Спирька некоторое время соображал, хотя выбирать было не из чего. Потом на него напало озлобление, и он смело пошел из избы. Но его схватили десятки дюжих рук, едва он переступил порог сеней.

— Получай, братцы... — обрадованно загалдели мужики. — Ён самый и есть озорник. Держи его крепче!..

В один момент Спирька был связан.

— А вот увидишь, приятный человек... Ребята, волоките озорника.

— Братцы...

Спирьку потащили посредине улицы, довольно невежливо подталкивая под бока. Он только кряхтел и по обыкновению ругался. Стояло самое раннее утро, так что не топилась еще ни одна изба. Окрестные горы были подернуты туманною дымкой. На топот десятков ног и глухой говор сопровождавшей Спирьку толпы кое-где в окнах показывались головы.

— Братцы, убивают! — кричал Спирька, когда замечал мужицкую голову. — Ох, убивают...

За эти возгласы ему действительно доставались дюжие тумаки, а потом чья-то корявая рука зажала Спирькин рот.

— Молчи, конокрад!

Последнее восклицание сделало все ясным. Спирька понял, зачем его волокут в Ольховку, и ему вперед представилась ужасная картина мужицкого самосуда. Он сам видал, как насмерть бьют конокрадов, и сам даже участвовал в жестоких расправах. Да, все было ясно как день, и даже Спирька ужаснулся, когда толпа свернула в переулок налево. Оче-

видно, новоселы не желали вести Спирьку через Расстань, чтобы не поднимать на ноги расстанских мужиков, которые могут заступиться за односельчанина. А у себя в Ольховке сделают, что хотят.

Спирьку потащили полем. Толчки делались сильнее. Кто-то ударил Спирьку по щеке. Дюжие мужицкие руки держали его, как в клещах. У Спирьки начала кружиться голова от страшной боли в левом плече, — очень уже поусердствовали скрутить ему руки за спиной.

Ольховка была вся на ногах, когда привели Спирьку. Его встретили озлобленные лица. Кто-то ругался, какая-то женщина причитала. Старуха, жена ходока Антона, так и вцепилась в Спирьку.

— Ён... ён самый!.. А я ему глаза повыцыкаю, озорнику.

Обезумевшую от ярости старуху едва оттащили.

— Ох, разорил ён нас всех!.. — причитала она, — всю семью по миру пустил... Куды мы без лошадок? Страда наступит скоро, а мы как без рук... Снял с нас голову, озорник!..

— Это ён со злости, што тогда поучили за Дуньку в волости, — объяснял голос в толпе. — И лукав пес...

Спирьку затащили на двор к Антону и положили связанного на земле. Тащившие его мужики запыхались. На всех лицах была написана твердая решимость разделаться с конокрадом по-свойски, чтобы другим-прочим подобным озорникам вперед не было повадно. Спирька был осужден заранее, осужден целым крестьянским миром, и теперь оставались только маленькие формальности. Когда к нему подошел Степан и ткнул тяжелым мужицким сапогом прямо в лицо, так что брызнула кровь, его остановили.

— Не трошь, Степан... Теперь ён никуда не уйдет из наших рук.

Составился полевой суд. Вся задача заключалась в том, чтобы выпытать от Спирьки, куда он угнал лошадей. Степан, задыхаясь от волнения, в сотый раз рассказал, как они втроем караулили лошадей на зеленях и как их украли прямо у них из-под носу. В темноте воров не могли разглядеть.

— Ну, теперь твоя речь, — обратился ста-

рик Антон к Спирьке. — Доказывай, куда дел лошадей?

У Спирьки быстро мелькнула тень надежды на спасение. Он ответил с дерзостью:

— Не меня надо бить, а ваших пастухов... Чего они-то глядели? Воров трое — и их трое.

Толпа немного смутилась. Каждое мгновение было дорого, и Спирька решил дорого продать свою грешную душу. Он обругал всех и смело заявил:

— Уж ежели на то пошло, так я один вам выворочу украденных коней... Дураки вы все!.. Где вас надо, так там вас и нет...

Эта смелая ругань произвела известное впечатление. Кругом виноватые люди не будут ругаться, особенно, когда смерть на носу.

— Я вам всем покажу, как надо на свете жить! — уже смело заговорил Спирька. — Спросите суседей, никуда я из избы с вечера не выходил... По насердкам[72] вы меня взяли. Говорю: один выворочу всех коней. Мне же в ноги потом будете кланяться, лапотники... Разве такие мужики бывают? Эх, вы... А Степке я сам обе скулы сворочу. Его надо бить-то, шалого.

VII

Неистовое поведение Спирьки сбило новоселов с толку. Ругавшиеся мужики замолчали, озлобление сменилось недоумением. Дунька, спрятавшаяся со страху в задней избе, думала, что уже все кончено. Она все время повторяла про себя:

— Ох, смертынька... Они его убьют!..

А тут вдруг галденье прекратилось. Она выбежала в сени и из-за косяка увидела удивительную картину. Батюшка-свекор своими руками развязал руки Спирьке и даже помог ему подняться на ноги. Вид у Спирьки был ужасный: рубаха разорвана в клочья, лицо в крови, на спине и плечах сине-багровые подтеки от ударов. Спирька постоял, точно оглушенный, повел плечами, точно пробовал, целы ли кости, а потом проговорил хриплым голосом:

— Дайте стаканчик водки...

В данный момент его больше всего смущала разорванная рубаха. В толпе были и бабы и девки, а он совсем голый. Спирька несколько раз тряхнул головой. Да, много раз его бивали и раньше, только рубаху не так рвали.

— На, непутевая голова, — говорил старик Антон, подавая Спирьке стакан водки. — Так лошадушек-то добудешь?

— Сказано: выворочу. Экие собаки, право, как рубаху-то истерзали... Места живого не осталось.

— Ну, рубаху мы тебе другую дадим... Дунька, сыщика ему какую ни на есть! — приказал Антон. — Так лошадок-то, Спирька, вызволишь? Ведь разор всему нашему дому...

Дунька разыскала старенькую мужнину рубаху и вынесла ее на двор. Спирька сурово повернулся к ней спиной. Дунька опять убежала в заднюю избу, чтобы никто не видел ее слез, — ведь из-за нее, дуры, чуть не убили Спирьку. И посмотреть-то теперь на него страшно: в крови весь, как баран, все тело пестрое от синяков, один глаз начал затекать. Поведение Спирьки еще больше убедило ее в собственной виновности, и Дунька не могла удержать слез. А тут еще матушка-свекровушка может увидеть, как она его жалеет, озорника, и может поедом съесть.

К себе, в Расстань, Спирька не пошел, а послал за своей гнедой лошадью. По пути велел

захватить пастуший рог и ременный аркан. Дунька видела, как он, обряженный в чужую рубаху, ястребом сел на свою лошадь, поднялся в седле и попросил еще стаканчик водки.

— Не поминайте лихом Спирьку! — крикнул он, пуская лошадь с места полной рысью.

Оставшиеся у ворот мужики несколько времени сумрачно молчали, а потом какой-то голос проговорил в толпе:

— Омманет Спирька-то… Еще его же и водкой напоили. Теперь ступай, лови его.

Старик Антон ничего не ответил на этот вызов. Два стакана водки не расчет, когда человек обещает коней воротить. Окромя его, некому и сделать так. Спирька по лошадиной части все знает и с завязанными глазами всю округу обыщет.

Спирька пропадал целых три дня. Время тянулось ужасно медленно. «Двор» старика Антона переживал самый критический момент. Какой «двор» без лошадиной силы, а новых лошадей разводить не на что. Получилось самое безвыходное положение, тем более, что дело шло к страде. Мужики угрюмо молчали, а бабы ходили с заплаканными гла-

зами. Теперь все благосостояние семьи зависело единственно от смелости отчаянного человека Спирьки. Но больше всех убивалась Дунька, убивалась молча, одна, затаив в себе целый рой чисто бабьих мыслей. О, она теперь выучилась молчать. С одной стороны, она, припоминая недавние побои, даже не желала, чтобы Спирька вернул назад украденных лошадей, — пусть зорится нелюбимая семья, а с другой — она так боялась за Спирьку. А вдруг он вернется с пустыми руками? Если его и не убьют, так сам навек себя осрамит. Дуньке до слез делалось жаль вот этого отчаянного Спирьку, когда она припоминала его поведение. Как он обругал Степана да всех других новоселов, — лежит связанный и ругает. Они-то навалились на одного человека всей деревней и убили бы наверно, ежели бы не отчаянность Спирьки. Эта смелость произвела на Дуньку неотразимое впечатление. Ведь это совсем не то, что бить беззащитную бабу, как ее били батюшка-свекор с мужем Степаном. Что-то такое новое зарождалось в душе Дуньки, что ее и пугало, и радовало, и заставляло плакать. Потихоньку она моли-

лась за успех Спирькиной экспедиции.

В Ольховке сильно сомневались относительно Спирьки и потихоньку судачили относительно старика Антона. Правильный старичок, а вот как дал маху… Обошел кругом озорной человек. Но этим пересудам был положен конец, когда на четвертый день ночью объявился Спирька. Он привел на своем аркане всех трех лошадей. Сонная семья выскочила вся на улицу и не верила собственным глазам.

— Да ты ли это, Спирька? — спрашивал Антон.

— Около того…

Когда Спирьке пришлось слезать с лошади, он только тяжело застонал. Правая рука у него висела плеть плетью.

— Ты, Спиря, тово, — бормотал старик Антон, помогая ему вылезть из седла. — Эх, брат, тово… Што это у тебя рука-то, как чужая?

— А так, значит…

Бабы ухватились за лошадей и с причитаньями повели их во двор. Оставалась одна Дунька. Она спряталась за верею[73] и наблюдала, как батюшка-свекор снимал с лошади

озорника Спирьку. Дунькино сердце билось, как подстреленная птица, и она чувствовала, как задыхается. По всем признакам Спирька был едва жив и доехал до Ольховки только по инерции. Когда его сняли с седла, Спирька весь распустился, как ребенок, и едва мог пролепетать косневшим языком:

— Водочки… стаканчик…

— Били тебя, Спиря?

— Ох, как били… И я бил и меня били.

От Спирьки трудно было добиться какого-нибудь толку, да и не любил он расспросов.

— Где был — ничего не осталось, — сурово отвечал он. — Мало ли хороших местов.

— Так, гришь, шибко били? — повторял Антон.

— Очень даже превосходно.

По перепавшим лошадям мужики видели, что Спирька был не близко, а глядя на него — что дело было у него с конокрадами жаркое.

Он оставался гостем у Антона дня три, пока поправился и немного отдохнул. За ним теперь все ухаживали, и пряталась только одна Дунька. Она боялась поднять глаза, когда входила в избу, где сидел с мужиками Спирь-

ка. Он тоже отворачивался от нее и только раз, когда они столкнулись на дворе, спросил:

— Дунь... а Дунь? Ты не серчаешь на меня?

У Дуньки точно что оборвалось внутри от этого виноватого голоса, каким заговорил с ней Спирька. Сердце так и захолонуло, как будто она полетела откуда-то с высоты.

— Так не серчаешь, Дунь?

— Што это и придумаешь, Спиридон Савельич... Посмеяться надо мной хочешь...

— Я?! Эх, Дунюшка!

Он подошел к ней совсем близко и шепнул:

— Для тебя только и коней выворотил, желанная... На, получай и чувствуй, каков есть человек Спирька. Эх, Дуня... Слов вот у меня нет никаких, штобы, значит, обсказать все... Только и умею, што ругаться.

— Ты меня ведьмой считаешь...

Голос Дуньки оборвался, и она закрыла лицо рукавом. Душившие ее все эти дни слезы так и хлынули. Спирька растерялся и не знал, что ему сказать. Да и что скажешь бабе, которая дура дурой ревет? Правда, жаль бабенки... Спирька повернулся к плакавшей Дуньке

спиной, постоял с минуту, напрасно отыскивая в своем репертуаре хоть одно ласковое слово, но только тряхнул головой и ушел в избу. Он немного струсил и струсил самого себя: жалость так вот всего и охватила.

Спирька ушел от Антона через какой-нибудь час.

— Ты куда это скоро больно поплелся? — уговаривал его старик Антон. — Поживи, пока рука-то поправится.

— Нет, уж я домой, — угрюмо отвечал Спирька.

Дунька видела потом, как батюшка-свекор совал Спирьке рублевую бумажку, а Спирька ругался.

— Отстань, старый черт! Стал бы я себя увечить из-за твоего рубля... Дураки вы все и ничего не понимаете. А Степану я скулу сворочу, как вот только рука выправится.

Обругал всех и пошел домой, придерживая бессильно мотавшуюся правую руку.

VIII

Вернувшись домой, Спирька сразу слег, точно подломился. Сначала у него болела ушибленная рука. Она была точно чужая и

висела плеть плетью. Удар пришелся по плечу, и Спирька чувствовал по ночам страшную боль. Задремлет и видит во сне, как нагоняет конокрадов. Их было трое. Они сидели вокруг огонька, не ожидая опасности. Стреноженные лошади паслись в десяти шагах. Спирька налетел на воров орлом. Завязалась отчаянная драка. Могуч был Спирька и двоих уложил сразу, а третий оказался «жиловатым» и долго дрался со Спирькой. Когда Спирька уложил и этого третьего и «пал» на свою лошадь, он догнал его и ударил бастрыгом[74] по плечу. Хорошо, что Спирька усидел на лошади, а то бы ему несдобровать. Сейчас он повторял про себя тысячу раз эту сцену, и ему казалось, что его все еще бьют. Он просыпался в холодном поту и кричал:

— Эй, всех убью!.. Не подходи.

Спирька думал отлежаться, как бывало раньше. Не в первый раз его били насмерть. Но чем дальше, тем делалось ему хуже. Спирька послал за старухой Митревной, которая лечила всю Расстань. Митревна пришла, осмотрела Спирьку и только покачала головой.

— Эк тебя угораздило, Спирька.

— А што?

— Места ведь на тебе живого нет... Точно цепами тебя молотили.

— Около того, баушка... Весь не могу. И поясницу ломит, и крыльца болят, и ноги отнимаются.

— Вот, вот... Больно ты лют драться-то, Спирька.

— Дело такое подошло, баушка.

— Да, дело хорошее... Как еще тебе башку не оторвали напрочь.

Баушка Митревна еще раз осмотрела Спирьку, покачала головой и проговорила:

— Умрешь ты, Спирька.

— Раньше смерти не помру.

— Главная причина, что у тебя повреждена становая жила и все болони нарушены.

Мысль о смерти Спирьку не испугала. Что же, умирать так умирать... Обидным для него было только одно — оставалось неизвестным, от кого он умрет. Били здорово и ольховские мужики и конокрады, — ступай разбирай, которые били сильнее. Сначала Спирька решил, что его окончательно изувечили конокрады,

а потом на него напало сомнение. Хорошо тузили и ольховские новоселы.

Спирька лежал в своей избушке совершенно один. В Расстани, и в Ольховке, и в Кульмяковой было уже известно, что он не жилец на белом свете. Приходили проведывать разные мужики, и все жалели Спирьку.

— Беспременно ты помрешь, Спирька... Уж баушка Митревна знает. Она, брат, скажет, как ножом отрежет. Достаточно перехоронила на своем веку всяких народов.

— Знаю без вас, што помру... От ольховских новоселов в землю уйду. Я их землей наградил, и они меня тоже землей отблагодарили. Мой грех.

— А ты бы, Спирька, штец горяченьких похлебал. Может, и полегчает... По жилам горяченькое-то разойдется.

— Не позывает меня на пищу, братцы.

Особенно тяжело бывало Спирьке по вечерам, когда он лежал в темноте. Тихо кругом, а в Спирькиной голове мысли так и шевелятся. Припоминал он всю свою жизнь и ничего, кроме безобразия, не находил. Если бы ему баушка Митревна предложила прожить

жизнь во второй раз, он едва ли бы согласился. Тошно и вспоминать, не то что снова все проделывать. Так, одно безобразие... Другие, конечно, жили и по-хорошему, а он мыкался.

Раз лежал Спирька вечером и особенно мучился. Ему приходилось плохо. Явилось какое-то смутное ожидание чего-то. Вот бы встать теперь, выйти на улицу... Кругом все давно уже зеленело. И горы стоят зеленые, и поля, и луга. Хорошо везде, кроме его избушки. Спирька, кажется, задремал, когда его разбудил осторожный шорох в сенях. Потом раскрылась дверь, и кто-то вошел в избу.

— Ты жив, Спиридон Савельич? — спросил женский голос.

— Это ты, Дуня?

— Я... Урвалась из дому, штобы с тобой проститься.

Голос у Дуньки оборвался. Спирька слышал ее тяжелое дыхание. Она стояла, переминаясь с ноги на ногу.

— Ну? — сурово спросил Спирька.

— Больше ничего.

Она присела на лавку, и Спирька только теперь рассмотрел, что Дунька пришла с ре-

бенком.

— Ты это зачем ребенка-то приволокла?

— А так... Сказывали мужики, што ты помираешь, — вот я и пришла.

— Помираю, Дуня...

Голос Спирьки сделался ласковее.

— Наши-то мужики тебя вот как жалеют, потому как понапрасну тогда обидели тебя.

— Ну их совсем! Пусть твой Степан благодарит бога, што я кончусь скоро, а то бы... Не стоит говорить, Дуня.

Дунька тяжело вздохнула.

— А што касаемо того, што я тебя ведьмой навеличивал, так это совсем особь статья, Дуня. Эх, не так все вышло. Ну, да што об этом говорить... Не стоит. Все одно околевать.

Послышались легкие всхлипывания. Плакала Дунька. Она не вытирала своих слез.

— Тяжко, Спиридон Савельич... Места нигде не найду.

— Ну?

— Вот как тяжко...

— Обижают?

— А мне все одно... Приду домой и скажу, што была у тебя. Пусть бьют... и матушка-све-

кровушка проходу не дает. Все тобой попрекает… Пусть… Испортил ты меня, Спиридон Савельич. Все думаю, все думаю… С ума ты у меня нейдешь. И мужа не люблю, да и раньше никогда не любила…

— Ну, это уж ты тово… закон принимала, значит, тово… терпи…

— А ежели моего терпенья не стало? Ох, тошно… Вконец вся извелась, Спиридон Савельич. Вот сынка родила, рощу, а сама все думаю: неужто и он в наших мужиков издастся? Какие это мужики? Всего боятся.

— Это ты правильно, Дуня.

— Себя ущитить не умеют… Духу в них нет… Тошно глядеть. Хуже бабы, а еще мужики… Конями-то ты их застыдил.

— Плевое дело.

Дунька продолжала плакать. Ребенок проснулся и тоже заплакал. Спирьке хотелось сказать ей что-нибудь хорошее, ласковое, утешить, приласкать, но у него кружилась голова и никаких слов не было.

— Ну, мне пора домой, Спиридон Савельич.

Она подошла к нему совсем близко, под-

несла ребенка и проговорила:

— Ты, Спиридон Савельич, перекрести младенчика, штобы он тоже не боялся.

Через несколько дней озорника не стало. Он успокоился на деревенском кладбище.

Переводчица на приисках {8}

I

— Да-с, Ираида Филатьевна... — говорил низенький сгорбленный старик с опухшим красным лицом. — Все испытал, все перенес, как праведный Иов...[75] Был богат, пользовался почетом, а теперь сир и убог-с.

Старик жестом показал на свою порыжелую заплатанную визитку, на короткие, обросшие снизу бахромой штаны с выдавшимися протертыми коленками и на старые лапти, которые жалко болтались на его голых ногах. Ираида Филатьевна, коротенькая и толстая женщина лет сорока, с маленькими голубыми глазками и широким чувственным ртом, только пыхнула в ответ синим дымом сигары, которую курила, и немного хриплым голосом небрежно проговорила:

— Ну, а дальше?..

Старик посмотрел на свою собеседницу мутными, слезившимися глазами записного пьяницы, покрутил головой и улыбнулся рассеянной, полупьяной улыбкой. Он только теперь обратил внимание на мужской костюм

Ираиды Филатьевны, которая была одета в черные бархатные шаровары, в красную канаусовую[76] рубашку и щегольские лакированные сапоги; нога у Ираиды Филатьевны была самая маленькая, что называется аристократическая нога, с высоким подъемом и крошечной ступней.

— Ну-с?., — Ах, Ираида Филатьевна... одну крошечную рюмочку бы... А?..

— Да у вас, батенька, вчерашнее похмелье из головы не вышибло, а вы рюмочку...

Вместо ответа старик моментально схватил своими красными дрожавшими руками маленькую белую руку Ираиды Филатьевны и покрыл ее поцелуями; Ираида Филатьевна молча поднялась со ступеньки крыльца, на котором они сидели, и, слегка переваливаясь на своих толстых коротких ножках, ленивой походкой ушла в комнату.

Разговор происходил на крыльце кокковинской приисковой конторы. Старик несколько времени сидел неподвижно на своей ступеньке, потом поднял голову и, прищурившись, долго смотрел кругом. Налево от конторы поднималась лесистая горка, напра-

во раскинулся желтым пятном Коковинский прииск, точно оправленный в широкую зеленую раму из хвойного леса. Кругом беспорядочно громоздились Уральские горы, обрезывая горизонт волнистой неправильной линией. Все кругом — и горы, и лес, и прииск, и самая контора — было залито ослепительным светом июльского солнца. Около вашгердов на прииске не суетились старатели, в лесу замолкли птичьи голоса, и даже неутомимый дятел перестал долбить старую ель с обломленной вершиной, которая стояла в двух шагах от конторы.

— Ух, как парит... — вслух проговорил старик, снимая с головы рваную скомканную баранью шапку.

Ираида Филатьевна вынесла ему стаканчик водки; старик жадно припал к нему блестевшими синими губами и, выпив водку залпом, на несколько времени впал в то бессознательно-блаженное состояние, какое испытывают только горькие пьяницы.

— Кто же вас ко мне прислал? — спрашивала Ираида Филатьевна, опять усаживаясь на ступеньку рядом со стариком; она задыха-

лась от жара, а на крыльце было как будто прохладнее.

— Сам пришел-с, сам, — заговорил старик разбитым! хриплым голосом. — Я ведь не всегда такой был, Ираида Филатьевна. Когда ваш папенька, генерал Касаткин, служили на Урале, они бывали у меня в доме... Как же-с!.. Все бывали, потому что дом у меня был полная чаша. Все тогда знали Якова Порфирыча Шипнцына... Да-с!.. В силе был, в большой силе-с, капиталами страшенными ворочал... Да и вы у меня бывали, сударыня, этакой маленькой девочкой: коротенькое платьице, белые кальсончики, локончики... Хе-хе!.. Конечно, где вам упомнить, ежели тогда вам, может, семой годок шел... Одним словом, отроковица.

— Ведь вы в Лобовском заводе живете?

— Да... то есть нет: жил когда-то, а теперь где день, где ночь.

— Я помию, дом у вас стоит на горе?

— Точно так-с... Этакой большой домина, с мезонином, колоннами, галдареей и всякое прочее. А рядом с моим-то домом стоит дом Хомутова, Прошки Хомутова... Такой же, как у меня. Может, помните?

— Нет... Я помню, как сквозь сон, что была с папа в Лобовском заводе, в доме с колоннами, и ела малину в большом саду, вместе с какими-то девочками...

— Именно, именно, сударыня... И малина была крупная, хорошая малина, а девочки-то — мои дочери. Да-с... Вот дочери-то меня и загубили, сударыня. Ах, не то ведь я хотел сказать, о дочерях после. Завел я речь о том, почему пришел к вам... А видите, какая причина вышла: как-то в городе, в Мохове нашем, зашел я грешным делом в кабачок, известно, не с радости, а с горя... Хорошо. Только тут попались мне старатели с Коковинского прииска, ну, разговорились. Вот они мне и рассказали про вас: такая, говорят, у нас славная барышня на прииске, одним словом! добреющая душа. К кому хворь, говорят, прикинется, али какое горе — все к ней несем... Вот я тогда и припомнил вас... Думаю, авось барышня и признают Якова Шипицьгна. А мне, видите ли, нужно пробраться на Вогульский прииск, к Хомутову, оно, значит, к вам, на Коковинский-то, мне и вышло по пути... Как же-с! А вы вот и признали меня...

— Однако что вам от меня нужно?

— Я-с?.. Мне лично от вас ничего не нужно, Ираида Филатьевна... Как изволите видеть: весь тут — стар и дряхл, а похоронить-то и меня место найдут. Вот за стаканчик я вам благодарен... Э-эх! Ну, да это все пустяки, дело-то не в том... Да-с. Не о себе хлопочу. Только уж позвольте сначала вам все обсказать.

— Рассказывайте...

Шипицын на минуту задумался, припоминая длинный ряд годов, где мелькали знакомые лица, дорогие сердцу сцены и разные житейские случаи; он встряхнул головой, точно желая освободиться от тяжелых воспоминаний, и заговорил своим дряблым, разбитым голосом:

— Прохора-то Герасимовича вы знаете?

— Нет.

— Ну, Хомутова?.. Прошку Хомутова?

— Да слыхала о нем, даже раз, кажется, видела его издали.

— Так-с...

Шипицын опять задумался. На пыльной дороге, в двух шагах от конторы, весело выбежала синичка и, помахивая длинным чер-

ным хвостиком, с женским любопытством посмотрела своими черными крошечными глазками на разговаривавших.

Одно мгновение она, кажется, готова была улететь и даже немного присела, чтобы вспорхнуть разом, но страх так же быстро миновал, как и пришел, и маленькая шалунья беззаботно погналась за кружившимися в воздухе и ошалевшими от жару мошками. Она ловко схватывала их, делая самые грациозные па, и несколько раз оглянулась на крыльцо, точно ожидая погони.

— У нас еще отцы-то жили душа в душу, — заговорил Шипицын после своего раздумья, — а потом мы с Прошкой подросли, почитай, однолетки были, в один год нас и женили... Мы по беспоповщине, так свадьба у нас по родительскому благословению. Живо рукой окрутят, и вся тут. Хорошо... У Хомутова в доме и моленная налажена была. Ноньче эти дела просто пошли, а допреж этого, ух, какие строгости были: разорят за моленную. Только старики-то Хомутовы крепки были, ну, и не сумлевалнсь: чуть что заслышат, сейчас давай замазывать всем рты. Ну, обыкно-

венная политика... Хорошо. Вот мы и живем рядышком: у Хомутовых дом полная чаша, и у нас тоже. Даже огороды не были разгорожены, ребятишки так одной грудкой и ходят... А детишек у нас все копится да копится: что ни год, то и с прибылью. Только у Прошки ребята родились все вперемежку: ноньче девка, на другой год парень — так, вроде как часы были заведены; а у меня не так: у меня подряд шли все девки... Ей-богу!.. Уж чего-чего только мы не делали с женой, чтобы парня хоть одного добыть: на боже мой! Как сама-то тяжелая ходит, так я уж по глазам вижу, что беспременно она девку принесет опять... И что бы вы думали: десять девок! Ну, куда я с ними денусь, особливо по нашему купеческому положению! Сын подрос, он уж и помощник, с десяти лет за прилавком: и себе хлеб зарабатывает и отцу замена. Хорошо. Вот только жена моя в одиннадцатый раз и забеременела. А меня и страх, и горе, и злость вперед разбирает. Как, думаю, жена принесет одиннадцатую девку, сейчас ее, как кошку, в мешок да в воду... Ей-богу, так и думаю про себя. Ну-с, и ждем мы с женой, как страшного суда, кто родится...

— И родилась одиннадцатая девка?

— Так точно-с: одиннадцатая!.. Уж такое меня горе взяло, такое горе взяло! Пошел к своему старику, который у нас за попа справлял... Марком его звали. Ну, Марк меня и спрашивает: «Кого, Яков Порфирыч, бог дал?» А я ему: «Будь она, — говорю, — от меня проклята, — одиннадцатая девка родилась!» Ах, горе, горе!..

— Что же, вы утопили ее?

— Нет... Какое утопил!.. Старших-то девок я-таки недолюбливал, а одиннадцатая-то к самому сердцу пришлась. Ей-богу...сударыня... Стала она подрастать, и такая из себя бойкая да смышленая девчурка вышла, ну, загляденье: глазенки как черная. смородина, волосы русые да кудрявые, сама румяная... Ах, хороша уродилась Настенька, все соседи любовались, только уродилась она не в добрый час... Да. Как раз с самого дня ее рождения начали мы захудать, то есть я и Хомутов. Одному тут не везет, другому в другом месте... Не успеешь от одной незадачи поправиться, а там уж другая на носу. Так оно и пошло, точно под гору покатилось. Ну, по крайности, не обидно вы-

ходило: пир пировали вместе и горе горевать вместе. Куда что девалось: сначала тоже крепились, а потом уж и крепиться мочи не стало. А у Хомутова дела еще хуже моих. Я-то хлебом торговал, а он красным товаром[77]. Вот и подойди Ирбитская ярмарка. Неотступно Хомутоту деньги надобны, а денег нет. Он ко мне, как к старому другу-приятелю, а у меня тоже пусто в кармане: все деньги, какие были, в товар положил. Объяснил я ему все дело и говорю, что помочь мне ему нечем... А Прошка-то Хомутов-то и говорит: «Яков Порфирыч, поручись за меня!..» Подумал-подумал я, ну, как не помочь человеку, ежели он просто заживо тонет, да еще какому человеку: душа в душу жили чуть не сто лет. «Хорошо», — говорю я Прошке. Ну, он, обнаковенно, зачал божиться: тот бог, этот бог... Поручился я за него тысяч на десять, и он поехал на Ирбитскую, набрал товару, а потом через полгода и обанкрутился: все богатство как водой смыло — ничего не осталось. А тут и меня за мою поруку подтянули, и тоже все с молотка пошло... Ох-хо-хо!.. Забедовали как есть... Лавки опечатаны, товар с укциону ушел, дома

что было накоплено — тоже помаленьку растранжирили, — сегодня лошадку продадим, завтра экипажи, после — серебряную посуду, из платья что ни на есть. Вконец захудали... А я не ропщу: думаю то — вместе беду несем, авось поправимся. Конечно, оно обидно, что последние крохи у меня за Хомутовым пропали, ну, а поправится мужик — отдаст.

— Тогда эти вольные золотые промысла пошли, — продолжал Шипицын после небольшой паузы. — Ну, Хомутов-то и раньше немножко золотом займювался, а тут уж обеими руками за прииска схватался... Все равно: двух смертей не будет, а одной не миновать. Сыновья у него подросли, ну, все отцу подмога от них. А я так и посел с своими одиннадцатью девками: женихов-то и не видывали. Да и какие женихи: кто побогаче — брезгуют из разоренного дому невесту брать, кто победнее — думают, что такая невеста к бедности все-таки необычна, тосковать станет. Ну, их у меня, невест-то, зараз штук шесть и очутилось на руках... Чистое горе!.. Девичье дело — и одеться надо и обуться, а достатков-то не хватает и на хлеб. Вот Хому-

тов приисками занялся, а мне и того нельзя: сижу с своими девками, как собака на цепи, а девки на возрасте — долго ли до греха, К бедности-то завсегда грех первым делом льнет... Так мы и маячились лет с пять, а тут, погляжу, мои старшие-то дочери совсем зачичеревели в девках, а за ними уж меньшие, как горох по тычинкам, растут. Одиннадцатая-то, Настенька, тоже уж за двенадцать годочков перевалило и так-то наливается, что твое яблочко. И все это ей нипочем, вроде как ртуть! Мы ее стрелой прозвали за ее разудалый характер. Всех, бывало, утешит... А в тринадцать-то лет она у нас совсем заневестилась: хоть сейчас замуж. Ейбогу!.. Оказия, а не девка... А мне уж и кормить моих девок нечем, давай их сбывать по добрым людям: старшие, те в начетчицы ушли, другие из-за хлеба околачивались по дальним родственникам, одна учительшей была... Не с голодухи же помирать моим девкам!.. А уж в те поры начал я вином зашибать... Остальные остатки тащил из дому да пропивал. Да как и не пить: придешь домой — вроде как ад кромешный. Жена высохла и вроде из ума рехнулась, дочери

грызутся, бедность, нищета... Ох-хо-хо! Одна стрела наша и в ус не дует: придешь пьяный домой, она тебя и приберет, и уговорит, и спать уложит, а на утро даже опохмелиться даст. Под пьяную-то руку я драться стал крепко: всех, бывало, как мышей, разгоню из дому... Жену, старуху-то, даже тиранить стал. Ей-богу, осатанел совсем. Ну, а тут как раз Хомутов и открой этот Вогульский прииск: в год все долги свои заплатил и четыреста тысяч в карман чистеньких. Обрадел я, бросил свое пьянство, вымылся, помолился и к Хомутову, за своим, значит, долгом... Что бы вь думали, сударыня, ведь этот самый Хомутов заперся в моем долге?!. Ей-богу... «Не бирал» — и шабаш. Это он моими-то десятью тысячами покорыстовался при своих, можно сказать, миллионтах... А дело велось по дружбе, без всяких записок, ну, и сплакали мои десять тысяч.

— Должно быть, этот Хомутов величайший мерзавец?!.

— Как вам сказать... Мудреное это дело, сударыня, человека судить: и не мерзавец Хомутов, и на нищую братию тысячами жертвует, и многим помогает, а мне не заплатил... Ума

не приложу!.. Даже ежели бы он и должен не был мне, ну, что ему стоило дать мне взаймы хоть там пять каких-нибудь тысяч: ведь всю бы семью спас и деньги свои обратно получил. Нет, куда тебе! На меня же накинулся и даже в шею выгнал из своего собственного дома... Вот тут уж я и закурил окончательно, а жена, старуха-то моя, маялась, маялась, да и догадалась: померла... Да-с, вот оно куда пошло, Ираида Филатьевна... А потом, как я остался один-одинешенек с моими девками, тут такая музыка началась — не приведи господи!..

Девки все на возрасте, кровь в них ходит, ну, известно, одолели... Так и пошли по рукам ни за грош, а стрела-то моя одна у меня и осталась, как зеница в глазу. И то сказать, девчурке всего пошел шестнадцатый годок. Вострая девка, чего сказать, а водой не замутит... Ну, а тут как-то и ее грех попутал...

— Пятнадцати-то лет?

— Ей и теперь пятнадцать... Да. Обидно мне это, Ираида Филатьевна, потому как сманил Настеньку все тот же Хомутов, Прошка Хомутов. Стрела-то теперь с ним на Вогуль-

ском и живет... Ну, посудите: ему за пятьдесят, а ей всего шестнадцатый годочек... Ведь еще дите, ежели разобрать, хоть из себя она вполне может ответить за настоящую взрослую девицу.

— Ах, негодяй! — вскричала Ираида Филатьевна, вскакивая с своего места.

— Я вот к нему и пробираюсь за моей стрелой, да вот к вам по пути завернул: не пособите ли чем моему горю?

— Именно?

— Как же-с... Первое дело, одному мне Хомутов не отдаст Настеньку, а ежели бы вы на него напали, вдвоем-то мы у него из горла вырвем девку. Ей-богу!.. Да мы его... Видите, не могу я с ним разговору вести, а как увижу — сейчас меня точно обухом по голове: все потемнеет, и ничего не помню. А вот вы бы насчет разговору преотлично-с... Второе-с: куда я денусь с Настенькой, ежели и ослобонит ее? Ни кола, ни двора... А жаль девку: мак, а не девка, хоть я и проклял ее при рождении.

— Хорошо, я подумаю, — задумчиво ответила Ираида Филатьевна, зажигая потухшую сигару.

II

— А вот и наши идут, — прибавила Ираида Филатьевна, указывая Шипицыну движением головы на подходивших к конторе со стороны прииска трех мужчин. — Оставайтесь с нами обедать, Яков... Яков...

— Порфирыч, сударыня, — помог Шипицын, поднимаясь с своего места. — Нет, Ираида Филатьевна, оченно вам благодарен и без того... Помилуйте-с, я свое место даже весьма понимаю. Куда уж мне в лаптишках с господами иностранцами обедать...

— Да ведь иностранцы такие же люди, как и мы с вами. Оставайтесь!..

— Нет, уж увольте, сударыня... потому как я по своему убожеству даже людей порядочных нынче избегаю, а ежели к вам насмелился обратиться, так единственно по вашей превеликой доброте. В родителя пошли сердцем-то, в Филата Никандрыча... Вот ежели бы относительно Настеньки вы оборудовали это дело, в правую ножку поклонюсь... Ведь еще совсем отроковица она у меня!

— Хорошо, я подумаю, а вы завтра утром наведайтесь. Теперь вы куда?

— А на прииске места много... У кого-нибудь из старателей перебьюсь до завтра.

Шипицын конфузливо переминался с ноги на ногу и не уходил; он стыдился попросить еще стаканчик водки, но Ираида Филатьевна предупредила его просьбу и вынесла второй стаканчик; старик с жадностью выпил водку, торопливо вытер губы горстью и, как-то весь сгорбившись, униженно шмыгнул куда-то за угол конторы, вероятно избегая встречи с господами иностранцами.

Впереди всех шел старик француз с козлиной бородкой и седыми усами; его высохшее длинное тело было заключено в щегольскую синюю визижу, серые брюки и лакированные охотничьи сапоги. Из-под нависших седых бровей весело и проницательно глядели светло-карие глаза, окруженные целой сетью мелких морщин. Мягкая пуховая шляпа с широкими полями защищала его от жгучих солнечных лучей. Вообще m-r Пажон принадлежал к тому типу молодящихся старичков, которые до семидесяти лет считают себя юношами. Рядом с ним ковылял герр Шотт, настоящий швабский немец, с длиннейшими рука-

ми, длинным туловищем, короткими-ножками и каким-то дряблым картофельным лицом. Шествие замыкал мистер Арчер, молодой человек лет двадцати, высокий, стройный, с румяным лицом, голубыми строгими глазами и твердо сложенными губами; в зубах он держал маленькую пенковую трубочку. Заложив сильные красные руки за спину, молодой человек шел с тем особенным спокойным равнодушием ко всему на свете, как умеют ходить только одни англичане, на голове у него был надет helmet of India[78].

— Здравствуйте, mademoiselle... — заговорил по-французски m-r Пажон. — Мы, кажется, заставили вас ждать? Тысячу раз извините...

— У вас тут была какой-то мущин? — спрашивал немец, снимая с головы соломенную шляпу, причем его голова оказалась совсем лысой.

— Экое у вас бабье любопытство, герр Шотт, — отрезала Ираида Филатьевна. — Не «была мущин», а был мужчина...

— Ja, ja...[79] — забормотал старик, — быль, мущина...

— Ну, был, а теперь его нет... Вам какая забота?

— О, ви скажет всегда... такое скажет... — бормотал старик, отмахиваясь своей длинной, как рачья клешня, рукой.

M-r Пажон и мистер Арчер вдвоем знали только два русских слова: первый щи называл «чи», а второй говорил «хорошо» и «нэт хорошо». Герр Шотт постоянно щеголял перед ними своим знанием русского языка.

После обеда, поданного на открытом воздухе под навесом крыльца, вся компания разошлась по своим комнатам. Коковинская приисковая контора была выстроена на две половины: в одной жили герр Шотт и мистер Арчер, а в другой m-r Пажон и Ираида Филатьевна. Последняя на прииске, кроме своей главной роли переводчицы, имела еще большее значение как хозяйка и подруга m-r Пажона. Международным языком на прииске был французский, и благодаря ему Ираида Филатьевна заняла свое настоящее положение. В сложности, все четверо представляли собой массу таких непримиримых противоречий, что едва ли одна кровля когда-нибудь при-

крывала более запутанную человеческую комбинацию.

Ираида Филатьевна передала свой разговор с Шипицыным, когда осталась в комнате вдвоем с m-r Пажоном. Француз слушал ее порывистый рассказ сосредоточенно и серьезно, насасывая длинную трубочку с шелковой кисточкой на тонком чубуке; он несколько раз хмурил свои седые брови и, наконец, проговорил:

— Что же вы думаете теперь делать, mademoiselle Ира?

Он не говорил ей «ты»; Ираида Филатьевна употребляла «вы» и «ты», глядя по расположению духа.

— Как что? — удивилась она.

— Как хотите, а женщине вмешиваться в такие дела, по-моему, не совсем удобно...

— Что ты хочешь этим сказать?

— Да ведь этот Хомутов moujik[80], и может сделать какую-нибудь неприятность... наговорит дерзостей.

— Что же, по-твоему, оставить эту пятнадцатилетнюю девочку в руках этого скота?

— Может быть, она сама этого хочет...

— Никогда... Слышишь: никогда!.. В пятнадцать лет девочка не может иметь таких гнусных желаний. Это было с ее стороны ошибкой, может быть, заблуждением, наконец, просто несчастием... Ее во что бы то ни стало необходимо вырвать из рук Хомутова. И я это сделаю завтра же...

M-r Пажон несколько мгновений полувопросительно смотрел на покрасневшую Ираиду Филатьевну и потом задумчиво проговорил:

— У вас геройская душа, mademoiselle Ира...

— Вздор!.. Никакого тут и геройства нет, а самое простое человеческое чувство, которое возмущается несправедливостью. Это у вас всякие пустяки за геройство сходят... Вы думаете, что женщина создана специально только для вашего удовольствия?.. Нет, она такой же человек, как и мужчина. Поймите это раз навсегда.

— Во всяком случае, если Хомутов позволит с вами какую-нибудь дерзость, я к вашим услугам...

— Это насчет дуэли?.. Ха-ха... Хомутова

можно побить, но драться на дуэли он никогда не будет.

— Хорошо, предположим, что вы освободили эту девушку, а потом, что вы с ней будете делать?

— Как что? Привезу ее сюда, и она будет жить со мной в одной комнате, то есть вот в этой самой, в которой мы сейчас разговариваем.

— А я куда?

— Вы перейдете к Шотту... Что ж тут такого особенного? Устроимся как-нибудь...

M-r Пажон готов был хоть сейчас же драться на дуэли с Хомутовым, но спать в одной комнате с герр Шоттом — это заставило его нахмуриться.

— Если вы вздумаете сердиться, то я совсем уйду от вас, — пригрозила Ираида Филатьевна, загораясь румянцем до самой шеи. — Что за глупости!.. Будьте довольны тем, что имеете... за неимением лучшего. А то я сейчас же... Понимаете?

— Ах, я совсем и не думал сердиться, — поправился m-r Пажон, целуя руку m-lle Иры. — Мне показалось только неудобным то, что,

как хотите, под одной крышей, сейчас за стеной, не считая меня, будут жить еще двое мужчин. Знаете, молоденькая женщина, с одной стороны, сама будет подвергаться опасности, а с другой...

— Ха-ха-ха!.. — залилась Ираида Филатьевна. — Вот это мило... Ха-ха!.. Что же, они дикие звери, что ли! Что касается мистера Арчера, то могу поручиться за него, что он даже не взглянет на девицу лишнего раза, потому что он джентльмен с ног до головы. Кроме того, он влюблен в какую-то кузину, которой пишет длиннейшие письма в Англию каждую неделю и на которой он женится... Я поручусь за Арчера. Может быть, вы опасаетесь за герр Шотта? Но, право, этот швабский Аполлон совсем не опасен, кроме... своей флейты и бумажных ковриков. Ведь он и мне дарил эти коврики, однако, как видите, это совсем не так опасно.

Ираида Филатьевна принадлежала к тем горячим натурам, для которых каждое мимолетное желание — закон. Она целую жизнь была игрушкой и рабом этих желаний, переживая тысячи неудач, ошибок и разочарова-

ний, какие неизбежно сыплются на голову таких людей. Вместе с тем, точно для довершения всех бед, природа дала ей добрейшее сердце, которое вечно изнывало под напором неудовлетворенной любви, подталкивая ее на самые дикие выходки. Раз известная мысль попадала в голову Ираиды Филатьевны, раз она согревалась теплотой ее любвеобильного сердца, — эта мысль немедленно приводилась в осуществление. И так шла целая жизнь, какими-то пароксизмами самой лихорадочной деятельности, горячими скачками от одного предмета привязанности к другому; эта лихорадка выкупалась тяжелыми минутами уныния, давящей тоски и полным равнодушием ко всему на свете.

Не дальше как утром Ираида Филатьевна переживала одну из самых тяжелых минут своего мудреного существования; но тут подвернулся старик Шштицын со своей «стрелой» — и всю хандру как рукой сняло. Впрочем, она давно уже не испытывала прилива сил и теперь точно хотела наверстать даром потраченное время. Конечно, и раньше она никому не отказывала в помощи и постоянно

возилась с приисковыми бабами и ребятишками, которые одолевали ее своими болезнями, нуждами и разными бедами приискового житья-бытья. Но такая деятельность не удовлетворяла кипучей натуры Ираиды Филатьевны, не поглощала всех сил, не заставляла переживать мучительныхчасов ожидания и щемящей тоски.

Теперь другое дело.

Когда Шипицын еще рассказывал о «стреле», в голове Ираиды Филатьевны успел сложиться самый блестящий план не только освобождения этой девушки, но и окончательного устройства ее на. прииске. Она дала Шипицыну уклончивый ответ только под влиянием той выдержки, какая еще сохранилась в ней каким-то чудом.

«Mademoiselle Anastasie... Настенька... Настя...»-шептала про себя Ираида Филатьевна, с нетерпением дожидаясь ночи.

Она уже любила эту пятнадцатилетнюю девочку, жертву бедности, людского эгоизма и развращенности. Это чувство охватило ее с особенной силой и заставило ее сорокалетнее сердце бить усиленную тревогу, точно эта На-

стенька была ее собственной дочерью, которая когда-то была потеряна, а теперь вдруг нашлась... Да, она, эта Настенька, всего в тридцати верстах от Коковинского прииска, и Ираида Филатьевна осыпала детище своей фантазии самыми ласковыми, нежными именами, какие может — придумать только любящая женская душа. За ужином Ираида Филатьевна все время думала о том, что-то теперь делает ее Настенька на Вогульском прииске? Может быть, там идет бешеная оргия, и этот ребенок улыбается своим палачам. Дальше ей представлялось, что девушка переживает самую горькую нужду. Так может думать только мать о своих детях, придумывая и переживая тысячи несуществующих затруднений и опасностей. Словом, Ираиду Филатьевну охватила всесильная страсть, страсть совершенно особенного рода: раньше она любила только мужчин, а теперь всей душой прилепилась к совершенно неизвестной ей девушке.

Вечером, когда все улеглись спать, Ираида Филатьевна осторожно поднялась с своей походной железной кроватки и, распахнув ок-

но, уселась на подоконнике, с голыми <плечами и руками. Голова горела, ей было душно. Вежливый храп m-r Пажона возмущал ее теперь до глубины души, и она с закрытыми глазами мечтала о блаженном завтра, когда в этой комнате место накрахмаленного истертого француза займет Настенька и разом наполнит комнату свежестью своей шестнадцатой весны. Ее воображение уже вперед рисовало картину того, как они устроятся в этой комнате вдвоем: свою кровать она отдаст Настеньке, а сама переберется на клеенчатый диван; затем на окнах нужно будет повесить занавески, а на полу разостлать ковер. Недурно было бы оклеить стены обоями, достать туалет...

— Нет, это уж роскошь... вздор! — решила Ираида Филатьевна, останавливая полет собственной фантазии. — Необходимо устроить трудовую обстановку, пополнить библиотеку новыми книгами, выписать несколько журналов...

А в окно на мечтавшую Ираиду Филатьевну глядела мириадами блестящих глаз пахучая летняя уральская ночь; прииск и река Ко-

ковинка были затянуты белым туманом; горы при неверном освещении молодого месяца казались выше, пирамидальные верхушки елей и пихт вырезывались на голубом фоне северного неба каждой своей веточкой; где-то проскрипел в осоке коростель, и ухнул в лесу филин. Одним словом, это была одна из тех чудно-поэтических, тихих и полных грез, северных ночей, когда человек точно тонет в окружающей его сладкой дреме.

Да, ночь была чудо как хороша и, как настоящая красавица, щедро рассыпала кругом себя дары и блестки своей красоты. Самый воздух, напоенный ароматом лесных цветов и травы, кажется, не смел шевельнуться, чтобы не нарушить чудной гармонии, охватившей тихо и торжественно спавшую землю. Ночные тени сгустились у опушки леса, залегли темными пятнами по логам и впадинам, а там вверху, в бездонной голубой выси, разливалось трепетное голубое сияние лихорадочно горевших серебряных звезд, точно алмазная пыль; широкие полосы лунного света выхватывали из ночного мягкого сумрака стрелки елей и пихт и ложились на покры-

тую росой траву матовыми фосфорическими пятнами.

— Как это все хорошо!.. — проговорила вслух Ираида Филатьевна, с жадностью дыша полным свежести летней ночи воздухом.

Но она не замечала творившихся пред ее глазами красот природы: все чувства и мысли были сосредоточены, как в фокусе, на одной идее. Да, теперь все было хорошо. Ираида Филатьевна с удовольствием припоминала свой последний «случай», когда она поступила переводчицей на Коковинский прииск. Много она пережила на своем веку, но похоронить себя в глухом лесу, в обществе каких-то сомнительных иностранцев — это было с ее стороны очень смелым шагом, на который она решилась с большим трудом. Впрочем, она была достаточно гарантирована тем, что m-r Пажон был очень порядочный человек, как она убедилась с первого знакомства с ним, хотя он и был легкомыслен и говорил, как истый француз. Сначала она долго относилась скептически к этому фантазеру — инженеру, который помешался на идее оживить русскую золотопромышленность усовершен-

ствованными способами механической промывки золотоносных песков. Потом... потом повторилась одна из тех историй, которые вечно останутся новыми: в одно прекрасное утро Ираида Филатьевна сделалась подругой m-r Пажона. Это случилось как-то само собой, и стороны не обольщали себя иллюзиями.

— Если вы хотите, мы завтра повенчаемся, — предлагал m-r Пажон в порыве великодушия.

— О нет... Мы и без этого успеем еще разойтись, когда надоедим друг другу, — ответила Ираида Филатьевна.

III

На другой день рано утром Шипицын нехотя брел к приисковой конторе. В голове у него стояло ужаснейшее похмелье. Он несколько раз должен был останавливаться и отдыхать на свалках перемытого песку. «Поднесет или нет Ираида Филатьевна стаканчик? — думал старик, с трудом передвигая Подгибавшиеся и дрожавшие ноги. — Ох, хорошо бы пропустить два таких стаканчика...» — с безнадежной тоской прибавлял Шипицын про себя, и в его воспаленном мозгу

уже рисовалась картина, как Ираида Филатьевна берет графин водки и наливает стаканчик.

— Эй вы, что же это вы едва шевелитесь? — окликнул Шипицына женский голос.

— Вот те и раз... — проговорил старик, поднимая голову. — К самой конторе подошел... Ишь ты!.. Никак, у них гости? Какая-то дама... Должно быть, меня за кучера приняла.

У конторы действительно стояла тройка оседланных лошадей, а по крыльцу нетерпеливыми шагами ходила сама Ираида Филатьевна в шелковом цилиндре с вуалью, в синей амазонке с длиннейшим шлейфом и в шведских перчатках с лакированными манжетами. Шипицын не узнал ее сначала; она показалась ему выше, чем вчера, и неизмеримо красивее. Он даже снял свою баранью шапочку и униженно поклонился издали.

— Да ну же, чего вы стали? — закричала на Шипицына Ираида Филатьевна, топая ногой. — Я вас с которой поры здесь жду... Верхом умеете ездить?

— Д-да...

— Ну, так садитесь, сейчас же и в дорогу.

Вот стоит гнедая, на нее и садитесь.

Шипицын отправился к гнедой лошади, закинул ногу в стремя и, как мешок с травой, свалился на землю.

— Не могу, Ираида Филатьевна... — прошептал он. — Мне бы поправиться... чуточку поправиться... Я молодцом проеду, ей-богу молодцом!..

Ираида Филатьевна ушла в контору и вернулась с полубутылкой коньяку в одной руке, а другой она торопливо спрятала в карман своей амазонки плохонький старинный револьвер системы Лефоше. Пока Шипицын допивал второй стаканчик, из людской показался кучер Макар.

«Ну, и езопа же барышня где-то добыла», — думал он, не торопясь подходя к крыльцу.

При помощи Макара Ираида Филатьевна взобралась в седло и опытной рукой натянула поводья: соловый киргиз-иноходец, с поротыми ушами, красиво выгнул свою оленью шею и нетерпеливо затоптался на одном месте. Шипицын, спрятав недопитую бутылку за пазуху, тоже взмостился на свою лошадь, причем никак не мог попасть другим лаптем

в стремя.

— Макар, принеси свои сапоги, — скомандовала Ираида Филатьевна, сгорая от нетерпения.

Макар неохотно сходил за сапогами и, почесывая в затылке, подал их Шипицыну.

— Две повертки налево, а потом одна направо? — спрашивала Ираида Филатьевна, пока Шипицын надевал сапоги.

— Точно так-с, барышня, — отвечал Макар, бойко встряхивая своими подстриженными в скобу волосами. — Первая повертка налево будет на прииск Талой, к Соболеву, значит... Вторая повертка налево уведет в Мураши, деревушка тут есть, а третья направо — на прииск Кошьи-к, к Колченогову.

Через пять минут Ираида Филатьевна уже спускалась на своем иноходце под гору, прямо на прииск; Шипицын рысцой, дрыгая в седле, старался догнать ее. В поводу он вел запасную лошадь в дамском седле; это была лучшая лошадь на прииске, вороной масти, с тонкими сильными ногами и блестевшими черными глазами. Шипицын даже не спросил, куда они едут: по воинственному виду

Ираиды Филатьевны он видел, что они едут добывать от Хомутова «стрелу». Они скоро миновали прииск и поднялись на крутую лесистую горку; с нее открывался великолепный вид на весь прииск и на контору, которая занимала небольшое возвышение. Картина получалась самая пестрая: на протяжении целой версты земля была изрыта по всем направлениям и образовала по бокам прииска громадные свалки; Коковинка была запружена в нескольких местах, и ее мутную, желтую воду издали трудно было отличить от размытых песчаных берегов. Несколько золотопромывательных машин, штанговая водокачка, паровик около шахты, толпы рабочих, катившиеся приисковые тележки, нагруженные золотоносным песком, — все это было залито ликующим светом занимавшегося ветряного дня и производило хорошее, доброе впечатление. Ираида Филатьевна любила приисковую жизнь; эта лихорадочная деятельность была в ее характере, отвечая ее авантюристским наклонностям.

— Экое обзаведение, подумаешь, — задумчиво проговорил Шипицын.

— Пожалуйста, не выпустите лошади, — упрашивала Ираида Филатьевна.

— Помилуйте... да я...

— Нет, серьезно говорю вам. И не отставайте...

Благодаря этой проклятой заводной лошади[81] положение Шипицына выходило самое критическое: левой рукой он правил своим гнедком, правой держал за повод вороную, и за пазухой между тем, как птичка в клетке, билась полубутылка коньяку... Не было никакой возможности пропустить хоть несколько капель живительной влаги, потому что, как только он пробовал вытащить из-за пазухи бутылку, вороная начинала прясть ушами, раздувала ноздри и. издавала самый подозрительный храп. Лошадь припоминала нагайку, которую Макар носил за пазухой. Пока Шипицын переносил муки Тантала, Ираида Филатьевна все сильней и сильней подгоняла своего иноходца. Ей казалось, что горы сегодня были выше обыкновенного и дорога делала много совершенно лишних поворотов. Особенно сердили ее крутые спуски, когда приходилось ехать шагом. Через час обе ло-

шади были в мыле, и Ираида Филатьевна, обратившись к своему спутнику, с досадой проговорила:

— До этого Вогульского прииска будет целых сто верст, а не тридцать...

— Сударыня, вы очень скоро едете...

— Вот вздор! Плетемся шагом, точно везем кислое молоко... Я не знаю, уж не сбились ли мы с дороги? Вы видели повертку направо?

— Точно так-с!..

— Это на Талый — Должна быть вторая повертка в Мураши. Кажется, мы никогда не доедем до нее.

— На Талом-то работает Соболев, мой бывший приказчик, — со вздохом заметил Шипицын. — На Копчике тоже...

— Другой приказчик?..

— Да... Колченогое. На мои кровные денежки теперь раздуваются. Ох-хо-хоL. В нашем купеческом звании всегда так бывает: хозяин разорился — глядишь, приказчики и нолезли в гору. А без приказчиков купцу невозможно!.. Грехи!.. Надо же и им отведать сладкого житья, — прибавил Шипицынсо смирением, чувствуя, как у него с непривычки к верховой

езде отнималась поясница и начинали отекать ноги.

А кругом, при утреннем освещении, все было так удивительно хорошо, точно бесконечной пестрой лентой развертывалась какая-то волшебная панорама.

С прикрутостей и взлобочков можно было видеть горы на далеком расстоянии. Они точно тонули в золотой пыли утреннего солнца. По лугам и впадинам, по дну которых прятались безыменные горные речушки, еще стоял туман; кое-где он начинал подниматься кверху небольшими белыми облачками, отдельными волнами и длинными белыми нитями. Уральские горы вообще невысоки, и только некоторые из них заканчиваются шиханами, то есть группами обнаженных скал на вершинах. Эти шиханы теперь были закутаны фиолетовой дымкой, которая на горизонте принимала темно-синие тона. Дремучий ельник выстилал все кругом, и только кое-где, на откосах и прикрутостях, из траурной зелени северной ели выделялись гривки сосняку, да еще по лощинам, где бежали из гор ключи, свежими светло-зелеными пятнами вырезы-

вались отдельные островки березняков и осинников. В одном месте дымилось в тумане небольшое горное озеро; горы около него теснились зелеными валами, точно волны тяжелого бархата, раскинутые артистической рукой в красивом беспорядке.

Когда дорога желтой лентой сбегала под гору, даль пропадала, и путников охватывала настоящая зеленая нетронутая глушь, точно они спускались на дно какого-то бассейна, из которого вода только что была выпущена. Ели дружной семьей жались к самой дороге, образуя зеленую, прихотливо вырезанную шпалеру, в отверстия которой золотыми пятнами, полосами и зайчиками врывались солнечные лучи и зажигали брильянтовыми искрами придорожную траву, еще покрытую ночной росой. На самом дне лога, куда приводила дорога, мелькали зеленые душистые поляны, точно опушенные кустами рябины, жимолостью и смородиной; в сочной густой траве, хватавшей человеку по грудь, пестрели желтые молочаи, полевая гвоздика выставляла свои розовые головки, и синели лесные колокольчики. Дикий горошек мешался с белы-

ми розетками ромашки; иван-чай высоко поднимал свои пирамидальные верхушки, облепленные бледно-розовыми цветочками и белым шелковистым пухом. Здесь же в густой зелени зрела и наливалась малина, краснели кисти поспевавшей костяники и далеко разливал в воздухе свой аромат горный шалфей. Когда лошади, фыркая и мотая головами, вброд переправлялись через говорливую горную речку, путников охватывало ночной свежестью, которая заставляла вздрагивать.

— Этакая благодать! — умилялся Шипицын. — Чудны дела твои, господи... Вся премудростью сотворил еси!..

— Да, здесь действительно хорошо... — соглашалась Ираида Филатьевна, точно просыпаясь от какого-то сна.

Проведенная без сна ночь и тревога ожидания заставили побледнеть ее полное, немного обрюзгшее лицо, на котором на одно мгновение выступили следы минувшей красоты. На нее напало тяжелое раздумье, точно она еще раз переживала свою жизнь. Да, эти воспоминания давили ее, как тяжелый сон, в котором бесконечный ряд неудач и разочаро-

ваний едва освещался двумя-тремя светлыми точками. Всего несколько мгновений счастья на целую жизнь — это слишком несправедливо!..

Опустив поводья и машинально глядя по сторонам, Ираида Филатьевна перебирала свое прошлое.

Ей теперь за сорок лет. Начала она себя помнить маленькой пухлой белокурой девочкой, которая ходила в коротеньких платьицах, белых панталонах, обшитых кружевами, и в завитых локонах. Лицо у ней было всегда круглое и всегда румяное. Отец называл ее толстушкой и всегда, бывало, ущипнет за самую щеку, когда она ласкалась к нему. Генерал Касаткин принадлежал к тому типу безалаберных и бесхарактерных русских людей, которые для подчиненных составляют истинное несчастие, потому что, как вы применитесь к человеку, который сегодня разрушает то, что создавал вчера, а завтра будет проклинать целый свет за то, что сегодня вполне одобрял. Они в то время жили на Урале, где отец в качестве горного инженера занимал очень видный пост. Мать для Ирочки навсе-

гда осталась какою-то бледной, туманной фигурой, вроде тех, какие появляются на экране волшебного фонаря. Она всегда ходила с подвязанной щекой, вечно от чего-нибудь лечилась и появлялась на сцену только в самые критические минуты, когда генерал Касаткин начинал рвать и метать. Как все бесхарактерные люди, он был очень добр и вместе с тем вспыльчив до бешенства: в такие минуты к генералу не было никакого приступа, и он проделывал те несправедливости, какие люди такого сорта способны устраивать под впечатлением минуты. Появление жены заставляло расходившегося генерала успокаиваться, и он даже плакал от надрывавшей его злости.

— Ах, Ирочка, Ирочка… Моя милая толстушка, как мы теперь с тобой жить будем? — плакался генерал, когда в одно прекрасное утро бесцветная генеральша умерла.

Толстушка положила свою белокурую головку на плечо отцу и горько заплакала, заплакала потому, что все в доме плакали; в действительности она совсем не переживала особенного горя, потому что и не понимала и

не любила матери. Генерал предавался шумному и откровенному отчаянию, которое было совершенно искренне, как все, что он делал в своей жизни; он по-своему любил свою бесцветную жену. На руках у него осталось, кроме Ирочки, еще три дочери и два сына; как чадолюбивый отец, он сам взялся за воспитание детей. Это воспитание заключалось в том, что детям была предоставлена полная свобода, и они, как все дети, быстро освоились с своим новым положением: мальчики живмя-жили в кучерской, а девочки — в кухне или в девичьей. В каждом барском доме прислуга имеет решающее влияние на воспитание детей, пред ним разлетаются вдребезги все благородные усилия гувернанток, гувернеров, учителей и учительниц. За служебными недосугами генерал Касаткин часто совсем забывал о существовании своих детей и делал исключение только для толстушки Ирочки, которую любил без ума, потому что она походила на него во всем, как две капли воды. К этому времени относится поездка Ирочки вместе с отцом по заводам, причем для своего возраста она видела, может быть,

слишком много, а еще больше того слышала. Часто ей приходилось быть немой свидетельницей очень откровенных сцен и разговоров, какие ведутся в холостой мужской компании, и никто не обращал внимания на забавную толстушку, которая дремала где-нибудь в уголке под шумок веселых разговоров. с)та цыганская жизнь исключительно в обществе мужчин оставила в характере Ирочки глубокий и неизгладимый след; к этому периоду ее жизни относилось и знакомство Ирочки с семьей Шипицыных.

Отсутствие бесцветной генеральши скоро отозвалось на судьбе генерала Касаткина самым роковым образом: не имея за спиной поддерживавшей его целую жизнь руки, он благодаря своей горячности запутался в самой глупой истории. Микроскопический горный чин сделал донос на генерала, куда следует, обвиняя его в очень важных злоупотреблениях; этот донос вызвал канцелярское следствие. Несмотря на свои недостатки, генерал был честный человек по службе и не знал за собой никакой вины; но беда вышла из того, что производить следствие приехал такой же

вспыльчивый и взбалмошный человек, который с первых двух слов осадил генерала и даже заставил его замолчать. Понятно, что такое незаслуженное оскорбление взорвало генерала, тем более что он имел слабость считать себя человеком, в котором не только нуждаются, но без которого министерство даже не в состоянии обойтись. Словом, он разделял очень простительное заблуждение многих других людей и, вместо того чтобы сократить себя и помириться с оскорбившей его особой, полез на стену и в конце концов, как многие великие люди, вылетел окончательно в трубу. Подавая в отставку, генерал Касаткин был глубоко убежден, что ненастье бывает всегда перед ведром и что его призовут, поклонятся и призовут. Но вышло так, что генерала Касаткина не только не призвали, а совсем позабыли и замолчали; он навсегда был похоронен для казенной службы и слишком поздно постиг всю глубину своего падения, а также и то, что, будь жива бесцветная больная генеральша, этого никогда бы не случилось.

Вся эта история разыгралась в конце пяти-

десятых годов. На Урале генералу Касаткину больше нечего было делать, и он переехал в Казань, где у него был собственный домишко и какая-то недвижимая собственность в уезде. Но и в дни своего падения генерал Касаткин остался генералом Касаткиным и не сократил себя, но создал из своей жизни целую оппозицию ненавистному министерству. Прежде всего семья генерала начала испытывать чувствительные уколы бедности, которые, наконец, перешли в хроническую нужду; но чем теснее смыкалось роковое кольцо, тем сильнее генерал укреплялся на своей позиции и точно закаменел в какой-то болезненной гордости. Чтобы насолить своим недругам, он несколько раз поступал на частную службу, но и здесь не выдерживал характера и ссорился со всеми. Его расстроенному воображению везде грезились интриги и козни его недоброхотов, так что в конце концов он окончательно и навсегда закупорился в своем домишке, облюбовал либеральную газету и, пуская клубы дыма из длинной трубки, дал полную волю своему наболевшему чувству. Каждый номер газеты приносил новую пищу

его озлобленному чувству, и он злобно хохотал, перебирая официальные известия о повышениях и наградах своих бывших товарищей по службе. Так как лично для генерала песенка была спета, то он постарался создать оппозицию в лице своих детей, воспитанием которых он теперь и занялся с этой нарочитой целью.

Жизнь в Казани для Ирочки была самым бурным периодом ее существования.

Ей только что минуло тринадцать лет, когда они переехали туда, — самый неблагодарный возраст для девочки, когда она теряет занимательность маленькой игрушки, а в обществе больших является совсем лишней. Ирочка в тринадцать лет была все такой же румяной толстушкой, как и раньше, что ее очень бесило; ничего похожего на талию она не могла сделать при помощи самых узких корсетов, а руки и ноги были точно налиты самой обидной ребячьей полнотой. Но Ирочка развилась гораздо быстрее своих лет, и в этом пухлом детском теле проснулись потребности и желания больших людей. Когда она ходила в свою школу в коричневом коротком

платье и с книжками, перетянутыми ремнем, каждая встреча с красивым гимназистом бросала ее в жар. Ее детское сердце билось недетскими желаниями, и глаза заволакивались туманом: она изнывала от потребности любить и проводила бессонные ночи за чтением романов. Обыкновенно люди находят то, что желают найти, и Ирочка встретилась, наконец, с ним. Это случилось именно в разгар генеральской оппозиции министерству. Старшие две сестры Ирочки учились в старших классах той же школы, а братья кончали курс в гимназии; в генеральском доме скоро закипела шумная молодая жизнь. Генеральская оппозиция как раз совпала с движением конца пятидесятых годов, и старик ухватился за это движение, как утопающий за соломинку. В генеральском доме происходила настоящая ярмарка и велись самые оппозиционные разговоры. Ирочка могла только завидовать девушкам с стриженными, по тогдашнему обычаю, волосами и в синих очках, всегда окруженным толпою молодежи. Тринадцатилетняя толстушка, конечно, жалко терялась в этой толпе, слепо перенимая все, что успевал

схватывать глаз. После нескольких неудачных попыток сблизиться с кем-нибудь из молодых людей, она с грехом пополам добилась иметь своего собственного учителя математики, студента Белоносова. Алгебра в жизни Ирочки навсегда осталась самой поэтической страницей, в которой из-за математических формул и алгебраических выражений на нее нахлынуло чувство первой любви. Теперь, через двадцать пять лет, Ирочка, как сквозь сон, припоминала этого Белоносова, — длинноногий, вихлястый, с зеленым лицом и длинной нечесаной гривой, он явился для нее тем идеалом, о котором она даже не смела мечтать. Сколько самых глупых воспоминаний было связано с этим временем: Ирочка до тошноты зубрила свою алгебру и в промежутках целовала те страницы учебника, к которым прикасались костлявые руки Белоносова, а обрезки карандашей, которыми он писал, и бумагу с формулами, выведенными его рукой, она даже съедала, как страус. Белоносов имел всегда очень суровый вид и совсем не замечал своей тринадцатилетней ученицы, когда она, с блестевшими глазами и заливавшим все лицо

румянцем, отвечала свой урок.

Четырнадцать и пятнадцать лет промелькнули для Ирочки как сладкий сон, от которого она не могла проснуться. Белоносов, наконец, обратил на нее свое внимание и начал даже развивать забавную толстушку. Генерал предоставил детям полную свободу и совсем не вмешивался в их личные дела, благодаря чему Ирочка могла не только гулять с своим развивателем по пыльным казанским улицам, сколько было душе угодно, но даже заходила на его студенческую квартиру, где она чувствовала себя на седьмом небе. Эта пыльная, грязная, душная комната, с колченогим столом и просиженным клеенчатым диваном, сделалась немой свидетельницей первых вспышек любви Ирочки, которая отдалась Белоносову беззаветно.

Ирочка не могла рассуждать или объяснять что-нибудь... Своя воля, свобода — все это теперь гнело и давило Ирочку, которая молилась на своего идола.

Белоносов между тем кончил курс по математическому факультету и поступил учителем гимназии в один из провинциальных го-

родов, сказав Ирочке на прощание:

— Ирочка, ты всегда была умной, рассудительной женщиной и поймешь, что... Одним словом, я женюсь.

Ирочка побелела от этих слов и жалким, убитым взглядом в последний раз взглянула ка своего коварного идола. Ночью она приняла мышьяку, а утром, когда она металась в страданиях, молодой врач Корольков, попыхивая папироской, спокойно говорил:

— Эх, барышня, и отравиться-то толком не умели... Не только любовь, а даже и мышьяк требует меру: вы пересолили... Если бы вы приняли дозу вчетверо меньше, тогда вам осталось бы только раскланяться с этим миром, как говорят китайцы.

— В другой раз я воспользуюсь вашим советом, — едва могла проговорить Ирочка.

— Бедная моя, — жалел генерал свою Ирочку, когда узнал об ее неудачной попытке отравиться. — Стоило из-за подлеца беспокоить себя. Послушай, толстушка, меня, старика... Ну, да что тут толковать! Все вы, бабы, на одну колодку: языком и туда и сюда, а как дошло дело до физиологии — и шабаш! Ох! уж

это мне ваша бабья физиология. Нет, ты, моя толстушка, будь вперед поумнее. На твой век подлецов много будет, а ежели из-за каждого травить себя — нет, жирно будет!.. А все ваша проклятая физиология бабья...

Генерал сильно состарился за последние года и, как все оставшиеся не у дел, как-то совсем опустился. Его полное красное лицо обрюзгло и обложилось жирными мешками; глаза потухали, а кончик носа принимал предательский сине-багровый оттенок, потому что от скуки и безделья генерал привык утешаться водкой.

Выздоровление Ирочки шло быстрыми шагами. Молодая натура, как помятая весенняя трава, счастливо пережила неожиданное потрясение и расцвела краше прежнего. Конечно, Ирочка в этом случае многим была обязана доктору Королькову, который каждый день навещал больную. Это был разбитной малый, от которого веяло вечным праздником. Он вносил с собой всюду струю самого беззаботного веселья. Притом Ирочка ему нравилась, что удесятеряло его веселье.

— Мы еще поживем с вами досыта, — фа-

мильярно говорил он своей пациентке, которая заметно притихла и упала духом. — Необходимо смотреть философски на жизнь и на людей. Этот ваш Белоносов — чистый дурак, потому что не умел ценить своего счастья. Я бы на его месте никогда так не сделал...

Ирочка скоро утешилась в обществе доктора Королькова. Но это была уже не первая любовь: она теперь преследовала своего сожителя сценами ревности, подозрениями и горячими домашними перепалками. Впрочем, Корольков сам был виноват в этом: его постоянно тянуло от одной женщины к другой, и похождения доктора делались известны Ирочке; она уходила от него к отцу, но он опять являлся к ней, приносил с собой чистосердечное раскаяние в содеянных грехах, клялся всеми богами, что исправится, и Ирочка прощала ему все. Так дело тянулось лет пять, пока Корольков не наткнулся на одну очень пожилую вдову с рябым безобразным лицом и ястребиными глазами; она не только женила его на себе, но совсем придавила и загнала.

Ирочка опять осталась одна, на полной своей воле и, занятая своими личными дела-

ми, как-то не замечала, что делалось в родной семье, которая после смерти генеральши расползлась в разные стороны. Братья давно кончили курс в университете и поступили на службу; одна сестра умерла от тифа, другая рассорилась с отцом и поступила в гувернантки к богатому купцу. Генерал Касаткин давно махнул на детей рукой и продолжал свою «оппозицию», как он называл водку. В одно прекрасное утро старый генерал за стаканом крепкого чая отдал свою душу богу, и Ирочка осталась одна.

Разрыв с Корольковым, смерть отца, свои под тридцать лет, а больше всего новый характер шестидесятых годов — все это, вместе взятое, заставило Ирочку крепко призадуматься. Казань ей надоела; все кругом было точно пропитано самыми тяжелыми воспоминаниями: недавние идеальные люди превратились в буржуа и открещивались от увлечений юности; общество преследовало то, чему недавно само же поклонялось, впереди нигде не видно было проблесков лучшего будущего. Но Ирочка надеялась на осуществление своих идеалов, хотя кругом нее все

представляло самую печальную картину разрушения; она решилась ехать в Петербург, где вместе с работой надеялась встретить и настоящих хороших людей.

В Петербурге она встретила людей с такими же недостатками, как и в Казани, и перебивалась целых десять лет, переходя от одной профессии к другой. И здесь ее преследовали те же неудачи, как в Казани: люди, с которыми она сходилась близко, всегда кончали тем, что обманывали ее более или менее наглым образом. Каждый раз после такого случая Ирочка давала себе слово, что уже в следующий раз ничего подобного не повторится. Ирочка одолела три новых языка и жила переводами, не отказываясь ни от какой работы: была корректором, ретушером, служила в книжном магазине, открывала какую-то мастерскую — словом, все было испробовано. Но, несмотря на все эти испытания, она оставалась прежней толстушкой, с неизменным румянцем на щеках, и оставалась слепо верующей в свое дело и в тех людей, которые для нее в дни юности были окружены ореолом героев. Свои личные дела она не смешивала с

тем направлением, в котором кружилась с детства. На ее глазах недавние герои развенчивались, уступая место другим; идеи старели и заменялись новыми; жизнь создавала новые идеалы, типы и средства. Ирочка ничего не хотела знать, и, присутствуя при медленном вымирании деятелей и идей начала шестидесятых годов, она даже не допускала мысли, что прежние «дети» превратились в «отцов», давно полиняли, выветрились и износились.

Несмотря на все толчки и передряги, Ирочка все еще верила в «людей слова». Только семидесятые годы заставили ее оглянуться назад и сравнить это шумное прошлое с настоящим. Странно, Ирочка не понимала народившихся «детей», не признававших ни шумных сходок, ни полуночных горячих бесед, ни даже заветных книжек. Эти новые «дети» пугали Ирочку своей молчаливостью. Таким образом, похоронив движение шестидесятых годов, Ирочка сознавала только одно, что она в Петербурге лишняя, что ей тут нет места, и уехала на Урал.

IV

— Вот и Вогульский... — проговорил Шипицын, когда они въехали на открытую вершину одной горы.

— А? Что?! — проговорила Ираида Филатьевна, просыпаясь от своих воспоминаний и останавливая взмыленную лошадь.

— Говорю: Вогульский... Вот, в ложбинке, налево.

Было часов восемь утра; солнце залило горы ярким, ослепительным светом, и из общей массы зелени прииск Вогульский выделялся неправильной, ярко желтевшей заплатой. До него оставалось всего версты три-четыре. Направо, на самом горизонте синим дымком курился прииск Копчик. Ираида Филатьевна подобрала поводья и долго смотрела на зеленую даль, на эту чудную воздушную перспективу, прозрачную глубину, в которой тонул лес, горы и самое небо, едва тронутое легкими серебристыми облачками.

— Денег-то Хомутов добыл на Вогульском целую уйму, — тихо говорил Шипицын, стараясь удержать вороную лошадь, которая тянула в сторону, к зеленой траве. — В прошлом году зашиб тысяч пятьсот... Да-с. Плакали мои

денежки...

— Как так?

— Да ведь он на мои деньги разведки-то производил, разбойник... Как же! Не поручись тогда я за него, ведь шабаш бы Хомутову. Ох-хо-хо... Вот и Копчик тоже, и Талый...

Они осторожно начали спускаться под гору. Лошади почуяли жилье и весело фыркали, мотая головами. Ираида Филатьевна поправилась в седле, встряхнула шлейф своей амазонки от насевшей на него пыли и точно вся замерла на какой-то одной мысли. Вся краска сбежала с ее полного лица, сочные алые губы сложились твердо и уверенно, глаза смотрели вдаль смело и вызывающе, точно отыскивая своего противника. Ираида Филатьевна чувствовала, как замерло ее сорокалетнее сердце, когда она завидела вдали контору на Вогульском: там Настенька, от которой разделяло их всего каких-нибудь четыре версты. Скорее, скорее...

Они спустились в глубокую лощину, затянутую чахлым ивняком, ольхой, кустами смородины и черемухи. Во всем чувствовалась близость прииска: в стороне ходили спутан-

ные лошади, глухо позванивая медными боталами; в одном месте, на лесной прогалинке, трава была скошена только что сегодня утром, и от нее остался зеленый след по дороге; в пыли валялись пучки не успевшей завянуть травы и уже свернувшие свои лепестки помятые цветы; деревья были вырублены, там и сям валялись кучи порыжелого прошлогоднего хворосту и зеленые ветви молодых берез. Скоро из-за редкого елового подсада глянул и самый прииск; из-за мелькавшей сетки деревьев можно было рассмотреть глубокую шахту в горе, напротив — дробильную машину, которая молола золотосодержащий кварц, затем две золотопромывательных машины, катившиеся таратайки и кучки рабочих, которые красиво пестрили общий желтый фон прииска.

— Вы подождите здесь с полчаса, — говорила Ираида Филатьевна, подбирая поводья. — А потом и приезжайте прямо в контору...

— Хорошо-с... — смиренно отозвался Шипицын, теряя прежнюю бодрость. — Будьте спокойны-с, — прибавил он, не зная к чему.

В каких-нибудь пять минут иноходец принес Ираиду Филатьевну на другую сторону прииска и стрелой влетел на взлобочек, на котором красовалась новая контора с низкой тесовой крышей и крошечными окошечками. Рабочие с удивлением проводили глазами амазонку и отпустили несколько приличных случаю иронических замечаний...

Ираида Филатьевна, подъезжая к конторе, заметила в одном окне чье-то молодое, румяное бойкое лицо, но не могла разобрать: мальчик это или девочка. На топот лошади из людской выскочили два конюха и приняли лошадь; на крыльце конторы показался какой-то седенький старичок в потертой и порыжевшей плисовой визитке.

— Могу я видеть господина Хомутова? — спрашивала Ираида Филатьевна, инстинктивно принимая позу светской дамы.

Старичок замялся, но его вывел из затруднения молодой человек, показавшийся из ближайшей двери.

— Я сейчас их спрошу, — проговорил он, исчезая в другой двери, выходившей тоже на крыльцо.

Молодой человек не заставил себя ждать и, появившись снова на крыльце и встряхнув волосами, проговорил:

— Пожалуйте… вот сюда-с.

Комната, куда вошла Ираида Филатьевна, была убрана очень роскошно для прииска: пол был закрыт бухарским ковром, стены оклеены новенькими обоями, у окна стояла ореховая дорогая конторка, заваленная бумагами и письменными принадлежностями; в одном углу, прикрытая легкими ширмами, стояла кровать, в другом — мраморный умывальник. Навстречу вошедшей Ираиде Филатьевне поднялся из-за письменного стола высокий, плечистый господин лет под шестьдесят, с свежим, румяным скуластым лицом, узким белым лбом, остриженными под гребенку волосами и узкими темными глазами. Вся фигура так и резала глаз своим полуазиатским происхождением, несмотря на крахмаленную сорочку в безукоризненную летнюю пару из чечунчи.

— Касаткина… — задыхаясь, проговорила Ираида Филатьевна; у ней в глазах рябило и металось пестрое пятно, которое выделялось

за конторкой: это, без сомнения, была сама Настенька, одетая в малороссийский костюм.

— Очень приятно… — немного хрипло проговорил Хомутов, и, смерив амазонку с ног до головы, он прибавил, подавая стул — Чему обязан видеть вас, madame?..

— Мне нужно переговорить с вами по одному очень важному делу…

Ираида Филатьевна остановилась и показала глазами на расшитое красными и синими узорами пятно; девушка поняла этот взгляд, порывисто поднялась с места и легкой походкой вышла из комнаты, кокетливо постукивая французскими каблуками сафьянных туфель. Как сквозь туман, для Ираиды Филатьевны промелькнуло миловидное характерное лицо с темными, опушенными густыми ресницами глазами, вздернутым, капризным носиком, пухлыми губками и тяжелой русой косой. Ираида Филатьевна должна была перевести дух, прежде чем могла что-нибудь сказать.

— Не хотите ли чаю? — предлагал Хомутов с вежливостью настоящего джентльмена.

— Нет, благодарю вас… — почти шепотом

ответила Ираида Филатьевна, чувствуя, как все лицо ей залило яркой краской.

— Позвольте... — заговорил Хомутов, стараясь что-то припомнить. — Касаткина... Касаткина... Вы не дочь ли генерала Касаткина?

— Да.

— Ах, очень приятно, — уже совершенно развязно проговорил Хомутов, и по его толстым губам проползла чуть заметная улыбка. — Так это вы на Коковинском у французов живете?

— Да, я служу у monsieur Пажона переводчицей.

— Так-с... да. О-чень приятно... — лениво и нахально протянул Хомутов, еще раз оглядывая свою собеседницу.

Хомутов не был злым человеком по природе, но Касаткина в его глазах была просто «пажонова наложница», и, следовательно, церемониться с ней было нечего. «Видали мы этаких-то генеральских дочерей на своем веку даже очень достаточно», — думал он, нахально рассматривая полную фигуру своей гостьи.

— Я приехала взять от вас Настеньку... — уже спокойно проговорила Ираида Филатьев-

на, сжимая одну перчатку. — Вы, конечно, согласитесь со мной, что такой молодой девушке не совсем удобно жить на прииске исключительно в мужском обществе...

— Вот как!.. — процедил Хомутов, не ожидавший такого оборота дела. — Для чего же вам она понадобилась?

— Это уж мое дело, и вы, как честный человек, должны согласиться со мной. Девочка погибнет у вас...

— Так-с... Гм! Погибнет... А у вас ей веселее, что ли, будет? Вот вы, слава богу, живете и не погибаете...

— Я... — вспыхнула Ираида Филатьевна. — Я совсем другое дело. Мне сорок лет, и я могу располагать своей судьбой, как хочу. Одним словом, это совершенно лишний разговор, и я желаю знать только одно: отпустите вы Настеньку со мной или нет?

— А позвольте узнать, госпожа, по какому вы праву можете требовать от меня Настеньку?

— Если вы хотите знать, я действую по желанию и просьбе Якова Порфирыча...

— Ха-ха-ха! — залился Хомутов, поднимая

плечи. — За сколько же он продал Настеньку вашим французам?..

— Милостивый государь, вы забываетесь!.. — закричала Ираида Филатьевна, вскакивая с места, бледная, как полотно. — Я сумею заставить вас замолчать... Да!.. Вы думаете, что я — женщина, совершенно одна в вашей конторе, следовательно, со мной можно делать все, что угодно... Вы ошибаетесь и жестоко заплатите за свою дерзость!..

— Ну, ну, извините, барынька... — заговорил Хомутов, превращаясь опять в джентльмена. — Право, извините... Я ведь не злой человек. Не хотите ли лучше чайку?.. За самоварчиком и покалякали бы...

— Вы, кажется, хотите отделаться от меня шутками?

— Совсем нет... Я говорю серьезно. Видите ли, я даже хотел нарочно заехать к вам, на Коковинский, чтобы познакомиться с вами.

— Со мной?

— Да, с вами...

Хомутов проговорил последнюю фразу с такой добродушной откровенностью, что весь гнев Ираиды Филатьевны как-то сразу про-

шел, и она только подумала про себя: «Или этот Хомутов действительно добродушный человек, или самая тонкая бестия».

— Нет, право бы, самоварчик? Не хотите? Ну, как знаете... А с дороги оно было бы даже очень интересно, ведь тридцать верст тоже проехали, да еще верхом.

— Нет, благодарю вас. Я очень тороплюсь... Пожалуйста, не задерживайте меня!

— Вот вы опять и сердитесь?.. Я к вам ото всей души, а вы... Ну, однако, об деле-то надо говорить. Видите ли, какая штука: я вдовец, мне под шестьдесят, но я еще в силах (Хомутов повел своими могучими плечами)... Хорошо-с... Только Настенька мне все-таки не пара, да и свои сыновья подросли, пожалуй, и до греха недолго... Вы не подумайте, что я ее соблазнял или обольщал... Ни-ни!.. Сама пришла... Ей-богу! Да вот спросите ее, она сама вам расскажет. Ну-с, так выходит, что эта самая Настенька даже мне в тягость, да и пред сыновьями совестно...

— Еще бы: вам шестьдесят, а девочке пятнадцать! Это просто варварство...

— Ах, право, как это вы круто разговарива-

ете!.. Право, чайку бы? Ну, не буду, не буду, только не гневайтесь... Не хотите ли курить?

Ираида Филатьевна достала из кармана портсигар и закурила сигару; Хомутов молчал, подыскивая слова.

— Ну, я жду? — резко проговорила Ираида Филатьевна.

— Сейчас, сейчас... Я ведь и папашу вашего, Филата Никандрыча, очень даже хорошо знал. Он и в дому у меня бывал, да и вы тоже. Маленькой такой девочкой были. Вот я а думаю... Только вы, пожалуйста, не гневайтесь!.. Вот я и думаю: живете вы теперь на Коковинском, с этими французами... Ведь трудно вам?

— Нисколько! Пожалуйста, скорее кончайте...

— Извините, madame, вы не замужем?

— Да вам-то какое дело? Что вы меня исповедуете?

— А я к тому речь веду, что Настеньку вы от меня возьмите, пусть ее с французами поживет, а сами на Вогульский переезжайте... Ей-богу, барынька!

— Да вы с ума сошли?

— Даже нисколько... Я от души, и никаких дурных мыслей не держу в голове. Живите у меня, как сами пожелаете, и только всего. Может, и сойдемся...

— Никогда!.. Вы, во-первых, пустили Шипицына по миру со всей семьей, во-вторых, самым бессовестным образом воспользовались неопытностью пятнадцатилетней девочки, в-третьих...

— Это вам все Шипицын наврал...

— Я ему должна верить, потому что обвинение против вас налицо.

— Это вы про Настеньку-то опять?

— Да, про нее...

Хомутов быстро пошел к двери и, вернувшись, проговорил:

— Послушайте, барынька... Я не знаю, что вы хотите де: лать с Настенькой, но я... Вы мне не поверите... Да?.. Спросите ее...

Хомутов вышел... Через пять минут в комнату вошла Настенька. Ираида Филатьевна так и впилась в нее глазами. Да, это была та самая Настенька, которую она вчера полюбила и о которой промечтала целую ночь: небольшого роста, но вполне сформировав-

шаяся, с гибкими, крадущимися движениями, она производила с первого раза очень выгодное впечатление; а смуглое с загорелым румянцем лицо, с неправильно выгнутыми черными бровями и кошачьи-ласковым взглядом темных глаз с широким зрачком, принадлежало к тому загадочному типу лиц, которые точно специально созданы природой для любви. «О, да это настоящий тигренок», — подумала Ираида Филатьевна, когда Настенька вопросительно и ласково смотрела на нее.

— Нам прежде необходимо познакомиться, — заговорила Ираида Филатьевна. — Надеюсь, мы полюбим друг друга, то есть, я как увидала вас, так и полюбила.

— И я тоже...

Ираида Филатьевна горячо поцеловала Настеньку, и, не выпуская ее рук из своих, она порывисто и несвязно передала цель своего приезда на Вогульский прииск. Девушка молчала, перебирая смуглой, с детскими ямочками рукой расшитый край своего передника.

— Я говорила с господином Хомутовым, — закончила свою речь Ираида Филатьевна, стараясь заглянуть в глаза Настеньки, — те-

перь дело за вами. Я уверена, что вы уедете со мной, то есть с вашим отцом, который ждет нас недалеко от прииска. Вам и лошадь готова.

— И папа здесь?

— Да. Если вас что-нибудь затрудняет, будьте вполне откровенны со мной... Может быть, вам тяжело расстаться с Вогульским прииском?

— А где я буду жить?

— Вы будете жить у меня, на Коковинском прииске...

— А папа?

— Про папу я ничего не знаю, как он думает устроиться...

Подумав немного, Ираида Филатьевна прибавила:

— Если вам тяжело будет расставаться с вашим папой, тогда мы устроим его на нашем прииске, подыщем ему какую-нибудь должность...

— Нет, я так сказала...

С последними словами из-под густых ресниц у Настеньки выступили две слезинки, и по лицу промелькнуло конвульсивное движе-

ние. Ираида Филатьевна обняла девушку и ласковым шепотом ее спросила:

— О чем вы плачете, голубчик?

— Так... — по-детски отвечала Настенька, потихоньку всхлипывая.

— Вам, может быть, не хочется ехать отсюда?

— Нет, хочется... только, пожалуйста, скорее...

Эта сцена была прервана чьим-то неистовым криком, который раздался на крыльце, а затем послышалась глухая возня, площадная ругань и прежний неистовый крик. Можно было отчетливо различить, как на полу крыльца упирались и барахтались чьи-то ноги, а затем тяжело, с хриплым криком, рухнуло какое-то человеческое тело. «А... подлец! Нашел я тебя... наше-ел!..» — хрипел чей-то голос, пересыпая свои слова неистовой руганью.

— Ведь это папа кричит... — в ужасе прошептала Настенька, одним движением кидаясь в двери.

Крыльцо теперь представляло такую картину: на полу лежал с окровавленным лицом

Шипицын, а Хомутов, придавив его коленом, одной рукой держал за горло.

— Я тебя наше-ел, подлец! — хрипел Шипицын, начиная синеть.

— Он... хотел меня убить... — задыхавшимся голосом прошептал Хомутов, указывая на свое разорванное платье; лицо у него было исцарапано, а на носу катилась капля свежей крови.

— Господа, что же это такое! — металась Ираида Филатьевна, напрасно стараясь стащить Хомутова с Шипицына. — Разве вы не видите, что он пьян?..

— Он меня камнем хотел убить...

После долгих усилий дерущихся, наконец, разняли; Шипицын действительно едва стоял на ногах. Пока Ираида Филатьевна разговаривала с Хомутовым, он успел докончить бутылку с коньяком.

— Где у вас лошади? — спрашивала Ираида Филатьевна.

— Воронко-то убежал... — смиренно проговорил Шипицын, приходя в себя; его одежда сильно пострадала в неравной борьбе. — А я тебя все-таки убью!.. — заревел он, обращаясь

к Хомутову. — Мало тебе моей крови — ты из детей моих кровь пьешь!.. Настенька...

Пьяный, обезумевший старик опять ринулся было на Хомутова, но его вовремя удержали старичок в плисовом пиджаке и давешний молодой человек.

— Мы сейчас едем, — проговорила Ираида Филатьевна, когда со стороны прииска привели сбежавшую лошадь.

V

Настенька поселилась на Коковинском прииске. Ираида Филатьевна была неузнаваема, точно она пережила вторую молодость. С утра до поздней ночи она хлопотала без устали; этот труд доставлял ей великое наслаждение, потому что все делалось для нее, для Настеньки. Толстушка переродилась разом и, стряхнув с себя гнет тяжелых воспоминаний, зажила новой, молодой жизнью, счастливой своим самоотречением. Вечная жажда любви, томившая ее, теперь, как в фокусе, сосредоточилась на Настеньке: каждый новый день приносил новое счастье — открывать новые совершенства в этой загадочной девушке. Даже роль кающейся Магдалины придавала На-

стеньке тысячу новых неуловимых прелестей. Ираида Филатьевна совсем забывала о себе. Часто она просыпалась по ночам, точно в комнате спал грудной ребенок, и по целым часам просиживала у постели Настеньки, не смея дохнуть; она ловила каждый вздох своего божка и часто украдкой целовала рассыпавшуюся русую девичью косу или полную детской полнотой с пояском посредине шею. Иногда от прилива тайного счастья у толстушки навертывались на глазах слезы, и она не сдерживала их, всем существом отдаваясь сладкому чувству материнской любви.

Сама Настенька едва ли понимала и сотую часть того, что творилось вокруг нее; она, как котенок, напившийся теплого молока, сладко потягивалась и позевывала, не обращая особенного внимания на куриные хлопоты толстушки и не утомляя себя заботами о будущем. Есть такие люди, которые способны вполне «растворяться в настоящем», выражаясь языком Шопенгауэра, и мысль о будущем не оставляет на их лицах ни малейшей тени. Глядя на эту беззаботную, немного ленивую и неизменно веселую Настеньку, толстушка ча-

сто завидовала непоколебимому равновесию ее душевных сил.

— Ах, это вы... — удивилась однажды Настенька, когда, проснувшись ночью, увидала у своей кровати Ираиду. — Как вы меня испугали!..

— Я... мне показалось, что ты неправильно дышишь... — лгала толстушка. — Не болит ли у тебя что-нибудь, моя крошка?

— Нет, я здорова...

— Может быть, тебе жестко спать?..

— Нет, напротив...

— Ведь ты мне скажешь, когда у тебя что-нибудь заболит?

— У меня никогда ничего не болит.

Этот наивный детский ответ рассмешил Ираиду Филатьевну до слез, точно на нее пахнуло из далекого прошлого собственной молодостью, не знавшей, куда деваться с своими, просившими выхода, силами.

Присутствие Настеньки сделало контору неузнаваемой: на окнах появились белые занавеси, на полу бухарский пушистый ковер, в простенке между окнами новенький ореховый туалет со множеством ящиков и шкату-

лочек; подоконники были заставлены душистыми левкоями и резедой, а на ночном столике у кровати Настеньки чья-то невидимая рука каждое утро выставляла свежий букет из полевых цветов и душистой травы. Сама Ираида Филатьевна больше не наряжалась в свою мужскую канаусовую рубаху, а щеголяла в широких домашних платьях из какой-то пестрой летней материи. Настеньке было предложено на выбор несколько платьев, и она остановилась на самом скромном из них, сшитом из тонкой батистовки с бледным синим рисунком; когда Настенька надела в первый раз это платье, зачесала гладко волосы, выбрала самый простой гладкий воротничок и подошла здороваться к Ираиде Филатьевне, та даже немного отступила и, покачивая головой, с невольной гордостью проговорила:

— О, да у тебя есть вкус, моя крошка… да!.. Настоящая Маргарита…[82] Нет, Маргарита все-таки была немка, вялая немка, а ты походишь на… кошечку. Да?.. Знаешь, Настенька, какие у тебя глаза странные: никак не разберешь, какого они цвета… То вдруг сделаются совсем темные, то кажутся серыми, то зеле-

ными.

— Как у кошки? — засмеялась Настенька.

Первые дни своего пребывания на Коковинском прииске Настенька совсем не показывалась из своей комнаты на крыльцо, составлявшее теперь нейтральную почву, на которой сходились все за чаем, обедали и ужинали. «Ей необходимо отдохнуть и успокоиться от своего прошлого, — думала толстушка. — Конечно, наши мужчины не много с ней наговорят, но примутся таращить глаза, оглядывать всю...» M-r Пажон несколько раз спрашивал Ираиду Филатьевну, когда она, наконец, покажет им свою кающуюся Магдалину, и при этом так гнило улыбался, что толстушка чуть-чуть не выцарапала ему глаз. Герр Шотт тоже вздыхал что-то особенно смиренно и с умилением заглядывал в глаза Ираиде Филатьевне, точно старый закормленный кот. Один мистер Арчер оставался джентльменом по-прежнему и по-прежнему был серьезен и молчалив.

Ираида Филатьевна сильно боялась за первое появление Настеньки в этой сборной мужской компании, но дело обошлось самым

счастливым образом: Настенька появилась на крыльце с скромным достоинством настоящей благовоспитанной девицы, так что мужчинам оставалось только относиться к ней с полным уважением, что и было исполнено.

— А она ничего… — заметил после Пажон.

— Как это прикажете понимать? — резко спросила Ираида Филатьевна, которая теперь начала относиться к своему сожителю очень сурово.

— Я ничего, кажется, не сказал обидного…

— Тем хуже для вас, потому что у вас это обидное вертелось на языке… Поймите же, что Настенька — такой же человек, как все другие люди, и оставьте свои пошлые мысли.

— Но я не виноват, что природа устроила мужчину и женщину несколько иначе…

— Опять глупо!.. Природа ничего не устраивала для наших пошлостей, которые придумали уж сами люди.

Настенька стала появляться на крыльце, как свой человек, и держала себя с независимой простотой, так что Ираида Филатьевна торжествовала и за нее и за себя. Победа была

одержана полная, хотя Ираида Филатьевна и следила самым ревнивым взглядом за каждым движением «этих проклятых мужчин».

Старик Шипицын ради Настеньки тоже был устроен на прииске в какой-то маленькой должности при золотопромывательной машине и все время не пил, уверяя Ираиду Филатьевну, что он теперь не только не может пить, но даже «вполне презирает эту самую водку». По вечерам Шипицын иногда заглядывал в контору, но в комнату Настеньки, несмотря на вое приглашения, не входил, а становился у окошечка и тут беседовал с своей «стрелой». Эта идиллия умиляла Ираиду Филатьевну, и она даже против желания начинала верить, что старик Шипицын, может быть, и совсем бросит водку для своей Настеньки. Сила любви неизмерима и творит чудеса.

— Отчего же вы не хотите в комнату идти? — допрашивала старика Ираида Филатьевна.

— Нет-с, и без того много вам благодарны-с, — уклончиво отвечал Шипицын. — Мы свое место хорошо знаем... Не под кадриль

нам с господами иностранцами компанию водить.

В хорошие дни Ираида Филатьевна уходила с Настенькой куда-нибудь в лес и была совершенно счастлива. Они бродили по лесу целые часы и возвращались на прииск с корзинкой грибов или ягод. Каждый раз они брали с собой легкий завтрак и, когда уставали, выбирали где-нибудь под елью или березой укромное местечко и отдыхали на полной свободе, не стесняясь ничьим посторонним присутствием. Странное дело, как Ираида Филатьевна ни ухаживала за Настенькой, последняя все-таки оставалась для нее каким-то сфинксом, которого никак не разгадаешь. Ираида Филатьевна до сих пор не знала даже того, что нравится или не нравится Настеньке, что она любит, чего желала бы; только в лесу эта загадочная Настенька стряхивала с себя всякую неприступность, начинала болтать без умолку, пела и дурачилась, как сумасшедшая.

— Э, да ты у меня лесная птичка! — восхищалась Ираида Филатьевна. — Любишь лес?

— Очень... Когда маленькая была, постоян-

но в лесу жила. Дома скука: мама вечно жаловалась и плакала, папа пьяный. Уйдешь в лес с мальчишками — весело! Я отлично на деревья лазила...

Ираида Филатьевна с жадностью хваталась за малейший обрывок таких воспоминаний Настеньки, чтобы по ним хотя приблизительно составить себе картину развития этой брошенной на произвол судьбы девочки и затем определенно идти к цели. А цель была ясна: Настенька — богатая, непосредственная натура, лишенная даже тени какого-нибудь развития, но Ираида Филатьевна не сомневалась, что стоит только бросить семена знания на эту нетронутую почву — и произойдет чудо умственного и нравственного просветления. Даже круглое невежество Настеньки, которая едва могла читать по складам и писала без малейших признаков орфографии, — даже это невежество нравилось Ираиде Филатьевне, потому что она могла начать постройку здания с фундамента «Развить эту девушку и вывести ее на настоящую дорогу», — вот была золотая мечта Ираиды Филатьевны, и она ухватилась за нее обеими руками. План был

набросан в пять минут: сначала дать время Настеньке отдохнуть и оглядеться, и в это время изучить ее характер, привычки, недостатки и склад ума; затем осторожно приступить к самому «развитию», начать, конечно, с тех заветных книжек и плохо переписанных тетрадок, над которыми пятнадцатилетняя Ирочка пережила столько счастливых часов. Да, это была блестящая идея: заветные книжки должны пробудить в Настеньке жажду знания, а там уже все пойдет, как следует.

Дальше… Первым делом, конечно, бросить прииск и переселиться куда-нибудь в глухой уездный городок, где и начать трудовую отшельническую жизнь. Да, это будет отлично, а когда Настенька станет на собственные ноги, тогда можно будет перебраться и в Питер: пусть Настенька посмотрят на настоящую жизнь и настоящих людей. Руководствуясь опытом собственной тревожной жизни, Ираида Филатьевна хотела вперед застраховать Настеньку от возможных ошибок и заблуждений духа и плоти. Из Настеньки выработается идеальная женщина, и она, наконец, заживет той счастливой жизнью, которая для самой

Ираиды Филатьевны осталась недосягаемым идеалом. Вблизи этой молодой натуры Ираида Филатьевна чувствовала себя свежее, испытывая тот прилив сил, какой дает нам только молодость; в ней смутно заговорило нравственное чувство, и она с ужасом оглянулась назад, где, как из тумана, выплывали совсем чужие для нее теперь фигуры: Белоносова, Королькова и до m-r Пажона включительно.

— Все это... грязь и обман, — шептала она побелевшими губами, хватаясь за голову.

«Никто из этих подлецов и никогда не любил меня, — с щемящей тоской думала она далее. — Разве это была жизнь? Сплошной обман и самообман. Ох, Настенька, Настенька, не знаешь ты, моя ласточка, что господь бог создал женщину в минуту своего гнева!..»

Когда Настенька была достаточно подготовлена к принятию развития, Ираида Филатьевна, прежде чем приступит к делу, пережила что-то вроде священного трепета. Нервы у ней поразвинтились за время скитаний, и теперь то, что в теории казалось так просто и ясно, на практике волновало ее и даже на-

гоняло сомнения. А если она не сумеет приняться за дело?

— Настенька, а ты не думала иногда... — дрогнувшим голосом начала она свое роковое объяснение. — Одним словом, у тебя не являлось желание учиться?

Настенька с удивлением посмотрела на свою покровительницу и как-то загадочно улыбнулась.

— Меня учила читать одна старушка начетчица, — уклончиво ответила она.

— По псалтырю? Может быть, она била тебя?

— Нас пять девочек у нее училось... Всех колотила. Возьмет да козонками по голове и ударит, а то лестовкой[83] по спине отхлещет.

— Ну, я не про такое ученье говорю, моя милая. Тебе хотелось бы знать, как люди жили раньше, как они живут теперь в разных странах?.. Отчего у нас бывает тепло и холодно, зима и лето, бедные и богатые, добрые и злые? Ведь все это интересно знать... да?

— Не знаю...

— А вот, если захочешь учиться, тогда и будешь все знать... Я сама тебя буду всему

учить, хочешь?

— Хочу... А по-французскому вы будете меня учить?

— Если желаешь, и по-французскому будем учиться!..

С этого разговора и началось развитие Настеньки. Ираида Филатьевна не любила откладывать дела в долгий ящик, достала из чемодана свои книжки и тетрадки и с лихорадочным жаром принялась за работу в тот же день. Толстушка не хотела видеть, что Настенька решительно ничего не понимает и не чувствует и иногда потихоньку зевает, стараясь замаскировать себя рукавом. Ираида Филатьевна позабыла все на свете и душила свою несчастную ученицу заветными книжками далеко за полночь, а ученице эти книжки казались горше козонков и лестовки старухи начетчицы.

VI

За своей новой работой Ираида Филатьевна совсем охладела к m-r Пажону, который только возмущал ее своей вежливостью и вообще всей накрахмаленной, молодившейся фигурой.

Дни делались заметно короче, и по вечерам в помещении господ иностранцев от трех трубок стоял дым коромыслом, чего, впрочем, сами курильщики не замечали. Пажон от скуки учил двух пуделей, за которыми Макар нарочно ездил за двести верст; мистер Арчер ходил из угла в угол, плотно сжав губы и заложив руки за спину; герр Шотт возился с своим гербарием, а когда все ложились спать, он зажигал тоненькую восковую свечку, защищаемую шелковым экраном, и потихоньку работал из разноцветной почтовой бумаги маленький очень красивый коврик. Нужно отдать справедливость трудолюбию и искусству герр а Шотта: в течение двух недель усиленной тайной работы он едва успел сделать всего один уголок красивого коврика. В это время кузина мистера Арчера, не получая обычных писем от кузена, пролила много напрасных девичьих слез; добрая девушка из своей старой Англии видела глазами любви дорогого кузена, пригвожденного на далеком Урале к одру болезни тяжким недугом... Как бы удивилась эта милая особа, если бы увидела, как в действительности крепко спал ми-

стер Арчер самым здоровым сном и уж совсем не походил на труднобольного человека. Дело в том, что мистер Арчер был занят изучением русского языка, и ему решительно недоставало времени на письма.

Однажды, когда Ираида Филатьевна с Настенькой чистили на крыльце ягоды для какого-то варенья, мистер Арчер долго и сосредоточенно наблюдал за их работой, а потом совершенно неожиданно процедил сквозь зубы, на ломаном русском языке, комплимент красоте Настеньки.

Ираида Филатьевна резко заметила мистеру Арчеру по-английски:

— До настоящей минуты я считала вас, молодой человек, гораздо умнее... Разве можно говорить такие вещи молоденьким девушкам?

— Я не виноват, что мисс Анастази сегодня такая хорошенькая, — невозмутимо отвечал англичанин.

— Но вы все-таки должны себя держать джентльменом...

Занятия с Настенькой по части развития подвигались крайне туго, ученица не только

не понимала умных книжек и хороших стихов, но обливалась крупным потом над первыми четырьмя действиями арифметики. Таким образом, пришлось изменить немного план развития этой дикарки и вместо умных книжек высиживать с ней арифметические задачи. Однажды, когда такой урок порядком надоел учительнице и ученице, под окнами неожиданно раздался звонкий лошадиный топот, и Настенька быстро спряталась за косяк.

— Да ведь это Хомутов?! — в ужасе прошептала Ираида Филатьевна, которой сейчас же представилось, что этот ужасный человек приехал за Настенькой.

Она выпрямилась и как-то вся надулась, как наседка, которая приготовилась защищать свой выводок от налетевшего ястреба; чёрез минуту она уже была на крыльце и встретила Хомутова очень колодным вопросом:

— Вам кого угодно, милостивый государь?

— Да я так приехал... — добродушно отозвался гигант, передавая своего туркменского иноходца Макару. — Об вас соскучился, Ираи-

да Филатьевна, ей-богу!..

— А я так о вас нисколько... Однако вам кого угодно видеть? Господин Пажон на прииске, и в конторе никого нет...

— Мне вашего Пажона и не нужно совсем, пусть его погуляет по прииску. Я собственно с вами хотел побеседовать...

— Благодарю за внимание, но мне как раз решительно некогда сейчас.

— Я подожду...

— Да что вы привязались так? Кажется, могли бы сообразить, что я не желаю совсем беседовать с вами...

Хомутов несколько мгновений вопросительно смотрел на Ираиду Филатьевну, а потом с своей добродушной улыбкой проговорил:

— Вы, барынька, думаете, что я о Насте соскучился и приехал отбивать ее у вас?

Хомутов засмеялся своим хриплым смехом и махнул рукой.

— Я не желаю знать, зачем вы приехали сюда, но на вашем месте я не сделала бы так... Понимаете?

— Почему же это?

— Вы и этого не понимаете? — с презрительной улыбкой проговорила Ираида Филатьевна. — Вы, кажется, уверены, что, имея деньги, можно делать все и, мало этого, можно смотреть в глаза другим людям с чистой совестью...

— Это вы опять насчет Насти?

— Кажется, я довольно ясно высказалась...

Эти слова заставили Хомутова улыбнуться какой-то глупо-загадочной, безнадежно улыбкой, и он прибавил вполголоса:

— А вы спрашивали Настю, как все дело вышло?

— Я этого не желаю знать и не имею права на такие вопросы...

Хомутов помолчал с минуту и потом с какою-то больной улыбкой проговорил:

— Знаете, Ираида Филатьевна.... мне вас жаль... да! Вот вы образованная женщина и генеральского происхождения, а этого не понимаете. После попомните мои слова, да будет поздно...

— Вы напрасно трудитесь застращивать меня: я не из робкого десятка... и даже ждала с вашей стороны этого подходца.

Хомутов молча повернулся, сел на своего иноходца и уехал на прииск. —.

Это посещение сильно встревожило Ираиду Филатьевну, и она со страхом ждала следующего появления Хомутова на Коковинском прииске. Действительно, через несколько дней Хомутовский иноходец был привязан у самой конторы к столбу, а его хозяин сидел в комнате с господами иностранцами, с которыми вел беседу при помощи герр Шотта. Это нахальство и дерзость взорвали Ираиду, и она не показалась с Настенькой за обедом на крыльце. Она с ужасом слушала, как раскупоривались бутылки и вся компания начинала говорить все громче и громче.

«Сегодня же нужно уехать отсюда, — решила про себя Ираида Филатьевна. — Этот разбойник, кажется, способен на все...»

Она, вероятно, не замедлила бы привести свою мысль в исполнение сейчас же, но этому помешало то, что путь к отступлению был отрезан: сейчас после обеда на крыльце устроился сибирский вист с винтом, сопровождавшийся обильным возлиянием. Очевидно, все было в заговоре против нее, и она

металась по своей комнате, как зверь в клетке.

— Чего вы так беспокоитесь? — старалась успокоить Настенька свою учительницу. — Велика беда, поиграют, напьются и разойдутся...

— Но ведь это заговор против меня! Понимаешь: против меня... они все запляшут под дудку этого Хомутова!.. Это какие-то куклы... Чтобы я после этого осталась здесь?!. Никогда!..

— Куда же вы думаете уехать? — нерешительно спрашивала Настенька.

— А ты поедешь со мной?

— Да...

— Там увидим куда... Свет не клином сошелся, моя крошка. Давно бы следовало уехать, да все проклятая лень заедала: с насиженного места не хотелось трогаться. Э!.. Все это вздор... Мы еще с тобой поживем...

Настенька тихо засмеялась.

— Ты над чем это смеешься? — обидчиво спрашивала Ираида Филатьевна.

Девушка молча кивнула головой по направлению дверей, откуда доносился смешан-

ный гул голосов.

Игра продолжалась до самого вечера, а когда все стихло, Ираида Филатьевна осторожно выглянула в слегка приотворенную дверь. На крыльце никого не было, и только показавшийся молодой месяц матовыми серебряными полосами играл по зеленой траве. Ираида Филатьевна вышла на крыльцо и в ужасе отступила назад: на ступеньках лестницы, где она недавно разговаривала с Шипицыным, теперь сидел сам Хомутов и смотрел на нее остановившимся, бессмысленным взглядом совсем пьяного человека.

— П-послу-ушай... — замычал Хомутов, делая напрасное усилие подняться на ноги. — Все гор-рит в нутре... воды испить... смерть моя пришла...

Эта бессвязная речь разогнала весь страх Ираиды Филатьевны, и она, не давая себе отчета в своем поступке, побежала в комнату за графином воды и нашатырным спиртом. Вся проза вытрезвления была ей известна досконально. Чтобы сразу привести в чувство Хомутова, Ираида Филатьевна в стакан с водой пустила несколько капель нашатырного

спирта. Это лошадиное лекарство для этого колосса было детской игрушкой.

— Спасибо, барынька... — проговорил потом Хомутов, когда выпил два графина самой холодной воды.

— Натирайте виски вот этим спиртом...

— Нет, не надо... Ты мне чего-то подсунула, барынька? Сразу весь хмель вышибло... А все это твой Пажон, старый петух: пристал с шартрезом, что не выпить мне одному бутылки. Ну, и выпил... Перехитрил, французский петух!.. Совсем было ослабел... да... ослабел. Отродясь не бывало этакого страму...

— А вы сегодня не ездите домой.

— Нет, не поеду... Я еще с тобой буду говорить.

— Послушайте... вы забываетесь!..

— Нет, ты теперь меня послушай, барынька... Ты меня послушай!.. Да ты меня не бойся... Скажи сейчас: «Хомутов, алемарш в воду!» Только пузырьки пойдут... Ей-богу!.. Да... Э-эх, барынька, барынька!.. Разговор-то у меня мужицкий, ну да не в этом дело... А ведь я тебя полюбил, вот те Христос. Как ты меня тогда отругала... помнишь, в моей конторе? Ну, я

тебя и полюбил...

— Вам, право, теперь спать пора, а в любви мне успеете объясниться завтра, — уговаривала Ираида Филатьевна.

— Нет, ты слушай... И обругать человека не мудрено, — продолжал Хомутов в каком-то раздумье, — вон Шипицын даже искусал меня тогда... Не в этом дело!.. Да... Видишь, у Хомутова много золота, да не все золотом купишь. Так? Вот и Настя... Ну, да это другая статья совсем. Я про тебя-то хочу сказать, как ты меня тогда приняла, как наступила на меня... Ха-ха!.. Нет, видно, не все золотом купишь... Вот я тебя тогда за то и полюбил, потому неподкупная, гордая у тебя душа. Ты и сама себе цены не знаешь, и Настя не знает... Да! А я вот тебя насквозь вижу... Вижу, как ты меня боишься и ненавидишь. А напрасно... боишься-то напрасно!.. Хомутов — пропащая голова... верно!.. А отчего он пропадет? От силы от своей, барынька, от силы-мочи... Некуда с ней ему деться. Так-то!.. Все льнут к золоту, все тебя обманывают, ну, и расстервенишься... Теперь взять, какие наши бабы? Был я женат и еще жениться могу, а все эти наши бабы на

одну колодку скроены: либо боится тебя, как мышь, либо под башмак загонит, а настоящей чести в такой бабе все-таки нет... Гонору нет, потому так она себя не чувствует, своей силы не знает. Вот я тебя и жалею, — неожиданно прибавил Хомутов, встряхивая своей головой, — задарма пропадешь, барынька.

— Это не ваша забота.

— Нет, погоди... я ведь тебя от совести жалею: теперь тебе тяжело, а впереди еще тяжельше будет... Вер-рно!.. Ты меня сторожишься, а себя не жалеешь... Беда-то не по лесу ходит, а по людям...

— Чего же мне жалеть себя?

— Сама себе беду наживешь... Твоя-то беда теперь тебе в глаза смотрит, улыбается, а...

— Вздор!..

— Ты, думаешь, Хомутов пьян, зря мелет... Нет, голубчик, у Хомутова сердце об тебе болит... да!..

— Скажите мне одно, — уже задумчиво и серьезно проговорила Ираида Филатьевна, усаживаясь на крылечко рядом с Хомутовым — зачем вы разорили Шипицына, обольстили его любимую дочь и теперь его же и

ненавидите?

— С Шипицыным нас бог рассудит... Мы тут все запутались, а теперь поди разбирай, кто прав.

— Положим даже, что вы и сами не уверены были в своей виновности, чего же стоило вам выбросить старому другу пять — десять тысяч, чтобы оградить себя от нареканий!.. Вот чего я не понимаю! Ведь вы другим помогаете же, я знаю, а Шипищына преследуете...

— Видите, барынька, прежде-то я даже и думал ему помочь, да он все со злом да с гордостью ко мне приставал. Ну, оно, это самое дело, так и затянулось... А теперь уж ему не поможешь, Шипицыну-то. Если ты скажешь одно слово, — прибавил Хомутов, — своими ручками бери и отдай Шипицыну, сколько тебе поглянется. Отворю сундук, и бери.

— Нет, вы лучше сами ему отдайте, а не для меня.

— Не могу... Шипицын-то вам рассказывал, да не все. Есть у меня старушка мать, очень древняя старушка, вот она и проклянет меня, ежели я помогу Шипицыну. Видишь, у ней с Шипицыным разговор такой вышел,

крупный разговор. Надо полагать, сказал он ей, матери-то моей, что ни на есть обидное. А что он ей сказал — я неизвестен, потому родительница молчит... Мать-то мне прямо сказала: «Прошка, ежели ты хоть грош дашь Шипицыну, нет тебе моего благословения родительского во веки веков. Прокляну... А без моего благословения погибнешь, аки червь!» Ндравная старуха, одним словом.

— Ну, а я, барынька, домой, — заговорил Хомутов, прерывая сам себя и поднимаясь с места. — Тошнехонько мне на твоих французов смотреть...

Как Ираида Филатьевна ни уговаривала Хомутова не ездить ночью, он настоял на своем и влез на выстоявшегося иноходца.

— Приезжайте как-нибудь, — проговорила Ираида Филатьевна, когда Хомутов снял шляпу, — побеседуем.

— Спасибо, барынька... Это я тебе пьяный все разболтал, а трезвому стыдно будет глаза показать. Да... А ты подумай, о чем я тебе толковал. Ежели круто придется, только перешли мне весточку: я всех в один узел завяжу для тебя... Слышала?..

— Нет, мне еще ни к кому не случалось обращаться за помощью...

— Гордость одолела... Ну, как знаешь... А только попомни мое слово: берегись того, кого любишь.

Хомутов стегнул нагайкой иноходца и пропал в белом густом тумане, которым был залит весь прииск; только удары лошадиных копыт о камни еще несколько мгновений нарушали мертвую тишину летней уральской ночи.

Когда Ираида Филатьевна вернулась в свою комнату, Настенька уже спала на своей кровати крепким сном. Она, очевидно, дожидалась Ираиды Филатьевны и прилегла на кровать, не раздеваясь. «Берегись того, кого любишь», — вспомнила Ираида слова Хомутова и долго и внимательно смотрела в спокойное лицо Настеньки, залитое ровным горячим румянцем. Девушка спала, слегка раскрыв свои пухлые розовые губы; ровное, спокойное дыхание едва можно было заметить, по лицу расплывалась какая-то неопределенная мысль, заставлявшая одну бровь приподниматься. Длинные пушистые ресницы бро-

сали на закрытые глаза густую тень, так что казалось, что эти глаза смотрят, смотрят не зрачком, а как темные неясные пятна.

Странно, за несколько часов перед этим Ираида Филатьевна считала Хомутова разбойником и страшно боялась его, а теперь... теперь ей немножко было жаль его. Это было совсем особенное чувство, которое столько раз губило Ирочку. Она хорошо знала его симптомы: душу охватывала неопределенная тоска, между тем в сердце теплилось горячее желание, и глаза застилало туманом.

— Ну, Ирочка, пожалуйста, без глупостей, — проговорила она сама себе вслух, распахивая окно.

Половина неба была затянута тучей; где-то вдали глухо рокотала летняя гроза, и тянуло свежей пахучей струей. Перед грозой трава всегда сильно пахнет. Несколько звездочек весело мигали в углу окна.

VII

Хомутов действительно больше не показывался на Коковинском прииске; Ираида Филатьевна скоро позабыла о нем и его странных разговорах.

Приближалась осень. В жизни Ираиды Филатьевны это время года всегда являлось критическим моментом, и ее всегда страшно тянуло куда-нибудь в город. Но теперь она была не одна, и ее очень заботил вопрос о будущем. Чем они будут существовать с Настенькой? Где устроятся? Не махнуть ли с последними пароходами в Питер? Последняя мысль была особенно заманчива, но Ираида Филатьевна боялась сразу окунуть свою воспитанницу в вечные сумерки столичного существования, с его голодовками и холодовками. Сама Настенька не высказывалась, куда ей хотелось бы переехать, и отвечала каждый раз уклончиво.

— Мы с тобой так сделаем пока, — предлагала Ираида Филатьевна: — возьмем у господина Пажона отпуск недели на две, съездим в соседний город. Может быть, там устроимся, а если нет, тогда махнем дальше.

Настенька ничего не имела против такого плана, и они решились выехать через три дня. Но накануне отъезда Настенька сильно прихворнула. Голова у ней была горячая, глаза мутны.

— Придется одной ехать, — решила Ираида Филатьевна. — , Медлить нельзя.

А как же я здесь одна останусь? — спрашивала Настенька. — Я боюсь.

— Глупости... Кругом порядочные люди, и никто не осмелится беспокоить мою больную девочку.

Перед самым отъездом, когда лошади уже были поданы, Настенька неожиданно расчувствовалась и расплакалась. Эти первые слезы тронули Ираиду Филатьевну, и она, целуя Настеньку, ласково ее спрашивала:

— О чем ты плачешь, моя крошка? Ведь я скоро вернусь и увезу тебя отсюда. С тобой вместо меня останется одна старушка, которая не даст тебя никому в обиду. Ну, о что ты плачешь?

— А если вы не приедете? — сквозь слезы спрашивала Настенька.

— Вздор!.. Будь умницей и выздоравливай поскорее.

— Вы всегда так любили меня... заботились...

— О, это пустяки, моя хорошая!.. Я тебе всегда говорила, что мы все эгоисты и все на све-

те делаем для собственного удовольствия или выгоды. Если я тебя взяла к себе, значит, мне это было или выгодно, или приятно, следовательно, не может быть и речи о какой-нибудь благодарности.

— Скорее приезжайте, Ираида Филатьевна! Мне без вас будет очень скучно.

Настенька бросилась к ней на шею и со слезами целовала ей все лицо и шею, так что та принуждена была даже поохладить эти нежности. Загадочная Настенька притихла и как-то вся съежилась; она показалась теперь Ираиде Филатьевне такой маленькой и жалкой девочкой.

— Вы мне отвечаете за мою девочку... Понимаете?.. — проговорила Ираида Филатьевна при отъезде Пажону.

— О, будьте покойны, совершенно покойны! — уверял старик, улыбаясь слащавой неопределенной улыбкой.

— Особенно берегитесь Хомутова... — настаивала Ираида Филатьевна. — Это такой человек, который... Одним словом, вы мне отвечаете за все, что здесь случится.

В душе ее опять проснулся безотчетный

страх к Хомутову, и она оставила прииск в самом тревожном настроении. Едва ли она так тревожилась бы, если бы оставляла на прииске свою родную дочь.

Ровно через неделю Ираида Филатьевна возвращалась домой и нетерпеливо ждала, когда из-за леса увидит, наконец, Коковинскую приисковую контору.

Дела были устроены, работа отыскана, но всю дорогу у Ираиды Филатьевны болело сердце. Она сама не могла отдать себе отчета в своей тревоге. То ей казалось, что Настенька опасно больна; то она видела Хомутова, который ехал на Коковинский прииск с коварной целью похитить Настеньку; то она начинала бояться тысячи тех случайностей, которые может придумать только возбужденный мозг.

Наконец дорога кончилась, с вершины последней горки Ираида Филатьевна увидела вдали знакомый низенький домик, о котором она столько думала. По наружному виду все оставалось по-прежнему, и из одной трубы весело поднималась кверху синяя струйка дыма.

Когда экипаж подъезжал к самой конторе, Ираида Филатьевна заметила, как из-за угла показалась было фигура Шипицына и быстро спряталась. Тяжелое предчувствие сдавило ее сердце. Вылезая из экипажа, она заметила голову Пажона, которая выглянула из дверей конторы и быстро спряталась. Из людской показался герр Шотт в ермолке и в старом халате; старик нес в руках что-то белое. Ираида Филатьевна заметила издали, что это были женские воротнички и манжеты. Глаза их встретились. Немец остолбенел, выпустил из рук свою ношу и, шлепая стоптанными туфлями, как пойманный школьник, побежал обратно в людскую.

— Это черт знает что такое! — проворчала Ираида Филатьевна, взбегая на крыльцо.

Она только что хотела отворить дверь в свою комнату, как ей загородила дорогу молодая горничная в накрахмаленном белом переднике.

— Нельзя-с... — бойко проговорила горничная. — Барыня почивают... Не приказано будить.

— Какая барыня? Да ты с ума сошла, моя

милая... Я здесь барыня и приехала к себе домой.

— Никак нет-с... У нас барыней Настасья Яковлевна. Третьева дня свадьба была в ...ском заводе.

— Какая свадьба? Что ты мелешь?..

— Барин Пажон-с женились на Настасье Яковлевне. Обыкновенная свадьба... А меня приставили к барыне горничной.

Ираида Филатьевна бессильно опустилась на стул, и у ней в голове все пошло кругом. Горничная с двусмысленной сдержанной улыбкой смотрела на нее и не оставляла дверей.

Ираида Филатьевна плохо помнила, сколько времени она просидела в этом положении; ее заставила очнуться маленькая желтая собачка, которая с чисто собачьим участием к человеческому горю ласково лизала ей руки. Откуда взялась эта собака, бог ее знает: до этого времени Ираида Филатьевна никогда не видала ее на прииске.

— Куда? — проговорила глухо Ираида Филатьевна, когда пришла в себя. — Куда теперь?

Горничная ушла от дверей, за которыми слышался теперь шелест накрахмаленных юбок и плеск воды. «Барыня умывается...» — подумала Ираида Филатьевна и сейчас же прибавила про себя: «А я зачем сижу здесь?»

Было часов двенадцать; солнце стояло над головой, но в его лучах уже не было летнего зноя. Дыхание наступавшей осени чувствовалось во всем: зелень на деревьях побледнела и перешла в желтые тона; трава высохла; недавний утренник прихватил несколько молодых березок, и они выделялись из остального леса яркими, лимонно-желтыми пятнами. В двух-трех местах, как облитая кровью, стояла осина.

— Зачем же обман?.. — стонала Ираида Филатьевна, хватаясь за голову. — Зачем было обманывать?

— Войдите, — послышался из-за дверей голос Настеньки.

В первую минуту Ираида Филатьевна не хотела идти в свою комнату, но потом ее страстно потянуло туда. Еще раз взглянуть на нее, на ту, за которую она готова была отдать свою жизнь.

Когда Ираида Филатьевна вошла в комнату, Настенька лениво поднялась к ней навстречу из-за туалета, пред которым поправляла свой батистовый чепчик с эльзасским бантом. На ней был надет длинный батистовый пеньюар со множеством богатых прошивок.

От объяснения с Настенькой у Ираиды Филатьевны закружилась голова и подкосились ноги: ей предложили поискать другого места. Она хотела крикнуть, но только беззвучно раскрыла рот и жалким растерянным взглядом смотрела на улыбавшуюся Настеньку. Может быть, все это сон? — мелькнуло в ее голове, и она даже провела ладонью по холодному лбу, — нет, это была сама действительность, которая жгла ей грудь и камнем давила сердце.

— А я чуть не забыла... — спохватилась Настенька, придавая своему лицу серьезное выражение. — Без вас здесь почти каждый день приезжал Хомутов и все спрашивал, когда вы приедете. Он, наверно, и сегодня будет.

— Настенька!.. — глухо застонала Ираида и выбежала из комнаты.

«Куда? Зачем?» — вертелись в голове ее вопросы, когда она очутилась на крыльце и на нее пахнуло свежим воздухом.

Лес был так же зелен, как всегда; осеннее солнце обливало золотыми волнами все кругом; где-то беззаботно чиликала безыменная лесная птичка; покоем и тишиной веяло отовсюду — той тишиной, какой природа преисполняется только осенью, как человек, который готов заснуть.

— Куда? Зачем? — уже вслух спрашивала себя Ираида Филатьевна, бесцельно хватаясь одной рукой за дорожную сумочку.

Она упала на первый попавшийся на глаза стул и, схватившись за голову обеими руками, тихо зарыдала. Целый ряд ярких картин промелькнул в ее голове, и каждая картина раздавливала ее, как колеса катившегося по ней поезда, и тут же из глубины души, из полузабытых детских воспоминаний, неизвестно как, зачем и для чего, выплыла тихая семейная сцена... Вот Ирочке восемь лет; она лежит в свой теплой мягкой постельке и сладко спит утренним детским сном, которого никак не может разогнать старая няня

Акимовна, вынянчившая еще самого генерала Касаткина. «Ирушка, вставай, голубушка, — шепчет старушечий голос, и костлявая сморщенная рука забирается под одеяло, чтобы пощекотать баловницу, — благовестят, Ирушка», — «Я сейчас, Акимовна, одну минуточку», — сладко шепчет девочка, не открывая глаз. Опять набегает сладкий и могучий детский сон, и опять слышится старушечий голос: «Ирушка, отблаговестили!..» Чьи-то дрожащие руки любовно и осторожно натягивают чулок на детскую ногу, и маленькая Ирочка сквозь сон, точно из бог знает какой дали, слышит: «Ирушка, трезвонят... Вставай, ласточка!» —: «Акимовна, голубчик, одну секундочку...» Старушка долго смотрит на разметавшуюся девочку, качает задумчиво головой и ласково шепчет: «Ну, ин, понежься...» Но через мгновение старая Акимовна приходит в себя и каким-то испуганным голосом начинает шептать: «Ирушка, оттрезвонили! А?.. Ирушка, отблаговестили!..»

— Отблаговестили... оттрезвонили... — машинально повторяет теперь Ираида Филатьевна слова старой Акимовны, и теперь они

жгут ее огнем: впереди темно, холодно, некуда больше идти...

Конский топот заставил ее поднять голову; не видя еще ничего, она уже чувствовала, что это едет Хомутов. Да, это его иноходец звонко бьет копытом землю... Первым движением ее было куда-нибудь убежать, скрыться, но она вспомнила, как давеча бежал от нее Шотт, как прятался за угол Шипицын, — и осталась на месте. А Хомутов уже входит на крыльцо в каком-то татарском азяме и издали улыбается ей. Она ненавидела его в это мгновение, ненавидела за его физическую силу, за самоуверенную улыбку...

— Ираида Филатьевна...

— Не подходите... — в ужасе шепчет она, точно стараясь что-то припомнить — Погодите, одну минуту погодите...

Хомутов остановился с протянутой рукой на воздухе...

— Послушайте, сходите к ней, — шепчет она, показывая головой на контору, — скажите ей, что я прощаю ей все... Понимаете... решительно все!.. Я уйду отсюда, только... только я хочу проститься с ней.

Хомутов нехотя вошел в контору, и Ираида Филатьевна от слова до слова слышала его разговор с Настенькой, которая нарочно громко отрезывала каждое слово. «Что еще за нежности?» — почти кричала она на Хомутова.

Когда Хомутов повернулся к двери, глухой выстрел заставил его вздрогнуть. На крыльце, корчась в предсмертной агонии, лежала Ираида Филатьевна, около нее валялся дрянной револьвер. На выстрел из всех щелей показались люди и, как всегда бывает в таких случаях, начали поднимать умиравшую.

— Отходит... — прошептал Макар, когда Ираида Филатьевна распустилась на его руках, как подстреленная птица.

Уткнувшись в угол лицом, тихо захныкал старик Шипицын; Хомутов стоял над самоубийцей растерянный и убитый.

— Эх, светлая была душа... — медленно и с расстановкой проговорил он, глубоко надвигая на свою голову широкую шляпу.

M-r Пажон, глядя на безмолвно лежавшую m-lle Иру, молодцевато покручивал усы. Мистер Арчер бесстрастно осмотрел бывшую пе-

реводчицу и ушел к себе в комнату, чтобы продолжать начатое письмо в Англию к кузине, которая не получала от него никаких известий в течение целого месяца.

Доброе старое время {9}

I

— Господи, как дороги дрова, Антонида Васильевна!

— А квартиры, Яков Иваныч?

— И квартиры тоже... Всё новые дома строят, всё строят, а квартиры и не думают дешеветь. Я за свою конурку пять рублей плачу, Антонида Васильевна... Впрочем, нужно будет переменить квартиру.

— Я три рубля плачу вот за эту мерзость, Яков Иваныч. И квартиры дороги, и дрова дороги, и люди нынешние — дрянь.

— Совершенно верно-с: дрянные люди. Даже и не люди, а так что-то такое: взять в руки нечего. Даже молодежь — и та ничего не стоит. А в наше-то время, Антонида Васильевна... Господи, точно все это во сне видишь... Закроешь глаза и видишь...

— В живых-то только мы с вами остались.

— Да... Сколько лет будет, как умер Крапивин?

— Ах, давно... двадцать лет.

— Неужели? А точно вот вчера все было...

И генерал умер, и Додонов… все умерли.

После этих грустных воспоминаний наступила длинная пауза. Яков Иванович долго жевал своим беззубым ртом, перебирал в руках платок, щурился и тяжело вздыхал. Все это было прелюдией к одному и тому же разговору, который всегда бесил Антониду Васильевну. О, она отлично знала, что старик пройдется своею расслабленною походкой по комнате, поправит старомодный воротник сюртука и проговорит:

— А ведь я говорил вам тогда, Антонида Васильевна… Ах, напрасно вы меня не послушались!..

Антонида Васильевна вскакивала с места, выпрямлялась и, приняв гордую позу, отвечала одно и то же:

— Яков Иваныч, вы никогда меня не понимали!

— Сорок лет я вам повторяю одно и то же… Ах, напрасно, Антонида Васильевна! Помилуйте, я тогда прямо сказал вам: покаетесь, Антонида Васильевна, да будет поздно. Да…

— И не покаюсь!

— А вот покаетесь.

— А нет!

Глядя на старика, Антонида Васильевна часто думала: «Совсем из ума выжил человек... и куда что девалось, подумаешь!..» Яков Иванович думал то же, глядя на Антониду Васильевну, и грустно качал головой. Неужели это она, та Антонида Васильевна, за которой ухаживал сам хромой генерал?.. Сгорбилась, обрюзгла, состарилась, глаза слезятся, лицо в морщинах, волосы седые — даже тени не осталось от прежней красавицы. Все тлен и суета, а женщины всегда останутся легкомысленными созданиями и будут всегда жить сегодняшним днем. Яков Иванович с сожалением оглядывал пустую комнату своей приятельницы, просиженный диван, единственный комод, заключавший в своих недрах все движимое Антониды Васильевны, и еще раз качал головой.

— Не хотите ли кофе, Яков Иваныч?

— Отчего же... Я, знаете, когда шел сюда, то думал: а хорошо бы напиться кофе. Кровь согревается.

Пока Антонида Васильевна возилась около самовара и согревала дрянной жестяной ко-

фейник, Яков Иванович ходил своими старческими шажками и что-нибудь рассказывал.

— Вчера я был на рынке, Антонида Васильевна... Капуста была такая дешевая. Я всегда у одной прасолки покупаю... Обманывает она меня, но я уж привык к ней. Хорошо-с... Стою я с мешком около лавки, а на меня лошадь... ей-богу, чуть не смяли. Сидит купчиха и говорит: «Я два воза капусты купила да воз огурцов». Ведь это очень выгодно, Антонида Васильевна, то есть выгодно все оптом покупать. Конечно; у кого есть деньги, так тем выгодно... Вот говядина тоже, сахар, кофе... Я всегда завидую богатым: всё дешево покупают, потому что вовремя. Привезли капусту — давай капусту, закололи теленка — давай теленка... хе-хе!.. Я прежде тоже хозяйственно жил и всегда делал запасы... Своя коровка была, лошадка... Вы мне не крепко наливайте: доктор не велит пить крепкий кофе.

— Знаю, знаю... Вот вам сливки, Яков Иваныч.

— Благодарю... Так я и говорю, Антонида Васильевна: хорошо богатым людям на свете жить. Комнаты большие, светлые, теплые, за-

пасов всяких много, да еще деньги в банке лежат. Понадобилось — и взял из банка...

— Да, отлично.

Старики часто ссорились, особенно в ненастную погоду, но один без другого сильно скучали. Однажды у Якова Ивановича заболели ноги, и он целую неделю не показывался. Антонида Васильевна даже всплакнула про себя и послала знакомую кухарку узнать о здоровье. Сама она не решалась навестить своего старого друга: как она придет на квартиру к холостому человеку? Впрочем, старики хворали редко, хотя Якову Ивановичу стукнуло уже восемьдесят лет, а Антониде Васильевне было под семьдесят. Как особа с тактом, старушка не показывала вида, что рада каждому визиту своего старого друга и что без него страшно скучает. Мужчины неблагодарны, и тот же Яков Иванович мог подумать про нее бог знает что, как все мужчины. Им только позволь... Отношения Якова Ивановича действительно носили корыстный характер: отчего не напиться кофе фирмы «Чужой и К®», а потом все-таки моцион — полезная вещь, и наконец, керосин напрасно горит, ко-

гда сидишь один дома. Угощать Антонида Васильевна любила, как все женщины, — у ней это было в натуре — отдавать последнее. Вот это-то и довело ее до каморки, когда другие женщины, которые не стоят ее пальца, разъезжают на рысаках и покупают капусту возами.

А какие бывают скверные дни осенью, когда дождь зарядит с утра! На улицах грязь, окна в комнатах отпотеют, из всякой щели ползет предательская сырость, и богатые кажутся еще богаче, а бедность еще беднее. Яков Иванович кашлял, охал и все-таки полз к Антониде Васильевне, чтобы хоть поскучать вместе. Именно стоял такой ненастный день, когда старик явился напиться кофе к Антониде Васильевне. Он в темной передней бережно снял калоши осторожно поставил в уголок свой зонт, снял отяжелевшую от дождя шинель с крагеном[84] и проговорил в дверях:

— Можно войти, Антонида Васильевна?

Яков Иванович был самый вежливый и деликатный человек, и Антонида Васильевна именно за это его и любила больше всего: увы, таких вежливых людей больше нет!..

Нынешние люди не понимают такой простой истины, что вежливость — это целый капитал и что благодаря именно ей в свое время Яков Иванович всегда Пользовался неизменным успехом у женщин. О, любовь ему ровно ничего не стоила, и ему многое прощалось именно за умение держать себя! Яков Иванович вовремя умел быть и смелым и скромным и всегда молчал: ни одной тайны не было им выдано. Вот секрет дожить до восьмидесяти лет, еще в силах, а дальше уже «труд и болезнь»... Женщины любили Якова Ивановича и в критических случаях советовались с ним, как было и с Антонидой Васильевной. Конечно, они делали по-своему, а Яков Иванович молчал, будто ничего не знает.

— Пожалуйте, Яков Иваныч...

Заняв свое обычное место на диване, Яков Иванович с присущею старым людям проницательностью сразу заметил, что Антонида Васильевна была сегодня не в своей тарелке. Может быть, получила неприятное письмо? Нет, писем она уже давно ни от кого не получала. Время писем миновало для нее... Что бы такое могло быть?

— Холодно, Антонида Васильевна.

— Очень холодно, Яков Иваныч.

В своем темном люстриновом платье Антонида Васильевна походила бы на монашку, если бы лицо ее не было покрыто темными пятнами от дрянных старинных белил. У монахинь лицо бывает такое белое и кожа — точно корка просвиры. Дома воротничков и рукавчиков она не носила, а когда приходил Яков Иванович, накидывала на плечи старенькую ковровую шаль. Теперь Антонида Васильевна куталась в свою «тряпочку», как она называла шаль, сильнее обыкновенного и старалась не смотреть на гостя. Перебрав все темы, Яков Иванович вопросительно поглядел на дверь, откуда должен был появиться кипевший самовар. Он не понимал, зачем хозяйка так медлит, а сегодня ему особенно хотелось напиться кофе, — мерзавец погода.

— Вы здоровы ли, Антонида Васильевна? — спросил он наконец, аккуратно понюхав табаку.

Антонида Васильевна что-то перебирала на своем комоде и удивленно оглянулась, а потом быстро вынула из кармана платок и за-

крыла им лицо. Послышались сдержанные всхлипывания. Как все мужчины, Яков Иванович не выносил женских слез и рассердился. Помилуйте, так могут капризничать одни девчонки... О, он хорошо знает цену этим женским слезам и никогда им не верил. В нем проснулась старческая жестокость. Но Яков Иванович всегда был вежливый дамский кавалер, поэтому, дав время пройти пароксизму, спросил по возможности ласково:

— Что с вами, Антонида Васильевна?.. Не могу ли я чем-нибудь быть полезным?

— У меня... у меня нет больше кофе!..

Яков Иванович был огорчен, но все-таки плакать не следовало. В жизни ему приходилось много видеть женских слез, и поэтому он пустил в оборот тот бессмысленный набор фраз, какими утешают плачущих женщин. Женщины любят, чтобы их так заговаривали, а смысл — это другое дело. Но и это верное средство не помогало; Антонида Васильевна продолжала плакать... Да и слезы были нехорошие, — те тихие слезы, которым, как осеннему мелкому дождю, конца нет. Старый эгоист только теперь пожалел свою приятельни-

цу, тем более что это искреннее горе касалось и его.

— Что же, Антонида Васильевна, убиваться? — бормотал он. — Если, нет кофе, то можно и чаю напиться. Отлично согревает...

— И чаю нет... я... я не ела уже два дня... ничего нет.

У Якова Ивановича вырвался неопределенный звук: «Это уж слишком — и скверная погода и эти слезы». Он даже посмотрел на дверь, чтобы половчее улизнуть, — последнее много раз выручало его из критических обстоятельств. Но Антонида Васильевна повернулась уже к нему и, не вытирая катившихся по ее лицу мелких старческих слез, порывисто заговорила:

— Все это пустяки...

— Как пустяки?

— Что я нищая — это пустяки... Сама виновата. Но меня убивает одно: сегодня двадцать первое сентября...

— Ах, да... Ведь Павел Ефимыч был бы сегодня именинник. Да, да... Скажите, а я-то и забыл. Давно ли это было, подумаешь... Пир горой шел у Павла Ефимыча... шампанское...

— И это пустяки, — прервала его Антонида Васильевна, комкая платок в дрожавших руках. — Сегодня я убедилась наконец, что тогда я действительно была глупа, а вы — правы... Да, вы были правы, Яков Иваныч, хотя прошлого и не вернешь.

— Ах, Антонида Васильевна, Антонида Васильевна... ведь я же говорил вам тогда?.. Если бы вы меня послушались...

— Я была молода... глупа... Кто бы мог подумать, что я проживу так бессовестно долго? Ведь я давно пережила себя...

— Да, да, состарились мы с вами, Антонида Васильевна...

— У меня теперь все бы было: и свой дом, и лошади, и прислуга... Сорок лет я думала, что поступила, как следует порядочной женщине, но вот сами видите, что из этого вышло... Нет больше кофе, Яков Иваныч!..

Это признание, вырванное отчаянием, обрадовало Якова Ивановича. О, он был прав, а женщины упрямы, как кошки... Если бы можно было вернуться назад каким-нибудь чудом и поднять из земли прошлое? В старике с страшною силой проснулась бессильная жад-

ность, и его маленькие глазки засверкали.

— Знаете, что я вам скажу? — заговорил он, взволнованный желанием сказать Антониде Васильевне что-нибудь неприятное и хоть этим выместить на ней собственную правоту. — Нынче так не сделают, да! Нынешние примадонны умнее и этих сентиментальностей не признают… Стоило тогда ломаться!

— Нынешние примадонны?

Антонида Васильевна покраснела остатком своей старческой крови и молча указала Якову Ивановичу на дверь.

— Уйду, сам уйду-с… — бормотал он, спохватившись, что пересолил. — И дернуло же за язык с нынешними примадоннами… А все-таки я прав.

— Да, вы правы, но уходите… все правы… я оскорблена именно этим.

Очутившись на улице, Яков Иванович долго стоял на тротуаре и никак не мог понять, как это все вдруг вышло: сидел на диване и вдруг — вон… что же это такое?.. Он вернулся, постучал в дверь, но ответа не последовало.

II

Ровно сорок лет тому назад, в такой же

ненастный осенний день Антонида Васильевна сидела в своей комнате перед зеркалом и старательно закручивала прядь своих белокурых волос в папильотки. В этот момент в комнату вбежали две девушки и в один голос закричали:

— Смотрите, смотрите: медведи!

— Смотрите: собаки!

Театральная квартира была как раз напротив театра, и по чистенькой городской улице медленно двигалась целая вереница телег. В каждой телеге сидело по четыре собаки и при них «человек». Собаки, истомленные длинным путешествием и промокшие под дождем, равнодушно смотрели по сторонам. Сопровождавшая их прислуга была одета в однообразный охотничий костюм: короткие серые куртки с серебряными пуговицами, широкие синие шаровары, барашковые высокие шапки с красными свешивавшимися на один бок курпеями[85] и красные широкие кушаки. У борзятников, выжлятников[86] и доезжачих были свои собственные серебряные значки, прицепленные к левому плечу, и у каждого за поясом по кинжалу. Это была на-

стоящая псовая охота, обставленная со всею роскошью. Когда первый обоз, состоявший из двадцати пяти телег, миновал; за ним показались громадные дроги, на каких возят тяжести. На дрогах были поставлены большие клетки из полосового железа, и в каждой клетке сидело по живому медведю. Всех дрог было пять, по числу медведей, и в каждые было заложено по три тройки. Понятно, что такая необыкновенная процессия взбудоражила город, и по улице За поездом бежала Целая толпа.

— Да это зверинец!.. — говорил кто-то из девушек в театральной квартире.

— Нет, барская охота, как у нас в Расее... — заметила крепостная няня Улитушка, состоявшая бессменно при театральных барышнях.

— А медведи зачем, няня?

— Псов натравливать, чтобы злее были... У настоящих господ всегда так делают.

Естественным являлся вопрос, чья же это охота, но именно на него никто не мог ответить. В Западной Сибири крупных помещиков не было, а золотопромышленники-рас-

кольники не имели и понятия о настоящих барских потехах.

— Нужно узнать, няня, — решила Антонида Васильевна, занятая небывалым зрелищем. — Сходи к Павлу Ефимычу и спроси...

— Так и пошла: нашли девочку! — ворчала старуха, — Няня, да ведь всего два шага?..

— У, баловницы!.. Да и Павла Ефимыча дома нет.

— Все равно, от камердинера узнаешь...

Старушка всегда ворчала, но баловницы умели заставить ее сделать по-своему, как было и теперь! «Ну, ин, схожу... не отвяжешься от вас».

— Бедные медведи, как им тяжело сидеть в этих клетках! — жалел кто-то из девушек, провожая глазами дроги. — Разбило их дорогой. Вон, посмотрите, один лижет железную полосу... Бедняжка, он пить хочет.

Один из медведей стоял на задних лапах, ухватившись передними лапами за переплет решетки, и смешно поводил мордой. Он чутко нюхал городской воздух и глухо кряхтел. Лошади фыркали и косились. Какие-то бойкие городские мальчишки подбегали к са-

мым дрогам и ухали на любопытных зверей...

— Вот я вас!.. — кричал главный доезжачий[87], замахиваясь на ребят толстым арапником.

Антонида Васильевна задумчиво проводила глазами весь обоз, и ей вдруг сделалось грустно. Неужели этих медведей будут травить громадными меделянскими собаками? Ух, страшно!.. Бедные, как им тяжело сидеть в своих клетках. Что-то такое тяжелое и горькое заныло в груди девушки: ведь и она тоже сидит в своей клетке.

— Няня, няня, ну что? — кричали девушки, веселою гурьбой обступая возвратившуюся Улитушку. — Чья это охота?

— Ох, отстаньте... — отмахивалась старушка. — Чего пристали-то, как осенние мухи? Вот и не скажу... Павел Ефимыч на репетицию велел идти. Вот вам и охота...

— Нянюшка, миленькая...

— Барская охота, известно... Заводчик тут есть, Додонов по фамилии, — ну, так его и охота.

Театральная квартира помещалась в двухэтажном деревянном доме с мезонином. В

нижнем этаже жили актеры, а в верхнем — актрисы. Сам антрепренер Крапивин помещался в мезонине, наверху. Эта труппа в Заторье являлась первой и пока еще только готовилась к спектаклям. Театр тоже был недавно построен, и в нем еще пахло известкой, глиной и свежим деревом. На репетицию ходить не составляло особого труда: перешел улицу и — в театре. Актеры уходили раньше, а за ними уже являлись актрисы, под надзором Улитушки.

Когда все собрались в театре, там только и разговору было о проехавшей мимо охоте и о не известном никому Додонове. Предположениям, догадкам и шуткам не было конца.

— Он и оркестр свой везет, — рассказывал капельмейстер Яков Иванович, толкавшийся на репетициях около женских уборных. — Дас, двадцать пять человек музыкантов... Большой любитель музыки. В Краснослободском заводе у него и театр построен.

— Кто же будет играть в театре?

— А уж этого я не знаю... Спросите у Павла Ефимыча.

Комик Гаврюша (он же и декоратор) заме-

тил, что, вероятно, у Додонова медведи будут давать представления. Всезнающий Яков Иванович сообщил, между прочим, что Додонов живет в Петербурге, где у него настоящий дворец и царская охота. Теперь он вздумал приехать на Урал, чтобы осмотреть свои заводы. Мужчины шептались и хихикали между собой, передавая подробности, как сегодня через город в закрытых повозках провезли в Краснослободский завод целый гарем, — Додонов был холостяк и любил женщин. Яков Иванович весело подмигивал и щелкал языком, как скворец.

— Хороший человек этот Додонов и умеет пожить... А что касается представлений на его театре, то я полагаю так, что ему без нас не обойтись. Вот Антониде Васильевне прекрасный случай показать свои таланты... При ее красоте и талантах все возможно-с....

На репетициях царил строгий порядок, и Крапивин не терпел закулисных сближений и вольностей. За каждый недосмотр головой отвечала Улитушка, на попечении которой находилось целых пять актрис. Теперь ей стоило большого труда удержать свою команду в

уборных, да и актеры точно сбесились: так и лезут. Особенно надоедал Яков Иванович.

— Ты-то с какой радости приклеился здесь, шубный клей? — ругалась с ним Улитушка, загораживая спиной дверь в уборную Антониды Васильевны. — Твое дело на скрыпке скрыпеть. Ужо вот придет Павел Ефимыч… Способа с вами никакого нет, с озорниками!

Появление на сцене антрепренера водворило приличный порядок, и Улитушка вздохнула свободно. Крапивин шутить не любил и держал свою труппу в ежовых рукавицах. Сегодня он заметно был не в духе и едва кивнул головой на низкие поклоны актеров. Подвернувшийся под руку Гаврюша получил нагоняй за недоконченную еще декорацию.

— Павел Ефимыч, помилуйте, да когда же… — оправдывался комик, разводя руками. — И роль учи и декорации расписывай.

— Ты у меня рассуждать? — закричал Крапивин и, погрозив пальцем, прибавил: — Кто будет со мной балясы точить, сейчас на гауптвахту посажу… Черкну записочку генералу — и готов раб божий.

Ввиду такой угрозы Улитушка, конечно, и

не подумала жаловаться, хотя Яков Иванович и показывал ей язык, спрятавшись за декорацию.

— Можно войти, Антонида Васильевна? — спросил Крапивин в дверях уборной: отдельная уборная была только у Антониды Васильевны, как у примадонны и главной надежды всей труппы.

— Можно.

Быстро оглянув девушку, Крапивин присел к столу с зеркалом и широко вздохнул. Ему на вид было под сорок, но для своих лет Крапивин сохранился очень хорошо. Широкий в кости, плотный и сухощавый, он еще был хоть куда. Умное лицо с большими темными глазами нравилось женщинам, и только на лбу собирались преждевременные морщины. Дома и в театре ходил он в короткой бархатной куртке, всегда застегнутой наглухо.

— Вы свой номер приготовили? — небрежно спросил он, ероша русые кудри и думая о чем-то другом.

— Да... Я отлично выучила.

Девушка всегда немного конфузилась в присутствии Крапивина, который говорил ей

«вы» и резко выделял ее из остального женского персонала. Держал он себя с ней слишком вежливо для антрепренера.

— Я на вас надеюсь... — коротко ответил Крапивин и прибавил — Сегодня на репетицию будет сам генерал.

— Как же я в папильотках буду петь?

— Ничего... Старик добрый. Он расспрашивал меня, и я вперед похвастался вашим пением.

Этот мимоходом брошенный комплимент заставил Антониду Васильевну покраснеть, и она почувствовала, как в груди у нее сердце забило тревогу.

— Главное — костюм... — продолжал Крапивин, отбивая по столу красивым длинным пальцем дробь. — Впрочем, я сам посмотрю, когда все будет готово. Кстати, генерал мне говорил... Вы, вероятно, видели сегодня этот дурацкий поезд с собаками?

— Да... и медведи...

— И медведи... Так генерал предупредил меня, что этот Додонов — большой меломан и, вероятно, сделает труппе предложение отправиться к нему на завод... Все будет зави-

сеть от генерала, и я, право, не знаю, как отказаться от подобной чести.

— Зачем же отказываться?

Лицо у Крапивина вдруг нахмурилось, и он быстро вскинул глазами на смутившуюся от этого быстрого взгляда девушку. Он даже раскрыл рот, чтобы что-то высказать, но удержался и только торопливо тряхнул своими кудрями.

— Там увидим, — бормотал он, уже ласково глядя на Антониду Васильевну.

Когда Крапивин вышел из уборной, Антонида Васильевна опустилась на стул в сладкой истоме. Она теперь поняла все: Крапивин ее любит больше, чем антрепренер. У ней кружилась голова от незнакомого ей чувства охватившей радости. Как ей дороги показались теперь эти голые стены, колченогая мебель и вообще вся убогая обстановка уборной, — вот здесь сейчас тихо и радостно зародилось ее первое девичье счастье, и молодое сердце ударило в такт с другим сердцем. Девушка поняла и смутную тревогу Крапивина, который вперед ревновал ее к Додонову. Она посмотрела на себя в зеркало, выпрямилась и

гордо улыбнулась.

— Генерал приехал, — шептала Улитушка, Врываясь в уборную. — Приехал и сел в передний ряд. А плут Яшка так под самым носом у него и лебезит...

В дверь постучал Гаврюша, — он исправлял и режиссерские обязанности. Нужно было выходить. Антонида Васильевна на скорую руку повязала голову тюрбаном, перекрестилась и уверенно вышла из уборной. Этот тюрбан очень шел к ней и сразу понравился генералу, который назвал ее турком. Она исполнила свой номер отлично, молодой голос легко и свободно разливался в пустой зале.

— Одобряю! — громко повторял генерал и даже в такт стучал костылем.

Это был настоящий николаевский генерал, высокий, плотный, остриженный под гребенку и туго затянутый в военный мундир с узкими рукавами, раструбом закрывавшими верхнюю часть кисти руки. Седые бакенбарды от самого уха шли полукругом к щетинистым усам. Широкое красное лицо с большим носом глядело грозно. Одна генеральская нога была контужена еще под Браиловым в турец-

кую кампанию 1827 года, и старик ходил с коротким костылем, который служил в то же время и орудием домашних мер исправления. Вытянувшийся в струнку молоденький адъютант везде сопровождал генерала, как тень, и ловил каждый его жест.

— Ваше высокопревосходительство, как вы находите? — почтительно спрашивал Крапивин, заходя к генералу сбоку.

— Одобряю... А впрочем, братец, сюртук нужно надевать, да, сюртук.

— Слушаю-с... Рады стараться, ваше высокопревосходительство.

— Ты должен другим служить примером... Я не люблю беспорядков. Даже турки — и те свой порядок знают...

Довольный своим каламбуром, старик отправился за кулисы и ласково потрепал Антониду Васильевну по заалевшейся щеке.

— Ну, турок, старайся... Мы будем смотреть и молодеть... А я здесь живу, как отец в большой семье... Так, Гоголенко?

— Точно так-с, ваше высокопревосходительство — звонко отвечал адъютант, делая под козырек.

— Будьте и для нас родным отцом, ваше высокопревосходительство, — говорил Крапивин, беря Антониду Васильевну крепко за руку.

Генерал отступил на несколько шагов, смерил глазами стоявшую перед ним парочку и, весело улыбнувшись, ответил:

— Нет, не родным, а посаженым отцом согласен быть, хе, хе, хе!..

Антонида Васильевна вырвала свою руку и, зардевшись, скрылась в уборной. Это еще больше рассмешило генерала, и он, возвращаясь из-за кулис, несколько раз повторил:

— Турки всегда бегают от русских... Так, Гоголенко?

— Точно так-с, ваше высокопревосходительство.

— Всегда бегают, пока их не возьмут в плен...

III

Появление первого театра в Загорье всецело обязано было генералу. Старик захотел, чтобы театр был, и театр явился, как по щучьему веленью. Генерал был всесилен и при некоторой пылкости воображения мог бы

строить пирамиды. Загорские купцы устроили подписку, и каменное здание театра, начатое весной, к осени было кончено. Для начала сороковых годов такая быстрота построек не была заурядным явлением. Секрет заключался в том, что генерал пожелал.

Труднее было организовать первую труппу, но и тут дело уладилось чуть ли не само собой. Подвернулся кочевавший по ярмаркам средней России антрепренер Крапивин, который и согласился ехать в Сибирь. Правильно поставленные труппы тогда существовали только в столицах да по богатым помещичьим имениям. Иногда еще появлялись бродячие труппы на бойких ярмарках, как и полуцыганская труппа Крапивина. Получив приглашение в Сибирь, он вынужден был потерять полгода, прежде чем обставил себя приличными силами. Актеры еще были — военные в отставке, прогоревшие помещики, выгнанные со службы чиновники, но актрис, как свободной профессии, почти не существовало. Порядочные девушки не могли поступать на сцену уже — потому, что быть актрисой считалось зазорным, а крепостные ар-

тистки были недоступны. У Крапивина явилась отчаянная мысль самому создать собственных актрис. С этой целью он отправился в Орловскую губернию, в имение недавно умершего помещика меломана, у которого был свой домашний театр и при нем театральное училище, и здесь законтрактовал шесть девочек-подростков на особых условиях. Наследники меломана были рады выгодной афере и отпустили своих воспитанниц под надзором няньки Улитушки, которая должна была отвечать головой за целость доверенного ей живого товара. Девочки все до одной были крепостные — дочери дворовых и крестьян. Воспитанные в училище «полубарышнями», как говорила Улитушка, они были рады отправиться в неизвестную даль. Сам Крапивин, на их счастье, был очень порядочный человек и страстный любитель сцены. Он постарался обставить свою труппу, чтобы она не походила на ярмарочные балаганы, — средства были обеспечены вперед.

Прежде чем отправиться на Урал, Крапивин на пути дал несколько пробных спектаклей, чтобы определить собственные силы и

чтобы труппа вообще, выражаясь технически, спелась. Как оказалось, выбор был сделан недурно, и молодые артистки производили просто фурор, особенно в среде помещичьей публики. Сразу выдались Антонида Васильевна, как хорошая певица и драматическая актриса, а потом балерина Фимушка (у орловского меломана было обращено особенное внимание на балет). В Симбирске у Крапивина произошла неприятная история из-за этих примадонн: привязались два помещика, которые сначала ухаживали за актрисами, а потом хотели их украсть. Когда последнее не удалось и они узнали, что актрисы крепостные, то поклялись, что их купят, несмотря ни на какие контракты. Крапивину ничего не оставалось, как спасаться бегством от закулисных героев, и он бежал, поплатившись за свои быстрые успехи декорациями и частью театрального гардероба. Это было хорошим уроком для человека, который ехал в Сибирь, — приходилось держать ухо востро.

— Ты у меня смотри, старая! — каждое утро грозил Крапивин являвшейся к нему с докладом Улитушке. — Без соли съем, ежели

что...

— И то стараюсь, Павел Ефимыч: все глазыньки проглядела...

Некоторым утешением для Крапивина являлось то, что в Сибири не было помещиков, следовательно, не могло быть и симбирских неприятностей, а купцы не посмеют грабить его. Конечно, были здесь богатые золотопромышленники-раскольники, потом крупные заводчики, но первые жили по-старинному, а последние не показывали носа на Урал. Все-таки, во избежание недоразумений, Крапивин, по приезде в Загорье, немедленно явился к генералу и объяснил ему все начистоту.

— Не беспокойся, братец: я здесь один отец для всех, — успокоил его старик, любивший театр. — Гусаров у нас нет, а с остальными мы справимся, в случае чего... На гауптвахту — и конец делу.

— Я маленький человек, ваше высокопревосходительство, защитите.

— Хорошо, хорошо... У меня все по-семейному.

Старик генерал был главным горным начальником и пользовался почти неограни-

ченною диктаторскою властью. Крепостное горное положение являлось государством в государстве, и недаром старик называл себя под веселую руку царем.

Обеспечив себя с этой стороны, Крапивин постарался обставить себя и дома, как в неприступной крепости. Поместившись в мезонине, он мог видеть каждый шаг. Актрисы не имели права делать ни одного шага без его позволения. Когда комик Гаврюша бренчал на разбитых фортепьянах, помогая Антониде Васильевне разучивать оперные нумера, Улитушка сидела около него с чулком в руках и не спускала глаз. То же было и с Яковом Ивановичем, когда под его скрипку выплясывала Фимушка любимые публикой характерные танцы.

— Гаврюша ничего, а Яшки я боюсь: хитер пес, — жаловалась Улитушка. — Того и гляди набалует. Очень уж у него глаз вострый да масленый.

Ввиду такой опасности Крапивин заставлял Антониду Васильевну разучивать нумера при себе. Он все сильнее и сильнее привязы-

вался к даровитой девушке, делавшей быстрые успехи. Репертуар был небольшой, но тщательно составленный: оперы — «Семирамида», «Белая дама», «Тоска по родине», трагедии — «Коварство и любовь», «Дмитрий Донской», драмы — «Она помешана», «Дитя, потерянное в лесу», комедии — «Урок дочкам», «Заемные жены», «Три султанши», «Жена и зонтик» и целый ряд веселых старинных водевилей — «Архивариус», «Ночной колокольчик», «Лорнет» и т. д. Больше всего Крапивин рассчитывал на две пьесы, которые и ставил на первый раз с особенною тщательностью: «Параша Сибирячка» Полевого и «Русская свадьба» Сухонина. Он видел эти пьесы в Петербурге и хотел удивить провинциальную публику. Кроме того, Антонида Васильевна разучила несколько модных романсов.

— Нам придется создавать здесь театральную публику, — объяснял Крапивин своей примадонне, с которою обращался по-товарищески. — Дело не легкое, но мы будем работать вместе.

— Я боюсь генерала, Павел Ефимыч, — наивно признавалась Антонида Васильевна, вы-

ращенная в страхе божием и барском.

— Пустяки… Старик добрый.

Дома актрисы ходили в простеньких ситцевых платьях и вообще одевались скромно. Театральный гардероб тоже был невелик, потому что невозможно было обставить сразу целый театр. Но все это сравнительно являлось пустяками, а Крапивина беспокоила мысль о том, как бы выкупить своих артисток на волю. Конечно, он мог сначала откупить одну Антониду Васильевну, но такое преимущество поставило бы его в фальшивое положение пред остальными, тем более что он положительно чувствовал себя неравнодушным к примадоннам. В нем боролись антрепренер и любовник.

Первое представление сошло блистательно. Присутствовал сам генерал, а следовательно, вся его свита и целый штат горных инженеров. Набрались в ложах местные чиновники и купцы с семьями, а один золотопромышленник купил целых пять лож, чтобы угодить генералу, но сам в театр не посмел явиться, опасаясь своих начетчиков и исправленных попов с Иргиза[88]. Одним словом, набралась

чисто сибирская публика. В новеньком занавесе уже были проверчены хористками дыры, и любопытные глаза рассматривали сидевших в партере.

— Додонов здесь, — шушукались между собой актрисы. — Сидит рядом с генералом.

Последнее известие сильно взволновало Крапивина. Он инстинктивно боялся этого человека, напоминавшего ему оставленную там, далеко, помещичью Россию. Он даже боялся подойти к занавесу и посмотреть на своего неприятеля. Антонида Васильевна тоже заметно волновалась, но старалась не выдать себя. А Додонов сидел и весело разговаривал с генералом. Это был среднего роста, средних лет господин, одетый в статское платье. Но сюртук не мог скрыть военной выправки. Додонов когда-то служил в одном из дорогих полков и по одной истории вышел в отставку с чином полковника. Круглое усатое лицо глядело большими усталыми глазами. Когда Додонов улыбался, у него неприятно оскаливались десны. Массивная золотая цепь, болтавшаяся на пестром бархатном жилете, и толстый перстень с большим солитером на

большом пальце левой руки выдавали записного столичного щеголя. Он сидел, заложив одну короткую ногу на другую, и не обращал никакого внимания на почтительно сидевшую в партере публику.

— Я тоже люблю театр, ваше превосходительство, — говорил он, немного картавя и растягивая слова.

— Отличное дело, отличное дело... Необходимо развивать вкус в публике.

— У меня будет свой театр, ваше превосходительство. Надеюсь, что вы не откажетесь осчастливить меня своим посещением, когда, конечно, все будет устроено.

— Непременно, непременно.

Генерал вообще был в духе и милостиво шутил с окружающими. Когда он аплодировал, остальные неистово его поддерживали. В одном месте он резко оборвал Якова Ивановича.

— Вторая скрипка врет.

«Параша Сибирячка» прошла отлично, и сам генерал вызывал Антониду Васильевну. Додонов молчал и только мельком взглянул на раскланивавшуюся примадонну прищу-

ренными глазами. Этот взгляд сильно смутил девушку, и она чувствовала его на себе все время, — он ее точно связывал и лишал необходимой свободы.

Танцевавшая в антракте Фимушка вызвала целую бурю восторга, генерал даже стучал своим костылем, а Додонов аплодировал ей, улыбался и еще сильнее щурил свои глаза.

— Каковы у меня актрисы, полковник? — хвастался старик. — Хоть сейчас в столицу... Конечно, они еще молоды...

— С молодостью еще можно помириться, ваше превосходительство.... Это такой недостаток, который исправляется сам собой.

— Ты думаешь?.. Полковник, смотрите, у меня строго. Ни-ни!..

Вызванный Крапивин раскланивался с публикой, прижимая руку к сердцу. Додонов внимательно рассматривал его в золотой лорнет, а потом, не дождавшись конца спектакля, ушел. У Крапивина точно гора с плеч свалилась, когда он увидел рядом с генералом пустое кресло. Но Крапивин поторопился обрадоваться: Додонов сидел в уборной Фимуш-

ки и как ни в чем не бывало забавлялся смущением перепуганной крепостной танцовщицы. Улитушка попробовала было загородить ему дорогу в уборную, но Додонов оттолкнул ее, как тряпичную куклу.

— Пропала моя головушка... — причитала старуха, поймав Крапивина. — Так прямо и лезет в двери, бесстыжие глаза. Легкое место сказать: Фимушка-то чуть не голая там с ним сидит.

Крапивин весь побелел от бешенства, но что делать с нахалом? Выгнать его — значило оскорбить генерала. Но опытный и бывалый человек нашелся; отдан был приказ Якову Ивановичу играть какой-то испанский танец, и Фимушка была освобождена. Она танцевала теперь с особенным усердием и немедленно после своего номера, под конвоем Улитушки, была препровождена на квартиру. Додонов посидел несколько времени один, а потом надел картуз и вышел. Вся труппа вздохнула свободнее, когда его широкая спина скрылась в проходе со сцены в буфет. Антонида Васильевна сидела в это время в своей уборной, затворив двери на крючок, — ее би-

ла лихорадка, как и в Симбирске.

«Если так дело пойдет и здесь, то мне опять придется бежать», — думал про себя Крапивин, решившийся бороться отчаянно.

После спектакля генерал тоже явился за кулисы и потребовал «турка». Когда девушка, не успевшая еще переодеться после «Русской свадьбы», вышла к нему в своем красном сарафане, он по-отечески расцеловал ее в обе щеки и проговорил:

— Одобряю, милашка... Есть талант. Молода еще, всего не поймешь сразу, но старайся. Так, Гоголенко?

— Совершенно верно-с, ваше высокопревосходительство.

— Весьма одобряю...

Со стороны генерала особенной опасности не предвиделось: он был женатый человек, да и его собственные лета служили лучшим обеспечением. Старик действительно любил сцену, и только.

Первые же спектакли показали, что существование труппы в Загорье совершенно обеспечено. Главною поддержкой всего дела являлся все-таки генерал, который не пропус-

кал ни одного представления. После первого спектакля Додонов больше не показывался в театре. Крапивин лез из кожи, чтобы не ударить лицом в грязь, и с раннего утра до позднего вечера не знал отдыха. Он был один и везде должен был поспеть в свое время. Единственным его отдыхом были те немногие часы, которые он проводил в комнате Антониды Васильевны, — у ней была своя комната, как и уборная.

— Нужно серьезно относиться к делу, — поучал Крапивин свою первую ученицу. — Первые успехи еще ничего не значат. Даром ничего не дается... Для сцены стоит поработать. Нас после помянут добрым словом.

Старая Улитушка была очень недовольна этими беседами с глазу на глаз. «Вот еще моду затеяли, на что это похоже?.. Отвечать-то перед господами кому придется?.. А девка молодая, долго ли до греха?..» Другие девушки ревновали Антониду Васильевну и посмеивались над старухой, особенно беззаботная и простоватая Фимушка.

— Ох, согрешила я с вами! — стонала старуха и даже отплевывалась. — Вот ты, Фимка,

ногами дрыгаешь, а того и не подумаешь, что и ноги-то у тебя не свои.

— А чьи, няня?

— Известно, чьи — господские... Вся ты чужая, Фимка!

IV

Перед рождеством генерал пригласил Крапивина к себе. Антрепренер надел свою лучшую пару и отправился с визитом не без некоторого опасения. Когда извозчик подвозил его к высокому двухэтажному зданию с мезонином, колоннами, террасой и двумя балконами, он предпочел бы лучше вернуться домой. Утро стояло морозное, и стоявшие у подъезда лошади нетерпеливо вытанцовывали лихорадочную дробь. В передней уже ожидали своей очереди несколько горных чиновников и два подрядчика. Крапивин скромно поместился в уголке и здесь терпеливо ожидал своей очереди. Швейцар из отставных солдат появлялся в дверях и выкрикивал фамилию очередного. Крапивину пришлось ждать недолго — швейцар пригласил его не в очередь.

Передняя с комнатой, где дожидались по-

сетители своей очереди, помещалась в нижнем этаже. Широкая мраморная лестница вела вверх, где расположена была генеральская казенная квартира.

— Обождите малость здесь, — задыхавшимся шепотом предупредил швейцар, оставляя Крапивина во второй приемной наверху.

Од вернулся сейчас же и молча распахнул двери в большой зал с паркетным полом. Из этой комнаты одна дверь вела в гостиную, а другая в кабинет. Генерал сидел у письменного стола в «вольтеровском» кресле; Гоголенко скромно помещался в уголке, между письменным столом и шкафом с бумагами.

— А, это ты, братец! — заговорил генерал, не глядя на вошедшего и милостиво протягивая ему два пальца.

— Не замедлил явиться, ваше высокопревосходительство...

— Спасибо за исправность... А я тебя, братец, пригласил затем, чтобы поблагодарить... Да, спасибо. Отличная у тебя труппа.

— Вы очень снисходительны, ваше высокопревосходительство.

— Нет, зачем? Что хорошо, то хорошо... Одобряю. Даже столичные люди, и те приходят в восторг... Мне весьма лестно. Вчера был у меня полковник Додонов и тоже одобрял. Он большой меломан и знает толк... гм... да... Так вот этот полковник Додонов и пригласил меня к себе на завод. У него там театр домашний выстроен... вся обстановка... Так как в субботу труппа свободна, то полковник Додонов и делает тебе приглашение играть у. него. До завода-всего пятьдесят верст, зимой это три часа езды... Все расходы и лошади на счет полковника Додонова. Предложение выгодное для тебя и лестное для меня... Ну, что же ты молчишь?

— Я, ваше высокопревосходительство... если, конечно, вы, ваше высокопревосходительство... вообще я очень благодарен вашему высокопревосходительству.

— Я это знал и вперед выразил свое согласие полковнику... В следующую субботу мы, значит, увидимся с тобой в Краснослободском заводе.

— Как вам будет угодно, ваше высокопревосходительство...

— Постарайся не ударить лицом в грязь... Не так ли, Гоголенко?

— Точно так-с, ваше высокопревосходительство.

Крапивин побледнел, как полотно, но ничего не возражал, — это было бесполезно. Генерал не выносил противоречий. Когда Крапивин, откланявшись, выходил уже из двери, старик окликнул его.

— Вот что, братец... Если ты сомневаешься за безопасность своей труппы, то могу тебе поручиться. Полковник, конечно, большой аматер[89] и любит хорошеньких женщин, но во-первых, у него своя труппа есть для этого, а во-вторых, мы ему пропишем такую Симбирскую губернию... У меня все по-семейному, и я не посмотрю, что он полковник!

— Рад стараться, ваше высокопревосходительство!

Домой Крапивин вернулся, как в тумане. У него все вертелось в голове. Как избыть налетевшую беду? Пожалуй, это будет похуже симбирских помещиков, да и бежать дальше уж было некуда.

— Позовите ко мне Антониду Васильев-

ну, — сказал он кому-то из попавшихся навстречу актеров.

Когда девушка пришла в мезонин, Крапивин довольно сухо пригласил ее сесть, прошелся несколько раз по комнате и заговорил:

— Сейчас я получил большую неприятность... Генерал непременно желает, чтобы наша труппа каждую субботу ездила в Краснослободский завод и давала спектакли на домашнем театре Додонова. Вы, вероятно, стороной слышали, что за человек этот Додонов, поэтому не буду распространяться о нем... Рассориться с генералом я не могу, и остается одно средство спасения: бежать опять. Вот я и пригласил вас, Антонида Васильевна, чтобы серьезно посоветоваться, что делать. Я на вас смотрю, как на лучшую надежду всей труппы... вы уж большая... наконец, вы хорошо знаете меня.

Эта откровенность сначала смутила Антониду Васильевну, но потом она прямо посмотрела в глаза Крапивину и проговорила тихо:

— Откровенность за откровенность, Павел Ефимыч: вы боитесь за меня?

— Если хотите, да... я именно за вас бо-

юсь...

— Напрасно... Я слишком уважаю свое положение, чтобы променять его на какое-нибудь другое.

Крапивин ласково взял ее за руки и со слезами в голосе заговорил:

— Дитя мое, я верю вам... я не могу не верить. Но для всякого страшно одно: человек не знает самого себя. Я понимаю, что в вас сейчас говорит известное чувство благодарности, наконец, в вас есть хорошие привычки и то, что называется порядочностью, но есть также богатство, роскошь... Устоите ли вы перед страшным соблазном? Богатства я вам не могу обещать... напротив, перед вами жизнь, полная лишений и труда. Наша профессия даже не пользуется необходимой степенью уважения, и особенно женщине приходится выносить много несправедливостей. Вы знаете, как смотрят на актрис наши театральные меломаны...

Крапивин вообще говорил недурно, а теперь он увлекся.

— Искусство святая вещь, а сцена — это верх всякого искусства. Вашими слезами бу-

дут плакать тысячи зрителей, они же будут смеяться вашим смехом, а вы будете проводить в темную и необразованную массу идеи истины, добра и красоты. Хорошая сцена воспитывает массы, она вносит в ежедневный обиход этой жизни свой язык и пробуждает в обществе лучшие инстинкты и стремления. Величайшие умы работали для театра, чтобы этим путем провести в жизнь свои заветные убеждения, назвать каждый порок его настоящим именем, обличить неправду и сказать ласковое, хорошее слово тем, кому жизнь тяжела... Ах, нет, вы еще не можете понять всего! — как-то застонал Крапивин и отвернулся, чтобы скрыть навернувшиеся на глаза слезы. — Вы потом, когда-нибудь поймете меня.

Действительно, эта убежденная речь была понятна девушке только вполовину, а Крапивин говорил с ней слишком возвышенным языком. Ей более понятно было то, что слышалось в интонации, в страстных переливах голоса и во взгляде собеседника. Раньше ей льстило особенное внимание, с каким относился к ней Крапивин, но теперь она даже испугалась завязывавшейся короткости. Ей про-

сто хотелось жить, не взваливая на себя каких-то странных обязанностей и не подвергаясь ответственности.

На этом общем совете было решено, что труппа поедет к Додонову, приняв необходимые предосторожности. Крапивин все-таки ужасно волновался, хотя и старался не выдавать себя перед труппой. Он сделался подозрительным. Актеры были слишком испорченный народ, чтобы сочувствовать ему. В этом случае он и не ошибался. Первым противником являлся тот же Яков Иванович, расстраивавший труппу своими смешками и подмигиваниями.

— У нас не труппа, а какой-то монастырь, — вышучивал он актеров. — Конечно, Крапивину это на руку... И Антониду Васильевну в лапы забрал, да и других упустить не хочется. Жирно будет... хе, хе! Погоди, вот Додонов покажет, как добрые люди на свете живут.

Наступила и роковая первая суббота. В полдень к театральной квартире подкатило ровно десять троек, заложенных в ковровые кошевые. Из всех экипажей выделялась белая

кошевая, заложенная сивою тройкой. И дуга была белая, и вся сбруя из белой лакированной кожи с серебряным набором, и колокольцы под дугой серебряные; ухарь-кучер с седой бородой сидел на облучке орлом.

— Я скажусь больной... — заявила Антонида Васильевна в решительную минуту.

— Нет, зачем же? — успокаивал ее Крапивин. — Я этого не желаю... Делайте так, как скажет вам ваше сердце. Что думаю я, вы знаете...

Прокатиться на таких тройках для всей труппы было настоящим праздником. Особенно волновались женщины, напрасно стараясь скрыть свою радость от хмурившегося начальства. Крапивин своими руками усадил Антониду Васильевну в белую кошевую, вместе с нянькою Улитушкой. Балерина Фимушка тоже рассчитывала попасть сюда и была обижена, когда пришлось ехать в обыкновенной кошевой, вместе с другими. Крапивин ехал последним и на всякий случай сунул заряженный пистолет в боковой карман своей бархатной курточки. С ним рядом сидел режиссер Гаврюша.

— Взяли бы и нас, Павел Ефимыч, — просился Яков Иванович.

— У Додонова свой оркестр.

Но Яков Иванович все-таки уехал в Краснослободский завод, примостившись где-то с актрисами.

Погода стояла морозная, крепкая. Широкая дорога лентой повела в Урал, туда, где синими шапками теснились горы. Скоро начался лес, стоявший по колена в глубоком снегу. Особенно красивы были ели, обсыпанные мягкими белыми хлопьями, точно какие сказочные деревья. С гиком и свистом летели тройки вперед, заливаясь колокольчиками, а впереди всех, как лебедь, неслась белая кошевая. Вся труппа была в восторге от этого импровизированного удовольствия, и даже Гаврюша улыбался, искоса поглядывая на молчавшего Крапивина. Антонида Васильевна заалелась на морозе всей своей молодой кровью и все оглядывалась назад, стараясь рассмотреть, где ехал Крапивин.

— Няня, как хорошо... как хорошо! — шептала она, припадая к Улитущке.

— Глупая ты, Тонюшка, вот что! — ворчала

зябнувшая старуха. — Чему радуешься-то прежде времени? Павел Ефимыч вон ночь-ночью сидит...

— Ах, няня... чем же мы-то виноваты?

В одном месте заяц бойко пересек дорогу, отковылял немного в сторону и присел под елкой. Улитушка так и ахнула.

— Ох, неладно дело... — шептала она, творя молитву и отплевываясь на левую сторону. — Чтобы ему пусто было, треклятому! Обождал бы, а то прямо через дорогу. Ох, не быть добру...

В сумерки поезд уже подъезжал к заводу. Кругом широкими валами расходились горы. Селение залегло кривыми у ладами по отлогому скату. Громадный заводский пруд уходил из глаз белою скатертью. У плотины весело дымилась и сыпала искрами фабрика. Веселые огоньки мигали по всему селению. Громадный господский дом стоял на прикрутости, недалеко от фабрики, и спускался к пруду старинным садом. Окна были ярко освещены, и, видимо, все ожидало гостей. В саду темною глыбой поднималось какое-то необыкновенное здание, с вышками и башенками.

— Это театр? — спрашивала Антонида Васильевна кучера.

— Нет, барышня… собачий дворец.

Подъезд был ярко освещен, и гостей встретила целая толпа прислуги, разодетой в русские костюмы — поддевки, красные шелковые рубахи, бархатные шаровары и круглые шапочки с павлиньими перьями. Пахнуло теплом громадного барского дома. Воздух был подкурен ароматическою смолкой. Какой-то лысый старичок принимал всех с низкими поклонами и повел гостей в нижний этаж, где приготовлена была целая квартира — три комнаты для актрис и две для актеров. Несколько горничных помогали актрисам раздеваться и глядели на них с жадным любопытством. Крапивин осмотрел квартиру и запер на ключ маленькую дверку, выходившую куда-то в темный коридор.

— Пожалуйте к барину, — приглашал его лысый старичок. — Генерал еще не приехали, и придется подождать-с.

Крапивина повели во второй этаж, передавая с рук на руки, от одного лакея к другому. Мраморная широкая лестница была устлана

ковром, по сторонам зеленела шпалера из экзотических растений. Во втором этаже открывалась целая анфилада комнат, освещенных в ожидании генерала, как перед праздником. Хозяин ждал антрепренера в своем кабинете. Это была высокая комната, обитая дорогими тисненными обоями. По стенам было развешано всевозможное охотничье оружие, блестевшее золотою и серебряною насечкой. Два шкафа по углам тоже заняты были принадлежностями охоты. Несколько турецких низеньких диванчиков и большой письменный стол составляли всю мебель. Над столом, в простенке между двумя окнами, в тяжелой золоченой раме висела большая картина. Конечно, это была голая красавица, валявшаяся на пестрой тигровой шкуре. Додонов дома ходил в пестром шелковом бешмете и в турецкой фесе. Он не протянул руки Крапивину и не предложил стула.

— Генерал передал вам мои условия, — с легкою картавостью проговорил он, передавая пакет. — А это мой задаток. Надеюсь, господа артисты не будут на меня в претензии.

— Я думал бы свести счеты потом, — Пожа-

луйста, без возражений.

Выходя из кабинета, Крапивин думал: «Вот мерзавец!» Он, не разорвав конверта, сунул пакет в боковой карман, где лежал пистолет. Следующею неприятностью для него было то, что он нашел актеров в буфете, где их угощал лысый старичок. Актрисам был подан чай.

— Мне придется, пожалуй, играть одному, — заметил Крапивин, указывая старичку на бутылки.

— С холоду только погреться... немножко...

— Все это так, но не лишнее было бы спросить и меня.

— Слушаю-с.

V

Генерал заставил себя прождать до девяти часов вечера. Согревшись после холода, актрисы дремали, а Фимушка, привезенная для какого-то номера в дивертисменте, спала самым бессовестным образом. Антонида Васильевна жаловалась на головную боль, — у ней действительно глаза были красные.

— Мне нужно посмотреть сцену, — несколько раз повторял Крапивин прислуживавшемуся около актеров старику.

— Все готово, будьте спокойны. У нас порядок.

— Да ведь нужно же знать, как двери отворяются?

— Не приказано-с...

Когда последовало, наконец, приказание, актеров гурьбой повели какими-то коридорами и переходами сначала в зимний сад, а потом уже в театр. Это было совсем отдельное здание, устроенное по специальному плану. Маленькая сцена походила на игрушку, — вымощена она была так высоко, что музыканты сидели совсем в яме. Партера не было, а для публики назначался полукруг лож. Вся обстановка этой затеи поражала роскошью. Стены и потолок расписаны в голубовато-сером тоне, с серебром; такой же занавес с довольно смелым мифологическим сюжетом — Венера рождалась из серебряной пены; ложи отделены между собой драпировками из тяжелого китайского шелка, в простенках опять шелковые полосы — одним словом, театр хоть куда. Уборная примадонны походила на бонбоньерку, выложенную серебристым атласом. Даже Крапивин ахнул, когда осмотрел все.

— Это какой-то сумасшедший, — бормотал он, шагая за кулисами. — Тут нужно не наших ситцевых актрис, а совсем другое.

Всех больше восторгался Яков Иванович, толкавшийся в оркестре. У Додонова свой оркестр состоял из двадцати пяти человек, под управлением капельмейстера-итальянца Неметти. Музыканты были набраны из своих крепостных и всюду сопровождали владыку.

Спектакль начался только в десять часов и кончился около часа. Для первого раза был поставлен водевиль «Петербургский булочник», а остальное дивертисмент: пела Антонида Васильевна, танцевала качучу Фимушка, сам Крапивин декламировал монолог из «Разбойников» Шиллера. Антракты были очень короткие, так что актеры едва успевали переодеться.

Публику изображали всего двое: генерал и Додонов. Гоголенко, конечно, был тут же, но он не мог идти в счёт, как простая тень генерала. В углу одной ложи пряталась какая-то женская фигура, которая интересовала всех актеров, — очевидно, это была одна из додоновских одалисок. Яков Иванович напрасно

старался разглядеть таинственную незнакомку, хотя после и уверял всех, что это замечательной красоты девушка, с огненными глазами и китайскою ножкой.

Аплодисментов и вызовов не было, а только генерал послал своего адъютанта выразить господам артистам благодарность. Крапивин вздохнул свободнее, когда все кончилось. На деле пока еще ничего страшного не было, хотя Улитушка вздыхала и морщилась больше обыкновенного.

— Это просто скучно, — решила Фимушка, когда актрисы вернулись в свои комнаты. — Хоть бы медведей посмотреть.

Утром следующего дня труппа весело катила домой тою же дорогой и в том же порядке. Крапивин совсем успокоился. Когда он вечером распечатал конверт, в нем оказалась ровно тысяча рублей, — это было уж совсем по-барски, и можно было помириться с некоторыми неудобствами. Да и сам Додонов держался таким неприступным божеством, что лучшего и требовать было нельзя.

Любопытство труппы было удовлетворено, и Крапивин был спокоен за следующую по-

ездку. Додонов просто дурил, не зная, куда ему девать свои миллионы. Ну, и пусть его дурит... Антонида Васильевна молчала, но она только сейчас заметила бедную обстановку и своей квартиры и театральной уборной. Она даже во сне видела свою уборную в театре Додонова, — да, это была ее уборная, устроенная именно для нее. У девушки являлось неясное и глухое чувство недовольства, нежелание выдать свое душевное настроение, особенно Крапивину. Никогда она еще не чувствовала с такою болезненною ясностью своего приниженного положения крепостной артистки, и что-то вроде зависти мелькнуло у ней к другой обстановке.

— А ты не слушай Павла-то Ефимыча. Совсем-то не слушай: он свое, а ты свое. У мужчин у всех повадка...

— Грешно, няня, тебе так говорить...

— Не про себя говорю, матушка. И в глаза Павлу-то Ефимычу скажу... Мужчина-то куда захотел, туда и пошел, а девушке одна дорога.

— Какая?

— А такая... Будешь все знать, скоро состаришься.

Следующая поездка оказалась веселее. Генерал не приехал, и Додонов после спектакля пригласил всю труппу ужинать к себе наверх. Все время на хорах играла музыка, и дамы были в восторге. Додонов сидел в конце стола и весело разговаривал с Антонидой Васильевной. Он сам почти не пил никакого вина, но к гостям был беспощаден — прислуживавшие за столом лакеи не давали опустеть ни одной рюмке. Крапивин пил больше обыкновенного и делал вид, что очень доволен всем и всеми. Только когда Фимушка выпила лишнее и чуть не заснула за столом, он побледнел и сморщился.

— Господа, не забудьте, что мы здесь едим и пьем из милости, — объяснял Крапивин подгулявшим артистам. — Это печальная необходимость в нашем положении, но нужно бояться прихлебательства и лакейства.

В следующий раз Додонов показал труппе свой собачий дворец и вообще всю охоту.

— Хотите посмотреть, как травят медведей? — предлагал он Антониде Васильевне.

— Ах, нет… Страшно!

— Ну, не так страшно, как может показать-

ся издали, — заметил он, прищуривая глаза. — Знаете, какое самое страшное из всех животных?

— Тигр?

— Нет.

— Лев?

— Нет: человек.

Со своими гостями Додонов вообще держался джентльменом. Правда, проскальзывала иногда обидная снисходительность, но он умел ее очень ловко стушевать. Когда генерала не было, в театре набиралось довольно много публики, и все ложи были заняты. Появлялся старичок исправник, потом старшие служащие с семьями. Додонов обыкновенно сидел в ложе один и на сцену не заглядывал.

— Где же гарем? — допытывалась любопытная Фимушка.

Актеры молчали, хотя и шептались между собой. Существование гарема было известно всем и больше всего интересовало гостей, но никто и ничего не умел сказать. Улитушка пробовала заговаривать с горничными, но те прикидывались чуть не глухонемыми. Лысый старичок — его звали Иваном Гордееви-

чем — был ласков по-прежнему, но тоже молчал.

Этот Иван Гордеевич, приезжая в город, непременно завертывал к актерам. Он «барышням» привозил конфеты, а мужчин угощал барскими сигарами. Особенно близко ласковый старичок сошелся с Улитушкой и Яковом Ивановичем. Они запирались втроем и о чем-то подолгу беседовали. Улитушка заметно скрытничала, а по вечерам от нее пахло иногда наливкой. Однажды Иван Гордеевич забрался в комнату Антониды Васильевны.

— Посмотреть на вас завернул, ангел вы наш, — объяснил он. — Довольно-таки у нас в заводе про вас разговоров. Хе, хе!

— Неужели уж других разговоров нет, как только про меня?

— Говорим обо всем... разное говорим, а под конец и сведем на Антониду Васильевну. Ей-богу-с...

— А для чего вы Улитушку наливкой поите?

— Что-то не упомню-с... При древности их-них лет их и без наливки ветром шатает, а

старушка почтенная. Позвольте ручку поцеловать.

Антонида Васильевна подозревала, что происходит что-то неладное, но что именно — не могла разгадать. Ее и занимало легкое ухаживание Додонова и вместе делалось страшно. Но ведь не съест же он ее в самом деле, а отчего не подурачить такого миллионера, привыкшего к легким победам? Пугало ее, между прочим, то, что Додонов славился силой: ломал подковы и ходил один на медведя, — что такому зверю стоило схватить ее и затащить куда-нибудь в такой угол своего дворца, откуда не выцарапаешься? При каждом удобном случае Улитушка старалась ввернуть словечко за Додонова — вот барин так настоящий барин, и все у него форменно.

— А зачем он своих крепостных девушек мучит, хороший-то барин? — спорила с ней Фимушка. — Набрал их чуть не сотню, да и запер под замок, как кощей.

— Ты еще этого и понимать не можешь: известно, барское положение. Чего им, девушкам твоим, сделается: кормят, одевают, а потом и замуж выдадут. Небось, не убудет, что

поживут в холе да в неге. За счастье должны считать, что внимание обратили на их черную кость...

В Улитушке сказалось старое рабье сердце, хотя она и сама в дни своей юности немало износила горя от такого барского внимания.

VI

Последняя суббота перед рождеством осталась в памяти Антониды Васильевны навсегда. В господском доме опять ждали генерала, и артисты слонялись из угла в угол без всякого дела. Особенно скучали артистки, которым положительно было некуда деваться. Актеры в таких случаях обыкновенно забирались во флигель к додоновским музыкантам и там коротали время за графином с водкой. Зимний вечер тянулся без конца. Фимушка, по обыкновению, спала; другие актрисы тоже дремали. Одна Улитушка старалась бодрствовать, что стоило ей громадных усилий: после мороза старуху так и позывало всхрапнуть часик — другой.

Антонида Васильевна сидела у стола и читала какую-то роль для праздничных спектаклей. Чья-то легкая рука притронулась к ее

плечу и заставила оглянуться, — это была низенькая старушка в старинном сарафане с серебряными пуговицами. Она глазами показала на дремавшую Улитушку и знаками пригласила следовать за собой. В первую минуту девушка не согласилась, но потом махнула на все рукой: одолела скука... Да и старушка такая приличная на вид, а Додонов сидит в кабинете с Крапивиным. Старушка, как тень, повела ее за собою.

— Куда вы меня ведете? — спрашивала Антонида Васильевна, когда они очутились в коридоре.

— Милушка ты моя, не бойся... — ласково шептала старушка. — Послали меня за тобой... Пелагея Силантьевна прислала, потому давно ей охота тебя повидать.

— Какая Пелагея Силантьевна?

— А вот увидишь, какая... Только бы этот змей нам не встретился, Иван Гордеич. Сживет он меня со свету...

Безвыходное положение ласковой старушки тронуло Антониду Васильевну, и она пошла за ней, догадываясь, куда та ее вела. Миновав большой коридор, они свернули ку-

да-то налево, потом поднялись во второй этаж и опять пошли по коридору. Видимо, их ждали, и невидимая рука отворила дверь в конце коридора.

— Ну, вот и пришли, слава богу, — уже весело заговорила старушка и повела гостью за руку через ряд низеньких и жарко натопленных комнат.

Кругом была самая скромная семейная обстановка. Обтянутая дешевеньким ситцем мебель, выкрашенные серою краской стены, цветы — и только. Навстречу из одной комнаты показалась невысокого роста худенькая дама и сделала старушке знак оставить их одних.

— Извините, что я вас побеспокоила, — заговорила она приятным и свежим голосом, который совсем уж не гармонировал с ее истомленным, худым лицом и тонкими, как плети, руками. — Вы не сердитесь?

— Нет… вы желали меня видеть?

Хозяйка усадила гостью на маленький диванчик и все смотрела на нее своими неестественно горевшими глазами.

— Неужели вы ничего не слыхали про Пе-

лагею Силантьевну? — спрашивала она, едва удерживаясь от желания расцеловать гостью. — А мне так хотелось вас видеть, видеть совсем близко. Какая вы красивая... Свежая... Я всего раз видела вас и то издали — в первый спектакль. Но о вас столько говорят... я первая без ума от вас... помните, как вы тогда пели?.. Я ведь тоже прежде пела...

Хозяйка не давала гостье сказать слово и все говорила сама, говорила торопливо, точно боялась чего-то не досказать. Время от времени она схватывала руку Антониды Васильевны и прикладывала ее к своей груди.

— Слышите, как сердце бьется... точно птица? О, я скоро умру, и лучше. А ведь я тоже была красивая, — не такая, как вы, но могла нравиться...

Пелагея Силантьевна откровенно рассказала о себе все: она дочь чиновника, бедного маленького петербургского чиновника, и познакомилась с Додоновым лет десять тому назад, когда поступила швеей к его матери. За работой она всегда пела, и голос ее погубил... У Додонова всегда был целый штат любовниц, но она его полюбила и теперь еще лю-

бит.

— Вы, может быть, хотите взглянуть на его теперешних фавориток? — неожиданно предложила она и, не дожидаясь ответа, что-то шепнула ласковой старушке, вынырнувшей точно из-под земли. — Это будет для вас интересно... а потом Галактионовна вас проводит другим ходом, чтобы не встретиться с кем-нибудь.

В коридоре скрипнули двери, и послышались легкие шаги. Антонида Васильевна не знала, куда ей деваться: и посмотреть ей хотелось додоновских красавиц и как-то делалось совестно. Ведь им, наверное, будет неловко перед посторонним человеком. А в соседней комнате уже слышался смех, и шушуканье, и ворчание Галактионовны, терявшееся в сдержанном шуме голосов. Когда Антонида Васильевна вышла в гостиную, у ней зарябило в глазах — так много было девушек. Много было красивых и молодых лиц, но красавицы ни одной, и все одеты очень скромно, как небогатые швейки. Они смотрели на актрису во все глаза, и только две девушки прятались позади.

— Это новенькие... — шепнула Пелагея Силантьевна. — Еще не успели привыкнуть.

Всех девушек было пятнадцать, и Пелагея Силантьевна называла их в глаза мастерицами.

— Хотите посмотреть девичью? — предлагала она.

— Если это никого не стеснит.

— У нас попросту, без стеснений, «Девичья» состояла из ряда комнат, обставленных еще скромнее квартиры Пелагеи Силантьевны, — получалось что-то вроде меблированных комнат. В каждой кровать, комод с зеркалом и несколько стульев. На всех окнах занавески. Девушки сначала дичились гостьи, а потом самые смелые даже начали разговаривать с ней. Была и общая комната, в которой жили девушки, получившие отставку. В другой такой же общей комнатке помещались кандидатки в девичью, — их долго мыли и чистили, учили манерам и умению одеваться, прежде чем представить владыке. Одна комната была заперта, и Антонида Васильевна поинтересовалась узнать, что здесь находится.

— А это так... на всякий случай, — уклончиво ответила Пелагея Силантьевна, моргая глазами в сторону столпившихся девушек.

— Карцер? — догадывалась Антонида Васильевна.

— Почти... вообще, когда нужно отделить кого-нибудь. Наказаний у нас не полагается, а домашние меры...

По знаку Пелагеи Силантьевны, все девушки разошлись по своим местам. Антонида Васильевна стала прощаться. У ней было грустно и тяжело на душе.

— Посидели бы вы, голубчик, — умоляла хозяйка. — Если бы вы знали, как мы здесь все любим вас... Когда вы поете, все девушки слушают вас из зимнего сада. В театр им нельзя показаться, так хоть издали послушают... Они меня умоляли пригласить вас сюда.

— Очень рада... я не знала этого раньше.

— А вы обратили внимание на последнюю привязанность Виссариона Платоныча? Представьте себе, совсем какая-то замарашка, а ему нравится... Конечно, она еще девчонка, ей нет и шестнадцати лет, но все-таки странный вкус.

На прощанье Пелагея Силантьевна взяла с гостьи слово, что она еще как-нибудь завернет к ним в девичью. Старая Галактионовна провела ее обратно, через второй этаж, парадными комнатами. Дорогой она спросила Антониду Васильевну:

— Ты сегодня опять петь будешь?

— Буду...

— Спой ты што-нибудь жалобное, голубушка ты наша, — самое жалобное. Это мне девушки наказывали тебя попросить... В ножки, говорят, поклонись соловушке.

— Хорошо, хорошо...

Кажется, еще никогда Антонида Васильевна не пела так хорошо, как в этот вечер. Генерал и Додонов аплодировали, а она не заставляла себя просить и начинала снова петь. Кончилось это тем, что ей сделалось дурно.

— Зачем так насиловать себя? — ворчал Крапивин, ухаживавший за нею с какими-то спиртами. — Это неблагоразумно, а этих дураков мы не удивим...

Девушка не сказала, для кого она пела. Ее била лихорадка, и зубы выделывали холодную дрожь. О, она знала, для кого пела, и бла-

годарила бога, что могла вылить свою душу... Пусть хоть в песне узнают о воле, о любимом и дорогом человеке, о горе и радости свободных людей.

Додонов жил князем и ни в чем себе не отказывал. Краснослободские заводы давали ежегодно миллион рублей чистого дивиденда. Поездка на Урал была одной из его дорогих фантазий. В Петербурге сидеть надоело, за границей он успел побывать везде, все видел и все испытал, что можно было купить на деньги. У него были три слабости: женщины, охота и музыка. В карты он не играл и вина почти не пил. По натуре он не был злым человеком, как не был и добрым. Жизнь вел скорее уединенную и редко где бывал... Половину дня он проводил за книгами: прекрасная библиотека в несколько тысяч томов путешествовала всюду за ним. Владея тремя новыми языками, он мог наслаждаться сокровищами всей европейской литературы. Прибавьте к этому железное здоровье, молодость, красивую наружность,— кажется, и желать больше ничего не оставалось, а Додонов был несчастнейшим человеком и скучал, как сто

нищих вместе не могут скучать.

Сотни людей раболепствовали перед ним и жадно ловили каждый его взгляд, а владыка боялся наступления следующего дня, который принесет с собою новую скуку. Единственная страсть, которая еще минутами согревала его, была любовь к женщинам. Но и здесь все являлось выстроенным по известному шаблону. Продажная красота уже давно не прельщала его, а свои крепостные красавицы надоедали собачьей покорностью, — каждая новая женщина являлась только копией предыдущей. Иногда Додонов начинал ненавидеть всех женщин и не заглядывал в девичью по месяцам. Единственным исключением являлась Пелагея Силантьевна, от которой он никак не мог избавиться. Она присосалась к нему, как чужеядное растение, и он не мог выпутаться. Это были самые невозможные отношения. Додонов даже не мог сказать, красива она или нет, как о самом себе. Его поражала кошачья живучесть этой женщины, преследовавшей его, как собственная тень. Она была с ним то ласкова, то груба до дерзости и всегда полна жизни и внутреннего огня.

Всего более Додонова удивляло то, что она его любила и любила искренне. Был еще другой человек, который тоже любил его, — это лысый старичок Иван Гордеевич. Поэтому, вероятно, старик и главная метресса ненавидели друг друга всеми силами души, что забавляло иногда Додонова.

— Ну, что новенького, премудрый Соломон? — спрашивал Додонов: он по-домашнему называл старика Соломоном. — Когда ты женишься на Поле?..

— Это вы касательно Пелагеи Силантьевны?

— Да, касательно...

— Лучше уж я удавлюсь, Виссарион Платоныч... Это — аспид, а не баба. Ржавчина, купоросная кислота...

— Значит, ты ее боишься?

— Я?.. Да я ее пополам перекушу.

Паша платила тою же монетой премудрому Соломону, и не один раз у них дело доходило до рукопашной. Додонов смотрел на них и улыбался, как над иллюстрацией человеческого ничтожества. Жизнь, полная безделья и всяких излишеств, очень рано выработала из

него дешевого философа-пессимиста. Чужие страдания не трогали его душу, а правды для него не было на свете. Все шло, как этому нужно было идти, и все пойдет, как тому должно быть. Каждый человек — жалкая пешка в игре невидимой руки. Гарун-аль-Рашид насчитал в своей жизни четырнадцать счастливых дней, а Гете всего одну четверть часа, да и эти счеты были сделаны под старость и едва ли соответствовали истине. Из чего же хлопотать, работать, убиваться?

Живым человеком Додонов чувствовал себя только на охоте, когда шел с рогатиной на медведя. Нужно было чем-нибудь встряхнуть притуплённую нервную систему, и тут являлись такие ощущения, каких не переживал ни один немецкий философ. Но теперь и охота не тешила Додонова. В последний раз на медвежьей облаве он промазал по матерому зверю в пятнадцати шагах и только махнул рукой, когда медведь пошел наутек. Главный медвежатник Никита даже обругал барина за оплошку и добил красного зверя уже сам.

— Шкуру ты свезешь туда... в город... — устало приказывал Додонов премудрому Со-

ломону. — Да чтобы голова была набита, как живая.

Эта медвежья шкура появилась на полу уборной Антониды Васильевны в городском театре. Никто не видал, как она попала туда; но все знали, откуда явился такой подарок.

Охота была заброшена, и скучавшие без дела собаки выли по ночам в своем собачьем дворце. Привезенные для травли живые медведи тоже лежали по клеткам самым мирным образом. А Додонов сидел у себя в кабинете и только по вечерам отдавал приказ, чтобы в главной зале играла музыка. Оркестр играл в пустых комнатах, а Додонов лежал у себя в кабинете и слушал. Он закрывал глаза и старался вызвать любимую женскую тень, которая от субботы до субботы бродила по его пустовавшему дворцу. Премудрый Соломон только вздыхал, бессильный помочь барскому горю.

Когда он являлся из города, Додонов спрашивал его немым взглядом своих усталых больших глаз.

— Плохо, Виссарион Платоныч... — уныло докладывал верный раб. — Поперек дороги

стал этот проклятый Крапивин.

— Я ее куплю, если на то пошло, — отвечал Додонов.

— Это бы вернее, Виссарион Платоныч…

— Убирайся, дурак!

Купить крепостную примадонну дело было самое легкое, но не этого ждал Додонов. У него своих красавиц непочатый угол. Ему хотелось, чтобы Антонида Васильевна сама его полюбила. Чем он хуже какого-нибудь несчастного Крапивина? Додонов несколько раз приглашал антрепренера к себе в кабинет и подолгу разговаривал с ним; ничего особенного в нем нет, и даже старше его лет на пять. Конечно, он постоянно у ней на глазах, наконец, она находится в известной от него зависимости, но это все были пустяки.

Раз вечером Иван Гордеевич явился с таинственным видом, как собака, учуявшая дичь. Он даже облизывался от удовольствия.

— Что скажешь, премудрый Соломон?

— Суета суетствий, Виссарион Платоныч, и всяческая суета…

— Только-то?.. Ну, не особенно много даже для мудрости Соломона…

— А есть и еще весточка одна...

Старик осторожно оглянулся кругом и, подкравшись к самому уху владыки, прошептал:

— Антонида Васильевна в прошлый раз была в нашей девичьей.

— Не может быть!

— Верно-с... И всех ваших метресок видела. А надвела ее Пелагея Силантьевна...

Додонов вскочил, как ужаленный, и даже замахнулся на старика.

— Убейте, на месте убейте, — шептал съежившийся от страха Соломон, — а было дело... Всю девичью обошла и обо всем расспрашивала. Теперь как я к ним на глаза-то покажусь?

— Позвать Полю сюда!

Когда явилась к ответу Пелагея Силантьевна, Додонов встретил ее отборною руганью, размахивая руками под самым ее носом; Иван Гордеевич подслушивал происходившую бурю сейчас за дверями и улыбался. Что он с ней разговаривает? Катал бы прямо с уха на ухо или отдал бы в его распоряжение...

— Для чего ты это делала, а?! — ревел Додо-

нов, наступая на Пелагею Силантьевну. — Ты хочешь отмолчаться, змея... Нет, я из тебя жилы вытяну, на конюшню пошлю...

— Виссарион Платоныч...

— Молчать!.. Да мне на всю девичью наплевать... слышала?.. Мне надоела вся эта ваша гадость, да!.. Я знаю, чего ты добивалась: пусть-де актриса посмотрит, как Виссарион Платоныч развратничает, да?.. Так?.. Ты боялась новой соперницы, да?.. Так знай же, что ты сделала себе же хуже...

Едва заметная улыбка скользнула по бескровным губам Пелагеи Силантьевны, и она смело посмотрела в глаза Додонову.

— Вы забываете только одно, Виссарион Платонович, — заговорила она уверенным тоном, — что за вами есть и еще кое-что, кроме девичьей...

— А, ты желаешь пугать меня... Вон!

— Вы лучше убейте меня, а пока я жива...

Додонов сильно позвонил. Когда на звонок выскочил Иван Гордеевич, он, не глядя на обоих, проговорил всего одно грозное слово:

— На конюшню!

— Я не ваша крепостная! — кричала Пела-

гея Силантьевна, стараясь отбиться от Ивана Гордеевича. — Я не позволю обращаться с собой, как с крепостной девкой...

— Двойную порцию этой змее, — спокойно продолжал Додонов. — Я за все отвечаю...

Когда барахтавшуюся и кричавшую Пелагею Силантьевну вытащили из кабинета и когда смолк на лестнице поднятый этою возней шум, Додонов опять позвонил, В дверях вытянулся лакей в русской поддевке. Сделав несколько концов по комнате, Додонов с удивлением посмотрел на него.

— Ты зачем здесь?

— Изволили звонить-с...

— Я? Ах, да... Иди скорее на конюшню и скажи, чтобы отпустили Полю сейчас же.

— Слушаю-с.

Как ни торопился Иван Гордеевич исполнить барское приказание, но не успел. Пелагею Силантьевну дотащили уже до корпуса конюшен, где происходили всякие экзекуции, и выскочили уже конюха, как прибежал во весь дух лакей и остановил готовившееся жестокое дело. У Ивана Гордеевича опустились руки: все было готово, каких-нибудь десять

минут и — Пелагея Силантьевна не ушла бы из конюшни на своих ногах, а тут вдруг... Старик опрометью бросился наверх, чтобы проверить лакея.

— Оставить Полю, а мне лучшую тройку, — приказал Додонов, не смотря на премудрого Соломона.

Вся девичья замерла от страха, когда Пелагею Силантьевну принесли из конюшни на руках. Ей сделалось дурно, и Галактионовна долго хлопотала около больной, растирая ее разными снадобьями. Когда Пелагея Силантьевна пришла в себя, она долго хохотала и плакала, как сумасшедшая, — с ней истерика продолжалась всю ночь.

— Он меня узнает... Я ему покажу... ха, ха!.. — заливалась она, кусая зубами подушку. — Пусть бьют... я не крепостная.

VIII

Лучшая серая тройка вихрем неслась в Загорье, а Додонов все погонял. Седой старик кучер, лучший наездник, не жалел лошадей: все равно — тройка пропала. Через два часа показался город, и загнанная тройка остановилась у театральной квартиры. Додонов вбежал

прямо во второй этаж. Крапивина, к несчастью, не было дома, и Улитушка, попробовавшая загородить дорогу, отлетела в угол, как ворона.

— Мне нужно видеть Антониду Васильевну, — потребовал Додонов, располагаясь в зале, как у себя дома.

— Она не одета, — докладывала перепуганная горничная.

— Я подожду.

Антонида Васильевна учила роль, когда горничная прибежала сказать ей о неожиданном госте. Девушка даже не удивилась, точно она ждала Додонова. Одевшись в простенькое домашнее платье и поправив волосы перед зеркалом, она вышла в залу такая спокойная и самоуверенная. Додонов сидел на диване, низко опустив голову. Скрип отворившейся двери заставил его оглянуться.

— Вы меня желаете видеть? — проговорила Антонида Васильевна, не протягивая руки.

— Да.

— Что вам угодно?

Додонов нетерпеливо оглянулся и сделал шаг вперед.

— Не беспокойтесь, нас никто не будет подслушивать, — предупредила его Антонида Васильевна.

— Раньше я не решался объясниться с вами, но вы сами дали повод... — начал Додонов, трогая усы.

— Именно?

— Вы понимаете, про что я говорю... Вы видели и знаете все и, как порядочная женщина, как девушка, не можете не презирать меня.

— Совершенно верно. Я могу только удивляться вашему присутствию вот здесь.

— Я вас не задержу. Заметьте: вы первая дали мне повод! Вы знаете меня с самой дурной стороны, и я приехал сказать вам, что... что я действительно дурной человек.

— И только?

По странному тону Антонида Васильевна приняла Додонова за пьяного, да и глаза у него были красные.

— Нет, не только! — уже резко заговорил он. — Я был дурной человек до встречи с вами... У меня открылись глаза, и я сам презираю себя. Богатые, избалованные люди везде

одинаковы, с тою разницей, что делают гадости с большею или меньшею степенью откровенности. Я откровеннее других... От вас будет зависеть, чтобы я был другим человеком.

— Другим вы не будете, Виссарион Платоныч, а меня вы оставьте в покое... Если вы желаете откровенного мнения о себе, то узнайте: я вас ненавижу.

Додонов рассмеялся и прищурил глаза. Смелая речь крепостной примадонны еще сильнее разожгла его страстное чувство.

— А если я вас куплю, как крепостную? — прошептал он.

— Никогда этого не будет.

— Ага, увидим...

— Я отравлюсь, даю вам мое честное слово. Лучше честная смерть, чем позорная жизнь... От тех несчастных, которых вы держите в своей девичьей, вы этого не услышите, так выслушайте от меня.

— Вы жестоко раскаетесь в своих словах.

— Никогда. До свидания.

Додонов вскочил и умоляюще протянул руку вперед.

— Еще одно слово, — шептал он, меняя

тон. — Нет такого страшного грешника, который не мог бы заслужить прошения... Я еще не встречал действительно порядочной женщины. Во мне всегда видели только деньги и деньги... Действительного чувства, серьезной привязанности я не знал до сих пор. Не заставляйте меня делать новую несправедливость. Я сдаюсь на все ваши условия, и нет такого желания, которое не было бы исполнено сейчас же.

Антонида Васильевна показала молча на дверь. Додонов поклонился, быстро повернулся и вышел. Спускаясь по лестнице, он встретился с Крапивиным, но не узнал его. Крапивин остановился и проводил его глазами до экипажа, а затем быстро вбежал во второй этаж.

— Как разбойник ворвался, — докладывала шепотом Улитушка, — а Тонюшка его приняла по-своему... Не понравилось, вот и бежал.

Антрепренер пробежал прямо в комнату Антониды Васильевны. Девушка лежала за ширмочкой на своей кровати и горько рыдала.

— Что случилось, Антонида Васильевна?

— То, что должно было случиться.

— Додонов предлагал вам что-нибудь?

— Все... на выбор... Я сказала, что лучше отравлюсь.

— Дитя мое, потерпите. Сегодня я получил письмо от вашего помещика, с которым веду переговоры, относительно вольных всей труппе. Да...

— И что же?

— Слава о ваших успехах, к несчастью, предупредила мое письмо, и он требует за одну вашу свободу десять тысяч.

В ответ послышались новые рыдания. Крапивин схватил себя за голову и молчал. В окно, разрисованное морозом, смотрелся уже ранний зимний вечер. Откуда-то издалека доносился жалобный благовест. Антонида Васильевна оставалась за ширмочкой и тяжело всхлипывала. Да, она крепостная, и с ней могут сделать все, что захотят. Зачем же ее учили, зачем в ее ролях говорится о какой-то свободной жизни, о любви и радостях? Кругом так темно, и не видно просвета.

— Я думаю обратиться к генералу, — заго-

ворил Крапивин после длинной паузы. — Старик добр...

— Что из этого выйдет?

— Во-первых, необходимо отделаться от Додонова, а во-вторых... вообще, нужно же что-нибудь делать.

— О Додонове не беспокойтесь: он во второй раз не придет.

В последнее время между Антонидой Васильевной и Крапивиным установились немного натянутые отношения, и она, видимо, избегала откровенных разговоров с ним. Определенного повода к такому положению не было, но девушка инстинктивно стала держаться подальше, точно проверяя самое себя. Ведь она его не любила, — зачем же мучить человека напрасно? Крапивин, кажется, догадывался о душевном настроении своей любимицы и старался не лезть в глаза. Он полагался на время. Ведь она еще так молода и многого не в состоянии понять. Даже в отношения к Додонову он не желал вмешиваться, — пусть сама оценит, кто и чего стоит. Эти слезы после визита Додонова служили лучшим доказательством, что он, Крапивин, рассчи-

тал верно. Конечно, было известное увлечение обстановкой и рассказами о Додонове, но это пройдет само собой, только не нужно навязываться с своею собственной особой.

Вопрос о выкупе крепостных актрис не давал покоя Крапивину. Если уж теперь помещик требует за одну Антониду Васильевну десять тысяч, то отчего ему не назначить пятьдесят, — произволу нет границ и конца. Иногда Крапивину приходила мысль обратиться к Додонову: что ему значило — выкинуть каких-нибудь двадцать тысяч! Эта сумма давила теперь антрепренера, как тяжелый камень. Были, конечно, богатые люди в Загорье, особенно в среде золотопромышленников, но как к ним обратиться, когда раскольничьи попы и начетчики считают театр бесоугодною пляской? Оставалось ждать и сколачивать средства из своих театральных грошей. А время уходит, и вместе с ним день за днем подтачиваются силы. Крапивин хватался за свои редевшие кудри и приходил в отчаяние. Недоставало только этой истории с Додоновым.

Слова Антониды Васильевны не сбылись:

Додонов не оставил ее в покое. Он теперь почти каждый день являлся в спектакль и занимал свое обычное место в первом ряду. Когда был назначен бенефис Антониды Васильевны, — это был первый ее бенефис, — он послал ей за свое место тысячу рублей и букет из белых камелий.

— Я ему возвращу эти деньги... — заявляла Антонида Васильевна.

— Нет, не возвращайте, — советовал Крапивин. — Пусть они пойдут на ваше освобождение из крепостной зависимости... Додонову не все ли равно, куда ни бросать деньги, а здесь они по крайней мере пойдут на хорошее дело.

Антонида Васильевна ничего не ответила и только задумалась. Обстоятельства так складывались, что ей точно нельзя было избавиться от Додонова. Вот и Крапивин советует взять деньги... После того, что она наговорила ему тогда, другой на его месте и носу не показал бы в театр, а он еще букет посылает. Эта настойчивость интриговала ее: может быть, Додонов и не такой человек, каким кажется. И няня Улитушка то же говорит... При-

няв деньги, Антонида Васильевна сочла себя обязанной приколоть одну камелию к своему белому платью. Она была необыкновенно эффектна в этот вечер и на бесконечные вызовы пропела лучшие номера в своем репертуаре.

— Если бы я был помоложе, полковник... — повторил несколько раз генерал, подмигивая Додонову. — Ведь это брильянт!..

— Редкие камни, ваше превосходительство, требуют слишком дорогой оправы, — отшучивался Додонов.

По желанию генерала была устроена подписка, и бенефициантке поднесли несколько золотых безделушек: два браслета, брошь и серьги. После спектакля в уборной Антониды Васильевны набралось много поклонников и в том числе генерал с Додоновым. Крапивин велел подать шампанского, — пир так пир.

— В наше время пили шампанское из башмачков красавиц... — шутил генерал, чокаясь с Антонидой Васильевной.

— Как хозяйка, по русскому обычаю, я желаю вас поцеловать, ваше высокопревосходительство... — заявила бенефициантка, покраснев от собственной смелости.

— Спасибо… Это уж совсем по-семейному.

Генерал поцеловал хорошенькую актрису при звуках торжественного туша и громких аплодисментах набравшейся в уборной публики. Молчал один Додонов. Он держался как-то в стороне, как виноватый. Эта покорность польстила Антониде Васильевне. Да, она сегодня была так счастлива, как еще никогда, а этот Додонов походил на школьника, поставленного в угол. Даже генерал заметил это и проговорил:

— Что ты, братец, как мокрая курица?.. Может быть, мне завидуешь?

— У меня сегодня в чужом пиру похмелье, ваше превосходительство, — ответил Додонов и сейчас же начал прощаться.

— Какой он странный… — удивлялся старик, когда Додонов вышел. — Право, очень странный. Не так ли, Гоголенко?

— Совершенно странный, ваше высокопревосходительство.

— А между тем полковник… богат… молод…

Развеселившийся генерал заставил Антониду Васильевну поцеловаться и с Крапиви-

ным, что та исполнила очень неохотно. Крапивин был этим огорчен и заметно надулся, но девушка чувствовала себя слишком счастливой, чтобы замечать чужое настроение. Дома его ожидала другая неприятность: комната Антониды Васильевны во время спектакля была убрана заново.

Кровать из красного дерева была покрыта одеялом из бухарского шелка, китайская ширмочка служила для нее точно экраном; роскошный туалет, зеркало в настоящей серебряной раме, ковер на полу, мягкий диванчик, обитый голубым атласом, — словом, все заново. Конечно, это устроил Иван Гордеевич, пока шел спектакль, и об этой затее знала вперед одна Улитушка. От старухи сегодня пахло наливкой сильнее обыкновенного. Крапивин совсем взбесился, когда узнал все.

— Я этого не могу позволить! — кричал он, бегая по комнате. — Я антрепренер, и все артистки у меня на ответственности.

Антонида Васильевна молчала. Ей сделалось жаль, когда стали выносить из комнаты додоновские подарки и поставили на место старую мебель. Торжество закончилось для

нее слезами. Она не могла даже дать отчета самой себе, о чем плакала. В душе накипело такое обидное и нехорошее чувство: зачем она крепостная, подневольная актриса, зачем Додонов такой богатый и дурной человек?.. Где-то в глубине души у ней шевельнулось чувство к нему, и она сама испугалась, как человек, который неожиданно очутился на краю пропасти. Но, с другой стороны, что она сделала такое, чтобы сердиться на нее, как делает Крапивин?.. И Крапивин тоже нехороший человек, потому что думает только о себе. Да, он эгоист, этот Крапивин.

— Ишь, как расходился! — ворчала Улитушка, раздевая свою «шпитонку», как она называла всех своих воспитанниц. — Небиль помешала... Ведь она, небиль-то, не виновата. А ты бы завел сам такую-то... Додонов барин настоящий, ничего не пожалеет.

— Няня, будет тебе... — оговаривала ее Антонида Васильевна, лежа в постели.

— А всегда скажу... Тоже с меня не голова снята. Да... форменный барин.

Явилось еще одно обстоятельство, которое тоже неприятно действовало на Антониду Ва-

сильевну. Другие актрисы завидовали ей, а откровенная Фимушка высказала это слишком уж прямо. Эта зависть отравила бенефициантке ее торжество окончательно, и она даже швырнула свои подарки на пол.

— Ну, Милитриса Кирбитьевна, ты не очень швыряй, — ворчала на нее Улитушка, подбирая футляры. — Тоже не щепки, а деньги плачены... Вон Фимушка-то что говорит: «Я бы, говорит, прямо убежала к Додонову». Умок-то у ней невелик, а тоже придумала.

Крапивин в это время ходил у себя в мезонине из угла в угол, как попавший в засаду волк. Так-то ценят его заботы, его честность, его преданность одному искусству... Достаточно показать несколько блестящих побрякушек и шелковых тряпок, чтобы разрушить всю его работу. Нет, он так дешево не продаст себя. То неприятное чувство, которое он пережил сегодня, начало мучить, как напрасная тяжесть. Ему захотелось сказать что-нибудь ласковое Антониде Васильевне, — пусть день кончится для нее мирно. Он спустился во второй этаж и постучал в двери комнаты своей любимицы.

— Антонида Васильевна, не спите?

Ответа не последовало: примадонна сердилась, и Крапивин, улыбнувшись, побрел в свой мезонин.

IX

С Антонидой Васильевной происходило что-то странное: она начала задумываться и скучать. По субботам труппа по-прежнему уезжала в Краснослободский завод. Додонов был предупредителен, вежлив — и только. Он только раз спросил Антониду Васильевну, правда ли, что его подарки выброшены из комнаты.

— Да, правда, — ответила она, опустив глаза.

— Это было ваше собственное желание?

— И да и нет... Сначала мне не хотелось расставаться с такими хорошими вещами, но потом я поняла, что принимать такие дорогие подарки неприлично...

— Почему?

— Потому что нужно уметь за них платить, а что может дать крепостная актриса?.. Кроме этого, с вашей стороны было просто неделикатно обязывать бедную, трудящуюся

девушку такими денежными подарками. Поставьте себя на мое место и скажите, как вы поступили бы?

— Я?.. Я сказал бы, что этого слишком мало... да! Разве можно заплатить деньгами за то наслаждение, которое доставляется талантом?.. Нищим являюсь я, а не вы... Своим пением, своею игрой вы будите во мне живого человека... Ведь это называется воскресением из мертвых.

Они сидели одни в большой гостиной, где со стены смотрели хмурые фамильные портреты. Теперь Антонида Васильевна нисколько не боялась Додонова и спокойно ходила по всем комнатам, кроме девичьей. Ловкий Иван Гордеевич умел так устроить дела, что Крапивин не мешал этим tete-a-tete[90] тяжелой обстановке барского старого дома Антонида Васильевна являлась для Додонова блуждающим солнечным лучом, который на мгновение освещал его темную жизнь и исчезал. Она и сейчас сидела на бархатном диване такая красивая, свежая, и столько было чарующей прелести в этой белокурой грезовской головке, глядевшей прямо в душу Додонову

своими серыми лучистыми глазами. У ней являлось желание помучить этого пресытившегося человека, и она заметно оживлялась в его присутствии.

— Вы меня презираете, Антонида Васильевна? — спросил Додонов тихо и протянул свою руку к ее руке.

— Да, да... Мне делается гадко, когда я думаю о вашей жизни. Бывший офицер, образованный человек, и так погрязнуть... Я удивляюсь, как можно унизить себя до такой степени! Есть просто известная порядочность, которая не позволяет людям делать гадости.

— Но если нет руки, которая вывела бы из этой обстановки, если нет ответа на самое святое чувство и если этим человека заставляют делать новые гадости?

— Что вы хотите этим сказать?.

Додонов взял ее за руку и с каким-то благоговением поцеловал кончики ее пальцев. Она хотела выдернуть руку и не могла — голова кружилась, в глазах завертелись красные пятна. Ей было страшно и хорошо, но она пересилила себя и засмеялась нехорошим, холодным смехом.

— Какие нежности, Виссарион Платоныч... Вы, кажется, принимаете меня за горничную. Не хотите ли, я вам подарю ленточку на память?

Этот смех точно ужалил Додонова, и он даже отскочил от нее. О, это было похуже того, что он слышал от нее раньше!

— Понимаю все, — шептал он, хватаясь за голову. — Вы любите другого... Для этого другого... вы найдете и другие слова.

— Вы меня оскорбляете, Виссарион Платоныч... Не забудьте, что я у вас в гостях, и это вдвойне обидно.

Она встала и с гордо поднятой головой вышла из комнаты. Как он смел так говорить с ней? Про себя она повторяла каждое его слово и открывала в нем что-нибудь обидное для себя. Но не все ли ей равно, что он говорит? Антонида Васильевна обманывала себя: ее уже начинало тянуть к Додонову. В нем было что-то такое особенное, чего нет в других. Такого человека можно бы и полюбить, если бы не эта проклятая девичья... Какой-то предательский голос нашептывал ей: «Ты будешь царицей в этом дворце... жизнь польется сплош-

ным праздником... а там, в столице, ты сама будешь наслаждаться игрой лучших артистов...» Собственная бедная обстановка начала казаться еще беднее, а жизнь игрушкой. Конечно, пока она молода и красива, все будет хорошо, но ведь красота так быстро проходит, а там, впереди — тяжелое будущее состарившейся и пережившей себя примадонны. Антонида Васильевна часто плакала, оставаясь одна, и с Крапивиным была холоднее прежнего.

А кругом нее составился целый заговор, участниками которого были Иван Гордеевич, Яков Иванович и Улитушка. Они частенько собирались втроем и долго судили и рядили про барские дела.

— Гордячка она, — повторял Иван Гордеевич, приглаживая свою лысину. — Счастье лезет в рот, а она отвергает. По-моему, женское естество везде одинаково, и только одна барская прихоть, что подай вот эту, а остальных не надо. И нужно этим пользоваться... Другая бы даже весьма благодарна была... А уж как Виссарион Платоныч тоскуют-с. Можно сказать, спят и видят Антониду Васильевну.

— А сколько он даст за нее? — спрашивал Яков Иванович.

— Ничего, говорит, не пожалею... Пятьдесят тысяч сейчас наличными, а что касаемо подарков и благодарности — не в счет.

Яков Иванович и премудрый Соломон искренне жалели, зачем они не родились такою красавицей, как Антонида Васильевна.

— Все равно так, даром пропадет, — резонировал Соломон, — и после сама будет жалеть-с. Только будет поздно-с.

— Конечно, будет каяться, — поддакивал Яков Иванович. — Ну, выйдет она за Крапивина... ну, и вытягивайся из всех жил на сцене, пока в силах, а дальше-то что?

— Эх, молодо-зелено, — качал головой Соломон.

Привлеченная к делу. Улитушка сочувствовала этим взглядам и вносила еще свою рабью покорность барской воле. Она взяла на себя трудную роль переговорить с Антонидой Васильевной окончательно, потому что сезон подходил к концу и такого другого случая не дождешься. Старуха долго ходила около своей «шпитонки», прежде чем решилась выгово-

рить все, что лежало на ее старой душе.

— Тонюшка, а ты напрасно Виссариона-то Платоныча обегаешь... — начала она однажды вечером, когда девушка сидела перед зеркалом в папильотках и выравнивала волосы. — Вон он что говорит-то: ничего, слышь, не пожалею... Только бери. Право... Иван Гордеич говорит, что пятьдесят тысяч отдаст, а подарки особо. На волю бы выкупилась и меня, старуху, выкупила, и стали бы жить да поживать... Девичья-то память до порога.

Прислонившись к спинке стула, Антонида Васильевна смотрела на няньку остановившимися от изумления глазами. Не во сне ли все это происходит?.. А расходившаяся старуха не унималась и продолжала свое:

— Тоже вот и Яков Иваныч, — ему-то какая корысть? — а он в один голос с Иваном-то Гордеичем... Добра тебе все желают, касаточка. Раз-то согрешишь, так и бог простит... Не ты первая, а с актрисами это даже и даром бывает. Подвернется какой худой человек — девушки как не бывало... А Виссарион Платоныч не обидит: в золоте будешь ходить.

— Так пятьдесят тысяч, няня?

— Пятьдесят, касаточка.

— Отлично... Я сама подумаю.

— Подумай, касаточка, господь с тобой... Этакого счастья в другой-то раз и не дождешься, а женская наша красота до времени.

Антонида Васильевна больше не плакала. Она целую ночь не сомкнула глаз и все думала... Припомнилось ей, как ее насильно взяли от семьи там, в России, и отдали в театральную школу; как она постепенно забывала своих родных, простых дворовых, и как теперь она была для них хуже, чем чужая. Впереди роскошь, богатое безделье... Ее и торгуют, как лошадь. От денег у всех закружилась голова, начиная с несчастной Улитушки. Стоит только решиться, и широкая дорога открыта. Утром Антонида Васильевна передала няньке, что сама желает переговорить с Додоновым, и сама назначила ему час, когда он может прийти к ней, не рискуя встретиться к Крапивиным.

— Давно бы так-то, касаточка... — обрадовалась старуха.

Заговорщики торжествовали. Яков Иванович сам полетел с радостной вестью в Красно-

слободский завод, и в назначенный час Додонов входил в комнату Антониды Васильевны.

— Вы меня желали видеть, Антонида Васильевна?

— Да... Я желала бы слышать от вас лично все то, что мне передавали. Вы сами назначили цифру в пятьдесят тысяч?

— Послушайте, это уже известно вам, и не все ли равно, кто назначал?...

— Значит, верно?

— Да.

— И будут подарки?

— Антонида Васильевна, что за тон?

Она посмотрела на него такими печальными глазами и замолчала.

— Девичья будет уничтожена немедленно... — заговорил Додонов, поощренный этим молчанием. — Я понимаю, что это грубо назначить цифру, но ведь это только гарантия.

— Благодарю вас, что вы так оценили мой позор... и знайте, что я, я любила вас... а теперь прощайте... навсегда. Вы меня убили...

Она не выдержала и громко зарыдала. Додонов хотел по дойти к ней, но она отстранила его движением руки.

— Если так, то вот мое последнее слово: выходите за меня замуж, — предлагал Додонов.

— Замуж?.. Чтобы вы бросили меня через неделю?.. Нет, одно мгновение я думала несколько иначе о вас, и если бы отдалась вам, то не за деньги и не за честь носить вашу фамилию... Прощайте, прощайте!..

— Опомнитесь, Антонида Васильевна...

— Довольно... будет...

Видимо, ей хотелось сказать ему что-то еще на прощание, но она только махнула рукой и убежала за ширму. Додонов постоял среди комнаты несколько минут и, стиснув зубы, проговорил:

— Тогда я вас куплю, Антонида Васильевна?

— Покупайте, как покупаете собак.

Додонов круто повернулся и торопливо вышел. У него голова шла кругом. О, он отомстит за это оскорбление!.. Какая-нибудь жалкая провинциальная актриса и так обращается с ним, Виссарионом Додоновым?.. Нет, это уж слишком...

Вечером этого же дня в театре Яков Ивано-

вич отозвал Антониду Васильевну за кулисы и, всплеснув руками, как-то простонал:

— Антонида Васильевна, что вы наделали… что вы наделали?!

— Да вам-то какая забота, Яков Иваныч?

— Бескорыстно-с, сударыня… Добра вам желал, единственно по этой причине. После меня, может, и добрым словом помянете…

— Оставьте меня!.. Вы все, кажется, помешались… А если вы еще осмелитесь приставать ко мне со своими сожалениями, я должна буду обратиться к Павлу Ефимычу…

— Нет-с, это пустое-с… Антонида Васильевна, в самом деле подумайте хорошенько! Если бы я был на вашем месте… да я…

— Вот и замените меня, а я буду вам очень благодарна.

— Погордились, сударыня…

— Вон!

Яков Иванович долго стоял на одном месте и все качал головой. Он даже забыл, что около театра его ожидает премудрый Соломон, приехавший из Краснослободского завода за окончательным ответом.

— Ну, что? — спрашивал он, когда показал-

ся, наконец, Яков Иванович.

— Ничего… прогнала…

Мудрецы только развели руками. Что же, своего ума к чужой коже не пришьешь…

Вся труппа уже знала о случившемся, и шушукались по всем углам. Актрисы выражали свое одобрение, актеры качали головами. Ничего не знал один Крапивин, который был занят с декоратором Гаврюшей и даже сам что-то красил и мазал, одевшись во вретище. У Гаврюши давно чесался язык, чтобы рассказать все патрону, но он чувствовал себя таким маленьким и ничтожным, что только кряхтел и вздыхал.

— Что у тебя, живот болит? — спросил, наконец, его Крапивин.

— Никак нет-с, Павел Ефимыч…

Гаврюша, наконец, не выдержал и рассказал все, что происходило сегодня в театральной квартире. Крапивин слушал его и понимал всего одно слово: Додонов… Додонов… Додонов. А где Антонида Васильевна?.. Потом он опомнился и закричал, как раненый зверь:

— Да ты все врешь, Гаврюшка?! Все это ваши закулисные сплетни и дрязги… Никогда и

ничего не сметь мне говорить об Антониде Васильевне!

— Как вам будет угодно.

X

Дворец в Краснослободском заводе зловеще смолк. Барин затворился в кабинете, и никто не смел дохнуть. Всем собакам были надеты намордники, чтобы не лаяли. Музыка больше не играла, охота, кучера, прислуга — все попрятались по углам. Ночью только один огонек светился во всем дворце: это был освещен кабинет барина. Девичья на ночь запиралась на железные ставни, так что огня там никогда не было вид но с улицы. Вообще получалось настоящее мертвое царство.

Бодрствовал один Иван Гордеевич, который обходил все углы и закоулки Неслышными шагами, как настоящий кот. Утром и вечером он исправно являлся в кабинет с докладом и вытягивался у дверей, как лист перед травой. Додонов молча выслушивал его и отсылал назад движением руки.

— Ты виноват кругом, — проговорил, наконец, Додонов на одном из таких приемов. — Не умел повести дела…

— Простите, Виссарион Платоныч, — каялся премудрый Соломон, падая на колени. — Старался, хлопотал...

— Дурак!

В следующий раз он, не глядя на верного слугу, отдал короткий приказ:

— Поезжай туда, в поместье... и купи мне всех актрис. Сколько будет стоить — все равно... Я покажу им, как смеяться над Додоновым...

Ровно через час Иван Гордеевич выезжал уже в легкой зимней кибитке, направляясь куда-то в Малороссию. По маршруту он должен был ехать день и ночь.

Первое известие об этой экспедиции Крапивину принес Яков Иванович, знавший решительно все, что делалось в городе и ближайших окрестностях.

— Это похуже будет симбирских помещиков, Павел Ефимыч, — заключил он свою осторожную речь. — Всю труппу, говорит, куплю и свой домашний театр открою... Оркестр есть, помещение есть, недостает только актрис.

У Крапивина буквально опустились руки

от такой напасти. Он упустил удобное время для выкупа, а теперь — где же ему конкурировать с Додоновым, который бросит и сто тысяч, чтобы только добиться своего? Даже к генералу идти незачем. Старик, конечно, добр, но что он поделает с таким самодуром? Спокойною и уверенною оставалась одна Антонида Васильевна. Она теперь утешала Крапивина.

— Есть же на свете правда? — повторяла девушка. — Страшен сон, да милостив бог...

Крапивин слушал эти несбыточные надежды и на время успокаивался. В самом деле, кто знает, что ждет всех впереди? Положим, это была надежда утопающего, но все-таки нужно же хоть что-нибудь, чтобы тянуть день за днем. Подробностей истории Антониды Васильевны с Додоновым он не пытался узнавать из чувства простой деликатности. Он желал верить ей, хотя и понимал, что прямого ответа на свои чувства сейчас в ней не встретит. Она не любила его, а только уважала.

В Загорье только и было толков, что о Додонове. Стоустая молва разукрасилась таки-

ми подробностями, что позавидовала бы сама Шехеразада. Рассказывали, что Крапивин бросился на Додонова с ножом, а Додонов хотел затравить его медведями; что примадонна хотела отравиться, но ее спас Яков Иванович; что сам генерал замешан в этой истории, потому что явился счастливым соперником Додонова, и т. д. Передавали о какой-то крупной размолвке Додонова с генералом, что и подтвердилось очень скоро. Рано утром, во вторник на масленице, через Загорье двигался опять целый ряд обозов. Везли медведей в железных клетках, музыкантов, целый обоз собак, точно тронулась какая-то неприятельская армия. Медвежьи клетки были обшиты войлоком, собак везли в громадных фурах, музыкантов в крытых возках. Девичья была отправлена раньше, и ее провезли ночью. Одной прислуги, считая охоту, музыкантов и девичью, было отправлено больше трехсот человек, так что обоз растянулся на тысячу верст, на станциях не хватало лошадей, и отдельным транспортам приходилось ждать очереди. Все это двигалось опять мимо театральной квартиры, но уже не привлекало

внимания.

— Это какой-то сумасшедший, — удивлялся Крапивин. — Неужели нельзя было дождаться весны?

Оказалось, что последнее было невозможно. У Додонова произошло действительно недоразумение с генералом, но не из-за примадонны, а за карточным столом. Собственно говоря, это были такие пустяки, о которых не стоило говорить, но Додонов обиделся и решился сейчас же отправиться со всею ордой в Петербург. Стоило ли дожидаться весны, когда вся разница по транспортированию заключалась в нескольких десятках тысяч рублей? Но эта размолвка Додонова с генералом спасла труппу Крапивина. Очевидно, здесь деятельно работала Пелагея Силантьевна, умевшая настроить Додонова. У ней был прямой расчет избавиться от новой соперницы в лице Антониды Васильевны. Додонов жил вспышками, и только нужно было уметь воспользоваться его настроением.

У Пелагеи Силантьевны был свой план, который скоро и объяснился.

Труппа Крапивина играла на масленице

каждый день. Работы всем было по горло, особенно самому Крапивину. Сезон кончался, и нужно было взять последнюю дань с публики, мало-помалу привыкшей к театру. У праздничной публики особенный фурор производила Фимушка, танцевавшая свои номера с большим шиком. На время эта крепостная балерина отодвинула на второй план даже Антониду Васильевну с ее драматическими ролями, оперными ариями и романсами. Сам Крапивин ухаживал за ней, как за главною доходною статьей.

— Попала в честь и наша Фимушка, — удивлялась Улитушка, качая своею дряхлой головой. — За простоту ей господь счастье посылает.

Генерал по-прежнему сидел в своем кресле первого ряда и громко одобрял артистов; абонированное на весь сезон кресло Додонова оставалось пустым. Но в четверг на масленице вся труппа была опять встревожена; Додонов появился в театре и сидел на своем обычном месте, рядом с генералом. К общему удивлению, враги беседовали между собой в антрактах самым мирным образом. Крапивин

сильно взволновался, почувствовав какую-то беду.

— Берегитесь и будьте осторожны, — предупредил он Антониду Васильевну, — от этого сумасброда нужно всего ожидать...

На всякий случай Крапивин осмотрел все входы и выходы в театре и не спускал Антониду Васильевну с глаз. Спектаклю, казалось, не было конца, а тут еще генерал заставлял Якова Ивановича повторять свои любимые номера. Крапивин то и дело вынимал часы, считая каждую минуту. Досталось режиссеру Гаврюше, который едва ворочался, потом суфлеру и по порядку всем другим театральным маленьким людям. В пылу усердия поскорее смотать ненавистный вечер Крапивин делался несправедливым и не замечал сам, что никто не виноват и дело идет своим обычным ходом. Подвернувшаяся под руку Улитушка не избежала общей участи.

— Ты чего тут, старая крыса, мешаешься? — ругался Крапивин. — Ну чего бегаешь, как угорелая?

Улитушка даже оторопела в первую минуту и только потом настолько собралась с си-

лами, чтобы обругать сбесившегося маэстро.

— Погоди, вот укротят тебя... — ворчала она, улепетывая в ближайшую уборную. — Невелик в перьях-то!..

О происках старухи Крапивин кое-что знал, но не хотел с ней связываться, а теперь у него вырвалось резкое слово общим счетом. В сущности старушонка была порядочная дрянь и вечно заводила в труппе какие-нибудь ссоры и перекоры.

Спектакль кончился, и оставался один водевиль. Актрис попросил Крапивин дождаться конца, чтобы всем идти вместе. В антракте перед водевилем танцевала свою качучу Фимушка. Эта ленивая и глупая толстуха, когда выходила на сцену с голубым шарфом и в голубой газовой юбочке, производила фурор, как было и теперь. Гримируясь в своей уборной, Крапивин, — он играл все роли «на затычку», — с удовольствием слышал, как благодарно ревела публика, вызывая Фимушку, как надрывался Яков Иванович со своим оркестром и как стучал костылем в такт «каданс-су» сам генерал. Потом все смолкло, потому что для эффекта Фимушка должна была про-

валиться в люк, как это делалось в то время: фея улетала в небеса или проваливалась, — то и другое придавало определенный конец номеру.

Когда Крапивин вышел на сцену, то с удовольствием заметил, что Додонова больше нет в театре. Оставался один генерал, расслабленно мигавший опухшими красными веками. Благодаря Крапивину водевиль свертели в полчаса, и антрепренер сам удивился, что так скоро все кончилось. Не смывая грима, он бросился в уборную к Антониде Васильевне: она была налицо, — значит, все благополучно.

— Одевайтесь, я сейчас, — весело проговорил Крапивин, убегая к себе.

Когда он вышел, труппа была в сборе, и не оказалось налицо одной Фимушки. Она провалилась в люк и больше не возвращалась. Рабочие видели, как она под сценой надевала шубку, а дальше все следы терялись. На квартире Фимушки тоже не было. Только стоявшие у театра извозчики сообщили, что к подъезду, через который входили и выходили артисты, подъезжал додоновский дорожный

возок, и какая-то дама вышла и села в него. Очевидно, балерину увез Додонов... Пока шел водевиль, он был уже далеко. Действительно, Додонов устроил это похищение и был счастлив своею легкой победой. Конечно, все было подстроено раньше, при дружном содействии Якова Ивановича, Улитушки и Пелагеи Силантьевны, а Фимушка по своей глупости была рада романическому приключению. Она, как была в своей газовой голубой юбочке и в трико, так и отправилась в неизвестный путь, отдавшись Додонову. Они вдвоем катили по московскому тракту, сломя голову, и это приводило Фимушку в восторг. Додонов закутывал ее в свою медвежью шубу, как ребенка.

За беглецами летела повозка с Пелагеей Силантьевой, не оставшейся в накладе. Додонов послал гонца воротить Ивана Гордеевича с дороги.

XI

Роман Антониды Васильевны закончился бегством Фимушки. Через два года она вышла замуж за Крапивина, который двадцать пять лет оставался антрепренером и справедливо

гордился тем, что создал первую в Сибири труппу. На его руках выросло целое поколение артистов; все это были прямые потомки бывших крепостных актрис. Конечно, недостатка в трудных и тяжелых днях не было, труппа не раз распадалась и снова складывалась, но Крапивин держался прочно, как человек вполне порядочный. Одно его огорчало, именно, что Антонида Васильевна оказалась бездетной, но и эта беда поправилась, когда эта чета приютила круглую сиротку, оставшуюся после Фимушки. Бедная танцовщица пропадала с Додоновым года два и опять вернулась к Крапивину в самом несчастном виде — постаревшая и беременная. Крапивин не помнил зла и пригрел ее. Выкупая своих артистов, он выкупил и Фимушку, которая еще раз обманула его надежды: балерина простудилась и скоро умерла.

Додонов плохо кончил: его погубило освобождение крестьян, а потом целый ряд процессов. Капельмейстер, заведовавший додоновским оркестром, отморозил пальцы, играя зимой на открытом воздухе; один из медведей оборвал цепь и загрыз двух баб, и т. д. Бе-

да не приходит одна. Но скандальнее всего разыгралось дело с девичьей. Был поднят громкий процесс, тянувшийся годами. Оказался целый ряд страшных преступлений: ни одна хорошенькая девушка в девичьей не выживала больше года. Одна загадочная смерть следовала за другой, и умирали именно те девушки, которые нравились Додонову больше других. Молва обвиняла во всем Пелагею Силантьевну, отравлявшую своих крепостных соперниц. Насчитывали больше десяти таких жертв. Потом выплыло наружу, что в девичьей за вое время ее существования не было ни одного ребенка. Являлось подозрение в том, что и это находилось в связи с загадочною смертью безвестных красавиц. К следствию была притянута и старая Галактионовна и сам премудрый Соломон. Вообще дело разыгралось настолько широко, что нужны были сотни тысяч рублей, чтобы замазать все и предать воле божьей, как и вышло в конце концов, когда с Додонова нечего было взять. Он разорился окончательно, и Краснослободские заводы пошли с молотка.

Оставшись нищим, Додонов женился на

Пелагее Силантьевне и конец своих дней провел у ней нахлебником. Старая метресса приберегла какие-то крохи от додоновского роскошества и на эти средства содержала мужа.

Крапивинская труппа распалась окончательно со смертью своего основателя. Было время, когда в Загорье широко развернулись-первые золотопромышленники, и у Крапивина дело шло блестящим образом. Он даже приобрел в собственность дом, где помешалась театральная квартира. Были свои лошади и вообще вся обстановка на широкую ногу. Деньги как наживались, так и проживались. По своей артистической натуре Крапивин был неспособен к благоразумному откладыванию средств про черный день. Когда закончилось крепостное горное дело и задававшие всему тон горные инженеры потеряли насиженные места, дела у труппы сразу упали. Крапивин все-таки кончил свое дело с честью, потому что смерть предупредила грозивший труппе крах. Антонида Васильевна осталась ни с чем и перебивалась кое-как, поступив на вторые роли.

Случившаяся размолвка после сорокалет-

ней дружбы повлияла на обоих стариков. Они сидели по своим углам и горько жаловались на свою судьбу. Конечно, Яков Иванович в качестве кавалера старой школы должен был первым извиниться перед дамой, но, с другой стороны, как же он будет извиняться, когда она первая оскорбила его, указав на дверь? Каждый вечер Яков Иванович проходил мимо дома, Где жила Антонида Васильевна, и все не мог решиться пойти первый на примирение. Он даже поднимался на крыльцо и брался за ручку двери, но его точно отталкивала чья-то сильная рука.

Осень сменилась зимой. Грязь покрылась белым пушистым снегом. Старые люди чувствуют себя в это время Особенно нехорошо,— ведь зима напоминает смерть. Яков Иванович сильно прихворнул. Отозвались кое-какие грехи юности, застарелые ревматизмы, катары, простуды. Он даже лежал в постели недели две. Зато как хорошо выздоравливать, точно родишься во второй раз! Первою мыслью, когда Яков Иванович получил возможность выходить на свежий воздух,— первая мысль, конечно, была о том,

чтобы сейчас же сходить к Антониде Васильевне и примириться.

— О женщины, женщины!.. Разве можно на вас сердиться серьезному человеку? — рассуждал старик, пробираясь по знакомой дороге с большими остановками. — Все женщины немножко легкомысленны... Хе-хе!..

Ему представлялось вперед, как ей будет неловко и совестно перед ним, а он сделает такой вид, что не понимает, — не правда ли, ведь будет очень смешно? О женщины, женщины!.. Но вот и знакомый дом, и проклятая лестница, по которой так трудно подниматься, и дверь... да, та самая дверь, в которую... Якова Ивановича по шеям... Хе-хе!..

— Вам кого угодно? — окликнул старика незнакомый женский голос.

— Как кого? Антониду Васильевну...

— Их нет.

— Как нет, милая? Разве она переехала на другую квартиру?

— Да, переехала... на кладбище. Вот уже девятый день завтра...

— Девятый день?.. Странно... — бормотал Яков Иванович.

Он вышел опять на крыльцо и долго стоял, не надевая шапки. Девятый день… переехала на квартиру… Вдруг жгучая боль схватила его сердце, и Яков Иванович громко зарыдал, как ребенок. Боже мой, он остался теперь совершенно один, один из всей крапивинской труппы.

Верный раб {10}

I

— Михайло Потапыч... а?..

— Ну, чего ты пристал-то, как банный лист?.. Отвяжись...

— Эх, Михайло Потапыч... Родной ты мой, выслушай...

— Какой я тебе Михайло Потапыч дался в сам-то деле! Вот выдешь за ворота и меня же острамишь: взвеличал, мол, Мишку Михайлом Потапычем, а он, дурак, и поверил. Верно я говорю?.. Ведь ты чиновник, Сосунов, а я нихто... Все вы меня ненавидите, знаю, и все ко мне же, чуть что приключится: «Выручи, Михайло Потапыч». И выручал... А кого генерал по скулам лущит да киргизской нагайкой дует? Вот то-то и оно-то... Наскрозь я вас всех вижу, потому как моя спина за всех в ответе.

Мишка заврался до того, что даже самому сделалось совестно. Он оглядел своими узкими черными глазами Сосунова с ног до головы и удивился, что теряет напрасно слова с таким человеком. Действительно, Сосунов ничего завидного своей особой не представ-

лял: испитой, худой, сгорбленный, в засаленном длиннополом сюртучишке — одним словом, канцелярская крыса, и больше ничего. Узкая, сдавленная в висках голова Сосунова походила на щучью (в горном правлении его так и называли «щучья голова»), да и сам он смахивал на какую-то очень подозрительную рыбу. Рядом с этим канцелярским убожеством Мишка выглядел богатырем — коренастый, плотный, точно весь выкроен из сыромятной кожи. Мишкина рожа соответствовала как нельзя больше общей архитектуре — скуластая, с широким носом, с узким лбом и какими-то тараканьими усами; благодарные клиенты называли Мишку татарской образиной.

— Да я с тобой и разговаривать-то не стану, слова даром терять, — равнодушно заметил Мишка, отвертываясь от Сосунова. — Тоже, повадился человек, незнамо зачем... Вот выдет генерал, так он те пропишет два неполных. Ничего, што чиновник...

— Михайло Потапыч, яви божескую милость: выслушай... В третий раз к тебе прихожу, и все без толку.

— Вот привязался человек... Ну, ин, говори, да только поскорее. Того гляди, генеральша поедет...

— Все скажу, Михайло Потапыч, единым духом скажу... Дельце-то совсем особенное.

— Омманываешь што-нибудь?

— Вот сейчас провалиться. Ты только послушай, что я тебе скажу.

Сосунов осторожно огляделся и подошел к Мишке на цыпочках, точно подкрадывался к нему. Мишка еще раз смерил его с ног до головы и вытянул шею, чтобы слушать. Вся эта сцена происходила в большой передней «генеральского дома», как в Загорье называли казенную квартиру главного горного начальника, генерала Голубко. Передняя рядом окон выходила на широкий двор, чистый и утоптанный, как гуменный ток; в открытое окно, в которое врывался свежий утренний воздух, видно было, как в глубине двора, между двух столбов, стояла заложенная в линейку генеральская пара наотлет и тут же две заседланных казачьих лошади. Кучер Архип и два казака оренбургской казачьей сотни сидели под навесом и покуривали коротенькие трубоч-

ки. У ворот генеральского дома устроена была гауптвахта с пестрой будкой и такой же пестрой загородкой; на пестром столбике висел медный колокол, которым «делали тревогу», когда генерал выезжал из дому или приезжал домой. Между колоколом и будкой день и ночь шагал часовой с ружьем. В гауптвахте, низеньком каменном здании с толстыми белыми колоннами, дежурил офицер и солдаты специальной горной команды. Вся эта команда находилась в большой зависимости от Мишки: он подавал знак в окно, когда генерал выходил на верхнюю площадку парадной лестницы с мраморными ступенями. Часовой делал условный знак прикладом ружья, и команда готовилась выскочить с ружьями, чтобы отдать на караул по первому удару колокола. Часовые не спускали обыкновенно глаз с рокового окна.

— Знаешь гадалку Секлетинью? — шепотом спрашивал Сосунов.

— Ну?..

— Так вот я, значит, и толкнулся к ней както после пасхи... У меня причина с столоначальникам из золотого стола вышла.

— С Угрюмовым?

— С ним с самым... Поедом он меня ест и со свету сживает. Того гляди, подведет, а генерал в рудники законопатит да еще на гауптвахте измором сморит.

— Самый зловредный человек этот ваш Угрюмов, а относительно генерала ты правильно...

— Ну, взяло меня горе, такое горе, что и сна и пищи решился... Вот я и пошел к Секлетинье. Она в Теребиловке живет... Подхожу я это к ее избенке, гляжу, извозчик стоит. Что же, не ворочаться назад... Я в избу, а там... Может, я ошибся, а только сидит барыня, платочком голову накрыла, чтобы лицо нельзя было разглядеть, а я ее все-таки узнал. Барыня-то ваша генеральша...

— Н-но-о? — изумился Мишка и сейчас же ладонью закрыл Сосунову рот. — Тише ты, аспид...

Дело в том, что в этот момент на верхней площадке лестницы мелькнуло ситцевое платье горничной Мотьки, смертельного врага Мишки. Вот тоже подвернулась когда, проклятая...

— Да ты не огляделся ли? — шепотом допрашивал Мишка.

— Верно тебе говорю: вот сейчас провалиться... И Мотька с ней была, только дожидалась генеральши за углом. Я это потом досмотрел, когда генеральша поехала от Секлетиньи.

— Гм... да... — мычал Мишка, сразу проникаясь доверием к Сосунову и соображая свои мысли. — Ах ты, дошлый!.. Ведь вот, узорил... а?.. Ну, а дальше-то што?

— Ну, как генеральша ушла, я к Секлетинье... По первоначалу она все будто отвертывалась от меня: я к ней, а она спиной. Блаженная она, известно... А у меня уж со страхов коленки подгибаются. Ей-богу... Хуже этого нет, ежели Секлетинья к кому спиной повернется. Ну, у меня припасен был с собой на всякий случай золотой... Еще от баушки-покойницы достался. Вынул я этот золотой и подаю Секлетинье. Она взяла да как засмеется... У меня опять сердце коробом. А она завертелась на одной ноге, машет моим золотым и наговаривает: «Не в золоте твое счастье... Не в золоте! А любишь ты золото, только напрасно лю-

бишь». — «А будет счастье?» — спрашиваю. Она опять отвернулась от меня, добыла из-под лавки корыто, взяла ковш с водой, щепочку и давай в корыто воду лить да щепочку по воде пущать... Больше я от нее ничего и добиться не мог.

— Только-то? Напрасно только свой золотой стравил: отдал бы лучше его мне...

— Ах, какой ты, Михайло Потапыч... Слушай дальше-то. Как я после-то раздумался, так все и понял, вот до ниточки все, точно у меня глаза раскрылись... Ей-богу!.. Вот я теперь пятнадцать лет все добиваюсь в золотой стол попасть и не могу — она это и сказала, что мне не след туда попадать. Ты думаешь, я ей зря золотой-то принес? Ну, а щепочки, которые она по воде спущала, обозначают, что ты меня должон на караван определить...

При последних словах у Мишки даже руки опустились от изумления, — и ему сделалось все ясно. Вот так Секлетинья, да и Сосунов тоже ловок... Как по-писаному, так блаженная и отрезала. От судьбы, видно, не уйдешь. Да и ловок Сосунов, нечего оказать... Тоже словечко завернул: определи на караван. Легкое ме-

сто оказать. Ну, а если Секлетинья сказала, так и на караване будет. Мишка слепо верил в судьбу.

— Ну, чего же ты молчишь? — спрашивал Сосунов. — Я тебе все сказал, как на духу... О благодарности будь без сумленья.

— Ладно, ладно... Все на счастливого.

Мишка только хотел оказать что-то, как под окном мелькнула стриженая раскольничьей скобой голова в синем картузе, и Мишка указал Сосунову на маленькую дверку под лестницей, где жил сам. Сосунов едва успел затвориться, как в переднюю вошел степенный мужик в длиннополом сюртуке и смазных сапогах.

— Михайлу Потапычу... — развязно проговорил он, протягивая руку. — Весело ли попрыгиваешь?

— Не очень-то у нас напрыгаешься, Савелий, — уклончиво отвечал Мишка. — За вами где же угнаться...

Савелий красивыми темными глазами оглядел переднюю, мельком вскинул наверх и, разгладив окладистую русую бородку, проговорил:

— Тарас Ермилыч прислал узнать, как здоровье его превосходительства, и приказал кланяться...

— Обнакновенно, как завсегда. Сейчас генерал занят, и пустяками нельзя тревожить... Ужо скажу, когда можно будет... Ну, а как у вас: все дым коромыслом?

— Ох, и не спрашивай, Михайло Потапыч... Совсем даже ума решились: сильно закурил Тарас-то Ермилыч, а тут еще Ардальон Павлыч навязался...

— Это тот, што в карты играет? Откуда он у вас взялся?

— А неизвестно... На свадьбе, как Поликарп Тарасыч женились, он и объявил себя. Точно из-под земли вынырнул... А теперь обошел всех, точно клад какой. Тарас Ермилыч просто жить без него не может. И ловок только Ардальон Павлыч: медведь у нас в саду в яме сидит, так он к нему за бутылку шампанского прямо в яму спустился. Удалый мужик, нечего сказать: все на отличку сделает. А пить так впереди всех... Все лоском лежат, а он и не пошатнется. У нас его все даже весьма уважают...

— Который месяц теперь пошел, как свадьба-то ваша продолжается?

— Да уж близко полгода, Михайло Потапыч... Ох, горе душам нашим! Што только и будет: ума не приложить... Уж которые есть опасливые, так подобру-поздорову из города уезжают, потому как прямой зарез от нашей свадьбы.

Оглянувшись, Савелий на ухо шепнул Мишке:

— Ночесь[91] один енисейский купец, Тураханов по фамилии, с вина сгорел...

— Н-но-о?

— Верное слово... Он и на свадьбу-то попал зря, проездом завернул, — дела у него по промыслам с Тарасом Ермилычем были. Ну, и попал в самый развал, да месяца два без ума и чертил... Што уж теперь будет — и ума не приложим. Тарас-то Ермилыч в моленной заперся, а меня подослал сюда... Уж какая резолюция выдет нам от генерала — один бог весть.

Савелий с изысканной ловкостью, прикрыв руку картузом, сунул Мишке скомканную ассигнацию, — нужный человек Мишка,

чтобы генерала подготовить к известию о случившемся казусе. Мишка с неменьшей ловкостью спрятал посул куда-то в рукав.

— Уж ты, тово, Михайло Потапыч... Сослужи службу, а Тарас Ермилыч не забудет — так и наказывал сказать тебе.

— Да уж я для Тараса Ермилыча в ниточку вытянусь...

Конца фразы Мишка не успел договорить, потому что по лестнице сверху летела горничная Мотька с такой быстротой, точно ее оттуда сбросили, — она бежала на подъезд крикнуть кучеру, чтобы подавал лошадей генеральше. Мишка моментально вытянулся в струнку и окосил глаза на лестницу, по которой уж спускалась генеральша, молодая, пухлая дама, в сиреневом шелковом платье. Савелий почтительно отошел в сторонку и наклонил голову, как делают благочестивые люди в церкви. Мотька успела вернуться и помогала генеральше спускаться по лестнице, поддерживая ее за руку. «Стрела, а не девка», — подумал Савелий, большой охотник до проворных и ловких девок. Генеральша спускалась с недовольным лицом, застегивая мод-

ную лайковую перчатку цвета beurre frais[92]. Поровнявшись с Мишкой, она подняла на него свои темные блестящие глазки и певуче проговорила:

— А ты не слыхал, как я звонила?

— Никак нет-с, ваше превосходительство…

— Нет?..

В передней звонко раздались две ловких пощечины. Мишка не шевельнулся, а только замигал усиленно левым глазом. Это еще больше разозлило генеральшу, и она ударила кулаком Мишку прямо в зубы, так что у того «счакали» челюсти. Мотька искоса глядела на Савелия, улыбаясь одними глазами.

— Только перчатки из-за тебя, подлеца, испортила!.. — кричала генеральша, входя в азарт. — Мотька, новые перчатки…

Пока Мотька летала наверх за перчатками, взволнованная генеральша ходила по передней мимо стоявшего неподвижно Мишки и каждый раз давала ему по пощечине. Савелия она не хотела замечать. Наконец, она устала, села на стул к окну и закрыла глаза, чтобы не видеть ненавистного человека. Ей было лет двадцать пять, но благодаря полноте она ка-

залась старше. Круглое, белое, бескровное лицо не отличалось красотой, но, когда генеральша улыбалась, оно точно светлело и делалось очень симпатичным. Пока Мотька натягивала новые перчатки, генеральша не открывала глаз и даже склонила голову на один бок, как женщина, огорченная до глубины души. Мишка стоял все время не шевельнувшись и свободно вздохнул только тогда, когда генеральша вышла на крыльцо.

— Ну, и язва сибирская твоя генеральша, — с участливым вздохом проговорил Савелий.

— Ох, и не говори! — ответил Мишка, кулаком вытирая окровавленные губы. — Изводит она меня насмерть… Поедом съела. Тссс…

Мишка забыл, что Мотька осталась на крыльце и подслушивала их разговор. Но теперь было уже поздно… Мотька прошла по передней с таким видом, что у Мишки сердце повело коробом.

— Удалая девка, — проговорил Савелий, когда Мотька начала подниматься вверх по лестнице. — Вот бы мне такую: в самый раз…

Мотька остановилась, свесилась через пе-

рила и с особенным задором проговорила:

— Ступай к своим кержанкам, да и заигрывай... Кержак немаканый!..

— Да ведь ваша-то девичья вера везде одинакова, Мотя, — ласково ответил Савелий, блестя красивыми глазами. — Што кержанка, што православная...

— Ах, бесстыжие твои глаза!.. — вскрикнула Мотька, покраснела и, плюнув, вихрем унеслась вверх.

— Бес, а не девка... — как-то промурлыкал Савелий, сладко закрывая глаза. — Ох, грех с ними один! Прощенья просим, Михайло Потапыч...

Мишка простился с ласковым кержаком молча, — очень уж разогорчила его генеральша. Зачем при людях-то при посторонних срамить? Ежели нравится, — ну, бей с глазу на глаз, а тут чужой человек стоит и смотрит, как генеральша полирует Мишку со щеки на щеку. Чужой человек в дому, как колокол...

Сосунов оставался в засаде и не смел дохнуть. Ведь нанесла же нелегкая эту генеральшу, точно на грех, а теперь Михайло Потапыч рвет и мечет. Подойди-ка к нему... Ах, что на-

делала генеральша! Огорченный раб Мишка забыл о спрятанном Сосунове и, когда тот решился легонько кашлянуть, обругался по-мужицки.

— Ах ты, крапивное семя!.. Убирайся вон... ко всем чертям.

— Михайло Потапыч...

В пылу гнева Мишка даже замахнулся на Сосунова, но потом вдруг припомнил что-то и спросил:

— Так генеральша была у Секлетиньи?

— Своими глазами видел, Михайло Потапыч...

— Можешь при случае утвердить вполне?

— Могу.

— Ну, так попомни это, да пока, до поры до время, никому об этом не говори. Понял теперь?

II

Верный раб Мишка в Загорье являлся страшной силой, потому что старый генерал Голубко имел к нему какое-то болезненное пристрастие. Под сердитую руку генерал лупил Мишку нагайкой из собственных рук, но это не мешало Мишке управлять генералом

до некоторой степени. Все это знали, все этим пользовались, и всем это обходилось не дешево: Мишка даром ничего не любил делать, потому что «и чирей даром не вскочит», а «без снасти и клопа не убьешь». Главное, Мишка изучил своего генерала в тонкости и знал, когда к генералу можно идти и с чем — старик был ндравный и шутить не любил. Бывали случаи, когда неблагодарные люди хотели обойтись без Мишки и дорого платились за это.

Самое появление Мишки в передней генеральского дома было обставлено легендарными подробностями. Грозный генерал Голубко был послан на Урал с чрезвычайными полномочиями, далеко превышавшими губернаторскую власть. Нужно было подтянуть казенные горные заводы, золотые промыслы, частных заводчиков и вообще все крайне сложное горное дело. Старый николаевский генерал сразу поставил себя на настоящую точку, и одно его имя производило панику. В его руках сосредоточивалась не только гражданская, но и военная власть, а также судебная, по преступлениям горнозаводского на-

селения. Самый город сразу изменил свой внешний вид, хотя главным двигателем здесь и являлась казацкая нагайка, уничтожавшая в корне обывательскую лень. В Загорье были устроены обширные казенные фабрики для выделки оружия и разной заводской снасти. Здесь все было поставлено на солдатскую ногу, и когда генерал Голубко еще только подходил к фабрикам, там уже было слышно, как муха пролетит. Порядок во всем был слабостью грозного генерала, а до остального он мало касался, предоставляя все горным инженерам, состоявшим тогда на военном положении. Когда генерал проходил по фабрикам, все рабочие выстраивались во фронт и отдавали начальству честь по-солдатски. Горе тому, у кого недоставало пуговицы или носки врозь,— сейчас же следовало и возмездие. Чтобы не было попущений и послаблений, генерал сам наблюдал о точности исполнения предписанных наказаний. Наказывали тут же, на фабричном дворе, а розги заготовлялись возами. Вот именно здесь и проявился знаменитый Мишка, вынырнувший из безличной рабочей массы благодаря счастливой

случайности. Он работал на казенной фабрике, как все другие, и за какую-то провинность должен был получить пятьдесят розог. После экзекуции, производившейся под личным наблюдением генерала, Мишка выкинул невиданную штуку. Он смело подошел к генералу и заявил:

— Ваше превосходительство, не велите казнить, велите выслушать...

— Ну, что тебе?

— Закон требует порядка, ваше превосходительство... Обозначено было мне пятьдесят лозанов, а дадено всего сорок семь. Сам считал. Прикажите доложить...

В первую минуту генерал даже не нашелся, что отвечать, а его свита только переглядывалась — выискался невиданный зверь. Все были озадачены. Мишка воспользовался общим замешательством и занял место на деревянной кобыле, на которой производилось наказание. Получив три недоставшие розги, он поблагодарил генерала и как ни в чем не бывало отправился на работу в свой корпус. Этот случай поразил строгого генерала. Возвратившись домой, старик долго хохотал

и все повторял фразу Мишки: «Закон требует порядка». И утром на другой день генерал проснулся с этой же фразой и не мог успокоиться до тех пор, пока Мишка не был приведен в генеральский дом.

— Закон требует порядка? — спрашивал генерал.

— Точно так-с, ваше превосходительство! — по-солдатски отвечал Мишка, не сморгнув глазом.

— Дополучал три лозана? Ха-ха-ха...

Генерал Голубко был настоящий генерал, какие были только при императоре Николае, — высокий, плечистый, представительный, грозный, справедливый, вспыльчивый, по-солдатски грубый и по-солдатски простой. По наружности генерал мог считаться молодцом, несмотря на свои шестьдесят лет и совершенно седые волосы. Лицо было свежее и румяное, а грозные серые глаза глядели еще совсем по-молодому. И веселился грозный генерал всегда так искренне и радостно, что вместе с ним не смеялись только стены. Так раб Мишка и остался в генеральском доме, потому что генерал почувствовал к нему ка-

кое-то болезненное пристрастие. Определенной должности у него не было, а смотря по надобности Мишка исполнял все, что можно было требовать от верного раба. Генерал не мог жить без него и возил его с собой по всему Уралу, когда объезжал горные заводы. Недавний мастеровой преобразился в казака, — при генерале все было форменно, подтянуто в струнку и ходило козырем. Мишка быстро выучился казачьей муштре и вместе с ней усвоил казачью вороватость.

Пять лет верный раб Мишка благоденствовал вполне, как никто другой. Загорье в эти именно года прогремело открытым в Сибири золотом, и деньги лились рекой. Во главе золотопромышленников стояли Тарас Ермилыч Злобин, а потом старик Мирон Никитич Ожигов. Открытое ими в Сибири золото дало миллионы. За первыми предпринимателями потянулись другие и тоже получили свою долю, как Тихоновы, Сердюковы и Щеголевы. Около этик счастливцев толклись бедные родственники, разные предприниматели и просто прихлебатели и прохвосты. Золото — всемогущая сила, притягивающая к себе неудержи-

мо все — и добро и зло, больше всего последнее. Вот в это горячее время, когда всех охватила золотая лихорадка, верный раб Мишка и благоденствовал, потому что от него зависело, примет генерал или не примет такого-то, а затем — осчастливит он своим посещением или пренебрежет. Генерал был страшной силой, и Мишка эксплуатировал ее в свою пользу. Как это случается, сам генерал был искренне-честный человек и никаких взяток не брал, но зато брали около него все остальные, как не могли бы брать при начальнике-взяточнике. Грозный генерал не мог допустить даже мысли, что его подчиненные смели воровать у него под носом и обирать других. Помилуйте, он ли не грозен, — все трепетало от одного его взгляда. Верный раб Мишка брал больше всех, брал решительно все, что ему давали, что он мог взять и что вымогал разными неправдами. В нем развился какой-то пьяный азарт к взяточничеству: недавний бедняк, существовавший казенным пайком, теперь превратился в ненасытного волка. С своим новым положением Мишка освоился с необыкновенной быстротой и сейчас же пу-

стил в оборот все приемы, ходы и выходы закоренелого взяточника, хотя и не мог достичь изумительной ловкости таких артистов, как столоначальник «золотого стола» в горном правлении Угрюмов и консисторский протопоп Мелетий. Мишка мог только завидовать им, как чему-то недосягаемому, и его грызло сознание собственного несовершенства, особенно когда являлась предательская мысль, что он мог взять там-то и там-то или пропустил такой-то случай. Эти черные мысли заставляли Мишку просыпаться даже по ночам, и он вслух говорил себе:

— Эх, и дурак же ты, Мишка! Прямо сказать: балда деревянная... Разве протопоп Мелетий али Угрюмов сделали бы так? Да они бы кожу с самого генерала сняли... А теперь те над тобой же, дураком, смеются: «Эх, дурак Мишка, не умел взять!»

У Мишки развивалась мания взяточничества, и он по ночам, во время охватывавшей его бессонницы, по пальцам высчитывал все случаи, когда он мог взять и не взял, а также соображал те суммы, какие у него теперь лежали бы голенькими денежками в кармане.

Им овладевало настоящее бешенство, и Мишка готов был плакать, потому что у него перед глазами стояли такие непогрешимые и недосягаемые идеалы, как протопоп Мелетий и столоначальник Угрюмов.

Несмотря на эти муки неудовлетворенного и ненасытного взяточничества, верный раб Мишка благоденствовал и процветал до тех пор, пока его генерал не женился. Случилось это как-то вдруг, и Мишка считал себя прямым виновником быстрой генеральской женитьбы. Дело было зимой, на святках. Генерал после обеда отправился кататься. Сопровождавший его Мишка стоял по обыкновению на запятках саней. Когда они ехали по набережной пруда, Мишка, потрафляя хорошему послеобеденному настроению владыки, сказал:

— Вон катушки налажены, ваше превосходительство.

— Ну, что же из этого?

— А любопытно поглядеть, ваше превосходительство, как публика катается с гор. Попадаются такие девицы мещанского звания, што глаза оставить можно…

— Не пугай, дурак!

Генерал приказал кучеру повернуть на пруд, и генеральские сани через пять минут остановились у ближайшей горы. День был праздничный, и народ толпился кучей. Появление генерала сначала заставило толпу притихнуть, но он через казака отдал приказ веселиться. С горы полетели одни сани за другими, а генерал смотрел снизу и улыбался, как веселится молодежь. Катались не одни девицы мещанского звания, а и настоящая публика, — других общественных развлечений в Загорье тогда не полагалось. Один эпизод рассмешил генерала до слез. На одних санях впереди сидела молоденькая краснощекая девушка. Когда сани полетели с горы, у нее вырвался из рук подол платья, а ветром его подняло ей на голову. Мимо генерала вихрем пронеслось сконфуженное девичье лицо и соблазнительно открытые девичьи ноги.

— Чья эта... ну, полненькая? — задумчиво спрашивал генерал у Мишки, когда они вернулись с прогулки домой. — Из мещанского звания?

— Никак нет-с, ваше превосходительство:

дочь гиттенфервальтера[93] Тиунова, Енафа Аркадьевна. Девица, можно сказать, вполне-с...

— Дурак, разве ты можешь что-нибудь понимать в таком деле?..

Сконфуженное девичье лицо снилось генералу целую ночь, и он, проснувшись утром на другой день, сказал опять: «У, какая полненькая!»

Через две недели была свадьба, и дочь гиттенфервальтера Тиунова сделалась генеральшей Голубко. В приданое с собой она вывезла только одну крепостную девку Мотьку. Эта перемена в домашней обстановке генерала озадачила верного раба Мишку с первого раза, и он решительно не знал, как ему теперь быть. Молодая генеральша оказалась с ноготком и быстро забрала грозного генерала в свои пухлые белые ручки и почему-то с первого же взгляда кровно возненавидела верного раба Мишку, старавшегося выслужиться перед ней. Где крылись истинные причины этой ненависти, едва ли объяснила бы и сама генеральша, но верно было то, что она не могла выносить присутствия Мишки.

— Куда хочешь, папочка, а только убери этого дурака, — просила полненькая генеральша улыбавшегося счастьем грозного генерала. — Как увижу его, так целый день у меня испорчен...

— Зачем же обижать человека, который не сделал ничего дурного? — пробовал генерал защищать своего верного раба. — Я так привык к нему... Он знает все, все мои привычки, и никто так не умеет угодить мне.

— Даже я?

— Гм... да... то есть я хотел сказать...

— Не нужно! Ничего не нужно... Я думала, что ты меня любишь... я никогда еще ни о чем не просила тебя, папочка...

Дальше следовали первые слезы и необходимые утешения, а потом вышел генеральский приказ: Мишка низвергался в переднюю, и доступ наверх ему закрылся навсегда. Это было нечто ошеломляющее, и верный раб Мишка почувствовал себя в положении падшего ангела. Когда генерал проходил через переднюю, то старался не смотреть на Мишку, потому что чувствовал себя виноватым. Репутация верного раба Мишки сразу пошат-

нулась, и он имел тысячу случаев, убеждавших его в черной неблагодарности недавних доброхотов и вообще клиентов. К Мишке теперь обращались только по старой памяти или по ошибке. Все это сосало и грызло рабье сердце без конца, и Мишка страдал день и ночь. Но этим дело не кончилось. Генеральша не забывала низверженного в прах верного раба и с женской последовательностью донимала его всевозможными каверзами. Не раз генерал призывал верного раба к себе в кабинет, затворял дверь и грозно кричал:

— Да как ты смеешь, подлец, грубить генеральше? Да я тебя в порошок изотру... я... я...

Дальше следовала молчаливая лупцовка, причем Мишка не издавал ни одного звука, точно генерал колотил нагайкой деревянного чурбана. Верный раб даже не оправдывался, а принимал все эти истязания молча, как заслуженную кару за неизвестные преступления.

Но и этого мало. Вместе с влиянием на генерала полненькая генеральша постаралась заполучить и все доходные статьи, из сего законным образом проистекавшие, именно то,

чем безраздельно пользовался раньше один Мишка. Эти дела генеральша устроила с замечательной ловкостью, и «благодарность» разных добрых людей лилась на нее или через посредство горничной Мотьки, или через папашу гиттенфервальтера. Конечно, генеральша знала отлично все «тайности» Мишкиного взяточничества, но не выдала его генералу даже намеком, — в нем она щадила не только самое себя, но все горное ведомство, жившее такими посулами и благодарностью.

Верный раб Мишка стоял в своей передней и терпел все, что ни делала над ним генеральша, а это еще сильнее бесило расходившиеся генеральские ручки. Но, несмотря на все эти злоключения, верный раб смутно верил в свою счастливую звезду и все думал, как бы ему извести выматывавшую из него душу генеральшу. И день думает Мишка и ночь думает все об одном и том же, и ничего придумать не может, точно на пень наехал. Изморит его генеральша вконец. Раз, в минуту отчаяния, у Мишки явилась роковая мысль: взять веревку да и повеситься у генеральши в спальне, где люстра висит. Пусть ее казнится...

Последняя неприятность от генеральши, невольными свидетелями которой были Савелий и Сосунов, произвела на Мишку удручающее впечатление настолько, что о сообщении Сосунова, как генеральша с Мотькой ездили к гадалке Секлетинье, он вспомнил только через день. Зачем было ей шляться к ворожее? Генерал в ней души не чает, дом — полная чаша, сама толстеет по часам. Что-нибудь да дело неспроста.

— Эх, достигнуть бы генеральшу, кажется, такую бы свечу преподобному Трифону закатил! — мечтал Мишка, раздумывая свое горе. — Утесненным от начальства преподобный Трифон весьма способствует... А то не толкнуться ли к Секлетинье? Может, она и научит... От этих баб добра и зла не оберешься.

Пока Мишка размышлял, Сосунов опять завернул наведаться, как и что.

— Да ты с ума спятил? — накинулся на него обозленный Мишка. — Разве такие дела зря делаются: надо выждать. Не прежняя пора, когда я состоял при генерале ежечасно...

— Дело-то верное, Михайло Потапыч, —

настаивал Сосунов. — Уж ежели кому Секлетинья скажет что, так тому и быть. Щепочки-то она пущала по воде неспроста... А уж я тебя не забуду, Михайло Потапыч, только бы мне от Угрюмова избавиться. Уж подумывал в консисторию секретарем поступить к протопопу Мелетию, да жалованья у них двадцать семь рублей на ассигнации в год...

Уходя, Сосунов сообщил очень важное известие, именно, что генерал, по всей видимости, собирается в объезд по заводам и, по всей вероятности, его с собой возьмет. В горном правлении уж пронюхали об этом, да и Злобин подсылал тогда Савелия неспроста: эти кержаки знают все и раньше всех. Еще генерал и не подумал, а они уж знают, когда он поедет.

— А што бы ты думал: ведь правильно, — удивлялся Мишка, — вышибла меня генеральша из ума, а то и сам бы догадался.

— Может, и на караван посмотреть поедет, ну, так ты не зевай.

— Ладно, ладно... Ускорился тоже. К часу надо слово молвить...

— Да уж тебя не учить. А кержаки наперед

нас все учуяли...

III

Небольшой горный городок Загорье в сороковых годах испытывал лихорадочное оживление благодаря приливу бешеных денег. Составляя горнозаводский центр, Загорье был поставлен на военную ногу, потому что тогда все казенное горное дело велось военной рукой. Военная закваска чувствовалась в распланировке самых улиц, правильных и широких, в типе построек и больше всего, конечно, в характере самого населения. Заводский мастеровой и промысловый рабочий являлись разновидностью николаевского солдата — та же выслуга в тридцать пять лет, та же муштра, те же розги и шпицрутены. Генерал Голубко окончательно подтянул город, и он выглядел чистенькой военной колонией. Центр занимали казенные фабрики. Река Порожняя была поднята высокой плотиной и делила город на две части: правая — низменная, левая — гористая. На правой стороне из других зданий выделялся своей белой каменной массой «генеральский дом», а на левой — вершину холмистого берега заняли только

что отстроенные палаты новых богачей, во главе которых стоял золотопромышленник старик Тарас Ермилыч Злобин. В течение каких-нибудь пяти лет они из тысячных промышленников превратились в миллионеров и развернулись во всю ширь русской натуры. Наш рассказ застает их в самый критический момент, именно, когда эти миллионы породнились: старик Ожигов выдал свою последнюю дочь Авдотью Мироновну за единственного сына Злобина, Поликарпа Тарасыча.

Старик Ожигов, несмотря на свое богатство, жил прижимисто, по-старинному. Но зато в злобинском доме стояло «разливанное море». Самый дом занимал вершину главного холма, и с верхней его террасы открывался великолепный вид на весь город, на сосновый бор, охвативший его живым кольцом, и на прятавшиеся в этом лесу заимки. Злобин не жалел денег, когда строил свой дворец. В нем было все — и флигеля, и оранжереи, и громадный сад, и большая раскольничья моленная, и потаенные каморки с потаенными в них ходами. На улицу дом выходил великолепным фронтоном, с колоннами, балконами

и лепными карнизами; ворота представляли собой настоящую триумфальную арку. На мощеном широком дворе всегда стояло несколько экипажей. Старик Тарас Ермилыч занимал парадный верх, а новожен Поликарп жил в нижнем этаже. Кругом всего двора сплошной стеной шли домашние пристройки — людские, конюшни, флигеля. В общем, злобинский дом представлял собой целый городок, битком набитый всевозможным людом — тут жили и бедные родственники, и служащие, и разные богомольные старушки, и просто гости, как Смагин. В злобинском доме угощались званый и незваный вот уже больше полугода, потому что празднование свадьбы затянулось на неопределенное время.

К обеду в злобинский дом наезжали гости со всех сторон — своя братия купцы, горные чиновники, разные нужные люди и просто гости. Обед был ранний, ровно в час. Длинная столовая помещалась в верхнем этаже и выходила окнами на широкую садовую террасу. Из-за стола гости переходили летом прямо сюда, пили здесь чай, а вечером устраивались внизу, у Поликарпа Тарасыча, где шла горя-

чая картежная игра. Сам старик Злобин не играл, но в Смагине он души не чаял и даже перевел его жить в тот же дом — в антресолях была прелестная комнатка с балконом. Табачник и волтерьянец, как называл Смагина консисторский протопоп Мелетий, поселился в этом раскольничьем гнезде своим человеком.

Подручный Савелий в тот день, когда был у Мишки, так и не мог урвать свободной минуты, чтобы переговорить с самим Тарасом Ермилычем. Помешали гости, да и Тарас Ермилыч немножко лишнее выпил, а тогда к нему приступу нет, хоть камни с неба вались. Неукротимый был человек, когда развеселится. Пришлось выжидать следующего утра, когда Тарас Ермилыч выйдут из моленной. Это было лучшее время для всяких объяснений. Моленных в злобинском доме было несколько: одна большая, в особом корпусе, а затем так называемая «стариковская» и еще несколько маленьких. У Тараса Ермилыча была своя собственная, рядом со спальней. Савелий имел доступ к «самому» во всякое время без доклада, а поэтому и прошел через парадную залу и гостиную прямо в спальню. В при-

отворенную дверь моленной он видел, как старик прилеплял к образу восковую свечу, а потом стал «класть уставной начал» с лестовкой и подручником, как подобает по древлему благочестию. Высокая и плотная фигура «самого» только установилась в молитвенную позу, как прилепленная к образу свеча свалилась. Тарас Ермилыч сделал нетерпеливое движение, но удержался и со смирением прилепил свечу во второй раз. Не успел он сделать уставных трех поклонов, как свеча снова упала. Это рассердило старика, но он еще раз прилепил свечу к образу. Но когда она упала в третий раз, он вскочил на ноги, схватил свечу и бросил ее о пол, а сам выбежал из моленной, весь красный от охватившего его бешенства. Увидев Савелия, Тарас Ермилыч плюнул и обругался по неизвестному адресу.

— Ты тут чего торчишь, оглашенный? — накинулся он на Савелия.

— Я, Тарас Ермилыч...

— Вижу, что ты... ну?

Савелий по привычке опустил глаза и своим ровным тенориком стал, не торопясь, рас-

сказывать о своем вчерашнем переговоре с Мишкой. Тарас Ермилыч сразу успокоился. Это был высокий статный старик с большой красивой головой. Широкое русское лицо глядело большими серыми глазами, сердитыми и ласковыми в одно и то же время; окладистая темная борода, охваченная первым инеем благообразной старости, придавала этому лицу такой патриархальный вид. Волосы на голове совсем поседели, но лежали молодыми кудрями. Простая ситцевая рубашка-косоворотка, перехваченная шелковым пояском, заправленные в сапоги тиковые штаны и длиннополый, раскольничьего покроя кафтан составляли весь домашний костюм миллионера. Прислушиваясь к рассказу Савелия, Тарас Ермилыч несколько раз хмурил брови и покачивал головой, а когда рассказ дошел до рукоприкладства генеральши, он засмеялся.

— Этакая изъедуга-баба, — проговорил старик. — Из щеки в щеку так и нажаривает? Ловко... А он только мигает, Мишка-то?

— Так точно-с, Тарас Ермилыч... Даже вчуже как-то нелепо было смотреть на такой конфуз. Генеральша Енафа Аркадьевна все-та-

ки благородные дамы и вдруг объявили такое полное безобразие... Женскому полу это даже совсем не соответствует.

— А Мишка-то только мигает? Ха-ха... Она его прямо по татарской образине хлясь, а он только мигает?.. Ты вот что, Савелий (Тарас Ермилыч взял подручного за ворот кафтана), как-нибудь при случае, ловконько этак, расскажи при Смагине, как генеральша полировала Мишку... Пусть он послушает.

— Можно-с и так обернуть, Тарас Ермилыч...

— Будто так, дурам сболтнул... понимаешь?.. Да еще вот что: ступай ты сейчас к Мирону Никитичу и объяви про свой разговор с Мишкой: я для него тебя засылал.

Савелий сделал налево кругом, но Тарас Ермилыч вернул его от дверей и задумчиво проговорил:

— Вот мы сейчас посмеялись с тобой над Мишкой, а ведь он недаром мигал... Помяни мое слово: за битого двух небитых дают. Ступай. Кланяйся Мирону-то Никитичу да скажи, что он нас забывает совсем.

Про опившегося енисейского купца старик

не сказал ни одного слова, как будто так и быть должно. Само по себе мертвое тело еще бы ничего — похоронили, и вся недолга. Полиция была в руках у всесильного Тараса Ермилыча. Но страшен был генерал: как он взглянет на такой казус? Положим, он дружил с Злобиным и бывал у него по-домашнему, даже трубку свою привозил, но все-таки страшно — а вдруг наморщится? а вдруг учнет фыркать? а вдруг рявкнет, яко скимен? Генеральская дружба — как вешний лед. Выручил из неловкого положения Смагин. Главное, сам вызвался. Только и удалый человек... В генеральском доме он частенько бывал и, как говорили злые языки, строил куры самой генеральше.

— Я в смешном виде всю историю генералу расскажу, — объяснял накануне Смагин недоумевавшему Тарасу Ермилычу. — Старик посмеется — только и всего.

— Ох, в добрый бы час только попасть, Ардальон Павлыч, — угнетенно вздыхал старик. — Огонь, а не человек, ежели не в час...

— Уж будьте покойны, все в лучшем виде. Много будет смеяться Андрей Ильич.

— Дивлюсь я на твою смелость, Ардальон Павлыч, — наивно признавался Тарас Ермилыч, — как это ты легко о генерале разговариваешь и даже в глаза Андреем Ильичом называешь.

— Чего же бояться его: такой же человек, как и мы с вами.

— Такой, да не совсем...

Смагин задумчиво улыбнулся и покрутил свой черный ус. Это был красивый и видный мужчина, один из тех счастливцев, для которых женщины идут на все. На вид ему можно было дать лет тридцать с большим хвостиком, но его молодила военная выправка и уверенность в себе. Бороду он брил и носил по-военному одни усы, одевался франтом и вообще держал себя львом. Загадочные темные глаза глядели устало и светлели только в присутствии хорошеньких женщин. Тарасу Ермилычу нравилась в Смагине вся его барская повадка — он и не унижался, как другие, и головы не задирал выше носу, а тронуть его пальцем никто бы не посмел. Так взглянет, что не поздоровится. Устраивая дело с генералом, он и виду не подал, что делает какое-ни-

будь одолжение Злобину, а так просто взял да и уважил хорошего человека, точно стакан воды выпил. «Сокол ясный», — думал Тарас Ермилыч, тронутый очестливостью мудреного гостя.

— Так ты когда к генералу-то, Ардальон Павлыч? — спрашивал Злобин, не умея скрыть своего нетерпения.

— А завтра...

— Нельзя ли поскорее? Как узнает генерал стороной про мертвое-то тело, хуже будет. Тогда уж к нему не подступишься...

— Вздор!.. Не беспокойтесь: сказал, что устрою, значит, и будет так.

Самоуверенность Смагина подействовала на Злобина успокаивающим образом, хотя он и заключил свою беседу с ним широким вздохом.

Мертвое тело опившегося купца было стащено в самый задний флигель, где помещалась своя злобинская богадельня. Это обстоятельство смущало весь дом, начиная с самого хозяина и кончая последним конюхом. Главное то, что нехороший знак... А тут еще следствие, доктора будут потрошить — греха не

оберешься. Положим, что везде было дано больше, чем следует, а все-таки слух пойдет по всему городу. Может еще и родня привязаться... Одним словом, неприятность вполне. Полицеймейстер уже приезжал два раза, смотрел покойника и только плечами пожал.

— Убрать бы его, Иван Тимофеич? — взмолился Злобин.

— Не могу, Тарас Ермилыч: уголовное дело... Надо следствие произвести и допросить свидетелей.

— Да чего спрашивать, когда человек с вина сгорел? Ежели бы знатье, так я бы его близко к дому не пустил, не то что угощать...

Потом приехал доктор и тоже пожал плечами. Тоже свой человек был, а тут оказал себя хуже чужого. О том, где будут потрошить «мертвяка», Тарас Ермилыч не смел и спросить: и дом новый, и свадьба еще не кончилась, а тут этакая мерзость. Хоть бежать из дому, так в ту же пору... Да и гости теперь будут сомневаться: не ладно, дескать, в злобинском доме. Вообще скверно, как ни поверни... И полицеймейстер и доктор начинают заметно ломаться, возмущая гордость Тараса Ерми-

лыча, неумевшего кланяться. И тут выручил опять Смагин, бывший с полицеймейстером на «ты». Съездил Смагин к благоприятелю, что-то там поговорил, а ночью явилась полиция и увезла мертвяка в казенную больницу.

— Надо будет благодарность оказать его благородию, — говорил Злобин, когда все дело было улажено.

— Конечно... Только нельзя прямо совать деньги: полицеймейстер обидится, и доктор тоже.

— Я с Савельем пошлю...

— И это неудобно... По-благородному сделаем: вы дайте деньги мне, а я их проиграю полицеймейстеру и доктору. Они уж сами поймут, откуда благодать свалилась...

— Ах, Ардальон Павлыч, Ардальон Павлыч... ловко!.. Конешно, мы — мужики, и поблагодарить по-настоящему не сумеем. Каждое дело так-то...

Смагин так и сделал, как говорил: в тот же вечер, когда метал банк, доктор и полицеймейстер выиграли именно ту сумму, какая им была ассигнована в благодарность. Злобин сам наблюдал за этой игрой: из копейки в ко-

пейку все верно. Одним словом, Смагин являлся каким-то добрым гением.

Мы уже сказали, что гости не переводились в злобинском доме. Но этого было мало: из злобинского дома они всей ордой перекочевывали к Тихоновым, от Тихоновых к Сердюковым, от Сердюковых к Щеголевым, а от Щеголевых опять в злобинский дом. Получался настоящий заколдованный круг, из которого трудно было вырваться. Достаточно было раз попасть в одно из звеньев этой роковой цепи, чтобы потом уже не вырваться. После первых двух месяцев отчаянного кутежа многие оказались несостоятельными продолжать свадебное веселье дальше: одни сказывались больными, другие малодушно прятались, а третьи откровенно бежали куда глаза глядят. Покойный енисейский купец Туруханов пробовал убегать несколько раз, но его ловили и возвращали с дороги.

Когда Савелий вернулся от старика Ожигова, Тарас Ермилыч спросил:

— Ну что, сильно ругается старик?

— Порядочно-таки отзолотил нас всех, Тарас Ермилыч... Наказывал беспременно, что-

бы вы сами у него побывали.

— Лично хочет обругать?

— Это само собой, а главная причина, что у них дельце есть какое-то до вас... Все счетами меня донимали... По промыслам и по заводам неустойку с вас взыскивать хотят.

— Ладно, ладно... Будет с него: насосался он с меня достаточно. Такая ненасытная утроба... И куда, подумаешь, деньги копит? Кажется, достаточно бы, даже через число достаточно.

— Казенные подряды хотят брать Мирон Никитич и опять меня к Мишке подсылают, хотя теперь Мишка и не в случае. Не любят они очень генеральшу, потому как к ним без четвертной бумаги не подойдешь, а Мишка брал жареным и вареным. Очень сердитуют Мирон Никитич на генеральшу...

— Старуха на мир три года сердилась, а мир и не знал... Ну, а ты не забудь, что я тебе про Ардальона Павлыча говорил: надо и нам над ним шутку сшутить.

— Это насчет генеральши?

— Было тебе сказано, дурак!..

— Точно так-с, Тарас Ермилыч...

Выжидать удобного случая Савелью пришлось недолго. В тот же вечер, когда играли на половине Поликарпа Тарасыча, он рассказал историю избиения Мишки генеральшей так, что Смагин не мог не слышать, но барин и тут не выдал себя, а только покосился на подручного и закусил один ус.

— Не поглянулось? — злорадствовал Тарас Ермилыч, хотя этим путем старавшийся выместить на ловком барине свое невольное подчинение ему.

Исполнив поручение, Савелий не забыл и себя: озлобится Ардальон Павлыч и какую-нибудь пакость подведет, а много ли ему, маленькому человеку, нужно. В тот же вечер, чтобы задобрить Смагина, Савелий рассказал ему историю, как Тарас Ермилыч утром молился богу. Смагин захохотал от удовольствия, а потом погрозил Савелью пальцем и проговорил:

— Хорошо, хорошо, сахар... Понимаю!.. Только ты у меня смотри: говори, да откусывай.

— Это вы насчет генеральши, Ардальон Павлыч?

— Да, насчет генеральши. Нечего дурака валять...

По пути Смагин ловко выспросил у Савелья, какие такие дела у Злобиных и у Ожиговых, что они так боятся генерала. Ведь у них главные дела в Сибири, а генерал управляет горной частью только на Урале. Савелий, прижатый к стене, разболтал многое, гораздо больше того, что желал бы рассказать: так уж ловко умел спрашивать Ардальон Павлыч. Конечно, сибирские дела большие, но далеко хватает и генеральская сила.

— Первое дело то, Ардальон Павлыч, — повествовал Савелий, заложив по привычке руки за спину, — что сибирское золото обыскали мы, то есть Тарас Ермилыч. Ну, за ним другие бросились: Тихоновы, Сердюковы, Щеголевы. И каждый свой кус получил... Хорошо-с. А родным сибирякам это, например, весьма обидно, потому как пришли чужестранные люди и их родное золото огребают... Дикой народ и сторона немшоная, а это понимают. Вот они сейчас давай делать нам с своей стороны прижимку... Оспаривают заявки, оттягивают прииски. А это какое дело: заявляю я

спор, положим, совсем нестоющий, а работы у Тараса Ермилыча останавливают из-за моего спора. Все поперек и пойдет: рабочие кандрашные без дела сидят, провиянт гниет, приисковое обзаведение пустует, а главное — время понапрасну идет. Порядки-то в Сибири известные: один Никола бог. Ну, большая идет прижимка, и Тарасу Ермилычу приходится уж в Питере охлопатывать сибирские дела, а там один разор: что ни шаг, то и тыща. Да еще тому дай пай, да другому, да третьему... Вот генерал наш и вызволяет, потому как у него в Питере везде своя рука есть.

— Так, так, — поддакивал Смагин, соображая что-то про себя.

— Другое дело, Ардальон Павлыч, эти самые заводы, которые Тарас Ермилыч купили. Округа агроматная, шестьсот тыщ десятин, рабочих при заводах тыщ пятнадцать — тут всегда может быть окончательная прижимка от генерала. Конешно, я маленький человек, а так полагаю своим умом, что напрасно Тарас Ермилыч с заводами связались. Достаточно было бы сибирских делов... Ну, тут опять ихняя гордость: хочу быть заводчиком в том

роде, например, как Демидов или Строганов.

— Так, так... Ну, довольно на этот раз.

Удивительный был человек этот Ардальон Павлыч; никак к нему не привесишься. Очень уж ловко умел он расспрашивать... И все ему нужно знать, до всего дело. Такой уж любопытный, знать, уродился.

IV

Ардальон Павлыч Смагин просыпался очень поздно, часов в двенадцать, когда добрые люди успевали наработаться и пообедать. Впрочем, в злобинском доме этому никто и не удивлялся, потому что в качестве настоящего барина Смагин жил не в пример другим, а сам по себе. Проснется он часам к двенадцати и целый час моется да чистится, а потом наденет золотом расшитые туфли, бархатный турецкий халат, татарскую ермолку, закурит длинную трубку и в таком виде выйдет на балкон погреться на солнышке и полюбоваться божьим миром. На балкон Смагину подавали его утренний кофе. Вся злобинская челядь любовалась настоящим барином, пока он сидел на балконе и кейфовал, и даже подручный Савелий чувствовал к этому нена-

вистному для него человеку какое-то тайное уважение, как уважал вообще всякую силу. Ворчали на барина только древние старики и старухи, ютившиеся по тайникам и вышкам: продымит своим табачищем барин весь дом.

Итак, Смагин проснулся, напился кофе, выкурил две трубки, переоделся и велел подать себе лошадь. Весь злобинский дом с нетерпением ждал этого момента, потому что все знали, куда едет Ардальон Павлыч. Сам Тарас Ермилыч не показался, а только проводил гостя глазами из-за косяка.

— Помяни, господи, царя Давыда и всю кротость его!.. — шептал струсивший миллионер. — Устрой, господи, в добрый час попасть к генералу.

А барин Ардальон Павлыч катил себе на злобинском рысаке как ни в чем не бывало. Он по утрам чувствовал себя всегда хорошо, а сегодня в особенности. От злобинского дома нужно было спуститься к плотине, потом переехать ее и по набережной пруда, — это расстояние мелькнуло слишком быстро, так что Смагин даже удивился, когда его пролетка остановилась у подъезда генеральского дома.

Встречать гостя выскочил верный раб Мишка.

— Дома генерал? — развязно спрашивал Смагин и, не дожидаясь ответа, скинул свою летнюю шинель на руки Мишке.

— Не знаю... — уклончиво и грубо ответил Мишка, не привыкший к такому свободному обращению — сам Тарас Ермилыч смиренно ждал в передней, пока он ходил наверх с докладом, а этот всегда ворвется, как оглашенный.

Когда Смагин, оглянув себя в зеркало, хотел подниматься по лестнице, Мишка сделал слабую попытку загородить ему дорогу, но был оттолкнут железной рукой с такой силой, что едва удержался на ногах.

— Без докладу нельзя... — бормотал обескураженный Мишка.

Барин даже не оглянулся, а только, встретив на верхней площадке почтительно вытянувшуюся Мотьку, проговорил:

— Это что у вас за чучело гороховое стоит в передней? Генерал дома?

— Пожалуйте...

— А Енафа Аркадьевна?

— Они у себя в будуваре...

Мотька любовно поглядела оторопелыми глазами на красавца барина и опрометью бросилась с докладом в кабинет к генералу. Смагину пришлось подождать в большой гостиной не больше минуты, как тяжелая дверь генеральского кабинета распахнулась, и Мотька безмолвным жестом пригласила гостя пожаловать. В отворенную половину уже виднелась фигура генерала, сидевшего у письменного стола, — он был, как всегда, в полной военной форме. Большая генеральская голова, остриженная под гребенку, отливала серебром. Загорелое лицо было изрыто настоящими генеральскими морщинами. В кабинете стоял посредине большой письменный стол, заваленный бумагами, несколько кресел красного дерева, турецкий диван, обтянутый красным сафьяном, два шкафа с книгами, третий шкаф с минералами — и только. Над турецким диваном на стене развешено было в живописном беспорядке разное оружие, а в простенке между окнами портрет государя Николая Павловича во весь рост.

— Ваше превосходительство, я боюсь, что

помешал вашим занятиям... — почтительно проговорил Смагин, делая глубокий поклон.

— А, это ты, братец, — фамильярно ответил старик, не поднимаясь с места и по-генеральски протягивая два пальца. — А когда я бываю не занят? Я всегда занят, братец... Дохнуть некогда, потому что я один за всех должен отвечать, а положиться ни на кого нельзя.

— Все удивляются вашей энергии, ваше превосходительство... Город сделался неузнаваемым: чистота, порядок, благоустройство и общая благодарность.

— Благодарность?..

— Точно так, ваше превосходительство...

— Но ведь я, братец, строг, а это не всем нравится...

— Главное, вы справедливы...

— О, я справедлив! — милостиво согласился грозный старик, взятый на абордаж самой дешевенькой лестью. — Да ты, братец, садись... Ну, что у вас там нового? Очень уж что-то развеселились.

— Тарас Ермилыч просил засвидетельствовать вам свое глубокое почтение. Ведь они

молятся на вас, ваше превосходительство!

— Знаю, знаю...

— И притом народ все простой, без всякого образования. Лучшие чувства иногда проявляются в такой откровенной форме...

— Да, но нельзя этого народа распускать: сейчас забудутся. Мое правило — держать всех в струне... Моих миллионеров я люблю, но и с ними нужно держать ухо востро. Да... Мужик всегда может забыться и потерять уважение к власти. Например, я — я решительно ничего не имею, кроме казенного жалованья, и горжусь своей бедностью. У них миллионы, а у меня ничего... Но они думают только о наживе, а я верный царский слуга. Да...

Смагин почтительно наклонил голову в знак своего душевного умиления, — солдатская откровенность генерала была ему на руку. После этих предварительных разговоров он ловко ввернул рассказ о том, как Тарас Ермилыч молился утром богу и бросил свечу об пол. Генералу ужасно понравился анекдот, и генеральский смех густой нотой вырвался из кабинета.

— Три раза прилеплял свечу, а потом об пол?

— Точно так, ваше превосходительство... Бросил свечку и убежал из моленной.

— На кого же это он рассердился: на свечу или на бога?.. Надо его будет спросить самого... Ха-ха!.. «Господи помилуй!» — а потом и свечку о пол. Нет, что же это такое, братец? Послушай, да ты это сам придумал?..

— Истинное происшествие, ваше превосходительство. Удивительного, по-моему, ничего нет, потому что совсем дети природы...

— Ну, этого я не понимаю, братец, какие там дети природы бывают, а вот со свечкой так действительно анекдот... Надо будет Енафе Аркадьевне рассказать: пусть и она посмеется. Только я сам-то не мастер рассказывать бабам, так уж ты сам.

— Сочту за особенное счастие, ваше превосходительство.

— «Господи помилуй!», а потом свечку... ха-ха!.. Нет, братец, ты меня уморил... Пусть и Енафа Аркадьевна посмеется.

Подогрев генерала удачно подвернувшимся анекдотом, Смагин еще с большей ловко-

стью передал эпизод о сгоревшем с вина енисейском купце, причем в самом смешном виде изобразил страх Тараса Ермилыча за это событие.

— Вот дурак... — удивился генерал. — Да ведь он не убивал этого опившегося купца?.. Дорвался человек до дарового угощения, ну, и лопнул... Вздор! А вот свечка... ха-ха! Может быть, Тарас-то Ермилыч с горя и помолиться пошел, а тут опять неудача... Нет, пойдем к генеральше!..

Развеселившийся старик подхватил гостя под руку и повел его через парадный зал в гостиную хозяйки. Енафа Аркадьевна была уже одета и встретила их, сидя на диване. Гостиная была отделана богато, но с мещанской пестротой, что на барский глаз Смагина производило каждый раз неприятное впечатление. Сегодня она была одета более к лицу, чем всегда.

— Вот он... он все тебе расскажет... — шептал генерал, задыхаясь от смеха. — Ох, уморил!..

Повторенный Смагиным рассказ, однако, не произвел на генеральшу ожидаемого дей-

ствия, — она даже поморщилась и подняла одну бровь.

— По-моему, это очень грубо... — проговорила она, не глядя на гостя.

— Ах, матушка, ничего ты не понимаешь!.. — объяснил генерал. — Ведь Тарас Ермилыч был огорчен: угощал-угощал дорогого гостя, а тот в награду взял да и умер... Ну, кому приятно держать в своем доме мертвое тело? Старик и захотел молитвой успокоить себя, а тут свечка подвернулась... ха-ха!..

— Вам нравится все грубое, — спорила генеральша по неизвестной причине. — Да и вообще, что может быть интересного в подобном обществе? Вам, Ардальон Павлович, я могу только удивляться...

— Именно, Енафа Аркадьевна?

— Именно, что вы находите у этих богатых мужиков? Невежи, самодуры... При вашем воспитании, я не думаю, чтобы вы могли не видеть окружающего вас невежества.

— Совершенно верно, но ведь я здесь случайно... Оригинальная среда, а в сущности люди недурные.

С генеральшей Смагин познакомился в

клубе и сначала не обратил на нее никакого внимания. Но потом он по привычке начал немножко ухаживать за ней, как ухаживал за всеми дамами. Ничего особенного, конечно, в ней не было, но, как свежая и молоденькая женщина, она подогревала его чувственную сторону, — Смагин любил молодых дам, у которых были очень старые мужья, как в данном случае. В них было что-то такое неудовлетворенное и просившее ласки... Но вместе с тем этот «ферлакур» не любил очень податливых красавиц, а предпочитал серьезные завоевания, со всеми препятствиями, неудачами и волнениями, неизбежно сопутствующими такие кампании. На его взгляд генеральша соединяла в себе оба эти качества.

— Так вам нравятся наши миллионеры? — приставала генеральша, вызывающе поглядывая на гостя.

— Если хотите — да... Оригинальная среда и оригинальные нравы. Впрочем, я скоро уезжаю.

— Куда? — спросил генерал.

— В Петербург... У меня там родные и дела.

Высидев приличное время для визита,

Смагин раскланялся и уехал. На прощанье он так взглянул своими улыбающимися глазами на генеральшу, что та даже потупилась и слепка покраснела.

— Так я сегодня же вечером буду у вас, — говорил генерал, провожая гостя через зал. — Так, братец, и скажи Тарасу Ермилычу... Только, чур! не проболтайся о свечке... ха-ха!.. Уговор дороже денег. Понимаешь?

— Будьте спокойны, ваше превосходительство.

По уходе Смагина генерал долго не мог успокоиться и раза два проходил из своего кабинета в гостиную, чтобы рассказать какую-нибудь новую подробность из анекдота о свечке. Енафа Аркадьевна только пожимала плечами, а генерал не хотел ничего замечать и продолжал смеяться с обычным грозным добродушием.

— Мне кажется подозрительным этот Смагин, — заметила обозленная генеральша. — Что он за человек, зачем он живет здесь, как, наконец, попал сюда?..

— Вот тебе раз!.. — удивился генерал. — Смагин — дворянин, служил в военной служ-

бе, а здесь по своим делам...

— По каким же это делам, позвольте спросить?

— Ну, вообще, мало ли какие дела бывают... Гм... А, впрочем, кто его знает в самом деле.

— Мне кажется, что он просто шулер! — выстрелила генеральша с такой неожиданностью, что генерал даже остолбенел. — У Злобиных идет большая игра...

Генерал поднял брови, потом нахмурился, но, вспомнив про свечку, расхохотался.

— Э, матушка, куда хватила!.. Этак и я тоже шулер, потому что тоже играю в карты у Тараса Ермилыча, даже и с Смагиным не один раз играл. Играет он действительно недурно, но делает большие промахи...

В подтверждение своих слов старик рассказал последнюю партию в бостон, а потом опять засмеялся и прибавил другим тоном:

— Нет, не могу, голубушка... Сегодня же поеду к Тарасу Ермилычу и попрошу самого рассказать все... самого!.. Ха-ха-ха...

Возвращение Смагина в злобинский дом было настоящим событием. Сам Тарас Ерми-

лыч выскочил на подъезд и, когда узнал о благополучном исходе объяснения с генералом, троекратно облобызал дорогого гостя.

— Уж чем я и благодарить тебя буду? — спрашивал в умилении старик. — Глаз у тебя счастливый, Ардальон Павлыч: глянул, и готово...

— Пустяки, Тарас Ермилыч, о которых не стоит и говорить... А генерал даже смеялся и сегодня вечером хотел сам быть у вас.

— Н-но-о?

— Да... Просил передать вам.

Гости в злобинском доме не переводились, так как продолжали праздновать свадьбу, а поэтому к вечеру народу набралось нетолченая труба. Были тут и своя братия купцы, и горные чины, и военные, и не известные никому новые люди, о которых даже сам хозяин не знал, кто они и откуда. Среди гостей ходил испитой секретарь знаменитого золотого стола Угрюмов, а на почетном месте на диване сидел сам консисторский протопоп Мелетий, толстый и розовый, обросший бородой до самых глаз. Протопоп и секретарь сильно дружили и, кажется, не могли жить один без дру-

гого, — где протопоп, там и секретарь, и наоборот. Злобины и вся злобинская родня были отъявленные раскольники, но протопоп Мелетий не считал унижением бывать в злобинском доме, потому что там бывал сам генерал.

— Все мы, ваше превосходительство, грешны да божьи, — объяснял Мелетий, хитро улыбаясь. — А господь разберет, кто прав, кто виноват и что чего стоит. Вот и Угрюмов то же говорит...

— Не похвалят нас с тобой, протопоп, — отшучивался генерал, любивший хитрого попа. — Ведь ты не пошел бы к Тарасу Ермилычу, ежели бы он бедный был, да и я тоже...

Купеческая братия, состоявшая из Тихоновых, Сердюковых и Щеголевых с их прямыми и косвенными дополнениями, обыкновенно старались сбиться в одну кучку, чтобы не мешать своим присутствием разным властодержцам от воинских и горных чинов. Вообще они держались своей компании и чувствовали себя самими собой только после хорошей выпивки или внизу у Поликарпа Тарасыча, где веселье шло уже совсем нараспашку.

Наверху всех стеснял парад, — очень уж все по-модному Тарас Ермилыч наладил. Паркетный пол, расписные потолки, саженные зеркала, шелковая мебель — разойтись по-настоящему негде, чтобы каждая косточка радовалась. А когда приезжал генерал, то наверху уж совсем житья не было — все смотрели в рот генералу и молчали, за исключением самого Тараса Ермилыча, протопопа Мелетия и Смагина. То ли дело у Поликарпа Тарасыча — в одной комнате столы с закуской и выпивкой, в других комнатах столы для игры в карты, и вообще все устраивались по своему желанию. И выпить можно без приглашения, и в бостон сыграть, и песенку спеть своей компанией.

Смагин вернулся от генерала как раз к обеду. Гости, конечно, знали о его секретном поручении, и когда Тарас Ермилыч, встретив его, вернулся в столовую с веселым видом, все вздохнули свободнее: тучу пронесло мороком. Хозяин сразу повеселел, глянул на всех соколом и шепнул Савелию:

— Музыку в сад да подлеца Илюшку добудь, со дна моря достань его, а то лучше и на

глаза не показывайся...

Умел веселиться Тарас Ермилыч, когда бывал в духе — улыбнется, точно солнышком осветит всех. Так было и теперь. Гости сразу зашумели, точно пчелиный рой слетел.

— А где у нас бабы? — спрашивал старик, оглядывая гостей.

— Внизу у Авдотьи Мироновны сидят, — ответил чей-то услужливый голос.

— Подавай баб наверх, а то сиротами нам сидеть скучно... Каши маслом не испортишь.

Это уже было верхом веселья, когда Авдотья Мироновна выходила к гостям. Делала она это очень неохотно и только потому, чтобы не обидеть грозного и ласкового свекра-батюшку. Очень уж скромная была женщина, воспитанная у скряги-отца на монашеский лад. Да и по годам неоткуда было набраться смелости — уж после свадьбы пошел семнадцатый год, а то девочка девочкой. Худенькая, кроткая, с большими глазами, она походила на ребенка и ужасно конфузилась своего бабьего парчового сарафана, бабьей сороки на голове и других бабьих нарядов. Очень уж к сердцу пришлась молодая сноха Тарасу Ер-

милычу, и он не мог надышаться на нее. Другой такой скромницы не сыщешь с огнем. Сын Поликарп ростом и наружностью издался в отца, но умом не дошел — простоват был малый. Впрочем, он делался глупым только при отце, которого боялся, как огня, и отводил душу на своей половине, в своей компании. Женитьба придала ему некоторую самостоятельность.

V

Весело зашумел весь злобинский дом, точно стараясь наверстать налетевшую минуту раздумья. Пока шел обед, на хорах играл оркестр горных музыкантов. Собственно говоря, это была «казенная музыка», но Тарас Ермилыч платил за нее и казне и самим музыкантам, что было дороже, чем содержать собственный оркестр. После обеда все гости перешли сначала на террасу, куда был подан чай. Подгулявшие гости галдели, а Тарас Ермилыч ходил между ними с бутылкой рому и сам подливал в стаканы «архирейских сливочек», как говорил протопоп Мелетий. Смагин после обеда пил пунш, вернее — ром, чуть-чуть разбавленный горячей водой с сахаром.

— Музыкантов! — командовал разгулявшийся Тарас Ермилыч.

По условию, оркестр не обязан был играть после обеда, но Савелий уговорил капельмейстера, старичка немца Глассера.

— В накладе не будете, — объяснял подручный. — Сверх числа будете благодарить, ежели угодите Тарасу Ермилычу. Не таковский человек, чтобы зря слово молвил.

Музыканты не спорили, хотя и устали за обедом. Горный оркестр был поставлен на военную ногу, как и все другие учреждения горного ведомства. По зимам, когда в клубе шли балы, веселье иногда затягивалось чуть не до белого света, а музыка должна была играть. Случалось не раз, что «духовые инструменты» падали в обморок от натуги, а оставались одни скрипки, виолончели и контрабас. Сам немец Глассер не знал усталости, особенно когда нужно было выслужиться перед генералом, — строгий и неумолимый был немец. В случае ослушания музыкантов садили на гауптвахту, как простых солдат. Слабым местом Глассера было то, что он состоял на службе в горном ведомстве и получал чины

за выслугу лет, а следовательно, мог рассчитывать и на пенсию. «Немец, я тебя не забуду», — говорил генерал Голубко и трепал покладистого музыканта по плечу на зависть всем другим мелким горным чинам.

Для музыкантов в саду была устроена особая беседка, напротив большого павильона, с колоннами, где могло поместиться больше ста человек гостей. Когда оркестр занял свое место, Тарас Ермилыч повел гостей в павильон. Это составляло своего рода забаву, потому что павильон стоял в центре громадной куртины с запутанной дорожкой, — незнакомый гость мог обойти павильон раз пять, прежде чем попадал в него. Эта детская забава повторялась после обеда с каждым новым гостем, причем не было сделано исключения даже для протопопа Мелетия. В павильоне сидел генерал и весело смеялся, пока протопоп блуждал меж куртин. Добравшись до павильона, протопоп Мелетий отер платком пот с лица и заметил:

— Над собой смеешься, Тарас Ермилыч...

— Ну, не сердись, протопоп, — утешал его хозяин, — видел, у подъезда выездная лошадь

стоит? Дарю ее тебе вместе с фаэтоном за свою обиду!.. А хочешь, так и кучера возьми на придачу, — прибавил Тарас Ермилыч для шутки.

— Не надо мне твоего кучера, — взмолился протопоп, — мне не на кучере ездить, а на лошади... Кормить его еще надо, а он будет пьянствовать. Не надо мне кучера, а за лошадь спасибо.

Теперь повторилась та же история с новыми гостями. Их нарочно задержали на террасе, пока свои люди пробирались в павильон. Потом явился Савелий с приглашением:

— Тарас Ермилыч просят пожаловать в павильон...

Проводив жертву готовившейся потехи до начала дорожки в павильон, Савелий незаметно скрылся. Неопытные гости один за другим направились к беседке, вызывая дружный хохот, остроты и обидные советы. Тарас Ермилыч для вящей потехи вышел в двери павильона и усиленно приглашал сконфуженно блуждавших по дорожкам новичков.

— Милости просим, господа... Да поскорее, а то других заставляете ждать.

— Держи нос направо! — кричал чей-то захмелевший голос.

Надрывал животики весь павильон над хитрой немецкой выдумкой, хохотали музыканты, и только не смеялись березы и сосны тенистых аллей. Эту даровую потеху прекратило появление генерала, о чем прибежали объявить сразу пять человек. Позабыв свою гордость, Тарас Ермилыч опрометью бросился к дому, чтобы встретить дорогого гостя честь честью. Генерал был необыкновенно в духе и, подхватив хозяина под руку, весело спрашивал:

— Ну что, веселишься, Тарас Ермилыч... а?

— Пока бог грехам нашим терпит, ваше превосходительство.

— А много грехов, братец?

— Есть-таки, ваше превосходительство. Только родительскими молитвами и держимся пока, а то давно бы крышка.

— Сам хорошенько богу молись, братец, — посоветовал генерал и хотел выговорить вертевшееся на языке словечко, но удержался.

Появление генерала в саду было встречено громким тушем, а пьяные гости заорали ура.

Генерал по-военному отдал под козырек.

— Вы у нас, ваше превосходительство, как отец родной, — повторял Тарас Ермилыч стереотипную фразу, — а мы как дети неразумные... Пряменько сказать, как тараканы за печкой, жмемся около вашего превосходительства.

— Так, так... А бога-то все-таки не следует забывать. Что это гости-то у тебя раненько подмокли, Тарас Ермилыч?

— Есть такой грех, ваше превосходительство...

При входе в павильон генерала встретила сама Авдотья Мироновна с бокалом шампанского на подносе. Генерал выпил при звуках нового туша и расцеловал застыдившуюся хозяйку по-отечески в губы.

— Вот это хорошо, когда такая красавица хозяйка в доме, — похвалил генерал еще раз.

— Милости просим... — по-детски лепетала Авдотья Мироновна. — Не обессудьте на нашей простоте, ваше превосходительство.

Гости, конечно, все стояли на ногах, вытянувшись шпалерой около стены. От хозяйки генерал подошел к протопопу Мелетию и

принял благословение, как делал всегда.

— А ты что здесь делаешь, протопоп? — осведомился генерал. — Не в свой приход залез.

— Больной нуждается во враче, а не здоровый, — ответил Мелетий с обычной находчивостью. — Пред серпом гнева божия мы все, как трава в поле...

— А знаешь, что Петр Великий сказал вот про это самое: пред господом-то богом мы все подлецы и мерзавцы. Вот как он сказал...

Кое с кем из именитых людей генерал поздоровался за руку, а Смагина точно не замечал.

Появление генерала приостановило кипевшее до него веселье, и гости разбились на отдельные кучки. Генерал сел на парадном месте и посадил по одну руку молодую хозяйку, а по другую своего любимца, протопопа Мелетия.

— Веселитесь, господа, я не желаю вам мешать, — обратился он к остальным. — Я такой же здесь гость, как и вы все.

Это милостивое разрешение, конечно, не вернуло давешнего веселья, хотя некоторые

смельчаки и пробовали разговаривать вслух. Впрочем, всех утешало то, что генерал не засидится. Тарас Ермилыч был совершенно счастлив: протопоп Мелетий да Смагин выручат, а потом можно будет генерала за карты усадить. Важно то, что он не погнушался злобинским домом и милостиво пожаловал. Одним словом, все шло как по-писаному.

— Сам-то ты что не садишься? — спрашивал генерал хозяина.

— Хозяин, что чирей, ваше превосходительство: где захочет, там и сядет.

Когда генерала усадили за карточный стол, в павильоне появился Савелий с известием, что коробейник Илюшка сейчас придет. Это был общий любимец и баловень. Действительно, через несколько минут появился и знаменитый Илюшка. Среднего роста, плечистый, с кудрявой головой и типичным русским молодым лицом, он не был красавцем, но держал себя, как все баловни — с скучающей самоуверенностью и легкой тенью презрительного равнодушия. Илюшка шел одетый, как всегда: курточка, сапоги бутылкой, за плечами короб с вязниковским товаром, а

шапка в левой руке — единственный знак почтения к собравшемуся обществу. Он и шел по садовой дорожке своим вязниковским шагом, согнувшись и подавшись левым плечом вперед — правое оттягивала назад коробка с товаром.

— Ты что же это, Илюшка, и глаз не кажешь? — накинулся на него Тарас Ермилыч. — Как за архиереем, посла за тобой посылай.

Илюшка ответил не сразу, а сначала поставил свою коробку на пол, встряхнул кудрями и огляделся.

— Некогда мне, Тарас Ермилыч. Видишь: товаром торгую... — ответил Илюшка и посмотрел дерзко на хозяина. — И сюда пришел с своей музыкой.

— Ах ты, ежовая голова! И товара-то твоего на расколотый грош, а ты еще разговоры разговариваешь...

— Для нас и грош деньги, да другой грош мой-то потяжельше всей твоей тыщи будет.

— Ну, ну, достаточно. Этакой ты головорез, Илюшка... Савелий, возьми у него короб да унеси в горницу, а тебе, Илюшка, положен-

ную сотенную бумагу.

— Много благодарны, Тарас Ермилыч, а только короба я не продаю: что в коробе — твое, а короб у меня заветный.

— Разговаривай: за заветное из спины ремень.

Илюшка уж не первый короб продавал таким манером разгулявшемуся Тарасу Ермилычу и прятал сторублевую бумажку в кожаный кисет с таким видом, точно он делал кому-то одолжение. Так было и сейчас. Подручный Савелий даже прищурился от досады, — очень уж ловок был пройдоха-вязниковец: и деньги возьмет да еще поломается всласть над самим Тарасом Ермилычем.

— Теперь литки, Илюшка, — шутил кто-то. — С продажей надо поздравить тебя.

— Не потребляем, — отвечал Илюшка, не удостаивая спрашивавшего даже взглядом.

— А ежели Тарас Ермилыч тебя попросит рюмкой водки?

— Скажу спасибо на угощенье, а выпить мою рюмку найдется охотников.

— Тебя не переговоришь, Илюшка: с зубами родился.

Появление Илюшки всегда сопровождалось подобными разговорами, — он умел отгрызаться, забавляя публику и не роняя собственного достоинства.

— Будет тебе ершиться, Илюшка, — уговаривал Тарас Ермилыч, — лучше разуважь почтенную публику...

— Што же, ваше степенство, я не спорюсь, — совершенно другим тоном ответил Илюшка, встряхивая своими кудрями и опуская глаза.

Злобин махнул платком музыкантам. Оркестр грянул проголосную русскую песню, одну из самых любимых. Илюшка совсем закрыл глаза, приложил руку к щеке и залился своим высоким тенором:

Не белы-то снеги в поле забелилися...

Глассер взмахами своей палочки постепенно закрыл трубы, контрабас, флейты и скрипки, и голос Илюшки разлился по всему саду серебристой струей. Весь павильон затих, а Илюшка все пел, изредка полуоткрывая глаза, точно он сам пьянел от своей песни.

Послышались тяжелые вздохи и восторженный шепот. Грозный генерал слушал, склонив голову набок, секретарь Угрюмов совсем скорчился на своем стуле. Тарас Ермилыч вытирал катившиеся слезы платком. Смагин прищуренными глазами наблюдал Авдотью Мироновну, которая сидела за столом бледная-бледная, с остановившимся взглядом, точно она застыла. Песня уже замерла, а публика все еще не могла очнуться, пока Тарас Ермилыч не крикнул:

— Хорошо, подлец!..

Поднялся настоящий гвалт. Все полезли к Илюшке. Кто-то целовал его, десятки рук тянулись обнимать. На время все позабыли даже о присутствовавшем генерале. Тарас Ермилыч послал с Савелием оркестру сторублевую бумажку и опять махнул платком. Передохнувший Илюшка снова залился соловьем, но на этот раз уж веселую, так что публика и присвистывала, и притоптывала, и заежилась как от щекотки.

— Хороший бы дьякон вышел из него, — заметил протопоп Мелетий, показывая генералу глазами на Илюшку. — Тенористый...

— Нет, форейтор вышел бы лучше, — спорил генерал.

— Нет, дьякон...

— Не спорь, протопоп!..

— Дьякон!..

Заспоривших стариков помирил какой-то ловкой шуткой Смагин. Взглянув на него, генерал вдруг расхохотался: он вспомнил анекдот про свечку.

Десять песен спел Илюшка и получил за них сто рублей. Оркестру Злобин платил за каждую песню тоже по сту рублей, — разошелся старик. Когда Илюшка кончил, Тарас Ермилыч налил бокал шампанского и велел снохе поднести его певуну. Авдотья Мироновна вся заалелась, когда Илюшка подошел к ней.

— Ну-ка, погляжу я, как ты не выпьешь теперь? — весело спрашивал Тарас Ермилыч, обнимая его. — Ну-ка?

Илюшка встряхнул своими кудрями, глянул на застыдившуюся хозяйку и единым духом выпил все вино, а бокал разбил об пол.

— Никогда капли в рот не брал и не возьму больше, — говорил он, кланяясь хозяйке в по-

яс.

— Ах ты, разбойник! — журил его Злобин. — Посудину-то зачем расколотил? Ну, да бог с тобой, Илюшка… Уважил.

Вскинув на богатырское плечо принесенный Савелием пустой короб и поклонившись всей честной компании, Илюшка пошел от павильона, помахивая своей шапкой. Авдотья Мироновна проводила его своими грустными глазами до самого выхода.

Этот праздник закончился совершенно неожиданной развязкой.

Когда Илюшка ушел, общее внимание опять сосредоточилось на генерале. Старик был в духе, и все чувствовали себя развязнее обыкновенного. Тарас Ермилыч подсел к генералу и весело спросил:

— Вашему превосходительству надоело, поди, наше мужицкое веселье? Сами-то мы лыком шиты…

— Нет, зачем надоесть, — ответил генерал, улыбаясь. — А вот ты, Тарас Ермилыч, как свои грехи будешь отмаливать?

— Обыкновенно, ваше превосходительство, как и все протчии…

— Обыкновенно?.. Да ты не стесняйся и расскажи, а мы с протопопом послушаем... ну?..

В первую минуту Злобин не понял вопроса, а потом укоризненно посмотрел на Смагина. Эх, продал барин...

— Ну, что же ты молчишь? — приставал генерал. — А то, хочешь, я и сам могу рассказать, как ты богу молишься.

— Зачем же вам утруждать себя, ваше превосходительство, — спохватился Злобин. — Это вы насчет свечки?..

— Вот за это люблю! — похвалил генерал. — Умен... Ну, так как было дело?

Все гости навострили уши, смутно догадываясь, что творится что-то совсем необыкновенное. Савелий стоял в дверях и чувствовал, как от последних слов Тараса Ермилыча у него захолонуло на душе. Не в добрый час он разболтал все Ардальону Павлычу... Человек, под которым подломился лед, вероятно, испытывает тем же, что переживал сейчас Савелий: у него даже в ушах зашумело, а перед глазами пошли красные круги. Пропал, пропал, пропал... А Тарас Ермилыч вытянулся пе-

ред генералом и рассказал начистоту все, как было дело. Генерал принимался несколько раз хохотать, прерывая рассказ. Улыбался и протопоп Мелетий, поглядывая на Смагина.

— Ну, и в третий раз прилепил свечку? — спрашивал генерал.

— И в третий... — глухо ответил Злобин. — И в третий... А потом, ваше превосходительство, бросил ее об пол и убежал из меленной. Вот так...

Последние слова старик выговорил совсем красный, а затем выбежал из павильона. Генерал только хотел захохотать, но так и остался с раскрытым ртом. Наступила минута мертвой тишины. Грузная фигура Тараса Ермилыча мелькнула уже на выходе из сада.

— Позвольте, зачем же он убежал? — недоумевал генерал, обводя всех глазами. — Обиделся?

— Сие не подобает, — за всех ответил протопоп Мелетий.

В свою очередь обиженный генерал поднялся с места и, не простившись с хозяином, уехал домой.

VI

Неожиданная размолвка с генералом всей своей тяжестью обрушилась на подручного Савелия. Весь злобинский дом сразу затих. Тарас Ермилыч из сада пробежал прямо в моленную и там заперся. Он неистовствовал, рвал на себе волосы и даже плакал; посмеялся над ним генерал при всех. Вспылил Тарас Ермилыч не во-время, а теперь генерал рассердился, — уломай-ка его. А без генерала дохнуть нельзя. Больше всего бесило «ндравного» и «карахтерного» старика сознание своего полного бессилия. Что нужно было бы сделать по первому разу: Смагина в шею, да и Савелья тоже — два сапога пара. Но, раздумавшись, Злобин сообразил, что именно этого и не следует делать: Савелий разболтался не от ума, а без Смагина не обойтись. Кто помирит с генералом, как не Ардальон Павлыч? Придется ему же, Ардальону Павлычу, и кланяться. Чтобы сорвать на ком-нибудь расходившееся сердце, Злобин позвал вечером Савелья к себе в моленную и неистовствовал над ним часа два: и кричал, и ругался, и топал ногами, и за волосы таскал. А Савелий молчал, как зарезанный: кругом виноват, о чем же тут гово-

рить.

— Перед всем народом осрамил меня генерал из-за тебя! — визжал Злобин, наступая на Савелья с кулаками. — Легко это было мне переносить! Голову ты с меня снял своим проклятым языком. Эх, показал бы я вам с Ардальоном Павлычем такую свечку, что другу и недругу заказали бы держать язык за зубами.

— Виноват, Тарас Ермилыч...

— Да мне-то от этого легче, а?.. Ирод ты треокаянный...

Тяжелая злобинская наука продолжалась битых два часа, так что Савелий вышел из моленной краснее вареного рака, в разорванной рубахе и с синяком на лице. Он как-то совсем одурел. Сызмала служил у Тараса Ермилыча, рассчитывал, что старик за верную службу из подручных определит куда-нибудь на свои золотые промыслы или на заводы смотрителем, на хорошее жалованье, а теперь все пропало. Не забудет Тарас Ермилыч его провинности до смерти. Одним словом, вышло такое дело, что ложись и помирай... Да и на двор с избитой рожей показаться было стыдно. Три дня Савелий пролежал у себя в каморке, а потом

уж совсем тошно сделалось. Вспомнил он про другого верного раба Мишку, которого лупила генеральша, и вечерком отправился в генеральский дом поделиться горем.

— Где это тебе морду-ту разрисовали? — удивлялся Мишка, разглядывая Савелия. — Ловко... Должно полагать, на самого натакался?

В каморке Мишки, под генеральской лестницей, Савелий подробно рассказал все свое горе и как оно вышло. Мишка в такт рассказа качал головой и в заключение заметил:

— Бывало мое дело не лучше твоего. Нажалилась как-то генеральша на меня, так генерал нагайкой меня лупцовал-лупцовал, так и думал: на месте помру. После-то снял рубаху, так вся спина точно пьявками усажена... Вот как бывает, милый ты друг!.. У тебя хоть причина есть, а у меня и этого не бывало.

— Усолил меня Ардальон Павлыч, — жаловался Савелий, — кажется, взял бы да зубом его перекусил, как клопа... С ума он у меня нейдет! Лежу у себя и думаю: порешу я Ардальона Павлыча, и делу тому конец, а сам в скиты убегу, и поминай, как звали.

— Ну, это ты напрасно, милаш... Обожди, может, и сойдет все. Ведь я вот терплю...

— Терпишь, Миша... ах, как терпишь! Я тебя в прошлый-то раз даже вот как пожалел.

Долго шла душевная беседа в каморке, под генеральской лестницей, и верный раб Мишка все утешал верного раба Савелья, а тот слушал и молчал. На прощанье Мишка неожиданно проговорил:

— Да послушай, Савелий, брось ты совсем своих кержаков! Ей-богу, брось...

— Как же это так бросить-то? — удивился Савелий, которому эта простая мысль даже в голову не приходила. — Служил я без мала двадцать годов, а ты: брось...

— Другая собака цепная и больше служит, пока не удавят... Нет, што я тебе скажу-то, милаш. Может, оно и лучше, што Тарас Ермилыч тебя оттрепал на все корки. Бывает... Когда ты в прошлый раз у меня был, так вот в этой самой каморке скрывался один человек. Ко мне приходил с поклоном, потому как ему гадалка судьбу сказала... Так, ничтожный человек, а попал через меня к случаю. Сосунова слыхал в горном правлении? Ну, так его съел

Угрюмов до конца, а Сосунов теперь в караванные попал. Моих рук дело... Улучил минуту, когда с генералом на днях в завод ездили, и обстряпал все. Так вот я и скажу Сосунову — он тебя к себе возьмет... Положим, жила он собачья, Сосунов-то, а меня боится.

— Спасибо на добром слове, Михайло Потапыч, а только я подумаю... Первое дело, надо мне отместку Ардальону Павлычу сделать. Жив не хочу быть...

— Как я генеральше?.. Вот за это люблю, Савелий. Ну, ин, подождем.

На этом верные рабы и порешили, хотя предложение Мишки и засело в голове Савелия железным клином. Мирон Никитич давно хотел прибрать к своим рукам казенный караван — очень уж выгодное дело, ну, да опять, видно, сорвалось. Истинно, что везде одно счастье: не родись ни умен, ни красив, а счастлив. Откуда злобинские миллионы — тоже счастье, а без счастья и Тарасу Ермилычу цена расколотый грош.

Савелий был своим человеком в злобинском доме, почти родным, и мысль о том, что его нужно оставить, казалась ему несбыточ-

ной и дикой. Когда Савелий поступал к Злобину, старик кое-как перебивался разными делами. Была у него своя небольшая салотопенная заимка, при случае брал Тарас Ермилыч разные подряды и кое-как сводил концы с концами. Весть о сибирском золоте прошла в раскольничьем мире довольно давно, ее разнесли разные сибирские старцы да шляющиеся божьи люди. Первые попытки добраться до этого золота кончились неудачей, а предприниматели разорились, как Телятниковы или Часовниковы. Но эти неудачи не остановили Тараса Ермилыча. Был он тогда в полной силе, продал свою заимку, перехватил деньжонок у разной родни и отправился пытать счастья в далекую енисейскую тайгу вместе с Савельем. Легкая рука оказалась у Тараса Ермилыча, — отыскал он первое золото ровно через год. На готовое дело все-таки нужны были большие деньги, но на этот раз выручил старик Ожигов. Выговорил он себе половину всех чистых доходов, тройные проценты и выдал Злобину пятьдесят тысяч. Ожиговские деньги с лихвой оправдались в первый же месяц, а там золото полилось ши-

рокой рекой. На прииске Заветном каждый день намывали по пуду золота, — как намыли пуд, сейчас у конторы стреляла пушка, и все работы шабашили. Таким образом, в каких-нибудь пять лет Злобин заработал чистенький миллион. А дальше пошло уже бешеное золото. Через десять лет Злобин купил лучшие заводы на Урале и женил своего сына на дочери Мирона Никитича, — злобинские и ожиговские миллионы соединились. Злобинская свадьба представляла собой что-то невероятное, и праздники затянулись на целый год, да и конца им не предвиделось. Достаточно оказать, что скуплено было и выпито в первый месяц все шампанское, какое только можно было достать в трех соседних губерниях.

Не мог уйти Савелий из злобинского дома, да и оставаться в нем ему было хуже смерти. Еще с Тарасом Ермилычем можно было помириться — крут сердцем да отходчив, а вот Ардальон Павлыч на глазах как бельмо сидит. Благодаря размолвке Тараса Ермилыча с генералом Смагин забрал еще больше силы. Он уже несколько раз ездил в генеральский дом

для предварительных разведок и возвращался с загадочно-таинственным лицом, а на немой вопрос хозяина только пожимал плечами.

— Да я, кажется, ничего бы не пожалел, кабы насчет денег... — повторял удрученный горем Злобин. — Только утихомирить бы генерала, Ардальон Павлыч.

— И деньги понадобятся в свое время, — таинственно отвечал Смагин. — Деньги — сила...

— Сила-то сила, да как с этой силой к генералу подступиться?

— Надо подумать, Тарас Ермилыч...

— Родной, только выручи! Ничего не пожалею...

И Смагин думал. Каждый вечер на половине Поликарпа Тарасыча шла крупная игра. В главных парадных покоях, где раньше стояло разливанное море, теперь было совсем тихо, а внизу с вечера наглухо окна запирались железными ставнями и собиралась своя небольшая компания. Здесь играли в большую игру, и выигрывал большею частью Смагин, — ему везло, как утопленнику. Проигрывались два

горных инженера, секретарь Угрюмов, казачий полковник, несколько купчиков, а главным образом, сам хозяин, Поликарп Тарасыч. Старик Злобин, конечно, знал, чем занимаются на половине сына, но приходилось молчать, потому что, ежели обидеть Ардальона Павлыча, тогда вполне зарез. Что думал Поликарп Тарасыч, думал ли он вообще что-нибудь — трудно сказать. К вечеру он постоянно был сильно навеселе, усвоив привычку напиваться потихоньку от отца и жены. Единственное, что его занимало, — это были карты, и он с нетерпением дожидался вечера, как праздника. Авдотья Мироновна показывалась к гостям редко и сидела одна в своих комнатах, окруженная приживалками, странницами и божьими старушками. С мужем она виделась только утром, когда он совсем пьяный засыпал где-нибудь на диване. Редкие случаи, когда он делался с ней ласков, заканчивались обыкновенно просьбой денег. Свои деньги Поликарп Тарасыч давно проиграл, у отца просить не смел и теперь проигрывал женино приданое, хотя Мирон Никитич за дочерью и не дал больших денег, а

только обещал «не обидеть». Когда и эта статья была исчерпана, Поликарп Тарасыч пригласил к себе в кабинет Савелья, притворил дверь и без обиняков проговорил:

— Добывай денег...

— То есть как денег, Поликарп Тарасыч?

— А вот так... Хоть из своей кожи вылезь, а добывай. И чтобы отец ничего не знал, а то голову оторву. Вот тебе и весь сказ... Ведь я единственный наследник и рассчитаюсь.

— А ежели тятенька узнают?

— Семь бед — один ответ... Надейся на меня, не выдам...

Положение Савелия оказалось сквернее самого скверного: и единственного наследника злобинских миллионов нельзя было обижать, и Тарас Ермилыч мог все узнать, и денег было достать трудно. Долго молчал Савелий, переминаясь с ноги на ногу, пока не заметил:

— Ведь это прорва, Поликарп Тарасыч... Я насчет Ардальона Павлыча. Никаких денег для них не хватит, и ничем их не удивите.

— Ну, я тебе сказал свое, а ты мне без денег на глаза не показывайся. Знать ничего не хочу, а деньги чтобы были... слышал?.. Да язык

держи за зубами, чтобы вторая свечка не вышла...

Пришлось Савелью пуститься на разные аферы. Обошел он всех тугих людей, которые тайно давали деньги под заклад и большие проценты, обошел еще более тугих заимодавцев, выдававших ссуды под двойные векселя, своих раскольничьих стариков и старушек, скопивших на смертный час разные крохи, — везде взял, везде просил и унижался, и все это было сейчас же проиграно. Пришлось закладывать брильянты и золотые вещи Авдотьи Мироновны, а за это досталось бы вдвойне, и от Тараса Ермилыча и от Мирона Никитича. Но и этого было мало: Поликарп Тарасыч требовал все новых денег. Когда все статьи таким образом были исчерпаны, у Савелья опустились руки: денег взять было негде. Но в минуту такого глухого отчаяния людей озаряют иногда неожиданно счастливые мысли: верный раб Савелий вспомнил про верного раба Мишку — вот у кого должны быть деньги. Старик Савелий слыхал, что Мишка ссужает верных людей и что он же дал новому караванному Сосунову на первоначальное обза-

ведение. Не откладывая дела в долгий ящик, Савелий отправился в генеральский дом.

— Ну, што, милаш, скажешь? — спрашивал Мишка. — Зажил с лица-то? А меня генераль-ша полирует пуще прежнего.

Попросить денег с первого слова было неудобно, и Савелий долго мучил благоприя-теля всевозможной околесиной, пока самому не надоело. Когда он, оглядевшись, заговорил о деньгах, Мишка отчаянно замахал руками. Какие у него деньги?.. Что и выдумают доб-рые люди!.. Нашли денежного человека... Ко-гда Савелий рассказал свое горе начистоту, Мишка задумался.

— Што бы тебе к первому бы ко мне прий-ти? — понял он. — Может, я нашел бы подхо-дящего человека... У самого-то у меня нет де-нег — известное наше жалованье: четыре недели на месяц получаем. Да притом и то сказать, сколько ни добудь, все деньги проиг-раете Смагину... Вот еще человек навязался, подумаешь!.. К нам он теперь зачастил и все больше с моей генеральшей разговоры разго-варивает...

Верный раб Мишка оказался гораздо про-

ще, чем предполагал Савелий, — поломавшись в свою волю, он сразу отвалил три тысячи да еще без векселя, а просто на честное слово. Было выговорено всего одно условие, именно, что Мишка вручит деньги лично Поликарпу Тарасычу, когда тот прикажет. К фамилии Злобиных Мишка чувствовал какое-то рабское доверие, не то, что к Сосунову: что значат его гроши при злобинских миллионах? А когда Тарас Ермилыч умрет, ведь все миллионы достанутся Поликарпу, — он не забудет Мишкиной выручки. В назначенный день и час Мишка явился в злобинский дом с деньгами, и Поликарп Тарасыч принял его очень вежливо и даже собственноручно подал стакан водки.

— Что же ты мало денег принес? — проговорил он, не считая пачку ассигнаций. — Такими пустяками не стоило тебя беспокоить...

— Все, сколько есть, Поликарп Тарасыч...

Конечно, и эти деньги постигла та же участь, как и добытые Савельем раньше. Потребованный в злобинский дом вторично, Мишка заперся: нет больше денег, и конец тому делу.

— Что же я буду делать, дурак ты эдакий? — спрашивал Поликарп Тарасыч.

— Не могу знать-с...

— Ведь мне нужны деньги до зарезу, — понимаешь?

— Попросите у Ардальона Павлыча: у них теперь большие тысячи.

— Попроси-ка у него сам... Ну, все это вздор!..

Поликарп Тарасыч прошелся по комнате несколько раз и, схватившись за голову, заговорил:

— Несчастный я человек, Миша... И нет меня несчастнее во всем Загорье! Все меня считают за богатого: единственный злобинский наследник, женился на миллионщице, а я должен просить денег у халуя. Камень на шею да в воду — вот какая моя жизнь, Миша!

— Што вы, Поликарп Тарасыч! Какие вы слова выговариваете?.. Просты вы очень, а тут лютый змей навязался...

Пожалел верный раб Мишка миллионного наследника за его простоту и еще дал денег, но это уж было в последний раз: у самого Мишки ничего не оставалось.

А Смагин продолжал все ездить в генеральский дом и теперь бывал часто у одной генеральши, если генерал куда-нибудь уезжал. Даже случалось как-то так, что Смагин точно знал, когда генерала нет дома. Впрочем, для проформы он всегда спрашивал в передней вытягивавшегося в струнку Мишку:

— Генерал дома?

— Никак нет-с, Ардальон Павлыч...

— Гм... как же это так?.. — вслух раздумывал Смагин и потом решал: — Ну, доложи генеральше.

Но Мишке и докладывать не приходилось, потому что Мотька уже выскакивала на верхнюю площадку лестницы и кричала:

— Пожалуйте, Ардальон Павлыч... Ее превосходительство просили вас пожаловать к ним.

Мотька точно знала из минуты в минуту, когда приедет Смагин, что, конечно, не ускользнуло от зоркого глаза Мишки. Что-то неспроста разгулялся ловкий барин... Конечно, Мотька знает все, да только из нее правды топором не вырубишь. О своих подозрениях Мишка, конечно, никому не сообщал, но по

пути припомнил рассказ Сосунова, как он встретил генеральшу у ворожеи Секлетиньи. О чем было ворожить генеральше, да и не генеральское это дело разъезжать по ворожеям. Вообще Мишкин нос учуял что-то неладное, о чем он не смел даже догадываться...

В злобинском доме Смагин держал себя с прежним гонором, и Тарас Ермилыч должен был все переносить. Что же, сам виноват, зачем тогда дураком убежал из павильона? Самодур-миллионер даже стеснялся заговаривать с Смагиным о генерале: просто как-то совестно было, а сам Смагин упорно молчал. Только раз он привез как-то лист и просил подписать какую-нибудь сумму на богоугодные заведения.

— Да сколько угодно!.. — обрадовался Злобин.

— Не сколько угодно, а сколько нужно. Если подпишете много, это выйдет вроде взятки, — поучал Смагин, — а это бестактно... Подписку собирает генеральша. Понимаете?

— Ну, а как мое дело, Ардальон Павлыч?

— Нужно подождать... Генеральша обещала похлопотать за вас, но ведь вы сами знае-

те, какой человек генерал. Устроится все помаленьку, только не нужно нахально лезть к нему на глаза.

Эта благотворительная подписка повторялась несколько раз, но Злобин был рад угодить генеральше за ее хлопоты хоть этим. А результаты генеральского неблаговоления уже давали себя чувствовать; по крайней мере самому Тарасу Ермилычу казалось, что все смотрят на него уже иначе, чем раньше, и что на первый раз горноправленский секретарь Угрюмов совсем перестал бывать в злобинском доме, как корабельная крыса, почуявшая течь.

VII

Выплаканные у Мишки деньги, конечно, не спасли Поликарпа Тарасыча и ушли по тому же адресу, как и добытые раньше. А игра шла все дальше, и Ардальон Павлыч записывал уже хозяйские проигрыши в кредит. Но и этому наступил конец. Раз вечером, прометав талию, Смагин отвел Поликарпа Тарасыча в сторону и заметил лаконически:

— Так порядочные люди не делают, молодой человек...

— Это насчет денег, Ардальон Павлыч? У меня ничего нет...

— А вы знаете, молодой человек, как это называется?..

Молодой человек молчал, уныло опустив голову. Смагин взял его своей железной рукой за плечо, встряхнул и с искаженным бешенством лицом прошептал:

— Подлостью называется, щенок, а подлецов бьют...

Результатом этой коротенькой домашней сцены было то, что подручный Савелий, несмотря на ночное время, полетел к старику Ожигову. Это была отчаянная попытка, но нужно же было хотя что-нибудь сделать...

Старинный ожиговский дом засел на берегу р. Порожней, у самого выезда из города, где уже начинались салотопенные заимки. Каменный двухэтажный дом строился не зараз, а поэтому окна, выходившие на улицу, были неодинаковой величины и расположились на разной высоте. Злобин часто смеялся над стариком Ожиговым по этому случаю и называл его дом скворечницей. Старик прищуривал свои хитрые серые глазки и, собрав в горсточ-

ку свою редкую бородку клинышком, отвечал всегда одно и то же: «Вот помру, тогда наследнички выстроятся по-твоему, сватушко, а мне уж не к лицу... Не по бороде нам высокие-то хоромы, а кому надо, так не побрезгуют и моей избушкой!»

Когда Савелий подошел к ожиговскому дому, на дворе завизжали блоки и раздался хриплый лай двух здоровенных киргизских волкодавов. Впрочем, во втором этаже в двух самых маленьких оконцах теплился слабый свет — значит, старик еще не спал. Савелий осторожно постучал в калитку и отошел. Когда вверху отворилась форточка, он по раскольничьему обычаю помолитвовался:

— Господи Исусе Христе, помилуй нас...

— Аминь... Кто крещеный без поры, без время?

— Это я, Мирон Никитич, подручный Савелий... От Поликарпа Тарасыча послом пришел: дельце есть.

— Ах, полуночники!.. — заворчала хозяйская голова и скрылась.

Савелью пришлось подождать довольно долго, пока свет наверху исчез и послышался

стук отворявшихся дверей. Старик с фонарем в руках шел на двор, потому что ключа от калитки в ночное время он не доверял никому.

— Это ты, Савельюшко? — спросил он, не решаясь отворить калитку.

— Я, Мирон Никитич... от Поликарпа Тарасыча.

Щелкнул железный затвор, точно кто чавкнул железной челюстью, и калитка приотворилась вполовину, — старик навел свет фонаря на ночного гостя, чтобы окончательно убедиться в его подлинности. Попасть в ожиговский дом и днем было труднее, чем в острог, потому что никто не мог войти в него или выйти без ведома самого хозяина. От калитки проведен был в комнату Мирона Никитича шнурок, и он сам отворял и затворял ее. Редкие выходы самого хозяина сопровождались чисто тюремными предосторожностями, да и сам он походил не на хозяина, а на тюремщика.

— Добрым людям спать не даете, — ворчал старик, запирая калитку тяжелым железным засовом. — Не стало вам дня-то, полуночники.

— Не своей волей я пришел, Мирон Ники-

тич.

— Знаю, Савельюшко: не к тебе и слово молвится, а кто постарше тебя.

Они подошли к ветхому деревянному крылечку с узкой деревянной лестницей наверх. Пропустив Савелья вперед, старик оглядел еще раз весь двор и с кряхтеньем начал подниматься за ним. Горькая была эта лесенка, и нуждавшиеся люди хорошо ее знали: редко спускались по ней с деньгами в руках. Сам Тарас Ермилыч хаживал по ней не один раз, — гордый был человек, но умел покориться. В низенькой темной передней Савелий остановился, пропустив хозяина вперед.

— Я тебя по первоначалу-то и не узнал, Савельюшко, — каким-то дребезжащим голосом бормотал Мирон Никитич, еще раз направляя свет фонаря на своего ночного гостя. — Нет, не узнал, Савельюшко.

По своему обыкновению, старик соврал — это была машинальная раскольничья ложь, ложь по привычке никогда не говорить правды. Костюм загорского миллионера состоял из одной ветхой ситцевой рубахи, прихваченной узеньким ремешком, и таковых же синих

портов, — дома из экономии старик ходил босой. Маленькое сморщенное лицо глядело необыкновенно пристальными серыми глазками и постоянно улыбалось; песочного цвета редкие волосы на голове, подстриженные раскольничьей скобой, и такого же цвета редкая бородка клинышком совсем еще не были тронуты сединой, хотя Ожигов и был на целых десять лет старше свата Тараса Ермилыча. Крепкий был человек, хотя и выглядел сморчком.

— Добро пожаловать, Савельюшко, — пригласил старик. — Заходи в горницу-то... Гость будешь, хоть и ночью пришел.

Савелий вошел в горницу и, прежде чем поздороваться с хозяином, положил перед образом в переднем углу входный начал, а уже потом проговорил своим певучим голосом:

— Здравствуйте, Мирон Никитич... Поликарп Тарасыч наказал кланяться.

— Ну, садись, Савельюшко, — проговорил старик из фальшивой любезности. — В ногах правды нет...

— Ничего, и постоять можем, Мирон Никитич... Не по чину нам рассаживаться-то.

— Так, так... Правильные твои слова, Савельюшко. Што же, и постой... Твое дело молодое, а честь завсегда лучше бесчестья.

Низенькая, давно штукатуренная комната, с маленькими оконцами, голыми стенами и некрашеным, покосившимся полом, всего меньше могла навести на мысль о миллионах. Меблировка состояла из жесткого диванчика у внутренней стены, старинного комода в углу, нескольких стульев и простого стола. Два сундука, окованных железом, дорожка домашней работы на полу и стеклянный шкафик с посудой дополняли обстановку. Приотворенная дверь вела в следующую комнату, убранную еще беднее — там стояла одна двуспальная кровать, и только. Старик жил в этих двух комнатах один-одинешенек, а другие горницы пустовали. Когда-то в доме жила большая семья, но старуха жена умерла, сыновья переженились и жили в отделе, дочери повыходили замуж, и дом замер постепенно, как замирает человек в прогрессивном параличе, когда постепенно отнимаются ноги, руки, язык и сердце. Последним живым человеком из ожиговского дома ушла Авдотья Миро-

новна, воспитанная по-монашески, и старик остался в своем доме, как последний гнилой зуб во рту.

Заложив руки за спину, Савелий несколько времени переминался с ноги на ногу, не зная, с чего ловчее начать. Ожигов сел на стул, уперся по-старчески руками о колени и, склонив голову немного набок, приготовился слушать. Когда Савелий начал свой рассказ, старик сосал бескровные сухие губы и в такт рассказа покачивал головой.

— Так, так, Савельюшко... — проговорил он, когда подручный кончал свою тяжелую исповедь. — А сколько денег нужно дорогому зятюшке?

— Без десяти тысяч не велел и на глаза показываться...

Старик вскочил, посмотрел на Савелия, как на сумасшедшего, и громко расхохотался.

— Десять тысяч?.. Да я сроду и не видывал таких денег. Нашли тоже у кого просить денег: у бедного старика. Пусть Поликарп Тарасыч просит у отца, ежели уж такая нужда приспичила, у свата шальных денег много.

— Вы знаете, какой карахтер у Тараса Ер-

милыча? — объяснял Савелий, не меняя позы. — Они могут даже и совсем изуродовать человека, ежели в азарт придут...

— А мне какое до этого дело? Куда деньги Поликарпу Тарасычу да еще в ночное время? Деньги, как курицы, на свету засыпают... Да. Так и скажи своему Поликарпу Тарасычу... Знаю я, куда ему деньга нужны. Все знаю...

— Он заплатит, Мирон Никитич, только вот сейчас зарез...

— Чужие слова говоришь, миленький... У вас там дым коромыслом идет, а я буду деньги платить?.. Знаю, все знаю... И Тарасу Ермилычу тоже скажи, чтобы перестал дурить. Наслушили всю округу... Очень уж расширился Тарас-то Ермилыч. Так ему и скажи, а теперь ступай с богом: за Поликарпа Тарасыча я не плательщик...

Отвесив глубокий поклон, Савелий направился к двери, но старик остановил его.

— Мишку-то генеральского видел? — спросил он. — Был он как-то у меня, горюн... Плохое его дело, да и нам от этого не легче, Савельюшко. Приступу теперь не стало к генералу... Сердитует он на Тараса-то Ермилыча?

Сам виноват сватушко: карахтер свой уж очень уважает. Ну, прощай...

От самых дверей Савелий еще два раза вернулся — это была уж такая привычка у Мирона Никитича.

— Караван-то, Савельюшко, уплыл от нас... — говорил он. — Мишкино дело, что он Сосунову достался. Не к рукам, Савельюшко, а дельце тепленькое... Голенькие денежки на караване-то.

Самое главное старик всегда приберегал к концу. Савелий знал эту повадку и не удивился, когда Мирон Никитич догнал его с фонарем уже на лестнице.

— Савельюшко, што у вас мутит всем этот барин вот, ну, как его там звать-то?

— Ардальон Павлыч Смагин...

— Вот он самый... Слышал я о нем достаточно. Напрасно ему вверился Тарас Ермилыч да еще в дом к себе взял: чужой человек хуже ворога. И Поликарпа-то Тарасыча окружил этот Смагин... Все знаю, миленький. Так и Поликарпу Тарасычу скажи: наказывал, мол, тебе богоданный твой батюшка... Скажешь?

— Скажу, Мирон Никитич.

— А денег у меня таких нет, да и в заводе не бывало, Савельюшко. Только всего и осталось, штобы похоронить чем было... Смертное для себя берегу.

Когда Савелий вернулся в злобинский дом, Поликарп Тарасыч встретил его с веселым лицом и даже пошутил:

— Небось с одной молитвой воротился от тестюшки?

— Отказали, Мирон Никитич...

— Ну, и плевать мне... На всех плевать!

Такой неожиданный оборот дела немало удивил Савелья. Смагин тоже улыбался и только усы покручивал. Ну, что же, устроились между собой — и любезное дело. Меньше хлопот!

Когда Савелий отправился к себе в каморку, его догнал молодец и объявил, что генеральский Мишка дожидает в кухне уже два часа и уходить не хочет.

«Верно, за своими деньгами приволокся? — подумал Савелий. — Тоже и нашел время...»

Он послал за Мишкой, чтобы шел к нему

в комнату. Мишка явился, поздоровался, присел к столу и осторожно огляделся.

— С секретом пришел? — спросил Савелий, недовольный этим несвоевременным визитом.

— Есть и секрет, Савелий Гаврилыч, — шепотом объяснил Мишка, продолжая оглядываться. — Такой секрет, такой секрет... Стою я даве у себя в передней, а Мотька бежит мимо. Ну, пробежала халда-халдой да бумажку и обронила. Поднял я ее и припрятал... А на бумажке написано, только прочитать не умею, потому как безграмотный человек. Улучил я минутку и сейчас, например, к Сосунову, а Сосунов и прочитал: от генеральши от моей записка к вашему Ардальону Павлычу насчет любовного дела. Вот какая причина, милый ты человек!

— А с тобой бумажка?

Мишка достал из-за пазухи скомканный листочек почтовой розовой бумажки и передал Савелью.

— «Ми-лый, при-хо-ди вечером... Све-ча пок-кажет... — разбирал Савелий вслух. — Пе-ту-ха не... не будет». И все тут? Ну, это, брат,

ничего еще не значит: неизвестно, к кому, и неизвестно, от кого.

— Говорят тебе: от генеральши!..

— Да ведь не подписано письмо-то?..

— Ах, какой ты непонятный!.. Уж говорю, что от самой генеральши. Я уж давно примечаю за ней, что дело неладно. Зачастил к нам Ардальон-то Павлыч и все норовит так, когда генерала дома нет. А откуда ему знать это самое дело, ежели сама генеральша, например, не подражает Ардальону Павлычу? Весьма это заметно, Савелий Гаврилыч, когда человек немного в разуме своем помутился... Ловка генеральша, нечего сказать, а оно все-таки заметно. Да...

— Ну, заметно, а нам-то с тобой какое горе от этого сталось?

— Эх ты, малиновая голова! Да ежели бы, например, уследить генеральшу да подвести генерала: обоим крышка — и моей генеральше и твоему Ардальону Павлычу. Понял?

— А ведь ты правильно, Михайло Потапыч... Мне-то по первоначалу и невдомек, куда ты речь ведешь, а теперь я расчухал. Уж чего бы отличнее, когда этакого медведя на-

травить на них...

— Он бы их распатронил, генерал, значит... Только и генеральша увертлива... Все бабы на это ловки: у них, как у мышей — вход в нору один, а выходов десять. Ну, генеральша чистенько дело ведет, — комар носу не подточит...

— Как же мы ее добывать будем, Михайло Потапыч?

Прежде чем ответить, Мишка еще раз огляделся и даже сходил и попробовал, плотно ли приперта дверь.

— Вот што, Савелий Гаврилыч, — начал он с особенной торжественностью, — долго я думал об этом. День и ночь думал, ну, и придумал... Залобуем и генеральшу и Смагина: как пить дадим. Только все это уж, как ты захочешь: все от тебя...

— От меня? Из спины ремень вырезай хоть сейчас, только бы Ардальона Павлыча сплавить... Солон мне он пришелся. Тарас Ермилыч и глядеть на меня не хочет...

— И без ремня дело обойдется, ежели с умом. Ты только слушай, Савелий Гаврилыч...

Мишка еще раз оглянулся и продолжал

уже шепотом:

— Изловить мне генеральшу самому невозможно... Она вверху, а я туда доступа не имею. Все, значит, дело в этой самой Мотьке... Может, помнишь: увертливая такая девка.

— Помню... ну?

— Не понимаешь?

— Ровно ничего не понимаю, хоть убей.

— Ты еще тогда с ней как-то игру заигрывал, а она тебя обругала. Да... А потом пытала меня: женатый ты человек или нет? Известно, баба, все им надо знать. А я заприметил, што она и сама на тебя глаза таращит: когда ты придешь — она уж бесом по лестнице вертится. Вот ежели бы ты эту самую Мотьку приспособил, а потом бы через нее все и вызнал, а потом того, мы бы и накрыли генеральшу...

— Как будто зазорно, Михайло Потапыч... В переделах бывал, а такими делами не случалось заниматься.

— Да тебя-то убудет, што ли?

— Говорю: претит... Конешно, Мотька — ухо девка, и побаловаться даже любопытно, только все-таки зазорно.

— Ну, как знаешь, Савелий Гаврилыч... Мое дело сказать, а там уж сам догадаешься. А Мотька все знает и все тебе обскажет, ежели ты ее в оглобли заведешь... Бабы на это просты.

Как ни уговаривал Мишка, но Савелий уперся и ни за что не соглашался на его план. На этом и разошлись...

VIII

Может быть, коварство верного раба Мишки так и осталось бы в области предположений, но ему помог сам Ардальон Павлыч. Барин зазнался и при посторонних посмеялся над Савелием, рассказал все тот же несчастный анекдот о свечке с продолжением. Подручный побелел от бешенства, когда все хохотали, и сказал про себя только одну фразу:

— Погоди, собака, утру я тебе нос...

Савелий в тот же день отправился в генеральский дом и отдал себя в полное распоряжение верного раба Мишки.

— Так-то лучше будет, милаш, — похвалил Мишка, — твоя-то невелика работа, а каково мне потом достанется... А дельце наше верное: все знаки есть. Устигнем генеральшу, Са-

вельюшко...

На этот разговор Мотька, конечно, не преминула выбежать. Свесившись, по обыкновению, через перила, она крикнула сверху:

— Тише вы, черти!.. Еще генеральшу разбудите.

— Што больно строга? — ответил снизу Савелий.

— Вся тут: уж какая есть.

— Не пугай, Мотя... Еще ночью померещится, в добрый час молвить.

— Тьфу! кержак немаканый...

Этой коротенькой сценой началась правильная осада засевшего наверху неприятеля. Через Мишку Савелий узнал весь порядок генеральского дня, а главным образом, когда Мотька бывает свободной. Таких минут, когда Мотька могла «удосужиться», было, правда, немного, и их приходилось ловить. Верный раб Мишка в эти редкие минуты с ловкостью заговорщика умел куда-нибудь скрыться, а Мотька сверху спускалась в нижнюю переднюю, чтобы позубоскалить с красивым кержаком. Дело пошло быстро вперед, так что, если Савелий не показывался дня два,

Мотька начинала сама приставать к Мишке с расспросами.

— Отвяжись, худая жисть! — притворно ругался Мишка. — Я вот ужо доложу генеральше, так будет тебе от нее два неполных. Не девичье это дело на чужих мужиков глаза пялить. Надо и стыд знать...

— Ах ты, татарская харя!.. Я вот тебе «доложу»... Забыл генеральскую-то нагайку?

Мотька хоть и ругалась с Мишкой, но это было только одной формой и делалось для видимости. В сущности Мотька сразу отмякла и больше не подводила Мишку под генеральскую грозу, а даже предупреждала, когда генеральша «в нервах». Мишка вел свою политику и не показывал вида, что замечает что-нибудь Савелий настолько увлекся начатой игрой, что уже начал стесняться Мишки и больше отмалчивался, когда тот что-нибудь расспрашивал.

— Ты ее из дому-то вымани поскорее, — учил Мишка. — А там уж вся твоя будет... Известно, дура баба!.. Сразу отмякла... Как ты придешь, так у ней уж весь дух подпирает.

— Не совсем ладное мы затеяли, Михайло

Потапыч... — вздыхал Савелий, крутя головой. — Тоже и на нас крест есть.

— Разговаривай... Эх ты, Савелий! Баба ты, вот што я тебе скажу... Уйдет, видно, от нас Ардальон Павлыч!..

Пока Савелий не делал попытки окончательно овладеть Мотькой, ограничиваясь лясами в передней и обменом довольно увесистых любезностей — то Мотька огреет его всей пятерней, то он. Мотьку смажет во всю спину, так что у ней дух займется. Она сама сильно сторожилась раскольника-подручного, потому что была православной.

Развязку подвинуло известие, принесенное Савелием в генеральский дом: Смагин выиграл в карты у Поликарпа Тарасыча железный караван, стоявший в Лаишеве.

— Как караван? — изумился Мишка.

— А так... Поликарп-то Тарасыч гонял-гонял меня за деньгами: у всех забрали, где только могли. Ну, а ему все мало... Принесешь утром, а вечером они в кармане у Ардальона Павлыча. Под конец того дело пришло к тому, што и занимать не у кого стало. Толкнулся я к Мирону Никитичу...

— Крышка?

— Обыкновенно... Прихожу я к Поликарпу Тарасычу не солоно хлебавши, а он веселый такой, и Ардальон Павлыч тоже, — значит, сладились промежду себя. Ну, думаю, и отлично, коли сладились, а наше дело маленькое, подневольное. Я так про себя положил, што али тятенька Тарас Ермилыч расступился, али Ардальон Павлыч на бумажке записал Поликарпа-то Тарасыча... Все единственно для нас. Хорошо... Только Ардальон Павлыч все играет, а Поликарп Тарасыч все проигрывает, и счет у них идет на тысячи. Начал я разузнавать, как и што, и вызнал. Когда Поликарп-то Тарасыч женился на Авдотье Мироновне, так Тарас Ермилыч железные-то заводы на его имя переписал, штобы свой форц оказать перед Мироном Никитичем. Ну, ежели заводы Поликарпа Тарасыча, значит и железо его... Он и бахнул весь караван Ардальону Павлычу, а в караване, легкое место сказать, четыреста тысяч пудов железа. Это как, по-твоему? Тарас-то Ермилыч покедова сном дела ничего не знает...

Верный раб Мишка был совершенно оше-

ломлен этим известием, точно Савелий ударил его по голове обухом.

— Невозможно… — проговорил он после некоторого размышления. — Тарас-то Ермилыч, как дохлую кошку, разорвет Поликарпа, когда узнает все…

— И разорвет, а Поликарпу все равно не сносить головы.

— Ах, какое дело, какое дело! — бормотал Мишка, качая головой. — Вот не было печали, так черти накачали… Да верно ли ты вызнал-то, Савельюшко?

— Да уж вернее смерти… Дока на все Ардальон Павлыч и правильный документ с Поликарпа взял.

Это сочувствие и горестное изумление Мишки Савелий объяснил страхом за выданные Поликарпу Тарасычу деньги и постарался его успокоить: единственный наследник Поликарп Тарасыч и не будет рук марать о такие пустяки, когда целого каравана не пожалел. В случае чего и Тарас Ермилыч заплатит, чтобы не пущать сраму на свой дом.

— Да не об этом я, Савельюшко, — упавшим голосом перебил его Мишка. — Совсем

не об этом... Оставит нас Ардальон Павлыч с носом на другой статье: живой из рук уйдет, как живые налимы из пирога в печи вылезают!

— Это в каких смыслах?

— А в таких!.. Раскинь-ка умом-то, што теперь осталось выигрывать с Поликарпа, — жена да рубаха, только и всего материалу. Ну, Ардальон Павлыч обязательно задаст стрекача, а мы при генеральше своей и останемся.

— А ведь это точно, Михайло Потапыч, — удивлялся Савелий собственной недогадливости, — ловить его надо, пса...

— Я тебе говорю... А ты валандаешься с Мотькой задарма и только бобы разводишь. Говорю: уйдет Ардальон Павлыч, коли мы его не накроем. Ждать, што ли, когда Тарас Ермилыч все узнает? Будет, насосался...

Чтобы поскорее «сострунить» Мотьку, заговорщики придумали устроить притворную ссору и этим устранить возможность свиданий в генеральском доме. Прежде всего верный раб Мишка накинулся на Мотьку:

— Эй ты, чужая ужна, што больно перья-то распустила?.. Мне житья не стало от твоих-то

хахалей!.. Штобы и духу ихнего не было, а то прямо пойду к генералу и паду в ноги: «Расскажните, ваше высокопревосходительство, а подобных безобразиев в вашем собственном доме не могу допустить». Слышала?

— Миша, голубчик, да в уме ли ты? — уговаривала напугавшаяся Мотька. — Да с чего ты разъершился-то?

— А ты у меня поговори еще!.. Я тебе покажу феферу...

Как Мотька ни упрашивала, Мишка остался непреклонен, точно бес на нем поехал. В первый же раз, как только пришел Савелий, верный раб Мишка привязался к нему.

— Да ты што это повадился к нам, немаканое рыло?

— Михайло Потапыч, да вы только выслушайте...

— Было бы кого слушать?.. Мораль по всему городу пущаешь... Подумал бы, куда с рылом-то своим лезешь?.. а?..

— А вы не очень, Михайло Потапыч... Мы и сами сдачи сдадим, коли к нам в дом придете.

— Мне? сдачи?.. Да я...

Дальше расстервенившийся верный раб схватил Савелия и вытолкал его на улицу. Мотька слышала всю эту сцену, спрятавшись наверху лестницы, и горько плакала. А Савелий поднял с земли упавший картуз, погрозил Мишке в окно кулаком и отправился к себе домой, — только его Мотька и видела.

Вечером этого же дня Мишка сидел в каморке Савелия и весело бахвалился.

— Што, ловко я тебя саданул, Савельюшко?

— Ничего-таки... Знакомому черту тебя подарить, так, пожалуй, и назад отдаст.

— А Мотька-то ревела-ревела... И глаза у ней опухли. Только бы нам ее из дому выманить... Так я говорю? Ты этак вечерком около дома-то по тротувару разика два пройдись, а Мотька уж сама вывернется за ворота. Смотри, улетит наш Ардальон Павлыч.

Затеянная комедия была разыграна до конца, как по нотам. Савелий не показывался в генеральский дом целую неделю, а потом послал Мишке верного человека, чтобы поскорее завернул в злобинский дом. Когда Мишка пришел, Савелий даже не взглянул на него, как виноватый, а только проговорил:

— Через три дни генерал поедет по заводам и тебя возьмет с собой, а генеральша поставит на окно в гостиной свечку... Это у них знак такой. С террасы есть ход в сад, вот по этому ходу Ардальон Павлыч и похаживает к генеральше, когда генерала дома нет.

— Н-но-о?.. А ведь и точно, Савельюшко: есть такой ход. Верное твое слово...

— У них уж давно такие ненадобные дела, а генеральша нисколько не боится. Ардальон Павлыч сказал Мотьке, што убьет ее, ежели язык развяжет...

— Дела! В лучшем виде, Савельюшко...

— Мое дело сделано, а теперь уж ты приструнивай генеральшу, как знаешь.

— Ох, уж и не говори лучше: пришел мой смертный час!.. — вздохнул Мишка. — Разразит меня генерал по первому слову, уж это я вполне чувствую.

Савелий глухо молчал и все отвертывался от Мишки: его заедала мысль, из-за чего он сделался предателем. Совестно было своего же сообщника, а уж про других людей и говорить нечего... И Мишку сейчас Савелий ненавидел, как змея-искусителя. Но когда Мишка

стал прощаться с ним, точно собрался умирать, Савелий поотмяк.

— Ничего, Михайло Потапыч, не сумлевайся очень-то: бог не без милости, казак не без счастья. Пронесет и нашу тучу мороком...

— Не знаю, останусь жив, не знаю — нет... — уныло повторял Мишка. — На медведя, кажется, легче бы идти. Ну, чего господь пошлет... Прощай, Савельюшко, не поминай лихом!

Прежде чем объявиться генералу, Мишка отправился в церковь и отслужил молебен Ивану-Воину и все время молился на коленях.

Выждав время, когда генеральша уехала из дому куда-то в гости, а Мотька улизнула к Савелию, Мишка смело заявился прямо в кабинет к генералу. Эта смелость удивила генерала. Он сидел на диване в персидском халате и с трубкой в руках читал «Сын отечества». Мишка только покосился на длинный черешневый чубук, но возвращаться было уже поздно.

— Чего тебе? — сурово спросил генерал, на мгновение исчезая в облаке табачного дыма.

Мишка перекрестился и бухнул прямо в

ноги генералу.

— Ну? — коротко спросил генерал, сурово глядя на валявшегося в прахе верного раба.

Путаясь и перебивая свои собственные слова. Мишка начал свой донос, но генерал побледнел при первом же упоминовении полненькой генеральши.

— Что-о?! — грянул он, и черешневый чубук засвистел в воздухе. — Да как ты смеешь, рракалллия?! Меррзавец...

Бой на этот раз был непродолжителен: и чубук сломался, и генерал задохся от волнения. Верный раб Мишка ползал у его ног и повторял одно:

— Икону сниму, ваше превосходительство... с места мне не сойти, ежели я хоть единым словом совру... Не таковское дело, штобы облыжные слова говорить. Завсегда как свеча горел перед вашим превосходительством...

Генерал был страшен. Недавняя бледность на лице сменилась багровыми пятнами, руки судорожно сжимались, глаза смотрели на Мишку с таким выражением, точно генерал хотел его проглотить. Переведя дух, он схватил Мишку за горло и прошептал:

— Ну, говори, Иуда... говори, змей... задушу своими руками, если соврешь хоть одно слово!

Стоя на коленях, Мишка рассказал по порядку все, что разведал о генеральше и о назначенном ближайшем свидании. Генерал слушал его с закрытыми глазами и только вздрагивал, когда в рассказе Мишки упоминалось имя полненькой генеральши. А если предатель Мишка говорит правду? Если... Когда Мишка кончил, генерал, не открывая глаз, махнул ему только рукой, чтобы убирался. Избитый и окровавленный верный раб, прихрамывая, вышел из кабинета и в душе поблагодарил бога, что так дешево отделался: первая и самая трудная половина дела была сделана, а там уж что бог даст. На его счастье, никто в доме не слыхал о происходившем в кабинете избиении, и у генеральши не могло явиться ни малейшей тени подозрения, когда она вернулась домой. Генерал сказался больным и на ключ заперся у себя в кабинете. Это случилось еще в первый раз, что старик был болен — он никогда не хворал, как настоящий николаевский генерал, закаленный на

военной службе. Впрочем, генеральша не особенно встревожилась: мало ли старики хворают, да и ей было до себя.

Вечером генерал позвал к себе в кабинет Мишку и, не глядя на него, как подручный Савелий, проговорил:

— Через три дня я еду с тобой на заводы... понимаешь? Будь готов... Да скажи, чтобы на дворе к нашему отъезду была приготовлена фельдъегерская тройка. Это на всякий случай...

Эти роковые три дня верный раб Мишка оставался ни жив ни мертв, как приговоренный к казни. О настроении генеральши он мог догадываться только по Мотьке, которая вихрем летала через его переднюю. Генерал должен был выехать днем позже, и эта неаккуратность бесила генеральшу.

— Ты как будто не совсем здорова?.. — заметил ей генерал за обедом в день отъезда.

— Нет, ничего, папочка.

— Я могу и не ездить, если тебе нездоровится?

— Нет, зачем же, папочка... Я не желаю, чтобы ты из-за меня упускал свою службу.

Сомнений больше не могло быть…

Генерал выехал нарочно под вечер, когда спускались мягкие летние сумерки. Генеральша провожала его с особенной нежностью до самого подъезда. Мишка сидел на козлах, как преступник на эшафоте. Наступал решительный час, от которого зависело все.

— Тройка готова? — спросил генерал, когда они выезжали из ворот.

— Точно так-с, ваше превосходительство…

К удивлению Мишки, генерал был совершенно спокоен и молча покуривал свою сигару. Генеральская пятерка во весь карьер вылетела из города и понеслась по тракту к злобинским заводам, но на десятой версте генерал велел остановиться, повернуть назад и ехать в город. У заставы он вышел из экипажа, молча сделал Мишке знак следовать за собой и солдатским мерным шагом пошел по улице. Ночь была темная, так что высокая фигура генерала не обращала на себя особенного внимания. Верный раб Мишка плелся за ним, как грешная душа. Так они дошли до кафедрального собора, повернули на плотину и пошли по набережной к генеральскому дому.

Мишка первый заметил одиноко горевшую на окне гостиной сигнальную свечку и молча указал на нее генералу.

— Хорошо, подлец, — ответил старик. — Ты карауль у сада, а я пойду к подъезду.

Мишка притаился у садовой калитки, а генерал зашагал к воротам, в которых и скрылся, незамеченный даже зазевавшимся часовым. Наступила минута рокового затишья. Мишка приготовился схватить врага за горло и жадно вслушивался в немую тишину ночи, нарушаемую только мерными шагами часового. Но вот в верхнем этаже мелькнул тревожный свет, где-то быстро распахнулась дверь, и Мишка не успел мигнуть, как кто-то с балкона второго этажа бросился на улицу, перевернулся в пыли и одним прыжком перелетел через железную решетку набережной в воду.

— Держи, держи! — крикнул Мишка, но уже было поздно — по пруду быстро плыла черная точка.

Что происходило в генеральском доме — осталось неизвестным. Но через полчаса к подъезду подъехала фельдъегерская тройка,

генерал сам усадил в экипаж свою полненькую генеральшу вместе с Мотькой и махнул рукой.

Генеральша навсегда исчезла из Загорья, как тень.

Эпилог

Прошло ровно двадцать лет... Много воды за это время успело утечь, а действие нашего рассказа переносится с Урала за тысячи верст, на берега одетой в гранит Невы.

Был солнечный осенний день, один из тех дней, когда солнце точно старается согреть землю по-летнему и не может. Эта бессильная старческая ласка кладет на все печать усталости и какой-то специально осенней, тихой грусти. И небо какое-то грустное, точно и там, вверху, незримо отлетела животворящая сила, а в мглистом осеннем воздухе носится невидимая глазом паутина. Общее впечатление от такого дня похоже на то, что как будто где-то умер дорогой человек, но вы еще сомневаетесь в его смерти, и в душе чувствуется смутный протест против этого уничтожения. Хочется верить, что он жив, вот именно этот самый дорогой человек, а сердце не мо-

жет мириться с самым словом: смерть. Но есть и своя поэзия в таких осенних днях — убывающая жизнерадостная энергия наводит на мысль о покое, о том мире, который при всяком освещении остается равен самому себе и который неизмеримо больше озаряемого видимым солнцем. Это умиротворяющая философия, которая залечивает самые глубокие раны и успокаивает самые беспокойные сердца.

Итак, был солнечный осенний день. По тротуару одной из дальних линий Васильевского острова медленно шел сгорбленный, но все еще высокий старик, тяжело опиравшийся на камышовую палку. Одет он был в военное генеральское пальто. Отставной генерал подвигался вперед медленно, не обращая ни на кого внимания: он делал свою обычную предобеденную прогулку. Потухшие серые глаза смотрели кругом совершенно безучастно и не замечали встречавшихся лиц. Да и что их было замечать, когда все это были незнакомые, чужие лица, которым тоже решительно не было никакого дела до отставного желтого николаевского генерала. Это был,

как читатель догадывается, знаменитый генерал Голубко, гроза и трепет целого горного мира. Поровнявшись с Средним проспектом, старик повернул в аллею налево и направился к знакомой зеленой скамеечке, на которой отдыхал во время своих прогулок каждый день. На этой скамеечке его уже поджидал другой старик, тоже высокий и рослый, с окладистой седой бородой и широким, умным русским лицом.

— Вашему превосходительству... — проговорил сидевший на скамейке старик, снимая заношенный бархатный картуз.

— Здравствуй... Как поживаешь, Тарас Ермилыч?

Злобин — это был он — только горько усмехнулся и показал глазами на свою левую ногу, разбитую параличом. Прогремевший на всю Сибирь миллионер обыкновенно каждый день в это время поджидал на заветной скамеечке грозного генерала, чтобы вспомнить вместе далекую старину и посоветоваться о настоящем. Так было и сейчас. Когда генерал уселся на скамье, Злобин сейчас же заговорил с оживлением:

— А мое дельце, ваше превосходительство, опять поступило в сенат. Так на возу и привезли, потому как весом оно одиннадцать пудов. Накопилось достаточно писаной-то бумаги за восемнадцать годков. Да...

— Нынче плохо разбирают дела, Тарас Ермилыч, — уныло ответил генерал, — ежели бы оно поступило ко мне, так я бы его в три дня кончил... Забыли меня там, не нужен стал. Молодые умнее хотят быть нас, стариков... Ну, да это еще посмотрим!

С старческим эгоизмом собеседники думали и говорили только о своих личных делах и относились друг к другу скептически: генерал не верил ни на грош в знаменитое одиннадцатипудовое злобинское дело, а Злобин не верил, что грозного генерала вспомнят и призовут. При встречах каждый говорил только о себе, не слушая собеседника, как несбыточного мечтателя.

— Мне бы только воротить енисейские золотые промыслы, — заговорил Злобин, продолжая мысль, начатую еще дома. — А остальному всему попустился бы, ваше превосходительство.

— Если бы я обкрадывал казну, брал взятки, как другие... — отвечал генерал, продолжая свою собственную мысль, начатую еще третьего дня. — О, тогда другое бы дело!.. За мной бы все ухаживали, как тогда... Знаешь, что я скажу тебе, Тарас Ермилыч: дурак я был! Все кругом меня брали жареным и вареным, а я верил в их честность. Зато они живут припеваючи на воровские деньги, а я с одной своей пенсией... Дурак, дурак, и еще раз дурак!..

— А какие деньги прошли через мои руки тогда, ваше превосходительство? В десять лет я добыл в Сибири больше двух тысяч пудов золота, а это, говорят, двадцать пять миллионов рубликов чистеньких. И куда, подумаешь, все девалось? Ежели бы десятую часть оставить на старость... Ну, да бог милостив: вот только дело в сенате кончится, сейчас же махну в енисейскую тайгу и покажу нынешним золотопромышленникам, как надо золото добывать. Тарас Злобин еще постоит за себя...

— Есть у меня один хороший человек в горном департаменте, — я его и определил туда, когда сам был в силе. Завернул он ко мне

вечерком и говорит: «Андреи Ильич, еще ваше время не ушло... Придут и сами поклонятся». А я говорю ему: «Пожалуй, уж я стар... Не стало прежней силы!» — «Что вы, говорит, Андрей Ильич, да вы еще за двоих молодых ответите, а главное — рука у вас твердая!» Хе-хе... Ведь твердая у меня рука, Тарас Ермилыч?.. Куда им, нынешним фендрикам... Распустили всё, сами себе яму копают.

— Главная причина та, ваше превосходительство, что сибиряки меня судами доехали... Легкое место сказать, судиться восемнадцать лет! Все просудил, что было нажито, а остальное растащили да сынок промотал... Сперва-то, как сибиряки на меня поднялись, я, точно медведь, который в капкан лапой попал, зарычал на всех. На силу на свою понадеялся, а надо было потихоньку, да лаской, да приунищиться, да с заднего крыльца по судам-то, да барашка в бумажке. Дурак я был, ваше превосходительство, потому что их много, а я один. Так и медведя в лесу маленькими собачками травят... А какие я убытки брал по своей гордости? Бить меня тогда некому было, пряменько сказать...

Старики постепенно разгорячались от этих обидных старческих воспоминаний, размахивали руками и совсем уже не слушали друг друга.

— А этот подлец Мишка, который у меня в передней стоял столько лет и оказался первым вором?.. — кричал генерал, размахивая палкой. — Ведь я верил ему, Иуде, а он у меня под носом воровал... Да если бы я только знал, я бы кожу с него снял с живого! По зеленой улице бы провел да плетежками, плетежками... Не воруй, подлец! Не воруй, мерзавец... Да и другим закажи, шельмец!.. А ловкий тогда у меня в Загорье палач Афонька был: так бы расписал, что и другу-недругу Мишка заказал бы не воровать. Афонька ловко орудовал...

Генерал даже поднялся с лавки и принялся размахивать палкой, показывая, как палач Афонька должен был вразумлять плетью грешную плоть верного раба Мишки. Прохожие останавливались и смотрели на старика, принимая его за сумасшедшего, а Злобин в такт генеральской палки качал головой и смеялся старчески-детским смехом. В самый

оживленный момент генерал остановился с поднятой вверх палкой, так его поразила мелькнувшая молнией мысль.

— Тарас Ермилыч, а что было бы, если бы я этого подлеца Мишку прогнал тогда? — спрашивал генерал. — Ведь он главный-то вор был?

— То и было бы, что на его место поступил бы другой такой же Мишка...

— Нет, ты это уж врешь... Разве у меня глаз не было?.. Да я... да как ты смеешь мне так говорить?.. С кем ты разговариваешь-то?

— Ваше превосходительство, успокойтесь... — уговаривал Злобин, как ребенка, расходившегося генерала. — Сдуру я сболтнул... А всего лучше, мы самого Мишку допросим. Ей-богу... Тут рукой до него подать.

Старческая беседа уже не в первый раз заканчивалась таким решением: допросить верного раба Мишку. Они пошли по Среднему проспекту, свернули направо, потом налево и остановились перед трехэтажным каменным домиком, только что окрашенным в дикий серый цвет. Злобин шел с трудом, потому что разбитая параличом нога плохо его слуша-

лась, и генерал в критических местах поддерживал его за руку.

— Вот, полюбуйся!.. — иронически заметил генерал, тыкая палкой на прибитую над воротами домовую вывеску. — У него, подлеца, и фамилия оказалась.

Вывеска была довольно оригинальная: «Собственный дом 3-й гильдии купца Михайлы Потапыча Ручкина», и генерал каждый раз прочитывал вслух, точно желал еще сильнее проникнуться презрением к вору Мишке. Дворник, заметивший издали гостей, побежал на всякий случай предупредить хозяина, и Михайло Потапыч Ручкин встретил их собственной особой на дворе собственного дома. Он был в «спинджаке», в сапогах бутылкой и в ситцевой рубашке, а по глухому жилету распущена была толстая серебряная цепочка — настоящий купец третьей гильдии, точно на заказ сделан. На вид он почти совсем не постарел, а только разбух, и ноги сделались точно короче.

— Пожалуйте, дорогие гости... Ваше превосходительство, Тарас Ермилыч, родимые мои! Вот уважили-то...

— Погоди, вот я тебя уважу, Иуду! — погрозил ему генерал палкой.

Ручкин жил в самой плохой квартире, на дворе; окна выходили прямо к помойной яме. Недосягаемая мечта верного раба Мишки иметь свой собственный дом осуществилась, и Михайло Потапыч Ручкин изнемогал теперь от домовладельческих расчетов, занимая самую скверную квартиру в этом собственном доме. Он ютился всего в двух комнатках, загроможденных по случаю накупленной мебелью.

Когда старики вошли в квартиру, там оказался уже гость, сидевший у стола. Он так глубоко задумался, что не слыхал ничего. Это был сгорбленный, худой, изможденный старик с маленькой головкой. Ветхая шинелишка облекала его какими-то мертвыми складками, как садится платье на покойника. Ручкин взял его за руку и увел в полутемную соседнюю каморку, где у него стояли заветные сундуки.

— Это еще что у тебя за птица? — грозно спросил генерал.

— А так, несчастный человек, ваше превос-

ходительство, — уклончиво ответил Ручкин и потом уже прибавил шепотом: — Караванного Сосунова помните, ваше превосходительство? Он самый... В большом несчастии находится и скрывается от кредиторов: где день, где ночь. По старой памяти вот ко мне иногда завернет... Боится, что в яме его заморят кредиторы.

— Вор!.. — грянул генерал. — Такой же вор, как и ты, Мишка... Нет, ты хуже всех, потому что все другие с опаской воровали, а ты у меня под носам. Как ты тогда кожу с меня не содрал?

— Сосунов, говоришь? — вслух соображал Злобин. — Как же это так: ведь он в больших капиталах состоял. Десять лет караван-то грабил.

— Нашлись добрые люди и на Сосунова, Тарас Ермилыч: до ниточки раздели... Голенький он теперь, в чем мать родила. И даже очень просто...

Хозяин усадил гостей на диван и суетливо бегал из комнаты в комнату, вытаскивая разное барское угощение — початую бутылку елисеевской мадеры, кусок сыра, коробку сар-

дин и т. д.

— Перестань бегать-то, Мишка, — уговаривал его генерал. — Нам не твое угощение нужно, а тебя... По делу пришли.

— Сею минуту, ваше превосходительство... Истинно сказать, што с праздником меня сделали... Не знаю, чем вас и принимать.

Когда Ручкин успокоился, наконец, старики принялись его допрашивать.

— Заспорили мы, Мишка, что бы было, если бы тогда генерал тебя в шею, — объяснял Злобин.

— То есть когда же это, Тарас Ермилыч?

— А когда, значит, они на генеральше женились...

Ручкин весело взглянул на своих гостей и только засмеялся.

— Я так полагаю, что без меня вашему превосходительству никак бы невозможно было управиться, — смело ответил Ручкин. — Брать я, точно, брал, но зато другим никому не давал брать... У меня насчет этого было строго: всем крышка. А без меня-то что бы такое было? Подумать страшно...

— Ах ты, каналья!.. — засмеялся генерал и

сейчас же нахмурился, припомнив эпизод с полненькой генеральшей.

— Ведь я как брал, ваше превосходительство: видеть не мог живого человека, чтобы не оборвать его. Жадность во мне страшная объявилась... Беру, и все мне мало, все мало. Прямо сказать: прорва, ненасытная утроба. А что было, когда я генеральшу утихомирил?.. Все ко мне бросались, все понесли, а я еще больше ожаднел, потому наверстать было надо время-то... Вы-то тогда окончательно мне доверились, ваше превосходительство, ну, я и рвал, в том роде, как истощенный волк. Не потаю, потому дело прошлое: прямо веревку мне тогда на шею следовало да камень, да в воду...

— Ах, подлец!.. Плетежками бы тебя, шельмеца... Помнишь палача Афоньку?

— Как не помнить, ваше превосходительство. Это вы правильно: следовало и плетежками за мое зверство. Как раздумаюсь иногда про старое-то, точно вот сон какой вижу: светленько пожили в Загорье тогда. Один Тарас Ермилыч какой пыли напустили... Ах, что только было, ваше превосходительство! Ни в

сказке оказать, ни пером написать...

Эти воспоминания о прошлом всегда оживляли стариков, особенно Злобина. Но сейчас генерал как-то весь опустился и затих. Он не слушал совсем болтовни своего провороватившегося верного раба, поглощенный какой-то новой мыслью, тяжело повернувшейся в его старой голове. Наконец, он не выдержал и заплакал... Мелкие старческие слезёнки так и посыпали по изрытому глубокими морщинами лицу.

— Ваше превосходительство, что с вами? — спохватился Ручкин. — Господь с вами... Да перестаньте, ваше превосходительство!..

— Довольно... будет... — шептал генерал. — Зачем ты тогда подвел меня с генеральшей? Не был бы я теперь один... Что ж, она была молодая, я старик... я так бы ничего и не узнал... да и узнал бы после времени, так простил бы ее. Слышишь: простил бы!.. Ах, Мишка, Мишка, отчего я тебя не прогнал тогда.

— А оно тово, ваше превосходительство... — замялся Ручкин. — Действительно, по человечеству ежели рассудить, так следо-

вало меня прогнать и даже весьма...

Чтобы понять тяжелую сцену, разыгравшуюся в квартирке Ручкина, мы вернемся назад, к тому времени, когда Смагин, соскочивший с балкона генеральского дома, быстро переплывал пруд. Домой он вернулся весь мокрый, в одном белье — сапоги потом нашли на берегу, а платье исчезло в воде. Наутро он навсегда исчез из злобинского дома, а затем, через несколько лет, его имя прогремело на всю Россию, как одного из крупнейших сибирских золотопромышленников: злобинские деньги пошли впрок. Что касается полненькой генеральши, то она кончила очень печально где-то в Москве, содержанкой какого-то купца. С ней бесследно исчезла и Мотька.

Верный раб Мишка, избыв генеральшу, забрал еще большую силу, чем до генеральской женитьбы, потому что генерал теперь довери́лся ему вполне. Он брал взятки артистически и далеко превзошел секретаря золотого стола Угрюмова и консисторского протопопа Мелетия. Особенно поживился Мишка в крымскую кампанию, когда доставил Сосуно-

ву крупный подряд по доставке артиллерийских снарядов, орудий и оружия. Условия были изумительные; Сосунов взял подряд, без конкуренции, по восемьдесят семь копеек за пуд и сейчас же сдал его Савелию по семнадцать копеек за пуд. Получилось чистого барыша по семьдесят копеек с каждого пуда, а таких пудов были сотни тысяч. Сосунов, таким образом, в две навигации сделался крупным капиталистом, Мишке тоже перепало тысяч пятьдесят, да и Савелий не остался в накладе. Все трое оправдали исконную русскую поговорку, что стоит казенного козла за хвост подержать и т. д. Дальнейшая история Сосунова представляла яркий пример неумения распорядиться дико нажитыми деньгами. У него было около миллиона, но все эти деньги ушли меж пальцев: выстроил он громадную мельницу — мельница сгорела, выстроил дом-дворец, купил на юге громадный конский завод, открыл залежи графита и т. д. Эти предприятия поглотили все деньги Сосунова, а сам он остался нищим на старости лет и должен был скрываться от кредиторов уже в Петербурге.

Но поучительнее всего была история злобинских миллионов.

Примирение с генералом состоялось в непродолжительном времени, конечно благодаря содействию Мишки. Но генерал уже был не тот: точно полненькая генеральша унесла с собой всю его служебную энергию. А дела у Злобина запутывались все сильнее с каждым днем. Давили его и «родные сибиряки», и петербургские дельцы высокого полета, и разные неудачи со своими уральскими заводами, а больше всего, конечно, своя злобинская гордость. Знаменитая злобинская свадьба, продолжавшаяся целый год, закончилась очень печально: во-первых, скоропостижно умер виновник этого торжества Поликарп Тарасыч и умер очень подозрительно, во-вторых, с тихой и покорной Авдотьей Мироновной случилась беда... Впрочем, эта последняя история так и остается неразъясненной: молодая женщина влюбилась в коробейника, песенника Илюшку. Так по крайней мере повторяла молва, связывая с этой романической историей печальный конец Поликарпа Тарасыча. Коробейник Илюшка открыл в Загорье

большой галантерейный магазин и поживал припеваючи. Он уже успел объявить себя несостоятельным три раза и три раза рассчитывался с кредиторами по семнадцать копеек за рубль, — эти семнадцать копеек сделались чем-то вроде таксы для следующих купеческих банкротств, вошедших в Загорье, с легкой руки Илюшки, в моду. Только своих соловьиных песен Илюшка больше не пел: он точно забыл их в злобинском доме. Авдотья Мироновна коротала свою жизнь в полном одиночестве, забытая злобинской родней. Свадьба открыла собой посыпавшиеся на голову Тараса Ермилыча беды. Но это был один из тех крепких людей, которые могут переломиться, но не согнуться, — он и переломился. Когда денежная сила была надорвана, на Злобина посыпались всевозможные случаи: между прочим, выплыло на свет божий и «дело о мертвом теле енисейского купца Турухано-ва». Кажется, уж все было кончено и позабыто, но нашлись родственники, которые стали обвинять Злобина в убийстве. Дело было пустое, как знали и судьи, и свидетели, и сами родственники, но Злобин все-таки попал в

тюрьму, и это окончательно сломило его. Такие дела возможны были только в Сибири при старых сибирских судах. Ходили слухи, что все это дело поднято было Смагиным, которому нужно было захватить в свои руки лучшие злобинские промысла, — он нарочно отправился в Енисейск, разыскал родню Туруханова и заварил кашу. Ни деньги, ни заступничество генерала Голубко — ничто не могло спасти Злобина, опутанного цепкими тенетами. Из тюрьмы он вышел совершенно седым. Оправдание было получено тогда, когда уже все было сделано, чтобы его обессилить окончательно. Докончила его налетевшая на Урал строгая сенаторская ревизия, открывшая на заводах массу злоупотреблений. Его вторично арестовали и сослали в Финляндию, а на дела наложили опеку. Казенные опекуны растащили последние крохи злобинских богатств, так что в конце концов он оказался должным казне, и все его имущество поступило в конкурс и было распродано по частям для покрытия сделанного опекунами казенного долга. Целых десять лет, дорогих лет, прожил Злобин в Финляндии, откуда вернулся нищим и

поселился в Петербурге, чтобы хлопотать по своим бесконечным делам. Все министерства, все департаменты и комиссии отлично знали высокую фигуру Злобина, ходившего по своим делам, как на службу. Департаментские сторожа считали его своим человеком. Злобин совершенно ушел в эту работу и по неделям просиживал в разных архивах, откапывая все новые документы по своим делам. Чиновники смотрели на Злобина, как на сумасшедшего, и тянули разными обещаниями, советами и несбыточными надеждами. Этот тип сумасшедшего просителя хорошо известен каждому департаментскому сторожу.

Генерал Голубко слетел с своего места по той же сенаторской ревизии, которая унесла и Злобина. Наступало новое время, время преобразований и новых людей. Военный режим казенного горного дела отошел в вечность, а с ним вместе и генерал Голубко. На него были сделаны какие-то начеты и начато было даже дело, но все это было покрыто «милостивым манифестом». Генерал был честный человек и остался при половинной пенсии, которой сейчас и существовал.

Интересна была встреча генерала и Злобина в Петербурге в одном из департаментов. Они не видались лет десять, но поздоровались так, точно расстались вчера.

— А у меня на днях все кончается... — заявил Злобин, вытаскивая старый большой бумажник с документами. — Всего-то одной пустой бумажонки недоставало. Добыл ее, и теперь все пойдет, как по маслу...

Злобин тут же в передней разложил на окно разные документы и принялся читать их генералу. Потом вытащил из другого кармана связку писем от разных сильных людей, обещавших свое содействие и посильную помощь. Генерал терпеливо выслушал все, а потом угостил тем же Злобина, хотя и не в таких размерах, — у него тоже были и верные документы и письма. Мимо них проходили чиновники, кончившие службу, проходили ходатаи, просители, но они ничего не хотели замечать, поглощенные своими делами. Когда департамент опустел, дежурный сторож подошел к ним и объявил:

— Господа, сейчас двери будут запирать... пожалуйте.

— Как пожалуйте? — вспылил было генерал, но сейчас же сложил бережно свои драгоценные бумаги, спрятал их в карман и пошел покорно к выходу.

Единственной отрадой выбывших из строя отставных людей были их ежедневные встречи во время предобеденного генеральского гулянья, когда они могли поделиться и своими воспоминаниями, и надеждами, и горестями. Эти встречи отравляла только мысль о том, кто первый не выйдет на такую прогулку…

Торжествовал один верный раб Мишка.

Вольный человек Яшка

I

Глубокая осень. Последний осенний караван «выбежал из камней» только к 8 сентября. На реке Чусовой «камнями» бурлаки называют горы. Пониже камней Чусовая катится уже в низких берегах. Скалы и хвойный лес быстро сменяются самой мирной сельской картиной: по берегам стелется пестрая скатерть пашен, заливных лугов и редких перелесков. Изредка выглянет глухая деревушка, изредка мелькнет далекая сельская церковь... и опять глухой простор на десятки и сотни верст.

Выбежав из камней, караван отдыхал. Тяжелая бурлацкая работа осталась позади, — там, где сдавленная каменными кручами, река бурлила и играла, как дикий зверь. Опасность плавания усложнялась осенними дождями, которые подпирали реку в несколько часов иногда аршина на два. Главным образом играли безыменные горные речушки; они стремительно несли в Чусовую дождевую воду, что скатывалась с гор. Так бывает толь-

ко осенью, когда земля уже достаточно пропитается влагой.

— Теперь будем переваливаться с плеса на плес, как блин по маслу, — говорил бурлак Яшка, делая преуморительную рожу.

— У тебя везде масло на уме, — ворчал сплавщик[94] Лупан, припоминая последнюю хватку, когда Яшка напился до зла горя. — Все ищет, где полегче да где плохо лежит. У непутевого человека и разговор непутевый...

На барке было шестнадцать бурлаков и в том числе три бабы. Собрались они с разных сторон: какие-то отбившиеся от работы заводские мастеровые, двое татар из Казанской губернии; остальные — свой чусовской прибрежный народ, выросший на сплавах.

Из этой пестрой массы Яшка выделился сразу, как непутевый человек. Среднего роста, какой-то весь взъерошенный, кривой на один глаз — одним словом, не настоящий мужик, а так, как мякина в зерне. Особенно страдал Яшка по части одежды: на нем, кроме пестрядинной рубахи и таких же штанов, ничего не было. И это в сентябре, когда и холод, и ветер, и холодный осенний дождь.

— Как же это ты так ошибся одежой-то? — журил его водолив.

— А вот за работой согреюсь... Который бог вымочит, тот и высушит.

— Пропил одежу-то?

Яшка только встряхивал головой и улыбался. Что же, было дело!.. Кто его знал, что на реке по ночам так студено будет. Ну, да одежа — дело наживное: не с одежой жить, а с добрыми людьми.

Таких молодцов на барке было еще трое, и все забубенные пьяницы. Яшка отличался от них только особенным мужицким балагурством, которое иногда переходило в шутовство. Шутовства-то ему и не прощали. Можно быть и пьяницей и забулдыгой, чем угодно, но только не шутом. А Яшка не мог утерпеть — нет-нет, да и выкинет коленце, так что все помирают со смеху.

— Ах, Яшка, хрен тебе в голову!.. Ну и Яшка!

На третий день сплава, когда барка бежала еще в камнях, Яшка чуть не подрался.

Дело было так.

Ранним утром барка бежала мимо лесисто-

го берега. Бурлаки стояли сумрачные, озябшие, озлобленные. С реки так и поддавало холодным осенним туманом. Яшка стоял у потеси вместе с другими и корчился, как грешная душа. Вдруг он прищурил зрячий глаз и жалостливым голосом проговорил:

— Эх, кабы ружье!..

— А что, Яша?

— Да вот жаркое-то как насвистывает...

В лесу действительно перекликались рябчики.

— И вкусен теперешний осенний рябчик, — объяснял Яшка. — Ишь как выделывает, шельмец!.. Рраз!.. — и жаркое. Нет лучше этого осеннего рябчика... Падает убитый с дерева, так кожа у него от жира лопается.

— Да ты охотник, что ли, непутевая голова?

— Случалось... Лет с двадцать ружьишком промышлял.

— Куда же ты его дел, ружье-то?..

Яшка хотел объяснить, но его предупредил какой-то шутник:

— Да он его пропил, ружье-то...

— Я? Пропил?..

Яшка вдруг обиделся, и это послужило потехой для всей барки. Так мог сделать только непутевый человек. Настоящий мужик и вида не показал бы, что его задели за живое, а Яшка выдал себя головой.

— Ах, Яша, Яша, зачем же это ты ружье-то пропил? — притворно жалели его. — Вот теперь и стой у потеси... Ел бы жареных рябчиков, кабы ружье-то... Ах, Яша, Яша!..

— Ничего вы не понимаете, черти! — ругался Яшка. — Едал я этих самых рябчиков достаточно. И глухарей, и уток, и косачей — сколько даже угодно.

Слово за слово — и дело кончилось дракой. Яшку едва оттащили от большого, здоровенного бурлака, в которого он вцепился, точно кошка.

II

Слышу я всю эту перебранку. Вглядываюсь в лицо Яшки и вдруг припоминаю такой же ненастный осенний день в горах, ночлег в охотничьем балагане, неожиданное появление глухой ночью охотника-промышленника... Это был он, Яшка! Как это я не узнал его сразу?.. А между тем лицо у Яшки принадле-

жало к числу тех лиц, которые трудно забыть.

Впрочем, наша встреча происходила ночью, а ранним осенним утром Яшка уже ушел на промысел. На расстоянии пяти-шести лет таких встреч — сотни, и можно забыть даже самое заметное лицо.

Да и Яшка сильно постарел, как-то весь вылинял, совсем подходил к тем пропащим людям, из каких составляются бурлацкие ватаги.

Непонятно было одно: как Яшка, вольный человек, охотник, попал в бурлацкую неволю?

— А ты меня не признаешь? — обратился я к нему, когда Яшка грелся у огонька, горевшего посреди барки на особом очаге.

Яшка равнодушно посмотрел на меня своим единственным глазом, почесал затылок и проговорил:

— Как будто и не припомню этакого барина...

— А как-то на Белой горе вот так же осенью ночевали вместе в балагане?.. Ты за рябчиками ходил...

Яшкино лицо точно просветлело.

— А ведь точно... — заговорил он как-то

особенно быстро. — Ах ты, братец ты мой!.. Еще у вас тогда собачка рыженькая была, на переднюю ножку припадала? Вот-вот... У меня тогда тоже собака, Куфта, была — аккуратный песик! Вот как глухарей по осеням на лиственни облаивала... спелую белку искала!.. И на медведя хаживала!..

Эти воспоминания были прерваны новым взрывом досады:

— А вот привел господь бурлачины отведать, барин!.. Самый пустой народ... «Ружье, говорят, пропил», а того не понимают, галманы, что такое ружье. Разве его можно пропивать?.. Нет, прямые подлецы они, барин, вот это самое бурлачье. Пропил!.. Варнаки!..

Оглядевшись кругом, Яшка прибавил вполголоса:

— Ружьецо-то у меня скапутилось... Да. Пошел по первому снегу за оленями; выследил одного, подкрался — трах!.. казенник[95] и вырвало. Лучше бы, кажется, руку оторвало... Какой я человек без ружья? Хуже меня нет. Уж я и поправлять его отдавал, ружье-то, денег на поправку стравил видимо-невидимо, а толку не вышло. Мастеришки плохие и вко-

нец извели. Вот я и подумал сплыть на караване до Перми: зароблю[96] восемь целковых да там и цапну новенькую орудию.

Последние слова Яшка проговорил с каким-то особенным вкусом и даже закрыл глаза, предвкушая удовольствие.

Ружье для него составляло все, и он вынашивал мысль о нем, вероятно, целую зиму. Добыть новое ружье было для него большою задачей: он знал, что, добыв ружье, бросит бурлацкое дело и опять станет вольным человеком.

Эта встреча доставила мне много удовольствия, хотя водолив, в балагане которого я скрывался на ночь от холода, и косился на Яшку, когда тот с охотничьим простодушием расположился «чаевать» со мною.

— Разве они што понимают? — объяснял Яшка с некоторой снисходительностью. — Так, темный народ... Конечно, я на барке-то «пришей хвост кобыле», а поглядели бы на меня в лесу. Ну-ка, попробуй!.. Ты десять раз мимо прошел, а Яшка уж нашел. По лесу-то я барином хожу... Хочу — у огонька буду сидеть, хочу — завалюсь спать. Разве они это

могут понимать?.. Яшка — вольная птица... Вот только бы господь сподобил касательно ружья!..

Мне очень хотелось приютить Яшку около себя, но это оказывалось невозможным — третьего места в балагане не было.

Вечером я укладывался, и мне тяжело было думать, что я лежу в сухе и тепле, а Яшка корчится около огонька...

— Ведь не я один колею, — объяснил Яшка. — Конечно, они варнаки и ничего не понимают, а только все же человеки...

III

Это была ужасная ночь... Я проснулся от какого-то пронизывающего холода. Часы показывали три. По скрипу потесей, бултыхавших воду с таким тяжелым шумом, точно ее разгребала какая-то огромная лапа, я заключил, что барка плывет. В камнях на ночь останавливали барку — делали «хватку», а теперь барка плыла, потому что, кроме мелей, никакой опасности не предвиделось. Работы было меньше, и бурлаки разделились на две смены — дневную и ночную.

Когда я вышел из своего балагана, меня по-

разила открывшаяся картина. В воздухе тихо кружились хлопья мокрого снега... Вся барка была покрыта слоем этого снега по крайней мере на вершок. Кое-где слабо мерещились мокрые тени работавших у потесей бурлаков. Картина получалась ужасная. Некоторые кутались в мокрые рогожки, а большинство стояло без всякого прикрытия.

Царило мертвое молчание. Оно приходилось как нельзя больше под стать этой картине холодной смерти. Мне казалось, что наша барка плывет именно в каком-то мертвом царстве. Сплавщик Лупан, седой важеватый [97] старик с окладистой бородой, сидел на своей скамеечке на задней палубе и отдавал приказания молча, движением руки, точно и он боялся нарушить мертвую тишину.

— А где Яшка? — спросил я водолива, отливавшего воду.

Он, тоже молча, мотнул головой на кладку медных полос — «штык», проходивших поленницей посредине барочного дна от носа до кормы. Я понял, что водолив не забрался в балаган из совести и мокнул под снегом вместе со всеми остальными. Потому же и Лупан

оставался на своей скамейке. Сказалось без слов то артельное чувство, которое из разношерстной бурлацкой ватаги делало одну дружную семью.

Яшка спал под мокрой рогожкой, покрытой снегом. Из-под нее поднимался только пар. Он устроился прямо на медных штыках, перевязанных по шести штук, так что через свою рогожку должен был чувствовать каждое ребро медной штыки и все узлы жестких веревок. Другие бурлаки забрались под палубы, — там по крайней мере не заносило снегом, — но вольный человек Яшка привык проводить целые недели на открытом воздухе, а зимой и прямо спать в снегу.

Я прислушался, — из-под рогожки слышалось ровное дыхание спящего человека.

Я присел к огню и долго смотрел кругом. Никогда еще пламя не казалось мне таким красивым, как именно сейчас, когда оно боролось с этой влажной, тяжелой тьмой. В такие ночи можно понять и все то неизмеримое значение огня, о котором как-то совсем забываешь, сидя в теплой комнате. Какая страшная ночь покрывала бы человечество, если

бы не было огня! Недаром Яшка до сих пор считает грехом плюнуть на костер. Вот и теперь он устроился на штыках, наверно, только потому, чтобы быть поближе к огоньку.

— Шли бы вы, барин, к себе в балаган, — посоветовал мне водолив, подкидывая на очаг несколько мокрых поленьев. — Дело-то ваше непривычное: как раз лихоманка ухватит, а то и паралик расшибет.

Признаться сказать, мне было совестно уходить в свой балаган, когда другие мокли на палубах, но оставаться с ними было не под силу. Ушел я в балаган, кое-как сгороженный из досок, рогож и еловой коры, — на свою жесткую постель из наворованного на берегу сена. Я долго прислушивался к мертвой тишине, пока не заснул тревожным сном.

IV

Проснулся я поздно, — проснулся от страшного шума, происходившего на барке. Первая мысль была, что барка тонет. Я выскочил из балагана и замер от изумления. Происходило что-то невероятное до последней степени...

Над баркой с гоготанием тяжело кружились дикие гуси. Обессилевшая птица, застиг-

нутая ранним снегом, падала в реку. До десятка гусей с какой-то отчаянной решимостью сели прямо на барку. Последнее было тем более удивительно, что дикий гусь — очень осторожная птица и не подпустит охотника на несколько выстрелов.

— Лови, робя, бей!.. — галдели бурлаки, гоняясь за обессилевшей птицей.

Работа была брошена, и на барке происходила настоящая свалка. Меня поразил отчаянный вопль Яшки, который бегал по барке, как сумасшедший.

— Братцы!.. Родимые мои!.. Што вы делаете?.. Ах, варнаки... ах, подлецы!.. Братцы, миленькие, не троньте божью тварь!.. Разе можно ее трогать в этакое время?.. Очумели вы, галманы отчаянные!.. Креста на вас нет, на отчаянных... Ах, братцы, грешно! Вот как грешно!..

Проворнее всех оказалась одна из баб. Она поймала уже двух гусей и лежала на них пластом. Яшка накинулся на нее и отнял помятую, обезумевшую от ужаса птицу.

— Што ты делаешь-то, дурья голова?.. Вот я тебя расчешу... Право, отчаянные варнаки!..

Братцы!.. Черти!..

Яшка ругался, как остервенелый, и в то же время гладил отнятых у бабы гусей. Бурлаки смутились, и некоторые уже выпустили пойманную птицу.

— А сам-то небось стреляешь всякую птицу, ярыга! — ответно ругалась обиженная баба. — Сбесился, деревянный черт!..

— И стреляю, дура-баба... да! — орал Яшка, закипая новой яростью. — Только не на перелетах... Я вольную птицу бью, которая в полной силе, а эта замерзлая. Вот ты бурчишь, дура-баба, а того не знаешь, что убить человека грешно, а за убитого странника вдесятеро взыщется. Так и с птичкой перелетной... Нажралась бы ты этой гусятины и околела бы сама. Одно слово: дура!.. Птичка-то к нам насела, дескать: «Дадут передохнуть, а может, и накормят», — а ты навалилась на нее как жернов. В другое-то время разве она подпустила бы тебя, дуру?..

— В самом деле, братцы, не троньте божью птицу! — поддержал уже хрипевшего от волнения и крика Яшку старый сплавщик Лупан. — Нехорошо!.. Пусть передохнет, а потом

сама улетит, куда ей произволение. Яшка-то правду говорит...

— Да ведь это харч, — нерешительно заявил один голос из сбившейся кучки бурлаков. — Такое бы варево заварили, Лупан Степаныч!..

— А ты, оболдуй, слушай ухом, а не брюхом!.. Яшка-то всех умнее себя обозначил. Да!.. Он уж это дело знает.

— Ах, боже мой, да ведь грех-то какой! — умиленно повторял Яшка, обращаясь ко всем вообще. — Вон какая смирная птичка... Сама в руки идет. Только вот не говорит: «Устала, мол, я, притомилась, иззябла...» А вы ее бить!..

Выбившийся из сил гусиный косяк теперь покрывал Чусовую, точно живой снег. Гуси не сторожились больше своего страшного врага — человека. Те, которые попали на барку, успели отдохнуть и торжественно были спущены на воду к призывно гоготавшим товарищам.

Яшка торжествовал и даже перекрестился, спуская последнего гуся.

— Будто еще должен один быть? — думал

он вслух, оглядывая недоверчиво толпу бурлаков.

— Все тут, Яшка...

— Ну, и слава богу!.. Спасибо, братцы!

А снег все валил. Вода казалась такой темной в этих побелевших берегах. Где-то вдали смутно обрисовывались деревенские стройки.

— Эй, будет валандаться попусту! — скомандовал сплавщик. — Держи нос-от направо...

Потеси лениво забултыхались в воде. Гусиный косяк сгрудился и стройной массой с гусиной важностью отплыл к противоположному берегу, провожая барку своим гоготаньем.

— Правильная птица! — заметил Яшка, провожая глазами удалявшийся от нас косяк. — Умнее ее нет... И живет парами, по-божески. Не то что, например, косач...

Почесав затылок, Яшка прибавил совсем другим тоном:

— Эх, ежели бы вот таких гуськов десяточек, был бы Яшка с ружьем и не колел бы, как пес! В Перми бы продал по целковому за штуку...

V

Вечером мы вместе пили чай в балагане — я, водолив и Яшка. На Яшке мокрая рубаха дымилась от пара. Он с каким-то ожесточением пил одну чашку за другой, вернее, не пил, а глотал. Это опять был жалкий Яшка.

— Тебя не знобит? — спрашивал я.

— Нет, зачем знобить?.. Вот ежели бы мокрый-то я у огня начал греться, ну, тогда пропасть.

Напившись чаю и поблагодарив, Яшка поднялся.

— Ну, теперь пойду на свою перину, барин...

Взглянув на изголовье постели, на которой отдыхал водолив, Яшка укоризненно покачал головой:

— Эх, Павел Евстратыч!.. То-то я давеча не досчитался одного гуська... Где у тебя совесть-то?..

— Ну, ну, подержи язык за зубами.

— Я-то подержу, а тебе отрыгнется этот гусь...

Из-под изголовья высовывался гусиный хвост.

— Да ведь я его не ловил! — оправдывался водолив. — Сам он забежал в балаган. Ну, я его и пожалел: приколол.

— У волка в зубе Егорий дал?.. Эх, Павел Евстратыч, нехорошо... Вот как нехорошо!

Примечания

1

Шары — глаза. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

2

Мыслете — старинное название буквы «м». Писать мыслете — идти нетвердым шагом.

[^^^]

3

Ферт — старинное название буквы «ф».

[^^^]

4

Азям — крестьянская верхняя длиннополая одежда.

[^^^]

5

Спишка — спуск барок на воду (от слова «спихнуть»).

[^^^]

6

Сименс Фридрих, немецкий инженер, усовершенствовал процесс варки стали.

[^^^]

7

Кислы — проквашенная мелкая капуста. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

8

Лопотина — верхняя одежда, вообще платье. (прим. автора)

[^^^]

Обуй — обувь. (прим. автора)

[^^^]

10

Талант — древняя денежная единица; в евангелии рассказывается о рабе, который закопал в землю деньги, оставленные ему господином во время его отсутствия; по возвращении хозяина раб выкопал деньги и возвратил их полностью; другой раб пустил оставленные деньги в оборот и вернул их с процентами. Закопать, зарыть талант — оставить знания, способности, средства без развития и приумножения.

[^^^]

11

Настоящий очерк относится ко времени, предшествовавшему открытию Уральской горнозаводской железной дороги. — Автор.

[^^^]

12

Черепом называется тонкий слой льда, который весной остается на дороге; днем он тает, а ночью замерзает в тонкую ледяную корку, которая хрустит и ломается под ногами. (прим. автора)

[^^^]

13

Голутвенные — здесь: в смысле «бедные», «обнищавшие».

[^^^]

14

Ушкуйники (от «ушкуй» — плоскодонная ладья с парусами и веслами) — дружины новгородцев в XI–XV вв., отправлявшиеся по речным и североморским путям с торговыми и военными целями. Ушкуйники принимали участие в освоении новых земель в северном поморье, Приуралье и Поволжье.

[^^^]

15

Дело о Солнышкине нами заимствовано у Есипова из его раскольничьих дел XVIII века. (прим. автора)

[^^^]

16

Преображенский приказ — основанная Петром I канцелярия, в ведение которой вначале входило заведование регулярным войском и розыск по преступлениям против царской власти («Государево слово и дело»). Впоследствии приказу были поручены почти исключительно следствия по политическим делам. Приказ находился под управлением князя Федора Юрьевича Ромодановского (у Мамина-Сибиряка ошибочно — Ивана Федоровича).

[^^^]

17

Шугай — здесь: род кофты; обычно с ленточной оторочкой кругом.

[^^^]

18

Из сплавщиков на пристанях особенно ценятся меженные, то есть те, которые плавают по Чусовой летом, — по межени, когда река стоит крайне мелко и нужно знать до мельчайших подробностей каждый вершок ее течения. (прим. автора)

[^^^]

19

Суводь — круговая струя над омутом, водоворот.

[^^^]

20

Огрудки — мели в середине реки, где сгружи-вается речной хрящ. (прим. автора)

[^^^]

21

Таши — подводные камни. (прим. автора)

[^^^]

22

Четь — четверть. (прим. автора)

[^^^]

23

Глаголь — старинное название буквы «г».

[^^^]

24

Вачеги — рукавицы, подшитые кожей. (прим. автора)

[^^^]

25

Пиканники — прозвище жителей Кунгура (города Пермской губернии).

[^^^]

26

Потеси — большие весла, служащие для управления барками.

[^^^]

27

Невьянские заводы — металлургические заводы на Урале, принадлежавшие заводчикам Демидовым.

[^^^]

Залобует — убьет. (прим. автора)

[^^^]

29

Мурчисон Родерик Импий (1792–1871) — английский геолог, автор капитального труда по геологии России «Геологическое описание Европейской России и хребта Уральского». Эйхвальд Эдуард Иванович (1795–1876) — русский ученый-естествоиспытатель. Ему принадлежит капитальный труд «Палеонтология России».

[^^^]

30

Порубень — борт. (прим. автора)

[^^^]

31

Названия вымерших пород моллюсков (лат.).

[^^^]

32

На Урале раскольников иногда называют двоеданами. Это название, по всей вероятности, обязано своим происхождением тому времени, когда раскольники, согласно указам Петра Великого, должны были платить двойную подать. Раскольников также называют и кержаками, как выходцев с реки Керженца. (прим. автора)

[^^^]

33

Раскольники называют картофель земляным горохом. (прим. автора)

[^^^]

34

Лычага — веревка, свитая из лыка.

[^^^]

35

Оклематься — поправиться. (прим. автора)

[^^^]

36

Пониток — здесь: верхняя одежда из полушерстяного домотканого сукна.

[^^^]

бойцового мяса...

[^^^]

38

Сирены — мифологические полуптицы-полуженщины. Своим волшебным пением они увлекали мореходов, которые становились добычей хищных сирен. Одиссей, герой поэмы Гомера «Одиссея», залепил своим спутникам уши воском, чтобы они не услышали пения сирен, а себя велел привязать к мачте и, хотя слышал пение сирен, остался жив.

[^^^]

39

Остожьем называется загородка из жердей вокруг стога сена. (прим. автора)

[^^^]

40

Стефан Великопермский (1340–1396) — проповедник христианского учения среди народов Севера.

[^^^]

41

Мастак — мастер. (прим. автора)

[^^^]

42

Блазнило — мерещилось, казалось.

[^^^]

43

... — относящийся ко времени царствования (1801–1825) Александра I.

[^^^]

Акушерка (франц.).

[^^^]

45

Вивисекция — операция на живом животном с целью изучения функций организма и причин различных заболеваний.

[^^^]

46

«Белая дама» — популярная опера французского композитора Буальдьё Франсуа Андриена (1775–1834).

[^^^]

Навязчивой идеи *(франц.).*

[^^^]

48

— Будем веселиться, пока мы молоды… *(лат.)*
— Старинная студенческая песня.

[^^^]

49

Приисковая бестия.

[^^^]

50

Мнимая *(лат.)*

[^^^]

51

Бараба — Барабинская степь — низменность в южной части Западной Сибири.

[^^^]

52

«Приходишь» — в переносном смысле, по местному говору, значит «жалуешься». (прим. автора)

[^^^]

53

Базлать (обл.) — кричать, горланить, реветь.

[^^^]

54

Цетерок — от сеттер, порода собак.

[^^^]

55

Братан — брат. (прим. автора)

[^^^]

Утямились (обл.) — привязались, пристали.

[^^^]

57

Шевелиться — копаться, возиться; медлить с каким-либо делом.

[^^^]

58

Анисимовские издания — судебные уставы, кодексы законов и юридические справочники, изданные петербургским нотариусом А. Н. Анисимовым.

[^^^]

«Трекнулся» — по-заводски, отрекся. (Прич. Д.Н.Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

Непременным условием (лат.).

[^^^]

Тем самым (лат.).

[^^^]

62

...приняли... в стяги — стали колотить дубинами; стяг — дубина, кол, толстая и длинная палка.

[^^^]

Клящий (сиб.) — сильный, большой.

[^^^]

64

Право первого захвата (лат.).

[^^^]

65

Лядунка — сумка для патронов

[^^^]

Бланка — небольшой луг, равнина, прогалина

[^^^]

Запон (устар.) — здесь — передник, фартук

[^^^]

Маханина — вареное лошадиное мясо. (прим. автора)

[^^^]

Главная улика (лат.).

[^^^]

70

Чумбур — повод уздечки.

[^^^]

Вотчинник — коренной владелец земельных угодий; припущенник — переселенец из других мест.

[^^^]

72

По насердкам — по злобе, в сердцах. (прим. автора)

[^^^]

73

Верея — столб, на который навешиваются створки ворот.

[^^^]

Бастрыг — палка, шест.

[^^^]

75

По библейскому сказанию, Иов был счастливым человеком: он был богат, почитаем, имел семь сыновей и трех дочерей, составлявших счастливое семейство. Иов вел жизнь праведника. Этому счастью позавидовал сатана и стал говорить богу, что Иов праведен только благодаря своему земному счастью, с потерей которого он потеряет свое добронравие и превратится в богохульника. Чтобы изобличить эту ложь, бог позволил сатане лишить невинного Иова всех благ: он обеднел, потерял детей и заболел проказой, но Иов все претерпел, не жаловался и не роптал. За это бог исцелил его и обогатил, у него снова родилось семь сыновей и три дочери, и он счастливо прожил до глубокой старости.

[^^^]

76

Канаус — шелковая ткань невысокого сорта.

[^^^]

77

Красный товар (устар.) — ткани.

[^^^]

78

Красный товар (устар.) — ткани.

[^^^]

79

Красный товар (устар.) — ткани.

[^^^]

Мужик (фр).

[^^^]

Заводная лошадь (обл.) — запасная верховая лошадь.

[^^^]

Заводная лошадь (обл.) — запасная верховая лошадь.

[^^^]

83

Лестовка — кожаные четки у раскольников.

[^^^]

84

Краген — большой меховой воротник, который можно накинуть на голову.

[^^^]

85

Курпей — здесь — кисть на шапке.

[^^^]

86

Выжлятник — охотник, наблюдающий за гончими (от выжлец — кобель гончей породы).

[^^^]

87

Доезжачий — старший псарь, занимающийся обучением борзых собак и распоряжающийся ими на охоте.

[^^^]

88

На реке Большой Иргиз (приток Волги) был расположен один из центров старообрядчества; здесь беглые попы отказывались от господствующей церкви, т. е. «получали исправу».

[^^^]

89

Аматер (фр. amateur) — любитель.

[^^^]

Свиданиям наедине (франц.).

[^^^]

91

Ночесь — ночью. (прим. автора)

[^^^]

Ночесь — ночью. (прим. автора)

[^^^]

Название одного из горных чинов. (прим. автора)

[^^^]

Лоцман. (прим. автора)

[^^^]

95

Казенник — большой железный винт, который вставляется в заднюю часть ружейного ствола.

[^^^]

Зароблю — заработаю. Таков говор в Пермском крае. (прим. автора)

[^^^]

97

Важеватый — внушительной, солидной внешности.

[^^^]

Комментарии

1

Бойцы. Очерки весеннего сплава по реке Чусовой

Впервые напечатаны в «Отечественных записках», 1883, № 7, 8. Автор работал над «Бойцами» в течение многих лет. В Свердловском областном архиве сохраняется рукопись под названием «Легкая рука». На первом листе рукописи надпись-автограф: «Первоначальная редакция „Бойцы“ — писана в 1874–1875 гг.». Это одна из самых ранних среди дошедших до нас рукописей Д. Н. Мамина-Сибиряка. Тема сплава по Чусовой разрабатывалась в ранних редакциях романа «Приваловские миллионы». В одном из вариантов романа (он назывался «Каменный пояс») сохранился план главы, воссоздающей острый конфликт между богатством и бедностью:

«Вот эта знаменитая пристань, с которой народ отправляет свое богатство и остается голодать, вот изнанка Ирбитской ярмарки, ее подкладка, вот источник богатств Архарова, благодетеля.

Толпы бурлаков — перекатная голь, захуда-

лые, обросшие, грязные, голые, беднее самой бедности: вогулы, остяки, черемисы, татары, вотяки... Наступает день (1 мая) Еремея Запрягальника, и это море крестьянское заволновалось. Им снятся горы, леса, нивы... Голод, нищета, дети, жены.

Обед бурлаков: заплесненный, черствый, как камень, хлеб опускается в бурак и приправляется горячей молитвой... Пьют воду из бурака, а хлеб вытаскивают лучинками.

Пьянство этой голи напомнило Прив(алову) Ирбитскую ярмарку. Только там от избытка, здесь от горя...

А эти песни — эти поминки по живым, отпевание самих себя на родной кормилице-реке, и Привалов плакал, как ребенок, от этих картин — перед его глазами происходил страшный акт борьбы за существование.

Какие лица б(ыли) у бурлаков. В чем они б(ыли) одеты. Вот фундамент богатств Ляховского, Архарова и других...» (В сб. Урал. Екатеринбург, 1913, с. 86.)

Очерки «Бойцы» написаны в большей своей части на основе личных впечатлений. В юношеские годы Мамину неоднократно при-

ходилось совершать поездки по Чусовой от Висимо-Уткинской пристани до Перми. Сберегая скудные свои средства, родители были вынуждены отравлять сына в Пермскую духовную семинарию с попутным караваном барок, подвергая его всем превратностям такого рискованного путешествия. Сплав барок, как видно из очерков «Бойцы», был смертельно опасен для сплавщиков, бурлаков и «пассажиров». Юношеские впечатления оставили глубокий след в памяти Мамина и дали материал для ряда его очерков: «В камнях», «Бойцы», «На реке Чусовой», «Вольный человек Яшка» и др.

[^^^]

2

Поправка доктора Осокина

Рассказ впервые напечатан в журнале «Русская мысль», 1885, № 12. При жизни писателя переиздавался в составе «Уральских рассказов». В ЦГАЛИ хранятся черновые варианты II и III глав рассказа. В журнальной публикации философия доктора Осокина (V глава) дана была полнее, чем в последующих изданиях.

Основу этого рассказа составили реальные факты. О встрече со студентами на приисках во время каникул и чтении под их руководством естественнонаучной литературы Мамин-Сибиряк рассказал в своих воспоминаниях «Из далекого прошлого», которые отличаются фактической достоверностью. «Мне было лет пятнадцать, — писал он а автобиографических очерках „Из далекого прошлого“, — когда я встретился с новой книгой. От нашего завода верстах в десяти были знаменитые платиновые прииски. Управителем, или, по-заводски, доверенным, поступил туда бывший студент Казанского университета Нико-

лай Федорыч. Мы с Костей уже бродили с ружьями по соседним горам, бывали на прииске, познакомились с новыми людьми и нашли здесь и новую книгу, и микроскоп, и совершенно новые разговоры. В приисковой конторе жил еще другой бывший студент, Александр Алексеевич, который, главным образом, и посвятил нас в новую веру. В конторе, на полочке, стояли неизвестные нам книги даже по названию. Тут были и ботанические беседы Шлейдена, и Молешотт, и Фогт, и Ляйель, и много других знаменитых европейских имен. Перед нашими глазами раскрывался совершенно новый мир, необъятный и неудержимо манивший к себе светом настоящего знания и настоящей науки. Мы были просто ошеломлены и не знали, за что взяться, а главное, как взяться „с самого начала“, чтобы не вышло потом ошибки и не пришлось возвращаться к прежнему.

Это была наивная и счастливая вера в ту науку, которая должна была объяснить все и всему научить, а сама наука заключалась в тех новых книгах, которые стояли на полочке в приисковой конторе».

[^^^]

3

Первые студенты

Впервые напечатан в журнале «Северный вестник», 1887, № 1. При жизни писателя неоднократно перепечатывался в составе «Уральсхих рассказов». Рукопись хранится в Свердловском областном архиве.

В рассказе «Первые студенты» автор выразил свое горячее сочувствие передовым людям шестидесятых годов. Мамину-Сибиряку были дороги идейные и нравственные принципы демократов-шестидесятников. Сознание необходимости бережно хранить и развивать эти демократические принципы проявилось во многих его произведениях, в частности, в одном из последних его рассказов, «Мумма».

[^^^]

4

Из уральской старины

Впервые напечатан в журнале «Русская мысль», 1885, № 6. При жизни писателя перепечатывался в составе «Уральских рассказов».

Первоначальное название рассказа «Узелки» (Из рассказов об уральской старине). Рукопись под этим названием хранится в Свердловском областном архиве. На первом листе этой рукописи надпись почерком Мамина-Сибиряка: «13 марта, 1885 г. Екатеринбург», в конце рукописи: «15 апреля, 1885 г. Екатеринбург». Кроме того, вверху первого листа рукописи надпись-автограф: «Напечатано под заглавием „Из уральской старины“ в третьем томе „Уральских рассказов“, изданных фирмой „Издатель“» (Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Рукописи и переписка», М., 1949, № 35, стр. 30).

[^^^]

5

Родительская кровь

Впервые напечатан в журнале «Вестник Европы», 1885, № 5. При жизни автора перепечатывался в составе «Уральских рассказов». Рукопись хранится в Свердловском областном архиве. В конце рукописи рукою Мамина-Сибиряка сделана надпись: «12 декабря 84 г. Екатеринбург».

Автор предполагал напечатать очерк в «Русской мысли», но редакция отклонила его, мотивируя отказ тем, что он якобы не соответствовал профилю журнала.

При подготовке к третьему изданию «Уральских рассказов» автор внес в текст изменения и сокращения. Из очерка исключен отрывок, резко осуждающий так называемую буржуазную «цивилизацию». После слов: «Над городом N висело целое облако пыли, окрашенное розовым огнем заката» — было: «Навстречу попадались пьяные чиновники, где-то пиликали гармоники, в каждой улице была непременно портерная — этот единственный отпрыск европейской цивилиза-

ции, пробившийся к нам на Урал. Такие портерные, обязательно снабженные сомнительными девицами в качестве женской прислуги, служили самыми грязными притонами, развращавшими преимущественно городскую молодежь. По сравнению с этими логовищами старые кабаки представляют собой чуть не отрадное явление».

Рассказ «Родительская кровь» вызвал положительную оценку В. Г. Короленко, отметившего «'Поразительный запас творческой силы» Мамина-Сибиряка и его способность создавать живые, правдивые образы, очерченные «верно и сильно», точно высеченные из уральского камня. Трезвость и ясность ума Мамина-Сибиряка Короленко противопоставил «туманному, слякотному нытью» буржуазных писателей и субъективистским произведениям либерально-народнических беллетристов. «У Мамина-Сибиряка, — писал Короленко, — бывают растянутости, длинноты, но никогда не бывает благодушных глупостей, и если он нарисует картину, как „родительская кровь“ побуждает сына отдать себя на служение „миру“ — то к этой картине относишься,

как к отрадному факту, а не как к благодушному измышлению» (Письмо В. Г. Короленко И. Г. Остроумову. «Огонек», 1958, № 7, стр. 24).

[^^^]

6

Лес. Психологический этюд

Впервые под названием «Фомич» рассказ напечатан в журнале «Дело», январь, 1887 г., за подписью «Д. Сибиряк». Автор неоднократно менял наименование рассказа. Как свидетельствует небольшой отрывок ранней его рукописи (хранится в ЦГАЛИ), первоначальное название произведения было «На Мочге». Здесь же хранится отрывок рукописи под заглавием «В лесу». На первом листе рукописи: «Дмитрий Наркисович Мамин. Москва. Тверской бульвар, д. Ланской». Рукопись рассказа, названного «Лес», находится в Свердловском областном архиве. Заголовок «Лес» написан сверху, над зачеркнутым «В лесу». На первом листе почерком автора: «Дмитрий Наркисович Мамин. Москва, Тверской б., д. Ланской». В конце рукописи авторская пометка: «10 декабря 1886 г. Екатеринбург». При жизни писателя перепечатывался во всех изданиях «Уральских рассказов».

При подготовке четвертого издания (1905) была опущена пятая, заключительная, глава,

в которой описывалась смерть Фомича.

[^^^]

7

Озорник

Впервые напечатан в журнале «Русская мысль», 1896, № 12.

Рассказ получил положительную оценку рецензента «Русской мысли» (1900, № 9). «Тип „непутевого“ забулдыги Спирьки, бывшего когда-то заправским мужиком, но со смертью жены потерявшего все свое крестьянское хозяйство и попавшего таким образом в деревенские лишние люди, выхвачен из самого сердца нашей крестьянской жизни. Читатель и смеется над несуразным, нескладным Спирькой, и удивляется его удали и смекалке, и заранее же жалеет эту погибающую натуру, в которой под нескладною наружностью бьется горячее сердце, жаждущее и любви и участия».

[^^^]

8

Переводчица на приисках

Впервые напечатан в журнале «Вестник Европы», 1883, № 4, с подзаголовком «Рассказ из жизни на Урале». При подготовке рассказа к перепечатке в четвертом томе «Уральских рассказов» (М., 1902) Мамин-Сибиряк переработал произведение, сократил некоторые сцены и эпизоды, произвел стилистическую правку, изменил его подзаголовок. В письме Д. П. Ефимову от 25 апреля 1901 года он предлагал изменить название произведения: «...рассказы „Fussilago farfara“ нужно назвать просто „Мать-мачеха“, а рассказ „Переводчица на приисках“ просто „На прииске“». (Письмо не опубликовано. Хранится в Рукописном отделе Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина.)

В сборнике «Повести» (М., 1902) «Fussilago farfara» напечатана под названием «Мать-мачеха», (но рассказ «Переводчица на приисках» появился в четвертом томе «Уральских рассказов» под старым наименованием. Остается неизвестным, отменил ли сам Мамин-Си-

биряк свое предложение или недостаточно внимательный издатель не учел это предложение автора. Мамин-Сибиряк неоднократно жаловался на невнимательное отношение издателя к четвертому тому «Уральских рассказов». Получив первую корректуру, он писал Д. П. Ефимову: «Вы не можете себе представить, как Вы меня огорчили первой же корректурой 4-го тома „Уральских рассказов“. Я ее сегодня посылаю Вам посылкой нечитанную, потому что ни печать, ни верстка, ни формат не подходят к формату, печати и шрифту первых трех томов „Уральских рассказов“... Согласитесь, что невозможно издавать разномастные книги под одним заголовком». (Письмо Д. П. Ефимову, 30 июня 1901 года. Не опубликовано. Хранится в Рукописном отделе Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина.) По выходе тома автор еще раз высказал свое недовольство внешним видом издания. «Вы даже не сохранили обложку первых трех томов», — писал он Ефимову 9 февраля 1902 года.

[^^^]

9

Доброе старое время

Впервые напечатана в журнале «Русская мысль», 1889, № 2. Написана осенью 1888 года На первом листе рукописи (Свердловский областной архив) надпись-автограф: «1888 г., октябрь, Ектрбрг». При жизни писателя перепечатывалась в IV томе «Уральских рассказов», М., 1902.

Печатается по тексту: Д. Н. Мамин-Сибиряк «Уральские рассказы», т. IV, М., издание Д. П. Ефимова (1902).

В основу повести «Доброе старое время» лег очерк Мамина-Сибиряка «Город Екатеринбург», в котором автор рассказал историю возникновения екатеринбургского театра. Театр в Екатеринбурге был построен на средства золотопромышленников Рязановых по инициативе главного горного начальника генерала В. А. Глинки (см. о нем в примечаниях к повести «Верный раб»): «генерал пожелал, и театр был выстроен... Первым антрепренером, — пишет Мамин-Сибиряк, — был Соколов, который привез в Екатеринбург ориги-

нально составленную труппу — лучшие силы были крепостные... Соколов, кочевавший по средней России, ухитрился на каких-то особых условиях законтрактовать в имении Тургеневых (Спасское-Лутовиново) человек пять девочек-подростков, обученных в домашней театральной школе... С актрисами-девочками была отправлена особая нянька, которая тоже входила в состав труппы. Приобретение Соколова оказалось вообще очень удачным, и ученицы крепостной театральной школы оказались прекрасными актрисами... Сейчас еще жива первая примадонна этой первой труппы — А. И. Иванова, от которой мы и получили эти сведения» (Д. Н. Мамин-Сибиряк. Собрание сочинений. Свердловск, 1951, т. 12, стр. 273).

[^^^]

10

Верный раб

Впервые повесть «Верный раб» была опубликована в журнале «Северный вестник», 1891, №№ 7 и 8 (июль-август), за подписью: «Д. Мамин-Сибиряк». Рядом с подписью имеется дата: «1891 г., 9 мая, Петербург».

О сотрудничестве Мамина-Сибиряка в либерально-народническом журнале «Северный вестник» Б. Б. Глинский, один из его редакторов-издателей, писал: «Желание Мамина принять участие в органе, мною руководимом, доставило мне немалую радость, и между мною и этим тогда уже известным писателем скоро завязались дружеские отношения» (Б. Б. Глинский, Среди литераторов и ученых, СПб. 1914). Первоначально Мамин-Сибиряк намеревался постоянно сотрудничать в «Северном вестнике» и принял предложение редакции журнала ежемесячно помещать статьи в отделе новостей и открытий и внутреннего обозрения, но вскоре отказался от этой работы. «...буду вытягивать свою линию беллетристическую», — писал он матери 17 ноября 1891

года (Всесоюзная библиотека им. В. И. Ленина).

Главные действующие лица, сюжетная канва повести «Верный раб» очень близки к тому, что рассказывал известный уральский историк-краевед Н. К. Чупин о назначенном в 1837 году главном начальнике горных заводов на Урале В. А. Глинке, который, несомненно, явился прообразом генерала Голубко.

«Мне было девять-десять лет, я уже учился в уездном училище, — рассказывал Н. К. Чупин, — как приехал к нам в город генерал Глинка, который царствовал на Урале почти двадцать лет... Говорили, что в молодости он был адъютантом самого Аракчеева и служил в военных поселениях... Глинка был облечен неограниченными полномочиями... Урал в то время представлял область на военном положении, а главный горный начальник, как генерал-губернатор, в своем лице сосредоточивал всю власть как административную, так и судебную...

Генерал, вышедший из мордобойной школы Аракчеева, непоколебимо верил, что управлять людьми можно только плетью,

кнутом и розгами... С этой целью Глинка обычно ездил по городу и заводам не иначе, как окруженный сотней вооруженных казаков, и где бы он ни показывался, там неизменно свистели плети и нагайки. Не удивительно, что на Урале все перед ним трепетали, и окружающие его чиновники, также и люди, имевшие к нему дело, не знали, как к нему подойти и как подступиться» («Воспоминания о Д. Н. Мамине-Сибиряке», сост. З. А. Ерошкина, 1936).

Рассказ Н. К. Чупина о влиянии на генерала его верного раба Мишки также соответствует сюжету повести.

[^^^]